

Приятного чтения!

□

Каждый Умирает В Одиночку

Ганс Фаллада

- [Ганс Фаллада](#)
 - [АНТИФАШИСТСКИЙ РОМАН ГАНСА ФАЛЛАДА](#)
 - [КАЖДЫЙ УМИРАЕТ В ОДИНОЧКУ](#)
 - [ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.](#)
 - [ГЛАВА 1](#)
 - [ГЛАВА 2](#)
 - [ГЛАВА 3](#)
 - [ГЛАВА 4](#)
 - [ГЛАВА 5](#)
 - [ГЛАВА 6](#)
 - [ГЛАВА 7](#)
 - [ГЛАВА 8](#)
 - [ГЛАВА 9](#)
 - [ГЛАВА 10](#)
 - [ГЛАВА 11](#)
 - [ГЛАВА 12](#)
 - [ГЛАВА 13](#)
 - [ГЛАВА 14](#)
 - [ГЛАВА 15](#)
 - [ГЛАВА 16](#)
 - [ГЛАВА 17](#)
 - [ГЛАВА 18](#)
 - [ВТОРАЯ ЧАСТЬ.](#)
 - [ГЛАВА 19](#)
 - [ГЛАВА 20](#)
 - [ГЛАВА 21](#)
 - [ГЛАВА 22](#)
 - [ГЛАВА 23](#)
 - [ГЛАВА 24](#)
 - [ГЛАВА 25](#)
 - [ГЛАВА 26](#)
 - [ГЛАВА 27](#)
 - [ГЛАВА 28](#)
 - [ГЛАВА 30](#)
 - [ГЛАВА 31](#)
 - [ГЛАВА 32](#)
 - [ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ.](#)
 - [ГЛАВА 33](#)
 - [ГЛАВА 34](#)
 - [ГЛАВА 35](#)
 - [ГЛАВА 36](#)
 - [ГЛАВА 37](#)
 - [ГЛАВА 38](#)
 - [ГЛАВА 39](#)
 - [ГЛАВА 40](#)
 - [ГЛАВА 41](#)
 - [ГЛАВА 42](#)
 - [ГЛАВА 43](#)
 - [ГЛАВА 44](#)
 - [ГЛАВА 45](#)
 - [ГЛАВА 46](#)
 - [ГЛАВА 47](#)
 - [ГЛАВА 48](#)
 - [ГЛАВА 49](#)
 - [ГЛАВА 50](#)

- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.](#)

- [ГЛАВА 51](#)
- [ГЛАВА 52](#)
- [ГЛАВА 53](#)
- [ГЛАВА 54](#)
- [ГЛАВА 55](#)
- [ГЛАВА 56](#)
- [ГЛАВА 57](#)
- [ГЛАВА 58](#)
- [ГЛАВА 59](#)
- [ГЛАВА 60](#)
- [ГЛАВА 61](#)
- [ГЛАВА 62](#)
- [ГЛАВА 63](#)
- [ГЛАВА 64](#)
- [ГЛАВА 65](#)
- [ГЛАВА 66](#)
- [ГЛАВА 67](#)
- [ГЛАВА 68](#)
- [ГЛАВА 69](#)
- [ГЛАВА 70](#)
- [ГЛАВА 71](#)
- [ГЛАВА 72](#)

- [Сноски](#)

Ганс Фаллада КАЖДЫЙ УМИРАЕТ В ОДИНОЧКУ

Перевод с немецкого Н. КАСАТКИНОЙ, В. СТАНЕВИЧ и и. ТАТАРИНОВОЙ

предисловие Т. МОТЫЛЕВОЙ

Редактор Р. ГАЛЬПЕРИНА

1948

Государственное издательство ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Москва

HANS FALLADA
JEDER STIRBT FÜR SICH ALLEIN
Roman
1948

АНТИФАШИСТСКИЙ РОМАН ГАНСА ФАЛЛАДА

I

Роман Ганса Фаллада «Каждый умирает в одиночку» — одно из наиболее значительных произведений послевоенной немецкой литературы. Книга эта во многом правдиво изображает жизнь немцев в годы господства фашизма!

Чтобы лучше разобраться в этом произведении, его достоинствах и недостатках, — полезно присмотреться к самому писателю, проследить его творческий путь.

Ганс Фаллада достиг литературной известности в то время, когда Веймарская республика доживала свои последние дни. Капиталистический мир был охвачен тяжким экономическим кризисом. Империалисты искали выхода в наступлении на рабочий класс, в подготовке войны. Правящие круги Америки, Англии, Франции активно помогали германской буржуазной верхушке подкармливать и выращивать гитлеровский фашизм. Гитлеровцы бешено рвались к власти, одурачивая и одурманивая массы немецкого населения, используя их разочарование в республике и парламентаризме, демагогически обращаясь к их наболевшим нуждам, играя на ущемленных национальных чувствах.

Фаллада уже в первых своих книгах проявил мастерство бытописателя. Уверенно и непринужденно живописал он в мельчайших деталях повседневную жизнь немецкого мещанства, разнокалиберного городского люда. В знании этой среды, в умении изображать ее он, пожалуй, не имел себе равных в современной немецкой литературе. Но идейные позиции писателя с самого начала были путанными и нечеткими. Это обнаружилось уже в его первых романах.

Фаллада приобрел широкую известность после выхода его книги «Маленький человек — что же дальше?» (1932). И шла речь о жизни городской бедноты в годы экономического кризиса, но в ней был заключен и более значительный, обобщающий смысл. Фаллада показал существенные стороны жизни рядового трудящегося в современном капиталистическом обществе — необеспеченность, неуверенность в завтрашнем дне, кабальную зависимость от предпринимателя, гнетущий страх безработицы. Он создал типические, запоминающиеся образы «маленьких людей», — безработного служащего Пиннеберга и его жены Лемхен. Он наделил их душевной чистотой, трудолюбием и вместе с тем — ребяческой наивностью, узостью кругозора, робостью, кротостью. Пиннеберг и его жена с одинаковым недоверием относятся ко

всем политическим партиям; они и не умеют, и не хотят бороться, предпочитая безропотно принимать удары злой судьбы. И, конечно, не случайно, что Фаллада придал своим любимым героям именно эти черты. В момент острейших схваток социально-политических сил догитлеровской Германии писатель счел нужным подчеркнуть свою собственную неприязнь к политике, ко всякой активной общественной борьбе. Он закончил книгу — антикапиталистическую по своему объективному значению — сентиментальной идиллией; он намеренно уклонился от ответа на вопрос, поставленный в заголовке романа: что же дальше?

Как известно, сразу же после прихода Гитлера к власти все лучшие немецкие писатели покинули Германию. Для большинства этих писателей отъезд их из Германии был не только актом самосохранения: он был и актом протеста против бесчеловечной, изуверской политики фашизма. Именно так и был он воспринят международным общественным мнением.

Фаллада не последовал примеру своих коллег. Он остался в гитлеровской Германии, и это сыграло весьма отрицательную роль в дальнейшем развитии художника.

Непосредственно перед фашистским переворотом Фаллада работал над романом «Кто отведал тюремной похлебки» (1932). Продолжая обличительную линию своей предыдущей книги, Фаллада показал здесь, как жестокая капиталистическая действительность неумолимо толкает на путь преступления людей, вовсе не преступных от природы. Однако писатель снабдил свой роман двусмысленным, приспособленческим предисловием, в котором подчеркивал, что повествует о временах, отошедших в прошлое.

В гитлеровской Германии Фаллада сохранял декорум независимости. Он подчеркивал свое пристрастие к «частной» жизни, предпочитал отсиживаться в провинции. В отличие от тех литераторов, которые преуспевали в «коричневой империи», он не выступал с проповедью расовой теории и военных захватов. Но в своем художественном творчестве он все же во многом приспособлялся к требованиям фашистской цензуры.

За годы гитлеровской диктатуры Фаллада не раз пытался обойти острые вопросы; он порою писал развлекательные, бессодержательные вещи, рассчитанные на коммерческий успех. Иногда в его произведениях, изданных в это время, проявлялся все же его незаурядный талант реалиста-бытописателя. Но влияние реакционной идеологии уродовало и портило даже наиболее значительные его романы. Пример тому — книги «Волк среди волков» (1937) и «Железный Густав» (1938).

«Волк среди волков» — большое полотно, показывающее жизнь Германии вскоре после окончания первой мировой войны, — поистине страшная картина экономической разрухи и морального распада. Перед читателем проходят мастерски очерченные люди столичного «дна» — безработные, деклассированные люмпены, опустившиеся мелкие буржуа; параллельно разворачивается история разорения и вырождения некогда богатой помещичьей семьи. Многие страницы романа обладают несомненной художественной силой и помогают читателю увидеть те процессы деморализации немецкого общества, которые подготовили почву для распространения фашистской заразы. В романе весьма неприкрыто изображены реакционные авантюристы из среды офицерства — те, что впоследствии влились в кадры гитлеровского движения. И тем не менее реализм Фаллада здесь — ограниченный, поверхностный. Правдивый показ отдельных частных явлений включен в ложную систему взглядов. Острые социальные конфликты разрешаются слащавой концовкой. Вдобавок, Фаллада и этому роману предпослал лицемерное предисловие, в котором подчеркивал, что речь идет о безвозвратно ушедшем прошлом.

Фаллада и раньше тяготел к изображению людей ущербных, с червоточинкой, с убогими мыслями, с ослабленной волей. В годы торжества гитлеризма в его творчестве стали все более заметно проступать декадентски-патологические мотивы, пристрастие к смакованию уродливого, болезненного. Даже в персонажах, которым принадлежала симпатия автора, обнаруживались те или иные черты морального уродства.

Роман «Железный Густав» в первых частях содержит острую реалистическую критику пруссаческих традиций, мещанских нравов. Писатель прослеживает историю одной немецкой семьи на протяжении полутора десятилетий — начиная с первой мировой войны. Колоритная фигура Гаккендаля, «железного Густава», «последнего берлинского извозчика», верноподданного вильгельмовской империи, — педантически честного, но вместе с тем косного, жадного, узколобого — воспринимается, как обобщенный портрет немецкого обывателя. В романе показано, как домашняя жизнь Гаккендалей, основанная на старопруссских устоях беспрекословного повиновения, морально калечит детей Густава и приводит к распаду всей семьи. И снова перед читателем коллекция людей-уродов... Отчасти их уродства реалистически мотивированы воздействием общества, воспитания, среды. Однако на многих персонажах «Железного Густава» лежит печать какой-то роковой, извечной болезненной извращенности. И это притупляет социальное острие сатиры Фаллада.

В последних главах романа не остается и следа от изобразительного мастерства Фаллада. В заключение, «под занавес», он приводит своего героя Густава, который по ходу действия романа постепенно приобретает положительные черты, в лоно нацистского движения. Еще раньше к этому движению примыкает младший сын Густава, Гейнц. Вполне вероятно, что эти главы «Железного Густава» написаны под диктовку, под нажимом извне. Но факт остается фактом: Фаллада подчинился этому нажиму...

II

На первый взгляд может показаться непонятным: как сумел писатель, который шел на такие компромиссы, создать вскоре после разгрома фашистской Германии роман «Каждый умирает в одиночку», роман, обличающий гитлеровский режим?

Знание быта немецких народных низов, городской бедноты, умение улавливать чувства и настроения

«маленьких людей» — вот что всегда составляло главную силу Фаллада как писателя. В литературной судьбе его соответственно отразились колебания той социальной среды, выразителем и бытописателем которой он был. Как известно, гитлеровцам удалось развратить и повести за собой значительную часть немецкого населения, в частности — городское мещанство, отсталые слои трудящихся. Однако в годы войны фашистской Германии против Советского Союза начали нарастать настроения недовольства в немецком народе — в том числе и в этих слоях.

Товарищ Сталин писал в 1942 году: «Война принесла германскому народу большие разочарования, миллионы человеческих жертв, голод, обнищание. Войне не видно конца, а людские резервы на исходе, нефть на исходе, сырье на исходе. В германском народе все более нарастает сознание неизбежности поражения Германии. Для германского народа все яснее становится, что единственным выходом из создавшегося положения является освобождение Германии от авантюристической клики Гитлера — Геринга»^[1]

Очень интересные признания содержатся в повести Фаллада «Кошмар», вышедшей в 1947 году. В ней писатель отчасти воспроизвел свои переживания, описал душевный кризис, испытанный им по окончании войны.

В книге много отталкивающих страниц. Когда Фаллада углубляется в дебри больной человеческой психики или со знанием дела передает ощущения морфиниста, читателю с неиспорченным вкусом становится душно и противно.

Однако не эти патологические экскурсы представляют интерес, а тот эпизод, где раскрываются переживания немецкого интеллигента при первой встрече с советскими воинами, избавившими Германию и все человечество от фашистской чумы.

Герой книги, писатель Долль, живет в захолустном городке. Он рад приходу Советской Армии; он с волнением ждет момента, когда впервые увидит русских солдат и сможет их приветствовать. Но, когда эта встреча действительно происходит, Долль чувствует себя морально сраженным. Он ощущает недоверие в обращении на него, взгляде советских бойцов, — и он не может не понимать, насколько законно это недоверие. Ведь он, как и всякий другой немецкий обыватель, несет ответственность за преступления гитлеризма!

Фаллада передает размышления своего героя:

«Долль вновь и вновь вспоминал, как он стоял, ухмыляясь, перед этими тремя со словом „товарищ“ на устах, с рукой, протянутой для приветствия — какая фальшь была во всем этом, и как ему было стыдно!.. Право же, сколько он ни перестрадал за эти двенадцать лет — он все-таки ничему не научился!..

Правы были русские, когда посмотрели на него, как на маленькое, злое, презренное животное. Как неуклюже подлаживался к ним этот тип, который воображал, будто можно, любезно ухмыляясь, произнося наспех заученное русское слово, загладить все то, что за последние двенадцать лет всему миру пришлось вытерпеть от немцев!»

Долль охвачен жгучим чувством национальной вины. Но он в то же время не чувствует в себе силы что-либо сделать, чтобы помочь своему народу искупить эту вину. Он впадает в затяжную, казалось бы, неизлечимую депрессию.

Важный поворотный момент в повествовании — встреча Долля с крупным антифашистским писателем Гранцовым, который, только что вернувшись из эмиграции, стремится объединить прогрессивные силы немецкой интеллигенции.

Руководство и поддержка со стороны Гранцова помогают Доллю выйти из состояния апатии. Он готовится вернуться к творческой работе — разумеется, на новых идейных основах. Так кончается эта повесть, во многом автобиографическая.

Фаллада умер в 1947 году. Небезынтересным фактом его жизни последних лет является то, что он некоторое время работал бургомистром в одном из городов советской зоны оккупации. Незадолго до смерти ему удалось закончить большое художественное произведение, в котором он попытался поставить свой талант на службу делу демократического обновления Германии.

III

В 1942 г. берлинский «Народный трибунал» приговорил к смертной казни пожилого рабочего Отто Квангеля и его жену Анну. Оба они, не будучи связаны с какой-либо нелегальной организацией, по собственной инициативе, на свой страх и риск в течение двух лет писали и распространяли открытки, в которых призывали немцев к сопротивлению гитлеровским властям.

Ганс Фаллада нашел материалы этого процесса в архивах гестапо и воспользовался ими как сюжетным стержнем для своего романа «Каждый умирает в одиночку». В основе этого романа — тема антифашистской борьбы. Писатель сочетал в нем документальные данные с художественным вымыслом, опираясь на свое знание быта, на свои личные наблюдения и впечатления.

Те романы на тему о жизни гитлеровской Германии, которые были созданы немецкими писателями в эмиграции, чаще всего посвящены первым годам существования фашистской диктатуры. Писателям, которые надолго оказались оторванными от своей страны, трудно было уловить и запечатлеть те изменения, которые произошли в повседневной жизни Германии за годы фашистского господства.

Разумеется, роман Фаллада в смысле идейной четкости не выдерживает сравнения с книгами немецких писателей-коммунистов. Но это одно из немногих произведений антифашистской литературы, в котором идет речь о Германии не 30-х, а 40-х годов, о Германии военного времени. И при этом в книге Фаллада вымысел художника теснейшим образом переплетается с показаниями очевидца.

Такой роман мог быть написан Гансом Фалладой лишь в результате большой внутренней ломки, серьезных и мучительных раздумий. Он существенно отличается от всего прежнего творчества писателя.

Ганс Фаллада сделал основным содержанием своего романа — борьбу немецких антифашистов против

гитле-роискон диктатуры. Вопрос о том или ином осмыслении, той или иной оценке этой борьбы оживленно дебатруется в литературе и публицистике послевоенной Германии.

Тот факт, что смертельный удар гитлеризму был нанесен не изнутри, а извне, — тот факт, что немецким антифашистам не удалось даже оказать эффективной помощи Советской Армии, когда она, жертвуя жизнью лучших своих воинов, продвигалась к Берлину, все это явилось наглядным свидетельством слабости немецких демократических сил. Гитлеровским органам власти, как правило, удавалось выслеживать и уничтожать те разрозненные нелегальные организации и группы, которые возникали в Германии в годы фашистского господства. Количество лиц, казненных гестапо за подпольную антифашистскую деятельность, исчисляется сотнями тысяч. Немецкие антифашисты не сумели объединить свои усилия и повести за собой массы трудящихся своей страны; миллионы немцев, развращенных или запуганных гитлеровским террором, не вняли голосу тех, кто звал их к освободительной борьбе. Все это является большой, серьезной виной немецкого народа. Однако в современной Германии (преимущественно в западных ее зонах) находятся литераторы и публицисты, которые, спекулируя на здравом тяготении немецких демократических кругов к национальной самокритике, намеренно доводят ее до абсурда, пытаясь вовсе отрицать, что немецкие трудящиеся оказывали какое бы то ни было сопротивление фашистской диктатуре. Напротив, они стараются представить дело так, будто бы фашисты опирались на народные массы, пользовались их полной поддержкой, — а оппозиция гитлеризму существовала только в верхних слоях общества. (Именно в таком духе выступали и некоторые свидетели на Нюрнбергском процессе). Излишне подробно доказывать, как фальшива такого рода «концепция», которая направлена на то, чтобы выгородить имущих и титулованных профашистов и воспрепятствовать развязыванию демократических сил в немецком народе.

Передовые немецкие писатели отдают себе отчет в том, насколько трагически одинокими были те, кто боролся против Гитлера, насколько недостаточен был реальный эффект их борьбы. Но все же они считают уместным и нужным рассказывать читателям об этих честных, самоотверженных людях, чей пример может служить укором тем, кто рабски смирился перед фашизмом. Всякое правдивое повествование о незаметных героях антифашистской борьбы полезно как противоядие против той реакционной философии мизантропии, морального нигилизма, неверия в силы человека, которая до сих пор владеет умами многих и многих немцев. В этом — актуальное значение некоторых произведений послевоенной немецкой литературы, повествующих об антифашистах-подпольщиках. В этом и актуальное значение романа Фаллада «Каждый умирает в одиночку».

Фаллада сделал главным положительным героем своей книги человека из народных низов. Иные немецкие писатели говорят о движении сопротивления «вообще», уравнивая революционных рабочих с деятелями умеренной левобуржуазной или офицерской оппозиции. Фаллада поступает иначе: центральная фигура его книги, носитель освободительной идеи всего повествования — труженик, простой человек.

Очень тонко разработана в романе социально-психологическая характеристика главных героев.

Квангель — не индустриальный пролетарий в прямом смысле слова, это не классово-сознательный рабочий. Это скорее — мастеровой, квалифицированный ремесленник. Ему присущи довольно ярко выраженные мелкобуржуазные черты. Хоть он и работает на заводе, в коллективе, он «одиночка» по своей психологии, по самому складу своего характера. Отсюда его необщительность, его стремление отгородиться от окружающих. Всем этим отчасти объясняется и то, почему он выбрал именно такой метод борьбы, почему он вплоть до последних дней своей жизни сохраняет гордую замкнутость. Но вместе с тем Квангелю присущи и подлинно ценные человеческие качества, выработанные долгими годами труда. Это человек большой внутренней дисциплины, стойкий, упорный в достижении своей цели, строгий и требовательный не только к другим, но и к себе. Именно эти качества — как убедительно показывает Фаллада — помогли Квангелю с неослабевающей энергией вести длительный поединок с хитрым и свирепым врагом.

Интересно задуман и характер Анны Квангель. Она не свободна от многих черт, присущих немецкой мещанке. Это женщина с весьма ограниченным кругозором. Но в ней есть и другое. Она, как и Отто Квангель, — человек из народа, человек труда. В ней живет давнее, неосознанное возмущение злодеяниями фашистских хозяев; ей присущ инстинкт справедливости, большая внутренняя честность. И она становится верной соратницей мужа в его борьбе, она духовно вырастает в этой борьбе.

Однако, — и здесь мы подходим к самому уязвимому месту романа Ганса Фаллада, — писатель, неспроста сделал своим главным героем человека, который всю жизнь стоял в стороне от организованной политической борьбы. Фаллада сохранил до последних дней свое недоверие ко всякой политике. Реакционные черты в его мировоззрении сказались в том, какой трактовке подверглось в его романе организованное движение против фашизма.

Эпизод, где показано заседание нелегальной «ячейки сопротивления», неправдив и неудачен. Изображенные в нем люди мало напоминают реальных антифашистов. Следы реакционных предрассудков писателя сказались в образах подпольщиков Енша и Григолейта, которые представлены как ограниченные догматики; они отразились на страницах, где выведена старая антифашистка Анна Шэнлейн, — бескорыстное, самоотверженное, но все же несколько смешное и жалкое существо.

Однако, логика самого повествования во многом опровергает предвзятые воззрения автора. В романе убедительно показано, как молодая работница Трудель Бауман, честная, прямая женщина, отойдя от «группы сопротивления», тяготится своей бездеятельностью и испытывает укоры совести («Что сделали мы, чтобы будущее стало лучше? Ничего! Хуже чем ничего, мы отступились от правого дела...»). И пусть мастер Отто Квангель на первых этапах знакомства с ним читателя сам не имеет ничего общего с «политикой» — все же существенно, что первая мысль об активной борьбе зарождается у него тогда, когда он узнает из беседы с Трудель о существовании нелегальной группы. Таким образом, индивидуальные усилия Квангеля все-таки оказываются косвенно связанными с организованной антифашистской борьбой. И, с другой стороны, читатель не может не сделать вывода, который отчасти подсказывает и автор: провал Квангеля, трагическая неудача его усилий не в малой степени обусловлена

тем, что он работал вне коллектива, в полном отрыве от масс, тем, что ему пришлось бороться и погибать «в одиночку»...

Имела ли смысл борьба Квангеля? Это — самый основной, самый насущный вопрос, на который Фаллада хочет ответить своим повествованием.

Полна глубокого драматизма сцена, когда арестованный Квангель попадает в кабинет полицейского комиссара Эшериха. Комиссар в течение двух лет отмечал флажками на карте Берлина дома, где находили открытки Квангеля. Растерянный и потрясенный, стоит Квангель перед картой, густо усеянной флажками. Значит, почти все его открытки попали в руки гестапо! Значит, его старания, самопожертвование, риск — все это было понапрасну?..

Но Фаллада ни в коем случае не хочет сделать такой вывод. Напротив — он написал свой роман именно для того, чтобы доказать обратное. Еще за два года до выхода романа Фаллада опубликовал большую статью в журнале «Ауфбау», где описал материалы, найденные им в архиве гестапо, и раскрыл перед читателем замысел своего будущего произведения. И он закончил свою статью так:

«Оба они, Отто и Анна Квангель, завершили свой жизненный путь. Их протест не был услышан. Казалось бы, они напрасно принесли свои жизни в жертву борьбе, которая была бесплодной. А может быть, и не совсем бесплодной? А может быть, и не совсем напрасно?»

Я, автор будущего романа, надеюсь, что их борьба, их страдания, их смерть не были напрасны».

Разумеется, страдания и борьба Квангеля — как и сотен тысяч других антифашистов Германии и других стран — не были напрасны. Последовательная освободительная борьба — пусть даже она не дает немедленных результатов — всегда содействует подрыву господства угнетателей.

Положительные образы книги Фаллада, написанные с большой художественной силой, сами по себе дают ответ на поставленный им вопрос: имела ли борьба Отто и Анны Квангелей реальный смысл? Писатель подчеркивает высокие моральные качества своих героев, которые находили удовлетворение в самом процессе борьбы, в том, что они действуют в согласии со своей совестью.

Определяя незадолго до смерти смысл своей деятельности, Отто Квангель говорит: «Зато я остался порядочным человеком...». Так проявляется нравственная сила труженика-борца. Но вместе с тем, трактуя острейшую общественную проблему в отвлеченно-моральном плане, писатель несомненно сузил идейную значимость романа. Он имел бы право и в более решительной форме сказать о той реальной общественной пользе, которую приносит человечеству всякое последовательное антифашистское действие.

И, тем не менее, образы Отто Квангеля и его жены — одна из самых больших реалистических удач во всем многолетнем и многотомном наследии писателя. В образах этих отразилось то принципиально новое, что узнал и усвоил писатель благодаря историческим урокам разгрома фашизма, благодаря личному контакту с советскими людьми и с передовыми людьми его собственной страны. Фаллада всегда любил «маленького человека». Но в последние годы своей жизни он впервые поверил в «маленького человека» — поверил в скрытые силы тех простых, скромных труженников, которые в прошлом вызывали в нем только жалость. И в этом смысле берлинский мастерской Отто Квангель занимает особое место в той галлерее простых людей, которая нарисована Гансом Фаллада. Ему не свойственны ни слабость, ни робость. В нем, как и в его жене, потенциально живут героические качества. Они проявляются в поведении обоих Квангелей в тюрьме, на суде, перед казнью.

С большой убедительностью раскрывается в романе внутренняя механика угнетения, с помощью которого держался гитлеровский режим. Дома, в которых сосед следит за соседом; заводы, где одна половина рабочих шпионит за другой; улицы и кварталы Берлина, где каждый дом и каждый житель находятся под неослабным полицейским наблюдением; миллионы людей, воспитанных в навыках унижающего, рабского повиновения, потерявших последние остатки совести под отупляющим действием страха, — такова в романе Фаллада мрачная и выразительная картина фашистской Германии, страны, где «весь воздух буквально провонял предательством»... Писатель обличает не только гитлеровских палачей разных рангов; он говорит горькую правду и о преступном равнодушии, преступной покорности тех многочисленных немецких обывателей — не только из обеспеченных слоев, но и из среды трудящихся, — которые, подчиняясь террористическому режиму, пассивно взирая на злодеяния гитлеровцев, несут свою долю вины за эти злодеяния. Роман помогает понять степень ответственности немецкого народа за преступления гитлеризма.

Трагическая гибель супругов Квангель заключает в себе глубокий обобщающий смысл. Они падают жертвой не только фашистского террора, но и преступного равнодушия их собственных соседей, знакомых, коллег — тех, кто несли в гестапо их открытки, тех, кто не поддержал их в тяжелой борьбе. Писатель отдает себе отчет, насколько глубоко проникла в гущу немецкого народа зараза фашизма и насколько трудно будет искоренить эту заразу. И вместе с тем на последних страницах романа появляется оптимистический проблеск.

В эпилоге, действие которого происходит после разгрома фашизма, выступают лица, эпизодически появлявшиеся и раньше. Это — простая немецкая женщина Эва Клуге и ее приемный сын Куно. Оба они перенесли много тяжелых испытаний. Развитие Эвы Клуге, которая порывает с недостойным мужем, очищается от фашистской скверны, вступает на новый жизненный путь, тщательно мотивировано художником на всем протяжении романа. Столь же убедительно дано и развитие Куно, который смывает с себя грязь фашистского «воспитания» и приучается к честному труду. Читатель видит в этих людях будущих граждан демократической Германии.

Последний роман Фаллада — как уже отчасти было показано выше, — несвободен от существенных недостатков.

С большой любовью обрисованы писателем интеллигенты буржуазно-гуманистического склада — советник Фром, музыкант Рейхардт. В сущности они не ведут активной борьбы против фашизма: они в лучшем случае оказываются способными на отдельные смелые слова, на отдельные акты солидарности: их вклад в дело антифашистского сопротивления очень незначителен. И потому неоправданно то умиление, с

которым даны эти лица в романе, И уж вовсе нестерпимо слащав образ «добрého» тюремного священника. Фигура эта явно нетипична, и ей уделено несоразмерно много места.

Интерес романиста к опустившимся людям, преступным типам, сказывается и в его последнем романе. Авантюрно-криминальные мотивы занимают в нем большое место. Писатель посвящает много страниц гаденьким похождениям игрока на скачках Энно Клуге и подобных ему проходимцев. Рисуя своих персонажей «изнутри», усваивая их интонацию, говоря от их имени, писатель слишком охотно вводит читателя в гнусные тайны их исковерканной психики. Здесь сказывается та эстетизация уродливого, которой отмечено творчество Фаллада за последнее десятилетие.

Однако в прежних книгах Фаллада демонстрация вывихов и безобразий нередко превращалась в самоцель, вытекала из декадентски-пессимистического подхода к человеку. Здесь же эти мотивы в основном подчинены обличительной тенденции романа. Писатель подчеркивает, насколько именно гитлеровский режим благоприятствовал развитию преступных наклонностей в человеке. Пьяницы, громилы, сутенеры, опустившиеся люмпены — все они выступают в романе, как добровольные помощники гестапо, как опора фашистской диктатуры.

Когда Фаллада в своих прежних романах изображал порочных и жалких людишек — он, по существу, ничего не мог им противопоставить. Иначе обстоит дело в его последней книге. В ней действуют не только гитлеровские мерзавцы, не только их активные и пассивные пособники: мы видим и людей другого склада — трудящихся, которые пытаются бороться с фашизмом.

Роман Фаллада, повествующий о недавнем прошлом, имеет ближайшее отношение к современности. Те, кого обличает Фаллада в своей книге — фашистские палачи и их разношерстные пособники, — продолжают жить под новыми личинами, откармливаются для новых злодеяний на территории западных зон Германии. Идеологическое наследие гитлеризма тоже еще далеко не уничтожено и кое-где возрождается в новых формах.

Посмертная книга Ганса Фаллада помогает борьбе за искоренение остатков фашизма, за демократическую переделку жизни и сознания современных немцев.

Г. Мотылева

КАЖДЫЙ УМИРАЕТ В ОДИНОЧКУ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ОТТО И АННА КВАНГЕЛЬ

ГЛАВА 1

Почта Приносит Печальное Известие

Почтальон Эва Клуге медленно поднимается по лестнице дома № 55 по Яблонскиштрассе. Она замедляет шаг не только потому, что уже давно разносит почту и устала, но еще и потому, что в сумке у нее одно из тех писем, которые ее так угнетают, и сейчас ей предстоит подняться на третий этаж и отдать его Квангелям.

Но сперва надо вручить повестку Перзике, которые живут этажом ниже. Сам Перзике не то амтсвальтер, не то политлейтер, не то еще какой-то нацистский чиновник, Эва Клуге до сих пор путает все эти должности. Во всяком случае, войдя к Перзике, надо сказать «хейль Гитлер!» и не болтать лишнего. Впрочем, и повсюду так, редко с кем Эва Клуге решается поговорить по душам. Эва сторонится политики, она простая женщина, и как всякая женщина считает, что не для того рожаешь детей, чтобы их убивали. И еще известно ей, что дом без хозяина — сирота. Ничего у нее сейчас не осталось — ни сыновей, ни мужа, ни своего, гнезда. А тут и рта раскрыть не смей, вечно оглядывайся, да еще разноси эти проклятые письма полевой почты, напечатанные на машинке и отправленные полковым адъютантом.

Эва Клуге звонит, говорит «хейль Гитлер!» и вручает старому пропойце Перзике повестку. На лацкане у него — свастика и значок вермахта.

— Ну, что хорошенького скажете? — спрашивает он. Она отвечает: — А вы разве не слышали чрезвычайного сообщения?

Но Перзике не удовлетворен ее ответом.

— Эх, барышня, или, верней, мадам, слышать-то мы слышали, да только, что это вы, как в воду опущенная.

Такие известия надо с радостью сообщать! И, главное, повторять всем, у кого нет радио, — это заткнет глотку последним паникерам, пусть не психуют. Со вторым блицкригом управились, а теперь прямым сообщением в Англию! Каких-нибудь два-три месяца — и англичанам каюк. А там увидишь, как мы с нашим фюрером заживем! Пусть другие нам сапоги лижут, мы станем хозяевами во всем мире! Ну-ка, девушка, входи, раздавим бутылочку! Ама-лия, Эрна, Август, Адольф, Бальдур — сюда! Сегодня гуляем, сегодня работу по-боку, сперва промочим глотку, а там махнем наверх, к старой жидовке, — пусть, стерва, нас кофе с булочками угощает. Теперь уж я ей спуска не дам!

Пока господин Перзике, в кругу своих семейных, все сильнее распаляется от собственных речей и первых рюмок водки, Эва Клуге поднимается на следующий этаж и звонит к Квангелям. Письмо она держит наготове, чтобы сразу отдать и скорей дальше. На этот раз ей повезло, дверь открыла не жена, с которой она почти всегда обменивалась несколькими любезными словами, а муж, человек с острым птичьим профилем, тонкими губами и холодным взглядом. Не сказав ни слова, взял он письмо у нее из рук и захопнул дверь перед самым ее носом, словно она воровка какая.

Эва Клуге пожимает плечами и спускается вниз. Есть ведь такие люди, сколько времени уже носит она почту на Яблонскиштрассе, и ни разу он не сказал ей ни слова. Ну, и бог с ним. Такого не переделаешь. И Эва вспоминает собственного мужа, он попрежнему спускает все деньги в пивных да на скачках, и домой

является только когда уж совсем на мели, а мало ли она с этим боролась.

Перзике позабыли закрыть дверь, и на лестницу доносится звон стаканов и шумное празднование победы. Эва Клуге осторожно защелкивает дверь на замок и спускается вниз. Она думает о том, что сообщение это и в самом деле радостное; скоропалительная победа над Францией приблизит мир. Тогда и ее сыновья вернутся домой.

Но надежды ее омрачаются неприятным сознанием, что тогда окончательно возьмут верх типы вроде Перзике, а чувствовать таких людей над собой господами и не сместь пикнуть и высказать то, что против них накопело, в этом мало радости.

Невольно вспоминается ей, между прочим, и человек с птичьим профилем, которому она только что отдала письмо полевой почты, вспоминается и старая еврейка Розенталь, верхняя жилища, у которой две недели тому назад увели в гестапо мужа. Как не пожалеть такую женщину! Прежде Розенталям принадлежал бельевого магазин на Пренцлауэраллэ. Магазин «аризировали», а теперь взяли мужа, хотя ему, верно, уже под семьдесят. Никому эти старики зла не делали, напротив, всегда отпускали в кредит; бывало, не на что ребятишкам белье купить, в долг верили. И товар у Розенталей был не хуже и не дороже, чем в других лавках. Нет, у фрау Клуге никак не укладывается в голове, что такой человек, как Розенталь, хуже, чем Перзике, потому, что он еврей. И сидит теперь старуха одна в квартире и боится на улицу нос показать. Только когда стемнеет, нацепит она свою сионскую звезду и идет за покупками. Чего доброго голодает. Нет, думает Эва Клуге, хоть мы и десять Франций победим, а все-таки у нас неладно...

С этими мыслями доходит она до соседнего дома и там продолжает разносить письма.

Между тем, мастер Квангель вошел с письмом в комнату и положил его на швейную машину: — Вот! — только и сказал он. Право распечатывать письма полевой почты он всегда предоставлял жене, зная, как дрожит она над их единственным сыном Отто. Сейчас Квангель стоит против нее, прикусив тонкую нижнюю губу, и ждет, когда засветится радостью ее лицо. На свой лад он очень любит жену, без лишних слов, без нежности, молча.

Она вскрыла письмо. На минуту лицо ее действительно озарилось радостью, затем померкло, когда она увидела напечатанные на машинке строчки. Выражение стало испуганным, она читает все медленнее и медленнее, словно боясь каждого следующего слова. Муж наклонился вперед и вынул из карманов руки. Он крепко впился зубами в губу, чуя что-то недоброе.

В комнате совсем тихо, слышно только прерывистое дыхание Анны. И вдруг крик — никогда еще муж не слышал у нее такого жалобного крика. Вся она как-то никнет и, стукнувшись лбом о катушки на машине, валится головой на шитье, прямо на злополучное письмо.

Квангель бросается к ней, с необычной для него живостью кладет ей на спину свою большую, заскорузлую руку. Он чувствует, как жена дрожит всем телом. — Анна! — говорит он. — Анна, что с тобой? — Минутку он ждет, потом собирается с духом: — С Отто беда? Ранен, скажи? Тяжело?

Дрожь не унимается, но Анна не произнесит ни слова. Она как будто и не хочет поднять голову, чтобы взглянуть на мужа.

Он смотрит на ее затылок. Как поредели у нее волосы с тех пор, как они поженились. Оба они уже старики. Если с Отто действительно что стряслось, нет у нее никого, нет и не будет, некого ей любить, кроме мужа, а он сам сознает, что особенно любить его не за что. Никогда не находил он нужных слов, никогда не умел сказать ей, как она ему дорога. Даже сейчас не может он погладить, приласкать, утешить ее, он только кладет свою тяжелую руку на ее редкие волосы, закрученные на макушке в пучок, тихонько приподнимает ей голову, робко спрашивает: — Анна, ну, скажи, что они там пишут?

И хотя ее глаза совсем близко от его глаз, она на него не смотрит, веки полузакрыты, лицо изжелта-бледное, обычный румянец пропал, и скулы обтянулись. Ему чудится, что он смотрит в лицо покойнице. Только щеки и губы дрожат, как и все тело, охваченное скрытым, — внутренним ознобом.

Квангель всматривается в это родное, близкое, а сейчас такое чужое лицо, он чувствует, как все сильнее колотится у него сердце, он сознает свою полную неспособность хоть немножко ее утешить, и его берет страх. Нелепое, смешное чувство, особенно теперь, когда она испытывает такую глубокую боль, — он боится как бы за тем отчаянным криком не последовал другой, еще более отчаянный. Он всегда любил тишину, он считал, что Квангелей в доме не, должно быть ни слышно, ни видно, а тут вдруг — не сдержать своих чувств, да разве это можно! Но даже и сейчас не в силах он сказать ничего и только беспомощно повторяет: — Что же там написано? Скажи, Анна!

Перед ним распечатанное письмо, но взять его он не решается, — для этого пришлось бы отпустить голову жены, а тогда Анна снова повалится головой на машину, и так у нее уже на лбу две ссадины. Сделав над собой усилие, он снова спрашивает: — Что случилось с Оттохен?

Это ласковое имя, которым отец почти никогда не называл сына, словно вернуло Анну из мира печали к действительности. Она судорожно раскрыла рот, будто ей нехватает воздуха, и подняла на мужа глаза, обычно такие голубые, а теперь тусклые, выцветшие.

— Что случилось с Оттохен? — прошептала она почти беззвучно. — Да что может с ним случиться? С ним уже ничего не может случиться, нет больше Оттохен, вот и все!

У Квангеля вырвалось только краткое «О-о!» — тяжкий стон, из самой глубины сердца. Сам того не сознавая, он выпустил голову жены и взял письмо. Беспомощно глядит он на строчки, он не в силах ничего прочитать.

И Анна выхватывает письмо у него из рук. Теперь она сама не своя. С яростью рвет она письмо на клочки, на клочочки, на крошечные лоскутки и гневно кричит ему в лицо: — Нашел что читать, эту мерзость, эту наглую ложь, то, что они всем пишут, — умер на поле брани за фюрера и немецкий народ, солдатом был образцовым! Понадобилось тебе их вранье читать! Да ведь мы с тобой отлично знаем, что Оттохен больше всего любил возиться со своими радиоприемниками и что в солдаты он шел со слезами! Как часто, еще во время отбывания воинской повинности, говорил он мне, что охотно дал бы отрубить себе правую руку, только бы от всех от них избавиться. И вдруг — образцовый солдат и пал за фюрера! Ложь, сплошная ложь! Вот что ваша проклятая война наделала! Вот что вы наделали, ты и твой фюрер!

Она стоит перед ним, невысокая, пожилая женщина, *по* глаза ее мечут молнии.

— Я и мой фюрер? — бормочет он, потрясенный ее обвинением. — Как это он вдруг моим фюрером стал, когда я не в их партии, а только в рабочем фронте, а туда всех загоняют, и выбирали-то мы его всего один раз, и то с тобой вместе.

Он говорит обстоятельно, с обычной медлительностью, не столько, чтобы оправдаться, сколько для того, чтобы точно восстановить факты. Он никак не может взять в толк, почему жена вдруг накинулась на него. Они всегда жили душа в душу...

Но она запальчиво продолжает: — Ты глава в доме, ты все решаешь, и все делается по-твоему. Нет такой мелочи в доме, в которую бы ты не вникал, хотя бы это был закут для картошки. А в таком важном деле сплеховал? Да что с тебя взять, ты тихоня, тебе бы только сидеть в своем углу, да чтобы никто не беспокоил. Куда люди, туда и ты! Все кричали: «Фюрер приказал, его воля — закон!» И ты, как баран, побежал за другими. А мы побежали за тобой! И вот Оттохен убит, и никакой фюрер не вернет его мне, и ты тоже не вернешь!

Он слушал не перебивая. Он всегда избегал ссор, да к тому же понимал, что это говорит не она, а ее горе. Он, пожалуй, был даже рад, что она накинулась на него, что горе еще не поглотило ее целиком. На все обвинения он сказал только: — Кому-нибудь из нас придется сообщить Трудель.

Трудель была невестой их сына. Родителей его Трудель называла «мамочкой» и «отцом». По вечерам она часто заходила к ним, даже и теперь, когда Оттохен был на фронте, и болтала со стариками. Днем она работала на фабрике, где шили обмундирование для армии.

При упоминании о Трудель Анна Квангель оживилась. Она взглянула на настенные часы и спросила:

— А ты успеешь до своей смены?

— Сегодня мы работаем с часу до одиннадцати, — ответил он, — успею.

— Хорошо, — сказала она, — тогда ступай, но только позови ее сюда и ничего не говори об Оттохен. Я сама скажу. Обед будет готов к двенадцати.

— Ну, так я пойду и скажу ей, чтоб зашла вечером, — ответил он, но сам не двинулся с места. Он стоял и не отрываясь смотрел в ее лицо, как оно пожелтело, осунулось. Она тоже подняла глаза, и несколько мгновений оба молча смотрели друг на друга — два человека, которые все эти тридцать лет прожили душа в душу, он — всегда угрюмый и замкнутый, и его жена, вносящая в их уединение немного тепла и света.

Так они молча смотрели в лицо друг другу, но сказать им было нечего. Наконец он кивнул головой и вышел.

Она слышала, как хлопнула парадная дверь. Убедившись, что он совсем ушел, она вернулась к швейной машине и подобрала все клочки этого злосчастного письма. Попробовала сложить их вместе, но вскоре поняла, что это займет слишком много времени, а ей надо было прежде всего приготовить мужу обед. Тогда она тщательно собрала в конверт и спрятала в молитвенник все обрывки. Ей хотелось на досуге, во вторую половину дня, когда Отто уйдет надолго, подобрать все кусочки и склеить письмо. Пусть это глупая ложь, пусть подлая ложь, но ведь больше ей ничего не осталось от сына. Нет, надо спрятать письмо и показать его Трудель. Может быть, тогда польются слезы, пока же сердце жжет, как огнем. Хоть бы заплакать!

Она сердито тряхнула головой и пошла к плите.

ГЛАВА 2

Бальдур Перзике Высказывается

Когда Отто Квангель проходил мимо квартиры Перзике, оттуда неслись крики шумного веселья, вперемежку с возгласами «хейль, хейль, победа!» Квангель быстро сбежал вниз, чтобы не столкнуться ни с кем из этой компании. Уже десять лет жил он с ними в одном доме, но с первых же дней старался не встречаться с этой семьей, еще тогда, когда сам Перзике держал третьеразрядный трактир и едва сводил концы с концами. Теперь Перзике пошли в гору, старик занимал всякие должности в нацистской партии, оба старшие сына были эсэсовцами, и деньги у них не переводились.

Тем больше оснований их остерегаться. Так живут только те, кто в милости у нацистов, а чтобы заслужить их милость, надо оказывать им услуги. А оказать нацистам услугу, значит кому-то повредить, к примеру, донести: такой-то слушает за границу. Квангель уже давно хотел забрать из комнаты Отто радиоприемник и поставить в подвал. Времена такие, что лишняя предосторожность не мешает, все теперь шпионят друг за другом, а гестапо шпионит за всеми. Концентрационный лагерь в Заксенхаузене разрастается с каждым днем. Без радио вполне можно обойтись, да Анна не соглашается убрать. Она все еще живет по поговорке: «Коль совесть чиста, спи спокойно до утра». Ну, кому теперь какое дело до твоей совести, когда и раньше с ней не очень-то считались?

Поглощенный этими мыслями, Квангель поскорее спустился с лестницы и вышел на улицу.

В квартире Перзике все еще стоял шум и гам. Дело в том, что гордость семьи, Бруно, который в честь Шираха звался теперь Бальдуром и даже рассчитывал, при связях отца, попасть в «Напола»^[2] — так вот этот самый Бальдур заинтересовался в газете «Фелькишер беобахтер» одним снимком. На снимке изображены фюрер и рейхсмаршал Геринг. Внизу подпись: «При получении известия о капитуляции Франции». И вид у обоих подходящий: жирное самодовольное лицо Геринга расплылось в улыбку, а фюрер от восторга хлопает себя по ляжкам.

Перзике обрадовались и захохотали, как и те двое, на снимке, но Бальдур спросил: — Ну, а вас здесь ничего не удивляет?

Все выжидающе смотрят на него. Они так убеждены в умственном превосходстве этого шестнадцатилетнего всезнайки, что никто не решается открыть рот.

— Ну-ка сообразите! Снимок сделан фоторепортером. Что ж, он тут как тут и оказался, когда было получено известие о капитуляции? Известие это, должно быть, пришло по телефону или через курьера, а может быть, даже его привез французский генерал, а на снимке ничего такого не видно. Стоят себе

вдвоем в саду и радуются...

Семейные Бальдура все еще молча пялят на него глаза. Лица их отупели от напряженного внимания. Старик Перзике охотно налил бы себе еще стаканчик, но пока Бальдур говорит, не решается. Он по опыту знает, на какие гадости способен Бальдур, если недостаточно почтительно слушают его разглагольствования на политические темы.

Сын между тем продолжает: — Значит, это военная хитрость, снимок сделан совсем не при получении известия о капитуляции, а раньше. Ну, а теперь посмотрите-ка на фюрера, как он радуется! У него уже давно Англия на уме, он думает о том, как мы англичанам всыпим. Нет, тут все подстроено, начиная с подписи и кончая хлопаньем по ляжкам. Это называется дураков за нос водить.

Теперь все семейство так глядит на Бальдура, будто они как раз те самые дураки, которых полагается водить за нос. Скажи это не Бальдур, а чужой — они донесли бы на него в гестапо.

А Бальдур не унимается: — Вот этим-то и велик наш фюрер: никому не открывает он своих карт. Все думают, он радуется победе над Францией, а он, может быть, уже готовит корабли для высадки на Британские острова. Вот чему мы должны учиться у фюрера. Нечего каждому как на ладони выкладывать, кто мы и что задумали!

Все радостно поддакивают, наконец-то они как будто уразумели, к чему клонит Бальдур.

— Ну вот, обрадовались! — сердито говорит Бальдур. — А сами что делаете! С полчаса назад я собственными ушами слышал, как отец говорил почтальонше, что требует с верхней жилицы, старухи Розенталь, кофе с булочками.

— Ах, ты об этой старой жидовской харе! — говорит папаша Перзике, однако в голосе его все-таки звучит смущение.

— Ну да, если с ней что и случится, никто шуму не подымет, соглашается сын. — Только не к чему о таких вещах наперед с людьми болтать. Знай про себя и помалкивай. Посмотри на жильца, что живет над нами, на Квангеля. Из него слова не вытянешь, а я уверен, что он все на ус мотает и доносит, куда следует. Вот донесет, что Перзике не умеют держать язык за зубами, что они ненадежны, что на них нельзя положиться, — и нам крышка. Тебе, папаша, в первую голову. А я палец о палец не ударю, чтобы выцарапать тебя из лагеря или из Моабита, или из Плэце, словом оттуда, куда тебя упрячут.

Все молчат. И даже Бальдур, при всей своей самонадеянности, чувствует, что хватил через край и что молчание не всегда означает согласие. Поэтому он тут же прибавляет, чтобы перетянуть на свою сторону хотя бы младшее поколение: — Мы все хотим добиться большего, чем отец, а как нам выйти в люди? Только через нашу национал-социалистскую партию. Вот мы и должны брать пример с фюрера: водить людей за нос, в глаза улыбаться, а потом, за спиной, когда все и думать позабудут, сделать свое дело — и к сторонке. В национал-социалистской партии должны так считать: Перзике на все готовы, на все решительно!

Он опять глядит на снимок со смеющимися Гитлером и Герингом, кивает головой и наливает стаканчик в знак того, что поучения на политическую тему окончены. — Ну, чего, папаша, губы надул, — обращается он к отцу, — сердись, что я с тобой на чистоту поговорил?

— Да ведь тебе только шестнадцать лет, и ты мне сын... — начал было обиженный старик.

— А ты мне отец, да что из того, когда я тебя только пьяным и видел, где уж тебе на особое почтение рассчитывать, — перебивает его Бальдур под общий хохот: все опять на его стороне, даже вечно запуганная мать!

— Брось, папаша, еще в собственной машине покатаешься, каждый вечер шампанское лакать будешь, пока вволю не налагаешься.

Отец опять собирается возразить, но на этот раз против шампанского, шампанскому, мол, далеко до водки. Но Бальдур перебивает его, понизив голос: — Идея у тебя, папаша, прекрасная, но обсуждать ее я предпочитаю в тесном семейном кругу, У Розенталь, пожалуй, и вправду есть чем поживиться, не одним кофе с булочками. Только надо мне сперва обдумать это дело, чтобы его тонко повести. А то как бы нас не опередили те, с кем трудно тягаться будет.

Он понизил голос и под конец говорит шопотом. Опять Бальдур Перзике добился, чего хотел, — всех перетянул на свою сторону, даже отца, хотя тот сперва и надулся. И Бальдур продолжает: — За победу над Францией! — я при этом он со смехом хлопает себя по ляжкам, и все понимают, что подразумевает он совсем не то, что говорит, а старуху Розенталь.

И вот они снова галдят и чокаются, и дуют водку рюмку за рюмкой. Ну, и здоровы же выпить бывший трактирщик с детьми!

ГЛАВА 3 Человек По Имени Боркхаузен

Мастер Квангель вышел на Яблонскиштрассе и сразу же наткнулся на Эмиля Боркхаузена, который как всегда околачивался у парадного. Казалось, Эмилю Боркхаузену только и дела было, что околачиваться там, где можно поглазеть и послушать. И война его не изменила. Всех погнала она — кого на фронт, кого на принудительную работу, а Эмиль Боркхаузен попрежнему слонялся без дела.

Долговязый, сухопарый, в обтрепанном костюме, весь какой-то вылинявший, стоял он у парадного и уныло пялил глаза на Яблонскиштрассе, в этот час почти безлюдную. Увидев Квангеля, он оживился, подошел и протянул ему руку. — Куда это вы собрались, Квангель? Па фабрику вам еще рано.

Квангель, сделав вид, что не заметил протянутой руки, чуть слышно пробормотал: — Некогда мне... — и тут же пошел дальше и сторону Пренцлауэраллэ, Только этого назойливого болтуна еще не хватало!

Но отделаться от Боркхаузена было не так-то легко. Он хихикнул и сказал: — Ну, нам с вами, выходит, по пути! — и прибавил, когда Квангель, упорно глядя себе под ноги, зашагал дальше: — Понимаете, доктор прописал мне от запоров моцион, а шататься одному скучно!

И Боркхаузен принялся подробно рассказывать, чего только он не перепробовал от запоров. Квангель

не слушал. Его занимали две мысли, которые все время вытесняли одна другую: то, что у него больше не было сына, и то, что Анна сказала ему «ты и твой фюрер». Квангель признавал, что никогда не чувствовал к сыну настоящей отцовской любви. С самого рождения ребенка ощущал он его как помеху в своей спокойной жизни и в своих отношениях с Анной. Если теперь он и чувствовал горе, то только потому, что беспокоился за Анну, как она воспримет эту смерть, что изменится в их жизни. Ведь сказала ему Анна «ты и твой фюрер».

Это не так. Гитлер не был его фюрером, Анна могла бы с таким же успехом сказать это и о себе. Оба они считали, что воз застрял в грязи, а фюрер его вытащил, ибо после того, как прогорела скромная столярная мастерская Квангеля, он четыре года был безработным и только в 1934 году поступил мастером на большую мебельную фабрику. Теперь он еженедельно приносил домой свои сорок марок. Этого им хватало.

Но в нацистскую партию они все же не вступили. Во-первых, им было жалко денег на членские взносы, и так уже выжимали все соки — на зимнюю помощь, на всяческие сборы, на рабочий фронт. А тут еще навязали ему на фабрике должность по рабочему фронту, это тоже было одной из причин, почему они не вступили в национал-социалистскую партию. Ибо здесь он на каждом шагу убеждался, какую делают разницу между просто немцами и нацистами. Последний нацист был для них дороже самого порядочного немца. Кто стал нацистом, тому все дозволено: не так-то легко до него доберешься. У них это называется стоять друг за друга.

А мастер Отто Квангель стоял за справедливость. Для него всякий человек был человеком. В мастерской он постоянно сталкивался с тем, что с одного строго взыскивали за малейшую погрешность в работе, а другому спускали всякий брак. И каждый раз это снова возмущало Квангеля. Он яростно кусал губы, — будь его воля, давно бы отказался он от своей чиновничьей должности по рабочему фронту.

И Анна это отлично знает, а потому не имеет она права бросаться такими обвинениями, как «ты и твой фюрер»! Он ведь не Анна, ему нельзя иначе. Господи боже мой, он-то понимает, что при ее скромности, при всей ее покорности означает такая перемена. Вся жизнь она мыкалась по чужим людям: сперва в деревне, потом, в городе, всю жизнь как раба безответная выполняла хозяйскую волю. И жена она была такая же безответная, не потому, что он помыкал ею, а потому, что добытчиком в семье был он и, значит, он был хозяином.

А теперь свалилась на них беда — смерть сына, и Квангель с тревогой чувствует, какой переворот совершился в Анне. Опять у него перед глазами стоит ее осунувшееся, изжелта-белое лицо, опять слышит он ее упреки, и сам он на улице в неурочное время, и Боркхаузен не отстает ни на шаг, а вечером прибежит Трудель, начнутся слезы, бесконечные разговоры, — а Отто Квангель так любит однообразие будней, размеренную жизнь, по возможности без всяких событий. Даже воскресенья ему в тягость. Теперь на какое-то время все пойдет вверх дном, и Анна, верно, уже никогда не будет прежней.

Все это надо как следует обдумать, а тут еще Боркхаузен пристает: — Бы, говорят, получили письмо палевой почты, и, говорят, написано оно не вашим Отто?

Квангель смотрит на него пронизательными черными глазами и бормочет: — Болтун! — Но он не охотник до ссор, даже с таким никудышним человеком, как этот лоботряс Боркхаузен. И почти против воли он прибавляет: — Поменьше бы люди болтали!

Эмиль Боркхаузен не обижается, Боркхаузен не из обидчивых, он сейчас же подхватывает: — Правильно, Квангель, так оно и есть! Держала бы Клуге, почтальонша несчастная, язык за зубами. Так ведь нет, всем надо выложить: Квангели получили письмо с фронта, напечатанное на машинке! — Он выдерживает паузу, затем спрашивает вполголоса, необычным, участливым тоном: — Ранен, пропал без вести или...?

Он не договаривает. А Квангель — после продолжительной паузы — отвечает, но не прямо на вопрос: — Значит, Франция капитулировала? Жаль, что не собрались они это сделать днем раньше, тогда бы мой Отто остался в живых...

И Боркхаузен с удивительной готовностью откликается: — Вот именно потому, что тысячи немцев пали геройской смертью, Франция и сдалась так быстро, это-то как раз и сохранит жизнь миллионам других. Такой жертвой вы как отец должны гордиться!

— А ваши дети, сосед, еще малы для фронта? — спрашивает Квангель.

Боркхаузен как будто даже обижен: — Вы же сами знаете, Квангель! Но, если бы они все разом погибли от бомбы или там еще от чего, я бы только гордился. Вы что, не верите?

Но Квангель не удостоивает его ответом, он думает: если я не был хорошим отцом и не любил Отто по-настоящему, то тебе твои дети просто обуза. Охотно верю, что ты обрадуешься, если бомба поможет тебе отделаться от них ото всех гуртом, охотно верю!

Но вслух он ничего не произносит, и Боркхаузен, так я не дождавшись ответа на свой вопрос, начинает снова: — Подумайте только, Квангель, сперва Судеты и Чехословакия, и Австрия, а теперь Польша и Франция — богаче нас народа на свете не будет! Какое значение имеет несколько сотен тысяч убитых! Зато мы все разбогатеем!

И Квангель с непривычной живостью возражает: — А на кой чорт нам это богатство? Что я его есть буду, что ли? Что я спать лучше буду? Или на фабрику не буду ходить, а что тогда день-деньской делать? Нет, Боркхаузен, не надо мне богатства, а нажитого таким путем и подавно. Не стоит оно, такое богатство, жизни человеческой!

Тут Боркхаузен хватается за руку, глаза у него горят, он шепчет, не выпуская Квангеля: — Как же ты решаешься, Квангель, такое говорить! Ты же знаешь, что за такие вредные слова я тебя в концлагерь упрятать могу. Ты ведь прямо против фюрера речи ведешь, а что, если я такой и донесу?..

Квангель и сам пугается своих слов. История с Отто и Анной, видимо, гораздо сильнее вывела его из равновесия, чем он предполагал, — куда делась его всегдашняя неусыпная осторожность! Но испуга своего он ничем не выдает. Он вырывает локоть из вялых пальцев Боркхаузена и медленно и равнодушно цедит: — Чего вы волнуетесь, Боркхаузен, что я такого сказал, чтобы доносить? Я расстроен, потому что у

меня убит сын и жена в большом горе. Можете доносить, если вам угодно, и хоть сейчас же! Я сам с вами пойду и подпишусь под тем, что говорил.

Квангель произносит непривычно длинную для него речь, а сам думает: голову дам на отсечение, что Боркхаузен шпик! Вот и этого тоже надо остерегаться! А кого теперь не надо остерегаться? И что с Анной будет, ума не приложу...

Между тем, они дошли до ворот фабрики. И опять Квангель не протягивает руки Боркхаузену. Он говорит: — Ну, пока, — и хочет уйти.

Но Боркхаузен крепко держит его за куртку. Он шепчет: — Что было, то прошло, забудем об этом, сосед. Я не шпик и никому зла не желаю. Но и ты, сделай милость, выручи. Мне дозарезу надо жене хоть сколько-нибудь денег принести, а у меня в кармане ни пфеннига. Дети голодные сидят. Одолжи десять марок, в следующую пятницу честное слово отдам!

Квангель опять высвобождается из рук Боркхаузена, он думает: так вот ты из каких, вот ты чем промышляешь! Не дам ему ничего, а то решит, я испугался, и тогда из его когтей не уйдешь! Вслух он говорит: — Я зарабатываю только сорок марок в неделю. У меня каждый грош на счету. Ничего ты с меня не получишь.

И не прибавив ни слова, не оглянувшись, входит во двор фабрики. Сторож видал его и прежде, и теперь пропускает без всяких разговоров.

А Боркхаузен остается на улице. Он смотрит ему вслед и обдумывает, что теперь делать. Неплохо бы пойти в гестапо и донести на Квангеля, две папиросы он на этом, пожалуй, заработает. Но лучше не стоит. Эх, зря он сегодня поторопился. Надо было дать старику выложить все, что у него накопело; после смерти сына настроение у Квангеля как раз подходящее.

Да, с Квангелем он просчитался, такого не возьмешь на пушку, Сейчас всякий трусит, за каждым что-то есть, вот и трясутся, как бы кто не проведал. Надо только улучить минуту и налететь врасплох, всякий рад будет откупиться. Но Квангель не таков, одно лицо чего стоит, как у хищной птицы. Он, верно, ничего не боится, и врасплох такого не поймает. Нет, от него придется отказаться, может, в ближайшие дни что-нибудь с женой выгорит, женщину смерть единственного сына последнего соображения лишить может. Тут-то бабы и начинают все выкладывать.

Так, значит, жену наметим на ближайшие дни, а пока что делать? Деньги для Отти обязательно надо раздобыть. Утром он стащил из кухонного шкафа и съел последний кусок хлеба. Но денег нет, и взяться им неоткуда. А жена у него настоящая ведьма, дома не жизнь, а сущий ад. Прежде она подрабатывала на Шенхаузераллэ, гостей домой водила, тогда и ласковой, и доброй бывала. За это время она народила пятерых озорников, должно быть, все не от него. Ругаться стала, как торговка на рынке, и дерется, детей, стерва, колотит, а под горячую руку и ему попадает, и тогда начинается потасовка. В конце концов в накладе всегда дом, но ума это ей не прибавляет.

Нет, вернуться домой без денег ему никак нельзя. И вдруг он вспоминает о старухе Розенталь. Недавно они переехали к ним в дом, на Яблонскиштрассе 55, и теперь она у себя на четвертом этаже, одна без всякой защиты. И как эта старуха у него из памяти выскочила. Пожалуй, это дело более стоящее, нечего было возиться с этим старым сычом Квангелем. Она женщина покладистая. Боркхаузен давно ее знает, еще с тех пор, как у Розенталей был магазин белья, вот и надо будет сперва добром попробовать. А заупрямится, просто в морду дать! Чем-нибудь у нее в квартире он обязательно разживется, может, там вещь какая или деньжата, или что-нибудь поесть попадется, — все равно что, было бы только, чем Отти умиловить.

Занятый этими мыслями и рисуя в своем воображении, чем он разживется у старухи Розенталь — у евреев и сейчас еще всего много, они только от немцев припрятали то, что у немцев же и нахапали, — занятый этими мыслями, Боркхаузен пускается в обратный путь к Яблонскиштрассе и все ускоряет шаг. В подъезде он долго прислушивается, — ему не хочется, чтобы кто-нибудь из переднего корпуса увидел его здесь. Сам он живет в заднем корпусе, который именуется садовым павильоном, в так называемом нижнем этаже, то есть, попросту говоря, в подвале. Ему, конечно, на это наплевать, да только перед людьми стыдно.

На лестнице тихо, и Боркхаузен торопливо, но бесшумно поднимается по ступенькам. Из квартиры Перзике несется смех, шум и крик. Опять у них пир горой. С такими людьми, как Перзике, не мешало бы сойтись поближе, что им стоит при их связях в гестапо замолвить за него словечко. Да где там, разве они посмотрят на шпика, работающего за свой страх и риск. Особенно сыновья-эсэсовцы нос задирают, не говоря уже об этом сопляке Бальдуре. Старик, тот добрее, случается, в пьяном виде подарит ему пять марок...

У Квангелей все тихо, и этажом выше, у Розенталь, тоже ничего не слышно, сколько он ни стоит под дверью, приложив ухо к замочной скважине. И тогда он звонит решительно, по-деловому, на манер почтальона, им ведь вечно некогда.

Но в квартире не слышно ни звука. И после двух-трех минут ожидания Боркхаузен звонит во второй, а затем и в третий раз. Прислушивается, опять ничего не слышно, и все же он шепчет в замочную скважину: — Фрау Розенталь, отворите! Я к вам с сообщением от мужа! Поскорее, пока меня никто не видел! Фрау Розенталь, я же слышу, что вы дома, откройте дверь!

И он звонит еще и еще, но снова безрезультатно.

Тут на него нападает ярость. Нельзя же ему опять отступить ни с чем, ведь Отти его просто со свету сживет. Старая еврейка должна отдать то, что у него украла! Он бешено трезвонит, не переставая кричать в замочную скважину: — Открывай, жидовка проклятая, не то так морду набью, что света не взвидишь. Не откроешь, так сегодня же в лагерь упеку!

Эх, бензину бы, тут же ей, стерве, дверь подпалил бы.

но вдруг Боркхаузен притих. Он услышал, как внизу хлопнула дверь. Он прижимается к стене. Незачем людям знать, что он здесь. Должно быть, кто-то собрался уходить, надо только притаиться.

Но шаги идут вверх по лестнице, хотя и медленно и неумеренно, но упорно. Кто-то от Перзике; Перзике,

да еще пьяный, только этого ему нехватало! Прежде всего у него мелькает мысль о чердаке, но чердак на запоре, там не спрячешься. Остается одна надежда, что пьяный не заметит его; если это старик Перзике, может, так и будет.

Но это не старик Перзике, а сопляк Бруно, иначе говоря Бальдур, самый вредный из всей компании! Вечно расхаживает в форме руководителя гитлеровской молодежи и ждет, чтобы ему первому поклонились, — подумает, фря какая! Медленно подымается Бальдур по последним ступеням, крепко держится за перила, несмотря на то, что очень пьян. Хоть он и совсем осовел, однако Боркхаузена, прижавшегося к стене, он приметил давно, но заговорил с ним только, когда они очутились лицом к лицу.

— Что ты здесь в переднем корпусе вынюхиваешь?

Не нравится мне это. Марш в подвал, к своей шлюхе, чтобы и духу твоего здесь не было.

И он поднял было ногу в подбитом гвоздями башмаке, но тут же одумался: для пинка он недостаточно твердо стоял на ногах.

От такого тона Боркхаузена сразу бросает в дрожь. Когда на него орут, он весь съеживается от страха. Вот и сейчас он покорно лепечет: — Прошу прощенья, господин Перзике! Просто хотел потехи ради пострадать старую жидовку!

Бальдур соображает, глубокомысленно наморщив лоб. Помолчав минутку, он говорит: — Обворовать хотел, сволочь. Вот что твое «пострадать старую жидовку» значит. Ну, ступай вперед!

Обращение не из любезных, но тон несколько милостивее, на это у Боркхаузена ухо тонкое. Поэтому он разрешает себе сказать с заискивающей улыбкой, как бы извиняясь за то, что вздумал сострить: — Я не ворую, господин Перзике, просто время от времени поправляю свои делишки!

Бальдур Перзике на улыбку не отзывается. С такими людьми он не допускает фамильярности, хотя иногда они и могут пригодиться. Он осторожно спускается по лестнице вслед за Боркхаузенем. Оба заняты своими мыслями и не замечают, что дверь в квартиру Квангелей только прикрыта. Как только они прошли, дверь опять открывается, и Анна Квангель крадется к перилам и прислушивается к тому, что происходит внизу.

Перед дверью к квартиру Перзике Боркхаузен молодцевато поднимает руку для приветствия, — Хейль Гитлер, господин Перзике! Премного вам благодарен!

За что благодарен, он и сам не знает. Может быть, за то, что руководитель гитлеровской молодежи не поддал ему коленкой под зад и не спустил с лестницы. Такой мелкой ищейке пришлось бы и это стерпеть.

Но Бальдур Перзике на приветствие не ответил. Он уставился на Боркхаузена ослепевшими глазами, и тот не выдержал, заморгал и опустил взгляд.

— Так ты, — потехи ради, Розентальшу пострадать хотел? — спрашивает Бальдур.

— Да, — не подымая глаз, тихо отзывается Боркхаузен.

— Ради какой такой потехи? — продолжает Бальдур допрос. — По примеру фирмы цап-царап и компания? Только и всего?

Боркхаузен исподлобья взглядывает на своего собеседника: — Ну, — говорит он, — морду-то я бы ей набил.

— Так! — отзывается Бальдур. — Так!

Минутку они молчат. Боркхаузен соображает, можно ли ему теперь удалиться, но разрешения на уход он еще не получил, и потому он молчит, опустив глаза, и переминается с ноги на ногу.

— Ну-ка, войдем, — вдруг говорит Бальдур, и язык у него заплетается. Он тычет пальцем в открытую дверь своей квартиры. — Может, у меня еще к тебе дело окажется. Там видно будет!

Словно повинувшись указующему персту, молча шагает Боркхаузен в квартиру Перзике. Бальдур, нетвердо держась на ногах, но все же молодцевато, по-солдатски, следует за ним. Дверь за обоими закрывается.

Этажом выше фрау Анна Квангель отошла от перил и юркнула к себе в квартиру, осторожно закрыв замок, чтоб он не щелкнул. Почему стала она подслушивать разговор обоих мужчин, начатый на верхней площадке перед квартирой фрау Розенталь и законченный перед дверью Перзике, она и сама не знает. Обычно она сле-довала принципу мужа: кто здешние жильцы, что они делают, нас это не касается. Лицо у фрау Квангель все еще болезненно бледное, а веки нервно подергиваются. Раза два уже тянуло ее присесть и поплакать, только нет у нее слез. В голове вертятся обрывки фраз вроде «ой сердце щемит», «так в голову и ударило», «все нутро изныло». Все это она в какой-то мере ощущает, но ощущает она и другое: «Не прощу им, что они загубили моего мальчика. Я могу и другой быть...»

Она и сама еще не отдает себе отчета в том, что значит «другой быть», но, возможно, уже этот пробудившийся интерес к тому, что творится в доме, показывает, — она становится другой. Думает она еще и о том, что теперь хватит жить по мужниной указке, как сама хочу, так и буду поступать, нравится это ему или нет.

Она спешно принимается застряпню. Продукты, которые выдаются по карточкам, почти целиком идут на мужа. Человек он уже немолодой и все время работает сверх сил; она же редко выходит и берет шитье на дом. Такое распределение нормированных продуктов кажется ей вполне естественным.

Она еще возится со своими кастрюлями, а Боркхаузен уже выходит от Перзике. Не успел он спуститься с лестницы, и угодливое раболепие, с которым он держался у Перзике, как рукой сняло. Двором он идет, выпятив грудь, от водки по телу разливается приятное тепло, а в кармане лежат две десятимарковые бумажки, одна из которых предназначена для смягчения разгневанной Отти.

Но, войдя к себе в подвал, он видит, что Отти уже не гневается. Стол накрыт белой скатертью, а на диване сидит Отти с посторонним мужчиной. Прилично одетый гость быстро снимает руку с Оттино плеча. И совершенно напрасно, к чему такая щепетильность!

Боркхаузен думает: ишь ты, стерва! Старая, а какого подцепила! Верно в банке служит или учителем...

В кухне орут и визжат дети. Боркхаузен отрезает каждому по толстому ломтю от лежащего на столе хлеба. Потом сам садится завтракать. На столе не только хлеб, но и колбаса, и водка. Он оглядывает мужчину на диване довольным взором. Тот чувствует себя, повидимому, не так хорошо, как Боркхаузен.

Поэтому Боркхаузен только слегка перекусил и сейчас же уходит. Чего доброго, еще спугнешь этого

франта. Приятно то, что теперь все двадцать марок можно взять себе. Боркхаузен направляется к Роллерштрассе; он слышал, что там есть пивная, где посетители будто бы несдержаны на язык. Пожалуй, там удастся обделать какое-нибудь дельце. Теперь в Берлине повсюду можно рыбку ловить. Не днем, так ночью.

Всякий раз, как он вспоминает о ночи, губы его под длинными отвислыми усами кривятся усмешкой. Ну и Бальдур Перзике, ну и семейка, нечего сказать, теплая компания! Только его им не провести, шалишь! Пусть не воображают, что двадцатью марками да двумя рюмками водки откупились. Погодите, придет время, он всех Перзике в кулак зажмет. Только сейчас бы не сплеховать..

Но тут Боркхаузен вспоминает, что ему еще до ночи надо отыскать некоего Энно. Возможно, что этот самый. Энно окажется как раз подходящим человеком. Боркхаузен ни на минуту не сомневается, что найдет Энно.

Тот ежедневно заглядывает в три-четыре кабачка, где обычно толкуются тотошники. Как этого Энно звать по имени и фамилии, Боркхаузен не знает. Он встречал его всего несколько раз в пивных, а там все зовут его попросту Энно. Отыскать Энно не трудно, а он, может быть, и окажется подходящим человеком.

ГЛАВА 4 **Трудель Бауман Выдает Тайну**

На фабрику Отто Квангеля пропустили легко, но вызвать Трудель Бауман оказалось куда сложнее. Дело в том, что работали здесь — впрочем так же как и на фабрике у Квангеля — не только сдельно: каждый цех должен был выполнить определенную норму, поэтому часто и минута была дорога.

По в конце концов он добился своего, в конце кондов здешний мастер тоже не зверь. Ну, как отказать в таком пустяке коллеге, да еще когда у того убит сын. Правда, пришлось объяснить, в чем дело, иначе Трудель не вызвали бы. Значит, надо будет сказать и ей, хоть жена просила не говорить, да все равно, мастер ей обязательно скажет, Только бы обошлось без слез, а главное, без крику. Просто удивительно, каким молодцом держалась Анна, ну, да Трудель тоже сумеет взять себя в руки.

Вот наконец, и она, и Квангель, который не ухаживал ни за одной женщиной, кроме Анны, не может не признаться, что Трудель прехорошенькая — темные пушистые вьющиеся волосы, круглое свежее личико, с которого работа на фабрике не согнала румянца, смеющиеся глаза, высокая грудь. Даже сейчас, в длинных-синих рабочих штанах и в старом, много раз штопанном и перештопанном джемпере, к которому пристали ниточки, даже сейчас она мила. Но всего милей, пожалуй, ее движения, все в ней искрится жизнью, точно каждый миг для нее удовольствие: радость бьет из нее ключом.

Чудно, мелькает в голове у Квангеля, — такой размазня, кик Отто, такой маменькин сынок и вдруг подцепил этакую красотку. Но разве я знаю Отто, спохватился он, ведь я даже не удосужился разглядеть его как следует. Он верно, был совсем не такой, каким казался мне.

А в радио он, должно быть, толк знал, не зря все мастерские за него спорили.

— Здравствуй, Трудель, — говорит он и протягивает ей руку. И она быстро и крепко пожимает ее своей теплой, мягкой ручкой.

— Здравствуй, отец, — отвечает она. — Ну, что случилось? Мамочка по мне соскучилась или Отто письмо прислал? Обязательно постараюсь к вам на днях забежать.

— Надо бы сегодня вечером, Трудель, — говори? Отто Квангель. — Дело в том, что... — Но он не успевает закончить, Трудель со свойственной ей живостью сует руку в карман своих синих штанов, вытаскивает календарик и уже листает его. Она слушает невнимательно, момент для такого сообщения неподходящий. И Квангель терпеливо ждет, пока она отыщет то, что ей надо. Они стоят на сквозняке в длинном коридоре, выбеленные стены которого сплошь залеплены плакатами. Невольно взгляд Квангеля падает на объявление, которое висит наискось за спиной у Трудель. Он читает слова, жирными буквами напечатанные в заголовке: «Именем немецкого народа...», затем следуют три фамилии «... приговорены к смертной казни через повешенье за измену, родине и государству. Приговор приведен в исполнение сегодня утром в тюрьме Плэцензее».

Невольно хватает он Трудель обеими руками и отводит в сторону, так, чтобы она не стояла под объявлением.

— В чем дело? — спрашивает она удивленно. Потом смотрит по направлению его взгляда и тоже читает афишу. У нее вырывается какое-то восклицание, которое может означать все, что угодно: протест против того, что она только что прочитала, недовольство, безразличие, но как бы там ни было, а на старое место она не возвращается. Она сует календарик обратно в карман и говорит: — Сегодня вечером, отец, ничего не выйдет, а завтра около восьми я у вас буду.

— Не завтра, а обязательно сегодня, Трудель! — настаивает Отто Квангель. — Мы получили извещение об Отто. — Взгляд его делается еще жестче, он видит, как смех исчезает из ее глаз. — Отто убит, Трудель!

Странно, но Трудель застонала совсем так, как застонал при этом известив Квангель: «О-о!». Минутку она смотрит на него влажными от слез глазами, губы у нее дрожат, потом она отворачивается к стене, прижимается к ней лбом. Она плачет, но плачет беззвучно.

Славная девушка, думает он, как она любила Отто Но и Отто был на свой лад славный малый, никогда не водился он с этими мерзавцами, с гитлеровской молодежью. Не слушал вечных наускиваний на родителей, презирал их игру в солдаты, ненавидел войну! Ах, эта проклятая война!

Квангель сам пугается того, что подумал. Неужели же и у нем началась перемена? Да ведь это почти то же самое, что Анна сказала: «ты и твой Гитлер!»

Тут он видит, что Трудель прижалась лбом как раз к тому самому объявлению, от которого он только что оттащил ее. Над ее головой надпись жирными буквами: «Именем немецкого народа», лбом она закрывает фамилии трех повешенных...

И вдруг перед ним встает виденье, ему мерещится кругом на стенах такие же листки, но с другими

именами: его, Лины и Трудель. Он недовольно встряхивает головой. Кто он? Простой рабочий, ему бы только тихо да мирно прожить, политика его не касается. Анна поглощена своим хозяйством, а такая красивая девушка, как Трудель, быстро найдет себе нового друга... Но виденье навязчиво, от него не отделаешься. Наши имена на стене, думает он в полном смятении. А почему бы и нет? Не знаю, что хуже, болтаться в петле или взлететь *на* воздух от бомбы или подохнуть от раны в живот! Все это неважно. Важно одно: я должен разобраться, в чем тут дело с Гитлером. С каких это пор я стал видеть вокруг только гнет, и злобу, и насилие, и страдание, бесконечное страдание... Несколько тысяч, сказал этот шпик Боркхаузен, словно дело в количестве! Если хоть один человек несправедливо страдает и если я могу что-то сделать и не делаю только потому, что я трус и слишком дорожу своим покоем, значит...

Развить свою мысль он не решается. Он боится, по-настоящему боится того, куда заведет его эта мысль, если додумать ее до конца. Ведь тогда всю жизнь изменить надо!

Вместо этого он опять смотрит на Трудель, голову которой венчает надпись «Именем немецкого народа». Нехорошо, что она плачет как раз под этим объявлением.

Невольно он берет ее за плечо, повертывает к себе и говорит как можно ласковее: — Трудель, отойди, не плачь под этим листком...

Минуту она бессмысленно смотрит на объявление. Слезы высохли, плечи уже не вздрагивают. Потом глаза опять загораются, но не тем ясным светом, которым они сияли, когда она вышла к нему в коридор, теперь они горят мрачным огнем. Решительно и в то же время любовно закрывает она рукой то место, где стоит слово «повешенье».

— Я никогда не забуду, — говорит она, — что именно под этим объявлением ревела об Отто. Как знать, — я этого не хочу, отец, — но может быть, когда-нибудь и мое имя будет стоять на такой мерзкой афише.

Она смотрит на него. У Квангеля такое чувство, будто она сама не понимает, что говорит. — Девочка, — окликает он, — опомнись! Ну, как это ты, и вдруг такое объявление... Ты молода, у тебя вся жизнь впереди. У тебя еще много радости будет, будут дети...

Она упрямо мотнула головой. — Детей у меня не будет до тех пор, пока не будет твердой уверенности, что их не пошлют на убой. Я не хочу, чтобы всякий мерзавец имел право сказать им: подыхай за фюрера. Отец, — продолжает она, крепко взяв его за руку, — отец, неужели ты можешь жить попрежнему, когда они убили твоего Отто?

Она пылливо смотрит ему в глаза, и опять силится он побороть то незнакомое, что надвигается на него. — Французы... — бормочет он.

— Французы! — с возмущением перебивает она. — Да ведь это же пустая отговорка! А кто напал на французов? По-твоему, кто? Скажи, кто?

— Да что же мы-то сделать можем? — Из последних сил борется он с тем, что надвигается на него. — Что можем сделать ты да я, когда за ним миллионы. А теперь, после победы над Францией, и подавно! Ровно ничего мы не можем.

— Многое можем, — шепчет она. — Можем портить машины, можем плохо и медленно работать, можем срывать их плакаты и расклеивать свои, чтобы народ знал, как его обманывают, как ему очки втирают. — Она шепчет еще тише: — Но, главное, надо быть не такими, как они; никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя быть такими, как они, смотреть на все их глазами. Мы не станем нацистами, даже если бы им удалось завоевать весь мир!

— А какой в этом толк, Трудель? — спрашивает Квангель тихо; — я не вижу в этом толку.

— Вначале я тоже не понимала, отец, — отвечает она, — да и сейчас еще не до конца понимаю. Но, знаешь, мы здесь на фабрике тайно организовали группу сопротивления, пока еще совсем маленькую, трое мужчин и я. Один из них пробовал мне объяснить. Мы, говорит он, как доброе семя в поле, среди сорных трав. Не будь этого доброго семени, все поле заросло бы сорняком, а Доброе семя может дать всходы.

Она вдруг остановилась, словно чего-то испугавшись.

— Что с тобой, Трудель? — спрашивает он, — мысль о добром семени — не плохая, я подумаю, мне многое надо обдумать в ближайшие дни.

Но она говорит, подавленная стыдом и раскаянием: — Ну вот я и проболталась о группе, а ведь богом клялась, что ни одной живой душе не проговорюсь.

— На этот счет не сомневайся, Трудель! — говорит Отто Квангель, и его спокойствие передается бедной Трудель, которую мучит раскаяние. — Отто Квангелю в одно ухо пошло, в другое вышло. Я знать ничего не знаю. И он с угрюмой решимостью смотрит на плакат. — Пусть все гестапо приходит, знать ничего не знаю. Если хочешь — прибавляет он, — если хочешь, и если так тебе будет спокойнее, с этого дня ты с нами не знакома, хочешь, и вечером не приходи к Анне. Я уж что-нибудь придумаю и ничего лишнего не скажу.

— Нет, — отвечает она, успокоившись. — Нет, к матери я сегодня во что бы то ни стало приду. Но мне надо будет сказать им, что я проболталась, и, может быть, они захотят тебя проверить, посмотреть, надежный ли ты человек.

— Пусть попробуют! — с угрозой в голосе говорит Отто Квангель. — Я знать ничего не знаю. До свиданья, Трудель. Сегодня мы, верно, не увидимся, я почти никогда не прихожу с работы раньше двенадцати.

Она подает ему руку и уходит по коридору в цеха. Брызжущей жизнерадостности в ней уже нет, но сил у нее еще много. Славная девушка! думает, Квангель. Молодчина!

И вот Квангель один в коридоре, среди объявлений, которые тихо шелестят на сквозняке. Он уже собрался уходить, но вдруг неожиданно для себя кивает головой объявлению, у которого плакала Трудель, — кивает с угрюмой решимостью.

В следующее же мгновение ему уже стыдно. Что за блажь! И он спешит домой. Давно пора, приходится даже сесть на трамвай, а при его бережливости, порой граничащей со скупостью, это большая

неприятность.

ГЛАВА 5

Энно Клуге Возвращается Домой

К двум часам дня почтальон Эва Клуге закончила разноску писем. Почти до четырех провозилась она со сдачей денег за газеты и доплатные письма: от усталости она путалась в цифрах и несколько раз пересчитывала все сызнова. Когда Эва наконец собралась домой, ноги у нее горели, а в голове было ощущение пустоты; не хотелось даже думать о всех делах, которые еще осталось переделать, раньше чем можно будет наконец лечь в постель. По дороге домой она забрала то, что полагалось по карточкам; в мясной пришлось постоять довольно долго, и только около шести добралась она до; своего дома в Фридрихсхайне и начала медленно подыматься к себе в квартиру.

На площадке перед ее дверью стоял невзрачный человечек в светлом пальто и спортивной кепке. У него было бесцветное лицо, без всякого выражения, тусклые глаза с воспаленными веками, одно из тех лиц, что не запоминаются.

— Энно, ты? — воскликнула она и невольно крепче зажала в руке ключ от входной двери. — Что тебе от меня понадобилось? Ни денег, ни еды у меня для тебя нет, и в квартиру я тебя ни за что не пущу!

Невзрачный человечек сделал успокаивающий жест. — Ну вот, уже и разволновалась! Уже и рассердилась! Я просто хочу с тобой поздороваться, Эва. Здравствуй, Эва!

— Здравствуй, Энно! — отозвалась она, но неохотно, ибо за много лет хорошо узнала своего мужа. Она подождала минутку, затем рассмеялась коротким и злым смешком.

— Ну, Энно, поздоровались, для твоего удовольствия, теперь ступай. Ну, что же ты не уходишь, чего тебе от меня нужно?

— Видишь ли, Эвхен, — сказал он. — Ты женщина разумная, с тобой можно договориться... — И он начал обстоятельно рассказывать, что больничная касса прекратила ему выплату пособия, так как он проболел полгода. Приходится ему опять поступать на работу, не то отправят обратно в армию, откуда его откомандировали на фабрику как рабочего-специалиста по точной механике, ведь в них теперь большая нужда. — И, в общем, у меня сейчас так дела складываются, — закончил он свое объяснение, — что мне на ближайшие дни негде приютиться. Вот я и подумал...

Эва решительно мотнула головой. Она падала от усталости и мечтала только об одном — поскорее попасть домой, где ее ждало еще много работы. Но она готова была простоять полночи здесь на лестнице, лишь бы не впустить его к себе.

Он снова принялся за свое, опять затараторил, но и слова его звучали как-то бесцветно: — Не говори нет, Эвхен, я еще не кончил. Истинный бог, мне от тебя ничего не нужно, ни денег, ни еды. Позволь мне только на дивансике несколько дней переночевать. Я и без простыни обойдусь, чтоб тебе лишней работы не было.

Она опять мотнула головой. И чего говорит, знает ведь, что она ни единому слову его не верит. Ни разу еще не сдержал он своего обещания.

— Почему ты не устроишься у одной из своих баб? — спросила она. — Чем они тебе на этот раз не угодили?

Он покачал головой: — С женщинами покончено, Эвхен, я их больше знать не хочу, сыт по горло. Как теперь подумаю, ты, Эвхен, право, лучше всех — была. Хорошо мы с тобой пожили тогда, когда наши мальчики еще детьми были.

При воспоминании о первых годах семейной жизни лицо ее невольно просветлело. Верно, хорошие это были годы, он тогда еще работал по специальности и в конце недели приносил домой свои шестьдесят марок и от работы не бегал...

Энно Клуге почувствовал, что шансы его подымаются. — Видишь, Эвхен, чуточку ты меня еще любишь ипустишь на диванчик. Обещаю тебе, что с работой я быстро развяжусь, сама знаешь, какая мне от нее радость. Мне бы только снова больничный лист получить, чтобы на фронт не погнажи. Не пройдет и недели, врачи опять признают меня больным!

Он перевел дыхание и выжидающе посмотрел на нее. Она уже не качала головой, но лицо ее оставалось непроницаемым, и он снова заговорил: — На этот раз я не буду жаловаться на острый колит, а то в больнице заморят голодом. Теперь я на боли в печени выведу. Тут уж ничего распознать нельзя, только рентгеном, да и то при болях в печени камни не обязательны. Могут быть, а могут и не быть. Мне все в точности объяснили. Тут полная гарантия. Вот только дней десять придется поработать...

Она опять не отозвалась ни словом, и он продолжал свое; он был убежден, что если долбить в одну точку, в конце концов своего добьешься, надо только не отставать. — Мне и адрес одного врача дали, на Франкфуртерталлэ, он кого угодно больным признает, только чтобы неприятностей потом не было. С ним я все устрою; через десять дней опять лягу в больницу, и ты от меня избавишься.

Утомленная бесполезным разговором, она сказала: — Стой ты здесь хоть до полуночи и болтай языком, в квартиру я тебя все равно не впущу. Этого ты не дожدهшься, Энно, что бы ты тут ни делал и что бы ни говорил. Я не хочу, чтоб у меня опять вся жизнь прахом пошла. Работать ты не работаешь, на скачках играешь, с бабами путаешься. Три раза мне это пришлось пережить, а потом и в четвертый, а потом и пошло и пошло, нет уж, хватит, крышка! Вот возьму сейчас, сяду на лестницу — я с шести утра на ногах, устала — хочешь, садись со мной рядом, хочешь, говори, хочешь, молчи, мне все равно. Но в квартиру ты не попадешь!

И она в самом деле села на ступеньку, на ту самую ступеньку, на которой он перед этим дожидался ее. Слова ее прозвучали очень решительно, и он почувствовал, что никакие уговоры не помогут. Тогда он сдвинул, на затылок свою спортивную кепку и сказал: — Ну, что ж, Эвхен, раз уж ты никак не хочешь для меня такого пустяка сделать, хотя знаешь, что муж в беде, твой собственный муж, которому ты пятерых детей родила... троих мы схоронили, а двое сражаются за фюрера и немецкий народ... — Он остановился,

сейчас он говорил уже просто по инерции, потому что привык трепаться в пивных, говорил, хотя и понимал, что уговоры бесполезны. — Ну, так я пойду, Эвхен. И знай, я на тебя не сержусь. Ты это знаешь, какой я там ни на есть, а сердиться я не умею.

— Потому что тебе на все наплевать, кроме твоих лошадей, — не выдержала она. — Потому что, кроме них, тебя ничто на свете не интересует, потому что тебе ничто и никто не дорог, даже ты сам, Энно. — Но она тут же замолчала, с таким человеком разговаривать бесполезно. Она помолчала еще немного, потом спросила: — Ты как будто собирался уйти, Энно?

— Иду, Эвхен, — ответил он совершенно неожиданно. — Будь здорова. Я не сержусь. Хейль Гитлер, Эвхен!

Она все еще была твердо убеждена, что это прощание просто подвох, маневр, за которым последует новый поток слов, но, к ее безграничному удивлению, он и вправду ничего больше не сказал и начал медленно спускаться по лестнице.

Она так растерялась, что минуты две не вставала со ступеньки, она сама еще не верила, что взяла верх. Потом вскочила и прислушалась. Она ясно слышала его шаги уже внизу, он не спрятался, он на самом деле ушел! Нот хлопнула входная дверь. Дрожащей рукой отперла она квартиру, от волнения не сразу попала ключом в замок. Очутившись дома, закрыла дверь на цепочку и повалилась в кухне на стул. Руки, ноги не слушались, выдержанная только что борьба отняла последние силы. Она вся обмякла, кажется, достаточно ткнуть ее пальцем — и она свалится со стула.

По пока Эва сидит, к ней понемногу возвращаются силы и жизнь. Как-никак она справилась, напряжением волн победила его тупое упорство, уберегла свой домашний угол, уберегла для себя одной. Не будет он здесь просиживать стулья, целый день о лошадях трепаться, таскать деньги, хлеб, все, что плохо лежит.

Эва вскочила, полная бодрости и сил. Хоть этот кусочек жизни у нее уцелел. После бесконечного дня на почте, несколько часов одиночества были ей просто необходимы. Разносить письма становилось тяжело, с каждым днем тяжелее. И раньше страдала она женскими болезнями, не даром трое младших детей лежали на кладбище: все недоноски. Да и нога уже не слушались. Она была не из тех женщин, что любят служить, она предпочитала домашнюю жизнь и хозяйство, но когда муж вдруг перестал работать, ей пришлось поступить на службу. Сыновья были еще детьми. Она поставила их на ноги, она устроила свое гнездо: кухня, она же столовая, и спальня. Да и муж висел у нее на шее, в те дни, когда он не переходил на содержание к какой-нибудь женщине.

Разумеется, давно уже можно было бы развестись, он и не думал скрывать свои измены. Но развод все равно ни к чему не привел бы, Энно и после развода продолжал бы за нее цепляться. Ему все ни по чем, в нем нет ни на грош чувства чести. Окончательно выставила она его из квартиры, только когда оба сына ушли на войну. До тех пор она считала необходимым соблюдать какую-то видимость семейной жизни, хотя сыновья были уже взрослыми и отлично все понимали. И перед людьми стыдилась она своего семейного разлада. Когда ее спрашивали о муже, она всегда отвечала, что он в командировке. Еще и сейчас навещала она иногда родителей Энно, приносила им поесть или несколько марок, желая хоть отчасти возместить те деньги, которые сын выманивал у родителей из их жалких доходов.

Но в душе она совершенно покончила с мужем. Даже если бы он изменился, начал работать и снова стал таким, как в первые годы брака, все равно она не пустила бы его обратно в дом. Ненависти к нему она не чувствовала, ну как можно ненавидеть такую мразь? Он просто был ей противен, как бывают противны пауки и гады. Только бы он не приставал, только бы убрался с глаз долой! Больше ей ничего не надо.

Погруженная в такие мысли, Эва Клуге поставила кастрюлю на газ и подмела кухню, — каморку, служившую ей спальней, она прибирала всегда с утра. Когда похлебка начала весело булькать и приятный запах распространился по всей кухне, она села за шток — с чулками было одно горе, за день пронашивала она больше, чем успевала вечером заштопать. Но починка не раздражала ее, она любила эти спокойные полчаса перед едой, когда можно было уютно посидеть в плетеном кресле, вытянув ноющие ноги в мягких войлочных туфлях и слегка повернув ступни внутрь — так ноги отдыхали всего лучше.

После еды она собиралась написать своему любимцу, старшему сыну Карлеману, часть которого стояла в Польше. Ни в чем она не была с ним согласна, особенно с тех пор, как он стал эсэсовцем. За последнее время об СС рассказывали много страшного, с евреями они бог знает что творят. Но что он тоже такой, она не верила, не верила, что ее сын, которого она выкормила своей грудью, насилует еврейских девушек, а потом пристреливает их. На такую подлость Карлеман не способен. Да я неоткуда было ему набраться такого духа. Она никогда не была с детьми жестока или груба, а уж отец просто тряпка. Она попробует намекнуть ему в письме, чтобы он вел себя как порядочный человек. Конечно, намекнуть надо очень осторожно, чтобы понял только Карлеман. А то как бы не было ему неприятностей, если письмо попадет в руки цензору. Ну, да уж она что-нибудь придумает, напомним ему какой-нибудь случай из его детства, например, как он украл две марки и купил на них конфет, или лучше, как он мальчишкой тринадцати лет втрескался в Валли, в самую настоящую девку. С каким трудом удалось тогда вырвать его из рук этой женщины — ведь Карлеман иногда бывал очень несдержан.

Она улыбается, вспоминая тогдашние неприятности. Сейчас ей мило все, что связано с детством сыновей. Тогда еще у нее были силы, с целым светом схватилась бы она за своих ребят, работала бы днем и ночью, только бы доставить им все, чем пользовались другие дети, у которых отцы были порядочные. Но за последние годы она стала сильно сдавать, особенно когда обоих сыновей угнали на войну.

Она давно уже уронила на колени чулок, который штопала, и сидела, вся уйдя в свои думы. Вот она встала, по привычке переставила похлебку с сильного огня на более слабый, а на сильный поставила горшок с картошкой. Она еще возилась у плиты, когда раздался звонок.

Ее сразу как пришибло. Энно! оборвалось что-то в ней. Энно!

Она тихонько отставила горшок и в войлочных туфлях неслышно скользнула к двери. У нее отлегло от сердца: за дверью, немножко сбоку, так, чтобы ее хорошо было видно, стоит соседка, фрау Геш. Конечно, опять пришла признаться муки или немножко сала, а потом, как водится, позабудет отдать. И все же Эва Клуге беспокоится. Сквозь глазок в двери старается она высмотреть, нет ли еще кого на лестнице, прислушивается к каждому шороху. Но все как будто в порядке.

Эва Клуге решается. Она открывает дверь, но не снимает цепочки и спрашивает: — Ну, фрау Геш, в чем дело?

И тотчас же фрау Геш, истощенная до полусмерти, замученная работой женщина, которая целые дни гнет спину над корытом, в то время как ее дочка сидит сложа руки, начинает ныть и жаловаться. Стираешь день-деньской чужое грязное белье и даже не ешь досыта, а Эмми с Лили ничего делать не хотят. Поужинают и уйдут, а мать мой посуду. — Да, фрау Клуге, знаете, о чем я хотела вас попросить, я, кажется, палец занозила, да сама не вижу, у меня глаза плохи стали. Пожалуйста, посмотрите, что там такое — не бежать же из-за всякого пустяка к доктору, есть мне когда по докторам ходить! Может быть, вы ее даже вытащите, если не побрезгуете, многие очень брезгливы...

Пока фрау Геш тараторила у порога, Эва Клуге машинально сняла цепочку, и соседка вошла в кухню. Эва собиралась уже закрыть дверь, но тут в дверь просунулась чья-то нога, а затем и сам Энно Клуге очутился в квартире. Лицо у него такое же невыразительное как всегда, и что он несколько взволнован, видно только по тому, как сильно дрожат его веки, почти лишенные ресниц.

Эва Клуге стоит, опустив руки, колени у нее подгибаются, так кажется и села бы прямо на пол. У словоохотливой Геш вдруг словно отнялся язык, молча смотрит она на обоих. В кухне совсем тихо, только на плите булькает похлебка.

Наконец фрау Геш говорит: — Ну, вот, господин Клуге, просьбу вашу я исполнила. Но помните: в первый и последний раз. И если вы не сдержите слова и опять начнете от работы отлынивать, да по пивным таскаться, да на скачках играть... — Она переводит глаза на фрау Клуге и сразу останавливается, а затем добавляет: — А если я что не так сделала, фрау Клуге, я вам помогу этого сморчка за порог выставить. Вдвоем для нас это плевое дело!

Эва махнула рукой. — Ах, оставьте, фрау Геш, теперь уже все равно!

Еле держась на ногах, идет она к своему плетеному креслу. Опять берется за чулок, но теперь она тупо смотрит на нею, словно не понимая, что это такое.

Фрау Геш говорит с некоторой обидой: — Ну, тогда спокойной ночи или хейль Гитлер, — как вам, господа, будет угодно!

— Хейль Гитлер! — торопливо откликается Энно Клуге.

И медленно, словно пробудившись от глубокого сна, фрау Клуге отвечает: — Спокойной ночи, фрау Геш. — Потом, вспомнив, прибавляет: — Если у вас и вправду в пальце заноза...

— Нет, нет, — уже в дверях быстро отвечает фрау Геш. — Никакой занозы нет, это я так сказала. Но чтоб я еще раз и чужие дела впуталась, да ни за что на свете. Как ни старайся, никто не поблагодарит.

И она с чувством облегчения уходит от этих молчащих людей, хотя совесть ее не совсем спокойна.

Как только дверь за ней захлопнулась, тщедушный человечек оживился. Он открывает шкаф, точно это совершенно в порядке вещей, освобождает себе плечики, Повесив два жениных платья одно на другое, а на плечики вешает свое пальто. Спортивную кепку кладет на шкаф. С одеждою он бережлив, он терпеть не может быть плохо одетым, а нового ему ничего не купить, это он знает.

Он с довольным видом потирает руки, бормоча: «Так, так, так!» подходит к газовой плите, заглядывает в кастрюлю. — Красота! — говорит он. — Картошка с мясом. Красота!

Молчание. Жена не двигается, сидит к нему спиной. Он тихонько прикрывает кастрюлю, становится перед Эвой и говорит, смотря на нее сверху вниз: — Ну чего ты, Эва, сидишь, будто каменная. Подумаешь, беда какая! Несколько дней опять у тебя в доме мужчина побудет.хлопот ты от меня никаких не увидишь. А что я обещал, то сдержу. И картошки мне твоей не надо, ну, там, когда останется какой кусочек. Да и то, если ты сама захочешь мне дать, — а я не попрошу.

Жена не отвечает ни слова. Она убирает рабочую корзинку в шкаф, ставит на стол глубокую тарелку, накладывает еду из кастрюль и не торопясь принимается есть. Муж тем временем сел на другой конец стола, вытащил из кармана несколько спортивных газет и теперь что-то отмечает в засаленной записной книжке. Исподтишка поглядывает он на обедающую жену. Та ест очень медленно, но уже два раза брала себе прибавку, много ему не останется, а есть хочется как собаке. Весь день, какой там, со вчерашнего вечера ничего во рту не было. Лоттин муж приехал в отпуск с фронта и тут же выставил его за дверь, не до завтрака было.

Но он не решается сказать Эве, что голоден, он боится жены, боится ее упорного молчания. Сразу никак к ней не подъедешь, не скоро еще он почувствует себя здесь дома. Что такой момент наступит, Энно не сомневается, всякую женщину уломать можно, надо только не отставать и пока что со многим мириться. В конце концов все они уступают, обычно, когда и не ждешь, — просто потому, что устают.

Эва Клуге начисто выскребла обе кастрюли. Она одолела все, что наготовила на два дня, одолела в один присест, по крайней мере, теперь он не будет клянчить. Затем она наспех моет посуду и начинает перетаскивать вещи. Тут же при нем переносит все, что подороже, к себе в каморку. Каморка запирается на крепкий замок, туда ему и раньше доступа не было. Она перетаскивает продукты, воскресное платье, пальто, башмаки, диванные подушки, даже свой портрет с обоими сыновьями — и все это тут же при нем. Пусть думает и говорит, что угодно, ей все равно. В квартиру он пролез хитростью, но ничего он этим не возьмет.

Затем она запирает дверь на замок и берет перо и бумагу. Она устала до смерти, больше всего тянет ее в постель, но раз уж она решила написать сегодня вечером Карлеману, значит надо написать. Она и себя не щадит, не только мужа.

Не успела она написать несколько строк, как муж перегнулся через стол и спросил: — Кому это ты пишешь, Эвхен?

Хотя она твердо решила больше с ним не разговаривать, все же невольно отвечает: — Карлеману...

— Так, — говорит он и откладывает в сторону газету. — Так, значит ему ты пишешь, пожалуй, еще и посылочки шлешь, а для его отца ни картошечки, ни мяса кусочка не нашлось, пусть с голоду пропадает!

Голос у него уже не такой тусклый, в нем звучит нотка обиды, словно он серьезно оскорблен, ущемлен в своих правах, раз она дает сыну то, в чем отказывает отцу.

— Брось, Энно, — спокойно говорит она. — Это мое дело, Карлеман хороший мальчик...

— Так! — говорит он. — Так! А что он к родителям всякое уважение потерял, когда его в шарфюеры произвели, это ты, конечно, позабыла? Что бывало ни сделаешь, все не по нем, только смеялся над нами, мы де выжившие из ума обыватели! Все позабыла, да, Эвхен? Хороший мальчик Карлеман, нечего сказать!

— Надо мной он никогда не смеялся, — робко защищает она сына.

— Ну, конечно, нет! — издевается Энно. — А что он собственную мать не узнал, когда она с тяжелой почтовой сумкой по Пренцлауэраллэ шла, это ты, конечно, тоже позабыла? И как он отвернулся, когда с девушкой шел, подумаешь, аристократ!

— Молодого человека за это винить нельзя, — говорит она. — Они все перед дамами фасон держат, все такие. Потом поумнеет, вернется к матери, которая его своей грудью выкормила.

Он смотрит на нее и мнется, сказать или нет? Он вообще не злопамятен, но уж очень она его на этот раз обидела, во-первых, не дала поесть, во-вторых, тут же при нем убрала в каморку все хорошие вещи. И он решается.

А я бы твоего Карлемана на порог родительского дома не пустил, раз он таким мерзавцем стал! — Он смотрит ей в глаза, округлившиеся от страха, он без жалости бросает ей в лицо: — Когда он последний раз был в отпуску, он мне свое фото показывал, такой же эсэсовец его снимал. Карлеман еще хвастал этим снимком. На нем изображен твой сынок, он держит за ножки еврейского ребенка, так лет трех и собирается разозжить ему головку о радиатор грузовика...

— Нет, нет! — кричит она. — Ты лжешь! Это ты из мести выдумал, за то, что я тебя не накормила! Такого ужаса Карлеман не сделает!

— То есть как это выдумал? — спрашивает он без прежнего задора, он немного облегчил душу нанесенным ударом. — Да у меня на такие выдумки и ума не хватит. Впрочем, если мне не веришь, сходи в пивную к Зенфтенбергу. Он там всем снимок показывал. И сам Зенфтенберг и его старуха тоже видели...

Он замолкает. Говорить теперь с этой женщиной бесполезно. Она сидит, уронив голову на стол, и ревет. Поделом ей, кроме всего прочего она почтовая служащая, значит, тоже нацистка и, значит, отвечает за фюрера и за все его дела. Нечего ей тогда удивляться, что Карлеман такой.

Энно в раздумье поглядывает на диван — ни одеяла, ни подушек. Приятная перспектива на ночь, А что если рискнуть? Момент как раз подходящий! Он в раздумье поглядывает на запертую дверь в каморку и наконец решается. Он попросту лезет в карман к горько рыдающей жене и достает ключ. Затем открывает дверь и без всякого стеснения принимает шарить в каморке, — не беда, если даже она и услышит.

Эва Клуге, загнанная, переутомленная, слышит все, она знает, что он обкрадывает ее, но теперь ей безразлично. Да, ее мир рухнул, ее мир никогда больше не восстановится. И зачем живешь на свете, зачем рождаешь детей, зачем радуешься их смеху, их играм, если они вырастают извергами. Ах, Карлеман, Карлеман — какой хорошенький мальчик был, светловолосенький! Как о т тогда в цирке Буша бедных лошадок жалел, когда они легли все в ряд на арене, спрашивал — они заболели? Пришлось его успокоить, сказать, что лошадки просто спать легли.

А теперь что он с детьми других матерей делает! Ни на минуту не усомнилась фрау Эва Клуге, что про снимок все правда, что Энно не выдумал, у него на это ума нехватит. Да, теперь нет у нее и сына. Уж лучше бы он умер, тогда бы она о нем хоть поплакала. А теперь никогда уже не сможет она прижать его к своей груди, и перед ним придется ей запереть двери родного дома!

А между тем, Энно, копошившийся в каморке, нашел то, до чего уже давно добирался: книжку сберегательной кассы. На книжке 632 марки, деловая женщина, но к чему ей столько? Получит со временем пенсию и все, что накопит... А завтра ему надо обязательно поставить двадцать марок на Адебара и, пожалуй, десять на Гамилькара... Он перелистывает книжку: не только деловая женщина, но и аккуратная. Все в одном месте: тут и контрольная марка, и все квитанции...

Он как раз собирается сунуть книжку в карман, и вдруг жена! Она просто берет книжку у него из рук и кладет ее на кровать.

— Ступай вон, — говорит она, — ступай вон!

И Энно, уже чувствовавший себя хозяином положения, выходит из каморки под ее суровым взглядом. Не говоря ни слова, достал он дрожащими руками из шкафа пальто и кепку, не говоря ни слова, шмыгнул мимо нее и вышел в широко открытую дверь на темную лестницу. Замок щелкнул, Энно включил свет и спустился вниз. Слава богу, кто-то позабыл запереть парадную дверь. Теперь ему остается только пойти в свою любимую пивную, может быть, там кто из знакомых подвернется, а в крайнем случае хозяин пустит переночевать на диване. Он быстро зашагал вперед, покорный своей участи, привычный к ударам судьбы. О жене, оставшейся наверху в квартире, он уже почти забыл.

А она стоит у окна и смотрит в вечерние сумерки. Ладно! Ох, неладно! Карлеман для нее потерян. Остался еще Макс, младший. Макс всегда был бесцветнее, больше на отца похож, не то что старший, которым она так гордилась. Может быть, Макса ей удастся сохранить. А вдруг нет? Ну, тогда придется жить одной. Но как была она честной, так честной и умрет. Хоть что-нибудь у нее останется, хоть сознание, что она честно прожила жизнь. С завтрашнего дня она разузнает, как поумнее выйти из этой их национал-социалистской партии, так, чтобы ее в концлагерь не упустили. Трудное это дело, а все-таки, может быть, и удастся. Ну, а не удастся, придется в лагере посидеть. Может быть, этим она хоть немного искупит вину Карлемана.

Она комкает начатое письмо к старшему сыну, письмо, политое слезами. Потом берет новый лист бумаге и начинает писать:

«Милый мой сын Макс! Опять пишу тебе письмо. Живу пока хорошо, надеюсь и ты также. Отец только что приходил, но я выгнала его вон, он приходил, чтобы опять у меня что-нибудь выпянуть. От твоего брата Карлемана я тоже отеклась из-за тех мерзостей, которые он творит. Теперь ты у меня один остался. Прошу тебя, будь всегда честным человеком. А я все, что могу, для тебя сделаю. Пришли мне тоже поскорей письмо. Целую и обнимаю тебя.

Твоя мать».

ГЛАВА 6

Отто Квангель Объявляет Войну

Цех, где главным мастером был Отто Квангель и где работало около восьмидесяти рабочих, мужчин и женщин, до войны изготовлял мебель по рисункам заказчиков, в то время как во всех других цехах этой же фабрики выпускали ходовую мебель. С начала войны фабрика целиком переключилась на военную продукцию и цех Квангеля получил задание вырабатывать определенного вида ящики, очень большие и громоздкие, которые, как говорили, предназначались для перевозки тяжелых бомб.

Что касается Отто Квангеля, то ему было совершенно безразлично, для чего эти ящики, он считал эту новую, чисто механическую работу ниже своего достоинства и презирал ее. Он был настоящим краснодеревщиком, и было время, когда он с чувством глубокого удовлетворения работал над наплывом дерева, над красивой резьбой. Тогда работа давала ему все то счастье, на которое вообще способен такой холодный по натуре человек. Теперь же он опустился до роли простого надсмотрщика и погонщика, поскольку ему было поручено следить, чтобы его цех выполнял норму, а по возможности и сверхнорму. Однако по своему характеру он ни разу не обмолвился о том, что чувствовал, и на его остром птичьей лице ни разу не отразилось то презрение, которое он испытывал к этой жалкой сосновой продукции. Если бы кто присмотрелся к нему поближе, он, пожалуй, заметил бы, что неразговорчивый Квангель и вовсе замолчал, и что при теперешней системе, когда у власти одни палачи и их подручные, он скорее склонялся к тому, чтобы махнуть рукой на все, что кругом творится.

Но кто станет обращать серьезное внимание на такого угрюмого неразговорчивого человека, как Отто Квангель? Для всех окружающих он был работягой, который никогда ничем, кроме своего прямого дела, не интересовался. Друзей он на фабрике не завел, за все время никому не сказал ласкового слова. Ничего, кроме работы, для него не существовало. Люди ли, машины — не нее ли равно, только бы работали исправно!

Однако ненависти к нему не питал никто, хотя на его обязанности лежало наблюдать за работой в цеху и понукать отстающих. Он никогда не ругался, и начальству ни на кого не наговаривал. Если он видел, что где-нибудь работа не спорится, он шел туда и своими умелыми руками сам все налаживал. Если он замечал, что кто-нибудь слишком увлекся разговором и позабыл о работе, он останавливался и ждал, буравя болтуна своими темными, как будто даже не видящими глазами, и не отходил, пока у того не пропадала всякая охота чесать языком. От Квангеля веяло холодом. Во время коротких перерывов рабочие старались держаться от него подальше. Так и случилось, что он совершенно естественно стал пользоваться всеобщим уважением, которого другой не добился бы ни уговорами, ни подхлестыванием.

И дирекция фабрики отлично понимала, какой клад они приобрела в лице Отто Квангеля. Его цех всегда давал наибольшую выработку, с рабочими не бывало неприятностей, и обходился Квангель дешево. Он давно выдвинулся бы, если бы решил стать нацистом. Но от этого он всегда уклонялся.

На это у меня денег нет, — обычно отговаривался он. У меня каждая марка на счету. Мне семью прокормить надо.

Окружающие втихомолку подсмеивались над его, как они говорили, мерзкой скаредностью. Казалось, у Квангеля сердце обливалось кровью всякий раз, как приходилось выкладывать денюжки при тех или других сборах. А того он не понимал, что от вступления в нацистскую партию он только выиграет. Этот толковый работник ничего не смыслил в политике, верно, потому и не побоялись оставить его на невольной руководящей должности по рабочему фронту, несмотря на то, что он не был нацистом.

На самом же деле от вступления в нацистскую партию Отто Квангеля удерживала не скупость. Правда, в денежном отношении он был непримиримо строг и мог неделями досадовать на себя за каждый необдуманно истраченный грош. Но именно потому, что он был строг к себе, он требовал того же и от других. То, что ему при воспитании сына пришлось наблюдать в школе и в союзе гитлеровской молодежи, то, что он слышал от Анны, то, с чем сам сталкивался на фабрике, где все хорошо оплачиваемые должности замещались нацистами, а хороших работников держали в черном теле — все это только укрепляло его в убеждении, что у нацистов нет ни стыда ни совести, а раз это так, то у него не может быть с ними ничего общего.

Поэтому так и обидело его сегодня утром, когда Анна ему крикнула: «ты и твой фюрер». Правда, до сих пор он твердо верил в добрые намерения самого фюрера. Надо только убрать всех облепивших его мух, всех трупней, падких на легкую наживу и сладкую жизнь — и все наладится. Но пока этого нет — увольте, быть с ними заодно он не хочет. Ведь Анна его отлично знала, только она одна и знала его, только с ней он был откровенен. Ну, ладно, это вырвалось у нее в первую минуту отчаяния, со временем все позабудется. Он не способен долго на нее сердиться.

И вот сейчас, стоя в цеху среди визга и скрежета машин, чуть подняв голову и медленно переводя взгляд со строгального станка на ленточную пилу, на рабочих, которые забивают гвозди, сверлят, таскают доски, он невольно замечает, что известие о смерти Отто, а главное — поведение Анны и Трудель никак не выходят у него из головы. Правда, эти мысли не занимают его целиком, он отлично видит, что завзятый лодырь Дольфус уже семь минут как вышел из цеха и что работа в его ряду затормозилась, а он верно опять курит или разговаривает в уборной. Так и быть, Квангель подождет еще три минуты, а там придется пойти за ним самому.

И в то время как он, посмотрев на стрелку стенных часов, устанавливает, что через три минуты Дольфус

прогуляет уже десять, он вспоминает не только страшное объявление над головой Трудель, он думает не только о том, что означают слова «измена родине и государству» и где бы это выяснить, но и о том, что у него лежит в кармане врученное сторожем письмо, в котором мастеру Квангелю коротко и ясно предлагается ровно в пять явиться в столовую служащих.

Не то, чтобы это письмо его волновало или мешало ему работать. Раньше, когда фабрика еще производила мебель, ему часто приходилось бывать в управлении, чтобы обсудить тот или другой заказ. Столовая служащих, правда, для него новость, но это неважно, важно, что до пяти часов осталось только шесть минут, и за это время надо водворить столяра Дольфуса на место, за пилу. Поэтому он выходит минутой раньше, чтобы поискать Дольфуса.

Но того нет ни в уборных, ни в коридорах, ни в соседних цехах, и, возвратившись к себе в цех, Квангель видит, что до пяти осталась всего одна минута, а значит, если он не хочет опоздать, пора идти. Он быстро стряхивает опилки с куртки и спешит в здание правления, где в подвальном этаже помещается столовая для служащих.

Столовая, несомненно, приготовлена для доклада, воздвигнута ораторская трибуна, стоит длинный стол для президиума, зал сплошь уставлен рядами стульев. Все ни ему знакомо по собраниям рабочего фронта, на которых ему не раз приходилось присутствовать. Только те собрания происходили всегда в здании напротив, в фабричной столовой. Вся разница в том, что в фабричной столовой стояли простые деревянные скамьи, а здесь — плетеные стулья, да большинство присутствующих там *было*, как и он сейчас, в рабочих куртках, а здесь преобладают коричневые и серые формы, и служащих в штатском за ними почти не видно.

Квангель сел на стул у самой двери, чтобы, как только закончится доклад, уйти к себе в цех. В зале набралось уже порядочно народу. Часть присутствующих сидит, другие еще стоят в проходах и вдоль стен и разговаривают.

У всех собравшихся на груди свастика. Без нацистского значка, как будто, один Квангель, не считая, конечно, военных, но зато у тех значок вермахта. Верно его пригласили сюда по ошибке. Квангель внимательно всех оглядывает. Несколько знакомых лиц. Вон тот бледный толстяк, что уже занял место в президиуме, господин генеральный директор Шредер, его он знает в лицо. А маленький остроносенький в пенсне — господин кассир, у которого он каждую субботу получает жалованье и с которым уж два сильно повздорил из-за больших вычетов. Странно, мелькает в голове у Квангеля, никогда не видел я на нем свастики, когда получал деньги.

Но большинство собравшихся здесь ему незнакомо, это, вероятно, почти все конторские служащие. Вдруг взгляд Квангеля делается острым и колючим, среди присутствующих он увидел человека, которого только что напрасно искал в уборных, — столяра Дольфуса. Но сейчас он не в прозодежде, а в новой праздничной паре и разговаривает он с двумя господами в нацистской форме совсем так, словно это его приятели. И сейчас на груди у Дольфуса красуется свастика, у того самого столяра Дольфуса, который в цеху уже несколько раз обращал на себя внимание Квангеля своей многоречивостью. Вот оно что! думает Квангель. Так он, выходит, — шпик! Чего доброго он и не столяр вовсе и зовут его, может, не Дольфусом. Во всем подлог. А я-то ничего не замечал!

И он начинает соображать, работал уже Дольфус или нет в их цеху, когда уволили Ладендорфа и Трича и все потом шептались, что их отправили в концлагерь.

Квангель подтянулся. Внутренний голос говорил ему: берегись! Ты здесь все равно что среди убийц! Он думал: этим голубчикам не удастся меня обойти. Кто я? — старый бестолковый мастер, человек без всякого понятия. Но быть с ними заодно, нет, шалишь. Я видел утром, что творилось с Анной, а потом с Трудель; в таких делах я вам не помощник. Я не хочу, чтобы из-за меня терпели муки матери и невесты. От этих дел увольте...

Он сидел и думал. А зал между тем наполнился, все стулья заняты. За столом президиума сплошь коричневые формы и черные сюртуки, а на ораторской трибуне стоит не то майор, не то полковник (Квангель никак не мог научиться различать чины) и говорит о положении на фронте.

Положение, разумеется, блестящее, победа над Францией будет отпразднована должным образом. Покорение Англии тоже обеспечено, это вопрос нескольких недель. Затем оратор постепенно подходит к интересующему его вопросу: если армия добилась таких успехов, то и рабочие мебельной фабрики должны выполнить свой долг. Из дальнейшего выходит, будто г-н майор (или полковник или капитан) специально прибыл от самого фюрера с требованием, чтобы мебельная фабрика Краузе и К⁰ повысила выработку. Фюрер ожидает, что к концу квартала фабрика повысит выработку на пятьдесят процентов, а через полгода увеличит ее вдвое. Собранию предлагается вносить свои предложения. Всякий, кто не проявит должного усердия, будет рассматриваться как саботажник со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Оратор провозглашает «хейль Гитлер!», а Отто Квангель между тем думает: покорение Англии вопрос нескольких недель, война приходит к концу, а мы через полгода повысим военную продукцию па сто процентов. Ну, что за ерунда!

Но он все же терпеливо сидит и смотрит уже на следующего оратора. Этот в коричневой форме, вся грудь в побрякушках. Новый оратор ведет свою речь от лица национал-социалистской партии и выступает он совсем в другом тоне, чем предыдущий оратор — военный. С первых же слов он резко и запальчиво обрушивается на нежелательный дух, который все еще не вывелся на заводах, несмотря на головокружительные успехи фюрера и немецкого оружия. Он говорит так резко и запальчиво, что речь его переходит в рычание, а когда он добирается до паникеров и нытиков, тут ему нет никакого удержу. Всех до последнего надо уничтожить, безотлагательно, — в порошок сотрем, так отделаем, что костей не соберут. *Siim siique* — вот что стояло в первую мировую войну на бляхах солдатских ремней, а теперь на воротах концлагерей стоит «Каждому свое», что значит: получай по заслугам! Там им покажут, и всякий, кто поможет выявить таких людей, все равно мужчин или женщин, сослужит верную службу немецкому народу и фюреру.

— Вы, все, здесь сидящие, — в заключение истощенным голосом вопит оратор, — будь то начальники отделов, заведующие цехами, директора, все вы персонально отвечаете за надлежащее направление мыслей на фабрике. А кто не сообщит хотя бы о самом пустяке, сами в концлагерь угодят. Все равно, директору или мастеру, я всякому мозги вправлю, можете быть спокойны, я из вас мягкотелость и дурь выбью, за мной дело не станет!

Оратор еще минутку не сходит с трибуны, он яростно потрясает кулаками, он побагровел от крика. В зале тишина. Оратор, тяжело ступая, сходит с трибуны, на груди у него чуть позвякивают значки и медали, и тут со своего места встает одутловатый директор Шредер и спрашивает кротким вкрадчивым голосом, будут ли какие выступления?

Весь зал вздыхает с облегчением, стулья отодвигаются — словно окончился дурной сон и день опять вступает в свои права. Желавших говорить как будто больше нет, всем хочется поскорей уйти, и директор уже намеревается закрыть собрание словами «хейль Гитлер», как вдруг в последних рядах встает человек в синей рабочей блузе и говорит, что в его цеху легко устранить все неполадки в работе. Надо только установить кое-какие машины, он перечисляет, какие, и поясняет, как их установить. Ну, а кроме того, надо бы убрать из цеха шесть или восемь человек, прогульщиков и лодырей. Тогда он ручается, что уже в текущем квартале повысит выработку на сто процентов.

Квангель говорит холодно и спокойно, он принял бой. Он чувствует, что все с удивлением смотрят на него, на простого рабочего, затесавшегося в их компанию. Но люди эти ему глубоко безразличны, пусть себе смотрят, ему все равно. В президиуме шепчутся о нем, ораторы осведомляются, что это за человек в синей куртке. Затем поднимается тот майор или полковник и сообщает Квангелю, что относительно машин техническое руководство с ним посоветуется. А сейчас интересно бы знать, что он имел в виду, когда говорил о шести или восьми рабочих, которых надо убрать из его цеха?

Квангель отвечает не спеша, все с тем же холодным упорством: — Есть у нас такие, что не могут так работать, а другие не хотят. Вот один из них здесь сидит. — И большим корявым пальцем он указывает на столяра Дольфуса, сидящего на несколько рядов впереди.

Среди присутствующих многие смеются, смеется и сам столяр Дольфус, он повернулся к Квангелю и хохочет ему в лицо.

Но Квангель говорит, нисколько не смущаясь. — Да, языком чесать, курить в уборной да от работы отлынивать, на это ты, Дольфус, мастер!

В президиуме опять шепчутся об этом свихнувшемся чудаке. Но тут снова сорвался с цепи коричневый оратор. Он вопит во всю глотку: — Ты не в национал-социалистской партии, почему ты не в нашей партии?

И Квангель отвечает так, как всегда отвечал на этот вопрос: — Потому что у меня каждый грош на счету, потому что мне семью кормить надо, это мне не по карману!

— Врешь! — орет коричневый. — Потому что ты старый скупердяй. Потому что ничем для фюрера поступиться не хочешь. Велика ли у тебя семья?

И Квангель холодно бросает ему в лицо. — О семье, уважаемый, вы сегодня лучше помолчите. Как раз сегодня я получил известие, что у меня убит сын!

На минуту в зале воцаряется молчание, нацистский чиновник и старый мастер смотрят друг на друга в упор через ряды стульев. Потом Отто Квангель неожиданно садится, словно вопрос исчерпан, а немного погодя садится и коричневый. Снова поднимается директор Шредер и провозглашает «хейль Гитлер!»; зал поддерживает его не слишком дружно. Собрание закрыто.

Пять минут спустя Квангель уже опять у себя в цеху. Чуть подняв голову, медленно переводит он взгляд со строгального станка на ленточную пилу, на рабочих, которые забивают гвозди, сверлят, таскают доски... Но что уже не прежний Квангель. Он чувствует, он знает, что провел их всех. Может быть, провел не совсем красиво, сказав им о смерти сына, но с такими скотами все средства хороши. Нет! почти вслух думает он. Нет, Квангель, прежним ты уже не будешь. Интересно, что Анна скажет. А вряд ли Дольфус вернется в цех. Надо будет сегодня же потребовать замену. Мы отстаем...

Напрасно он беспокоился, Дольфус вернулся в цех. Но вернулся не один, а в сопровождении заведующего отделом, который и заявляет мастеру Квангелю, что техническое руководство цехом остается за ним, но его должность по рабочему фронту передается господину Дольфусу. — Понятно?

— Еще бы не понятно! Дольфус, я рад, что могу передать тебе эти обязанности! Слух у меня слабеет с каждым днем, и подслушивать, как нас сейчас учили, я в таком шуме вообще не могу.

Дольфус кивает головой и шепчет: — О том, что вы там слышали и видели, ни гу-гу, не то...

И Квангель отвечает чуть ли не с обидой: — Да с кем мне разговаривать, Дольфус? Ты видел, чтобы я когда с кем разговаривал? Это мне не интересно, меня только моя работа интересует, а сегодня — уж это я твердо знаю — мы сильно отстали. Пора тебе за работу, ступай на место. — Он смотрит на часы: — Ты уже час тридцать семь минут прогулял!

ГЛАВА 7 Ночной Грабеж

Только поздно вечером, собственно говоря, уже ночью, собственно говоря, уже слишком поздно для того, что было задумано, господин Эмиль Боркхаузен нашел, наконец, в пивной «Второй заезд» нужного ему Энно.

Приятели сели в сторонке за столик и там, за кружкой пива, шопотом завели разговор, разговор такой длительный — и все это за одной единственной кружкой пива, — что хозяин три раза напоминал им, ему-де пора закрывать свое заведение, а им — домой.

На улице оба продолжали свой разговор. Сперва они пошли по направлению к Пренцлауэраллэ, но потом Энно повернул обратно, — он вдруг решил, что, пожалуй, ему все-таки лучше сначала попытаться счастья у одной из своих прежних подруг, которую звали Тутти. Тутти-павиан. Право, это лучше, чем впутываться в грязные истории...

Такая непонятливость разозлила Эмиля Боркхаузена, он чуть не лопнул с досады. В десятый раз убеждал он Энно, убеждал его в сотый раз, что о грязных историях здесь и речи быть не может. Дело идет скорее о почти законной конфискации, с одобрения СС, а потом это же просто старая еврейка, о которой никто и не вспомнит. Подправили бы свои делишки, а полиция и правосудие тут не при чем.

На что Энно снова возразил: нет, от таких дел лучше подальше, на это он не мастер. Женщины — это так, это по его части, и лошади тоже, трижды по его части, а такой дрянью он не занимается. Хотя и прозвали Тутти павианом, а сердце у нее отходчивое. Верно она уже давно позабыла, как выручила его из беды, без собственного ведома предоставив в его распоряжение деньги и продовольственные карточки.

Так добрались они до Пренцлауэраллэ.

Боркхаузен, переходивший от увещаний к угрозам, наконец рассердился и сказал, теребя растрепанный, отвислый ус: — Да какого чорта мне нужно, чтобы ты на такие дела мастер был? Я и сам справлюсь; по мне стой, засунув руки в карманы, и посвистывай. Захочешь, я тебе и гнои чемоданы уложу! Пойми ты, наконец, что эсэсовцы меня надуть могут, только затем ты мне и нужен, вроде как бы свидетелем, чтобы при дележке не обсчитали. Ты только подумай, Энно, сколько у такой богатой еврейки-коммерсантки всякого добра, пускай даже гестапо, когда мужа забирало, малость ее и пообчистило!

И вдруг Энню Клуге пошел за Боркхаузенем без дальнейших протестов и колебаний, сразу. Теперь он торопился на Яблонскиштрассе. Но побудили его преодолеть свои страх и так неожиданно согласиться отнюдь не уговоры Боркхаузена и не надежда на богатую пожизну, а попросту голод. Ему вдруг представилась кла-довая Розенталей, он вспомнил, что у евреев всегда вкусно едят и что нет на свете ничего аппетитнее фаршированной гусиной шеи, которую ему один единственный раз довелось попробовать на обеде у еврея — торговца готовым платьем.

Его голодное воображение разыгралось, ему совершенно явственно представилось, что в кладовой у фрау Розенталь он обязательно найдет как раз такую фаршированную гусиную шею. У него перед глазами так и стояла фарфоровая миска с застывшим жирным соусом, а в соусе — шея, туго набитая и завязанная с обоих концов ниткой. Вот он берет миску, подогревает все целиком на газе, и плевать ему на остальное. Пусть Боркхаузен, что хочет, то и делает, его это не касается. Эх, обмакнуть бы хлеб в теплый, жирный острый соус, а гусиную шею есть прямо руками, так, чтобы жир по пальцам тек.

— Ну-ка, Эмиль, прибавь шагу, мне недосуг!

— Что это тебя вдруг так разобрало? — спросил Боркхаузен, но, по правде говоря, он и сам торопился и охотно прибавил шагу. Он тоже хотел поскорее закончить дело, и ему оно было не по специальности. Он боялся не полиции и не старухи Розенталь — подумаешь, что с ним сделают за то, что он «аризирует» ее добро! Он боялся семьи Перзике. Такая сволочная шайка, с них станется, самым подлым образом надуют, даром что свой. Только из-за Перзике и забрал он с собой этого идиота Энно, может быть, незнакомый свидетель их удержит.

На Яблонскиштрассе все пошло как по маслу. Вероятно, около половины одиннадцатого, открыли они парадную дверь настоящим, честным ключом. Потом послушали, все ли тихо, включили свет на лестнице, сняли башмаки, — чтобы не нарушать покоя спящих жильцов, как насмешливо объяснил Боркхаузен.

Выключив свет, они бесшумно и быстро прокрались наверх, и все прошло гладко и спокойно. Они не сделали ни одного из промахов, свойственных новичкам: ни на что не наткнулись и не загремели, не уронили обуви, ничего, — в полной тишине прокрались они на четвертый этаж. Итак, они блестяще выполнили первую часть программы, хотя ни тот, ни другой не были профессионалами и хотя и тот и другой сейчас волновались, один — главным образом из-за фаршированной гусиной шеи, другой — из-за добычи и семьи Перзике.

Боркхаузен ожидал, что с розенталевской дверью проканителится гораздо дольше, оказалось, что она зашелкнута только на замок и открывается совсем просто, даже на ключ не заперта. Вот ведь легкомысленная женщина, еврейка, а такая неосторожная! Итак, оба вошли в квартиру, не успев даже опомниться, так все быстро произошло.

Боркхаузен без всякого стеснения зажег свет в прихожей; теперь он уже совсем обнаглел: «Пусть старая жидовка только пикнет, я ей морду набью!» — хвалился он, так же как утром хвалился Бальдуру Перзике. Но она не пикнула. И приятели прежде всего, не спеша, огляделись в маленькой прихожей, порядком набитой мебелью, чемоданами и сундуками. Что уж тут говорить, у Розенталей была большая квартира при лавке, ну, если пришлось наспех перебраться оттуда в три комнаты с кухней, как тут не быть тесноте. Оно понятно.

У них уже чесались руки тут же все обшарить, перерыть и начать укладывать чемоданы, но Боркхаузен предпочел все-таки сперва поглядеть, где старуха Розенталь, и на всякий случай заткнуть ей рот платком, чтоб не было неприятностей. Столовая была так заставлена, что по пей с трудом можно было двигаться, и они сразу поняли, что со всем дешевым добром и в десять ночей не управившись, придется выбирать, что лучше. И в другой комнате то же самое, и в спальне. Но только фрау Розенталь они нигде не нашли, кровать стояла нетронутой. Порядка ради заглянул Боркхаузен в кухню и в уборную, но старухи и там не было, — вот, что называется, подвезло, по крайней мере, обойдется без лишних хлопот и работать будет куда спокойнее.

Боркхаузен вернулся в столовую и начал рыться в вещах. Он даже не заметил, что его приятель Энно куда-то исчез. А тот стоял в кладовой, горько разочарованный, потому что там не было фаршированной гусиной шеи, и только несколько луковок и полбулки. И все же он принялся за еду, нарезал лук ломтиками и положил на хлеб, с голодухи и это показалось ему вкусным.

По пока Энно Клуге стоял и ел, взгляд его упал на нижнюю полку, и тут он вдруг увидел, что, если у Розенталей нечего было перекусить, то выпивки у них было вдоволь. Нижняя полка вся была заставлена бутылками здесь было и вино, и водка. Энно, человек, вообще говоря, воздержанный, если только дело не касалось лошадей, забрал с полки бутылку наливки и при-нилгм запивать свои бутерброды с луком глоточками вина. Но бог его знает, как это случилось, только вдруг ему надоело тянуть эту сладкую бурду,

ему, тому самому Энно, который обычно мог сидеть три часа кряду за одним стаканом пива. Теперь он откупорил бутылку коньяка и основательно к ней приложился. За пять минут опорожнил он всю полбутылку. Кто его знает, может быть, от голода или от волнения произошла в нем такая перемена. А есть он совсем перестал.

Под конец ему надоело и пить, и он пошел искать Боркхаузена. Тот все еще возился в столовой, открывал шкафы и чемоданы и выбрасывал оттуда вещи на пол, в поисках того, что поценнее.

— Эх, приятель, да они, видать, весь товар из лавки сюда перетасили! — сказал Энно, подавленный таким изобилием.

— Брось болтать, лучше помоги! — ответил Боркхаузен. — Тут еще где-нибудь наверняка драгоценности и деньги припрятаны, — ведь они богачи были, Розентали-то, миллионщики, а ты говоришь — нестоящее дело, болван ты, да и только.

Некоторое время оба молча работали, то есть выкидывали из шкафов все больше и больше всякого добра, так что ходили уже по платьям, белью, посуде, до того был завален пол. Потом Энно, совсем осовевший от водки, сказал: — У меня туман перед глазами, надо мне сперва выпить, чтобы в голове прояснилось. Принеси-ка коньячку из кладовой, Эмиль.

Боркхаузен без всяких отговорок пошел и вернулся с двумя бутылками водки; в полном согласии уселись они рядышком на белье и, потягивая из бутылок, принялись серьезно и во всех подробностях обсуждать положение.

— Знаешь что, Боркхаузен, со всем этим барахлом только проканителиться, а долго рассиживаться нам здесь тоже не к чему. Возьмем-ка по два чемодана на брата и смотаем удочки. Завтра вечером тоже, небось, ночь будет, так ведь?

— Факт — долго рассиживаться здесь не к чему, хотя бы из-за Перзике.

— А это кто такие?

— Да, так... есть тут такие... Но как подумать, что уйдешь с двумя чемоданами белья, а здесь оставишь чемодан с деньгами и драгоценностями, кажется, сам себе голову оторвать готов. Дай-ка я еще немного но-шарю. За твое здоровье, Энно!

— За твое, Эмиль! Ну что ж, пошарь! Еще целая ночь впереди, а за освещение не нам платить. Только знаешь, что я тебя спрошу: куда ты свои чемоданы денешь?

— Как куда? Что ты хочешь сказать, Энно?

— Ну, куда ты их денешь? Домой?

— Куда же мне их, в бюро находок, что ли, нести? Ясно, домой, к Отти. А завтра с утра — на Мюнцштрассе, и там спущу, а то у меня ветер свистит в кармане.

Энно потер пробкой о горлышко бутылки. — Послушай-ка лучше, как наш соловей свистит! За твое здоровье, Эмиль! Если бы я был не я, а ты, я бы не так, как ты, поступил: домой, да еще к жене — зачем жене знать, когда ты и где подработаешь! Нет, если бы я был ты, я бы поступил так, как я, — сдал бы чемоданы в камеру хранения на Штеттинском вокзале, а квитанцию послал бы сам себе почтой, только до востребования. Тут уж ничего не найдешь и ничего не докажешь.

— Это ты неплохо придумал, Энно, — одобрил Боркхаузен. — А когда ты заберешь свое добро из камеры хранения?

— Ну, когда никакой опасности не будет, тогда заберу. А пока чем жить?

Ну, я ж тебе говорил — пойду к Тутти. Если ей рассказать, какое я дело обстряпал, она меня как гостя примет.

— Факт! согласился Боркхаузен. — Ты на Штет-тинский, а я на Ангальтский. Знаешь, не так заметно.

Неплохо придумал, Эмиль, у тебя тоже котелок варит.

От людей набираешься, — скромно заметал Борк-хаузен. Одного, другого послушаешь. Человек, как корона, всегда учится снова.

Верно! Ну, за твое здоровье, Эмиль!

За твое, Энно! Они молча, любовно смотрели друг на друга и то и дело прикладывались к бутылке. Затем Боркхаузен сказал Энно, обернись, только это не к спеху, за тобой стоит приемник, по меньшей мере десятиламповый. Вот его бы я с удовольствием забрал.

Ну и забирай, тащи его, Эмиль! Радио всегда пригодится и самому, и для продажи! Радио всегда пригодится!

Так давай, посмотрим, нельзя ли засунуть его в чемодан, а вокруг белья напихаем.

— Ты сию минуту хочешь, или, может, сперва выпьем ещё разок?

— Разок выпьем, Энно, но только разок.

Итак, они выпили разок, потом другой, потом третий, а потом кое-как поднялись на ноги и начали с трудом засовывать большой десятиламповый радиоприемник в чемодан, в который он никак не мог уместиться. После нескольких минут усиленной работы Энно сказал: — Не лезет и не лезет, хоть ты что. А ну его к шуту, старого чорта, забирай лучше чемодан с платьем.

— Отти у меня очень радио любит!

— Нечего твоей старухе об этом деле рассказывать. Что ты, Эмиль, очумел?

— А ты со своей Тутти? Да вы оба очумели! Где она, твоя Тутти?

— Да говорю тебе — свистит, свистит соловьем! — и он снова потер влажной пробкой о горлышко бутылки. — Выпьем еще по одной.

— За твое здоровье, Энно!

— А радио я все-таки заберу, — продолжал Боркхаузен. — Если этот старый чорт в чемодан не полезет, я повешу его себе на шею. По крайней мере, руки не будут заняты.

— И то дело! Ну, давай укладываться!

— Давай. Пора!

Но они не двигаются с места и, тупо ухмыляясь, пялят глаза друг на друга.

— Как подумаешь, — опять начинает Боркхаузен, — чем не жизнь! Столько хороших вещей, и мы можем

взять, что угодно, да еще доброе дело сделаем, если отберем у старой жидовки все, что она нахапала...

— Верно, Эмиль, доброе дело сделаем, службу немецкому народу и фюреру сослужим. Вот они — хорошие времена, что он обещал.

— Наш фюрер, Энно, свое слово держит, он слово держит!

Со слезами умиления на глазах смотрят они друг на друга.

— Что вы здесь делаете? — раздается вдруг резкий голос.

Оба вздрагивают и видят в дверях юнца в коричневой форме.

И Боркхаузен медленно и печально кивает Энно: — Это господин Бальдур Перзике, Энно, о котором я тебе говорил! Ну, теперь неприятностей не оберешься.

ГЛАВА 8

Дело Принимает Неожиданный Оборот

Захмелевшие приятели еще не кончили разговора, а уж вся мужская половина семейства Перзике собралась в столовой фрау Розенталь. Ближе всех к Энно и Эмилю стоит щупленький, весь подтянутый Бальдур, в молодежавшей позе, сверкая глазами сквозь стекла очков. Позади — оба старшие брата в черной эсэсовской форме, но без шапок, а поближе к двери, словно не веря в мирный исход этого предприятия, бывший трактирщик старик Перзике. Семейство Перзике тоже выпило как следует, но на них водка оказала совершенно не то действие, что на обоих громил. Они не раскисли, не отупели, не позабыли все на свете. Перзике стали еще круче, еще жадней, еще грубее, чем в трезвом виде.

Бальдур Перзике строго спрашивает: — Ну, скоро этому безобразию конец? Что вы оба здесь расположились, точно у себя дома!

— Но, господин Перзике! — лепечет Боркхаузен виноватым голосом.

Бальдур делает вид, будто только сейчас узнал этого человека.

— Ах, да это Боркхаузен, подвальный жилец из флигеля! — в полном изумлении обращается он к братьям. — Но, господин Боркхаузен, что вы здесь делаете? — И продолжает, глумясь: — А не лучше ли было бы вам поинтересоваться — тем более, что уже поздняя ночь — вашей супругой, драгоценной Отти? Слышал я краем уха, будто она каждую ночь к себе гостей водит, а дети ваши до темна пьяные по двору бегают. Ступайте, уложите детей спать, господин Боркхаузен!

— Неприятности! — лепечет Боркхаузен. — Так я и знал, как только этого гаденыша очкастого увидел. Неприятности, — он опять печально кивает Энно.

Энно Клуге совсем осовел. Он чуть покачивается на ногах, в вяло повисшей руке бутылка; он не осмысливает ни слова из того, что говорится вокруг.

Тут Боркхаузен опять обращается к Бальдуру Перзике. Но уже не оправдывается, а обвиняет, в тоне его звучит глубокая обида. — Если моя жена, господин Перзике, — говорит он, — ведет себя не так, как полагается, — отвечаю за это я. Я законный супруг и отец. И если моих детей когда видали пьяными, так вы тоже пьяны как стелька, а вы от них недалеко ушли, да, вы тоже еще молокосос!

Он злобно смотрит на Бальдура, и Бальдур не спускает с него яростного взгляда. Затем незаметно подает братьям знак.

— А что вы делаете в квартире Розенталей? — строго спрашивает младший Перзике.

— Да все по уговору! — спешит заверить его Боркхаузен. — Все по уговору. Мы с приятелем сейчас уйдем. Мы и так уже собирались уходить. Он на Штеттинский, а я на Ангальтский. По два чемодана на брата. Хватит и на вашу долю.

Он уже едва лепечет, он засыпает стоя.

Бальдур внимательно смотрит на него. Может быть, обойдется без членовредительства, оба друга пьяны в дым. Но осторожность берет верх. Он хватается Боркхаузена за плечо и строго спрашивает: — А это что за человек? Как его зовут?

— Энно, — лепечет Боркхаузен. — Мой приятель Энно.

— А где живет твой приятель Энно?

— Не знаю, господин Перзике. Бутылочное знакомство. Вместе пили, ресторан «Второй заезд»...

Бальдур принял решение. Он неожиданно толкает Боркхаузена кулаком в грудь, и тот, охнув, падает навзничь на мебель и белье. — Скотина! — орет Бальдур. — Как ты посмел меня гадом очкастым обозвать! Сейчас увидишь, какой я молокосос.

Но что толку браниться, они уже ничего не слышат Братья-эсэсовцы подскочили и сильным ударом окончательно вывели обоих из строя.

— Так, — с удовлетворением говорит Бальдур. — Через часок сдадим обоих задержанных грабителей в полицию. А пока снесем вниз все, что нам пригодится. Только потише на лестнице! Я все время прислушивался, но по-моему старик Квангель еще не вернулся с вечерней смены.

Оба брата согласны. Бальдур переводит глаза с оглушенных, окровавленных жертв на чемоданы, белье, радиоприемник. По лицу его расплзается улыбка.

— Ну, папаша, здорово я это дельце обстряпал? — обращается он к отцу. — А ты вечно чего-то трусишь! Видишь...

Но он обрывает свою речь. В дверях стоит не отец, как он полагал, отец исчез, пропал бесследно. На его месте стоит мастер Квангель, человек с острым, холодным птичьим лицом и молча смотрит на него своими темными глазами.

Отто Квангель возвращался пешком после вечерней смены. Несмотря на то, что он задержался из-за простоя в работе, он не сел на трамвай — все лишнее грош в кармане останется — и вот, подходя к дому, он увидел, что, вопреки приказу о затемнении, в квартире фрау Розенталь горит свет. Посмотрев внимательнее, он установил, что и у Перзике, и под ними, у Фрома, тоже горит свет, — шторы чуть светятся по краям. У советника апелляционного суда Фрома, который, неизвестно почему, то ли за выслугой лет, то ли из-за нацистов, вышел на пенсию, всегда далеко за полночь горит свет, так что тут

нечему удивляться. А Перзике, верно, все еще празднуют победу над Францией. Но чтобы старуха Розенталь зажгла свет и совершенно открыто, во всех окнах, — нет, тут что-то неладно. Женщина она робкая, запуганная, не станет она так освещать свою квартиру.

Тут что-то неладно, думал Отто Квангель, открывая парадное и медленно поднимаясь по лестнице. Он, как обычно, не стал зажигать свет — не только в личном обиходе был он прижимист, то есть, скорее непримиримо строг. С той же непримиримой строгостью берег он и чужой грош, в данном случае — хозяйский. Тут что-то неладно! А мне какое дело? Какое мне дело до чужих людей? Я живу сам по себе. Я да Анна. Мы вдвоем. Чего доброго, там наверху гестапо орудует. Вот попал бы. Нет, пойду лучше спать...

Но его непримиримая строгость к себе и другим, которая после Анниного упрека только усилилась и теперь граничила с чувством справедливости, не была удовлетворена столь скудными доводами рассудка. В нерешительности стоял он перед дверью своей квартиры, держа ключи в руках и напряженно прислушиваясь. Дверь в квартиру Розенталей, вероятно, осталась открытой, сверху проникал слабый свет, кроме того, оттуда доносился резкий голос. Старуха совсем одна, вдруг подумал он к собственному удивлению. И ей неоткуда ждать ни помощи, ни спасения.

В эту минуту чья-то невидимая в темноте маленькая, но сильная мужская рука легла Квангелю на плечо и повернула его к лестнице. И чрезвычайно вежливый, приятный голос произнес: — Будьте добры. пройти вперед, господин Квангель. Я иду вслед за вами и появлюсь в нужный момент.

Квангель не колеблясь стал подниматься по лестнице, такая убедительная сила была в этой руке и в этом голосе. Это может быть только старый советник Фром, подумал он. Что за странный человек. За все годы, что я здесь живу, я его, по-моему, и двадцати раз не встретил даже днем, а тут ночью по лестнице бродит!

С такими мыслями он, ни минуты не колеблясь, поднялся наверх и очутился у квартиры Розенталей. Он успел еще заметить, как при его появлении панически метнулся в кухню какой-то грузный человек — по всей вероятности, старик Перзике, — успел он также услышать последние слова Бальдура о здорово обстрипанном дельце и о том, что нечего вечно трусить... И вот оба — Квангель и Бальдур — стоят лицом к лицу и молча глядят в глаза друг другу.

На минуту даже сам Бальдур Перзике решил, что все пропало. Но потом он вспомнил один из своих житейских афоризмов — нахальство выручит — и сказал несколько вызывающе: — Ну, что стоите и удивляетесь? К сожалению, вы немножко опоздали, господин Квангель, грабителей мы задержали и обезвредили. — Он остановился, но Квангель молчал. Бальдур прибавил, тоном ниже: — Один из жуликов как будто Боркхаузен с нашего двора, у него еще жена к себе мужчин водит, а он это терпит.

Взгляд Квангеля последовал за указующим перстом Бальдура. — Да, — сказал он сухо. — Один из жуликов — Боркхаузен.

— А вообще говоря, — неожиданно вмешался Адольф Перзике, — чего вы тут стоите и глазеете? Шли бы в участок и заявили о краже со взломом, чтобы полиция забрала этих молодцов! А мы пока постережем!

— Молчи, Адольф! — сердито цыкнул на него Бальдур. — Какое ты имеешь право приказывать господину Квангелю? Господин Квангель сам знает, что ему делать.

Но в данный момент Квангель этого-то как раз и не знал. Сам он принял бы то или иное решение. Но та рука, что взяла его за плечо, но тот вежливый приятный голос... Он не знал, что задумал старик-советник, чего тот ждал от него. Нарушать его планы Квангель не хотел. Если бы только знать...

И как раз в это мгновение появился на сцену господин Фром, но не из прихожей, как Квангель, а из задних комнат. Словно призрак встал он вдруг среди них, до-смерти перепугав семейство Перзике.

Правду говоря, старик выглядел необычно: изящная, среднего роста фигура в широком иссиня-черном шелковом шлафроке с красными шелковыми кантами, доверху застегнутом на деревянные пуговицы. Борода с проседью и коротко подстриженные белые усы. Редкие, еще не поседевшие, волосы тщательно зачесаны на бледный лоб, но не прикрывают лысины. В венчике мелких морщинок за узкими очками в золотой оправе светятся умные, живые глаза.

— Да, господа, — сказал он непринужденно, как будто продолжая давно начатый и всем чрезвычайно приятный разговор. — Да, господа, фрау Розенталь нет дома. Но, может быть, кто-нибудь из вас, молодые люди, потрудится пройти в уборную. Вашему папаше, кажется, немного не по себе, он все пытается повеситься на полотенце. Я никак не мог его отговорить.

Советник суда улыбается, но старшие братья Перзике и таком испуге выскакивают из комнаты, что это кажется уже почти смешным. Младший Перзике побледнел, спесь разом соскочила с него. Даже он безоговорочно признает превосходство старика-советника, который так неожиданно вошел в комнату и в голосе которого столько прозрения. Тот не только держит себя с чувством собственноручного превосходства, он и на самом деле головой выше остальных. Бальдур Перзике говорит просительно: — Понимаете, господин советник, отец, говоря откровенно, назююкался. Капитуляция Франции...

— Понимаю, отлично понимаю, — прерывает старик-советник и небрежно машет рукой. — Все мы люди, все грешны, но для чего же сразу вешаться? — Минутку он молчит и улыбается. Потом продолжает: — Он, конечно, много чего наговорил, но кто станет обращать внимание на пьяную болтовню. — И снова он улыбается.

— Господин советник! — умоляюще говорит Бальдур Перзике. — Прошу вас, займитесь этим делом! Вы бывший судья, вы знаете, как за него взяться...

— Что вы, что вы, — решительно отклоняет его предложение советник. — Я стар и слаб. — Однако на вид он совсем не стар и не слаб. — А затем я живу отшельником, у меня и связей-то с внешним миром почти не сохранилось. Ведь это вы, господин Перзике, вы и ваши семейные, застали обоих грабителей на месте преступления... Вы передадите их в руки полиции, вы возьмете на себя ответственность за сохранность вещей. Я сейчас при беглом обходе квартиры составил себе общее понятие. Так например, я насчитал семнадцать чемоданов и двадцать один ящик. Ну, и еще кое-что. И еще кое-что.

Он говорит все медленнее и медленнее. И вдруг, как бы невзначай бросает: — Мне думается, что

задержка грабителей принесет вам и вашей семье честь и славу.

Советник суда молчит. Бальдур погружен в раздумье. Можно и так повернуть дело — ну и хитрая лиса этот Фром, все насквозь видит. Отец, конечно, наболтал лишнего, но Фрому свой покой дорог, он не хочет в это дело путаться. С этой стороны опасность не угрожает. А как Квангель, старый мастер Квангель? Никогда он здешними жильцами не интересовался, ни разу ни с кем не поздоровался, ни разу никому слова не сказал. Квангель — это рабочая кляча, он устал, выдохся, у него в голове ни одной живой мысли не осталось. Он побоится лишних хлопот, кто-кто, а уж он совсем не опасен.

Остаются двое пьянчуг, лежащие на полу. Их, конечно, можно передать полиции и отрицать все начисто, если Боркхаузен вздумает болтать о подстрекательстве. Кто поверит его доносам, раз дело касается национал-социалистов, эсэсовцев и руководителя гитлеровской молодежи? А потом сообщить о случившемся гестапо. Как знать, пожалуй, тогда часть вещей можно будет получить законным путем, без всякого риска. Гляди, еще благодарность получишь.

Заманчивый путь, но, пожалуй, другой путь все-таки лучше, — оставить пока все, как есть. Отчитать Боркхаузена и Энно и откупиться от них несколькими марками. Они, конечно, будут молчать. Квартиру запереть в таком виде, как она сейчас, все равно — вернется фрау Розенталь или нет. Увидим, через некоторое время, вероятно, можно будет кое-что придумать — Бальдур твердо убежден, что к евреям применят еще более крутые меры. Нечего пороть горячку. Через полгода уже будет возможно то, что сейчас не пройдет. Сейчас Перзике себя немножко скомпрометировали. Мер против них не примут, но разговор в официальных кругах пойдет.

Бальдур Перзике говорит: — Я отпустил бы этих стервецов. Мне их жаль, господин советник. Ну, кто они — мелкие воришки...

Он оглядывается, он один. И советник суда, и мастер ушли. Так он и предполагал: не хотят ввязываться. Умнее ничего не придумаешь. И самому надо так же действовать, пусть братья лаются, сколько влезет.

С глубоким вздохом, относящимся ко всем прекрасным вещам, с которыми приходится расставаться, идет Бальдур на кухню, чтобы привести в чувство отца и убедить братьев пожертвовать тем, что уже в руках.

А между тем на лестнице советник обращается к мастеру Квангелю, который, не говоря ни слова, вышел вслед за ним. — Если у вас, господин Квангель, будут какие-нибудь неприятности из-за фрау Розенталь, скажите мне. Спокойной ночи.

— Какое мне дело до Розенталь? Я с нею незнаком! — протестует Квангель.

— Итак, спокойной ночи, господин Квангель!

И советник суда Фром уже спускается к себе домой.

Отто Квангель отпирает дверь в свою неосвещенную квартиру.

ГЛАВА 9 Ночной Разговор У Квангелей

Как только Квангель отворил дверь в спальню, жена испуганно крикнула: — Не зажигай огня, отец! Трудель спит на твоей кровати. Тебе я постелила на диване в столовой.

— Ладно, Анна, — отвечает Квангель, удивляясь такому новшеству. Почему это Трудель понадобилось лечь на его кровать? Обычно она спит на диване.

Но следующие слова он произносит только уже раздевшись и накрывшись одеялом. Он спрашивает: — Анна, ты хочешь спать, или еще поговорим немного?

Она колеблется, потом отвечает через открытую дверь: — Я так устала, Отто, досмерти устала!

Значит, еще сердится, и за что? думает Отто Квангель, но говорит все тем же тоном: — Ну, тогда давай спать, Анна. Спокойной ночи!

И с ее кровати слышится в ответ: — Спокойной ночи, Отто!

И Трудель тоже тихонько шепчет: — Спокойной ночи, отец!

— Спокойной ночи, Трудель! — отвечает он и поворачивается на бок с одним желанием — поскорее заснуть, потому что он очень утомился. Но, видимо, он переутомился, как бывает иногда — переголодаешь. Сон не приходит. Сегодня он прожил длинный день, полный бесчисленных событий, день, каких еще, в сущности, не было в его жизни.

Не дай бог еще таких дней. Уж не говоря о том, как ему были тяжелы все эти события, ему ненавистны суета, необходимость разговаривать со всякими людьми, которые все вместе ему осточертели. И он думает об извещении полевой почты, принесенном фрау Клуге, думает о шпике Боркхаузене, который так грубо хотел поймать его на удочку, о свидании с Трудель в коридоре на швейной фабрике, о шелестящем на сквозняке объявлении, к которому Трудель прижималась лбом. Он думает о мнимом столяре Дольфусе, который вечно торчит в уборной и курит... Снова звякают медали и значки на груди у коричневого оратора... А вот из темноты возникает сильная, маленькая рука господина Фрома и подталкивает его к двери... А вот младший Перзике в до блеска начищенных сапогах стоит прямо на белье, он лепечет что-то невнятное, а в углу хрипят и стонут двое пьяных, с разбитыми в кровь лицами...

Внезапно он вздрагивает, он чуть было действительно не заснул. Но еще что-то не дает ему сегодня покоя, что-то, что он ясно слышал, а потом забыл. Он садится на диване и долго старательно прислушивается. Так и есть, он не ошибся. Властно зовет он: — Анна!

Она отвечает жалобным, непривычным для нее тоном: — Ну, чего ты снова мне спать не даешь, Отто? Когда же ты наконец успокоишься! Я же тебе сказала, что не хочу больше разговаривать!

Он продолжает: — Почему это я должен на диване спать, если Трудель спит с тобой на одной кровати? Моя-то кровать свободна?

На минуту в спальне воцаряется глубокая тишина, затем жена говорит умоляющим голосом: — Что ты, отец, Трудель спит на твоей кровати. Я лежу одна, у меня все кости ноют...

Он перебивает: — Не лги, Анна. Вас там трое дышат, я отлично слышу. Кто спит на моей постели?

Молчание, долгое молчание. Затем жена решительно отвечает: — Не спрашивай. Чего не знаешь, о том не страдаешь. Помолчи лучше, Отто!

Но он не сдается: — Здесь я хозяин. Здесь от меня нет секретов. Потому что мне за все отвечать, вот почему. Кто спит на моей кровати?

Долгое, долгое молчание. Затем старческий, глухой женский голос лепечет: — Это я, господин Квангель, я, фрау Розенталь. Я не хочу, чтобы вы с женой из-за меня пострадали, я одеваюсь. Сейчас уйду к себе наверх.

— Вам сейчас нельзя к себе в квартиру, фрау Розенталь. Там наверху все Перзике и еще двое молодцов. Оставайтесь, спите на моей постели. А завтра чуть свет, часов в шесть, в семь, вы спуститесь к старому советнику Фрому и позвоните к нему. Он вам поможет, он мне сам сказал.

— Большое вам спасибо, господин Квангель.

— Не мне спасибо, а советнику. Я просто выставляю вас из своей квартиры. Ну, а теперь твой черед, Трудель...

— Мне тоже уходить, отец?

— Да, тебе тоже. Сегодня ты к нам в последний раз пришла, сама знаешь, почему. Может, Анна тебя и навестит, хотя не думаю. Когда она опять опомнится, да когда я с ней поговорю по-настоящему...

Жена почти кричит на него: — Этого я не допущу, тогда я тоже уйду. Оставайся один в своей квартире! Тебе только твой покой дорог...

— Правильно! — резко прерывает он ее. — Я не потерплю у себя в доме ничего сомнительного, а главное, я не хочу ввязываться в чужие сомнительные дела. Не хочу отвечать головой за чужие глупости, уж если отвечать, так за то, что сам задумал, что сам сделал. Я не говорю, что я что-то сделаю. Но если сделаю, так только вместе с тобой, Анна, с тобой и больше ни с кем. Даже с такой славной девушкой, как Трудель, даже с фрау, Розенталь, хоть она и старая, беззащитная женщина, не хочу дела иметь. Я не говорю, что поступаю правильно. Но иначе я не могу. Какой я есть, таким и останусь. Ну, а теперь давайте спать!

И Отто Квангель снова улегся. В спальне еще тихонько шепчутся, но это ему не мешает. Он уверен: все будет так, как он сказал. Завтра утром в квартире у него опять водворится порядок, и Анна успокоится. Больше никаких сомнительных историй. И он один. Он сам по себе. Только он!

Он засыпает, и если бы кто посмотрел сейчас на спящего Квангеля, он увидел бы на его лице улыбку, мрачную улыбку на жестком, сухом птичьем лице, мрачную, решительную, но не злую.

ГЛАВА 10

Что Случалось В Среду Утром

Все рассказанное произошло во вторник. А в среду, чуть свет, между пятью и шестью утра, фрау Розенталь в сопровождении Трудель Бауман, ушла из квартиры Квангеля. Старик мастер крепко спал. Трудель проводила беспомощную, запуганную фрау Розенталь с желтой звездой на груди почти до квартиры советника Фрома. Затем она поднялась на несколько ступеней, твердо решив, в случае надобности, защитить эту женщину от любого из братьев Перзике, даже если придется заплатить за это жизнью и честью.

Трудель постояла, пока фрау Розенталь нажала на кнопку звонка. Дверь открылась почти тотчас же, словно за дверью кто-то поджидал. Послышался шопот, затем фрау Розенталь вошла, дверь защелкнулась на замок, и Трудель Бауман спустилась мимо квартиры советника Фрома и вышла на улицу. Парадное было уже отперто.

Обеим женщинам повезло. Несмотря на то, что час был ранний, а вставать рано не было в обычае у Перзике, оба эсэсовца только пятью минутами раньше вышли из дому. Если бы не эти пять минут, не избежать бы встречи, которая при животной тупости и жестокости обоих братьев могла оказаться роковой, во всяком случае, для фрау Розенталь.

Эсэсовцы вышли тоже не одни. Их братец Бальдур приказал им развести по домам Боркхаузена и Энно Клуге (Бальдур успел уже просмотреть его документы). Оба громилы-любителя все еще не пришли в себя после чрезмерного потребления спиртного и полученной взбучки. Все же Бальдур удалось втолковать им, что они вели себя по-свински и что только безграничное человеколюбие помешало братьям Перзике тут же передать их в руки полиции, куда они неминуемо попадут, если не будут держать язык за зубами. Кроме того, пусть раз навсегда забудут дорогу к Перзике, да и вообще забудут об их существовании. Если же они посмеют еще раз забраться к Розентальше, их немедленно передадут гестапо.

Все это Бальдур повторял много раз и всякий раз с бранью и угрозами, так что под конец его слова как будто крепко застряли в их затуманенном мозгу. Они сидели у Перзике в полутемной квартире, за столом друг против друга, и покорно слушали Бальдура, который безумолку трещал, грозил, поблескивал стеклами очков. На диване, попыхивая папиросами, разлеглись, братья эсэсовцы, здоровенные, мрачные детины. У Боркхаузена и Энно было смутное ощущение, будто они стоят перед судом и ждут приговора, будто им грозит смерть. Еле удерживаясь на своих стульях, они старались понять то, что им предлагалось понять. Время от времени они клевали носом, и тогда Бальдур будил их сильным ударом кулака. Все, что они задумали, проделали, вытерпели этой ночью, казалось им каким-то нереальным сном, им хотелось одного — чтобы их оставили в покое.

Наконец Бальдур отправил их по домам в сопровождении своих братьев. В кармане и у Боркхаузена и у Клуге, хотя они о том и не подозревали, лежало марок по пятидесяти мелкими бумажками. Бальдур решил на эту новую мучительную жертву, превратившую «операцию Розенталь» в явно убыточное для Перзике предприятие — во всяком случае, на неопределенное время. Но он рассудил, что если мужья придут к женам пьяные, без гроша в кармане, избитые, то крику и расспросов будет куда больше, чем если они принесут домой хоть сколько-нибудь денег. А судя по состоянию мужей, жены обязательно

должны найти эти деньги.

Старший Перзике, которому поручено было доставить домой Боркхаузена, в десять минут справился со своей задачей, в те самые десять минут, за которые фрау Розенталь успела попасть в квартиру к Фрому, а Трудель Бауман выйти на улицу. Эсэсовец попросту схватил за шиворот едва державшегося на ногах Боркхаузена, поволок его через двор, посадил на землю перед его собственной квартирой и забарабанил кулаком в дверь, чтобы разбудить домашних. Жена Боркхаузена в испуге отшатнулась при виде грозного эсэсовца, который грубо крикнул ей: — Получай своего красавца! Уложи в постель, пусть проспится! Валяется пьяный у нас в подъезде, всю лестницу заблевал!

И он ушел, предоставив Отти остальное. Прежде, чем она раздела Эмиля и уложила его в постель, ей пришлось порядком намучиться; хорошо еще, что помог пожилой приличный господин, засидевшийся у нее до утра. Впрочем, она тут же его выпроводила несмотря на ранний час. И приходит запретила раз и навсегда, где-нибудь в кафе еще, пожалуй, можно будет встретиться, но здесь — и думать нечего.

Дело в том что Отти, увидев у своей двери эсэсовца Перзике, впала в панический страх. В сотый раз давала она себе торжественное обещание исправиться. Решение это показалось ей несколько легче, когда она обнаружила в кармане у Эмиля сорок восемь марок. Она спрятала деньги в чулок и решила подождать, чтобы муж сам рассказал о своих злоключениях. А о деньгах пока помалкивать.

Задача, стоявшая перед вторым братом Перзике, оказалась значительно более трудной, хотя бы уже потому, что путь им предстоял гораздо более длинный, так как Клуге жили в Фридрихсхайне. Энно так же плохо держался на ногах, как и Боркхаузен, но Перзике не мог волочить его по улице за шиворот или за руку. Да и вообще эта прогулка в обществе избитого пьяного человека была мало приятна молодому эсэсовцу, ибо чем меньше он ценил собственную честь и честь своих близких, тем выше ставил честь мундира.

Совершенно бесполезно было приказывать Клуге идти на шаг впереди или позади себя, — и в том и в другом случае он обнаруживал одинаковое стремление сесть на землю, споткнуться, обнять дерево, схватиться за стену или налететь на прохожего. Ни кулаки, ни окрики не помогали, а дать ему здоровую взбучку, которая его, пожалуй, и отрезвила бы, не представлялось возможности, на улицах было уже людно. Пот выступил на лбу у Перзике. Стиснув дрожащие от злобы челюсти, он давал себе слово раз навсегда посчитаться с гаденышем Бальдуром за все его милые поручения.

Избегая шумных улиц, он тащился в обход по тихим переулкам. Там он забирал Клуге в охапку и нес его два-три квартала, пока не выбивался из сил. Много крови испортил ему шуцман, которому, видимо, показался подозрительным такой несколько насильственный способ утренней доставки домой, он шел за ними по пятам через весь свой участок, вынуждая тем самым Перзике к мягкому и предупредительному обращению с Энно.

Но едва они дошли до Фридрихсхайна, он за все отплатил с лихвой. Посадив Клуге на укромную скамейку за кустом, он так его отделал, что тот минут десять лежал в беспамятстве. Этот тщедушный любитель скачек, который не интересовался ничем на свете, кроме скаковых лошадей, впрочем, знакомых ему только по газетным снимкам, этот мозгляк, не способный ни на любовь, ни на ненависть, этот лентяй, напрягавший все способности своего жалкого умишка на изобретение способов, как лучше отвертеться от всего, что требует труда и усилий, этот невзрачный, невзыскательный, бесцветный человечико Энно Клуге, после столкновения с семейством Перзике, на всю жизнь сохранил страх перед эсэсовской формой, и с той поры при каждой встрече с эсэсовцем все в нем замирало от страха.

Два-три хороших тумака в бок поставили его на ноги, два-три хороших удара в спину привели в движение, и робко, как побитый пес, затрусил он впереди своего мучителя. Так дошли они до дома, где жила фрау Клуге. Но дверь в квартиру оказалась на замке: почтальон Эва Клуге, за ночь мучительно пережившая крушение материнских надежд, а вместе с тем и крушение всей своей жизни, уже принялась за ежедневную работу, в сумке у нее было письмо к младшему сыну Максусу, но на сердце ни надежды, ни веры. Она как и все эти годы разносила письма, это было все-таки легче, чем сидеть дома и терзаться мрачными мыслями.

Убедившись, что жены Энно действительно нет дома, Перзике позвонил в соседнюю квартиру, случайно это оказалась квартира той самой фрау Геш, которая накануне вечером помогла Энно обманом пробраться в квартиру жены. Он пихнул Энно прямо в объятия соседки, открывшей им дверь, сказал: — Получайте! Сдаю вам с рук на руки, он ведь, кажется, здешний! — и ушел.

Фрау Геш твердо решила никогда больше не вмешиваться в дела семьи Клуге. Но так велика была власть, данная эсэсовцам, и так велик страх перед ними всякого немца, что она беспрекословно впустила Энно Клуге в квартиру, посадила в кухне за стол и поставила перед ним кофе и хлеб. Муж ее уже ушел на работу. Фрау Геш отлично видела, в каком беспомощном состоянии этот заморыш, по его лицу, по разорванной рубашке, по заляпанному грязью пальто она догадывалась, где его так обработали. Но раз Энно Клуге был передан ей эсэсовцем, она боялась расспрашивать. Скорее она выставила бы его за дверь, чем согласилась бы выслушать рассказ о его злоключениях. Она не хотела ничего знать. Когда ничего не знаешь, не можешь и дать показаний, не можешь сболтнуть лишнего, проговориться, словом, не можешь повредить себе самой.

Клуге, медленно жуя, ел хлеб, пил кофе, а по лицу его от боли и изнеможения катились крупные слезы. Фрау Геш молча украдкой поглядывала на него. Потом, когда он кончил есть, спросила: — Ну, а теперь вы куда думаете? Жена вас не пустит, сами знаете!

Он не ответил, он молча глядел прямо перед собой.

— А у меня тоже нельзя. Во-первых, Густав не позволит, а потом и я не могу все от вас записать. Ну, так куда же вы надумали?

Он опять ничего не ответил.

Геш вспыхнула: — Молчите — так я выставлю вас за дверь, прямо на лестницу! Сию же минуту! Ну?

Он с трудом выдавил: — Тутти, давнишняя моя знакомая... — И снова заплакал.

— Господи, вот ведь плакса! — презрительно сказала фрау Геш. — Я же не хнычу, когда туго

приходится! Ну, ладно, Тутти так Тутти. Как ее по-настоящему-то звать и где она проживает?

После долгих расспросов и угроз она наконец выяснила, что Энно Клуге не знает настоящего имени Тутти, но что он может, пожалуй, найти ее дом.

— Ладно! — сказала фрау Геш. — Одному вам в таком виде нельзя на улицу. Первый же шуцман заберет. Лучше уж я сама вас отведу. Но если окажется, что дом не тот, брошу среди улицы. Нет у меня времени чужие квартиры разыскивать, работы пропасть!

Он захныкал: — Дайте сперва хоть минуточку поспать!

После некоторого колебания она согласилась: — Но не больше часа! Через час подыму! Ступайте, ложитесь на диван, я вас укрою!

Не успела она принести ему одеяло, как он уже крепко заснул...

Старый советник верховного суда Фром сам открыл дверь фрау Розенталь. Он провел ее к себе в кабинет, стены которого были сплошь уставлены книжными полками, и там усадил в кресло. На столе горела лампа, лежала открытая книга. Господин Фром сам принес поднос с чайником, чашкой, в которую уже был положен сахар, и двумя тоненькими ломтиками хлеба и сказал перепуганной женщине: — Сперва позавтракайте, а потом уже поговорим! — И когда она хотела его поблагодарить, приветливо повторил: — Нет, пожалуйста, сперва позавтракайте. Не стесняйтесь, будьте как дома, и я тоже не буду стесняться!

С этими словами он взял книгу, лежавшую около настольной лампы, и погрузился в чтение; читая, он свободной левой рукой совершенно машинально поглаживал сверху вниз свою седенькую бородку. Казалось, он совсем забыл о госте.

Старая запуганная женщина понемногу успокоилась. Уже несколько месяцев жила она в постоянном страхе, среди разгрома, среди запакованных вещей, каждую минуту ожидая самого жестокого насилия. Уже несколько месяцев не знала она ни уюта, ни покоя, ни мира, ни радости. И вот она сидела здесь, у господина Фрома, которого до того и на лестнице-то почти не встречала. Со стен глядели на нее светло- и темнокоричневые кожаные корешки бесчисленных книг. У окна стоял большой письменный стол красного дерева, вроде того, что был у них самих в первые годы брака, на полу лежал чуть потертый цвикауский ковер. А за столом читал книжку старый господин Фром, читал и все время поглаживал свою козлиную бородку, какую часто носят евреи, старик в длинном шлафроке, чем-то напоминавшем долгополый сюртук ее отца.

Словно по мановению волшебной палочки сгинул мир грязи, крови и слез, и она перенеслась в те добрые времена, когда они еще были всеми уважаемые, почтенные люди, а не гонимые парии, уничтожать которых долг каждого.

Невольно пригладила она волосы, выражение лица стало другим. Значит, есть еще мирные уголки на земле, даже здесь, в Берлине.

— Я очень вам благодарна, господин советник, — сказала она. Даже голос ее звучал иначе, увереннее.

Он быстро поднял глаза от книги. — Пожалуйста, пейте чай, пока он не остыл, и кушайте хлеб. Времени у нас много, торопиться некуда.

И он опять погрузился в книгу. Покорно выпила она чай и съела хлеб, хотя гораздо охотнее поговорила бы с ним. Но она хотела во всем быть покорной воле советника суда, она не хотела нарушать покой его жилища. Она опять осмотрелась. Нет, здесь все должно остаться по-старому. Зачем подвергать опасности этот дом. (Три года спустя этот дом разлетелся на мельчайшие частицы от взрыва фугаски, а старый холеный господин советник умер в подвале медленной и мучительной смертью...)

Она сказала, ставя на поднос пустую чашку: — Вы очень добры ко мне, господин советник, вы мужественный человек. Но я не хочу напрасно подвергать опасности вас и ваш дом. Все равно мне ничто не поможет. Я вернусь к себе.

Пока она говорила, советник Фром внимательно глядел на нее, когда же она поднялась, он усадил ее обратно в кресло. — Присядьте еще на минуточку, фрау Розенталь.

Она неохотно подчинилась: — Господин советник, я право же говорю серьезно.

— Будьте добры, выслушайте сперва меня. Я тоже говорю с вами серьезно. Что касается опасности, которую вы можете навлечь на меня, то при исполнении своих служебных обязанностей я постоянно подвергался опасности. У меня есть повелительница, и ей я подчиняюсь, она управляет мною, вами, миром, даже теперешним миром там, на фронте, и эта повелительница — Справедливость. В нее я верил, верю и сейчас. Справедливость избрал я своей путеводной звездой.

Он медленно ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, все время оставаясь в поле зрения фрау Розенталь. Слова спокойно и бесстрастно слетали с его уст, он говорил о себе, как о бывшем, собственно, уже давно не существующем человеке. Фрау Розенталь напряженно вслушивалась в каждое слово.

— Однако, — продолжал советник суда, — я говорю о себе, вместо того чтобы говорить о вас, дурная привычка всех одиноких людей. Извините, я позволю себе еще несколько слов об опасности. Я получал письма с угрозами в течение десяти, двадцати, тридцати лет... И что же, фрау Розенталь, я уж старик и все еще сижу здесь и читаю своего любимого Плутарха. Опасность для меня пустое слово, я ее не боюсь, она не трогает ни моего ума, ни моего сердца. Не говорите мне об опасности, фрау Розенталь...

— Но сейчас это другие люди, — возразила фрау Розенталь.

— А разве я вам не сказал, что угрозы и тогда исходили от преступников и их сообщников? Ну, так видите! — Он чуть улыбнулся. — Это не другие люди. Просто их теперь побольше, а все прочие теперь потрусливее, справедливость же осталась все та же, и я надеюсь, что мы с вами еще доживем до ее торжества. — Он выпрямился и на минуту остановился. Затем снова зашагал из угла в угол. Он сказал совсем тихо: — И торжество справедливости не будет торжеством нынешнего немецкого народа!

Минутку он помолчал, затем продолжал более спокойным тоном. — Вернуться к себе в квартиру вам нельзя. Этой ночью там хозяйничали Перзике, знаете, нациста, что живут надо мной. У них есть ключ от вашей двери, теперь вы никогда не будете спокойны у себя в квартире. Там вы действительно подвергаете себя совершенно ненужной опасности.

— Но мне надо быть дома, когда вернется муж! — взмолилась она.

— Ваш муж, — сказал советник суда ласково, — ваш муж временно не может вернуться домой. В данный момент он находится под следствием, в тюрьме Моабит, по обвинению в сокрытии долгов ваших заграничных контрагентов. Значит, ему не угрожает никакая опасность до тех пор, пока удастся поддержать интерес к этому делу государственной прокуратуры и налогового управления.

Старый советник улыбнулся, приветливо посмотрел на фрау Розенталь и снова принялся шагать из угла в угол.

— Откуда вы это знаете? — воскликнула фрау Розенталь.

Он сделал успокоительный жест рукой.

— До бывшего судьи всегда доходит то одно, то другое, даже если он и в отставке. Вам, верно, также будет интересно узнать, что у вашего мужа очень хороший адвокат и что господин Розенталь находится в более или менее сносных условиях. Фамилии и адреса адвоката я вам не скажу, он не хочет, чтобы его беспокоили в связи с этим делом...

— А нельзя ли мне повидать мужа в тюрьме? — взволнованно воскликнула фрау Розенталь. — Я отнесу ему чистое белье — ведь там некому ему постирать!

И туалетные принадлежности, и, может быть, чего-нибудь поесть...

— Дорогая фрау Розенталь, — сказал советник суда и решительно положил ей на плечо свою стариковскую, покрытую пятнами руку с вздутыми синими венами. — Вы так же не можете навестить своего мужа, как и он вас. Ваше посещение ему не поможет, все равно к нему вас не пустят, а вам оно повредит.

Он посмотрел на нее. В глазах его уже не было улыбки, и голос звучал строго. Она поняла, что этот невысокий, приветливый, благожелательный человек был послушен какому-то внутреннему неумолимому закону, вероятно, той самой справедливости, о которой только что говорил.

— Фрау Розенталь, — сказал он тихо, — вы моя гостья до тех пор, пока будете соблюдать правила гостеприимства, которые я сейчас изложу вам в нескольких словах. Вот первая заповедь гостеприимства: как только вы вздумаете действовать самостоятельно, как только дверь этой квартиры захлопнется за вами, хотя бы только один раз, один единственный раз, больше уже она для вас не откроется, ваше имя, имя вашего мужа навсегда изгладятся из моей памяти. Вы меня поняли?

Он провел рукой по лбу, он смотрел на нее пронизывающим взглядом.

Она тихонько шепнула: — Да.

Только теперь снял он руку с ее плеча. Его потемневшие, ставшие строгими глаза опять посветлели, он снова не спеша зашагал из угла в угол. — Прошу вас, — продолжал он уже не так строго, — днем не выходить из комнаты, в которую я вас сейчас отведу, и не садиться у окна. На мою прислугу, правда, положиться можно, но... — он замолчал, словно чем-то недовольный, и взгляд его устремился к лежавшей под лампой книге. Он продолжал. — Попробуйте сделать, как я — превратить день в ночь. Я буду ежедневно снабжать вас снотворным. Еду буду приносить ночью. Может быть, вы сделаете мне одолжение и последуете сейчас за мной?

Она вышла за ним в коридор. Опять она была смущена и испугана, ее гостеприимный хозяин совершенно изменился. Но она вполне здраво убеждала себя, что старик-советник больше всего ценит покой и отвык от общения с людьми. Она утомила его, он скучал по своему любимому Плутарху, кто бы этот Плутарх ни был.

Советник открыл перед ней дверь, включил свет. — Шторы спущены, — сказал он. — Окна затемнены, пожалуйста, так и оставьте, а то вас могут увидеть со двора. Думаю, что вы найдете здесь все необходимое.

Он подождал минутку, пока она осмотрится в этой светлой, веселой комнате, с мебелью карельской березы, с туалетным столиком на высоких ножках, уставленным всякими безделушками, с кроватью под пестрым ситцевым пологом. Сам он смотрел на комнату так, словно уже давно ее не видел. Потом сказал чрезвычайно серьезно: — Это комната моей дочери. Она умерла в 1933 году — не здесь, нет, не здесь. Пусть это вас не пугает.

Он быстро подал ей руку. — Комнату запирать я не буду, фрау Розенталь, — сказал он, — но прошу вас сейчас же самой запереться изнутри. Часы у вас есть? Хорошо. В десять вечера я постучу к вам. Спокойной ночи!

В дверях он еще раз оглянулся. — В ближайшее время вы будете целыми днями одна, наедине с собой. Постарайтесь к этому привыкнуть. Одиночество может быть большим благом. И помните, важен каждый уцелевший человек, и вы тоже, именно вы. Не забудьте запереться.

Он вышел так тихо, так тихо притворил за собой дверь, что было уже слишком поздно, когда она спохватилась, что не пожелала ему спокойной ночи, не поблагодарила. Она быстро пошла к двери, но, не дойдя, передумала. Она только заперлась на задвижку и села тут же у двери, она еле держалась на ногах. Из зеркала с туалетного столика глядело на нее бледное, распухшее от слез и бессонницы лицо. Она медленно, угрюмо кивнула этому лицу.

Это ты, Сара, отозвалось что-то в ней. Ты была Лорой, теперь тебя называют Сарой. Ты была энергичной, предприимчивой женщиной, ты всегда работала. Ты родила пятерых детей. Одна живет теперь в Дании, другая — в Англии, двое в США, и один лежит здесь на еврейском кладбище неподалеку от Шэнхаузераллэ. Я не сержусь, пусть они называют тебя Сарой. Лора все больше и больше превращается в Сару; сами того не подозревая, сделали они меня подлинной дочерью моего народа. Он добрый, умный старик, но он чужой, такой чужой... Нет, я не могу по-настоящему говорить с ним, как бывало с Зигфридом. Мне кажется, он холодный. Хоть и добрый, а холодный. Сама доброта его какая-то холодная. Это сделал закон, которому он повинует. Справедливость. Я всегда повиновалась одному закону: любить детей и мужа и помогать им в жизни. И вот я сижу здесь, у господина Фрома, и все, что было мною, отошло от меня. Вот оно — то одиночество, о котором он говорил. Сейчас нет еще и половины седьмого, а до десяти вечера я его не увижу. Пятнадцать с половиной часов, одна, наедине с собой, —

что нового предстоит мне узнать о себе, чего я еще не знаю? Мне страшно, мне так страшно. Я боюсь, что буду кричать, что даже во сне буду кричать от страха. Пятнадцать с половиной часов! Неужели он не мог посидеть со мной хоть полчаса! Но он торопился к своей старой книге. При всей его доброте люди для него ничто, для него важна только справедливость. Не ради меня сделал он это, но потому что она потребовала. А мне было бы дорого, если бы он сделал это ради меня!

Она медленно кивает головой зеркалу, в котором отражается многострадальное лицо Сары. Она переводит глаза на кровать. Спальня моей дочери. Она умерла в 1933 году. Не здесь! Не здесь! вдруг доходит до ее сознания. Она вздрагивает. Как он это сказал... Несомненно, в смерти дочери повинны тоже они, но он никогда этого не скажет, и я никогда не решусь спросить. Нет, и не могу спать в этой комнате, она такая страшная, нежилая. Я хочу в комнату для прислуги, я хочу лечь в постель, еще теплую от живого человеческого тела, Здесь мне ни за что не уснуть, здесь можно только кричать от страха...

Она перебирает флаконы и коробочки на туалетном столике. Высохший крем, пудра, свалевшаяся в крупинки, позеленевшие футляры с губной помадой — а ее уже нет в живых с 1933 года. Семь лет. Я должна что-то делать. Ведь это же страх, страх не дает мне покоя. Тут, в этом мирном пристанище, опять во мне ожил страх. Я должна что-то делать. Я не могу оставаться одна, наедине с собой.

Она порылась в сумочке. Нашла бумагу и карандаш. Напишу детям. Герде в Копенгаген, Эве в Ильфорд, Бернарду и Стефану в Бруклин. Но какой смысл? Почта не ходит, война. Напишу Зигфриду, как-нибудь изловчусь, передам ему письмо в Моабит. Если на здешнюю служанку действительно можно положиться... советнику суда незачем об этом знать, а ей я дам денег или какую-нибудь вещицу. У меня еще многое есть...

И это тоже достала она из сумочки, положила перед собой — деньги, сложенные пачками, драгоценности. Она взяла в руки браслет. Зигфрид подарил мне его за рождение Эвы. Мои первые роды. Я очень тогда намучилась. Как он смеялся, когда увидел ребенка, даже живот трясся у него от смеха. Все смеялись, такая это была девочка, вся головка в черных локончиках, губастенькая, все говорили — белый негритенок. А мне Эва казалась красавицей. Тогда он и подарил мне браслетку. Она очень дорого стоила, он отдал за нее всю недельную выручку от дешевой распродажи белья. Я так гордилась, что стала матерью. Что значила для меня тогда браслетка! Теперь у Эвы своих три дочери, Гарриэт уже девять лет. Вспоминает ли она меня там, у себя, в Ильфорде? А если и вспоминает, разве она может представить себе свою мать здесь, в этой покойницкой, у судьи Фрома, которому во всем мире дорога только справедливость... представить мать одну, наедине с собой...

Она положила браслет, взяла кольцо. Весь день просидела она над своими вещами, разговаривая сама с собой, цепляясь за прошлое, стараясь забыть, кем она стала теперь.

Иногда к сердцу подступал безумный страх. Раз она даже бросилась к двери, она говорила себе: если бы знать, что они не будут долго мучить, что все кончится сразу, без боли, я бы пошла к ним, я не вынесу этого ожидания, тем более что это совершенно бесцельно. Все равно рано или поздно они до меня доберутся. Почему важен каждый уцелевший, почему важно, чтоб уцелела я? Дети будут вспоминать меня все реже, а внуки вовсе позабудут, Зигфрид тоже скоро умрет в Моабите. Не понимаю, что хотел этим сказать советник, сегодня вечером спрошу его. Но он, верно, только улыбнется и скажет что-нибудь такое, от чего не станет легче, ведь я же пока еще живой человек, с живым сердцем и чувствами, я, Сара, состарившаяся Сара.

Она оперлась рукой о туалетный столик, хмуро разглядывает она свое лицо, испещренное сетью морщинок, которые прорезали забота, страх, ненависть и любовь. Затем возвращается к своим драгоценностям. Чтоб убить время, она несколько раз пересчитывает деньги, раскладывает их по сериям и номерам. Время от времени прибавляет фразу в письме к мужу. Но письма так и не получилось, всего несколько вопросов, как его содержат, чем кормят, нельзя ли переслать ему белье. Мелкие, незначительные вопросы. И что ей живется хорошо. Что ей не грозит никакая опасность.

Ну, какое же это письмо, бессмысленная, никчемная болтовня, да к тому же еще и неправда. Опасность ей грозит. Еще ни разу за последние страшные месяцы не чувствовала она так определенно, что ей грозит опасность, как сейчас в этой тихой комнате. Она знает, здесь она неизбежно станет другой, здесь ей не уйти от себя. И она боится того, что будет другой. Может быть, тогда ей придется вынести еще более страшные муки, ведь и так уже помимо собственной воли стала она из Лоры Сарой.

Потом она все же легла на кровать, и когда около десяти вечера приютивший ее человек постучал к ней в дверь, она спала так крепко, что ничего не услышала. Он осторожно открыл дверь, повернув ключом задвижку, увидел спящую, улыбнулся, кивнул головой. Он принес из кухни поднос с едой, поставил его на стол и опять улыбнулся, когда, чтобы поставить поднос, ему пришлось отодвинуть деньги и драгоценности. На цыпочках вышел он из комнаты, закрыл дверь на задвижку, не разбудил фрау Розенталь...

Так и случилось, что за первые три дня «сидения под охраной» фрау Розенталь не видала ни одной живой души. По ночам она спала, а проснувшись, мучилась весь день страхом. На четвертые сутки в полубезумном состоянии, она все же кое-что предприняла.

ГЛАВА 11

Все Еще Среда

Фрау Геш пожалела тщедушного человечка, спавшего у нее на диване, и не разбудила его через час. Он лежал такой жалкий, измученный. Пятна на лице побагровели, нижняя губа выпятилась, как у обиженного ребенка, веки по временам вздрагивали, грудь подымалась от тяжелых вздохов. Казалось, он вот-вот заплачет во сне.

Но когда поспел обед, она его разбудила и позвала к столу. Он пробормотал что-то вроде благодарности. Он ел как волк, искося поглядывая на нее, но не обмолвился ни словом о том, что с ним случилось.

Наконец, она сказала: — Хватит, больше нельзя, а то Густаву не останется. Ложитесь-ка опять на диван и поспите еще немножко. Я сама с вашей женой поговорю...

Он опять пробормотал что-то невнятное, не то соглашаясь, не то нет. Но к дивану пошел охотно и через минуту уже крепко спал.

Когда вечером фрау Геш услышала, как хлопнула дверь в соседней квартире, она тихонько шмыгнула на площадку и постучала в дверь. Эва Клуге сейчас же открыла, но стала на пороге, чтоб не дать соседке войти. — Ну? — недружелюбно спросила она.

— Извините, фрау Клуге, — начала фрау Геш, — но я вас еще раз побеспокою. У меня лежит ваш муж. Его приволок сегодня рано утром этакий дюжий эсэсовец, вы, верно, только что ушли.

Эва Клуге упорно хранила недружелюбное молчание, и Геш продолжала: — Отделали они его как следует, места живого не оставили. Какой он ни на есть, а нельзя мужа в таком состоянии из дому гнать. Вы только взгляните на него, фрау Клуге!

Но Эва оставалась непреклонной: — У меня нет больше мужа, фрау Геш. Я вам уже сказала, я его и знать не желаю.

И она хотела уйти. Но Геш не отставала. — Не спешите, фрау Клуге. В конце концов, он вам муж. У вас от него дети.

— Этим я особенно горжусь, фрау Геш, особенно горжусь!

— Люди часто бывают бессердечны, фрау Клуге, и вы сейчас поступаете бессердечно. В таком виде ему нельзя на улицу.

— А как он со мной поступал все эти годы? Он меня измучил, всю жизнь мне разбил, да еще отнял у меня любимого сына — и такому мерзавцу я должна все простить, только потому, что эсэсовцы его поколотили. И не подумаю! Его никакими побоями не исправишь!

После этих горячих и злых слов фрау Клуге просто захлопнула дверь перед носом фрау Геш и тем самым прекратила все пререкания. Слушать дальнейшие уговоры у нее не было сил. Пожалуй, не устоишь, пустишь мужа в дом, только чтобы отвязаться от уговоров, а потом кайся всю жизнь!

Она села и уставилась на голубоватое пламя газовой горелки, думая о прожитом дне. На службе, когда она сказала своему начальнику, что хочет немедленно выйти из нацистской партии, поднялся разговор. Прежде всего ее освободили от разноски писем. Затем учинили допрос. Около полудня явились два человека в штатском, с портфелями и начали настоящее дознание. Всю подноготную выпытали — о родителях, братьях, сестрах, о семейной жизни...

Сперва она отвечала охотно, обрадовавшись, что избавилась от бесконечных вопросов о причинах, побудивших ее выйти из национал-социалистской партии. Но потом, когда дело дошло до ее семейной жизни, она опять заартачилась. После мужа возьмутся за детей, дойдет дело и до Карлемана, эти хитрые лисы сразу учуют, что здесь ее больное место, как она ни остерегайся...

Нет, об этом она ничего не сказала. Ее муж, ее дети, другим до них дела нет.

Но эти люди пристали к ней как с ножом к горлу. Они ничем не брезговали. Один полез в портфель и принялся читать какой-то документ. Ей очень хотелось знать, что он читал — неужели в полиции заведено на нее дело? (Что эти штатские были сродни полиции, это она все же раскусила.)

Потом они опять приступили к допросу, и тут выяснилось, что в документе говорится что-то об Энно, Теперь ее расспрашивали о его вечных болезнях, о прогулах, о его игре на скачках и о женщинах. Опять как будто ничего страшного. И вдруг она поняла опасность, стиснула зубы и не сказала больше ни слова.

Нет, это тоже ее личная жизнь. Никого она не касается. Что было между ней и мужем — ее личное дело. Да, кроме того, она с мужем и не живет.

И опять они прицепились. С каких пор не живет? Когда виделась с ним в последний раз? Нет ли связи между ее желанием выйти из рядов национал-социалистской партии и ее отношениями с мужем?

Эва только молча качала головой. Но она с ужасом думала, что теперь они, вероятно, допросят и Энно, а из такого слюнятя в полчаса все что угодно выпянешь! И тогда ее позор, о котором знала только она, предстанет во всей наготе.

— Это личная, личная жизнь!

Эва Клуге, все еще задумчиво созерцавшая трепетное мерцание голубого пламени, вздрогнула. Она вдруг поняла, что сделала величайшую глупость, надо было дать Энно денег на две, на три недели и посоветовать ему найти приют у одной из своих приятельниц.

Она позвонила к Геш. — Послушайте, фрау Геш, я передумала, я хотела бы сказать несколько слов мужу.

Теперь, когда Эва согласилась исполнить ее желание, фрау Геш вдруг накинулась на нее: — Думали бы раньше. Ваш муж, минут двадцать уже как ушел. Опоздали!

— Куда ж он ушел, фрау Геш?

— А я почему знаю? Сами же его выгнали! Верно к какой-нибудь из своих баб.

— Не знаете, к которой? Фрау Геш, пожалуйста, скажите! Право же мне очень важно...

— Вдруг важно стало! — и неохотно она добавляет: — О какой-то Тутти говорил...

— Тутти? — переспрашивает Эва Клуге. — Значит, Труда, Гертруда... А как ее по-настоящему звать, вы не знаете, фрау Геш?

— Да он и сам не знает! Он и адреса точно не знал, просто думал, что найдет ее. Но в том состоянии, в каком он сейчас...

— Может, он еще вернется, — не успокаивается Эва. — Тогда пошлите его ко мне. Во всяком случае, спасибо, фрау Геш. Спокойной ночи!

Но Геш не отвечает, она хлопает дверью. Она не позабыла, как соседка заперла дверь перед самым ее носом. Еще вопрос, пошлет ли она к ней Энно, если тот действительно объявится. Надо во-время думать, а то спохватиться, да уже поздно!

Фрау Клуге опять у себя на кухне. Странно, хоть разговор с фрау Геш не привел ни к чему, а все-таки на душе стало легче. Значит, надо предоставить события собственному течению. Она сделала, что могла,

чтобы остаться честной женщиной. И от мужа и от сына отеклась, с корнем вырвала их из сердца. Заявила о выходе из нацистской партии. Теперь будь, что будет. Дальнейшее от нее не зависит, но после того, что пережито, даже самое ужасное не страшит ее.

Она не очень испугалась, когда оба штатские от бесполезных расспросов перешли к угрозам. Известно ли ей, что за выход из национал-социалистской партии можно поплатиться местом? Больше того: кто скрывает причины своего выхода, тот политически вредный элемент, а для таких людей существует концлагерь! Об этом, надо полагать, ей известно? Там политически вредных быстро обезвреживают раз и навсегда. Понятно?

Но фрау Клуге не испугалась. Она стояла на своем: ее личная жизнь никого не касается, и она о ней говорить намерена. В конце концов ее отпустили. Вопрос о ее выходе из нацистской партии пока оставили открытым, когда надо будет, известят. А со службы уволили. Предложили не покидать квартиры и явиться по первому требованию...

Эва Клуге ставит, наконец, на огонь кастрюлю с супом, о которой совсем было позабыла, и вдруг она решает послушаться и этого распоряжения. Немыслимо без всякого дела сидеть дома и ждать, пока эти мучители опять за тебя примутся. Нет, завтра же утром с шестичасовым поездом надо ехать в Руппин, к сестре. Там можно две-три недели прожить без прописки, как-нибудь ее прокормят. У них там и корова, и свиньи, и картошка своя. Она будет ходить за скотиной, работать в поле. Куда полезнее, чем с письмами топтать по лестницам!

Решение поехать в деревню дает ей новые силы. Она раскрывает чемодан и начинает укладываться. Минутку она раздумывает, не сказать ли фрау Геш, что она уезжает? Куда, той, конечно, не за чем знать. Нет, лучше не говорить. Все, что она сейчас делает, касается только ее и больше никого на свете. Ни сестре, ни зятю она ничего не скажет. Теперь она будет жить еще более одиноко, чем прежде. Прежде всегда было о ком позаботиться: родители, муж, дети. Теперь она одна. Она думает, что такое одиночество может оказать ей очень по душе. Теперь, когда она останется совсем одна, одна с собой, это, пожалуй, пойдет ей на пользу, у нее будет, наконец, время для себя, не придется вечно забывать о главном, о том, для чего человек живет.

В эту ночь, когда фрау Розенталь терзается одиночеством, почтальон Эва Клуге впервые снова улыбается во сне. Ей снится, что она стоит на огромном картофельном поле с мотыгой в руках. Куда ни глянешь — поля картофеля и среди них она одна: ей надо чисто выкопать поле. Она улыбается, когда мотыга, звонко ударившись о камень, сбивает сорняк. Эва полет дальше и дальше.

ГЛАВА 12

Энно И Эмиль После Пережитого Потрясения

Энно Клуге пришлось куда тяжелее, чем его «дружку» Эмилю Боркхаузену, которого после всех переделок этой ночи все же встретила жена, плохая там или хорошая, другой разговор, — встретила и уложила в постель, правда, тут же его и обобрав. И колотушек на долю тщедушного тототника выпало куда больше, чем на долю верзилы Боркхаузена — сыщика на побегушках. Да, Энно ужасно не повезло.

И вот в то время как он бегаёт по улицам и в страхе ищет свою Тутти, Боркхаузен встает с постели, находит в кухне что поесть и мрачно и задумчиво насыщается. Затем, порывшись в шкафу, вытаскивает припрятанную там пачку папирос, закуривает, сует пачку в карман и опять в мрачном раздумье садится за стол, подперев голову рукой.

В таком виде и застаёт его Отти, вернувшись из лавки. Разумеется, она сразу же видит, что он поел, ей также отлично известно, что когда она уходила, в кармане у него не было папирос, и она сейчас же замечает пропажу. И хоть она и побаивается мужа, все же с места в карьер затевает ссору. — Вот это мне нравится, слопал чужой обед, стащил чужие папиросы! Отдавай, тебе говорю, отдавай! Или плати! Выкладывай деньги, слышишь, Эмиль!

Она напряженно ждет, что он скажет, но в общем она спокойна. Сорок восемь марок почти целиком истрачены, попробуй верни!

А из его ответа, хоть и очень сердитого, она заключает, что он и не догадывается об исчезновении денег. Она чувствует свое превосходство над дураком мужем, его обчистили, а он, осел, даже не заметил.

— Замолчи, дура, — ругается Боркхаузен, не подымая головы. — Убирайся вон, пока я тебе морды не набил!

Она огрызается, уже стоя в дверях кухни, просто потому, что последнее слово всегда должно быть за ней, особенно теперь, когда она чувствует свое превосходство (хотя и сейчас она его боится). — Смотри, как бы тебе самому эсэсовцы морды не набили, тогда наплачешься!

Она уходит в кухню и там срывает злость за свое изгнание на ребятах.

А муж сидит в комнате и предаётся мрачному раздумью. Он плохо помнит, что было ночью, но и того, что он помнит, достаточно. Он думает о том, что наверху, у фрау Розенталь, как следует похозяйничали Перзике, и что он мог бы оттуда всякого добра натаскать. По собственной глупости прошляпил!

Нет, во всем Энно виноват, это Энно первый набросился на водку, Энно с самого начала нализался. Если бы не Энно, сколько бы у него теперь было отрезков, и костюмов, и белья! Смутно припоминается ему еще какой-то радиоприемник. Эх, будь здесь сейчас Энно, все бы кости ему, трусу жалкому, переломал, все дело изгадил!

Но минутой спустя Боркхаузен уже пожимает плечами. В конце концов, что такое этот Энно? Трусливый клоп, тем и живет, что возле баб кормится! Нет, виной всему не он, а Бальдур Перзике! Мальчишка, молокосос, небось, с самого начала решил втравить его в грязное дело. Все заранее подготовил, чтобы было на кого вину свалить, а самому безнаказанно захватить добычу. Хитро придумано, гад очкастый! Сопляк, паршивец, а в какую историю втравил!

Боркхаузену не совсем ясно, почему он здесь, у себя дома, а не под замком на Алексе. Верно братьям Перзике что-нибудь помешало. Были там еще какие-то двое, смутно припоминает он, но кто они и откуда,

этого он тогда сквозь хмель как-то не разобрал, а уж теперь и вовсе не знает.

Но одно он знает твердо: Бальдуру Перзике он никогда не простит. Как высоко ни вознесется тот по милости нацистской партии, от Боркхаузена ему не укрыться. Боркхаузен своего дождется. Боркхаузен ничего не забудет. Дай только срок, придет день, и уж он до него, сопляка, доберется, втопчет его в грязь. Да так, чтоб тому похуже пришлось, чем теперь Боркхаузену, чтоб он больше уж не встал. Подвести своего! Такие дела не забываются, таких дел не прощают! А вещи-то какие богатые у Розенталей — и чемоданы, и сундуки, и радио, сколько всего можно было взять!

Боркхаузен все еще раздумывает, и все о том же. Потихоньку достает он серебряное Оттино зеркальце, последнее воспоминание о щедром обожателе, и рассматривает и ошупывает лицо.

Тем временем Энно тоже увидел, на что он похож, — посмотревшись в зеркало на дверях магазина. Теперь он окончательно растерялся, от страха он не решается глаза поднять на прохожих, а те, кажется, только на него и смотрят. Он пробирается по темным переулкам, все лихорадочнее мечется в поисках Тутти, он уже не помнит, где она живет, не знает, куда сам попал. Он тычется во все неосвещенные ворота, заходит во все дворы, смотрит в верхние окна. Тутти... Тутти...

Темнеет с каждой минутой, а до ночи ему непременно надо найти себе пристанище, не то заберет полиция, а там, как увидят такого красавца, всего в синяках, душу допросами вымотают. А если расскажешь про Перзике, — со страху чего не выболтаешь, — Перзике убьют.

Бесцельно мечется он по улицам, страх гонит его все дальше и дальше.

Наконец, у него уже нет сил. Он садится на скамью и сидит пригорюнившись, он не в состоянии подняться, придумать что-нибудь. Машинально лезет он в карман — не осталось ли чего покурить, папироска хоть немного подкрепила бы его.

Папирос в кармане нет, зато там оказалось что-то другое, на что он никак не рассчитывал — деньги. Сорок шесть марок. Фрау Геш уже несколько часов тому назад могла бы ему сказать, что в кармане у него деньги, это вслило бы хоть немного уверенности в тщедушного, затравленного человечка, мечущегося в поисках пристанища. Но Геш, конечно, не хотелось признаться, что, пока он спал, она обыскала его карманы. Геш честная женщина, она, правда не без душевной борьбы, положила деньги обратно. Найди она их в кармане у Густава, Геш, не задумываясь, взяла бы их себе, но у чужого человека, — нет, она не из таких. Разумеется, из сорока девяти марок Геш три марки удержала. Но какое же это воровство, это ее полное право, раз она его накормила. Она накормила бы его и без денег, но где же это видано кормить задаром чужого человека, если он при деньгах? Опять-таки она не из таких!

Как бы там ни было, найденные сорок шесть марок придали бодрости Энно Клуге, теперь он знает, что ночлег ему обеспечен. И память его снова начинает работать. Правда, он все еще не может припомнить, где живет Тутти, но его вдруг осеняет, что он познакомился с ней в дешевом кафе, где она часто бывала. Может, там знают ее адрес.

Он встает, опять пускается в путь. Он соображает, где он, собственно, находится и, увидя трамвай, который может доставить его поближе к цели, даже набирается храбрости и входит на неосвещенную переднюю площадку моторного вагона, там так темно и так тесно, что вряд ли кто обратит на него внимание. Потом он идет в кафе, но ничего не заказывает, а прямо подходит к стойке и осведомляется у барышни, не знает ли она, где найти Тутти, бывает ли еще здесь Тутти?

У барышни резкий, пронзительный голос, она спрашивает громко, на весь зал, какую Тутти ему нужно? В Берлине их столько, хоть пруд пруди!

Энно оробел, он смущенно бормочет: — Да ту, что здесь постоянно бывала! Полная такая, брюнетка.

Ах, вот значит, какая Тутти ему нужна! Этой Тутти здесь больше делать нечего! Пусть только попробует сюда нос показать! Здесь о ней и слышать не хотят!

И возмущенная барышня поворачивается спиной к Энно. Он сконфуженно извиняется и торопится вон из кафе. В нерешительности стоит он на темной улице, не зная, что теперь предпринять, как вдруг из кафе выходит посетитель, пожилой человек, и, как кажется Энно, порядком обтрепанный. Человек этот мнетя, робко подходит к Энно, потом, решившись, снимает шляпу и спрашивает, не он ли тот господин, который только что наводил в кафе справки о некоей Тутти?

— Предположим, что я, — осторожно отвечает Энно Клуге и осведомляется, чем вызван этот вопрос.

— Да так, просто. Я случайно могу вам сказать, где она живет. Я вас даже до ее дома довести могу, только и вы окажите мне небольшую услугу!

— Что за услугу? — еще осторожнее спрашивает Энно. — Не представляю, какую услугу я могу вам оказать. Я же вас совсем не знаю.

— Пройдемся немного, — говорит пожилой господин. — Не беспокойтесь, это нам по пути. Дело в том, что у Тутти остался мой чемодан с вещами. Не вынесете ли вы мне чемодан завтра утром, пока Тутти еще спать будет или в лавку пойдет?

Пожилый господин как будто и не сомневается, что Энно останется у Тутти на ночь.

— Нет, — говорит Энно. — Тут я вам не помощник. На такие дела я не иду. Очень сожалею.

— Но я могу точно сказать, что в чемодане. Это правда мой чемодан!

— Так не проще ли его прямо с Тутти потребовать?

— Ну, если вы так говорите, значит вы Тутти не знаете, — обиженно отвечает пожилой господин. — Зверь лютый, это вам всякий скажет. Зубастая, ей пальца в рот не клади! Кусается и плюется — недаром ее павианом прозвали!

И в то время как пожилой господин столь лестно живописует Тутти, Энно Клуге со страхом вспоминает, что портрет действительно похож и что в последний раз он скрылся от Тутти, захватив ее портмоне и продовольственные карточки. Она, когда озлится, действительно, кусается и плюется, как павиан, а если он сейчас заявится к ней, она обязательно озлится. Мечты о ночлеге у Тутти оказались только мечтами...

И вдруг Энно Клуге ни с того, ни с сего приходит к решению с этой минуты начать новую жизнь, хватит с него женщин, мелких краж, игры на скачках. В кармане у него сорок шесть марок, до следующего платежного дня дотянуть можно. Завтра он еще отдохнет денек — ведь на нем живого места не

осталось, — а послезавтра по-настоящему примется за работу. Он им покажет, какой он работник, не пошлют его на фронт. После всего пережитого за эти сутки не может он последним здоровьем рисковать, ведь Тутти-павиан пустит в ход и зубы и когти!

— Факт, — задумчиво говорит Энно Клуге пожилому господину. — Тутти такая. А раз Тутти такая, лучше я к ней не пойду. Переночую в гостинице напротив. Спокойной ночи... Очень сожалею, но...

И с этими словами он переходит на ту сторону, чуть ступая, жалея свое истерзанное тело, и, несмотря на свой растерзанный вид и полное отсутствие вещей, ему все-таки удается выклянчить у обтрепанного коридорного номер за три марки. В узкой, вонючей камерке он залезает в постель под простыню, которую уже давно не меняли, ложится на спину и опять дает себе слово: с сегодняшнего дня начинаю новую жизнь. Я вел себя как последняя сволочь, особенно с Эвой, но теперь я стану другим человеком. Мне здорово попало, и поделом, а теперь я стану другим человеком...

Неподвижно лежит он на узкой кровати, так сказать, руки по швам, уставясь в потолок. Его пробирает дрожь от холода, от усталости, от боли. Но он уже ничего не чувствует. Он вспоминает, как его когда-то ценили и уважали, каким хорошим работником он был, а теперь он кто? — жалкая мразь, на него все плюют. Да, взбучка пошла ему на пользу. Но теперь он заживет по-новому. И он засыпает, рисуя себе эту новую жизнь.

В ту пору спит уже и все семейство Перзике, спят фрау Геш и фрау Клуге, спят Боркхаузен — Эмиль молча позволил Отти примоститься подле себя на кровати.

Забывшись беспокойным сном и фрау Розенталь, она тяжело дышит, тревога не покидает ее и во сне. Спит и славная девушка Трудель Бауман. После обеда она успела шепнуть одному из членов группы, что обязательно должна что-то сообщить им всем, надо встретиться завтра же в Элизиуме, там они меньше обратят на себя внимание. Она немножко трусит, ведь ей придется рассказать, что она проболталась, но, наконец, засыпает и она.

Фрау Анна Квангель лежит на кровати впотьмах, а муж ее, как всегда в этот час, стоит в цеху и внимательно следит за работой. Его так и не вызвали к техническому директору по поводу повышения выработки. Тем лучше!

Анна Квангель лежит в постели, но ей не спится, она все еще сердится на мужа, она считает его черствым, бессердечным. Как холодно принял он весть о смерти сына, как безжалостно выставил из квартиры бедную Трудель и фрау Розенталь: черствый, бессердечный, только о себе и думает. Никогда уже не вернется к ней прежнее доброе чувство к мужу, — тогда она верила, что он хоть ее любит. А теперь она поняла, что это за любовь. Обиделся на нее за сгоряча вырвавшееся слово и теперь дуется. Нет, так легко она его уже не обидит, так легко не заведет с ним разговора. Сегодня они не сказали друг другу ни слова, даже «с добрым утром» не сказали.

Советник апелляционного суда в отставке Фром еще бодрствует, он всегда бодрствует по ночам. Мелким бесерным почерком строчит он письмо, которое начинается с обращения: «Глубокоуважаемый господин государственный прокурор...»

У настольной лампы ожидает его раскрытый Плутарх.

ГЛАВА 13

Бал В Честь Победы В Элизиуме

Зал в Элизиуме, большом ресторане с танцами, в северной части Берлина, в эту пятницу являл картину, которая не могла не радовать взора каждого здравомыслящего немца: сплошные мундиры. Серозеленые мундиры вермахта представляли как бы загрунтованный холст для этой красочной картины, на фоне которого особенно резко выделялись формы нацистской партии и ее дочерних предприятий: коричневые формы, светлокоричневые, золотисто-коричневые, темнокоричневые, черные. Рядом с рубашками штурмовиков — гораздо более светлые — рубашки гитлеровской молодежи: были тут и представители организации Тодта, равно как и службы трудовой повинности, были тут и отдающие в желтизну зондер-фюреры, прозванные золотистыми фазанами, были тут и политлейтеры, и начальники противовоздушной обороны. И не только мужчины участвовали в этом радующем сердце карнавале, многие девушки тоже носили форму. Союз германских девушек, служба трудовой повинности, организация Тодта, — все, казалось, прислали сюда своих обер-руководительниц, просто руководительниц и руководимых.

Немногие штатские совершенно терялись в общей массе, они казались незначительными, пресными среди всех этих людей, одетых в форму, совершенно так же как на улицах и на фабриках, где простому немцу нечего было и думать равняться с членом нацистской партии. Нацистская партия была все, а немецкий народ ничто.

Потому и не вызывал особого внимания крайний столик, за которым сидели девушка и трое молодых людей. Никто из них четверых не был в форме, даже свастики не носили они.

Двое, девушка и ее спутник, пришли раньше; затем подошел другой молодой человек и попросил разрешения подсесть к их столику, наконец еще и четвертый штатский попросил о том же. Пара, пришедшая первой, сделала попытку потанцевать в общей толкотне. За это время двое оставшихся мужчин разговорились. Вернувшись к столику, разгоряченная пара, которую порядком затолкали в толпе, тоже приняла участие в разговоре.

Один из мужчин, лет двадцати с небольшим, с высоким лбом и уже редющими волосами, откинулся назад вместе со стулом и некоторое время молча рассматривал танцующую толпу и соседние столики. Затем он сказал, почти не глядя на остальных: — Место выбрано неудачно. Мы чуть ли не единственный штатский столик в зале. Это бросается в глаза.

Молодой человек, улыбаясь, обратился к своей даме, но слова его предназначались человеку с высоким лбом: — Наоборот, Григолейт, на нас не только не смотрят, нас просто не замечают. У здешней публики одно на уме: по случаю так называемой победы над Францией им на какой-то срок разрешено танцевать.

— Никаких имен! Ни при каких обстоятельствах! — строго сказал человек с высоким лбом.

Минутку все помолчали. Девушка водила указательным пальцем по столу, она не поднимала головы, хотя и чувствовала, что все трое на нее смотрят.

— Во всяком случае сейчас подходящий момент для твоего сообщения, Трудель, — сказал третий мужчина, сохранивший до взрослого возраста простодушную физиономию задорного мальчишки: — В чем дело? За соседними столиками почти никого, все танцуют. Валяй!

Молчание остальных могло означать только согласие. Трудель Бауман сказала, запинаясь и не подымая головы: — Я, кажется, провинилась. Во всяком случае я не сдержала слова. Хотя по-моему особой вины тут нет...

— Перестань! — оборвал ее мужчина с высоким лбом. — Давай, без лишней болтовни, переходи к делу!

Девушка подняла голову. Медленно обвела взглядом троих мужчин, которые, как ей показалось, глядели на нее с жестокой холодностью, на глазах у нее выступили слезы. Она хотела что-то сказать и не могла. Она искала носовой платок...

Человек с высоким лбом откинулся на спинку стула. Он тихонько, протяжно свистнул: — Без лишней болтовни? Да она уже и так проболталась! Достаточно на нее посмотреть!

Спутник девушки возразил: — Никогда не поверю! На Трудель как на каменную стену положиться можно. Трудель, скажи им, что ты не проболталась!

И он незаметно ободряюще пожал ей руку.

«Мальчишка», его звали Енш, уставился своими круглыми голубыми глазами на Трудель. Долговязый с высоким лбом затушил папиросу и насмешливо сказал: — Ну-с, фрейлейн?

Трудель взяла себя в руки, она храбро прошептала: — Нет, он прав. Я проболталась. Свекор сообщил мне о смерти моего Отто. Это потрясло меня, и я сказала ему, что работаю в группе сопротивления.

— Имена назвала?

Никому бы и в голову не пришло, что «мальчишка» может так строго спрашивать.

— Конечно, нет. Вообще это все, что я сказала. Мой свекор старый рабочий, он никому не проговорится.

— Твой свекор это особая статья, сейчас речь о тебе! Ты, говоришь, имен не назвала...

— Верь мне, Григолейт! Я не лгу. Я ведь сама призналась.

— Вы уже и сейчас называете имена, фрейлейн Бауман!

Енш сказал: — Неужели вы не понимаете, что совершенно безразлично, назвала она имена или нет? Она сказала, что работает в группе; раз проговорилась, проговорится опять. Стоит известным господам за нее взяться, и она заговорит.

— Умру лучше, а им ничего не скажу! — воскликнула, вспыхнув, Трудель.

— О, — сказал Григолейт, — умереть очень просто, фрейлейн Бауман, но иногда раньше, чем умереть, приходится пережить большие неприятности!

— Вы безжалостны, — сказала девушка. — Я провинилась, но...

— Я тоже нахожу, — заговорил молодой человек, сидевший рядом с ней на диване. — Мы понаблюдаем за ее свекром, и если он человек надежный...

— В руках у этих господ самый надежный ненадежен, — возразил Григолейт.

— Трудель, — сказал Енш, — Трудель, ты сейчас говорила, что имен не называла?

— Не называла!

— И ты утверждала, что умрешь, а никого не выдашь?

— Да, да, да! — страстно воскликнула она.

— Ну, Трудель, а может быть ты это сделаешь сегодня же вечером, пока еще не разболтала остальных? Нас бы это от многого избавило...

За столиком воцарилось гробовое молчание. Девушка побледнела как полотно. У ее спутника вырвалось короткое «Нет!» и он слегка коснулся ее руки своей. Но сейчас же принял руку.

Тут за соседние столики вернулись танцующие, и разговор пришлось на время прервать.

Григолейт снова закурил, у него заметно дрожали руки. Он обратился к брютету, сидевшему рядом с молчаливой бледной девушкой. — Вы сказали «нет». Но, собственно, почему? Это почти удовлетворительное решение вопроса и, насколько я понял, решение, предложенное вашей соседкой.

— Решение неудовлетворительное, — медленно сказал брютет. — И так уже слишком много кругом умирают. Мы работаем не для того, чтобы увеличивать число покойников.

— Я надеюсь, — сказал Григолейт, — вы припомните эти слова, когда трибунал приговорит вас, и меня, и вот ее...

— Тише! — сказал Енш. — Пойдите-ка потанцуйте, — как будто танцуют что-то приятное. Вы переговорите, и мы здесь тоже переговорим...

Неохотно поднялся молодой брютет и слегка поклонился своей даме. Неохотно положила она руку ему на плечо; бледная пара влилась в общий поток танцующих. Они танцевали серьезно, молча, ему казалось, что он танцует с мертвой. Его знобило. Формы вокруг, повязки со свастикой, яркие полотнища с ненавистными эмблемами на стенах, портрет фюрера, увитый зеленью, резкие звуки джаза.

— Ты этого не сделаешь, Трудель, — сказал он. — Безумие требовать этого от тебя. Обещай мне...

Они кружились почти на одном месте среди все растущей тесноты. Может быть, потому, что кругом теснились другие пары, может быть, поэтому она не ответила.

— Трудель! Обещай мне! — еще раз попросил он. — Ты же можешь перейти на другую фабрику, работать там. Обещай мне...

Он попытался поймать ее взгляд, но глаза ее упорно смотрели поверх его плеча.

— Ты лучше нас всех, — вдруг сказал он. — Ты должна жить. Не уступай ему!

Она покачала головой, нельзя было понять, что это — да или нет.

— Пойдем обратно, — сказала она. — Я не хочу больше танцевать.

— Трудель, — сказал Карл Хергезель пылко, как только они выбрались из толпы танцующих; — твой

Отто умер только вчера, только вчера узнала ты о его смерти. Сейчас еще не время говорить об этом. Но ты ведь знаешь, я всегда тебя любил. Никогда ни о чем я не просил, но теперь прошу об одном: живи. Не ради меня, нет, живи, чтобы жить!

И опять она только покачала головой, опять осталось неясным, что она думает о его любви, что она думает о его желании удержать ее от смерти.

Они подошли к столику.

— Ну, — спросил Григолейт. — Как потанцовали? Не затолкали вас?

Девушка не села. Она сказала: — Ну, так я пойду. Будьте здоровы. Я бы охотно поработала с вами... Она повернулась, чтобы идти.

Но тут Енш сорвался с места, он взял ее за руку, сказал: — Прошу вас еще на одну минутку!

Они вернулись к столику. Сели. Енш спросил: — Я правильно понял твоё прощание?

— Ты понял совершенно правильно, — сказала девушка и посмотрела на него жестким взглядом.

Он сказал очень вежливо: — Я не хочу быть навязчивым, но я предвижу, что тут могут быть допущены ошибки. Меня не устраивает, чтобы какой-нибудь идиот выудил тебя из воды или чтобы ты лежала завтра в больнице после неудавшейся попытки отравиться.

— Правильно! — сказал Григолейт.

— А я заявляю вам, что не отойду от нее ни на шаг ни сегодня, ни завтра, ни все следующие дни, — твердо сказал брүнэт. — Я сделаю все, чтобы помешать ей выполнить задуманное.

Григолейт опять свистнул, долго, протяжно, негромко.

Енш сказал: — Ага, вот и второй болтун за нашим столиком. Влюблен? Я уж давно замечал. Пойдем, Григолейт, группа распущена. Группа больше не существует. И это называется у вас дисциплиной. Эх, вы, мягкотелые!

— Нет, нет, — воскликнула девушка. — Не слушайте его! Это правда, он меня любит. Но я его не люблю. Я пойду с вами...

— Незачем! — сказал Енш, рассердившись не на шутку. — Теперь уже ничего не поделаешь... — он мотнул головой в сторону брүнэта. — Э, да что там! — сказал он отрывисто. — Игра окончена! Идем, Григолейт!

Григолейт уже встал. Вместе направились они к выходу. Вдруг чья-то рука легла на руку Енша. Перед ним было гладкое, чуть одутловатое лицо человека в коричневой форме.

— Простите, одну минутку! Что вы сейчас сказали о роспуске группы? Мне было бы чрезвычайно интересно...

Енш грубо вырвал руку.

— Если хотите знать, о чем мы разговаривали, — сказал он нарочито громко, — спросите вот ту молодую особу! Вчера у нее убили жениха, а сегодня она уже ловит другого! Бабье проклятое!

Он энергично подвигался к выходу, где его уже ждал Григолейт. Теперь и он исчез за дверью. Жирный нацист поглядел ему вслед. Затем он повернулся к столику, за которым все еще сидели побледневшая девушка и ее спутник. Это его успокоило. Может быть, и ничего, что я его отпустил. Взял меня нахрапом. Но...

Он вежливо сказал: — Позвольте на минутку присесть к вашему столику и задать вам несколько вопросов.

Трудель Бауман ответила: — Я ничего не могу прибавить к тому, что уже сказал тот господин. Вчера я узнала о смерти моего жениха, а сегодня вот этот господин хочет занять его место.

Голос ее звучал твердо и уверенно. Теперь, когда опасность сидела с ней за одним столом, исчезли страх и беспокойство.

— Не будете ли вы так любезны назвать имя и фамилию вашего жениха? Его часть? — Она назвала. — А теперь вашу фамилию? Ваш адрес? Где работаете? Может быть, у вас есть при себе документ? Благодарю вас! Ну, а теперь вы, молодой человек.

— Я работаю на той же фабрике. Зовут меня Карл Хергезель. Вот моя рабочая книжка.

— А те двое?

— Мы их не знаем. Они подсели к нашему столику и вмешались в наш спор.

— А о чем шел спор?

— Я просила его оставить меня в покое.

— Почему же так возмущался вами тот господин, если вы просили оставить вас в покое?

— Я почем знаю? Может, он не поверил моим словам. Потом его разозлило, что я танцевала.

— Ну, хорошо, — сказал одутловатый нацист, закрыл записную книжку и поглядел на обоих. Они действительно больше походили на поссорившихся влюбленных, чем на пойманных заговорщиков. Уж одно то, как они боялись взглянуть друг на друга... А руки их почти соприкасались. — Ну, хорошо, данные вами сведения будут, конечно, проверены, но я думаю... Во всяком случае, желаю приятно закончить сегодняшний вечер.

— Нет, нет, — сказала девушка. Она поднялась одновременно с ним. — Я иду домой.

— Я провожу тебя.

— Нет, спасибо, я дойду одна.

— Трудель, — попросил он. — Хоть два слова позволь тебе сказать!

Человек в форме, улыбаясь, глядел на них. Действительно, влюбленные. Достаточно будет проверить данные ими сведения.

Вдруг она согласилась: — Хорошо, но только поскорее!

Они вышли. Наконец они вырвались из этого ужасного зала, из этой атмосферы вражды и ненависти. Они оглянулись.

— Ушли.

— Мы их больше не увидим.

— И ты будешь жить. Нет, Трудель, теперь ты обязана жить! Необдуманный шаг может подвергнуть

опасности их и многих других — помни об этом, Трудель!

— Да, — сказала она, — теперь я обязана жить. — И, вдруг решившись, прибавила: — Прощай, Карл!

На минуту она прижалась к его груди, прильнула губами к его губам. И не успел он опомниться, как она перебежала на ту сторону к остановке. Подошел трамвай.

Он было метнулся за ней, но потом передумал.

Будем встречаться на фабрике, решил он. Перед нами вся жизнь. Я могу подождать. Теперь я знаю, что она меня любит.

ГЛАВА 14

Суббота. Волнение У Квангелей

И в пятницу супруги Квангели тоже не обменялись ни словом. Три дня молчали они, ни «с добрым утром», ни «спокойной ночи» — за всю их семейную жизнь этого еще не бывало. Как ни был Квангель скуп на слова, а все же он, бывало, нет-нет, да и обмолвится каким-нибудь замечанием — о рабочем в их цеху, или хотя бы о погоде, или об обеде, который сегодня ему особенно понравился. А теперь ничего!

Анна Квангель чувствовала, чем дальше, тем сильнее, что глубокая печаль по убитом сыне уже не поглощает ее всецело, ее отвлекало беспокойство за мужа, в котором происходила какая-то перемена. Анне хотелось думать только о сыне, но она не могла, так как с тревогой следила за мужем, за своим многолетним спутником жизни, за человеком, которому она отдала долгие и лучшие годы. Что с ним творится? Откуда такая перемена?

В пятницу к полудню ее гнев и обида на Отто совершенно остыли. Если бы она надеялась хоть на малейшие результаты, она охотно попросила бы у него прощения за вырвавшиеся у нее сгоряча слова: «ты и твой фюрер». Но было совершенно ясно, что Квангель не думал уже об этом упреке, повидимому, он не думал и о ней. Он смотрел куда-то мимо нее, он смотрел сквозь нее, он стоял у окна, засунув руки в карманы рабочей куртки, а иногда принимался тихонько насвистывать, чего за ним раньше не водилось.

О чем он думает? Какая тревога его гложет? Она поставила на стол суп, он взялся за ложку. Некоторое время она смотрела на него с порога кухни. Его острое лицо склонилось над тарелкой, но ложку он подносил ко рту совершенно машинально, темные глаза были устремлены на что-то, что видел только он.

Она вернулась в кухню, чтоб разогреть остаток капусты. Отто очень любил разогретую капусту. Она твердо решила заговорить с ним. Как бы резко он ни ответил, все равно, дольше выносить это молчание невыносимо!

Но когда она вернулась в столовую с разогретой капустой, Отто ушел, оставив на столе тарелку с недоеденным супом. То ли Квангель понял ее намерение и потихоньку улизнул, как запрявившийся ребенок, то ли он просто позабыл о еде под влиянием мучительного внутреннего беспокойства. Так или иначе, он ушел, и теперь ей надо было ждать его до ночи.

Но в ночь с пятницы на субботу Отто так поздно возвратился домой, что, несмотря на свое доброе намерение, она уже спала, когда он ложился. Она проснулась позднее, от его кашля, заботливо спросила: — Отто, ты спишь?

Кашель прекратился, он лежал совсем тихо. Еще раз спросила она: — Отто, ты спишь?

И ничего, никакого ответа. Оба они долго лежали, притаившись. Каждый знал, что другой не спит, и боялся пошевелиться, чтоб не выдать себя. Наконец, они оба заснули.

Суббота началась еще хуже. Отто Квангель встал раньше обычного. Не успела она поставить на стол кофе, как его уж и след простыл. Опять что-то непонятное выгнало его на улицу; раньше этого с ним не бывало. Затем он вернулся, она слышала из кухни, как он шагает по комнате. Когда она принесла кофе, он аккуратно сложил большой белый лист, который читал, стоя у окна, и сунул его в карман.

Анна была уверена, что он читал не газету. На листе слишком много пробелов, и шрифт крупнее, чем газетный. Что он мог читать?

Она опять рассердилась на него, на его скрытность, на перемену в нем, вносившую столько беспокойства и новых забот в добавление ко всем прежним, которых и так было более чем достаточно. Все же она сказала: — Отто, кофе!

При звуке ее голоса он повернул голову и посмотрел на нее так, будто очень удивился, что он в квартире не один, что кто-то с ним говорит. Он смотрел на нее, но он ее не видел. Он видел перед собой не Анну Квангель, — свою подругу жизни, но кого-то, кого знал прежде и теперь с трудом припоминал. На лице у него была улыбка, улыбка в глазах; все лицо было озарено улыбкой. Анна еще не видала его таким. Она готова была крикнуть: ах, Отто, Отто, хоть ты не уходи от меня!

Но не успела она собраться с духом, как он прошел мимо нее и вышел вон из квартиры. Опять без кофе, опять неси в кухню и грей! Она тихонько всхлинула. Ну, что за человек! Что ж, так-таки ничего в жизни и не останется? Сначала потерять сына, а теперь — мужа!

А Квангель между тем быстро шагал к Пренцлауэраллэ. Ему пришло в голову, что лучше заранее поглядеть на такой дом, проверить, правильно ли себе такой дом представляешь. А то придется придумать что-нибудь другое.

По Пренцлауэраллэ он пошел медленнее, он всматривался в вывески у подъездов, словно искал что-то определенное. На одном угловом доме он увидел дощечки двух адвокатов и одну врача рядом с многочисленными конторскими вывесками.

Квангель толкнул парадную дверь. Она легко отворилась. Правильно: швейцара в таком многолюдном доме нет. Медленно держась за перила, поднялся он по лестнице, когда-то «барской», с дубовым паркетом, но частое употребление и война давно уже стерли с нее все следы барственности. Лестница выглядела грязной и затоптанной: дорожки исчезли, наверное, их убрали, когда началась война.

Отто Квангель прошел мимо дощечки адвоката вниз, он кивнул головой и поднялся выше. Он шел по лестнице не один, мимо него спешили люди, шли навстречу, обгоняли. То и дело раздавались звонки, хлопали двери, звякали телефоны, стучали пишущие машинки, слышались голоса.

Но выдавались минуты, когда вдруг оказывалось, что Квангель на лестнице, или хотя бы на данном пролете, совершенно один, когда вся жизнь как будто сосредоточивалась внутри контор. Вот такой момент как раз подходил для задуманного дела. Вообще все было, как он себе представлял. Спешащие озабоченные люди, грязные стекла в окнах, через которые просачивается тусклый свет, нет швейцара, вообще никого, кто обратил бы на тебя внимание.

Когда Отто Квангель увидел в бельэтаже дощечку второго адвоката и по указующему персту убедился, что доктор живет на одну лесенку выше, он одобрительно кивнул головой. Он повернул обратно от дверей адвоката и вышел из дому. Больше здесь делать нечего, как раз подходящий дом, и таких домов в Берлине тысячи.

И вот мастер Отто Квангель снова на улице. Молодой, очень бледный брюнет подходит к нему.

— Господин Отто Квангель, не так ли? — спрашивает он. — Господин Отто Квангель с Яблонскиштрассе. Не так ли?

В ответ Квангель только буркнул: — Ну? — что могло означать и «да» и «нет».

Молодой человек счел, что это «да». — Я должен попросить вас от имени Трудель Бауман, — говорит он, — раз и навсегда позабыть о ее существовании. И жену вашу попрошу не ходить к Трудель. Не надо, господин Квангель, чтобы...

— Передайте, — говорит Отто Квангель, — что я не знаю никакой Трудель Бауман и не желаю, чтобы ко мне приставали...

Неожиданный удар кулаком в подбородок, и молодой человек сбит с ног. Квангель, не обращая ни на кого внимания, проталкивается сквозь сбежавшуюся толпу и направляется мимо шуцмана, прямо к трамвайной остановке. Подходит трамвай, он садится, проезжает две остановки, затем едет в обратную сторону, на этот раз на передней площадке прицепа. Все, как он думал: большинство людей тем временем разошлось. С десяток зевак стоят еще у кафе, куда, вероятно, втащили пострадавшего.

Тот уже опомнился. Второй раз за два дня приходится Карлу Хергезелю отвечать на вопросы представителей власти.

— Нет, право же, ничего не было, господин вахмистр, — уверяет он. — Я по неосторожности наступил ему на ногу, а он сразу в драку. Понятия не имею, что это за человек, я не успел извиниться, как он уже в драку.

И опять Карл Хергезель уходит без задержки, не вызвав подозрения. Но теперь ему совершенно ясно — дальше так ставить на карту свое счастье нельзя. К Отто Квангелю он пошел только затем, чтобы успокоиться насчет Трудель. Ну, что касается Отто Квангеля, можно не волноваться. Кремень-человек, да к тому же еще и зол, так сычом и глядит. Этот не из болтливых, даром что клюв большой! Уж одно то, как он быстро и зло долбанул...

И только из опасения, что такой человек может проговориться, Трудель чуть не заставили покончить с собой. Ну, этот не проговорится, — даже у них в руках! И до Трудель ему тоже, как будто дела нет, он и знать о ней не хочет. Как многое может разъяснить неожиданный удар кулаком в подбородок.

Карл Хергезель, совершенно успокоенный, возвращается на фабрику и, убедившись из осторожных расспросов, что Григолейт и Енш сгинули бесследно, с облегчением вздыхает. Все уладилось. Группа больше не существует, ну что ж, беда небольшая. Зато Трудель жива!

В сущности, политической работой он никогда особенно не интересовался, а Трудель интересовался, и еще как!

Квангель возвращается домой на трамвае, но он проезжает свою остановку и не выходит на Яблонскиштрассе. Осторожность прежде всего, если за ним действительно увязался шпик, надо одному с ним разделаться, незачем таскать его к себе в дом. Анна сейчас не в таком настроении, чтобы выдержать неприятный сюрприз. Надо с ней поговорить. Обязательно надо поговорить, Анне отведена большая роль в его планах. Но раньше надо покончить с другими делами.

Квангель решает сегодня до работы вообще не возвращаться домой. Придется отказаться от кофе и обеда. Анна, правда, будет беспокоиться, но она потерпит и ничего необдуманного не совершит. Сегодня есть еще дела. Завтра воскресенье, к воскресенью все должно быть готово.

Он опять пересаживается и едет в центр. Нет, молодой человек, которому удалось так быстро заткнуть глотку, не опасен. И других преследователей, верно, тоже нет. Пожалуй, этот человек действительно был послан Трудель. Ведь она что-то такое говорила, будто ей придется сказать, что она нарушила данное слово. Ну, те, разумеется, запретили ей всякое общение с ним, вот она и послала этого парня. Все это не опасно. Детские игрушки, они же просто дети, затеяли игру, а сами ничего в ней не смыслят. Он, Отто Квангель, смыслит в этом немножко больше. Надо знать, что затеваешь, вести игру не по-детски, обдумать каждый ход.

Перед глазами у него опять стоит Трудель, как тогда в коридоре, на сквозняке, когда она, ничего не подозревая, — прислонилась головой к объявлению. И опять охватывает его беспокойное чувство, как тогда, когда голову девушки венчала надпись «Именем немецкого народа», и опять вместо незнакомых фамилий чудится ему своя — нет, нет, действовать надо в одиночку. И с Анной, конечно, — вместе с Анной. Анна увидит, к а к он предан фюреру!

В центре Квангель делает кое-какие покупки. Ничтожные затраты: две-три открытки, ручка, несколько перьев, пузырек с чернилами. Но и эти покупки он делает в трех местах — в универмаге, в магазине стандартных цен и писчебумажной лавке. Наконец, после долгих колебаний, приобретает он еще пару простых нитяных перчаток, которые продаются без ордера.

Затем идет в бар на Александерплац, заказывает стакан пива и получает поесть без карточек. Дело происходит в 1940 году, грабеж захваченных стран уже начался, немцам живется сравнительно неплохо. Собственно говоря, еще можно достать почти все и даже не по чрезмерным ценам.

И война ведется на чужой территории, далеко от Берлина. Правда, время от времени над городом появляются английские самолеты. Сбросят бомбу, другую и улетят, а на следующий день жители Берлина совершают паломничества к местам разрушения. Большинство посмеивается и говорит: «Если они нас так

уничтожить думают, так на это им сто лет понадобится, и то большого ущерба не будет. А мы тем временем их города с землей сравниваем!»

Вот такие речи ведут люди, а теперь, когда Франция попросила о перемирии, число тех, кто ведет такие речи, сильно увеличилось. Почти все поклоняются успеху. Такой человек, как Отто Квангель, который покидает ряды преуспевающих, — исключение.

Сейчас он сидит в баре. Время есть, на фабрику еще рано. Но беспокойство последних дней отошло от него, теперь, когда дом осмотрен, когда покупки сделаны, все ясно. И даже не надо особенно думать о том, что ему предстоит в дальнейшем. Само сделается, путь перед ним открыт. Надо только идти вперед, первые, решающие шаги сделаны.

Затем, когда ему уже пора, он платит и отправляется на фабрику. Хоть от Александерплац туда не близко, он все-таки идет пешком. Достаточно он сегодня истратил на трамвай, на покупки, на еду. Какое там достаточно, — много! Хоть и решено жить теперь по-иному, но от старых привычек отставать незачем. Квангель как был бережливым, так и останется, и от людей попрежнему будет держаться подальше.

Наконец, он опять стоит в своем цеху, как всегда внимательный, зоркий, молчаливый и неприступный. По нему никак не скажешь, что в нем происходит.

ГЛАВА 15

Энно Клуге Опять На Работе

Когда Отто Квангель приступил к работе в столярном цеху, Энно Клуге уже шесть часов стоял за токарным станком. Да, этот тщедушный человек не мог улежать в постели, несмотря на слабость и боль во всем теле, он поехал на фабрику.

Встретили его, по правде говоря, не очень любезно, но ни на что другое он и не рассчитывал.

— Ну, как, опять погостить пришел, Энно? — спросил мастер. — Сколько собираешься поработать, неделю, две?

— Я совсем поправился, мастер, — поторопился его уверить Энно Клуге. — Я опять могу работать, и буду работать, вот увидишь!

— Н-да! — протянул мастер недоверчиво и хотел уйти. Но еще раз остановился, задумчиво поглядел на лицо Энно и спросил: — А кто тебе так портрет испортил, Энно? Попал в переделку, да?

Энно опустил голову, он не смотрит на мастера, даже когда, наконец, собирается с духом и отвечает: — Попал, да еще в какую...

Мастер стоит в раздумье и все еще рассматривает его. Наконец ему приходит в голову, что из этого случая можно сделать назидательный вывод: — А, пожалуй, тебе это и на пользу, Энно, пожалуй, это тебя к работе приохотит!

Мастер ушел, а Энно Клуге обрадовался, что тот именно так истолковал его синяки. Пусть думает, что это его к работе приохотили, тем лучше! Разговоров будет меньше. Не станут приставать с расспросами. Самое большее, если за спиной посмеются, ну, и пускай смеются, подумаешь, велика важность. Теперь надо за работу приниматься, да так, чтобы всем на удивление!

Со скромной улыбкой, но все же не без гордости пошел Энно Клуге записываться в добровольную воскресную смену. Два-три старых рабочих, знавшие его раньше, отпустили по его адресу насмешливые замечания. Он посмеялся вместе с ними и с удовольствием увидел, что мастер тоже усмехается.

Впрочем, ошибочное предположение мастера, что его избили за отлынивание от работы, сослужило ему службу и у начальства. Его вызвали в контору сейчас же после обеденного перерыва. — Он стоял, как обвиняемый на суде, и страх его еще усугублялся тем, что один из судей был в военной форме, другой — в форме штурмовика, и только один — в штатском, но и у того на груди красовался значок вермахта.

Офицер перелистал личное дело Энно Клуге и равнодушным безразличным голосом прочитал: такого-то числа такого-то месяца откомандирован из армии для работы в военной промышленности, такого-то явился на указанную фабрику с таким-то опозданием, проработал одиннадцать дней, сказался больным, острый колит, справки от трех врачей, из двух больниц. Такого-то выписался, пять дней проработал, три дня прогулял, день проработал, снова колит и т. д. и т. д.

Офицер отложил личное дело, безразлично посмотрел на Клуге, то есть уставился примерно на верхнюю пуговицу его пиджака и сказал, повысив голос: — Что ты, собственно, свинья паршивая, думаешь? — И вдруг заорал, и было видно, что орет он просто по привычке, без всякого внутреннего раздражения. — Думаешь, что своими дурацкими поносами кого-нибудь проведешь? Я тебя в штрафную роту закатаю, там из тебя все кишки повывернут, там тебе покажут, что такое понос!

Офицер орал еще некоторое время. За военную службу Энно привык к крику, его это не особенно пугало. Он слушал нагоняй, вытянувшись, как полагается, руки по швам, хотя и был в штатском, и ел глазами грозного начальника. Когда офицер останавливался, чтобы передохнуть, Энно говорил положенным по уставу тоном, без самоуничижения, но и без наглости, по-деловому: «Так точно, господин оберлейтенант! Слушаюсь, господин оберлейтенант!» Раз ему даже удалось, правда, без заметного эффекта, вставить целую фразу: «Осмелюсь доложить, что выздоровел, господин оберлейтенант! Осмелюсь доложить, что вышел на работу!»

Офицер перестал орать так же неожиданно, как и начал. Он закрыл рот, отвел взгляд от верхней пиджачной пуговицы Энно Клуге и устремил его на своего соседа в коричневой форме. — Имеете еще что-нибудь сказать? — спросил он с безразличным видом.

Да, и этот господин имел что сказать, вернее, что наорать — казалось, все господа начальники только и знали, что орать на своих подчиненных. Этот стал орать об измене, о саботаже, о фюрере, который не потерпит изменников в рядах немецкого народа, и о концлагере, где Энно получит по заслугам.

— А в каком виде ты сюда явился, свинья? — вдруг заорал коричневый. — В каком ты виде? На работу с такой похабной мордой вышел? Где путался, бабий кот? На шлюх силы тратишь! Где был, где это ты так себя разукрасил, козел блудливый?

— Мне взбучку задали, — сказал Энно, оробев под его взглядом.

— Кто, кто тебя так отделал, я знать хочу! — заорал коричневорубашечник. И подставил кулак под самый нос Энно и затопал ногами.

Тут Энно окончательно потерял голову. Перед угрозой новых побоев он позабыл о своих намерениях, позабыл об осторожности и прошептал: — Осмелюсь доложить, меня так эсэсовцы отделали.

Безрассудный страх этого человека был так красноречив, что все трое сейчас же поверили его словам. Понимающая, одобрительная улыбка появилась у них на лице. Коричневорубашечник крикнул: — Отделали? Это называется не отделали, а поучили, наказали по заслугам. Как это называется?

— Осмелюсь доложить, это называется: наказали по заслугам!

— Ну, надеюсь, урок пойдет тебе на пользу. Следующий раз так легко не уйдешь! Можешь отправляться!

С полчаса еще Энно Клуге трясся, как в лихорадке, и не мог работать. Он забился в уборную, но мастер разыскал его наконец, отругал и погнал к станку. Теперь мастер стоял рядом и чертыхался, глядя на то, как Энно портит болванку за болванкой. У тщедушного человечка голова шла кругом: мастер ругает, товарищи смеются, начальство грозит концентрационным лагерем и штрафной ротой. В глазах темнело, руки, обычно такие искусные, не слушались. Он положительно не мог работать, но он должен был работать, у него не было выхода.

Наконец, мастер понял, что тут не злая воля и не отлынивание от работы. — Если бы ты не проболел уже столько, — заметил он уходя, — я бы сказал: ступай, лежи денек-другой, пока не отлежишься. — И прибавил: — Но сам знаешь, что тогда с тобой будет!

Да, он знал. И он продолжал работать, старался не думать о боли, о невыносимой тяжести в голове. Временами его неотразимо влекло к блестящему вращающемуся металлу. Достаточно сунуть палец, и покой обеспечен, ляжешь в постель, отлежишься, отдохнешь, выпишься, забудешься! Но он сейчас же вспоминал, что преднамеренное членовредительство карается смертью, и тут же отдергивал руку...

Да, смерть в штрафной роте, смерть в концлагере, смерть во дворе тюрьмы, вот что грозит ежедневно, вот что поджидает тебя на каждом шагу. А откуда взять силы...

Так или иначе, день прошел, так или иначе, в начале шестого он попал в поток возвращавшихся с работы людей. Он мечтал о покое и сне, но, очутившись в гостинице, в своем тесном номере, не мог заставить себя лечь в постель. Он побежал купить чего-нибудь поесть.

Вот он опять в комнате, еда на столе, кровать под боком — но ему не сидится. Точно что-то гонит его вон из этой комнаты. Надо еще купить кусочек мыла, поглядеть, не найдется ли у старьевщика синей блузы.

Опять он выбежал и в аптекарском магазине вдруг, вспомнил, что оставил чемодан со всем своим имуществом у Лотты, когда приехавший в отпуск муж так бесцеремонно вышвырнул его за дверь. Он выбежал на улицу, сел в трамвай, решил рискнуть: поехать прямо к ней. Нельзя же лишиться последнего добра! Его страшили побои, но что-то гнало его к Лотте, обязательно к Лотте.

И ему повезло. Он застал Лотту дома, мужа не было. — Ты за вещами, Энно? — спросила она. — Я снесла их в подвал, чтоб он не нашел. погоди, я возьму ключ!

Но он обнял ее, припал головой к ее могучей груди. Он не выдержал напряжения последних недель и попросту разрыдался.

— Ах, Лотта, Лотта, я не вынесу разлуки! Я так по тебе соскучился!

Все его тело сотрясало от рыданий. Она не на шутку перепугалась. Сколько она перевидала на своем веку мужчин, и таких, что пускали слезу, тоже, но обычно пускали слезу пьяные, а он был трезв... А тут еще этот разговор о том, что он соскучился, что не вынесет разлуки, уже целую вечность никто не говорил ей таких слов! А может, и вообще никогда не говорил.

Она успокоила его, как могла: — Он всего на три недели в отпуск приехал, потом опять переедешь ко мне, Энно! Успокойся, забирай вещи, пока он не пришел. Сам ведь знаешь!

Ох, знает он, еще как знает, что ему отовсюду грозит беда!

Она проводила его до трамвая, помогла донести чемодан.

Энно Клуге поехал в гостиницу, все-таки несколько повеселев. Всего только три недели, из которых четыре дня уже прошло. Потом муж отправится обратно на фронт, и можно будет занять его место. Думал Энно, что выдержит без баб, да не тут-то было, не может он, и все. А пока что надо будет наведаться к Тутти; он сейчас сам убедился, поплачешь у них на груди, они и размякнут, помогут человеку. Может, Тутти пустит на три недели, уж очень противно одному в номере.

Но женщины женщинами, а работать надо, надо, надо! Нечего больше шуточки шутить, раз навсегда закаялся! Вылечили!

ГЛАВА 16

Конец Фрау Розенталь

В воскресенье утром фрау Розенталь с криком ужаса пробудилась от тяжелого сна. Опять ей привиделось то страшное, что снилось теперь почти каждую ночь: будто они с Зигфридом убегают от погони, будто прячутся, но плохо, преследователи проходят мимо, видят их и насмешливо подмигивают.

И вдруг Зигфрид бросается бежать, она вслед за ним. Она не поспевает. Кричит: «Зигфрид, не беги так скоро! Мне за тобой не поспеть. Не оставляй меня одну!»

Тут он отделяется от земли, летит. Сначала почти над самой мостовой, затем все выше, наконец, исчезает над крышами. Она одна на Грейфсвальдерштрассе. По щекам текут слезы. Большая волосатая рука тяжело ложится на лицо, голос шепчет над самым ухом: «Попалась, жидовская морда?»

Еще не совсем проснувшись, она глядела широко открытыми глазами на затемненные окна, — сквозь щелочки в шторах просачивался дневной свет. Ночные страхи отступали перед дневными. Впереди был целый день. Снова день! Опять она проспала, упустила советника суда, единственного человека, с которым могла поговорить... С вечера твердо решила не спать, и вот опять заснула! Опять одна целый

день, двенадцать часов! Пятнадцать часов! Нет, больше ей не выдержать. Стены дома давят, все то же бледное лицо в зеркале, все то же самое занятие — пересчитывать деньги; нет, больше так нельзя. Самое страшное не страшит ее так, как это сиденье взаперти без всякого дела.

Фрау Розенталь торопливо одевается. Подходит к двери, отодвигает задвижку, тихонько отворяет дверь, выглядывает в коридор. В квартире тихо, и в доме тоже пока тихо. На улице не слышно детского крика — верно очень рано. А что, если советник еще у себя в кабинете? Она успеет поздороваться с ним, обменяться двумя-тремя фразами, которые дадут ей силы прожить еще один бесконечный день.

Она решается, решается, несмотря на запрещение. Быстро пробегает коридор и входит к нему в кабинет. Она жмурится от яркого света, который льется в открытые окна, ее пугает улица, внешний мир, ворвавшийся сюда вместе с утренним воздухом. Но еще больше пугает ее женщина, которая чистит щеткой цвикауский ковер. Сухопарая, пожилая женщина; повязанная платком голова, щетка для чистки ковров говорит о том, что она здешняя прислуга.

Увидев фрау Розенталь, женщина прекратила работу. Минутку она удивленно таращит глаза на неожиданную гостью, быстро и часто мигая, слоено не совсем веря в реальность того, что видит. Затем, прислонив щетку к столу, решительно идет навстречу фрау Розенталь, машет руками и громким свистящим топотом повторяет «Шш! Шш!», будто гоняет кур.

Отступая, фрау Розенталь, умоляюще шепчет: — Где господин советник? Мне надо с ним поговорить!

Но женщина сжимает губы и решительно трясет головой. Опять она машет руками и шипит «Шш! Шш!», пока окончательно не загоняет фрау Розенталь обратно в спальню. Та падает в кресло у своего столика и разражается слезами, а женщина тихонько прикрывает дверь. Все напрасно! Опять она обречена на целый день одинокого, бессмысленного ожидания! Бог знает, что творится на свете, может, как раз сейчас умирает. Зигфрид, или немецкие авиабомбы угрожают ее Эве, а она обречена сидеть здесь в темноте и ничего не делать.

Она сердито качает головой: нет, больше так жить нельзя. Если суждено ей терпеть горе, если суждено быть парией и изнывать в вечном страхе, так по крайней мере она хочет жить по-своему! Ну, что же, пусть эта дверь захлопнется за ней навсегда, ничего не поделаешь. Гостеприимство было предложено от доброго сердца, но добра оно ей не принесло.

Уже стоя в дверях, она вдруг что-то вспоминает. Возвращается к столику и берет массивный золотой браслет с сапфирами. Может быть...

Но той женщины уже нет в кабинете, окна снова закрыты. Фрау Розенталь выжидающе стоит в коридоре у входной двери. Вдруг она слышит звон тарелок и идет на звук в кухню. Так и есть, эта женщина моет посуду.

С умоляющим видом протягивает она ей браслет и говорит, запинаясь: — Мне необходимо повидать господина советника. Пожалуйста, ну, пожалуйста!

Служанка нахмурилась при этом новом нарушении тишины, едва взглянула на протянутый браслет. Опять она наступает, машет руками, шипит «Шш! Шш!», и фрау Розенталь спасается к себе в спальню. Не долго думая, бежит она к ночному столику и берет из ящика прописанное ей советником снотворное.

До сих пор она не пользовалась его порошками. Теперь она высыпает их все, не то двенадцать, не то четырнадцать, на ладонь, идет к умывальнику, и со стаканом воды выпивает все. Сегодня надо обязательно заснуть, сегодня надо проспаться весь день. А вечером она поговорит с советником суда и узнает, как быть дальше. Она ложится, не раздеваясь, на постель, укрывается одеялом. Лежит на спине, не шевелясь, глядя в потолок, и ждет сна.

И вот уже сон спускается к ней. Мучительные мысли, кошмарные видения, порожденные в мозгу постоянным страхом, затуманиваются. Глаза смыкаются, мускулы ослабевают, напряжение спадает. Сейчас, сейчас шагнет она за спасительный порог...

И вдруг, словно какая-то рука отбросила ее в действительность. Она даже вздрогнула от испуга, так сильно ее тряхнуло. Тело дернулось, как от внезапной судороги...

И вот она опять лежит на спине, уставясь в потолок; все та же неугомонная карусель вертит в ней все те же неугомонные мысли и кошмарные образы. Потом — понемногу — они расплываются, веки тяжелеют, сон близко. И опять на пороге сна толчок, сотрясение, судорога, сводящая все тело. Опять ушли покой, мир, забытие...

Когда это повторилось три, четыре раза, она поняла, что ей не заснуть. Она встает, медленно, пошатываясь, как расслабленная, идет к столу и садится. Тупо смотрит прямо перед собой. Узнает белое пятно на столе — это письмо к Зигфриду, начатое три дня тому назад и так и оборванное на первых же строках. Смотрит опять: узнает пачку денег, драгоценности. А позади поднос с едой. Обычно, проголодавшись за ночь, она по утрам набрасывалась на пищу, теперь она равнодушно рассматривает поднос. Есть не хочется...

В ней шевелится смутное сознание, что порошки оказали свое действие. Не пришел желанный сон, зато улеглась беспокойная утренняя тревога. И она сидит без всяких дум, иногда забывается в дремоте, потом опять вздрагивает. Сколько-то времени прошло, много ли, мало, она не знает, но какая-то часть страшного дня прожита...

Немного погодя она слышит шаги на лестнице. Она вздрагивает. Старается отдать себе отчет, можно ли вообще услышать из этой комнаты, когда кто-нибудь идет по лестнице. Но минута просветления уже прошла, и она напряженно вслушивается в шаги на лестнице. Человек с трудом волочит ноги, останавливается, чтоб откашляться, снова тащится вверх.

Вот она уже не только слышит, она видит. Она ясно видит Зигфрида, как он пробирается домой по тихой, еще не проснувшейся лестнице. Ну, конечно, его опять избили, голова наспех перевязана. На бинте запеклась кровь, лицо в синяках и ссадинах от их кулаков. С трудом тащится Зигфрид наверх. В груди у него хрипит и клокочет, в груди, истоптанной их каблуками. Она видит, как Зигфрид скрывается за поворотом.

Некоторое время она еще сидит на месте. Она ни о чем не помнит, ни о советнике суда, ни об их

уговоре. Ей надо туда, наверх, к себе, что подумает Зифрид, если придет в пустую квартиру? Но какая ужасная усталость, нет сил подняться с кресла!

И все-таки она встает. Берет из сумочки ключи, хватает сапфировый браслет, словно это спасительный талисман, и медленно, пошатываясь, выходит из квартиры. Дверь захлопывается.

Советник суда, которого служанка после долгих колебаний подняла с постели, опоздал, не успел удержать свою гостью, она ушла в опасный мир.

Советник осторожно приоткрывает дверь и минутку прислушивается, не слышно ли чего наверху, не слышно ли чего внизу. Нет, ничего не слышно. Затем он все же что-то слышит — быстрые энергичные мужские шаги, тогда он закрывает дверь. Он не отходит от глазка. Если представится хоть малейшая возможность спасти эту несчастную, он опять, несмотря на опасность, откроет ей дверь.

Фрау Розенталь даже не заметила, что кто-то повстречался ей на лестнице. Она во власти одной мысли — как можно скорей добраться в квартиру, где ее ждет Зигфрид. Зато руководитель гитлеровской молодежи Бальдур Перзике, как раз спешивший на утреннюю перекичку, застыл с разинутым от изумления ртом, когда она чуть не наткнулась на него на лестнице. Розентальша, пропавшая Розентальша, и вдруг сегодня в воскресенье утром здесь. В темной вязаной кофте, без сионской звезды, с ключами и браслетом в одной руке, а другой тяжело опираясь на перила, с трудом тащится наверх — пьяная вдрызг! В воскресенье с утра и вдрызг!

Бальдур застыл на месте от изумления. Но как только фрау Розенталь исчезает на повороте, он приходит в себя. Он чувствует, что настал подходящий момент, только бы опять не прошляпить. Нет, на этот раз он обойдется без братьев, без отца, без всяких там Боркхаузенцов, а то, пожалуй, опять изгадят все дело.

Бальдур ждет, он хочет удостовериться, что фрау Розенталь уже дошла до квартиры Квангеля, затем на цыпочках возвращается под родительский кров. Там все еще спят. Телефон в коридоре. Он берет трубку и набирает номер, потом вызывает добавочный. Ему везет: несмотря на воскресенье, его соединяют с нужным ему человеком. Он коротко говорит, что надо; затем пододвигает стул к двери, в которой оставил щелку, и готовится терпеливо стеречь полчаса, час, сколько потребуется, чтобы опять не упустить птичку...

У Квангелей встала только Анна, потихоньку хозяйничает она в квартире. Время от времени посматривает на Отто, он все еще крепко спит. Даже во сне он кажется усталым, измученным. Словно что-то не дает ему покоя. Она стоит и задумчиво вглядывается в лицо мужа, человека, с которым прожила почти три десятка лет, изо дня в день вместе. Уже давно привыкла она к этому лицу, к острому птичьему профилю, к тонкому, почти всегда крепко сжатому рту — это ее уже не пугает. Для нее это человек, которому она отдала всю свою жизнь, дело не в наружности...

Но сегодня лицо как будто еще больше заострилось, рот еще крепче сжался, складки у носа залегли глубже. Его гнетут заботы, тяжелые заботы, а она проглядела это, не поговорила с ним во-время, не сняла бремени с его плеч. Прошло четыре дня после извещения о смерти сына, и Анна опять сознает, что ее место как и всегда рядом с этим человеком, что она была неправа в своем упорстве. Разве она его не знает: он всегда молчит, он все таит в себе. Ей всегда приходилось вызывать его на разговор, облегчать ему беседу — сам он не откроет рта.

Но сегодня он наконец заговорит. Он обещал ей это вчера ночью, как вернулся с работы. Анна пережила тяжелый день. Он убежал без завтрака, и она несколько часов напрасно прождала его. Не появился он и к обеду и, когда ей стало ясно, что уже давно началась работа, и теперь он уже наверно не придет — она впала в отчаяние.

Какая муха укусила Отто с тех пор, как у нее вырвались эти необдуманные слова? Что гнало его из дому? Она отлично его знает: он хочет во что бы то ни стало ей доказать, что тот не его фюрер. Господи, да неужели же она это и вправду думала! Надо было объяснить ему, что это вырвалось у нее в первые горькие минуты ожесточения. Неужели не нашлось у нее других слов о преступниках, отнявших у нее сына. Надо же было сказать именно это!

Но сказанного не вернешь, и теперь он мечется по городу и подвергает себя опасности, чтобы доказать свою правоту, доказать, что она его напрасно обидела! Чего доброго он теперь совсем не придет. Еще скажет или сделает что-нибудь такое, что не понравится фабричному начальству или гестапо, к нему привяжутся, может, он уже сидит в тюрьме! Ведь такой, кажется, спокойный человек, а сегодня с утра был сам не свой!

У Анны Квангель нет больше терпения, не может она сидеть сложа руки и ждать. Она prepares несколько бутербродов и отправляется к нему на фабрику. И тут она остается верной женой, даже и сейчас, когда ей важно выиграть несколько минут и поскорей успокоиться за него, даже и сейчас не едет она на трамвае. Нет, она идет пешком, — как и он бережет каждый грош.

От сторожа на мебельной фабрике она узнает, что мастер Квангель, как и всегда, во-время пришел на работу. Она посылает ему бутерброды, которые он «позабыл дома», и дожидается возвращения посланного.

— Ну, что он сказал?

— Что сказал? Да разве он когда что скажет!

Она возвращается домой, несколько успокоенная. Пока еще ничего не случилось, несмотря на его утреннее тревожное состояние. А вечером она с ним поговорит...

Он вернулся ночью. По лицу его видно, как он устал.

— Отто, — говорит она умоляюще. — Я ведь совсем не то думала. Просто в первую минуту вырвалось. Не сердись на меня!

— Мне сердиться на тебя? Из-за таких вещей? Да что ты!

— Ты что-то задумал, я чувствую! Отто не делай этого, не накликай на себя беды. Из-за каких-то глупых слов! Я никогда себе не прощу. Что ты собираешься сделать?

Он смотрит на нее, как будто даже улыбается. Потом кладет обе руки ей на плечи. И тут же их принимает, словно стыдясь даже мимолетного проявления нежности.

— Что я сделаю? Спать лягу, вот что я сделаю! А завтра утром скажу тебе, что мы сделаем вместе с тобой.

И вот уже утро, а Квангель еще спит. Но теперь это неважно, минутой раньше, минутой позже. Он дома, ничего опасного с ним не случится. Он спит.

Она отходит от его постели, снова принимается за домашние дела.

А фрау Розенталь уже давно дошла до своей двери, хоть она и очень медленно подымалась по лестнице. Ей не кажется странным, что дверь на замке, — она отворяет ее своим ключом. И в квартире она не ищет Зигфрида, не зовет его. И хаос в комнате не поражает ее. Позабыла она уже и то, что в квартиру вошла, собственно, привлеченная шагами мужа.

Затуманенность сознания все увеличивается, медленно, но непрерывно. Она и не спит, и не бодрствует. Беспомощно и неуверенно двигаются отяжелевшие ноги, все тело налито свинцом, голова налита свинцом. Возникают обрывки каких-то картин и тут же расплываются, раньше чем она успеет их удержать. Она сидит на диване, под ногами затоптанное, измятое белье, медленно и вяло осматривается она. В руке все еще ключи и сапфировый браслет — подарок Зигфрида за рождение Эвы. Выручка от весенней распродажи белья... Она улыбается.

Кто-то тихонько открывает входную дверь, она знает: Зигфрид. Вот он идет. Потому я и поднялась сюда. Сейчас пойду ему навстречу.

Но она не встает с дивана, на пожелтевшем лице широкая улыбка. Она встретит его здесь, сидя на диване, словно никуда и не уходила, словно так и сидела все время, поджидая его.

Но вот открывается дверь, и вместо Зигфрида в дверях трое мужчин. Как только она видит среди них ненавистную коричневую рубашку, она сразу понимает: это не Зигфрид. Зигфрида с ними нет. Где-то в ней чуть шевелится страх, но, только совсем чуть-чуть. Вот оно!

Медленно сползает улыбка с лица, ставшего зеленовато-желтым.

Трое стоят прямо перед ней. Она слышит, как высокий, грузный человек в черном пальто говорит: — Не пьяна, паренек. Вероятно, отравилась наркотиком. Надо, не теряя времени, выжать из нее, что можно. Послушайте, вы фрау Розенталь?

Она кивает: — Да, Лора или, вернее, Сара Розенталь. Муж сидит в Моабите, два сына живут в Соединенных Штатах, одна дочь замужем в Дании, другая в Англии...

— Сколько денег вы им переслали? — быстро спрашивает Руш, комиссар гестапо.

— Денег? Зачем им деньги? У них своих довольно. Зачем мне им посылать?

Она серьезно кивает головой. Дети все хорошо устроены. Еще родителей прокормят. Вдруг ей приходит в голову, что обязательно надо сказать этим господам еще об одном: — Это я во всем виновата, — говорит она, беспомощно ворочая заплетающимся языком, говорить становится все труднее, она уже едва лепечет, — я одна во всем виновата. Зигфрид давно хотел уехать из Германии. А я его убеждала: «Ну, чего ради оставлять здесь столько добра, такое прибыльное дело, продавать все за бесценок? Мы никому зла не делали, и нам они ничего не сделают». Это я его отговорила, а то бы мы давно уехали!

— А куда вы спрятали деньги? — спрашивает комиссар, начиная терять терпение.

— Деньги? — она старается припомнить. Правда, как будто какие-то деньги были. Куда же они девались? Но ей трудно напрягать память. Зато она вспоминает другое. Она протягивает комиссару сапфировый браслет. — Nate! — просто говорит она. — Nate!

Комиссар Руш бросает быстрый взгляд на браслет, затем оглядывается на своих двух спутников, на молодцеватого руководителя гитлеровской молодежи и на своего постоянного помощника — Фридриха, здоровенного малого, смахивающего на подручного палача. И тот и другой не спускают с него глаз. И он нетерпеливо отталкивает руку с браслетом, хватая за плечи отяжелевшую женщину и как следует ее встряхивает.

— Проснитесь же, наконец, фрау Розенталь! — кричит он. — Приказываю вам! Проснитесь!

Он отпускает ее: голова фрау Розенталь откидывается на спинку дивана, тело безжизненно оседает, язык лепечет что-то бессвязное. Повидимому, примененное комиссаром Рушем средство не подействовало, не привело ее в чувство. Некоторое время все трое молча смотрят на старую женщину, тяжело завалившуюся на диван, не похоже, чтобы сознание вернулось к ней.

И тогда комиссар шепчет совсем тихо: — Забери-ка ее на кухню и там попробуй расшевелить!

Фридрих, подручный палача, кивает головой. Как ребенка, берет он на руки отяжелевшую женщину и осторожно шагает вместе с ней через наваленные на полу вещи.

Когда ой уже в дверях, комиссар говорит ему вдогонку: — Смотри, чтобы без крику! Не зачем шум подымать в таком населенном доме, да еще в воскресенье. Можно ведь и до Принц-Альбрехтштрассе отложить. Так или иначе я ее туда заберу.

Дверь за ними захлопывается. Комиссар и руководитель гитлеровской молодежи одни.

Комиссар Руш стоит у окна и смотрит на улицу.

— Спокойная улица, — говорит он. — Только детям здесь и играть, правда?

Бальдур Перзике подтверждает, что Яблонски-штрассе улица тихая.

Комиссар немножко нервничает, но не из-за того, что происходит в кухне. Чего уж там, такие дела, да пожалуй и почище, ему как раз по нраву. Руш — неудавшийся юрист, пристроившийся к уголовному розыску, откуда его откомандировали в распоряжение гестапо. Он служит исправно. Всякому режиму будет он служить исправно, но энергичные приемы фашистского режима ему особенно нравятся. «Пожалуйста, без сентиментальностей, — поучает он новичков. — Только если мы достигли цели, мы выполнили свой долг. Каким путем — все равно».

Нет, из-за какой-то там старухи комиссар не станет нервничать, он на самом деле далек от всякой сентиментальности.

Но этот мальчишка Перзике, руководитель гитлеровской молодежи, не очень его устраивает. Посторонние свидетели тут ни к чему, в них никогда нельзя быть вполне уверенным. Правда, этот кажется

подходящий, но полная уверенность всегда приходит с запозданием.

— Заметили, господин комиссар, — угодливо спрашивает Бальдур Перзике — ему просто не хочется вникать в то, что происходит в кухне, это их личное дело! — заметили, она без сионской звезды!

— Я заметил не только это, — говорит комиссар задумчиво, — я заметил, что на ней чистые башмаки, а на улице слякоть.

— Да, — подтвердил Бальдур Перзике, еще не понимая, к чему тот клонит.

— Значит, она со среды пряталась у кого-то здесь в доме, если действительно так долго не была у себя в квартире, как вы утверждаете.

— Я почти уверен, — начал было Бальдур Перзике, несколько смущенный неотступно следящим за ним задумчивым взглядом.

— Почти уверен, ничего не значит, молодой человек, — презрительно возразил комиссар, — почти уверен — для нас не существует!

— Я вполне уверен! — поправился Бальдур. — В любой момент могу под присягой подтвердить, что фрау Розенталь со среды не была у себя в квартире!

— Так-так-так, — небрежно отозвался комиссар. — Вы, конечно, понимаете, что со среды вы один никак не могли держать ее квартиру под постоянным наблюдением. Ни один следователь вам не поверит.

— У меня два брата эсэсовца, — поспешил заявить Бальдур Перзике.

— Ну, хорошо, — удовлетворился комиссар. — Допустим. Да, что я еще хотел сказать, до вечера мне не удастся произвести здесь обыск. Может быть, вы до тех пор последите за квартирой? Ключи у вас, конечно, имеются?

Бальдур Перзике с удовольствием уверил комиссара, что охотно возьмет это на себя. В глазах у него мелькнула радость. Ну, что же — тем лучше, так он и предполагал. Значит, полная гарантия.

— Хорошо бы, — сказал комиссар со скучающим видом и опять посмотрел в окно, — хорошо бы, чтобы здесь все осталось, как сейчас. Конечно, за то, что в шкафах и чемоданах, вы отвечать не можете, но все же...

Не успел Бальдур ответить, как из кухни раздался громкий, пронзительный крик.

— Чорт! — выругался комиссар, но не сделал ни шага.

Бальдур побледнел, нос у него заострился, колени трясутся, растерянно уставился он на комиссара.

Крик ужаса тут же замолк, слышно только, как ругается Фридрих.

— Что я еще хотел сказать, — медленно начинает комиссар.

Но он так и не кончил, он опять прислушивается. Из кухни доносится громкая ругань, шумная возня. Фридрих орет: — Отдашь, отдашь, проклятая!

Пронзительный крик. Опять дикая ругань. Хлопает дверь, топот по коридору, и в комнату с криком врывается Фридрих. — Что вы скажете, господин комиссар? Только я довел ее до сознания, думал, сейчас заговорит разумно; тут она, сволочь, из окна прыгнула.

Комиссар в ярости бьет его по лицу. — Идиот! Я тебе все кости переломаяю! Беги, во весь дух!

И он бросился вон из комнаты и вниз по лестнице.

— Да ведь во двор, во двор она упала, не на улицу! — с мольбой в голосе взывает Фридрих, догоняя комиссара. — Ну, кто там увидит, господин комиссар!

Тот не отвечает. Все трое бегут вниз по лестнице, стараясь не грохотать, чтобы не переполошить по воскресному мирный дом. Последним, отстав на пролет, бежит Бальдур Перзике. Он не позабыл накрепко запереть дверь квартиры. Хоть у него поджилки трясутся от страха, он помнит, что отвечает за все тамошние вещи. Ничто не должно исчезнуть!

Все трое пробегают мимо квартиры Квангелей, Перзике, советника апелляционного суда в отставке Фрома. Еще несколько ступенек, и вот они во дворе.

Между тем Отто Квангель встал, умылся и, стоя на кухне, смотрел, как жена готовила завтрак. После завтрака они поговорят, а пока только «с добрым утром» сказали, но «с добрым утром» ласковое.

Вдруг оба вздрогнули. В кухне над ними слышен крик, они прислушиваются, напряженно, с тревогой смотрят друг на друга. На секунду что-то темное застилает им свет, что-то грузное летит мимо окна и шлепается во дворе на землю. Внизу кто-то вскрикивает — мужчина. И мертвая тишина.

Отто Квангель распахнул было кухонное окно, но, услышав топот на лестнице, отшатнулся.

— Ну-ка, Анна, выгляни на минутку, — говорит он. — Посмотри, не видать ли чего. На женщину меньше обратят внимания. — Он берет ее за плечо и крепко его сжимает. — Без крика! — приказывает он. — Только без крика! А теперь закрой окно!

— Господи боже мой, Отто, — стонет фрау Квангель и смотрит на мужа, бледная как полотно. — Фрау Розенталь из окна упала. Лежит во дворе. Боркхаузен стоит рядом и...

— Молчи! — говорит он. — Замолчи сейчас же! Мы ничего не знаем. Ничего не видели и не слышали. Подавай кофе на стол!

И в столовой он еще раз внушает ей: — Анна, мы ничего не знаем. Фрау Розенталь почти никогда не встречали. А теперь ешь! Ешь, говорю. И кофе пей! Если кто придет, так мы ничего не знаем.

Советник суда Фром все еще стоял на своем наблюдательном посту. Сперва он увидел, как двое штатских прошли наверх, а теперь трое мужчин стремительно пробежали вниз по лестнице — в их числе младший Перзике. Значит, что-то случилось, и тут же его служанка пришла из кухни со страшной вестью — фрау Розенталь упала из окна во двор. Он с ужасом посмотрел на нее...

С минуту он молчал. Затем несколько раз медленно кивнул головой.

— Да, Лиза, — сказал он. — Так-то. Желать спасти мало. Надо, чтобы и тот, кого спасаешь, хотел спастись. — Затем быстро спросил: — Окно в кухне закрыто? — Лиза кивнула. — Поскорей убери барышину комнату, чтобы не видно было, что в ней жили. Убери посуду! Убери белье!

Лиза опять кивнула. Потом спросила: — А деньги и те драгоценные вещи, что на столе, куда, господин советник?

Он совсем растерялся, стоит, улыбается жалкой, беспомощной улыбкой. — Да, Лиза, — сказал он после

паузы. — Это большая забота. Наследники, верно, не объявятся. А для нас это только обуза.

— А если бросить в помойное ведро, — предложила Лиза.

Он покачал головой. — Помойное ведро слишком для них просто, Лиза. Это как раз по их части в помойке копаться. Ну, потом подумаю, куда деть. А сейчас убери поскорей комнату! Они могут нагрять каждую минуту!

Но пока они были еще во дворе, и вместе с ними Боркхаузен. На его долю выпал первый и самый сильный испуг. Он с раннего утра слонялся по двору, ему не давала покоя злоба на Перзике и досада, что столько добра уплыло у него из рук. Ему хотелось по крайней мере знать, что там делается, поэтому он все время следил за лестницей и окнами переднего корпуса...

И вдруг что-то упало сверху с большой высоты прямо ему под ноги, чуть не задев его. Потрясенный страхом, он прислонился к стене, но тут же вынужден был сесть на землю, у него потемнело в глазах.

И сразу опять вскочил, так как вдруг заметил, что сидит во дворе рядом с фрау Розенталь. Господи боже мой! значит, старуха выбросилась из окна, а кто в этом виноват, это ему совершенно ясно.

Боркхаузен сейчас же понял, что старуха разбилась насмерть. Струйка крови вытекла изо рта, но это не обезобразило ее. На лице лежала печать такого глубокого покоя, что жалкий шпик не выдержал и отвел глаза. И тогда взгляд его упал ей на руки и он увидел, что в одной руке она что-то зажала, какую-то вещь со сверкающими драгоценными камнями.

Боркхаузен опасливо *оглядел* двор. Если действовать, *го* быстро. Он нагнулся, отвернувшись от покойницы, чтобы не смотреть ей в лицо, вынул у нее из руки сапфировый браслет и опустил к себе в карман брюк. Опять опасливо *огляделся*. Ему почудилось, будто у Квангелей осторожно притворили кухонное окно.

И вот уже по двору бегут трое, трое мужчин, и кто те двое, он тоже сейчас же понял. Теперь важно с первых же шагов не наделать глупостей.

— Сию минуту выбросилась из окна фрау Розенталь, господин комиссар, — сказал он, словно докладывая самом обыденном факте. — Чуть на голову мне не свалилась.

— Откуда вы меня знаете? — спросил комиссар и нагнулся вместе с Фридрихом над мертвым телом.

— Я вас, господин комиссар, не знаю, — ответил Боркхаузен. — Просто так решил. Дело в том, что иногда господин комиссар Эшерих поручает мне кое-какую работу.

— Так! — только и сказал комиссар. — Так. Тогда постойте здесь еще немножко. А вы, молодой человек, — обратился он к Перзике, — присмотрите, как бы этот молодец не смылся. Фридрих, позаботься, чтобы во двор народ не лез. Скажи шоферу, пусть последит за воротами. Я пойду к вам в квартиру позвонить по телефону.

Когда господин комиссар Руш, поговорив по телефону, вернулся во двор, положение там изменилось. Во флигеле ко всем окнам припали лица, и несколько человек стояло во дворе, — правда в отдалении. Тело было покрыто простыней, надо сказать, коротковатой, из-под нее до колен торчали ноги фрау Розенталь.

А господин Боркхаузен как-то весь даже пожелтел. Он был в наручниках. С порога дома на него молча смотрели жена и пятеро детей.

— Господин комиссар, я протестую! — жалобно возопил Боркхаузен. — Я не бросал браслетки в подвал. У господина Перзике на меня зуб...

Выяснилось, что Фридрих, исполнив возложенное на него поручение, сейчас же принялся за поиски браслета. В кухне он был у фрау Розенталь в руке — как раз из-за этого браслета, который она ни за что не хотела отдавать, и разгневался на нее Фридрих. А разгневавшись, он немного не доглядел и тут-то она и проделала свой фортель с окном. Значит, браслет должен был лежать где-нибудь тут во дворе.

Когда Фридрих принялся за поиски, Эмиль Боркхаузен стоял у стены. Вдруг Бальдур Перзике заметал, как что-то блеснуло, а затем что-то звякнуло в подвале. Он тут же заглянул в люк и представьте — увидел браслетку.

Я ее туда не бросал, господин комиссар, — испуганно уверял Боркхаузен. — Она, должно быть, сама туда завалилась, когда фрау Розенталь упала.

— Так, — сказал комиссар Руш. — Так, теперь видно, какой ты фрукт. И такой фрукт, значит, работает на моего коллегу Эшериха! Воображаю, как обрадуется мой коллега Эшерих, когда услышит о здешних делах.

Не прерывая своей неторопливой речи, комиссар поглядывал то на Боркхаузена, то на Бальдура Перзике, и опять то на одного, то на другого. Затем Руш предложил: — Ну, я думаю, ты не будешь возражать и прогуляешься с нами. Верно?..

— Разумеется, не буду, — поспешно отозвался Боркхаузен, хотя сам дрожал, а лицо его стало совсем землистым. — С удовольствием пойду! Мне ведь самое важное, чтоб все дело разъяснилось, господин комиссар!

— Ну, и отлично! — сухо сказал комиссар. И, бросив быстрый взгляд на Перзике, прибавил: — Фридрих, сними с него наручники. Он и так пойдет. Верно?..

— Ну, конечно, пойду! С удовольствием пойду! — горячо заверил его Боркхаузен. — И никуда я не убегу. А если бы даже и убежал — от вас все равно никуда не скроешься, господин комиссар!

— Правильно! — опять сухо сказал комиссар. — Такая птица, как ты, далеко не улетит. А вот уже и санитарная карета. И полиция. Ну-ка, быстро, забирайте эту старую рухлядь. У меня сегодня утром еще дел по горло.

Затем, когда «старую рухлядь» забрали, комиссар Руш и младший Перзике еще раз поднялись в квартиру фрау Розенталь.

— Только чтоб закрыть кухонное окно! — сказал комиссар.

На лестнице младший Перзике вдруг остановился. — Вам ничего не показалось странным, господин комиссар? — спросил он шопотом.

— Мне многое показалось странным, — ответил комиссар Руш. — Ну, а тебе, например, паренек, что показалось странным?

— Вам не кажется странной тишина в переднем корпусе? Вы не обратили внимания, что в переднем корпусе никто из окна головы не высунул, а ведь во флигеле смотрели из всех окон! Это же подозрительно. Уж верно и здесь, в переднем корпусе, кое-что заметили. Только вид делают, что не заметили. Вам надо бы сейчас же у них обыск сделать, господин комиссар!

— А начать надо бы с квартиры Перзике, — ответил комиссар и спокойно продолжал подниматься по лестнице. — У них тоже никто из окна не выглянул.

Бальдур смущенно засмеялся. — Мои братья-эсэсовцы, — пояснил он, — вчера вечером здорово нализались оба...

— И вообще, сынок, — продолжал комиссар, словно ничего не слышал, — мои дела только меня и касаются, а ты занимайся своими делами. Советы твои мне нежелательны. Зелен еще. — Он свысока посмотрел на Бальдура, потешаясь в душе над его смущенной физиономией.

— Паренек, — продолжал он затем, — если я не делаю сейчас обыска, то только потому, что у них было больше чем достаточно времени, чтобы уничтожить все улики. Да и к чему столько хлопот из-за мертвой старухи! У меня и с живыми дела хватит.

За разговором они дошли до квартиры фрау Розенталь, Бальдур отпер дверь. Они закрыли окно в кухне, поставили на место упавший стул.

— Так! — сказал комиссар Руш и огляделся. — Все в порядке!

Он прошел в комнату и сел на диван, как раз на то самое место, на которое час тому назад он швырнул старую фрау Розенталь, лишившуюся сознания. Он потянулся, уселся поудобнее и сказал: — Так, сынок, а теперь ступай, принеси бутылочку коньяку и два стакана!

Бальдур пошел, вернулся с коньяком, налил. Они чокнулись.

— Так, — сказал, благоденствуя, комиссар и закурил папироску, — а теперь расскажи, что за дела у вас были с Боркхаузенom здесь в квартире?

И раньше, чем Бальдур Перзике успел сделать возмущенный жест, добавил: — Подумай как следует, сынок. Случается, я даже руководителя гитлеровской молодежи с собой на Принц-Альбрехтштрассе прихватываю, например, если он уж слишком нахально врет. Подумай, может быть ты все-таки предпочтешь сказать правду.

Возможно, эта правда и останется между нами, смотря по тому, что ты расскажешь. — И видя, что Бальдур колеблется: — Я тоже кое-какие мелочи приметил, у нас это называется анализировать обстановку. Например, я видел следы твоих сапог там, на постельном белье. В том углу ты сегодня еще не был. И откуда ты, собственно, мог разнюхать, что здесь есть коньяк, и где он стоит? А как ты думаешь, чего только Боркхаузен мне не наговорит с перепугу? Ну, сам посуди, какой мне толк сидеть и твое вранье слушать? Зелен ты еще!

Бальдур понял, что он еще зелен, и выложил все.

— Так, — сказал в заключение комиссар. — Так. Н-да, каждый делает, что может. Глупый глупости, а умный — часто еще большие глупости. Ну, сынок, в конце концов, у тебя все-таки хватило ума и ты не стал врать старику Рушу. За это полагается награда. Ну, что тебе здесь особенно нравится?

Глаза Бальдура загорелись. Только что он был в полном отчаянии, а сейчас опять увидел свет.

— Радио и проигрыватель с пластинками, господин комиссар! — шепнул он с воодушевлением.

— Хорошо! — милостиво согласился комиссар. — Я ведь тебе сказал, до шести я сюда не вернусь. Еще что?

— Можно чемодан-другой белья? — попросил Бальдур. — Мать очень с бельем бедствует.

— Господи боже мой! Как трогательно! — съязвил комиссар. — Какой нежный сын! Настоящий любящий сынок! Ну, по мне бери! Но на этом точка! За все остальное ты отвечаешь! А у меня чертовская память на то, как что стоит и где лежит, меня не надует! И я уже сказал, при малейшем сомнении — обыск у Перзике. В любом случае будут найдены радиоприемник с проигрывателем и два чемодана с бельем. Но не бойся, сынок, пока ты не нарушишь условий, не нарушу и я.

Он пошел к дверям, бросив на ходу: — Да, если Боркхаузен опять сюда заявится, так чтоб у вас никаких склок. Я этого не люблю. Понял?

— Слушаюсь, господин комиссар, — покорно ответил Бальдур Перзике, и с этими словами они расстались после столь плодотворно проведенного утра.

ГЛАВА 17

Первая Открывка Написана

Для Квангелей это воскресенье было не столь плодотворно, во всяком случае, до задушевного разговора, которого так ждала фрау Анна, дело не дошло.

— Нет, — сказал Квангель на ее настойчивые просьбы. — Нет, мать, не сегодня. День начался неладно, не могу я в такой день сделать то, что задумал. А не могу сделать, так незачем и говорить. Подождем до следующего воскресенья. Слышишь? Так и есть, вот уж опять кто-то из Перзике по лестнице крадется — ну, чорт с ними, только бы они нас в покое оставили!

Но Отто Квангель был как-то необычно мягок в это воскресенье. Анна могла без конца говорить о погибшем сыне, и он ни разу на нее не цыкнул. Они даже пересмотрели вместе те немногие фотокарточки сына, что остались у них, и когда она расплакалась, он положил руку ей на плечо и сказал: — Полно, мать, полно. Как знать, может, так и лучше, может, так он от многого избавлен.

Значит воскресенье оказалось хорошим и без задушевного разговора. Давно уже не видела Анна мужа таким ласковым, будто солнышко еще раз пригрело землю, в последний раз, а затем наступит зима и похоронит все живое подо льдом и снежной пеленой. В течение следующих месяцев, когда Квангель с каждым днем все мрачнел, все больше замыкался в себе, ей часто потом вспоминалось это воскресенье,

оно и утешало и подкрепляло ее.

Воскресенье кончилось, и опять пошли трудовые будни, однообразные будни, один день как другой, все равно цветут ли цветы или падает снег. Работа была все та же, и люди были все те же, что и раньше.

Только одно незначительное событие, совсем незначительное, случилось за эти дни с Отто Квангелем. Раз, идя на фабрику, он повстречался на Яблонскиштрассе с советником суда в отставке Фромом. Квангель хотел было ему поклониться, да побоялся любопытных взглядов Перзике. Не хотелось ему также попасться на глаза Боркхаузену, которого, по словам Анны, водили в гестапо.

Боркхаузен опять был тут, если вообще какое-то время и отсутствовал, и теперь постоянно торчал близ дома.

И Квангель прошел мимо советника суда, не взглянув на него. Тот, верно, был не столь опаслив, так или иначе, повстречавшись с верхним жильцом, он приподнял шляпу, улыбнулся одними глазами и вошел в парадное.

Очень хорошо! решил Квангель. Если кто видел, подумает: Квангель, как был неотесанным чурбаном, так и остался, а советник суда человек образованный. Но что между нами что-то есть, этого никто не подумает!

Конец недели прошел без всяких событий, и опять наступило воскресенье, которого так нетерпеливо ждала Анна, потому что Отто отложил до воскресенья давно обещанный разговор о своих планах. Квангель встал поздно, но он был в хорошем настроении и спокоен. За кофе Анна то и дело поглядывала на мужа, чтобы придать ему духу, но Отто, казалось, не замечал ее взглядов; неторопливо жуя, ел он хлеб и помешивал ложечкой в чашке.

Анна медлила и не убирала посуду со стола. На этот раз начать разговор должен был он сам. Он отложил его до воскресенья, и, конечно, сдержит слово, — если же заговорить с ним самой, еще подумает, что она пристает.

Итак, тихонько вздохнув, встала она из-за стола и понесла на кухню чашки и тарелки. Когда она вернулась за хлебницей и кофейником, муж стоял на коленях перед комодом и рылся в ящике. Анна не могла вспомнить, что лежит в этом ящике. Должно быть, старый, никому ненужный хлам.

— Ты что-нибудь ищешь, Отто? — спросила она.

В ответ он только что-то буркнул, и Анна поскорее ступевалась и принялась в кухне за мытье посуды и стиранию. Не хочет. Значит, опять раздумал! И еще больше окрепло у нее убеждение, что в нем что-то назревает, что-то, о чем она только догадывается, но что ей необходимо знать!

Потом, когда она вернулась в комнату, — ей хотелось побыть подле мужа, пока она чистит картошку, — он уже сидел за столом, с которого снял скатерть; весь стол и пол вокруг были усеяны стружками.

— Что ты делаешь, Отто? — спросила она, очень удивившись.

— Да вот, хочу посмотреть, не разучился ли еще резать, — ответил он.

Она даже рассердилась. Хотя Отто и не был большим сердцеведом, все-таки он мог бы, кажется, догадаться, что с ней творится, как она изнервничалась, ожидая от него хоть какого-нибудь слова. А он вытащил ножик, которым работал еще в первые годы их семейной жизни, и начал строгать чурку, совсем как бывало прежде, когда он доводил ее до отчаяния своей вечной молчаливостью. Тогда она еще не привыкла к его неразговорчивости, как привыкла теперь, но именно теперь, когда она привыкла, это казалось ей совершенно невыносимым! Строгает! Господи боже мой, после всего, что случилось. Ну, что за человек! Как это только в голову придет! Неужели он будет теперь часами молча сидеть за резьбой, оберегая свое драгоценное спокойствие? Неужели он так ее обидит! Не раз ей приходилось терпеть от него обиды, но сейчас не было сил снести это молча.

Несмотря на волновавшие ее горькие мысли, она все же с любопытством смотрела на продолговатую, толстую чурку, которую он вертел в своих больших руках, время от времени откалывая от нее щепочку покрепче.

— Что ты делаешь, Отто? — вырвалось у нее почти против воли. Ей пришла странная мысль, что он вытачивает какую-то деталь, может быть, деталь взрывателя для бомбы. Чепуха какая, даже подумать смешно — ну, зачем Отто бомбы! Да и дерево как будто для бомб не годится. Итак, она спросила почти против собственного желания: — Что ты делаешь, Отто?

Сначала он, видимо, опять собирался что-то буркнуть в ответ, но то ли подумал, что сегодня Анна и без того уже изнервничалась, то ли просто решил, что пора объяснить свое поведение, во всяком случае, он сказал: — Голову. Хочу посмотреть, сумею ли еще голову вырезать. Прежде я часто фигурные трубки резал.

И он продолжал вертеть и строгать чурку.

У Анны вырвался крик возмущения.

— Фигурную трубку! Да бог с тобой, Отто! В уме ли ты! Мир рушится, а он за трубку взялся! Даже слушать тошно!

Он как будто не обратил внимания ни на ее слова, ни на ее недовольство. Он сказал: — Ну, это-то, конечно, не трубка! Хочу попробовать, может удастся вырезать нашего Отто, чтоб хоть немножко похож был!

Настроение ее вмиг переменялось. Так он, значит, об Отто думал, а если он думал об Отто и хотел вырезать его голову, значит, он думал и о ней, хотел и ей доставить радость. Она быстро встала со стула и сказала, отодвинув миску с картошкой: — Погоди, Отто, я тебе карточку принесу, ты вспомнишь, каким Оттохен в жизни был.

Он покачал головой. — Не нужны мне твои карточки, — сказал он. — Я хочу такого Отто вырезать, какой он у меня вот тут. — Он постучал себе по лбу. И через минутку прибавил: — Если удастся!

И опять это растрогало ее. Значит, и он об Оттохен думал, и в нем жил образ сына. Теперь ей не терпелось увидеть, какой выйдет голова. — Конечно, удастся, Отто! — отозвалась она.

— Н-да! — только и сказал он, но это «н-да» звучало скорее уверенно, чем с сомнением.

На этом разговор между ними кончился. Анне пора было на кухню готовить обед, а он остался сидеть за

столом и, медленно поворачивая липовую чурку, сосредоточенно и терпеливо откалывал от нее щепочку за щепочкой.

Тем более она удивилась, когда, войдя в комнату перед самым обедом, чтоб накрыть на стол, увидела, что на столе уже прибрано и скатерть постлана. Квангель стоял у окна и смотрел на Яблонскиштрассе, где весело играли дети.

— Как, Отто, — спросила она, — уже кончил?

— На сегодня работать довольно, — ответил он, и в это мгновение она поняла, что обещанный разговор уже близко, Отто и впрямь что-то задумал; вот ведь какой упорный человек, ничто не заставит его поторопиться, у него для всего свое время.

Пообедали молча. Потом она опять пошла на кухню, прибраться, а он сел на диван в свой любимый угол и уставился в одну точку.

Когда она через полчаса вернулась, он сидел все в той же позе. Но она уже не могла ждать, пока он расскажет: его терпение, ее собственное нетерпение изводило ее. А что если он и до четырех так просидит, и после ужина тоже! Больше ждать было не в состоянии! — Отто, — спросила она. — В чем дело? Разве сегодня ты не соснешь после обеда, как обычно в воскресенье?

— Сегодня не обычное воскресенье. С обычными воскресеньями покончено раз и навсегда. — Он вдруг встал и вышел из комнаты.

Но сегодня она не в том настроении, сегодня она так просто его не отпустит в одну из этих его таинственных отлучек. Она побежала за ним. — Нет, Отто... — начала она.

Он стоял у входной двери, которую только что закрыл на цепочку. Он поднял руку, приказывая ей молчать, и прислушался к тому, что делалось в доме. Потом кивнул головой и пошел мимо нее в комнату. Когда она вошла, он уже сидел на диване. Она под села к нему.

— Анна, если позвонят, — сказал он, — не открывай, пока я...

— Да кто же позвонит, Отто? — спросила она в нетерпении. — Кто к нам придет? Ну, говори наконец, что хотел сказать!

— Скажу, Анна, ответил он непривычно мягко. — Но когда ты меня торопишь, мне только труднее.

Она быстро коснулась его руки, ведь этому человеку всегда было трудно рассказать о том, что творилось у него в душе. — Я не буду торопить, Отто, — успокоила она. — Со-берись с мыслями!

Но он тут же начал говорить и говорил почти пять минут кряду, короткими, отрывистыми, тщательно обдуманными фразами; после каждой он крепко сжимал тонкие губы, словно больше ни за что не вымолвит ни слова. И говоря, он глядел на что-то в комнате, что было позади Анны и немного сбоку.

Анна же, пока он говорил, не спускала с него глаз, и она была ему даже благодарна за то, что он не смотрит на нее, ей было бы очень трудно скрыть все сильнее овладевавшее ею разочарование. Господи боже мой! Что этот человек выдумал! Она ожидала великих дел (и ожидала и боялась) — покушения на фюрера, самое меньшее активной борьбы против нацистских главарей и всей их партии.

А что он задумал? Да ничего, такой пустяк, что и сказать смешно! Совсем в своем духе, молчком да тишком, чтобы, упаси бог, как-нибудь не потревожили его покой. Он задумал писать открытки, почтовые карточки с призывами против фюрера и нацистской партии, против войны, чтобы открыть людям глаза, и все. И эти открытки он не собирался рассылать определенным лицам или вывешивать на стенах как плакаты, нет, он хотел подбрасывать их на лестницах очень людных домов, а там предоставлять собственной участи, может кто и подымет, а может просто затопчут, разорвут... Все в ней возмущалось против такой безопасной войны исподтишка. Ей хотелось быть активной, сделать что-то такое, чтобы видны были результаты!

А Квангель, между тем, договорил до конца и, казалось, не ожидал никаких возражений со стороны жены, которая смирно сидела на диване, переживая внутреннюю борьбу. Может быть, все-таки лучше сказать ему?

Он встал и опять пошел послушать к входной двери. Вернувшись, снова снял скатерть со стола, сложил ее и аккуратно повесил на спинку стула. Затем подошел к старинному шкафчику красного дерева, вытащил из кармана связку ключей и отпер дверцу.

Пока он рылся в шкафчике, Анна решилась. Робко спросила она его: — А не слишком ли малое дело ты задумал, Отто?

Он перестал рыться и, не отходя от шкафчика, оглянулся на жену.

— Малое ли, большое, Анна, — сказал он, — но если они до нас доберутся, мы головой поплатимся...

Такая страшная убедительность была в его словах, в темном бездонном птичьем взгляде, которым он смотрел на Анну, что у нее сжалось от страха сердце. И на мгновение перед ней ясно встал серый, каменный двор тюрьмы, гильотина, в чуть брезжащем рассвете тускло мерцает нож, будто с немой угрозой.

Анна Квангель почувствовала, что дрожит, потом опять взглянула на Отто. Может быть, он и прав, малое ли, большое ли дело, все равно рискуешь жизнью. Каждый по своим силам и способностям, главное — не сдаваться.

Квангель все еще молча смотрел на жену, словно следил за борьбой, которая происходила в ней. Вдруг взгляд его посветлел, он перестал рыться в шкафчике, выпрямился и сказал, пожалуй, даже с улыбкой: — Но так легко они до нас не доберутся! Они хитры, а мы, пожалуй, похитрее. Мы и хитры и осторожны. Осторожны, Анна, всегда на-чеку — чем больше мы будем бороться, тем большего достигнем. Что толку умереть преждевременно. Мы будем жить, мы еще переживем их падение. И тогда, Анна, мы сможем сказать, что в этом есть и наша доля участия!

Легко, почти шутя, сказал он эти слова. И опять начал, рыться в ящичке, а она с облегчением откинулась на спинку дивана. Тяжесть свалилась с души, теперь она тоже была убеждена, что Отто задумал что-то большое.

Он отнес на стол пузырек с чернилами, открытки, лежавшие в конверте, большие белые перчатки. Вытащил пробку из пузырька, прокалил на спичке перо и сунул его в пузырек с чернилами. Потом

внимательно осмотрел перо и кивнул головой. Теперь он, не торопясь, надел перчатки, вынул из конверта открытку, положил перед собой. Медленно кивнул Анне. Она внимательно следила за каждым осмотрительным, заранее обдуманном движением. Вот он показал на перчатки: — Чтoб пальцы не отпечатались — понимаешь!

Затем взял перо в руку и сказал тихо, но значительно: — Первая фраза на нашей первой открытке будет: «Матери! Фюрер убил моего сына»...

И опять она содрогнулась. Чтo-тo зловещее, мрачное, решительное было в словах, только что произнесенных Отто. В один короткий миг ей стало ясно, что этой первой фразой он раз и навсегда объявил войну, и она смутно почувствовала, что значит такая война: с одной стороны, они двое — бедные, скромные, незначительные люди, рядовые труженики, которых могут стереть с лица земли за одно единственное слово; с другой — фюрер, нацистская партия, весь этот огромный аппарат.

Она взглянула на мужа. Пока она все это передумала, он дошел только до второго слова первой фразы. С бесконечным терпением выводит он «ф» в слове фюрер. — Дай, я напишу! — попросила она. — У меня скорее пойдет, Отто!

Сначала он только отмахнулся, но потом все-таки объяснил: — Твой почерк, Анна, рано или поздно нас выдаст. А это — особый шрифт, типографский, — видишь, вроде печатных букв...

Опять он молчит, выводит следующие буквы. Да, он все обдумал. Он как будто ничего не забыл. Этому печатному шрифту он научился по рисункам, которые поступали на фабрику от архитекторов, декораторов квартир, — по таким буквам нельзя догадаться, кто писал. Правда, рука у Квангеля непривычна к письму, и буквы выходят неуклюжие, корявые. Но это не беда, по этому не догадаются. Может быть, это даже и Лучше: такая открытка похожа на плакат, на нее скорее обратят внимание. Он терпеливо вырисовывает каждую букву.

И Анна тоже учится терпению. Она начинает привыкать к мысли, что война будет долгая. На душе у нее спокойно. Отто все взвесил, на Отто можно положиться, всегда и во всем. Как он все обдумал! Смерть сына была причиной, породившей первую открытку в начатой им борьбе, и открытка говорит о нем. Был у них сын, фюрер убил его, и теперь они пишут открытки. Это новый этап в их жизни. Внешне ничто не изменилось, вокруг Квангелей мир и тишина. Внутри все стало совершенно иным, объявлена война...

Она приносит рабочую корзинку и берется за штопку чулок. Время от времени она поглядывает на Отто, который медленно, не ускоряя темпа, вырисовывает буквы. Почти после каждой буквы берет он со стола открытку, держит ее в вытянутой руке и, прищурившись, разглядывает написанное. Потом кивает головой.

Наконец он показывает ей первую готовую фразу. Она занимает полторы очень крупных строки.

— Много на такой открытке не поместишь! — замечает Анна.

— Неважно! — отвечает он: — Я ведь не одну открытку напишу.

— И сколько времени берет открытка!

— За воскресенье успею написать одну, а там, глядишь, и две. Войне-тo конца не видно. Бойня не прекращается.

Его не разубедишь. Раз решил, надо выполнять.

Ничто не может изменить его решение, никто не остановит Отто Квангеля на полпути.

Он говорит: — Вторая фраза: «Матери! Фюрер убьет и ваших сыновей, он не успокоится и тогда, когда внесет горе во все дома всего мира!..»

Она повторяет: — «Матери, фюрер убьет и ваших сыновей!» — И кивнув добавляет: — Это обязательно напиши! — Затем, подумав: — Надо бы эту открытку туда положить, где много женщин ходит!

Он соображает, потом качает головой: — Нет. Женщины с перепугу нивесть что натворить могут. Мужчина, тот подымет такую открытку, тут же сунет в карман, а потом внимательно прочтет. Но... у каждого есть мать.

Он опять замолк, снова вырисовывает буквы. Время идет, они позабыли об ужине. Наконец — уже наступил вечер — открытка готова. Он встает. Опять рассматривает ее.

— Так! — говорит он. — Сделано. В тo воскресенье следующая.

Она кивает: — Когда ты ее понесешь? — шепчет она.

Он смотрит на нее: — Завтра утром.

Она просит: — Возьми меня с собой, хоть на этот раз, на первый!

Он качает головой. — Нет, — говорит он. — В первый-тo раз и нельзя. Мне нужно сперва самому посмотреть, как все сойдет.

— Возьми, — просит она. — Это же моя открытка! Материнская!

— Будь по-твоему! — соглашается он. — Пойдем. Но чур, только до дома. Там я один.

— Хорошо.

Он осторожно вложил открытку в книгу, спрятал письменные принадлежности, сунул перчатки в карман куртки.

Они ужинают, они почти не разговаривают, но сами не замечают, что так молчаливы, Анна и та не замечает. Оба устали, словно после трудной работы или далекого путешествия.

Встав из-за стола, он говорит: — Ну, так я сейчас спать лягу.

— Я только на кухне приберусь и тоже приду. Господи, как я устала, а и делать-тo как будто-тo ничего не делали!

Он с улыбкой смотрит на нее, затем, не задерживаясь, идет в спальню и начинает раздеваться.

Вот они уже легли, потушили свет, но теперь ни тому, ни другому не спится. Они ворочаются в постели. Прислушиваются к дыханию друг друга и, в конце концов, заводят разговор. В темноте говорится как-тo легче.

— Как ты думаешь, — спрашивает Анна, — что будет с нашими открытками?

— Сперва, кто подымет, испугается, когда увидит и прочтет первые слова. Сейчас ведь все запуганы!

— Да, — соглашается она. — Все...

Но она мысленно делает исключение для них обоих, для Квангелей. «Почти все запуганы, — думает

она. — А мы нет».

— Кто найдет, — повторяет он то, что передумал тысячу раз, — испугается, как бы его на лестнице не заметили. Скорее сунет открытку в карман и бегом. А может быть, положит на место и убежит, но придет следующий...

— Так оно и будет, — говорит Анна, и перед глазами у нее встает лестница, обычная, плохо освещенная берлинская лестница; всякий, кто возьмет такую открытку в руки, испугается, потому что, в сущности, у каждого те же мысли, что и у автора открытки, но мысли-то это запретные, за такие мысли полагается смерть...

— Другие, — продолжает Квангель, — сейчас же сдадут открытку в нацистскую организацию или в полицию, только бы от нее отделаться. Но и это не беда, все равно у нацистов, в полиции, какой-нибудь их лейтер или кто другой так или иначе прочтет открытку, и она свое дело сделает. Даже если только одно они поймут, если она им лишний раз напомним, что не все покорились, не все стоят за их фюрера...

— Да, — говорит она. — Не все. Мы не за него...

— И таких, как мы, будет все больше, Анна. Благодаря нам их будет больше. Может быть, мы и других наведем на мысль, и те тоже станут писать такие открытки, как я пишу. В конце концов десятки, сотни будут сидеть и писать, как я пишу. Мы наводним Берлин нашими открытками, мы приостановим движение машины, мы свергнем фюрера, окончим войну...

Он перевел дыхание, сам потрясенный своими словами, теми виденьями, которые, хоть и поздно, нашли путь в его замороженное сердце.

И Анна Квангель, захваченная этими мечтами, продолжает: — И мы положили этому начало! Никто этого и знать не будет, зато мы будем знать!

Но он, вдруг отрезвев, останавливает ее: — Может быть, уже многие думают так же, как и мы, верно, тысячи людей уже погибли, может быть, уже и другие пишут такие открытки. Но все равно, Анна! Нас это не касается. Мы будем делать свое дело!

— Да, — отвечает она.

И снова он увлекается открывшимися ему видениями: — Мы всю полицию переполошим, гестапо, СС. Всюду заговорят о таинственном авторе открыток, начнется слежка, подозрения, дознания, обыски — и все напрасно! Мы будем продолжать свое дело, писать, писать, писать!

И она не отстает: — Может быть, они и фюреру открытки покажут, он сам их прочтет, а мы его обвиняем! Вот психовать будет! Говорят, он всегда психует, когда что не по нем! Прикажет нас разыскать, а они не найдут! И опять ему придется наши обвинения читать!

Оба молчат, оба ослеплены видениями будущего. Кем были они до этого дня? Безвестные, маленькие люди, они толклись в общей бессмысленной толчее. А теперь они совсем одни в стороне от остальных, надо всеми, сами по себе. Вокруг них ледяной холод, так они одиноки.

И Квангель видит себя в цеху, все та же гонка, подгоняют его, подгоняет он; он рывками поворачивает голову от машины к машине, внимательно следит. Для рабочих он по-прежнему выживший из ума чужак, только и знающий, что работать да скаречничать. Но у него в голове такие мысли, которых нет ни у кого из них. От таких мыслей всякий умер бы со страху. А у него, у старого бестолкового Квангеля именно такие мысли в голове. Он всех провел.

Анна же думает о дороге, предстоящей им завтра, когда они вместе понесут первую открытку. Она немножко недовольна собой, как было не настоять, чтобы войти вместе с мужем в дом. Она думает, не попросить ли его еще раз. А что если попросить? Обычно Отто Квангель на просьбы не сдается. А что если попросить еще сегодня. Он, как будто, в очень хорошем настроении. А что если сейчас?

Но она собиралась слишком долго. Квангель тем временем заснул. Пора и ей успокоиться, завтра видно будет, может быть, удастся выбрать подходящую минуту. Если удастся, обязательно надо будет попросить.

Наконец засыпает и она.

ГЛАВА 18

Первая Открытка Подброшена

Только на улице решила она поговорить с ним о том, о чем хотела, уж очень неразговорчив был он все утро. — Отто, куда ты собираешься отнести открытку?

Он проворчал: — Молчи. Не здесь же на улице об этом разговаривать. — А затем неохотно прибавил: — Наметил себе один дом на Грейфсвальдерштрассе.

— Нет, — решительно возражает она. — Нет, Отто не надо. Ты неверно это надумал.

— Идем! — сердито говорит он, так как она остановилась. — Сказано тебе, чтобы не на улице!

Он идет вперед, она за ним, она упорно отстаивает свое право высказать собственное соображение. — Не так близко от дома, — убеждает она. — Если она к ним в руки попадет, у них сейчас же явится подозрение на наш район. Давай пройдем до Алекса...

Он обдумывает, взвешивает. Пожалуй, она и права, даже наверно права. Все надо учесть. И все же так быстро менять планы ему не по душе. Если теперь итти до Алекса, времени останется в обрез, чего доброго опоздаешь на работу. Да и дома подходящего в том районе он не приглядел. Конечно, таких домов много, но сперва надо подыскать то, что требуется, а это лучше сделать одному, без жены, она только помешает.

Потом он вдруг решает: — Хорошо, — говорит он — Ты права, Анна. Идем до Алекса.

Она благодарно смотрит на него сбоку. Она бесконечно рада, что он, в кои-то веки, послушался ее совета. И именно потому, что он так ее обрадовал, она не решается просить, чтобы он взял ее с собой в дом. Ладно, пусть идет один. Конечно, она будет беспокоиться, — но, собственно, почему? Она ни на минуту не сомневается, что он вернется. Он такой осмотрительный, сдержанный, его врасплох не поймает. Даже если к ним в руки попадет, не выдаст себя, сумеет вывернуться.

Она идет рядом с молчащим мужем и думает; между тем они вышли с Грейфсвальдерштрассе на Нейе

Кэнигштрассе. Она так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как пыливо Отто оглядывает каждый встречный дом. Вдруг он останавливается — до Александерплац итти еще порядочно — и говорит: — Постой здесь, посмотри на витрину, я мигом вернусь.

И вот он уже переходит улицу, идет к большому, светлому дому, где много всяких контор.

Сердце ее сильно бьется. Ей хочется крикнуть: нет, не ходи, ведь мы решили до Алекса... Хоть до Алекса шесте дойдем. Ну, хоть простишься со мной! Но дверь уже захлопнулась за ним.

С тяжелым вздохом поворачивается она к витрине, но не видит ничего. Она прижимается лбом к холодному стеклу, в глазах рябит. Сердце так бьется, что дышать трудно, кажется, вся кровь прилила к голове.

Значит, мне все-таки страшно, думает она. Не дай бог, он заметит, что мне страшно. Ни за что больше с собой не возьмет. Но, собственно, это не настоящий страх, рассуждает она. Мне не за себя страшно. За него. Что если он не придет!

Она не в силах совладать с собой и оглядывается на тот дом. Дверь то и дело открывается, одни входят, другие выходят, почему же его нет? Верно уже пять, нет, пожалуй, уже десять минут, как он ушел! Куда так бежит человек, что сейчас вышел из того дома? Может быть, за полицией? Неужели Отто схватили с первого же раза?

Ох, я больше не выдержу! Какое дело затеял?! Я-то думала, пустяки! Каждую неделю подвергать жизнь опасности, а если напишет за воскресенье две открытки, то два раза в неделю! И меня не всегда захочет брать! Я уж сегодня утром заметила, не по душе ему было, что я увязалась. Один будет уходить, один разносить открытки, а потом прямо на фабрику (а может и так случиться, что больше и вовсе на фабрику не придет!), а я буду сидеть дама, сидеть в страхе и ждать. Ох, чувствую, никогда этот страх не пройдет, не привыкнуть мне к нему. Вот он! Наконец-то! Нет, не он. Опять не он! Больше не могу, пойду за ним, пусть сердится! Что-то случилось, его уж верно целых четверть часа нет, столько времени на это не может уйти! Пойду разыщу его!

Она делает несколько шагов по направлению к дому и поворачивает обратно. Возвращается к витрине, смотрит на выставку.

Нет, не пойду за ним, не пойду разыскивать. Нельзя с первого же раза так сплеховать. Все это я выдумываю, ну, что может случиться? Вон их сколько входит в дом, выходит оттуда. И, конечно, не прошло еще четверти часа, как Отто нет. Займусь-ка лучше витриной, что здесь есть? Бюстгалтеры, пояса...

А Квангель между тем вошел в дом. Только потому не стал он дольше искать, что жена была с ним. Она действовала ему на нервы, каждую минуту могла она снова завести разговор об «этом». При ней ему не хотелось долго выбирать. Обязательно начнет все о том же, один дом предложит, другой забракует. Нет, больше ни слова! Лучше наудачу войти в любой подъезд пусть даже дом окажется неудачным.

Дом действительно оказался неудачным. Светлый, современный дом, правда, контор в нем много, но зато и швейцар в серой форме налицо. Проходя мимо, Квангель окидывает его равнодушным взглядом. Он приготовил ответ на вопрос «куда?», заметил, что на четвертом этаже контора адвоката Толя. Но швейцар ничего не спрашивает, он занят разговором с каким-то господином. Он бросает на Квангеля рассеянный, равнодушный взгляд. Квангель поворачивает налево, собирается подняться по лестнице, тут он слышит гудение лифта. И этого он не учел, в новых домах лифты, лестницей мало кто пользуется.

Но Квангель подымается по лестнице. Лифтер подумает: старый человек, лифту не доверяет. А может быть, подумает: ему только в бельэтаж. А может быть, ничего не подумает. Во всяком случае, лестницей мало кто пользуется. Он уже прошел целый пролет, а навстречу попался только конторский рассыльный, мчавшийся вниз с пачкой писем. Он даже не посмотрел на Квангеля. Собственно, можно бы тут же положить открытку куда угодно, но Квангель ни на минуту не забывает о лифте, сквозь застекленную дверь его могут увидеть. Надо подняться повыше, подождать, чтоб лифт спустился донизу, и тогда действовать.

Он останавливается у высокого окна между двумя этажами и смотрит вниз на улицу. Тут, укрытый от посторонних взоров, вытаскивает он из кармана перчатку и надевает на правую руку. Руку опять кладет в карман, осторожно, чтоб не задеть заранее приготовленную открытку, осторожно, чтоб не измять ее. Он берет открытку двумя пальцами...

Во время всех этих приготовлений Отто Квангель успел заметить, что Анна отошла от витрины. Бледная, как полотно, стоит она у самой мостовой и не отводит взгляда от этого дома, что, конечно, может всякому броситься в глаза. На то окно, у которого он стоит, она не смотрит, она, конечно, следит за подъездом. Он недовольно качает головой, твердо решив никогда больше не брать жену с собой в такие походы. Конечно, она боится за мужа. Но чего за него бояться? За себя надо ей бояться, ну, можно ли так нелепо себя вести! Она, именно она, обоих под беду подведет!

Он подымается выше. Проходя мимо следующего окна, еще раз смотрит на улицу, но Анна уже опять разглядывает витрину. Хорошо, очень хорошо, она справилась со страхом. Молодец женщина. И говорить с ней об этом не стоит. И вдруг Квангель берет открытку и осторожно кладет на подоконник; и вот он уже повернул обратно, снимает перчатку и сует ее в карман.

На первых ступенях он оглядывается. Вот она лежит в ярком дневном свете, даже отсюда видно, какие крупные, четкие буквы на его первой открытке! Всякий прочтет! И поймет тоже всякий! Квангель сумрачно усмехается.

Однако он слышит, что этажом выше хлопает дверь. Лифт только что опустился вниз. А вдруг человеку, который сейчас вышел там наверху из конторы, не захочется ждать, пока снова поднимется лифт, вдруг он пойдет вниз пешком, вдруг заметит открытку; Квангель спустился только на один пролет. Если тот побежит, он догонит, правда, может быть, только в самом низу, но все-таки успеет его захватить, так как Квангелю нельзя бежать.

Чтобы старик и вдруг, как школьник, бежал сломя голову вниз по лестнице — да на это всякий обратит внимание. А обращать на себя внимание нельзя, нельзя, чтоб кто-нибудь потом припомнил, что видел именно такого-то человека тут в доме...

Но все же он довольно быстро сбегает по каменным ступенькам и сквозь шум собственных шагов старается уловить, спускается ли тот человек наверху пешком или дожидается лифта. Если он пошел по лестнице, он уже увидел открытку, не увидеть ее нельзя. Но Квангель не уверен. Сначала ему как будто почудились шаги. Но он уже давно ничего не слышит. А сейчас он настолько спустился вниз, что вообще ничего не услышит. Ярко освещенный лифт подымается вверх.

Квангель уже в подъезде. Как раз входит со двора группа людей, рабочие откуда-нибудь с фабрики. Квангель вместе с ними выходит на улицу. На этот раз он твердо уверен, — швейцар на него даже не взглянул.

Он переходит на ту сторону и останавливается возле Анны.

— Готово! — говорит он.

И видя, как засияли ее глаза, как задрожали губы, прибавляет: — Никто меня не видел! Идем! Только-только успею пешком до фабрики добраться.

Они уходят. Но на ходу оба еще раз оглядываются на дом, откуда начала свой жизненный путь их первая открытка. Они посылают дому своего рода прощальный привет. Хороший дом, и хотя в последующие месяцы и годы они с той же целью обойдут много домов, — этого дома им никогда не забыть.

Анне Квангель очень хочется погладить руку мужа, но она не смеет. Она только как бы невзначай касается ее и испуганно говорит: — Прости, Отто!

Он удивленно косится на нее, но молчит.

Они продолжают свой путь.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ГЕСТАПО

ГЛАВА 19 Путь Открыток

У актера Макса Хартейзена, по выражению его приятеля и поверенного Толя, еще с донацистских времен была порядком подмоченная репутация. Он снимался в картинах, которые ставились режиссерами евреями, он снимался и в пацифистских картинах, а в театре одной из коронных ролей его был принц Гомбургский, жалкий слизняк, от которого истого национал-социалиста может только тошнить. Таким образом у Макса Хартейзена были все основания держать себя очень осторожно, одно время даже считалось сомнительным, разрешат ли ему вообще играть при коричневом режиме.

Но потом все как-то обошлось. Разумеется, бедному малому полагалось бы учиться смирению, уступать дорогу густо-коричневым актерам, даром, что они ему и в подметки не годятся. Но со смирением у него ничего не получилось; простодушный молодой человек играл так, что обратил на себя внимание самого министра Геббельса. Министр прямо-таки влюбился в Хартейзена. А каждый ребенок знал, к чему ведут такие увлечения министра, ибо свет не видал человека капризнее и взбалмошнее доктора Иозефа Геббельса.

Сначала словно и не было ничего, кроме чести и удовольствия; министр, когда ему угодно было ухаживать за кем-нибудь, не делал различия между женщиной и мужчиной. Точно к возлюбленной, каждое утро звонил доктор Геббельс к актеру Хартейзену и спрашивался, хорошо ли он спал, точно примадонне, посылал ему конфеты и цветы, и не проходило дня, чтобы министр хоть ненадолго не встретился с Хартейзенем. Он даже взял актера с собой в Нюрнберг на съезд нацистской партии, он в «истинном» свете показывал ему национал-социализм, и Хартейзен понимал все так, как ему понимать полагалось.

Не понимал он только, что при «истинном» национал-социализме рядовому немцу не пристало спорить с Геббельсом, так как министр пропаганды уже по одному тому, что он министр пропаганды, в десять раз умнее кого угодно. Хартейзен осмелился поспорить со своим министром по несущественному вопросу киноискусства и даже утверждать, что господин Геббельс городит вздор. Правда, остается неясным, вызвал ли такое строптивое непокорство несущественный и притом чисто отвлеченный вопрос кинематографии, или же актеру попросту опротивело непомерное обожание министра, и он стремился к разрыву. Так или иначе, несмотря на кое-какие намеки, он уперся на своем, что вздор есть вздор, даже если его говорит министр пропаганды!

Ах, и как же изменился мир для Макса Хартейзена? Кончились утренние звонки и вопросы о том, как он спал, кончились шоколадные конфеты и цветы, кончились аудиенции у доктора Геббельса, прекратилось обучение «истинному» национал-социализму! Со всем этим еще можно бы примириться, пожалуй, это даже было к лучшему, но для Хартейзена вдруг кончились и ангажементы, заключенные уже договоры с кинокомпаниями уплывали, лопались и гастрольные поездки, — актер Хартейзен остался не у дел.

Хартейзен был из тех людей, которым их профессия дорога не только как источник заработка, он был подлинным актером, он жил полной жизнью только на подмостках и перед объективом, а потому вынужденное бездействие приводило его в отчаяние. Он не мог и не хотел поверить, что министр, полтора года бывший его лучшим другом, сразу превратился в злобного, подленького врага и пользуется своим высоким положением, чтобы из-за одного сказанного наперекор слова отнять у человека всю радость жизни. (Чудак Хартейзен — он и в 1940 году не понял еще, что любой нацист готов в любой момент отнять у любого немца, не согласного с ним, не только радость жизни, но и самую жизнь.)

Но время шло, а возможности работать не представлялось, так что волей-неволей пришлось Максу Хартейзену поверить, что это так. Друзья передали ему, будто на одном совещании по кинематографии министр заявил, что фюреру не желательно видеть актера Хартейзена на экране в офицерском мундире. Немногим позже было уже сказано, что фюреру вообще нежелательно видеть этого актера, а затем было совершенно официально заявлено, что актер Хартейзен «не угоден». Все! Кончено, мой милый! Тридцати

шести лет попал в черный список на все время существования «тысячелетнего государства»!

Теперь у актера Хартейзена репутация была окончательно испорчена. Но он не сдавался, он допытывался и расспрашивал, он хотел во что бы то ни стало знать, действительно ли этот уничтожающий приговор исходит от фюрера, или все это просто выдумка мелкого интригана, чтобы погубить врага, и, наконец, в этот понедельник, торжествующий Хартейзен влетел к своему поверенному Толю и крикнул: — Моя взяла, моя взяла, Эрвин! Мошенник наврал. Фюрер вообще не видал картины, где я играю прусского офицера, и никогда он ни слова против меня не говорил!

И захлебываясь стал он рассказывать, что сведения у него совершенно точные, ибо исходят от самого Геринга. У подруги его жены есть тетка, а тетчину кузину пригласили к Герингам в Каринхалле в Шорфхейде. Там она навела разговор на эту тему, и Геринг прямо так и сказал.

Поверенный чуть насмешливо посмотрел на взволнованного актера. — Ну, и что же от этого меняется, Макс?

— Так ведь Геббельс солгал, Эрвин! — пробормотал озадаченный актер.

— Ну, и что же? Неужели ты всегда верил тому, что говорит колченогий?

— Нет, разумеется, нет. Но если доложить об этом фюреру... Ведь он же злоупотребил именем фюрера.

— Ну, и злоупотребил, так неужели же фюрер прогонит старого нациста и закадычного друга только за то, что он причинил огорчение актеру Хартейзену?

Актер умоляюще посмотрел на рассудительного, насмешливого адвоката. — Но надо же что-то сделать, Эрвин! — сказал он. — Я хочу работать! Ведь со стороны Геббельса это вопиющая несправедливость!

— Н-да, — сказал адвокат. — Н-да! — И замолчал. Но Хартейзен смотрел на него с такой надеждой, что он опять заговорил: — Ты, Макс, ребенок, просто большой ребенок!

Актер, всегда считавший себя человеком с житейским опытом, недовольно вскинул голову.

— Мы люди свои, Макс, — продолжал адвокат, — дверь обита войлоком, можно говорить откровенно. Ведь ты же знал, ну хотя бы догадывался, какие вопиющие, какие жестокие, кровавые дела творятся сейчас в Германии — и никто не протестует. Наоборот, все еще бахвалятся своим позором. И вот теперь, когда тебя, бедного ребеночка, обидели, ты вдруг увидел, что в мире царит несправедливость, и требуешь справедливости. Макс!

— Но как мне быть, Эрвин? — спросил совершенно убитый Хартейзен. — Ведь что-то сделать надо!

— Как тебе быть? Да очень просто! Ты с женой уедешь в какой-нибудь живописный уголок в провинции и будешь там сидеть смиренхонько. Прежде всего ты прекратишь дурацкие разговоры о своем Геббельсе и не будешь распространяться об интервью с Герингом. А то смотри, как бы твой министр еще чего похуже не учинил.

— До каких же пор мне придется сидеть в провинции и ничего не делать?

— Настроения Геббельса преходящи, сегодня в чести, завтра в опале. Поверь мне, Макс, немилость пройдет. Настанет день, и ты опять будешь в милости, и опять тебя на руках носить будут.

Актер содрогнулся: — Только не это! — сказал он с мольбой в голосе. — Только не это! И ты серьезно думаешь, что ничего для меня не можешь сделать.

— Ничего решительно! — с улыбкой подтвердил поверенный. — Разве только если тебе захочется отправиться в концлагерь пострадать за своего министра.

Три минуты спустя актер Макс Хартейзен стоял на лестнице и в полной растерянности держал в руке открытку: «Матери! Фюрер убил моего сына...»

Господи боже мой! подумал он. Кто мог написать такие вещи? Надо быть сумасшедшим! Ведь на свою голову пишет. Невольно он перевернул открытку. Но на обороте не стояло ни адреса получателя, ни адреса отправителя, а только: «Передайте эту открытку дальше, чтобы ее прочитали и другие! — Не вносите ничего на зимнюю помощь! — Работайте плохо, как можно хуже! — Насыпайте в машины песок! Чем меньше вы работаете, тем скорее закончится война!»

Актер поднял голову. Яркое освещенный лифт проехал мимо. У него было такое ощущение, словно оттуда на него глядело много глаз.

Быстро сунул он открытку в карман и еще быстрее вытащил снова. Он хотел было положить ее обратно на подоконник — но тут на него напали сомнения. А вдруг те, кто ехал в лифте, видели, что он стоит с открыткой в руке, — а его многие знают в лицо. Открытка будет обнаружена, найдутся люди, которые под присягой подтвердят, что положил ее сюда он. Да и на самом деле он положит ее, правда, положит обратно. Но кто ему поверит, и именно сейчас, когда у него произошла размолвка министром? И так уж подмочена репутация, а тут еще это!

Пот выступил у него на лбу, вдруг он осознал, что не только автору открытки, что ему тоже грозит опасность, и ему, может быть, в первую голову. Рука у него дернулась: пожалуй, положить открытку обратно, нет, пожалуй, лучше спрятать, нет, пожалуй, порвать тут же на месте... А вдруг кто-нибудь стоит на лестнице, выше, и следит за ним? За последние дни у него несколько раз было ощущение, будто за ним следят, он приписывал это расстроенным нервам, расшалившимся из-за враждебного отношения министра Геббельса...

А что если это ловушка, специально расставленная этим негодяем, чтоб окончательно погубить его? Чтобы доказать всему свету, как прав был министр пропаганды в своих суждениях об актере Хартейзене? О, господи, да ведь это же граничит с безумием, это уже галлюцинация, таких штук министры не делают! А может быть, он как раз такие штуки и делает?

Но нельзя же стоять здесь вечно. Необходимо на что-нибудь решиться, сейчас не время думать о Геббельсе, впору только о себе подумать.

Он бросился наверх, никого там нет, никто за ним не следит. Он снова звонит к адвокату Толю. Не обращая внимания на горничную, устремляется в кабинет, бросает открытку на письменный стол своего поверенного. — Бот! Посмотри, что я нашел здесь на лестнице!

Адвокат мельком взглядывает на открытку. Затем встает и предусмотрительно запирает двойную дверь кабинета, которую взволнованный Хартейзен позабыл закрыть. Он возвращается к письменному столу.

Берет открытку и долго, внимательно читает, а Хартейзен между тем бегаёт взад и вперед по комнате и бросает нетерпеливые взгляды на своего друга.

Наконец Толь кладет открытку и спрашивает: — Так где, говоришь, нашел открытку?

— Здесь на лестнице, полуэтажом ниже.

— На лестнице? То есть, на ступеньках?

— Не придирайся к словам, Эрвин! Нет, не на ступеньках, а на подоконнике!

— Разреши тебя спросить, почему, собственно, надо было притащить ко мне в контору этот очаровательный сувенир?

Голос адвоката звучит резко, актер говорит умоляющим тоном: — А что мне было делать? Я увидел открытку и машинально взял.

— Так почему же ты не положил ее обратно? Ведь это было бы естественнее всего!

— Лифт прошел мимо, когда я читал. Мне показалось, что на меня обратили внимание. Меня очень многие знают в лицо.

— Час от часу не легче! — горько усмехнулся адвокат. — И ты, вероятно, побежал ко мне, держа открытку всем на показ? — Актер мрачно кивнул головой. — Нет, мой друг, — сказал Толь решительно и протянул ему открытку. — Возьми, пожалуйста, обратно. Мне с ней делать нечего. Запомни твердо, на меня не ссылайся. Я никакой открытки в глаза не видал. Да возьми же ее, наконец!

Побледневший Хартейзен уставился на своего друга. — Я полагаю, — сказал он помолчав, — что ты не только мой друг, но и мой поверенный, ты защищаешь мои интересы.

— Не в данном случае, или, скажем для ясности, не в дальнейшем. Ты неудачник, у тебя поразительная способность, вечно ты влопываешься в самые скверные истории. Ты и на других навлечешь беду. Да возьми же наконец свою открытку!

Он опять протянул ее.

Но Хартейзен, бледный как полотно, все еще стоял перед ним, засунув руки в карманы.

После долгого молчания он прошептал: — Я боюсь. Последние дни у меня все время такое ощущение, будто за мной следят. Сделай милость — разорви открытку. Брось ее в корзину для бумаг!

— Опасно, мой милый! Достаточно сунуть туда нос рассыльному или излишне бдительной уборщице, и я пропал!

— Сожги ее!

— Ты забываешь, что у нас центральное отопление!

— Возьми спичку и сожги над пепельницей, никто не будет знать!

— Ты будешь знать!

Оба стояли бледные и упорно смотрели друг на друга. Они были старыми приятелями, еще со школьной скамьи, но сейчас между ними встал страх, и страх принес с собой недоверие. Они молча глядели друг на друга.

Он актер, думал адвокат. Может быть, он и сейчас играет, хочет меня спровоцировать. Может, ему поручено испытать мою благонадежность. Прошлый раз на том злополучном процессе в трибунале я еще кое-как вывернулся. Но с тех пор мне не доверяют...

Собственно, в какой мере блюдет Эрвин мои интересы? мрачно думал между тем актер. В деле с министром он отказался мне помочь, а теперь готов даже утверждать, что в глаза не видал этой открытки. Он не блюдет моих интересов. Он действует против меня. Кто знает, может быть эта открытка... теперь со всех сторон слышишь о ловушках, которые расставляют людям. Нет, чепуха, он всегда был моим другом, на него можно положиться...

И оба опомнились. Оба улыбнулись.

— Мы с ума сошли, мы перестали доверять друг другу!

— А ведь мы больше двадцати лет знакомы!

— На одной парте сидели!

— Да, вот до чего дошло!

— Нечего сказать, докатились! Сын предает отца, сестра брата, муж жену...

— Нет, мы не предадим друг друга!

— Сообразим, как лучше всего поступить с этой открыткой. Конечно, неблагоприятно разгуливать с ней в кармане по улицам, раз ты думаешь, что за тобой следят.

— Возможно, что это нервы. Давай открытку, я уж как-нибудь от нее избавлюсь!

— Что ты, это при твоей-то злополучной способности к необдуманным поступкам! Нет, открытка останется здесь!

— У тебя жена и двое детей, Эрвин. На служащих в конторе ты тоже положиться не можешь. Да и на кого в наше время можно положиться? Отдай мне открытку. Через четверть часа я тебе позвоню и сообщу, что избавился от нее.

— Ради бога, Макс! Узнаю тебя! О таких вещах по телефону! Почему ты не вызовешь сразу Гиммлера! Тогда, по крайней мере, без задержки!

И снова смотрят они друг на друга, чувствуя некоторое утешение от того, что не так уж они одиноки, что у каждого есть надежный друг.

Вдруг Толь со злостью хлопнул по открытке. — Где у этого идиота голова была, когда он такую штуку писал, а потом к нам на лестницу подбросил? Только людей под топор подводит!

— И ради чего? Что он, собственно, пишет? Ничего и ни для кого нового не пишет! Верно, какой-нибудь сумасшедший!

— Весь немецкий народ с ума сошел, один от другого заражается!

— Поймали бы этого писаку, зачем других под неприятности подводит! Я определенно был бы рад...

— Э, брось! Нашел, чему радоваться, что лишний человек погибнет. Но как нам из этих неприятностей выпутаться?

Адвокат опять в раздумье поглядел на открытку. Затем взялся за телефонную трубку.

— Здесь, у нас в доме есть такой политлейтер, — пояснил он своему другу. — Я официально передам ему открытку, расскажу все обстоятельства, как было в действительности, но вообще не буду придавать этому делу особого значения. Ты совершенно уверен в своих показаниях?

Вполне.

— А в своих нервах?

— Само собой разумеется, мой дорогой. На сцене я никогда не нервничаю. До выхода обязательно! Что за человек этот политлейтер?

— Понятия не имею. По-моему, я его даже ни разу и не видел! Верно так, нацистский бонза, из небольших. Во всяком случае, я ему сейчас позвоню.

Но невзрачный человек, который вошел к адвокату, не очень-то походил на бонзу, он скорее смахивал на лисенка, во всяком случае, он был чрезвычайно польщен знакомством с известным актером, которого неоднократно видел на экране. И он назвал наобум шесть картин; Хартейзен не снимался ни в одной из них. Он все же выразил удивление блестящей памяти лисенка, затем они перешли к деловой стороне визита.

Лисенок прочитал открытку, но по выражению его лица нельзя было определить, что он думает. Оно было просто хитрым. Затем он выслушал рассказ о том, как она была найдена, как принесена в контору.

— Очень хорошо. Очень правильно! — похвалил политлейтер. — А когда это, примерно, случилось?

На минутку адвокат запнулся, бросил быстрый взгляд на своего друга. Лучше сказать правду, подумал он. Кто-нибудь мог видеть, как Хартейзен входил сюда в большом возбуждении и с открыткой в руках.

— С полчаса будет, — сказал адвокат.

Лисенок поднял брови. — Так давно? — спросил он с некоторым удивлением.

— У нас и другие дела были, — пояснил адвокат. — Мы не придавали открытке особого значения. Или она все же важна?

— Все важно. Важно было бы задержать человека, подбросившего открытку. Но теперь, через полчаса, разумеется, слишком поздно.

Каждым своим словом он как бы упрекал их за то, что уже «слишком поздно».

— Очень сожалею, что мы опоздали, — протянул актер Хартейзен. — Виноват тут я. Я счел свои дела важнее этой писанины!

— Мне следовало бы сообразить, — сказал адвокат. Лисенок снисходительно улыбнулся. — Что же, господа, поздно, так поздно. Во всяком случае, я рад, что получил возможность лично познакомиться с господином Хартейзеном. Хейль Гитлер?

Оба, разом вскочив, громко выкрикнули: — Хейль Гитлер!

А когда дверь за ним закрылась, они посмотрели друг на друга.

— Слава богу, развязались с этой несчастной открыткой!

— И у него на нас никаких подозрений!

— В связи с открыткой никаких. Но вот то, что мы колебались передать ее или не передать, это он прекрасно учел.

— Думаешь, привяжутся?

— Нет, собственно, не должны бы. В худшем случае — допрос для проформы, где, когда и как ты нашел открытку. А тут скрывать нечего.

— Знаешь, Эрвин, теперь я в сущности даже рад бы на время уехать из этого города...

— Видишь!

— Здесь становишься подлецом!

— Становишься?.. Уже стали! Да еще какими! Лисенок тем временем отправился в свое районное бюро. Открытка перешла в руки к коричневорубашечнику.

— Это касается только гестапо, — сказал коричневорубашечник. — Лучше всего отправляйся туда сам, Гейнц. Погоди, я тебе записку дам. А те двое?

— Вне всякого подозрения. Политически благонадежными их, конечно, назвать нельзя. Поверь мне, эта открытка их в пот вогнала, пока они придумали, как с ней быть.

— Хартейзен как будто попал в немилость к министру пропаганды, — задумчиво сказал коричневорубашечник.

— Все равно! — сказал лисенок. — Он бы на такое дело не решился. Очень напуган. Я ему прямо в глаза назвал шесть картин, в которых он никогда не снимался, и расхвалил его игру, а он только расшаркивался и рассыпался в благодарностях. Я при этом носом чуял, как он взопреп от страха!

— Все они боятся! — презрительно изрек коричневорубашечник. — И почему собственно? Кажется чего проще, делай, что тебе приказано.

— Это все оттого, что люди никак не могут отучиться думать. Они все еще верят, что до чего-нибудь хорошего додумаются.

— А надо только повиноваться. Думает за всех фюрер.

Коричневорубашечник постучал по открытке. — Ну, а этот? Что ты о нем скажешь, Гейнц?

— Что я могу сказать? Должно быть, на самом деле потерял сына...

— Какой там! Такие вещи пишутся подстрекателями. У них свое на уме. Верно какой-нибудь старый социалист или коммунист...

— Не поверю. Ни за что в жизни не поверю. Разве те расстанутся со своими лозунгами! А на открытке ничего такого нет. Какой там, социалиста или коммуниста я против ветра за десять километров носом чую!

— А я все-таки думаю, что коммунист!

Но господа из гестапо тоже не разделяли мнения коричневорубашечника.

Впрочем, сообщение лисенка там приняли с невозмутимым спокойствием. Их трудно было чем-нибудь удивить.

— Так, так, — сказали они. — Прекрасно. Там видно будет. Может быть, потрудитесь пройти к комиссару

Эшериху, мы предупредим его по телефону, он этим займется. Еще раз подробно расскажите ему, как вели себя оба господина. Конечно, в данный момент, никаких мер против них предпринимать не будут, но это может пригодиться в дальнейшем, вы понимаете, на всякий случай...

Комиссар Эшерих, долговязый, нескладный, с отвислыми песочного цвета усами, в светлосером костюме, — все в нем было до того бесцветно, что невольно казалось будто это не человек, а какое-то порождение вековой архивной пыли, — итак, комиссар Эшерих повертел открытку в руках.

— Новая пластинка, — сказал он. — Такой еще в моей коллекции нет. Рука неумелая, писал мало, всю жизнь занимался физическим трудом.

— КПП? — спросил лисенок. Комиссар Эшерих усмехнулся.

— Бросьте шутить! Какое там КПП! Видите ли, была бы у нас настоящая полиция, и если бы дело того стоило, автор открытки через двадцать четыре часа сидел бы уже за решеткой.

— Как бы вы это сделали?

— Да очень просто! Я приказал бы собрать сведения по всему Берлину, у кого за последние две-три недели убит сын, заметьте, единственный, потому что у него был только один сын.

— Из чего вы это усматриваете?

— Да очень просто! В первой строчке, где он о себе говорит, так прямо и сказано. Во второй, где дело идет о других, он пишет — сыновья. Ну, а тех, которые подошли бы под данные мной приметы — особенно много их в Берлине не наберется — тех я не выпустил бы из своего поля зрения, и автор скоро сел бы, куда надо!

— Так почему же вы этого не сделаете?

— Я же вам сказал, аппарата нехватает, да и дело того не стоит. Видите ли, есть два варианта. Либо он напишет еще две-три открытки и бросит, — потому что это стоит ему слишком больших усилий, или потому что риск слишком велик. Тогда особого вреда он не принесет, и мы на него много трудов не потратим.

— Вы думаете, все открытки будут доставлены сюда?

— Не все, но большинство. На немцев можно положиться.

— Потому что все боятся!

— Нет, этого я не сказал бы. Не думаю, например, чтобы этот человек, — он побарабанил пальцами по открытке, — чтобы этот человек боялся. Но возможен и второй вариант: этот человек не бросит своего писания. Ну, и пусть, чем он больше напишет, тем больше материала даст нам в руки. Сейчас у нас материал очень скудный: потерял сына. Но с каждой новой открыткой материал против него будет все накапливаться. Мне даже особенно трудиться не придется. Просто буду сидеть здесь и следить потихоньку, и цап! — попался, голубчик. От нас, в нашем отделе только терпение и требуется. Бывает, пройдет год, бывает больше, но в конце концов нужных нам людей мы всех переловим. Или почти всех.

— Ну, а тогда?

Пепельно-серый Эшерих достал план города Берлина и приколот его к стене. Потом воткнул красный флажок, как раз в ту точку, где помещался дом на Нейе Кэнигштрассе.

— Вот видите, это все, что я могу сделать в данный момент. Но за несколько недель флажков прибавится, и там, где карта будет утыкана всего гуще, там и надо искать моего невидимку. Потому что со временем пыл его поослабнет и ему не захочется проделывать далекий путь из-за какой-то открытки. Видите ли, об этом плане Берлина мой невидимка и не подозревает. А все так просто! И опять-таки — цап! и он у меня в руках!

— Ну, а тогда? — спросил лисенок, подстрекаемый острым любопытством.

Комиссар Эшерих посмотрел на него чуть насмешливо: — Вам очень хочется знать? Извольте, доставлю вам это удовольствие: трибунал и — голову долой! Меня это нисколько не касается! Заставляют его, что ли, писать такие дурацкие открытки, ведь никто их не читает и читать не станет! Нет, это меня не касается. Я получаю свое жалованье, а что мне за это делать прикажут, марки продавать или флажки вкалывать, мне все равно. Но о вас я помню, я не забуду, что вы первый доставили мне сведения, и, когда я его поймаю и доведу дело до конца, вы получите пригласительный билет на казнь.

— Нет, благодарю вас. Этого я совсем не имел в виду!

— Имели именно это. Чего вы со мной стесняетесь? Со мной нечего стесняться, я ведь человека насквозь вижу! Кому ж и знать людей, как не нам? Господь бог и тот их хуже знает! Итак, договорились, вы получите пригласительный билет на казнь. Хейль Гитлер!

— Хейль Гитлер! И не забудьте о том, что обещали!

ГЛАВА 20

Полгода Спустя. Квангели

Полгода спустя совместная работа по воскресеньям над открытками стала для обоих Квангелей уже привычкой, нерушимой привычкой, неотъемлемой частью их повседневной жизни, так же как окружавшая их глубокая тишина или та жесткая экономия, с которой они берегли каждый грош. Лучшими в неделю были те воскресные часы, которые они проводили вместе, — она, примостясь на диване, занималась починкой или штопкой, между тем как он, сидя за столом в напряженной позе и крепко держа перо в большой руке, медленно вырисовывал слово за словом.

Теперь Квангель удвоил свою первоначальную норму — по открытке в неделю. В особо удачные воскресенья он доводил их число даже до трех. Но никогда не было у него двух открыток, одинаковых по содержанию. Чем больше писали Квангели, тем яснее понимали они вину фюрера и его партии. Многие меры, несправедливость которых раньше не доходила до их сознания, или которые они осуждали только в их крайних или слишком рьяных проявлениях, как, например, преследование евреев, — эти несправедливые меры теперь, когда Квангели стали врагами фюрера, приобрели в их глазах совсем иной вес и значение. Они лишней раз доказывали им всю лживость фюрера и его партии. И, как все новообращенные, они стремились к обращению других, и поэтому открытки не бывали написаны

равнодушно, и в темах никогда не бывало недостатка.

Анна Квангель уже давно отказалась от роли молчаливой слушательницы, она загоралась, спорила, сидя в своем уголке, предлагала темы и придумывала целые фразы. Они работали в полном единении, и эта глубокая внутренняя близость, которую теперь, после долголетнего брака, они ощутили впервые, стала для них огромным счастьем, светившим им всю неделю. Они глядели друг на друга, улыбаясь, каждый знал, о чем подумал другой, — о следующей ли открытке или о воздействии их призывов на все растущее число единомышленников и о том, что где-то уже с нетерпением ждут от них новой вести.

Супруги Квангели ни минуты не сомневались, что на заводах их открытки тайно ходят по рукам, что Берлин заговорил о неизвестных борцах. Они отлично понимали, что часть открыток попадает в руки полиции, но они считали: самое большее каждая пятая или шестая. Они так часто думали о результатах своей работы и так много об этом говорили, что широкое распространение открыток, сенсация, вызванная ими, казались им фактом, не вызывающим никаких сомнений.

Надо сказать, что у супругов Квангелей не было для этого ни малейших данных. Никогда ни один из них не слышал разговоров о новом борце против фюрера, о благой вести, приносимой им в мир; ни Анна, когда стояла в очередях у продовольственных магазинов, ни мастер Квангель, когда он строго и пристально смотрел на разговорившихся рабочих и одним своим присутствием прекращал их болтовню. Но это молчание не могло поколебать их твердой веры, что об их работе говорят, что она дает результаты. Берлин велик, и площадь распространения открыток обширна, не так скоро просочится повсюду слух о них. Словом, с Квангелями было то же, что и со всеми людьми: им хотелось верить, и они верили.

Из мер предосторожности, которые Квангель аккуратно соблюдал с самого начала своей новой деятельности, он отказался только от перчаток. По зрелом размышлении, он решил, что они мешают ему, замедляют работу, а пользы от них никакой. Надо полагать, что открытки, прежде чем какая-нибудь из них попадет в полицию, побывают в стольких руках, что даже самому опытному полицейскому потом не доискаться, которые из отпечатков принадлежат автору. Разумеется, Квангель и теперь соблюдал чрезвычайную осмотрительность. Принимаясь писать, обязательно мыл руки, к открыткам прикасался осторожно, брал их только за краешек и никогда не забывал положить под правую руку промокательную бумагу.

Подбрасывать открытки на лестницу в больших людных домах давно уже потеряло для них остроту новизны. Эта часть задачи, представлявшаяся в начале такой опасной, с течением времени перестала их волновать. Войдешь в такой людной дом, выждешь благоприятный момент, и вот уже спускаешься вниз по лестнице, с плеч словно тяжесть свалилась, в голове вертится «опять сошло с рук», но особого возбуждения не испытываешь.

Сначала Квангель разносил открытки один, он категорически запрещал жене сопровождать его. Но потом как-то само собой вышло, что и тут Анна стала деятельной его помощницей. Квангель настаивал, чтобы открытки, сколько бы он их ни наготовил — одну, две или три, уже на следующее утро обязательно уходили из дому. Но иногда из-за ревматических болей в ногах ему трудно было ходить, а открытки, осторожности ради, он предпочитал разносить в отдаленные друг от друга районы. Это требовало трамвайных разъездов, которые за одно утро почти невозможно было осилить одному человеку.

Итак, Анна Квангель приняла участие и в этой работе. К своему удивлению, она обнаружила, что стоять перед домом и ждать возвращения мужа куда труднее, что это куда больше волнует и дергает нервы, чем когда рискуешь сама. Тут она была воплощенное спокойствие. Спокойно входила она в намеченный дом, чувствуя себя как рыба в воде в сутолоке снующих вверх и вниз людей, терпеливо выжидала подходящую минуту, незаметно избавлялась от открытки. Никогда не покидала ее уверенность, что никто ее не проследил, что никто не вспомнит и не укажет потом ее приметы. Да и на самом деле, ее наружность гораздо меньше бросалась в глаза, чем острый птичий профиль мужа: просто обыкновенная пожилая женщина торопится к доктору.

Только один раз помешали Квангелям в их воскресной работе. Но даже это не вызвало у них ни малейшего волнения или замешательства. Когда раздался звонок, Анна, как у них заранее было условлено, тихонько шмыгнула к входной двери и посмотрела в глазок, — кто пришел. Тем временем Отто Квангель убрал письменные принадлежности, а начатую открытку вложил в книгу. Он успел написать только первые фразы: «Фюрер, приказывай, мы повинемся! Да, мы стали стадом баранов, и фюрер может погнать нас на любую бойню. Сами мы разучились думать»...

Открытку он вложил в «Справочник радиолюбителя», книгу убитого сына, и когда Анна Квангель вошла в комнату с двумя гостями — маленьким горбуном и высокой унылой брюнеткой, Отто уже сидел за своей резьбой и трудился над бюстом сына; работа его заметно подвинулась и, по Аннинному мнению, сходство с каждым днем увеличивалось. Горбун оказался Анниным братом; они не видались почти тридцать лет. Горбун служил на оптической фабрике в Ратенов и только недавно в качестве специалиста был вызван в Берлин для работы на заводе, изготавлившем какие-то приборы для подводных лодок. Унылая брюнетка была его женой, которую Анна видела впервые. Отто Квангель еще не был знаком с родственниками жены.

На это воскресенье пришлось забыть об открытках, уже начатая так и осталась лежать неоконченной в «Справочнике радиолюбителя». Хотя Квангели были вообще против всяких гостей, против друзей и родственников, так как боялись нарушить уединение, в котором они жили, этот неожиданно, как снег на голову, свалившийся брат и его жена пришлись им по вкусу. Хефке, из своих соображений, тоже были людьми замкнутыми, оба они принадлежали к какой-то религиозной секте, которую, судя по их намекам, преследовали нацисты. Но об этом они упомянули только вскользь, разговоры на политические темы тщательно избегались.

Зато Квангель слушал, как Анна с братом Ульрихом вспоминали детство, и удивлялся. Впервые осознал он, что Анна тоже была когда-то ребенком, озорницей, непоседой, шалуньей. Он познакомился с женой, когда она была уже вполне сложившимся человеком, и ни разу не пришло ему в голову, что раньше, до того, как она извела тяжелую безрадостную жизнь в людях, отнявшую у нее столько сил и надежд, она

могла быть совсем иной.

Брат с сестрой болтали, и он видел перед собой бедную деревушку, слушал рассказы о том, как Анна пасла гусей, как она пряталась от ненавистной работы — рытья картошки — и как ей за это попадало, он узнал, что ее очень любили в деревне за упорство и смелость, с какими она восставала против всего, что казалось ей несправедливым. Ведь запустила же она три раза подряд снежком в нелюбимого всей школой учителя — и никто не узнал, что это ее проделки. Только она с Ульрихом и знали, но Ульрих никогда не был ябедой.

Хоть положенные две открытки и остались ненаписанными, все же этим гостям Квангели были рады. Охотно пообещали они на прощание, в свою очередь, навестить Хефке. И обещание сдержали. Месяца через полтора собрались они в гости к Хефке, в крошечную квартирку, которую тем временно предоставили в западной части Берлина, неподалеку от Ноллендорфплац. Квангели воспользовались этим визитом, чтобы хоть разок забросить открытку в западную часть города. Правда, день был воскресный, и постороннего народа в домах было мало, однако все сошло хорошо.

С тех пор, примерно каждые полтора месяца, они навещали друг друга. Визиты эти вошли в привычку, но все же они вносили какое-то свежее дуновение в жизнь Квангелей. Обычно Отто с невесткой молча сидели за столом и слушали тихую беседу брата с сестрой, которые не уставали вспоминать детство. Отто было приятно познакомиться с той, другой Анной; правда, он никак не мог перекинуть мостик между женщиной, которая теперь жила бок-о-бок с ним, и той девушкой, что умела работать в поле, слыла озорницей и вместе с тем лучше всех училась в школе.

Они узнали, что Аннины родители, уже дряхлые старики, все еще жили в родной деревне — шурин вскользь упомянул, что ежемесячно посылает родителям десять марок. Анна Квангель открыла было рот, чтобы сказать брату, что с нынешнего дня тоже будет помогать родителям, но во время поймала предупреждающий взгляд мужа и умолкла.

Только на обратном пути он сказал: — Нет, Анна, лучше не надо. К чему баловать стариков? У них свои деньги есть, да еще шурин ежемесячно десять марок прибавляет, хватит.

— Ведь у нас на книжке столько денег! — просительно сказала Анна. — Нам их нипочем не прожить. Прежде думали, сыну пойдет, ну, а теперь... Отто, пожалуйста, позволь послать! Ну хоть пять марок в месяц.

Отто Квангеля ее просьба не тронула. — Теперь, когда мы затеяли такое большое дело, — сказал он, — совершенно нельзя знать, на что понадобятся нам деньги. Может быть, все до последней марки истратим. А старики до сих пор жили без нас, проживут и дальше!

Анна замолчала, чуточку уязвленная, впрочем не столько в своей любви к родителям, ибо до сих пор она редко вспоминала своих стариков и только раз в год к рождеству посылала им письмо, да и то из чувства долга. Но просто ей не хотелось срамиться перед братом и прослыть скупой. Что же они, хуже брата, что ли?

Анна не сдавалась: — Ульрих подумает, что мы хуже их. Он подумает, что ты плохой работник, мало зарабатываешь.

— Не все ли равно, что люди обо мне подумают, — возразил Квангель. — На такое дело я денег с книжки брать не буду.

Анна почувствовала, что это его последнее слово. Она замолчала, покорилась, как бывало всегда, когда Отто так говорил, но все же и немножко обиделась на мужа за то, что он совсем не считается с ее чувствами. Однако за работой над общим большим делом обида скоро позабылась.

ГЛАВА 21

Полгода Спустя. Комиссар Эшерих

Полгода спустя после получения первой открытки комиссар Эшерих стоял, поглаживая свои песочного цвета усы перед планом Берлина, на котором он отметил красными флажками те места, где были найдены открытки. В план было воткнуто сорок четыре флажка; из сорока — восьми открыток, которые Квангели написали и подбросили за эти полгода, только четыре не попали в гестапо. Да и эти четыре едва ли переходили на заводах из рук в руки, как воображали Квангели, — нет, скорее всего их тут же, не успев прочитать, рвали на клочки, спускали в уборную или сжигали.

Открывается дверь, и входит начальник Эшериха, обергруппенфюрер СС Праль. — Хейль Гитлер, Эшерих! Ну, что это вы усы кусаете?

— Хейль Гитлер, господин обергруппенфюрер! Все из-за этого писаки, из-за невидимки, как я его называю.

— Да ну? Почему же невидимка?

— Сам не знаю. Почему-то пришло в голову. Может быть, потому, что он, как привидение, неуловим.

— Ну, а как обстоят с ним дела?

— Гм, — протянул комиссар. Он опять задумчиво разглядывал план. — Судя по тому, как распространяются открытки, он должен жить где-то к северу от Александерплац, там их найдено больше всего. Однако восточный район и центр тоже порядком утыканы. Южный район совсем свободен, а в западной части, южнее Ноллендорфплац, найдены две, — туда он, вероятно, попал случайно.

— Говоря попросту: из плана пока еще ничего вывести нельзя! С *ним* мы далеко не уедем.

— Чуточку терпения; через полгода, если мой невидимка до тех пор на чем-нибудь не сорвется, план даст уже гораздо больше указаний.

— Через полгода! Да вы с ума сошли, Эшерих! Полгода еще эта скотина будет гулять на свободе и пакостить, а вы попрежнему будете преспокойно вкалывать свои флажки, и только!

— Наша работа требует терпения, господин обергруппенфюрер. Все равно как на охоте, стоишь и ждешь, пока на тебя зверь выбежит. Что поделаешь, приходится ждать. Пока зверь не появится, стрелять бесполезно. Но уж когда он появится, я выстрелю, будьте покойны!

— Эшерих, я только одно и слышу от вас: терпение! Вы как полагаете, у тех, что поважнее нас с вами, хватит терпения? Боюсь, как бы нам не всыпали, и здорово. Подумайте, за полгода к нам попало сорок четыре открытки, в среднем по две открытки в неделю, ведь это же от начальства не скроешь. Они меня спросят: «Ну, как? Еще не поймали? Почему не поймали? А что же вы делаете?» Флажки вкалываем, да в потолок поплеываем, отвечу я. Ну, мне и всыпят как следует и прикажут в течение двух недель изловить этого человека.

Комиссар Эшерих усмехнулся в свои песочные усы. — Ну, а тогда вы мне всыплете, господин обергруппенфюрер, и отдадите приказ изловить этого человека в течение одной недели!

— Ну, что вы, как дурак, гогочете, Эшерих! Из-за такого случая, если он, скажем, до Гимmlера дойдет, можно себе всю карьеру изгадить; пожалуй, настанет такой день, когда мы оба будем сидеть в заксенхаузенском концлагере и грустно вспоминать о той счастливой поре, когда вкалывали красные флажки.

— Не беспокойтесь, господин обергруппенфюрер! Я старый криминалист и знаю, здесь ничего другого не придумаешь: надо ждать. Пусть эти умники предложат, как обойти моего невидимку. Но они, конечно, сами не знают.

— Эшерих, подумайте, ведь если к нам попали сорок четыре, значит, по крайней мере столько же, а может и больше сотни таких открыток гуляют сейчас по Берлину, сеют недовольство, подстрекают к саботажу. Нельзя же сидеть сложа руки!

— Сто открыток! — рассмеялся Эшерих. — Да вы немецкого народа не знаете, господин обергруппенфюрер! Прошу прощения, господин обергруппенфюрер, право же, я не то хотел сказать, как-то с языка сорвалось! Разумеется, господин обергруппенфюрер, вы отлично знаете немецкий народ, вероятно, лучше меня, но люди сейчас так запуганы. Все сдают открытки — больше десятка ни в коем случае нет в обращении!

Гневно сверкнув глазами в ответ на вырвавшееся у Эшериха обидное замечание (эти криминалисты упрямы как ослы и держат себя чересчур фамильярно!) и наставительно подняв руку, обергруппенфюрер сказал: — Но и десяток уже много! Даже одна — много! Все до единой должны быть изъяты из обращения! Эшерих, вы должны его поймать — и незамедлительно!

Комиссар молча стоял перед ним. Он упорно глядел на носки до блеска начищенных сапог обергруппенфюрера, задумчиво поглаживал усы и упрямо молчал.

— Да что же вы молчите, как воды в рот набрали! — накинулся на него Праль. — Ведь я отлично знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что я тоже из тех умников, которые умеют распекать, а дельный совет дать не могут.

Краснеть комиссар Эшерих уже давно разучился. Но застигнутый врасплох, ибо Праль разгадал его тайные мысли, он был очень близок к тому, чтобы покраснеть, конечно, в доступной ему мере. И смущен он был тоже, чего уже давно с ним не случилось.

Обергруппенфюрер Праль отлично это заметил. Он сказал, повеселев: — Ну, я-то уж вас, во всяком случае, смущать не собираюсь, Эшерих! И добрых советов не собираюсь вам давать. Сами знаете, я не криминалист, я сюда только прикомандирован. Но разъясните-ка мне все поподробнее. На днях мне обязательно придется доложить об этом деле, так хотелось бы быть в курсе. Никто не видел этого человека, когда он подбрасывал открытки?

— Никто.

— А жильцов в тех домах, где были найдены открытки, не опрашивали, нет ли на кого подозрений?

— Подозрений? Да подозрений сколько угодно. Все теперь друг друга подозревают. Но обычно это либо наговоры по злобе на соседа, либо добровольное шпионство из любви к искусству, либо зуд к доносам. Нет, таким путем на след не нападешь!

— А те, кто находил открытки? Все вне подозрений?

— Вне подозрений? — Эшерих скривил рот. — Господи боже мой, господин обергруппенфюрер, теперь каждый на подозрении. — И, бросив быстрый взгляд на лицо начальника, прибавил: — Или никто. Но мы тщательно, не раз и не два прощупали многих из тех, кто подобрал открытки. С автором открыток у них никаких связей нет.

Обергруппенфюрер вздохнул. — Жаль, что вы не пошли в пасторы, Эшерих! Из вас вышел бы прекрасный утешитель, — сказал он. — Значит, остаются открытки. Ну, а тут есть какие-либо указания?

— Скучные, весьма скучные, — сказал Эшерих. — Нет, зачем в пасторы, но скажу вам правду, господин обергруппенфюрер! После первого его промаха с единственным сыном я думал, он выдает себя с головой. Но он хитер.

— Послушайте, Эшерих, — вдруг воскликнул Праль, — а вы не думаете, что это может быть женщина? Мне это вот сейчас в голову пришло, когда вы о единственном сыне упомянули.

Пораженный, комиссар минутку смотрел на своего начальника. Он подумал, затем сказал, сокрушенно покачивая головой: — Это исключено, господин обергруппенфюрер. Этот пункт я считаю абсолютно установленным. Мой невидимка — вдовец или во всяком случае человек, живущий совершенно одиноко. Будь тут замешана женщина, какие-нибудь разговоры обязательно пошли бы. Подумайте: полгода, столько ни одна женщина не выдержит!

— Ну, а если это мать, потерявшая единственного сына?

— Все равно не вытерпит. Она-то как раз и не вытерпит! — решительно заявил Эшерих. — У кого горе, тот ищет утешения, а чтобы тебя утешили, надо рассказать свое горе. Нет, о женщине и речи быть не может. Тут один единственный человек, и он умеет молчать.

— Я уже сказал: вы настоящий пастор! Ну, а еще какие указания?

— Скучные, господин обергруппенфюрер, весьма скучные. По всей вероятности он скуп или у него вышли какие-то неприятности из-за кампании зимней помощи. Что бы ни было написано в открытках, а одного наставления он ни разу еще не позабыл: ничего не давайте на зимнюю помощь!

— Ну, Эшерих, если разыскивать в Берлине человека по тому признаку, что он не хочет выкладывать деньги на зимнюю помощь...

— Я же вам говорю. Очень скудные указания. Очень мало.

— Ну, а еще?

Комиссар пожал плечами. — Мало, вернее сказать, никаких, — ответил он. — С некоторой вероятностью можно, пожалуй, предположить, что он не имеет строго определенной работы, открытки были найдены в самое различное время от восьми утра до девяти вечера. А так как мой невидимка избирает дома, где на лестницах толчется много народу, то надо думать, что открытки были найдены вскоре после того, как он их подбросил. Еще что? Рабочий, мало писавший в жизни, но хорошо грамотный, редко делает орфографические ошибки, обороты речи правильные...

Эшерих замолчал, оба довольно долго молчали, рассеянно глядя на карту, утыканную красными флажками.

Затем обергруппенфюрер Праль сказал: — Твердый орех, Эшерих. Обоим нам не по зубам.

Комиссар попытался его утешить. — Нет такого ореха, чтоб нельзя было раскусить! Не раскусили зубами — расщелкаем щипцами!

— Как бы при этом палец не прищемить, Эшерих!

— Немножко терпения, господин обергруппенфюрер, немножко терпения.

— Только бы у господ начальников терпения хватило, а за мной дело не станет, Эшерих. Ну, пораскните мозгами, Эшерих, может, что-нибудь поумней придумаете вместо этого дурацкого ожидания. Хейль Гитлер, Эшерих!

— Хейль Гитлер, господин обергруппенфюрер! Оставшись один, комиссар Энгерих еще некоторое время смотрел на карту, задумчиво поглаживая бесцветные усы. Дело обстояло не совсем так, как он хотел в том уверить своего начальника. Этот случай задел за живое даже такого выдавшего виды криминалиста, как он. Он заинтересовался этим немцем, к сожалению, пока еще совершенно загадочным для него автором открыток, который, не щадя головы, но в то же время и очень осторожно, очень умно и обдуманно вступил в заведомо* неравную борьбу. Вначале дело невидимки было для комиссара Эшериха таким же, как все прочие. Потом оно расшевелило его. Ему во что бы то ни стало загорелось найти этого человека, который жил, как и он, где-то тут в Берлине, загорелось столкнуться с ним лицом к лицу, увидеть этого невидимку, который неизменно каждый понедельник, самое позднее вторник утром, с аккуратностью автомата выкладывал две-три открытки к нему на стол.

Эшерих уже давно потерял то терпение, которое только что так настоятельно рекомендовал обергруппенфюреру. Эшерих выслеживал зверя, — этот старый криминалист по натуре был охотник, страсть к охоте сидела у него в крови. Он выслеживал людей, как охотник выслеживает зверя. Его не трогало, что цель всякой охоты — будь то охота за зверем или за человеком — убийство. И если зверю суждена такая смерть, то суждена она и человеку, раз он пишет подобные открытки. Эшерих уже давно и без советов обергруппенфюрера ломал голову над тем, как поскорее добраться до невидимки. Но он не видел других путей, оставалось только запастись терпением. Нельзя же было из-за таких пустяков поднимать на ноги всю берлинскую полицию, производить обыски во всех домах подряд, не говоря уже о той панике, которую это вызвало бы в городе. Оставалось только одно — запастись терпением...

Зато уж если запасешься терпением — обязательно что-нибудь случится. Это уж обязательно: или преступник сам даст промах, или случайность его подведет. Вот и приходилось рассчитывать на одно из двух — или на случайность или на промах. Не то, так другое, и если не всегда, то почти всегда. В данном случае Эшерих надеялся на «обязательно» — без «почти». Он был захвачен, по-настоящему захвачен. В сущности, его совершенно не интересовало то, что он обезвредит преступника. Как уже сказано, Эшерих был охотником по призванию. Его манило не вкусное жаркое, а самый процесс охоты. Он знал, что как только зверь будет пойман, иначе говоря — преступник захвачен и полностью уличен в преступлении, — в то же мгновение он потеряет всякий интерес к этому делу. Зверь убит, человек сидит под следствием, — охота окончена. Выходи на новую!

Эшерих отвел от карты тусклые глаза. Теперь он сидит за столом и медленно и задумчиво жует бутерброды. Звонок по телефону, он не сразу берет трубку. Равнодушно слушает:

— Говорит полицейский участок Франкфуртераллэ. Комиссар Эшерих?

— У аппарата.

— Вам поручено дело: неизвестная открытка.

— Да. Что случилось? Не тяните, пожалуйста!

— Мы почти уверены, что поймали распространителя открыток.

— На месте преступления?

— Как будто. Он, конечно, отрицает.

— Где он?

— Пока еще у нас в участке.

— Держите его у себя, через десять минут я буду у вас. И больше не допрашивать! Оставить его в покое! Я сам хочу с ним говорить. Понятно?

— Слушаюсь, господин комиссар!

— Сейчас приеду!

Минутку комиссар Эшерих стоял неподвижно у телефона. Так он и знал, надо было только запастись терпением!

Он поспешил на первый допрос распространителя открыток.

ГЛАВА 22

Полгода Спусти. Энно Клуге

Рабочий, специалист по точной механике, Энно Клуге сидел в приемной у врача, с нетерпением ожидая

своей очереди. Тут же ожидало еще человек тридцать — сорок. Медицинская сестра, находившаяся в состоянии перманентного раздражения, только что вызвала номер 18, а Энно был 29. Ждать оставалось еще больше часа, а ему дозарезу надо было в кабачок «Второй заезд».

Энно Клуге не сиделось. Он отлично знал, что уйти без врачебной справки никак нельзя, на фабрике неприятностей не оберешься. Но и ждать дольше тоже не годится, он опоздает поставить на лошадь.

От нетерпения он принялся ходить по приемной. Но здесь слишком тесно, на него ворчат. Тогда он выходит в переднюю, сестра, увидав это, раздраженно предлагает ему вернуться в приемную, и он спрашивает, где уборная.

Она очень нелюбезно указывает уборную и решает подождать, пока он выйдет. Но тут раз за разом звонят, она встречает новых пациентов № 43, 44, 45, ей надо записывать данные, заполнять карточки, ставить печать на справках о болезни.

И так с утра до вечера. Она устала до полусмерти, врач устал до полусмерти, — уже который месяц не может она совладать со своей раздражительностью; нервы вечно напряжены, она просто возненавидела этот непрекращающийся поток пациентов, от которых весь день нет покоя; уже в восемь утра, когда приходишь, стоят они терпеливо у двери, и вечером в десять еще торчат в приемной, отравляя А без того душный воздух: всё симулянты, уклоняющиеся от работы, уклоняющиеся от фронта, люди, пытающиеся словчить и по врачебной справке получить продуктов побольше или получше. Все они норовят в кусты, а тебе нельзя, ты стой и крепись и не вздумай болеть (разве врачу одному справиться?), да еще будь любезной с этими симулянтами, а они везде понатопчут, наплюют, все загадят! В уборной всегда набросано окурков.

Тут она вспоминает непоседливого больного, которому она перед тем указала уборную. Уж, конечно, засел там и курит. Она вскакивает, выбегает в переднюю, дергает дверь.

— Занято! — раздается оттуда.

— Долго вы еще сидеть будете! — злобно шипит она. — Ночевать, что ли, собрались? Другим тоже в уборную надо! — И бросает вдогонку прошмыгнувшему мимо нее Клуге: — Так я и знала, опять накурено! Скажу господину доктору, какой вы больной! Вот тогда увидите!

Обескураженный, Энно Клуге стоит в приемной, прислонившись к стене, — пока он уходил, его стул заняли. Врач за это время дошел до номера 22. Повидимому, бессмысленно ждать дольше. Эта чортова кукла, чего доброго, и в самом деле наговорит врачу, и тот не даст справки. А тогда что? Тогда на фабрике такой крик пойдет, что только держись! Уже четвертый день не выходит он на работу, — с них, подлецов, станется, и в самом деле отправят в штрафную роту или в концлагерь. Справка о болезни ему нужна дозарезу. Надо еще подождать, раз уж он столько прождал. У других врачей тоже полно, просидишь до ночи, а этот по крайней мере, говорят, легко выдает справки. Видно, уж не удастся ему сегодня поставить на лошадь, ну, что же, обойдутся сегодня скачки без Энно, ничего не поделаешь...

Он покашливает, стоя у стены, такой тщедушный, заморенный, просто сказать, никудышный. После взбучки, полученной от эсэсовца Перзике, он до сих пор еще не оправился как следует. С работой у него, правда, через несколько дней наладилось, хотя руки все еще не приобрели былой ловкости. Теперь он разве что посредственный рабочий. Прежняя сноровка утеряна навсегда, утеряна и репутация хорошего работника.

Возможно, потому и работал он спустя рукава, а возможно и потому, что вообще потерял вкус к работе. Он не видел в ней смысла и цели. К чему мучиться, когда и без нее можно отлично прожить! Работать на войну? Пусть сами воюют сколько влезет, а его эта чортова война не интересует. Вот послали бы всех своих откормленных главарей на фронт, тогда бы война быстро кончилась!

Но вопрос о смысле работы не так уж интересовал Энно. Дело в том, что с некоторых пор он мог опять существовать без работы. Да, он не устоял, он сам это сознает, опять пошел к женщинам, сперва к Тутти, а по-, том к Лотте, и обе выказали полную готовность временно приютить этого тщедушного, ласкового заморыша. А как только свяжешься с бабами, всякой регулярной работе конец.

Нет, уж если задумал работать, надо было оставаться в гостинице, в своем тесном номере, а работу с женщиной никак не совместить. Это было возможно с одной только Эвой — и Энно Клуге опять сделал попытку пристроиться у жены. Но он узнал от фрау Геш, что Эва уехала. Геш получила от нее письмо, она жила где-то под Руппином у родственников. Ключи от квартиры были, правда, у Геш, но чтобы отдать их Энно и речи быть не может. Кто аккуратно высылал квартирную плату — он или жена? Ну, значит, жена и хозяйка квартиры, а не он! И так уже из-за него ей одно беспокойство, а тут еще в квартиру пусти!

Впрочем, если он так предан жене, так не мешало бы ему сходить на почту. Оттуда уже несколько раз присылали за фрау Клуге, а недавно принесли еще повестку из нацистской партии на какой-то там суд. Пришлось отправить обратно с отметкой «адресат выбыл неизвестно куда». «А на почту сходить не мешает. Верно, там фрау Клуге еще что-то причитается.»

Мысль о том, что жене что-то причитается, все время зудила Энно; в конце концов, он законный муж, — причитается Эве, значит, причитается и ему. Но этот шаг оказался неудачным. На почте его взяли в оборот. Должно быть, Эва чем-то здорово досадила нацистам, начальство кипело на нее злобой. Теперь он уже не отстаивал своих законных супружеских прав, — напротив, всячески настаивал на том, что живет в разводе с Эвой и ничего о ней не знает.

В конце концов его отпустили. Ну, что взять с такого плюгавого слюнтяя, который каждую минуту готов захныкать и дрожит при первом окрике. И так, его отпустили, велели убираться и в случае, если он увидит жену, послать ее сюда в почтовое отделение. А еще лучше, пусть просто даст им знать, а они сами примут меры.

Возвращаясь к Лотте, Энно Клуге уже опять посмеивался. Так, значит, и Эва запуталась, удрала куда-то под Руппин к родственникам, и глаз в Берлин не кажет! Настолько-то у Энно ума хватило, чтобы не проговориться на почте, куда уехала Эва. Небось, он не глупее Геш. Он оставлял себе лазейку на тот крайний случай, если в Берлине окончательно не повезет, тогда надо будет поехать к Эве, может быть, все-таки приютит. Постесняется прогнать при родственниках, сдержится. Эва еще считается с людским

мнением и доброй славой. В конце концов можно припугнуть ее подвигами Карлемана; никогда она не допустит, чтобы об этом узнали ее родные, лучше пойдет на уступки.

Лазейка на крайний случай, если в самом деле некуда будет деться. Пока у него была еще Лотта. Она действительно хорошая женщина, вот только рта ни на минуту не закрывает да имеет плохую привычку мужчин в дом водить. Тогда приходится полночи, а то и всю ночь торчать на кухне — и на следующий день опять ничего не выходит с работой.

Теперь он никогда не работал по-настоящему и знал, что и дальше не будет. Но, может быть, война кончится скорее, чем думают, а до тех пор он уж как-нибудь продержится. И вот, он постепенно опять стал лодырничать и прогуливать. Мастер багровел от злости при одном его виде. Потом его опять отчитало начальство, но на этот раз выговор подействовал ненадолго. Энно Клуге отлично все видел, рабочих рук нехватало, так легко его не рассчитают.

А тут он прогулял три дня подряд. Познакомился с вдовушкой, уже не первой молодости, но все же это не чета его прежним приятельницам. Начать с того, что у нее был зоомагазин около Кэнигстор, и дела шли неплохо! Она продавала и птиц, и рыб, и собак, торговала и кормом, и ошейниками, и песком, и консервами для собак и мучными червями. Держала черепах, древесных лягушек, саламандр, кошек... Действительно, прибыльное дело, и сама была женщина энергичная, деловая женщина.

Он выдал себя за вдовца, уверил ее, что Энно его фамилия, она стала звать его Гэнсхен. У этой женщины он вполне мог надеяться на успех, он отлично это понял за те три прогульных дня, что помогал ей в лавке. Ей как раз должен был прийтись по вкусу такой щупленький мужчина, жаждущий, чтобы его приласкали. Она была в том возрасте, когда женщина начинает подумывать, как бы не остаться на старости лет без спутника жизни. Она, конечно, предложит пожениться, ну, это тоже можно будет как-нибудь уладить. В конце концов время теперь военное, при венчании не особенно присматриваются к документам, а из-за Эвы беспокоиться нечего. Эва рада будет раз и навсегда от него отделаться, она болтать не станет!

Им овладевает жгучее желание окончательно развязаться с фабрикой. Теперь, после трехдневного ничем не оправданного прогула, придется ему волей-неволей разыграть больного. Тогда уж, правда, лучше заболеть по всей форме. А вовремя болезни наладить как следует отношения с вдовой Хете Гэберле. Теперь ему все опостылело у Лотты, он не выносил уже ни этой безалаберной жизни, ни ее болтовни, ни ее мужчин, а главное, ее нежностей, когда она напьется. Нет, через три-четыре недели надо стать женатым человеком и начать жить солидно, по-семейному! Врач и должен был помочь ему в этом.

Вызвали еще только № 24, раньше чем через полчаса очередь до него не дойдет. Совершенно машинально шагает он через ноги сидящих и опять выходит в прихожую. Пусть сестра ругается, но еще одну папироску в клозете он выкурит. Ему везет, незаметно проходит он в уборную, но не успел он еще как следует затануться, а эта мегера уже снова дверь дергает.

— Опять в уборной! Опять курите! — кричит она. — Я наверное знаю, что это вы! Ну, поскорей выходите, или прикажете позвать доктора?

Как она кричит, как противно кричит! Лучше не спорить, он всегда предпочитает не спорить и уступить. Покорно отправляется он в приемную, ни слова не говорит в свое оправдание. Там он опять прислоняется к стене и ждет, когда очередь дойдет до него. Наговорит эта чортова кукла врачу, ох, наговорит!

Сестра прогнала запуганного Энно Клуге на его место, теперь она идет обратно через прихожую. Хорошо она его отчитала!

Вдруг она видит на полу, недалеко от почтового ящика, открытку. Пять минут тому назад, когда она отворяла дверь последнему пациенту, открытки здесь не было, в этом она уверена. И звонка она не слыхала, да и вообще в этот час почты не бывает.

Все это мелькнуло в голове у сестры пока она нагибалась за открыткой, но спустя некоторое время она уже была вполне уверена, что и раньше, когда открытки не было еще у нее в руках, когда она еще и не подозревала, что это за открытка, что уже тогда этот пронырливый, непоседливый человечек показался ей подозрительным.

Она взглянула на открытку, прочитала несколько слов и в сильном волнении бросилась к врачу в кабинет. — Господин доктор! Господин доктор! Посмотрите, что я у нас в прихожей нашла!

Она врывается во время осмотра, настаивает, чтобы доктор отправил не успевшего одеться пациента в соседнюю комнату, и только после этого дает врачу открытку. Ей не терпится, пока он дочитает до конца. Она тут же сообщает ему свои подозрения.

— Только этот плюгавый непоседа и мог быть, никто другой! С первого же раза он мне не понравился, взгляд у него какой-то вороватый и совесть не чиста, ни минуты спокойно не посидит, все в прихожую бегал, два раза я его из уборной выгоняла! Когда второй раз выгнала, тут-то я и нашла открытку в прихожей на полу. С лестницы ее бросить никак не могли, слишком далеко она от почтового ящика лежала! Господин доктор, позвоните сейчас же в полицию, пока он не улизнул! Ох, господи, а что если он уже ушел, пойду погляжу...

С этими словами она выскакивает из кабинета, не закрыв за собой дверь.

Врач стоит в кабинете, держит открытку в руке. Ему чрезвычайно неприятно, ведь надо же, чтоб как раз у него на приеме случилась такая история. Еще слава богу, открытку нашла сестра, и он может доказать, что уже два часа никуда не выходил из кабинета. Она права, лучше сейчас же позвонить в полицию. Он ищет в телефонной книжке номер полицейского участка.

Сестра заглядывает в открытую дверь. — Он еще тут, господин доктор, — шепчет она. — Он, конечно, думает, что так легче отвести от себя подозрение. Но я совершенно уверена...

— Хорошо, — прерывает доктор взволнованную сестру. — Закройте, пожалуйста, дверь, я сейчас позвоню в полицию.

Он сообщает о случившемся, получает указание во что бы то ни стало задержать этого человека, пока не пришлют кого-нибудь из участка, передает эти указания сестре, говорит, чтобы она немедленно позвала его, если тот человек захочет уйти, и снова садится за письменный стол. Нет, продолжать прием

невозможно, он слишком взволнован. Надо же, чтоб это случилось с ним, именно с ним! Совести у этого писаки нет, так людей подводит! Не думает о неприятностях, которые может навлечь такая открытка!

На самом деле, только этой открытки ему не хватало! Придет полиция, чего доброго заподозрит его, сделают в квартире обыск, и, хотя потом и выяснится, что подозрения неосновательны, все же в комнате для прислуги найдут...

Врач встает, надо бы хоть предупредить ее...

И опять садится. Ну, кто его заподозрит? Да кроме того, если ее и найдут, так она его экономка, что и из документов явствует. Все это сто раз обдумано и взвешено с тех пор, как год тому назад он был вынужден развестись с женой-еврейкой — под нажимом нацистов. Он сделал это, уступая ее просьбам, чтобы хоть детям обеспечить сносное существование. Затем, переехав на другую квартиру, он взял свою прежнюю жену в экономки, достав ей фальшивые документы. Собственно, ничего не могло случиться, она была не очень типичной еврейкой...

Чортova открытка! Надо же ей было к нему попасть! Но, наверно, она всюду, куда ни попадет, вызывает страх и ужас. Время настало такое, что нет человека, которому бы нечего было скрывать!

А что если такие открытки нарочно подбрасывают тем, кто не надежен, чтобы выяснить, как они себя будут вести? А что если за ним уже давно ведется слежка, и это только один из способов выяснить, не скомпрометирует ли он себя чем-нибудь.

Он, во всяком случае, поступил правильно. Через пять минут после того как открытка была найдена, известил полицию. И даже может указать человека, на которого падает подозрение, возможно ни в чем неповинного бедного малого. Ну, это уж не его дело, пусть как хочет выкручивается! Главное, самому не пострадать.

И хотя такие рассуждения отчасти успокоили его, он все же встал и быстро, привычным движением впрыснул себе на всякий случай небольшую дозу морфия. Морфий даст ему возможность встретить этих господ, уже направляющихся сюда, должным образом, спокойно и, даже если хотите, с несколько скучающим видом. Небольшая доза морфия — это средство, к которому он часто прибегал после своего позора, как он до сих пор в душе именовал развод с женой. Он еще не стал морфинистом, до этого не дошло, бывает, пять, шесть дней обходится без морфия, но когда на жизненном пути возникают неприятности, а теперь, во время войны, неприятностей с каждым днем становится все больше, тогда он прибегает к морфию. Только морфий и спасает, без такого искусственного средства нервы не выдерживают. Да, пока он еще не морфинист. Но он на верном пути к этому. Ах, поскорее бы кончилась война, чтоб можно было уехать из этой злосчастной страны! За границей он удовольствовался бы самым скромным ассистентским местом.

Через несколько минут бледный, слегка утомленный, врач встречает двух господ из полицейского участка. Один, в форме вахмистра, прислан только затем, чтоб сторожить у входной двери. Он сейчас же сменяет сестру.

Другой — в штатском, сотрудник уголовного розыска Шредер; они проходят в кабинет; и там врач отдает открытку. Показания? Ну, какие собственно могут быть показания, он больше двух часов без перерыва принимал пациентов, не то двадцать, не то двадцать пять человек подряд. Но сейчас он позовет сестру.

Приходит сестра, а у нее богатый материал для показаний. Очень богатый. Она изображает этого проныру, этого непоседу, как она его окрестила, с ненавистью, совершенно непонятной, так как вся вина его только в том, что он два раза ходил в уборную курить. Врач внимательно следит за ней, как она дает показания, возбужденно, срывающимся от волнения голосом. Он думает: надо будет обратить серьезное внимание на ее базедовизм. Болезнь все усиливается. В таком возбуждении, в каком она сейчас, ее, собственно, уже нельзя считать вполне вменяемой.

Сотрудник уголовного розыска Шредер как будто думает приблизительно то же. Он прерывает ее показания: — Благодарю вас! Пока что этих сведений вполне достаточно. Теперь, фрейлейн, будьте добры указать, на каком месте в прихожей лежала открытка. Но, пожалуйста, поточнее!

Сестра кладет открытку на пол на такое место, куда ее как будто никак нельзя было бросить через отверстие в почтовом ящике. Но Шредер вместе с вахмистром до тех пор забрасывают в щель открытку, пока она не попадает почти на то самое место, которое указала сестра. Сантиметров десять не хватает...

— А может быть, она лежала здесь, фрейлейн? — спрашивает Шредер.

Сестра явно возмущена тем, что эксперимент с открыткой удался. — Нет, так близко от двери открытка никак не могла лежать! — решительно заявляет она. — Скорее еще дальше в передней, чем я показала. Теперь мне кажется, что она лежала у самого стула. — И она указывает место на полу, еще на полметра дальше от почтового ящика. — Я почти уверена, что задела за стул, поднимая открытку.

— Так-так-так, — говорит сотрудник и холодно разглядывает свирепую женщину. В душе он перечеркивает все ее показания. Истеричка, думает он, просто ей мужика не хватает. Ну, да оно и понятно, все на фронте, и физиономией она не вышла.

Он вслух обращается к доктору: — А теперь я хотел бы минуты три посидеть у вас в приемной, как самый обычный пациент, и сперва приглядеться к господину, на которого падает подозрение, чтобы он не знал, кто я. Это, я думаю, возможно?

— Ну, разумеется, возможно. Фрейлейн Кизов скажет вам, где он сидит.

— Где стоит! — сердито возражает сестра. — Разве такой посидит! Он скорей всем ноги отдавит! Его нечистая совесть мучает! Этот проныра...

— В таком случае, где он стоит? — опять перебивает ее Шредер и на этот раз не очень вежливо.

— Раньше стоял возле зеркала у окна, — отвечает она с обиженным видом. — А где он теперь, этого я, конечно, сказать не могу, ведь он минутки не постоит спокойно!

— Неважно, я найду его, — заявляет сотрудник Шредер. — Вы же мне его описали.

И он проходит в приемную.

Там царит некоторое возбуждение. Уже двадцать минут не вызывали к доктору пациентов — сколько еще сидеть прикажете! Будто у людей теперь только и забот, что у врачей в приемных дежурить. Верно,

доктор принимает с другого хода частных пациентов, которые много платят, а застрахованные сиди и жди, пока в глазах не потемнеет! Но таковы все врачи, поверьте мне, уважаемый, куда угодно пойдите, всюду одно и то же! Деньги всюду любят.

Разговоры о корыстолюбии врачей становятся все оживленнее, а Шредер тем временем молча разглядывает нужного ему человека. Он сразу узнал его. Совсем он не такой непоседливый и не такой пронырливый, как описала его сестра. Он спокойно стоит все на том же месте у зеркала и не принимает участия в общем разговоре. Он как будто даже и не слушает, что говорят вокруг, а обычно это делают все, чтобы скоротать скучные часы ожидания. Как-то тупо и с какой-то опаской глядит он на всех. Простой рабочий, решает Шредер. Нет, пожалуй, побольше, руки, должно быть, искусные, видно, что рабочий, но не на физической работе. Костюм и пальто содержит в порядке, а все-таки никак не скрыть, что они очень поношены. Нет, судя по тону открытки, не такого человека представляешь. У того язык энергичный, а тут вдруг этакий озабоченный кролик...

Но Шредеру хорошо известно, что люди часто не то, чем кажутся. А показания сестры звучат так веско, что дело, во всяком случае, надо расследовать. Автор открыток, видно, у начальства в печенке сидит, совсем недавно опять пришел приказ с надписью: «Секретно! Совершенно секретно!», требующий, если будут обнаружены хоть малейшие следы этого дела, тут же принять самые энергичные меры.

Хорошо бы чего-нибудь добиться! думает Шредер. Давно пора мне повышение получить.

Пациенты так обозлены ожиданием, что не замечают Шредера, а он тем временем подходит к плюговому заморышу у зеркала, хлопает его по плечу и говорит: — Выйдем-ка на минутку в переднюю. Мне вас кое о чем спросить надо.

Покорно следует за ним Энно Клуге, он всегда покорно следует приказаниям. Но когда он уже сделал несколько шагов за незнакомым господином, на него нападает страх: что это значит? Что ему от меня нужно? Очень уж он на полицейского смахивает и говорит совсем, как полицейский. Что нужно от меня уголовному розыску? Я же ничего не сделал!

И тут же он вспоминает о попытке грабежа у фрау Розенталь. Так и есть, Боркхаузен засыпался и выдал его. И страх его все растет: тогда ночью он побоялся, что не скажет, и теперь, если скажешь, так тот верзила эсэсовец возьмет тебя в оборот и задаст жару, только на этот раз, пожалуй, похуже! Надо молчать, а будешь молчать, полицейский в работу возьмет, у него живо заговоришь. И так пропадешь, и так пропадешь. Ох, страх какой!

В прихожей четверо людей впираются в него глазами, но он их не видит, он видит только полицейский мундир шуцмана, теперь он уверен, что боялся не зря, что и так и этак ему пропадать.

И страх придает Энно Клуге свойства, которых у него обычно нет — решительность, силу и быстроту. Он толкает шуцмана на остолбеневшего от удивления Шредера, который не ждал от этого заморыша подобной прыти, мчится мимо доктора и сестры, распаивает входную дверь, и вот он на лестнице...

Но вслед ему раздаётся свисток, — где ему тягаться с длинноногим молодым шуцманом. Тот догоняет его на нижних ступеньках и здоровым ударом валит наземь, так что у того в глазах темнеет. Когда же Энно приходит в себя, шуцман обращается к нему с любезной улыбкой: — Ну-ка, протяни лапку! Я тебе браслетку подарю. Теперь на прогулку вместе пойдем, а?

Стальные наручники защелкиваются, и вот он уже подымается по лестнице, на этот раз в сопровождении молчаливого мрачного Шредера и весело посмеивающегося шуцмана, для которого такой плюгавый бегун одно развлечение.

Войдя наверх, они проходят в кабинет врача, мимо пациентов, которые собрались в прихожей, позабыв свою досаду на затянувшееся ожидание в приемной врача, потому что всякий арест возбуждает интерес, а этот человек, по словам медицинской сестры, политический, коммунист, таких людей не жалко, поделом им. Сестру сотрудник уголовного розыска тут же выставляет из кабинета, врачу же разрешается остаться, и тот слышит, как Шредер говорит: — Так, сынок, прежде всего, присядь-ка на стул и отдохни малость после того, как побегал. Тебя, я вижу, вконец загоняли! Вахмистр, снимите с господина наручники. Он больше не собирается убегать, верно?

— Нет, нет, — уверяет совсем обескураженный Энно Клуге, и слезы уже каплют у него из глаз.

— Да я б тебе этого и не посоветовал. В следующий раз пиф-паф! А стрелять я, сынок, умею! — сотрудник Шредер упорно называет Клуге сынком, хотя тот лет на двадцать старше его. — Ну, не плачь! Не такие уж ты страшные дела натворил, верно?

— Ничего я не натворил! — сквозь слезы лепечет Энно Клуге. — Ровно ничего!

— Ну, конечно же, сынок! — поддакивает Шредер. — То-то ты и улепетываешь, как заяц, при одном виде полицейского мундира! Доктор, нет ли у вас тут чего под рукой, каких-нибудь капель, а то он, бедный, совсем раскис.

Теперь, когда доктор чувствует, что для него лично всякая опасность миновала, ему от всего сердца жаль этого никудышного человечка. Видно, неудачник, пасующий при первом затруднении. Доктору очень хочется впрыснуть ему морфий, самую незначительную дозу. Но он не решается, из-за сотрудника уголовного розыска. Лучше дать бром...

Но Энно Клуге, не дождавшись, пока порошок растворится в воде, говорит: — Ничего мне не надо. Ничего я не приму. Еще отравите. Лучше уж я во всем признаюсь...

— Вот и отлично! — говорит Шредер. — Я так и знал, что ты у меня умник! Ну, рассказывай...

И Энно Клуге утирает слезы и начинает рассказывать...

За минуту до этого он плакал самыми настоящими слезами, просто нервы не выдержали. Но думать даже самые настоящие слезы не мешают — в этом он убедился за свою многолетнюю практику в обхождении с женщинами. Словом, он все обдумал и пришел к тому выводу, что *очень* уж невероятно, чтоб его арестовали в приемной врача за грабеж. Если они его на самом деле выследили, то арестовали бы на улице или в подъезде, для этого им не требовалось маневрить его два часа в приемной...

Нет, тут, конечно, нет ни малейшей связи с грабежом у фрау Розенталь. Верно, тут какая-то ошибка, и Энно чувствует, что здесь не обошлось без гадюки сестры.

Но все дело в том, что он дал тягу, и теперь ему никак не убедить полицейского, что во всем виноваты его слабые нервы, что он теряет всякое самообладание при виде полицейского мундира. Никогда тот ему не поверит. Значит, надо сознаться в чем-то, что звучало бы правдоподобно и допускало возможность проверки, и он даже знает, в чем. Правда, говорить об этом ему мало улыбается, хорошего это в дальнейшем не сулит, но если выбирать из двух зол, то такое признание все же меньшее зло.

Итак, раз уж ему предложено все рассказать, он вытирает слезы и, более или менее успокоившись, начинает рассказывать о своей работе на фабрике, о том, что он много болел, что начальство на него зло и грозит отправить его либо в концлагерь, либо в штрафную роту. Само собой разумеется, Энно Клуге ничего не рассказывает о своей нелюбви к работе, но он полагает, что сотрудник уголовного розыска это и сам смекнет.

И в этом он прав, тот отлично смекнул, что за тип Энно Клуге.

— И вот, как я вас увидел, господин комиссар, да еще и полицейский мундир господина вахмистра, — я ведь для того у доктора сидел, чтобы выпросить справку о болезни, — я и подумал: допрыгался, заберут тебя, голубчика, в концлагерь, тут я и дал тягу...

— Так-так-так, — говорит Шредер, — так-так-так! — Минутку он думает, затем продолжает: — Только сдается мне, сынок, сейчас ты не очень-то веришь, что мы здесь по этому делу.

— Пожалуй, что и так, — соглашается Клуге.

— А почему, сынок, не веришь?

— Да потому, что гораздо проще было взять меня на работе или по месту жительства.

— Значит, у тебя и местожительство есть, сынок?

— Ну, разумеется, господин комиссар. У меня жена на почте служит, законная жена. Два сына на фронте, один в Польше в эсэсовских частях. У меня и документы при себе, я вам все, что говорил, доказать могу, и где проживаю, и где работаю.

И Энно Клуге достает захватанный, потертый бумажник и начинает рыться в документах.

— Документы ты пока что спрячь, сынок, — отклоняет его намерение Шредер. — Успеется...

Он погружается в раздумье, и вокруг наступает тишина.

Врач, сидящий за письменным столом, начинает спешно писать. Может быть, представится возможность сунуть справку о болезни этому бедняге, которого все время трясет от новых страхов. Он жаловался на печень, ну, что ж, пусть будет печень. Времена сейчас такие, что надо помогать друг другу, если только есть к тому хоть малейшая возможность.

— Что вы, доктор, пишете? — спрашивает Шредер, внезапно пробуждаясь от раздумья.

— Историю болезни, — объясняет врач. — Я хочу использовать время, в приемной еще куча народа.

— Правильно, доктор, — говорит Шредер и встает. Решение принято. — Больше мы вас задерживать не будем. — История, рассказанная Энно Клуге, правдоподобна, по всей вероятности, это даже подлинная правда, но Шредер никак не может отделаться от ощущения, что за этой историей еще что-то кроется, арестованный чего-то не договаривает. — Ну, пойдём, сынок! Проводишь нас немножко? Нет, не до Алекса, только до нашего участка. Я охотно с тобой еще потолкую, сынок, мальчик ты бойкий, а задерживать дядю доктора дольше невежливо. — Затем он обращается к шуцману: — Наручников не надо, он и так пойдет, он у нас пай-мальчик, умник. Хейль Гитлер, господин доктор, и большое спасибо!

Они уже у самой двери, сейчас уйдут. Но тут Шредер вдруг вытаскивает из кармана открытку, открытку, написанную Квангелем, подносит ее к самому лицу Энно Клуге и строго приказывает: — Ну-ка, сынок, прочти, что здесь написано! Но только быстро, без запинок, единым духом!

Он говорит это совсем на манер полицейских...

Но уже по одному тому, как Клуге берет открытку, как он таращит глаза с бессмысленным видом, как начинает читать по складам: «Немцы, не забывайте! Началось с присоединения Австрии. Затем последовали Судеты и Чехословакия. Нападения на Польшу, Бельгию, Голландию...» — уж по одному этому сотрудник уголовного розыска почти с уверенностью может сказать: этот человек никогда не держал в руках данной открытки, никогда не читал того, что в ней написано, уж не говоря о том, что он не мог ее написать — на это у него ума нехватит.

Сердито вырывает он открытку из рук Энно Клуге, коротко говорит «хейль Гитлер!» и вместе с шуцманом и арестованным выходит из кабинета.

Медленно рвет доктор приготовленную для Энно справку. Так ему и не удалось сунуть ее этому Клуге. Жаль! Да вряд ли она бы ему и помогла. Возможно, что этот человек, столь мало приспособленный к трудностям теперешней жизни, обречен на гибель, возможно, что никакая помощь извне его не спасет, потому что сам он внутренне так неустойчив.

Жаль...

ГЛАВА 23

Допрос

Если сотрудник уголовного розыска при всей его уверенности, что Энно Клуге непричастен ни к писанию, ни к распространению открыток, — если сотрудник в своем донесении комиссару Эшериху по телефону и намекнул, будто распространителем этих воззваний, вероятно, все-таки является Клуге, то сделал он это по той единственной причине, что осмотнительный подчиненный никогда не предвосхищает выводов своего начальника. Ведь против Энно — веские показания медицинской сестры фрейлен Кизов, а уж там — обоснованы они или нет — пусть решает сам господин комиссар.

Если обоснованы — значит, сотрудник способный малый, и благосклонность комиссара ему обеспечена. Если не обоснованы — значит, комиссар умнее Шредера, а такое превосходство начальнического ума куда выгоднее для подчиненного, чем его собственная сообразительность.

— Ну как? — спросил длинный пепельно-серый Эшерих, входя деревянной походкой в помещение участка. — Ну как, коллега Шредер? Где же ваша добыча?

— В последней камере слева, господин комиссар.
— Невидимка сознался?
— Кто? Невидимка? Ах да, понимаю! Нет, господин комиссар, но после нашего телефонного разговора, я, конечно, сейчас же приказал отвести его в камеру.
— Правильно! — похвалил сотрудника комиссар. — А что ему известно насчет открыток?
— Я, — осторожно начал Шредер, — заставил его прочесть вслух найденную открытку, то есть начало.
— Впечатление?
— Я бы не хотел предрешать заранее, господин комиссар, — отозвался помощник.
— Что это вы робеете, коллега Шредер! Впечатление?
— Во всяком случае мне кажется маловероятным, чтобы эти открытки писал он.
— Отчего?
— Недалек. Кроме того, страшно запуган. Комиссар недовольно провел рукой по усам песочного цвета:
— Недалек, страшно запуган, — повторил он. — Ну, мой невидимка умен и несколько не запуган. Отчего же вы решили, что поймали, кого следует? Выкладывайте!

Шредер повиновался. Он прежде всего повторил показания медицинской сестры, подчеркнул и попытку к бегству: — Я не мог поступить иначе, — господин комиссар. После полученных мною распоряжений, я должен был задержать его.

— Правильно, коллега Шредер. Совершенно правильно. Я бы тоже так сделал.
Это сообщение несколько подняло дух Эшериха. Оно звучало утешительнее, чем «недалек» и «страшно запуган». Может быть, попался один из распространителей открыток, хотя до сих пор комиссар и считал твердо установленным, что у невидимки соучастников не было.

— Вы его документы просматривали?
— Вот лежат. В общем они подтверждают то, что и он говорит. У меня такое впечатление, господин комиссар, что это типичный лодырь, — боязнь фронта, нежелание работать, и на скачках играет... Я нашел у него целую пачку беговых бюллетеней и подсчетов. А затем — довольно обычные письма от всяких бабенок, словом, такой тип, понимаете, господин комиссар. Хотя ему уже под пятьдесят.

— Хорошо, хорошо, — согласился комиссар, однако, решив про себя, что совсем не хорошо. Тот, кто пишет или распространяет подобные открытки, не будет возиться с бабами. Это совершенно ясно. Его ожившие было надежды снова померкли. Но тут Эшерих вспомнил о своем начальнике, обергруппенфюрере Прале, и о еще более высоких начальниках, вплоть до Гимmlера. В ближайшие же дни Эшериху солоно от них придется, если не будет найдено никакого следа. А здесь все-таки был след, во всяком случае имелись налицо серьезные показания и подозрительные действия. По этому следу можно идти, если даже в глубине души и считаешь его не совсем верным. Все-таки выигрываешь время и получаешь новую возможность терпеливо ждать. И притом — никому никакого ущерба. Разве может идти в счет такой тип!

Эшерих встал. — Пойду-ка я загляну в камеры, Шредер. Дайте мне эту последнюю открытку и подождите здесь.

Комиссар ступал беззвучно, он крепко сжимал в руке ключи, чтобы они не звякали. Осторожно открыл он глазок и заглянул в камеру.

Арестованный сидел на табурете. Он подпер голову рукой, его взгляд был устремлен на дверь. Казалось, он смотрит прямо в подстерегающий глаз комиссара. Однако выражение его лица показывало, что он ничего не видит. Он не вздрогнул, когда глазок открылся, и на лице его не появилось той напряженности, какая бывает обычно у человека, почуявшего, что за ним наблюдают.

Наоборот, он смотрел перед собой просто так, — даже не задумчиво, а скорее дремотно, охваченный унылыми предчувствиями.

И комиссар у глазка тут же понял: нет, невидимка — не этот, этот даже не соучастник. Здесь просто ошибка, какими бы вескими ни были показания и подозрительным поведение.

Однако Эшерих вспомнил опять о своих начальниках, он пожевал кончики усов, он принялся обдумывать, как бы затянуть это дело возможно дольше, пока наконец не станет ясно, что захвачен вовсе не тот. Но и компрометировать себя тоже не следует.

Он решительно распахнул дверь камеры и вошел. Услышав скрежет замка, арестованный вздрогнул, сначала уставился, оторопев, на вошедшего, затем сделал попытку подняться.

Однако комиссар тотчас усадил его обратно.

— Сидите, сидите, господин Клуге. В наши годы вскакивать уже не так легко.

Он рассмеялся, и Клуге тоже улыбнулся, просто из вежливости, и притом довольно жалобно.

Комиссар опустил койку и сел: — Так вот, господин Клуге, — сказал он и внимательно посмотрел в бледное лицо арестованного — с безвольным подбородком, красным, необычайно толстогубым ртом, и водянистыми, беспрерывно мигающими глазами.

— Так вот, господин Клуге, а теперь расскажите-ка, что у вас на душе. Я — комиссар Эшерих из тайной государственной полиции. — И он продолжал успокоительно, видя, что Энно при одном упоминании о государственной полиции испуганно отпрянул. — Пугаться вам совершенно нечего, мы не людоеды и детей не кушаем. А ведь вы всего навсего ребенок, я вижу...

От этих участливых ноток, прозвучавших в голосе комиссара, глаза Клуге сейчас же снова наполнились слезами. Лицо его скривилось, мышцы начали судорожно подергиваться.

— Ну! Ну! — сказал Эшерих и положил свою руку на руку сидевшего перед ним человека. — Дела ведь не так уж плохи? Или все-таки плохи?

— Все пропало! — воскликнул Энно Клуге с отчаянием. — Я засыпался! Мне надо было идти на работу, а у меня нет справки о болезни. И теперь я сижу здесь, и теперь они меня отправят в концлагерь, а там мне сейчас же труба, я и двух недель не выдержу.

— Ну что вы! — сказал комиссар, словно опять обращаясь к ребенку: — Насчет вашей фабрики мы уладим. Если мы кого-нибудь задерживаем и потом выясняется, что это порядочный человек, мы

принимаем все меры к тому, чтобы из-за нас он не потерпел никакого ущерба. Вы же порядочный малый, господин Клуге, верно?

Лицо Клуге снова задергалось, затем он решил все же кое в чем признаться этому симпатичному человеку. — Они считают, что я недостаточно работаю!

— Ну, а как вы сами полагаете, господин Клуге, на ваш взгляд — вы достаточно работаете или нет?

Клуге что-то обдумывал: — Я то и дело болею, — жалобно сказал он. — А они говорят — теперь не время болеть.

— Но вы же не всегда больны? А когда вы не больны, тогда вы добросовестно работаете? Как вы считаете, господин Клуге?

И Клуге снова решился. — Ах боже мой, господин комиссар, — заныл он, — ведь за мной бабы ужас как бегают!

Комиссар соболезнующе покачал головой, словно соглашаясь с тем, что да, это действительно очень плохо.

Клуге только посмотрел на него с бледной улыбкой, обрадованный тем, что этот человек понимает его.

— Да, — сказал комиссар, — а как у вас обстоит дело с заработком?

— Я иной раз немножко играю на скачках, — сознался Клуге. — Не так, чтобы часто, или на большие суммы. Ну, самое большее на пять марок, когда лошадь верная... клянусь вам, господин комиссар!

— А чем же вы платите? Откуда вы деньги берете, господин Клуге, на игру и на женщин — раз вы работаете немного?

— Но ведь женщины меня содержат, господин комиссар! — отвечал Клуге, даже слегка обиженный столь полным отсутствием понимания. Он самодовольно улыбнулся. — За мою преданность, — добавил он.

В эту минуту комиссар окончательно отказался от подозрения в том, что Энно Клуге имеет хотя бы отдаленную связь с открытками и их распространением. Этот Клуге на такое дело просто неспособен, не такой он человек. Однако допросить его комиссар все-таки обязан, ведь нужно же составить протокол допроса, протокол для господ начальников, чтобы они наконец успокоились; протокол, с помощью которого можно было бы держать Клуге на подозрении и который давал бы основания для дальнейших мероприятий против него.

Поэтому он извлек открытку из кармана, положил ее перед Клуге и сказал совершенно равнодушным тоном: — Вы знаете эту открытку, господин Клуге?

— Да, — необдуманно выпалил было Энно Клуге, но затем, вздрогнув от испуга, поправился: — То есть, конечно, нет. Меня заставили только что прочесть ее, то есть начало. А так я ее совсем не знаю. Истинный бог, господин комиссар!

— Ладно, ладно, — недоверчиво протянул Эшерих. — Послушайте, господин Клуге, уж если мы насчет таких важных дел, как ваши прогулы и концлагерь, договорились, и я даже обещал сам лично пойти к вашему начальству и все там утрясти, так относительно такого пустяка, как эта открытка, мы, конечно, столкнемся.

— Я никакого отношения к ней не имею, совершенно никакого, господин комиссар!

— Я же не утверждаю, — продолжал комиссар, ничуть не тронутый этими заверениями, — я же не утверждаю, как мой коллега, что это вы пишете открытки, и не собираюсь, как он, во что бы то ни стало тащить вас в трибунал, а затем — и голову долой, господин Клуге.

Человечек содрогнулся, и его лицо стало землисто-серым.

— Нет, — успокоительно сказал комиссар и опять положил руку на руку Энно. — Нет, я не считаю, что открытки сочиняли вы, но то, что вы подозрительно долго толклись там, и затем ваша тревога, ваше бегство — причем на все это есть надежные свидетели — нет, господин Клуге, уж лучше скажите правду. Мне бы не хотелось, чтобы вы сами себя подвели!

— Открытку подбросили снаружи, господин комиссар. Я не имею к ней никакого отношения. Истинный бог, господин комиссар!

— Ее никак не Могли подбросить снаружи — туда, где она лежала! И за пять минут ее там еще не было, медицинская сестра готова присягу дать. А вы в это время ходили в уборную. Или вы будете уверять меня, что еще кто-нибудь уходил из приемной в клозет?

— Нет, не думаю, господин комиссар. Нет, определенно нет. Если речь идет о каких-нибудь пяти минутах, тогда определенно нет. Мне уже давно хотелось покурить, и я поэтому следил, не идет ли кто в уборную.

— Ну вот! — сказал комиссар, видимо очень довольный. — Вы же сами соглашаетесь: только вы, вы один, могли положить открытку в прихожей!

Клуге устался на него, снова выпучив полные ужаса глаза.

— Итак, после того, как вы сами сознались...

— Ни в чем я не сознавался, ни в чем! Я только сказал, что за последние пять минут никто до меня не выходил в уборную!

Клуге почти выкрикнул это.

— Лй-й-й-й! — сказал комиссар и неодобрительно покачал головой. — Не захотите же вы взять обратно признание, которое только что сделали, для этого вы все-таки человек слишком благоразумный! Ведь мне пришлось бы это обстоятельство также занести в протокол, а подобные штуки, господин Клуге, выглядят не очень красиво.

Клуге с отчаянием продолжал смотреть на него. — Я ни в чем не сознавался, — беззвучно пролепетал он.

— Ну, на этот счет мы с вами сговоримся, — заметил Эшерих. — А теперь скажите мне вот что: кто дал вам открытку, чтобы вы ее подсунули? Кто это — хороший знакомый, друг, или к вам обратился кто-то на улице и заплатил за это несколько марок?

— Ничего подобного! — снова крикнул Клуге. — Я ее и в руках-то не держал, эту открытку, я ее в глаза не видел, пока ваш коллега не дал мне ее!

— Ай-яй-яй! Господин Клуге! Вы же перед тем сами признали, что открытка лежала в прихожей.

— Ничего я не признал! Я не то говорил!

— Нет, — сказал Эшерих, он погладил усы, и точно: стер рукой улыбку. Он уже вошел во вкус и с большим удовольствием заставлял эту трусливую, скулящую собачонку танцевать перед ним на задних лапках. Протокол все-таки выйдет ничего себе — с вескими уликами — прямо для начальников. — Нет, — продолжал он. — В такой форме вы не говорили. Но вы сказали, что один вы могли там положить открытку, никого, кроме вас, там не было, а это ведь одно и то же.

Энно продолжал смотреть на него, широко раскрыв глаза. Затем вдруг угрюмо буркнул: — Этого я тоже не говорил. И потом в уборную могли пойти и другие люди, не только из приемной.

Он снова сел, так как перед тем, взволнованный несправедливыми обвинениями, вскочил с места.

— Но теперь я больше ни слова не скажу. Я требую защитника. И никакого протокола тоже не подпишу.

— Ай-яй-яй! — повторил Эшерих. — Разве я уже просил вас, господин Клуге, чтобы вы подписали протокол? Разве я записал хоть одно ваше показание? Мы ведь беседуем с вами как старые друзья, и что мы тут говорим, решительно никого не касается.

Он встал и распахнул дверь камеры.

— Смотрите, в коридоре никого нет, никто не слушает. А вы чините мне трудности из-за какой-то дурацкой открытки! Видите ли, я лично не придаю этой открытке никакого значения. Надо быть просто идиотом, чтобы написать ее. Но раз медицинская сестра и мой коллега подняли из-за нее такой шум, я вынужден расследовать дело! Не валяйте дурака, господин Клуге, заявите просто-напросто: мне ее дал на Франкфуртераллэ какой-то господин; он, мол, хочет подшутить над врачом, сказал он мне, и десять марок заплатил за это. Сознаться, ведь у вас в кармане очутилась совсем новенькая бумажка в десять марок, я же видел ее. Так вот, если вы все это мне сейчас расскажете, значит, вы свой человек, значит, у нас с вами не будет никаких трудностей, и я могу спокойно уйти домой.

— А я? Куда я пойду? В тюрьму! И голову долой! Нет, нет, господин комиссар, такого показания я ни за что не дам.

— Вы? Куда вы пойдете, когда я пойду домой? Да вы тоже пойдете домой, неужели вы до сих пор не поняли? Вы будете свободны, и так и этак, — я отпущу вас...

— Верно, господин комиссар? Истинный бог? И я смогу уйти без всяких показаний? Без протокола?

— Ну, конечно, господин Клуге, да вы сейчас же, сию минуту можете уйти. Об одном только подумайте еще раз, прежде чем уходить...

И он слегка коснулся плеча взволнованного человечка, вскочившего и уже повернувшегося к двери.

— Видите ли, ваши дела на фабрике я берусь уладить, это одолжение я вам сделаю. Я обещал и слово сдержу. Но подумайте немножко и обо мне, господин Клуге. Подумайте обо всех тех неприятностях, которые мне устроят мои коллеги, если я отпущу вас на все четыре стороны. Они насплетничают моему начальству, и у меня могут быть большие неприятности. Говоря по совести, вам следовало бы, господин Клуге, все-таки подписать показание относительно этого человека на Франкфуртераллэ, вы тут решительно ничем не рискуете, ведь его невозможно разыскать. Так что, господин Клуге...

Подобным настойчивым и вкрадчивым уговорам Энно Клуге никогда и раньше не умел противиться. В нерешительности стоял он перед комиссаром. Свобода манила, с фабрикой тоже все улаживалось, если только он не рассердит этого человека. А он смертельно боялся, как бы ему не рассердить симпатичного комиссара. Ведь иначе комиссар будет и дальше копаться в этой истории и в один прекрасный день все-таки заставит Энно сознаться относительно ограбления квартиры Розентальши. А тогда Энно Клуге погиб, ведь эсэсовец Перзике...

Конечно, он может оказать комиссару одолжение, что тут такого? Открытка просто вздор, что-то политическое, а он никогда не лез в политику, он ничего в этом деле не смыслит. А прохожего с Франкфуртераллэ действительно не найдут, оттого что его просто не существует, да, надо оказать комиссару эту услугу и подписать протокол.

Однако врожденная осторожность и боязливость опять удержали его: — Хорошо, я подпишу, — сказал он, — а вдруг вы все-таки не выпустите меня на свободу?

— Ай-яй-яй! — воскликнул комиссар Эшерих, видя, что победа уже все равно что одержана. — Из-за какой-то дрянной открытки... И потом, вы оказали бы мне одолжение. Даю вам мое честное слово, господин Клуге, как комиссар и как человек, подпишите протокол, и вы сейчас же будете свободны.

— А если я не подпишу?

— Вы, все равно, свободны!

Энно Клуге решился. — Так значит я подпишу, господин комиссар, чтобы у вас не было неприятностей, и потом я ведь тоже должен оказать вам услугу. Ну, а насчет моей фабрики вы не забудете?

— Все будет сделано сегодня же, господин Клуге! Сегодня же! Завтра вы там не надолго покажетесь, и потом бросьте вы вообще эти дурацкие больничные листы! Один день прогула, допустим — раз в неделю, и никто вам слова не скажет после того, как я с ними переговорю. Это вас устраивает, господин Клуге?

— Ну, конечно, я вам очень благодарен, господин комиссар.

Разговаривая, они дошли по тюремному коридору до канцелярии, где сидел сотрудник Шредер, ожидая с тревогой, чем кончится допрос, и уже заранее покоровшись своей судьбе, если что-нибудь все же будет установлено. Когда они вошли, он вскочил.

— Ну, Шредер, — сказал комиссар улыбаясь и кивая на Клуге, который стоял подле него перепуганный и жалкий, ибо полицейский опять бросил на него грозный взгляд. — Вот вам наш друг Энно. Он сейчас сознался мне, что открытку в прихожей у доктора он подбросил! Он получил ее от некоего господина на Франкфуртераллэ.

Из груди Шредера вырвалось подобие стона. — Чорт возьми! — сказал он. — Но он же совсем не...

— А теперь, — продолжал комиссар, не слушая, — теперь мы вдвоем напишем протокольчик, и потом господин Клуге отправится домой. Он свободен. Так, господин Клуге, или не так?

— Да, — отвечал Клуге, но едва слышно, ибо присутствие полицейского вызвало в нем новые

сомнения и страхи.

Шредер стоял, совершенно оторопев: ведь не Клуге подбросил открытку, ни в каком случае не он, это совершенно ясно! И все-таки Клуге готов подписать обратное!

Ну и лиса же этот Эшерих! Каким образом он добился такой штуки? Шредер вынужден был сказать себе, — и не без тайной зависти, — что ему за Эшерихом не угнаться; и после такого признания он вдобавок еще отпускает этого малого на свободу. Ни понять, ни проникнуть в это невозможно! Уж кажется и сам не промах, а всегда найдутся люди, похитрей тебя!

— Слушайте, коллега, — сказал Эшерих, вполне насладившись растерянностью Шредера. — Вы могли бы, собственно, вместо меня сейчас же сходить в управление.

— Слушаюсь, господин комиссар!

— Вы знаете, я веду дело этого — как его... Ах да, это дело невидимки. Вы помните, коллега?

Их взгляды встретились, и они поняли друг друга.

— Итак, господин Шредер, вы пойдете вместо меня в управление и передадите коллеге Линке, — да вы присядьте, господин Клуге, извините, мне нужно сказать коллеге несколько слов.

Он направился вместе с помощником к двери. — Потребуйте там двух агентов. Пусть немедленно явятся два дельных сыщика. С той минуты, как Клуге выйдет отсюда, за ним нужно будет следить непрерывно. Сообщать о его местонахождении каждые два-три часа, как удастся, по телефону мне в гестапо. Пароль — невидимка. Покажите обоим этого Клуге, пусть они сменяются. И доложите мне, когда сыщики будут здесь. Тогда я выпущу зайчика на волю.

— Все будет сделано, господин комиссар. Хейль Гитлер!

Дверь захлопнулась, Шредер исчез. Комиссар сел рядом с Энно Клуге и заметил: — Ну, от него мы отделались! Его вам, верно, не очень приятно видеть, господин Клуге?

— Вас приятнее, господии комиссар!

— Вы заметили, как он рот раскрыл, когда услышал, что я отпускаю вас на свободу? Воображаю, как он бесится! Оттого-то я его и отослал, он мне для нашего протокольчика совершенно не нужен. Все время бы мешал. Я даже машинистки не вызову, лучше сам напишу эти несколько строк. Ведь это просто уговор между нами, чтобы у меня было какое-нибудь оправдание перед начальством — по какой причине я отпустил вас!

И успокоив таким образом свою робкую жертву, он взялся за перо и начал писать. Иногда он произносил громко и отчетливо вслух то, что писал (если только он действительно писал то, что произносил вслух, а относительно столь прожженного следователя, каким был Эшерих, этого никак нельзя было сказать с уверенностью), иногда лишь бормотал себе под нас. Клуге не очень-то понимал, что говорит комиссар. Он видел одно — вышло не пять-шесть строк, а три, почти четыре странички. Но в данную минуту его интересовало даже не это, а интересовало одно, — действительно ли он сейчас будет свободен. Он взглянул на дверь. Быстро на что-то решившись, он встал, подошел к ней и слегка приоткрыл...

— Клуге! — прозвучал позади него голос комиссара, но отнюдь не повелительно. — Господин Клуге, прошу вас!

— Да? — отозвался Клуге, обернувшись, — значит мне все-таки нельзя уйти! — Он боязливо улыбнулся.

Комиссар с улыбкой посмотрел на него. — Видите Клуге, вас опять смущает что-то, а ведь мы договорились! И вы мне твердо обещали! Ну что же, выходит, я зря трудился... — Он решительно отложил ручку. — Отчего вы не уходите, Клуге? — правда, я теперь вижу, что вы человек, который не держит своего слова. Так уходите, я знаю, вы не подпишете! Что ж, пожалуйста...

И, таким образом, комиссар добился того, что Энно Клуге все-таки подписал протокол. Да, Клуге даже не потребовал, чтобы ему предварительно громко и отчетливо зачитали его. Он подписал вслепую.

— А теперь мне можно уйти, господин комиссар?

— Разумеется. И большое спасибо, господин Клуге, вы молодец. До свиданья. Но, конечно, лучше не здесь, лучше не в этом месте. Ах, еще одну минутку, господин Клуге...

— Значит, я все-таки не могу уйти? В лице Клуге снова что-то задрожало.

— Ну, конечно, можете. Вы мне опять не доверяете? Какой же вы недоверчивый, господин Клуге! Но я полагаю, что вы хотели бы получить обратно свои деньги и документы? Вот видите! Давайте-ка посмотрим, все ли тут в порядке, господин Клуге...

И они занялись проверкой: рабочая книжка, военный билет, метрика, брачное свидетельство...

— Зачем собственно вы таскаете с собой все эти бумажки, Клуге? Вдруг вы потеряете их?

... Справка из полиции, четыре конверта от заработной платы...

— Зарабатываете вы немного, господин Клуге! Ах да, верно, я вижу, вы работаете только два-три дня в неделю, вы, лежебока!..

... Три письма...

— Да нет, оставьте, я ими несколько не интересуюсь!.. Тридцать семь государственных марок кредитками и шестьдесят пять пфенингов серебром...

— Видите, вот и бумажка в десять марок, которую вы получили от того господина, ее я пожалуй лучше приобщу к делу. Но подождите, с какой же стати вам терпеть убыток, я вместо нее дам вам от себя десять марок...

Так комиссар тянул до той минуты, пока снова не вошел сотрудник Шредер. — Приказ выполнен, господин комиссар. Мне поручено доложить вам, что комиссар Линке также хотел бы переговорить с вами относительно дела невидимки.

— Хорошо, хорошо. Большое спасибо, коллега. Да, мы здесь кончили. Значит, до свиданья, господин Клуге. Шредер, покажите-ка господину Клуге, как выйти. Господин Шредер проведет вас через канцелярию. Еще раз до свиданья, господин Клуге. Насчет фабрики я не забуду. Нет, нет! Хейль Гитлер!

— Ну, не обижайтесь на нас, господин Клуге, — говорил Шредер, стоя на Франкфуртералле и пожимая руку Энно. — Вы знаете, профессия — это профессия, приходится иной раз быть грубоватым! Но я ведь

сейчас же приказал снять с вас наручники. А боль от тумака, который вам дал вахмистр, наверно стала полегче?

— Совсем прошла. И я все понимаю... Извините меня за те хлопоты, которые я вам доставил, господин комиссар.

— Ну, тогда хейль Гитлер, господин Клуге!

И щедушный человечек, Энно Клуге, засеменил прочь. Он бежал через людскую толпу на Франкфуртераллэ прямо-таки рысью, а сотрудник Шредер смотрел ему вслед. Затем, удостоверившись, что два приставленных к Энно шпика действительно неотступно идут за ним, удовлетворенно кивнул и возвратился в полицейский участок.

ГЛАВА 24

Комиссар Эшерих Обрабатывает Дело Невидимки

— Вот прочтите! — сказал комиссар Эшерих и протянул Шредеру протокол.

— Н-да, — отозвался тот, возвращая ему исписанные листки. — Значит все-таки сознался и теперь готов для трибунала и палача. Я не ждал этого. — И добавил с расстановкой: — И вот такие субъекты свободно бегают по улицам.

— Вот именно! — сказал комиссар, положил протокол в папку, а папку в портфель. — Вот именно, такие субъекты бегают по улицам, — но ведь под недремлющим оком наших агентов?

— Разумеется! — поспешил успокоить его Шредер. — Я сам проверил: они оба следовали за ним по пятам.

— И вот он бежит на свободе, — продолжал комиссар Эшерих, задумчиво поглаживая усы, — бежит и бежит, а наши люди бегают за ним! И в один прекрасный день, сегодня, или через неделю, или через полгода — побежит наш плюгавенький господин Клуге к автору открыток, который когда-то дал ему поручение: брось их там-то и там-то. Что он приведет нас к нему — это как пить дать. И тогда я цап! — и только тогда оба действительно окажутся готовыми для тюрьмы, и так далее, и тому, подобное.

— Господин комиссар, — сказал помощник Шредер, — мне все как-то не верится, что это Клуге подбросил открытку. Я же видел, когда ему давал прочесть, — он ровно ничего о ней не знал! Это та сестра, истеричка, выдумала, это все ее фантазии!

— Но ведь в протоколе записано, что подбросил он, — возразил комиссар, однако без особого нажима. — И вообще я советовал бы вам в вашем донесении ни о какой истеричке не упоминать. Без всякой личной предубежденности, чисто фактическая сторона. Если угодно, допросите врача, можно ли верить его помощнице. Ах, нет, бросьте-ка вы лучше все это. Ведь тут опять окажется личное мнение, лучше предоставим прокурору оценку тех или иных показаний. Мы основываемся только на фактах, не правда ли, Шредер? Без всякой предубежденности!

— Само собой, господин комиссар.

— Если в протоколе имеется определенное показание, так это показание, мы и будем на него опираться. Как и почему оно там появилось — нас ни в какой мере не касается. Ведь мы не психологи, мы криминалисты, *сгител* — значит по латыни «преступление», Шредер, только преступление интересует нас. Если кто-нибудь сознается, что он совершил преступление, этого с нас достаточно. Так, по крайней мере, я смотрю на дело, а может быть вы другого мнения, Шредер?

— Ну разумеется, нет, господин комиссар! — прямо-таки выкрикнул Шредер. Казалось, он страшно испуган одним предположением, что может Схмотреть на что-нибудь иначе, чем его начальство. — Я держусь в точности того же взгляда. Нас интересует только преступление!

— Я так и думал, — заметил комиссар Эшерих и погладил усы. — Мы, старые криминалисты, всегда сходимся во взглядах; вы знаете, Шредер, сейчас в нашей профессии работает много пришлых элементов, но мы всегда держимся друг друга, и это для нас очень хорошо. Итак, Шредер, — это уж чисто по служебной линии, — я жду от вас сегодня же донесения о том, что Клуге задержан, и протокола с показаниями медицинской сестры и врача. Да, верно, с вами был и здешний вахмистр...

— Обервахмистр Дубберке, отсюда из участка...

— Не знаю такого. Но пусть он тоже сделает сообщение о побеге Энно Клуге, строго фактическое, пусть не размазывает, без личных мнений, понятно, господин Шредер?

— Так точно, господин комиссар!

— Так вот, Шредер! Когда вы передадите донесения, вам больше не придется иметь дело с этим случаем — самое большее, какое-нибудь показанье у судьи или у нас в гестапо... — Он задумчиво поглядывал на своего помощника. — Вы давно работаете в уголовном розыске, господин Шредер?

Уже три с половиной года, господин комиссар. Во взгляде полицейского, устремленном на комиссара, было что-то почти молитвенное.

Но комиссар сказал лишь: — Да, собственно уже пора, — и покинул отделение.

В канцелярии на Принц-Альбрехтштрассе он тут же приказал о себе доложить своему непосредственному начальнику, обергруппенфюреру СС Пралю. Эшериху пришлось ждать чуть не час. Не то, чтобы господин Праль так уж очень был занят, впрочем, нет — он был как раз очень занят: до Эшериха доносился звон стаканов, хлопанье пробок, он слышал хохот и крики; это была одна из встреч, которые происходили весьма часто между начальниками более высокого ранга, компанейство, выпивка, веселая непринужденность, — все это служило отдыхом после тяжких трудов, направленных на то, чтобы мучить своих ближних и отправлять их на виселицу.

Комиссар ждал без всякого нетерпения, хотя у него было намечено на этот день еще немало дел. Но он знал слишком хорошо, что такое начальники вообще и этот начальник в частности. Тут сколько ни приставай, тут хоть пол-Берлина гори, — но если Праль хочет нализаться — он налижется. Ничего не попишешь!

Однако через часок Эшерих все же был допущен. Комната, с явными следами попойки, имела довольно

непривлекательный вид, и сам господин Праль, багровый от арманьяка, тоже имел довольно непривлекательный вид. Но он радушно заявил: — Вот, Эшерих! Налейте-ка и вы себе стаканчик. Это плоды нашей победы над Францией, настоящий арманьяк, в десять раз лучше, чем коньяк. Да что — в десять! В тысячу раз! Отчего вы не пьете?

— Прошу прощения, господин обергруппенфюрер, у меня сегодня еще довольно много дела, и я хотел бы сохранить ясность мысли. Да и вообще я отвык пить.

— Ах, бросьте, отвыкли! Вздор! На что вам ясность мысли? Пусть за вас кто-нибудь другой сделает вашу работу, а вы пойдете выпасться; выпьем, Эшерих, за нашего фюрера!

Эшерих чокнулся, иначе нельзя было. Он чокнулся и во второй, и в третий раз, размышляя о том, насколько общество гестаповцев и алкоголь изменили этого человека. Праль держался раньше довольно прилично, на много лучше, чем сотни молодых людей, которые бегают в своих черных мундирах по этому зданию. Наоборот, он даже кое в чем сомневался, считал себя всего лишь «прикомандированным» к гестапо и отнюдь не «убежденным».

Однако под влиянием сослуживцев и алкоголя, Праль стал таким же как они: он самодур, груб, истеричен, лезет на стену при малейшем возражении, даже в таком вопросе, как употребление водки. Если бы Эшерих решительно уклонился от чоканья со своим начальником, он мог бы считать себя погибшим так же бесспорно, как если бы дал убежать важнейшему преступнику. Да, пожалуй, первое было бы сочтено еще более непростительным, ибо, если подчиненный, не чокается со своим начальником так часто и усердно, как последний того желает, это граничит с личным оскорблением.

Итак Эшерих чокнулся, чокнулся и раз и другой, он не отставал от своего начальника.

— Ну так в чем же дело, Эшерих? — наконец спросил Праль, он стоял привалившись к письменному столу и цеплялся за него, стараясь держаться как можно прямее. — Что это у вас?

— Протокол, — пояснил Эшерих, — составленный мною по делу моего невидимки; последует еще несколько донесений и протоколов, но этот — самый важный. Пожалуйста, господин обергруппенфюрер.

— Невидимка? — спросил Праль, напрягая память. — Этот тип с открытками? Что ж, осенила вас какая-нибудь идея Эшерих, как я приказал?

— Так точно, господин обергруппенфюрер! — Не соблаговолите ли, господин обергруппенфюрер, прочесть протокол?

— Прочесть? Ну уж, конечно, не сейчас. Как-нибудь позднее, может быть. А сейчас вы прочтите вслух, Эшерих!

Однако он прервал чтение после первых же трех фраз: — Давайте-ка выпьем разгонный. За ваше здоровье, Эшерих! Хейль Гитлер!

— Хейль Гитлер, господин обергруппенфюрер!

И лишь когда Праль выпил до дна, Эшерих продолжал чтение.

Но тут пьяному Пралю взбрело на ум подразнить комиссара. Едва Эшерих прочитывал три-четыре фразы, как Праль прерывал его тостом, и Эшериху оставалось только чокаться и начинать чтение сызнова. Так Праль и не дал ему перевернуть первую страницу, ибо ежеминутно прерывал его тостом. Он прекрасно видел, хотя и был очень пьян, как злоба закипала в подчиненном, как претило ему крепкое вино и он десять раз был готов отложить протокол и уйти, но не смел пикнуть, оттого что Праль был его начальником.

— Ваше здоровье, Эшерих!

— Покорно благодарю, господин обергруппенфюрер! Ваше здоровье!

— Ну, читайте-ка дальше, Эшерих! Нет, нет, начните еще раз сначала. Там одно место до меня не дошло. Я ведь туго соображаю...

И Эшерих читал. Да, сейчас его мучили в точности так же, как он мучил два часа назад этого плюгавого Клуге: и его, в точности как и Клуге, томило желание выскочить за дверь. Но он принужден был читать и пить, пить и читать, пока будет угодно его начальнику. Он уже чувствовал, как в голове у него путаются мысли. Прощай, намеченная работа! Ах, проклятая субординация! Ваше здоровье, Эшерих!

— Ваше здоровье, господин обергруппенфюрер!

— Ну, читайте-ка с самого начала!

Наконец Пралю надоела эта игра. — Да бросьте вы это дурацкое чтение, — заявил он грубо. — Вы же видите, я вдребезги, как же я могу разобраться в этой музыке? Хотите небось похвастаться своим ловким протоколом? Еще бы! Последуют, мол, другие протоколы, но это не то, что протокол великого криминалиста Эшериха! Если уж до этого дошло! В двух словах: сцапали вы наконец автора открыток или нет?

— Так точно, нет, господин обергруппенфюрер. Но...

— Так зачем вы тогда являетесь ко мне? Зачем вы украли у меня мое драгоценное время и вылакали мой драгоценный арманьяк? — голос Пралю напоминал теперь звериный рык. — Вы, что, совсем спятили, сударь! Но теперь я с вами иначе поговорю! Я был слишком снисходителен, я дал вам обнаглеть, понятно?

— Так точно, господин обергруппенфюрер! — Но не успел Праль возобновить свою брань, как Эшерих торопливо выкрикнул: — Зато я поймал человека, который подбрасывал открытки. Так, по крайней мере, мне кажется.

Эта весть несколько смягчила Пралю. Он строго посмотрел на комиссара и сказал: — Привести его сюда! Пусть скажет, кто давал ему открытки! Я его обработаю, у меня как раз подходящее настроение.

Одно мгновение комиссар был в нерешительности. Он мог сказать, что человек этот еще не находится на Принц-Альбрехтштрассе, но что он доставит его. Эшерих и доставил бы его, захватив на улице или у него на квартире с помощью сыщиков. Или он мог спокойно выждать, пока обергруппенфюрер проспится. А потом тот наверно все позабудет.

Но так как Эшерих это был Эшерих, то есть закоренелый в своих грехах криминалист и не трус, то, движимый именно своей храбростью, он сказал (будь что будет): — Я этого человека отпустил на свободу, господия обергруппенфюрер.

Рык! Господи боже мой, какой последовал звериный рык! Праль, обычно даже слишком воспитанный для начальника более высокого ранга, настолько забылся, что схватил своего комиссара за грудь и стал трясти его как мешок, вопя: — Отпустил? Да ты знаешь, что я теперь с тобою сделаю, сволочь? Теперь я тебя засажу, — теперь ты у меня посидишь! Подожди, я тебе перед носом лампу в тысячу киловатт повешу, а если ты заснешь, я тебя розгами разбужу, осел...

Это продолжалось еще довольно долго. Праль тряс его, орал, а Эшерих не противился, не говорил ни слова. Может быть, даже и хорошо, что он выпил: несколько оглушенный арманьяком, он воспринимал все, что происходило, лишь смутно, скорее как некий сон.

Ори себе, сколько хочешь! думал он. Чем громче ты орешь, тем скорее охрипнешь, продолжай в том же духе, хорошенько задай жару старому Эшериху!

И действительно, наоравшись до хрипоты, Праль выпустил своего подчиненного. Он снова налил себе стакан вина и, злобно рассматривая Эшериха, засипел: — А теперь потрудитесь доложить, чаю ради, вы совершили эту чудовищную глупость?

— Во-первых, я хотел бы доложить, — вполголоса начал Эшерих, — что за этим человеком неотступно следят два наших лучших агента. Я полагаю, что рано или поздно, а он все же приведет их к автору открыток, дававшему ему поручения. Сейчас он утверждает, что это был какой-то неизвестный, словом известная песня о Великом неизвестном.

— Уж я бы выжал его имя из этого субъекта! А сыщики — да они на первом углу упустят его!

— Эти нет! Это самые надежные агенты с Алекса.

— Ну, ну! — Видимо настроение Праля опять несколько прояснилось. — Вы знаете, что я не потерплю никакого самоуправства! Я предпочел бы держать этого субъекта в своих руках!

Еще бы! подумал Эшерих. А через полчаса ты выдавишь из него, что он никакого отношения не имеет к открыткам, и опять начнешь гонять меня...

Однако вслух он сказал: — Это такая запуганная тварь, господин обергруппенфюрер. Если вы его в обработку возьмете, так он вам все что угодно покажет, и нам придется водиться с тысячью ложных следов. А так он нас приведет прямо к автору открыток.

Обергруппенфюрер засмеялся. — Ну, ну, старая лисица, выпьем еще по одному.

И они выпили еще по одному.

Праль испытующе посмотрел на комиссара. Видно, недавняя яростная вспышка пошла на пользу обергруппенфюреру, и он слегка протрезвел. Подумав, Праль сказал: — А с этого протокола, ну вы знаете...

— Слушаюсь, господин обергруппенфюрер!

— ... Пусть мне сделают несколько копий с этого протокола. Спрячьте-ка ваше гениальное творение... — оба усмехнулись. — А то здесь оно еще попадет в ар-маньяк...

Эшерих снова уложил протокол в папку, а папку в портфель.

Тем временем его начальник, пошарив в ящике стола, снова подошел к Эшериху, он держал руку за спиной: — Скажите, Эшерих, у вас уже есть крест «За военные заслуги»?

— Нет, господин обергруппенфюрер.

— Ошиблись, Эшерих. Вот он! — И Праль неожиданно вытянул руку, которую прятал перед тем за спину; на его ладони лежал крест.

Комиссар был так потрясен, что только бессвязно залепетал: — Но, господин обергруппенфюрер... не заслужил... не нахожу слов...

Всего ожидал он еще пять минут назад во время этого наскока, даже несколько суток тюрьмы, но чтобы ему тут же следом вручили крест...

— ... Во всяком случае покорнейше благодарю. Обергруппенфюрер Праль наслаждался растерянностью награжденного.

— Ну, ну, Эшерих, — заметил он. — Вы же знаете, я вовсе не такой. Да и вы, в конце концов, дельный следователь. Только нужно время от времени вас немножко подгонять, не то вы у меня совсем заснете. Выпьем еще один разгонный. Ваше здоровье, Эшерих, за ваш крест!

— Ваше здоровье, господин обергруппенфюрер, и еще раз покорнейше благодарю!

Обергруппенфюрер принялся болтать: — Говоря по правде, крест предназначался не вам, Эшерих. Говоря по правде, его должен был получить Руш, ваш коллега, за весьма скользкое дельце, которое он тут провернул с одной старой еврейкой. Да вы вот раньше попались под руку!

Он продолжал болтать еще некоторое время, затем включил красный свет над дверью, означавший «важное совещание, не мешать», и завалился на диван.

Когда Эшерих, все еще держа в руках крест, вошел к себе в кабинет, он увидел, что его заместитель сидит перед телефоном и кричит в трубку: — Что такое? Дело невидимки? А это не ошибка? Здесь нет никакого дела невидимки.

— Дайте сюда! — сказал Эшерих и схватил трубку. — И чтобы вас тут не было!

Он закричал в аппарат: — Да, у телефона комиссар Эшерих! Что такое насчет невидимки? Что-нибудь новенькое?

— Разрешите доложить, господин комиссар, мы, к сожалению, потеряли этого человека, дело в том...

Эшерих чуть не взорвался так же, как четверть часа назад его начальник. Однако он сдержал себя. — Как это могло случиться? Я считал вас за расторопного агента, а ведь тот, за кем вы следите — просто плюгавый старикашка!

— Да, это вы говорите, господин комиссар. А он бежит, как заяц, и в толкотне на станции метро Александерплац, он вдруг исчез. Наверно, заметил, что мы следим.

— Этого еще не хватало! — застонал Эшерих. — Заметил! Болваны вы этикие, вы мне всю музыку изгадили! И теперь я вас уже не могу послать, он уже знает вас! А новые его не знают! — Он подумал. — Как можно скорей возвращайтесь в управление! Пусть каждый из вас добудет себе агента на смену. И пусть один из вас двух займет наблюдательный пункт поблизости от его квартиры, но совершенно

незаметный, поняли? И смотрите, чтобы он еще раз не ускользнул от вас! У вас одна задача — показать новым агентам этого Клуге. А сами вы смоеетесь. Один пойдет на фабрику, где он работает, и доложится администрации. Да подождите, вы, герой, вы же еще должны получить адрес его квартиры! — Он отыскал у себя адрес и сообщил агенту. — Так, а теперь немедленно по местам! Впрочем, на фабрику может пойти один из сменных агентов, и не раньше чем завтра с утра. Там ему этого субъекта покажут. Я их предупрежу. А через час я сам буду у него на квартире...

Однако ему пришлось так много звонить по телефону и диктовать, что он попал к Эве Клуге гораздо позднее. Агентов он там не увидел и в квартиру звонил напрасно. Поэтому и у него остался один выход — соседка Геш.

— Клуге? Вы имеете ввиду его? Нет, он здесь не живет. Здесь, милый человек, только его жена живет, а она уже давным-давно его и в квартиру-то не пускает. Нет, сама она уехала. Где он живет? Да с места на место таскается, вечно у бабья торчит. Так, по крайней мере, говорят, а мое дело, конечно, сторона. Она меня, знаете, как ругала, когда я раз его к ней в квартиру впустила.

— Послушайте, фрау Геш, — начал Эшерих и решительно вошел в прихожую, так как она намеревалась захлопнуть дверь у него перед носом. — Расскажите-ка мне сейчас же все решительно, что вам известно относительно этих Клуге!

— Да чего ради я буду рассказывать, милый человек, и с чего это вы лезете прямо в квартиру...

— Дело в том, что я комиссар Эшерих из государственной тайной полиции, и если вы хотите видеть мое удостоверение...

— Нет! — воскликнула Геш и в испуге отступила в кухню. — Ничего я не хочу ни видеть, ни слышать. А насчет Клуге я и так уже вам все сказала, что мне известно.

— Ну, я полагаю, вы еще на этот счет подумаете, фрау Геш. Дело в том, что если вы не захотите рассказать, то мне придется пригласить вас в гестапо на Принц-Альбрехтштрассе для настоящего допроса. В этом, конечно, не будет для вас ничего приятного. А здесь мы с вами уютненько побеседуем и ничего не запишем...

— Согласно, господин комиссар, но мне, и на самом деле, больше нечего рассказать вам. Я же про них совершенно ничего не знаю.

— Как вам угодно, фрау Геш. Тогда собирайтесь, там внизу мои люди, вы прямо с ними и отправитесь.

И оставьте вашему мужу, ведь у вас есть муж? Ну, конечно, есть! — так вы оставьте ему записку, я де в гестапо, когда вернусь — неизвестно. Так пошли, фрау Геш, пишите записку!

Геш побелела, она вся дрожала, зубы стучали.

— Нет, не делайте этого, милый, милый, господин комиссар, — взмолилась она.

Он ответил с нарочитой грубостью: — Конечно, сделаю, фрау Геш, если вы и дальше будете упорствовать и не дадите мне сведений. Поэтому будьте благоразумны, сядьте-ка вот сюда и расскажите все, что вы знаете насчет обоих Клуге. Что за человек жена?

И фрау Геш, разумеется, вняла голосу благоразумия. В сущности, он очень симпатичный, этот господин из гестапо, совсем не такой, каким она представляла себе подобных господ. И, разумеется, комиссар Эшерих выведал у Геш все, что она знала. Даже об эсэсовце Карлемане услышал он, ибо все, что было известно в угловой пивнушке, было, разумеется, известно и Геш. И у бывшего почтальона Эвы Клуге, у этой скромной женщины, защемило бы на сердце, узнай она, сколько люди судачат о ней и ее бывшем любимце Карлемане.

Когда комиссар Эшерих ушел от Геш, он не только оставил несколько сигар для ее мужа, но и приобрел для гестапо ретивую и даровую шпионку. Она обещала не только неослабно следить за квартирой Клуге, но и повсюду в доме и в очередях перед магазинами слушать, что говорят, и сейчас же звонить симпатичному комиссару, если ей удастся узнать что-нибудь для него интересное.

В результате этого разговора, комиссар Эшерих снова отозвал своих двух агентов. Шанс на то, что удастся захватить Клуге на квартире у жены, казался, после полученных Эшерихом сведений, чрезвычайно ничтожным, да и эта Геш будет наблюдать за квартирой. Затем комиссар Эшерих побывал еще в почтовом отделении и в местной организации национал-социалистской партии и навел дальнейшие справки относительно фрау Клуге. Никогда не знаешь, что тебе может пригодиться.

Эшерих вполне мог бы сказать и на почте, и в организации, что он догадывается о связи между выходом фрау Клуге из партии и постыдными деяниями ее сына в Польше. Он мог бы также открыть им адрес фрау Клуге под Руппином, так как списал его себе с письма Клуге к Геш, присланного вместе с ключами. Все же, Эшерих не сделал этого, он много расспрашивал, однако сам ничего не сообщил. Правда — и почта, и организация — это тоже учреждения, но гестапо не для того существует, чтобы помогать другим справляться с их работой. Для этого оно слишком себя ценит, а комиссар Эшерих, по крайней мере в данном вопросе, вполне разделял самонимение всех гестаповцев.

Пора понять это и господам на фабрике. Правда, они носят мундир, и по чину и окладу они, вероятно, намного выше невзрачного комиссара. Однако он уперся. — Нет, господа, что касается Клуге, это дело только государственной полиции. Тут я ничего не скажу. Вам я предлагаю одно: предоставьте Клуге беспрепятственно приходить и уходить, когда ему вздумается, никаких выговоров и запугиваний, и беспрепятственно допускайте указанного мною агента на ваше производство и в цеха, и, насколько в ваших силах, содействуйте ему. Договорились?

— Я попрошу письменно подтвердить это распоряжение, — воскликнул офицер. — И сегодня же!

— Сегодня? Уже довольно поздно, может быть завтра? До завтра Клуге наверное не придет. Если он вообще сюда еще придет! Итак, хейль Гитлер, господа!

— Чорт бы его побрал! Эти типы с каждым днем наглеют! Все бы это гестапо, да на виселицу. Воображают, что если они могут засадить любого немца, так им все позволено. Но я офицер, больше того — я кадровый офицер!

— Я хотел еще сказать, — голова Эшериха снова просунулась в дверь, — может быть, у этого субъекта здесь остались какие-нибудь бумаги, письма, личные вещи?

— Это уж вам придется спросить старшего мастера! У мастера ключ от его шкафа...

— Прекрасно, — сказал Эшерих, опускаясь на стул. — Так вы и спросите мастера, господин оберлейтенант, только если вас не очень затруднит — хорошо бы поскорее, а?

На один миг их взгляды скрестились. Насмешливые бесцветные глаза Эшериха и потемневшие от гнева глаза лейтенанта один миг вели борьбу между собой. Затем офицер щелкнул каблуками и вышел из комнаты, чтобы добыть нужные сведения.

— Забавный тип! — сказал Эшерих нацистскому чиновнику, слишком уже усердно перебиравшему что-то на своем столе. — Желает всему гестапо очутиться на виселице! Хотел бы я знать, долго ли вы тут еще просидели бы, не будь нас. Вот вам и вывод: все государство — это гестапо. Без нас все рухнуло бы, и вы все очутились бы на виселице.

ГЛАВА 25

Фрау Хете Решает

Комиссару Эшериху и его двум шпикам из управления показалось бы вероятно весьма странным, как это Энно Клуге даже не подозревает о том, что за ним следят. Но с той минуты, когда Шредер наконец выпустил его на свободу, Энно владела одна-единственная мысль: только бы поскорее убраться отсюда и — к Хете!

Клуге спешил по улицам, никого не видя, не спрашивая себя кто позади него, кто рядом. Он упорно смотрел себе под ноги, он твердил одно: скорее к Хете.

Шахта метро поглотила его. Он сел в поезд и, таким образом, на этот раз ускользнул от комиссара Эшериха и от господ с Алекса и из гестапо.

Энно Клуге решил: сначала он съездит к Лотте и заберет вещи, затем прямо оттуда явится со своим чемоданом к Хете, — вот и выяснится, действительно ли она его любит, а он докажет ей, что с прежней жизнью покончено.

И вот случилось так, что в толкотне и полумраке метро шпики потеряли его из виду. Да он и был просто как тень, этот тщедушный Энно. Если бы он сразу же отправился к Хете — а от Алекса до Кэнигстор отлично можно было дойти пешком, — они его бы не упустили, и зоомагазинчик послужил бы им постоянным объектом для наблюдений.

У Лотты ему повезло. Ее не оказалось дома, и он торопливо затолкал свое скудное имущество в чемодан. Он даже не поддавался искушению перерыть ее вещи — не найдется ли там чего, что имело бы смысл прихватить с собой — нет, теперь будет иначе. Не так, как тогда, когда он поселился в тесном номере убогой гостиницы, нет, теперь он действительно начнет новую жизнь — только бы Хете приняла его к себе.

Чем ближе он подходил к магазину, тем больше замедлял шаг, тем чаще ставил на землю чемодан, хотя тот был вовсе уж не так тяжел, и тем чаще вытирал потный лоб, хотя было вовсе уж не так жарко.

И вот он стоит перед магазином и всматривается во внутрь через блестящие прутья птичьих клеток. Да, Хете работала. Она как раз отпускала товар; у прилавка стояло четыре-пять покупателей. Он присоединился к ним и с гордостью, хотя и с дрожью в сердце, стал наблюдать, как ловко она справляется, как вежливо разговаривает с клиентами.

— Индийского проса больше нет в продаже, мадам. Вы должны это знать, ведь Индия принадлежит Англии. Но болгарское просо у меня еще есть, оно гораздо лучше.

И вдруг, в самый разгар этих разговоров, заявила: — Ах, господин Энно, очень мило с вашей стороны, что вы решили помочь мне. Чемодан лучше всего поставьте в комнату. И потом принесите мне, пожалуйста, сейчас же птичьего песка из погреба, кошачий песок мне тоже нужен. И муравьиные яйца...

Усердно выполняя ее разнообразные поручения, он размышлял: она меня сразу же увидела и тут же увидела, что со мной чемодан. Она разрешила мне поставить его в комнату — это хороший знак. Но она наверняка меня сначала выпросит, она ведь такая дотошная. Да я ей уж навру что-нибудь.

И этот почти пятидесятилетний, потрепанный лодырь, этот бездельник и бабник принялся молиться как мальчишка: ах, милый боженька, сделай так, чтобы мне еще раз повезло, еще один единственный раз! А я обещаю начать совсем другую жизнь, только сделай, чтобы Хете приняла меня!

Так он клялся и клянчил. При этом он страстно желал, чтобы до закрытия магазина оставалось еще очень много времени — до неизбежного объяснения с Хете и его признания, ибо в чем-нибудь он должен Хете признаться, это ясно. Иначе, как объяснить, почему это он вдруг заявился к ней со всем своим барахлом и к тому же, с таким скудным барахлом! Он всегда разыгрывал из себя барина!

Все же эта минута наступила и притом как-то совершенно неожиданно. Дверь магазина оказалась давным-давно запертой, затем понадобилось еще полтора часа, чтобы снабдить всех его обитателей водой и кормом и прибрать помещение. И вот они с Хете сидят наконец друг против друга за круглым столом перед диваном, они поужинали, поболтали, пугливо обходя основной вопрос, и вдруг эта расплывшаяся увядшая женщина подняла голову и спросила: — Ну, Гэнсхен! В чем же дело? Что с тобой стряслось?

Едва она произнесла эти слова по-матерински озабоченным тоном, как у Энно из глаз уже потекли слезы: сначала медленно, затем все обильнее заструились они по его тощему, бесцветному лицу, и даже нос как будто заострился.

Энно простонал: — Ах, Хете, я больше не могу! Все это слишком ужасно, меня допрашивали в гестапо...

И, громко всхлипывая, он спрятал лицо на ее обширной груди.

При этих словах фрау Хете Гэберлс подняла голову, в ее глазах вспыхнул какой-то жесткий блеск, шея сурово выпрямилась, и она спросила почти нетерпеливо: — Что же им от тебя понадобилось?

Оказалось, что Энно Клуге, действуя ощупью, но с уверенностью лунатика, попал в самую точку: ни одна из тех историй, которыми он старался бы воздействовать на ее любовь или жалость, не могли бы произвести такого эффекта, как одно слово «гестапо», ибо вдова Хете Гэберле ненавидела беспорядок и

никогда бы не приняла в свой дом и в свои материнские объятия никчемного лодыря и лоботряса. Но одно слово «гестапо» распахнуло перед ним все двери ее материнского сердца — человек, которого преследовало гестапо, мог быть заранее уверен в ее сочувствии и помощи.

Дело в том, что ее мужа, скромного подпольного работника, еще в 1934 г. гестапо засадило в концлагерь, и о нем больше не было ни слуху ни духу, если не считать полученного ею пакета с кой-какой рваной и грязной одежкой. А сверху лежало извещение о его смерти, — от администрации Ораниенбурга; причина смерти: воспаление легких. Но впоследствии от других заключенных, выпущенных на свободу, она узнала что в Ораниенбурге и в соседнем концлагере Заксенхаузен разумелось под «воспалением легких».

И вот опять у нее в доме был мужчина, мужчина робкий и вкрадчивый, который своей потребностью в ласке уже и до того вызывал в ней симпатию, — и опять его преследовало гестапо.

— Успокойся, Гэнсхен. Только расскажи мне все. Если человека преследует гестапо, я все для него сделаю!

Эти слова показались ему бальзамом, и не был бы он опытным соблазнителем женщин, не, был бы Энно Клуге, если бы не воспользовался открывшимися перед ним возможностями. То, что он, всхлипывая и обливаясь слезами, ей выложил, было своеобразной помесью правды и лжи; однако он даже ухитрился всунуть в рассказ о своих недавних злоключениях и обиду, нанесенную ему эсэсовцем Перзике.

Но если в его рассказе и было много неправдоподобного, все же ненависть Хете Гэберле к гестапо помешала ей это заметить. И уже ее любовь начинала ткать сияющий ореол вокруг приникшего к ее груди никудышника, и она сказала: — Так, значит, ты подписал протокол, Гэнсхен, прикрыл собой виновника. Ты поступил очень мужественно, я восхищаюсь тобой. Не знаю, нашелся ли бы из десяти мужчин один, который рискнул бы пойти на это. Но ты отлично знаешь, что если они тебя сцапают, тебе солоно придется, а этим протоколом они тебя навсегда в капкан поймали, дело ясное.

Он сказал, уже наполовину успокоенный: — О, если только ты будешь со мною, они меня не сцапают!

Она медленно и задумчиво покачала головой. — Я не понимаю, как они вообще тебя отпустили. — Вдруг ее осенила страшная мысль: — О господи, а если они за тобою шпионили, если они хотели только узнать, куда ты пойдешь?

— Не думаю, Хете, я ведь был сначала у — я был сначала в другом месте, чтобы забрать свои вещи. И я непременно заметил бы, если бы кто-нибудь за мной следил. Да и с какой целью? Ведь им тогда незачем было отпускать меня.

Однако она уже все обдумала: — Они считают, что ты знаешь, кто писал открытки и наведешь их на след. И, может быть, ты действительно его знаешь, и сам подбросил открытку? Но этого даже я не хочу знать, и ты мне не говори. — Она наклонилась к нему и прошептала: — Я сейчас выйду на полчаса, Гэнсхен, и понаблюдаю за домом, не торчит ли все-таки где-нибудь шпик. Ты ведь тут посидишь тихонько в комнате?

Он возразил, что это хождение напрасный труд, он никого не привел за собою, определенно нет.

Но в ней еще было слишком живо страшное воспоминание о том, как они однажды вырвали мужа из ее квартиры, а тем самым и из ее жизни. Беспокойство мучило ее, она чувствовала, что необходимо встать и выйти посмотреть.

И пока она медленно огибает квартал, ведя на сворке песика Блэки из магазина, прелестного скотч-терьера, — благодари ему эта вечерняя прогулка кажется вполне невинной пока она, таким образом, ради безопасности Энно медленно прохаживается взад и вперед, с виду занятая только собакой, а на самом деле решительно во все настороженно вглядываясь и вслушиваясь — тем временем Энно торопливо производит первую беглую инвентаризацию ее комнаты. Пока только очень поверхностную — кроме того, большую часть вещей она заперла. Однако уже этот первый осмотр убеждает его в том, что он с такой женщиной еще никогда не имел дела, с женщиной, у которой есть текущий счет в банке и даже сберегательная книжка, причем на каждом формуляре напечатана ее фамилия.

И Энно Клуге снова решает на самом деле начать новую жизнь, вести себя в этой квартире корректно и не присваивать себе то, чего она не отдаст ему добровольно.

Она возвращается с улицы и говорит: — Нет, я не вижу ничего особенного. Но, может быть, они все-таки проследили, как ты сюда вошел, и завтра рано утром вернутся. Завтра я еще раз проверю, я поставлю будильник на шесть часов.

— Не нужно, Хете, — снова говорит он. — За мной определенно никто не шел.

Затем она стелит ему на кушетке, а сама ложится на кровать. Но дверь между обеими комнатами она оставляет открытой и слушает, как он вертится с боку на бок, как он стонет и как беспокоен его сон, когда он наконец засыпает. Затем — она сама только что чуть-чуть забылась, затем она вдруг приходит в себя оттого, что он плачет. Опять он плачет, то ли наяву, то ли во сне. Фрау Хете отчетливо видит перед собой в темноте лицо, лицо этого человека, в чертах которого все еще сохранилось что-то ребяческое — может быть, из-за слабо развитого подбородка и толстогубого, очень красного рта.

Некоторое время она безмолвно слушает этот покорный плач в ночи, ей кажется, что это сама ночь скорбит обо всем том горе, которым теперь полон мир.

Затем фрау Гэберле вдруг решительно встает и ощупью пробирается среди мрака к дивану. — Да не плачь же так, Гэнсхен! Ты же в безопасности, ты у меня. Твоя Хете поможет тебе...

Хете спрашивает своего Гэнсхен, нет ли у него еще каких-нибудь забот, о которых он ей ничего не сказал. И вот он сознается, плача, в отчаянии, что его зовут вовсе не Ганс Энно, а Энно Клуге. И что он человек женатый, у него два взрослых парня. Да, он негодяй, он хотел налгать ей, надуть ее, но оказывается, это выше его сил, она была так добра к нему.

Как обычно, его признания только полупризнания, в них немножко правды и очень много лжи. Он рисует образ своей жены — злой ведьмы — нацистки из почтамта, она ни за что не хочет, чтобы муж жил у нее, оттого что он отказывается вступить в нацистскую партию. Эта женщина заставила своего старшего сына сделаться эсэсовцем — и Энно живописует зверства, содеянные Карлеманом. Он набрасывает целую

картину их неравного, несчастного брака — тихий, кроткий, безропотный муж и жена — нацистка, скареда, ведьма. Разве они могут ужиться? Они же непременно будут ненавидеть друг друга. Вот как он налгал своей Хете, из трусости, оттого, что слишком сильно любит ее, оттого, что не хочет огорчать ее.

Но теперь он, наконец, облегчил душу. Нет, он больше не плачет. Сейчас он встанет, соберет вещи и уйдет прочь от нее — в этот злой мир. Уж где-нибудь он спрячется от гестапо, а если его все-таки поймут, что ж, в конце концов, какая разница, ведь он потерял любовь Хете, единственной в его жизни женщины, которую действительно любил.

Да, он хитер, этот многоопытный искуситель женских сердец, этот Энно Клуге. Уж он знает, как их взять за живое, этих баб. И ложь и любовь — все годится. Достаточно, если в этом есть хоть крупинка правды; хоть крупинка вероятности должна быть во всей этой неразберихе, которую он ей наворачивает; а главное — всегда надо держать наготове слезы и беспомощность...

На этот раз фрау Хете слушает его покаяние с искренним страхом. И зачем только он так наврал ей? Ведь когда они познакомились, еще не было никаких причин для нечто этого вранья? Или у него и тогда уже были по отношению к ней свои цели? Но это могли быть только дурные цели, раз они породили столько лжи.

Инстинкт подсказывает ей, что надо выгнать его, что мужчина, способный с первой же минуты, не задумываясь, так обманывать женщину, будет готов и в дальнейшем лгать ей. А жить с лгуном она не может.

Однако весь его рассказ о преследовании гестапо она принимает за чистую монету. Ни даже в голову не приходит усомниться в его правдивости, хотя она сейчас только убедилась, какой Энно лгун.

И потом эта женщина... не может быть, чтобы все сказанное об ней, было неправдой. Такого ни один человек не выдумает, что-нибудь тут должно же быть. Ей кажется, что она все-таки знает этого человека, слабое создание, ребенок, в сущности — не плохой: лаской с ним многое можно сделать. Но эта женщина, ведьма, скареда, эта интриганка, которая с помощью нацистской партии хочет вылезти в люди, для нее такой человек, конечно, ничто, человек, который ненавидит коричневых, может быть, втайне против них работает, человек, который упорно уклоняется от вступления в эту их партию.

Могла ли Хете прогнать его назад к этой женщине? В объятия гестапо?

Нет, не могла, а значит, и не должна была.

Светаёт. И вот он уже стоит возле ее кровати вслишком куцой голубенькой рубашонке, беззвучные слезы текут по его бледному лицу. Он наклоняется над ней и шепчет: — Прощай, Хете! Ты была очень добра ко мне, я не заслужил этого, я дурной человек, прощай! Я пойду...

Но она крепко держит его. Она шепчет: — Нет, ты останешься у меня. Я тебе обещала и сдержу свое обещание. Нот, не спорь, иди теперь, пожалуйста, и постарайся еще хоть немного поспать. А я обдумаю, как все устроить.

Он медленно и печально качает головой: — Хете, ты слишком добра ко мне. Я сделаю все, что ты скажешь, но право же, Хете, лучше позволь мне уйти.

Но он, конечно, не уходит. Конечно, он дает уговорить себя. Она все обдумает, все уладит. Весь окутанный ее материнским теплом, он скоро засыпает, на этот раз без всяких слез.

А она еще долго лежит без сна. Собственно говоря, она всю ночь лежит без сна. Она была так долго одинока. Теперь у нее опять есть существо, о котором она может заботиться. Теперь ее жизнь не лишена всякого содержания. О да, он, может быть, внесет в эту жизнь слишком много забот. Но эти заботы, заботы о человеке, которого любишь, хорошие заботы.

Фрау Хете решает быть сильной за двоих, охранить его от всех опасностей, которыми ему угрожает гестапо. Фрау Хете решает перевоспитать его и сделать из него настоящего человека. Фрау Хете решает отвоевать своего Гэнсхен, — ах, да ведь его же зовут Энно, фрау Хете решает отвоевать его у той женщины, у нацистки. Фрау Хете решает внести в жизнь этого человека порядок и чистоту.

И фрау Хете даже не догадывается, что этот слабый мужчина окажется достаточно сильным, чтобы внести в ее жизнь беспорядок, страдания, сожаления, слезы, опасность. Фрау Хете даже не догадывается, что вся ее сила пошла прахом в то самое мгновение, когда она решила оставить Энно Клуге у себя и защищать его против целого света. Фрау Хете даже не догадывается о том, что и себя, и все это крошечное царство, которое она себе построила, она ставит под угрозу страшной опасности.

ГЛАВА 26

Опасения И Страх

С того вечера прошло две недели. Фрау Хете и Энно Клуге в тесном житье бок-о-бок ближе узнали друг друга. Дело в том, что ему, из страха перед гестапо, нельзя было выходить на улицу. И они жили словно на уединенном острове, только вдвоем. Ни один из них не мог уединиться, не мог уйти и немножко проветриться, встречаясь с другими людьми. Они были вынуждены довольствоваться только друг другом.

В первые дни она не разрешала Энно даже помогать ей в магазине, в эти первые дни, когда еще не была вполне уверена, не бродят ли, крадучись, вокруг дома агенты гестапо. Она потребовала от Энно, чтобы он сидел в комнате тихо, как мышь. Пусть никому на глаза не попадается. И она немного опешила, увидев, с какой готовностью он подчинился подобному требованию, — ведь для нее было бы просто мукой, если бы ее обрекли на подобное праздное сиденье в тесной комнатенке. А он сказал только; — Что ж, ладно, тогда я немножко отдохну и приду и себя.

А что ты будешь делать, Энно? — спросила она. — Ведь день покажется тебе бесконечным, я не смогу очень-то тобой заниматься, а от дум толку мало.

— Делать? — переспросил он с искренним удивлением. — Как делать? Ах да, ты имеешь ввиду работу? — У него уже чуть было с языка не сорвалось, что, по его мнению, с него пока хватит, наработался, но он был с ней еще очень осторожен и поэтому ответил: — Конечно, я бы охотно поработал. Но какую же я могу здесь в комнате делать работу? Вот кабы тут токарный станок стоял, еще

так! И он рассмеялся.

У меня найдется для тебя работа! Посмотри-ка, Энно!

Она принесла большую картонку, наполненную всевозможными семенами. Затем поставила перед ним деревянный подносик для сдачи, какие частенько можно виден, на прилавке магазинов. Она взяла ручку, в которую перо было вставлено обратным концом. Пользуясь этой ручкой как совком, она принялась раскладывать по сортам высыпанную ею на подносик горсть семян. Быстро и ловко сновало перо туда и сюда, отделяло сор, сгребало семя в уголок, снова отделяло, причем Хете говорила: — Это все остатки корма, я их сметала из углов, из лопнувших пакетиков, я все это собирала годами. Теперь, когда с кормом так туго, оно и пригодилось. Я сортирую семена...

— Но зачем же ты сортируешь? Это же чортова работа. Давай его птицам так, они уж сами разберутся!

— И загубят при этом три четверти семян! Или нажрут тех, которые им вредны, и еще подохнут! Нет уж, хоть это и кропотливая работа, а делать ее приходится! Я обычно сажусь за нее вечером и по воскресеньям. Один раз я за воскресенье рассортировала чуть не пять фунтов, это кроме хозяйства! Посмотрим, побьешь ли ты мой рекорд! Ты ведь теперь совершенно свободен, а за этой работой и думается очень хорошо. У тебя наверняка есть о чем подумать. Вот! Так ты все-таки попробуешь, Энно? — Она вложила ему в руку совочек и стала наблюдать, как он берется за дело: — А ты действуешь довольно ловко! — похвалила она его. — У тебя умные руки!

И, через мгновение, добавила: — Только будь внимательнее, Гэнсхен, то есть я хочу сказать Энно. Никак не привыкну! Смотри сюда! Вот эти остренькие блестящие семечки — просо, а это тупое, круглое, черное — это рапс. Их нельзя перемешивать. Подсолнечные семена ты лучше всего выбери сначала руками, так скорее, чем пером. Подожди, я принесу тебе чашки, чтобы сразу ссыпать то, что ты отобрал.

Она изо всех сил старалась обеспечить его работой на предстоящие скучные дни. Но тут забрякал колокольчик на двери магазина, и с этой минуты поток покупателей не прекращался, так что ей удавалось забегать к нему только на минутку. И она не раз заставляла его, когда он грезил о чем-то над подносиком и семенами, или, что было еще хуже, когда он, испуганный скрипом двери, торопился прошмыгнуть обратно на свое рабочее место, словно застигнутый врасплох ленивый ребенок! Она скоро убедилась, что никогда ему не побить ее рекорда в пять фунтов, он и до двух-то не дотягивал. Да и те придется еще раз перебрать самой, так небрежно он их сортирует.

Она была слегка разочарована, но не могла не признать, что он был прав, когда спросил: — Ты мною недовольна, Хете? — потом смущенно добавил: — Но, знаешь, это все-таки не работа для мужчины. Дай мне настоящую мужскую работу и увидишь, как дело пойдет!

Конечно, он прав, и на следующий день она уже не поставила перед ним подносик с семенами. — Сам придумай, как тебе провести день, бедный ты мой! — сказала она, желая его утешить. — Ведь так, верно, ужасная тоска! А может быть, ты что-нибудь считаешь? У меня вон там в шкафу много книг от покойного мужа осталось. Подожди, я сейчас отопрю.

Она оглядывала книжные полки, а Энно стоял позади нее. — Тебя, милый, верно, такие книги не интересуют, да? — Она посмотрела Энно в глаза. — Признаюсь, я и сама и них почти не заглядывала с тех пор, как мой муж умер. Может, неправильно это, и каждому следует интересоваться политикой. Если бы мы все интересовались, когда надо было, так не дошло бы до того, до чего дело дошло при нацистах, Вальтер это всегда говорил. Но я ведь только женщина...

Она смолкла, заметив, что он ее не слушает. — А там внизу несколько романов, это уж мои книги.

Охотнее всего я бы почитал заправский детективный роман с преступниками и убийством, — заявил Энно.

По-моему, здесь нет таких. По вот действительно интересная книга, сколько раз я ее перечитывала: Раабе «Хроника Шперлингсгассе». Почитай, она тебе понравится...

По когда фрау Гэберле позднее вошла в комнату, она увидела, что он не читает книги. «Хроника» лежала раскрытая на столе, он, видимо, даже отодвинул ее от себя.

— Не нравится?

— Ах, знаешь, я не знаю... Там все такие ужасно хорошие люди, а ведь это же скучно. Это душевспасительная книжка, не для мужчин. Нам нужно что-нибудь более волнующее, понимаешь?

— Жаль, — сказала она, — жаль. — И поставила книгу обратно в шкаф.

Теперь ее прямо-таки раздражало, когда она, заходя в комнату, видела, что он сидит все в той же понурой позе и клюет носом или откровенно спит, уронив голову на стол. Или стоит у окна, пристально глядя во двор, тихонько насвистывая все ту же мелодию. Все это очень раздражало ее. Сама она всю жизнь была деятельной — до сих пор, — и существование без работы показалось бы ей лишенным смысла. Лучше всего она чувствовала себя, когда магазин был битком набит покупателями, и она готова была бы, кажется, лоб расшибить, чтобы все были довольны.

А вот этот человек мог стоять, сидеть, лежать десять, двенадцать, четырнадцать часов подряд, и при том ничего не делать, решительно ничего! Ведь он просто крал время у господ бога! И с чего только он такой? Спит достаточно, ест с аппетитом, ни в чем себе не отказывает, а работать не работает! Наконец ее терпенье лопнуло, и она однажды с раздражением сказала: — Хоть бы ты не насвистывал вечно одно и то же, Энно! Ведь ты уже шесть, восемь часов свистишь: «Девочкам пора бай-бай»...

Он смущенно засмеялся. — Тебя раздражает это? Что ж, я могу и другое. Насвистать тебе гимн Хорста Весселя? — И он начал: «Поднимем флаг!»

Не сказав ни слова, она вернулась в магазин. На этот раз он ее не только рассердил, он глубоко оскорбил ее.

Но потом это прошло. Она не была злопамятна, кроме того он и сам почувствовал, что чем-то ей не угодил и, в виде сюрприза, пристроил ей лампу над кроватью. Да, это он тоже умеет; когда он хотел, он работал ловко, но, чаще всего, ему не хотелось.

Впрочем, эти дни заточения в комнате скоро миновали. Фрау Хете убедилась, что вокруг ее дома действительно не бродит никаких шпигов, и Энно было разрешено снова помогать ей в магазине. Правда,

выходить на улицу ему, пока, все же решительно возбранялось, ведь его всегда мог увидеть кто-нибудь из знакомых. Но помогать в магазине — это пожалуйста, и тут он опять-таки оказался очень ловким и полезным. Она вскоре заметила, что если он довольно долго выполняет одну и ту же работу — он быстро устает, поэтому поручала ему то одно, то другое.

Вскоре она допустила его и до обслуживания покупателей. Он умел обращаться с клиентами, был вежлив, расторопен, иногда даже пытался острить.

— А вы удачно выбрали себе помощника, фрау Гэберле, — говорили постоянные покупатели, — родственник?

— Да, двоюродный брат, — врала фрау Хете, счастливая тем, что Энно похвалили.

Однажды она сказала ему: — Энно, я хочу сегодня поехать в Далем, ты же знаешь, там зоомагазин Лэбе закрывается, его призывают, я могла бы купить то, что у него осталось. Он делал большие запасы, нам это было бы сейчас хорошим подспорьем, товару становится все меньше. А как ты, справишься один в магазине?

— Ну, само собой, Хете, само собой. Это для меня сущие пустяки. На сколько же времени ты исчезнешь?

— Видишь ли, я хотела бы выехать сейчас же после обеда, но боюсь, что до закрытия я все-таки не успею вернуться. За одно я бы зашла и к моей портнихе.

— Конечно, зайди, Хете. Я, лично, даю тебе отпуск до полуночи. А насчет магазина не беспокойся. Я тут все проверну в самом лучшем виде.

Он посадил ее в вагон метро. Был полдень, и магазин закрылся на обеденный перерыв.

Она сидела и вагоне метро, улыбаясь своим мыслям, а поезд неслся все дальше. Да, что ни говори, жизнь вдвоем совсем другое дело! Как хорошо, когда вот так работаешь бок о бок. Только тогда и испытываешь настоящее удовлетворение. И он старается, безусловно старается угодить ей. Делает, что может. Конечно, его не назовешь ни особо энергичным, ни даже просто трудолюбивым малым. Когда он слишком набегаются, то уходит в комнату, будь тут покупателей хоть полным полно, и предоставляет ей справляться одной. А случалось и так, что он уйдет в погреб, она зовет его, не дозвется, — оказывается, он сидит на краю ящика с песком и клюет носом, ведро, насыпанное до половины, преспокойно стоит веред ним, а она-то ждет песка уже целых десять минут!

И когда она его раздраженно окликнет: — Энно! Куда ты запропастился? Я тебя жду-жду, просто терпенья нет.

Он вскакивает, как перепуганный школьник: — Задремал я что-то, — пробормочет он смущенно и не спеша досыпет ведро. — Сейчас приду, хозяйшкa, больше это не повторится!

Таковыми шуточками он старается смягчить ее.

Нет, он конечно ни в каком смысле не герой, этот Энно, теперь она его уже раскусила, но он делает, что может. И, кроме того, покладистый, обходительный, ласковый, без особых пороков. А что он курит немного больше чем следует, это она готова ему простить. Она и сама не прочь иной раз покурить, когда очень устанет.

Однако в этот день фрау Хете не повезло с покупками. Когда она приехала в Далем, магазин Лэбе оказался закрытым, и никто не мог ей сказать, скоро ли господин Лэбе вернется. Нет, он еще не взят, но, в связи с призывом, ему надо поспеть в очень много мест. Обычно магазин всегда открыт по утрам с десяти часов — может быть, вы попытаетесь застать его завтра утром?

Она поблагодарила и отправилась к своей портнихе, но перед ее домом фрау Хете испуганно остановилась. Ночью в него попала бомба, от дома остались одни развалины. Люди спешили мимо, одни нарочно отворачивались, не желая видеть ужасов разрушения или боясь, что не в силах будут скрыть своей горечи, другие намеренно замедляли шаг (полиция не разрешала никому останавливаться), рассматривая опустошения с любопытством, с беззаботной улыбкой, а иногда бросая вокруг угрюмые, почти угрожающие взгляды.

Да, Берлин теперь все чаще отсылали в подвалы, и все чаще падали теперь фугаски и эти жуткие термитные бомбы. И люди все чаще повторяли остроту Геринга, что всякий раз, когда над Берлином появляются вражеские самолеты, ему хочется, чтобы его звали Мейер. Прошлую ночь фрау Хете тоже просидела в погребе, одна, так как не хотела, чтобы Энно уже показывался в роли ее друга и сожителя. Она слышала жужжание самолетов над головой, этот изводящий звук, — как будто не смолкая звенит и зудит комар. Взрывов она не слышала, до сих пор ее район щадили.

Фрау Гэберле искала глазами шуцмана, чтобы, спросить, куда делась портниха и не пострадала ли она. К сожалению, шуцман не мог сообщить ей никаких сведений. Не угодно ли даме пройти в полицейский участок или справиться в ближайшем штабе противовоздушной обороны?

Нет, сейчас ей недосуг. Как ни жаль портниху, как ни хочется узнать о ее судьбе, но Хете спешит домой. Когда видишь такое бедствие, всегда хочется поскорее быть дома. Необходимо сейчас же, немедленно, убедиться, что у тебя все в порядке. Это глупо, отлично знаешь, а все-таки едешь. Важно прежде всего своими собственными глазами увидеть, что дома ничего не случилось.

Увы, в ее отсутствие в магазинчике возле Кэнигстор что-то все же случилось. Ничего трагического, конечно, нет, однако это потрясло фрау Хете сильнее, чем почти все пережитое ею за многие годы. Приближаясь к магазину, фрау Хете увидела, что ставни на двери закрыты и висит записка, дурацкая записка, такие заявления всегда возмущали ее: «Сейчас вернусь». И подпись: «фрау Хедвиг Гэберле».

То обстоятельство, что на записке стояло ее имя, что она своим добрым именем прикрывает эту распущенность, это возмутительное разгильдяйство, задело ее, пожалуй, не менее глубоко, чем самый факт, что Энно обманул ее доверие. Ведь он ускользнул в ее отсутствие и вернулся бы, не сказав ей ни слова о том, что обманул ее. И как глупо, как ужасно глупо, что какая-нибудь из ее постоянных клиенток теперь непременно спросит: — Были вчера закрыты? Ездили куда-нибудь, фрау Гэберле?

Она идет черен прихожую к себе в квартиру. Затем открывает ставни, отпирает дверь. Она ждет, чтобы появился первый покупатель, нет, ей сейчас совсем не хочется, чтобы появился он. Совершить такое

предательство у нее за спиной! В течение всей ее жизни с Вальтером ничего подобного не было. Они вполне доверяли друг другу, и никогда ни один из них не обманул это до-верпе. А теперь вон что вышло! И притом она же не дала Энно ни малейшего повода!

Входит первая покупательница, фрау Гэберле занимается с ней, но когда, желая сдать ей с двадцати марок, Хете выдвигает ящик кассы, оказывается, что он пуст. А ведь в кассе было достаточно разменных денег, когда она уезжала, — что-то около ста марок! С трудом овладевает она собой, вынимает деньги из сумки, сдает. Все! Колокольчик на двери магазина звякает.

Да, вот теперь ей хотелось бы запереть магазин и остаться наедине с собой. И, продолжая отпускать покупателей, она вспоминает, что ей за последние дни уже несколько раз казалось, будто денег в кассе немножко нехватает и выручка должна бы быть больше! Но она с негодованием отвергала подобные мысли. Зачем Энно деньги? И потом он же никуда не выходит из дома, он всегда на глазах.

Однако тут ей приходит на ум, что уборная помещается полуэтажом выше, и что он выкурил гораздо больше папирос, чем мог принести в своем чемоданчике. Наверняка он подыскал себе в доме кого-то, кто покупает ему папирсы с рук, не по карточкам. И это все за ее спиной! Какой позор, какая низость! Ведь она любит его, она с удовольствием снабжала бы его папирсами, скажи он хоть слово!

В эти полтора часа до возвращения Энно мучительная борьба происходит в душе фрау Гэберле. За последние дни она уже привыкла к тому, что опять есть мужчина в доме, что она уже не одна и должна заботиться о ком-то, кто ей дорог. Но если этот мужчина таков, каким он сейчас показал себя, тогда она обязана с корнем вырвать эту любовь из своего сердца! Уже лучше одной, чем вечное недоверие, чем мучительный страх! Ей теперь даже нельзя сбегать в зеленую за углом, не опасаясь, что он ее сейчас же опять обманет. Затем она припоминает, что ей не раз казалось, будто и вещи в комод лежат не совсем так, как им полагается лежать. Нет, она должна прогнать его, это необходимо, и сегодня же, как это ни тяжело. Потом будет еще тяжелее.

Но тут ей приходит в голову мысль о том, что ведь она уже стареющая женщина, что, может быть, ей представляется последний случай избежать одинокого вечера жизни. После этой истории с Энно Клуге она едва ли решится сделать еще одну попытку — после этой ужасной, разбившей ей сердце истории с Энно!

— Да, мучные черви опять есть, сколько прикажете, мадам?

За полчаса до закрытия магазина возвращается Энно. В своем смятении она только сейчас вспоминает, что ведь ему и на улице-то никак нельзя показываться при той опасности, которая ему угрожает со стороны гестапо! До сих пор она не подумала об этом — не до того было — она была вся поглощена предательством, которое он по отношению к ней совершил. Но к чему же все эти предосторожности, если он в ее отсутствие просто удрал? А может быть, и насчет гестапо все сплошной обман и ложь? Такой человек на что угодно способен!

Увидев открытую дверь магазина, он, конечно, сообразил, что она уже вернулась. И вот он входит с улицы, вежливо и осторожно пробирается среди покупателей, улыбаясь ей, как будто решительно ничего не случилось, и бросает на ходу, скрываясь за дверью в комнату: — Сейчас приду и подсоблю, хозяйюшка!

И он действительно очень скоро возвращается, а она, чтобы не выдать себя перед покупателями, принуждена разговаривать с ним, давать ему указания, словом, притворяться, будто ничего не произошло. Но теперь все для нее рухнуло! Однако она держит себя в руках, она даже выслушивает его плоские шуточки, которых у него сегодня особенно неисчерпаемый запас, но когда он устремляется к кассе, она резко останавливает его: — Прошу вас, я сама получу.

Слегка вздрогнув, он пугливо покосился на нее — как побитая собака, в точности как побитая собака, думает Хете. Затем его рука скользнула в карман, на лице появились улыбка, ну да, он опять изловчился и отвел удар!

— Рид стараться, хозяйюшка, — говорит он, картавя, и щелкает каблуками.

Покупатели смеются — он такой чудной, этот щуплый человечек, подражающий военным, но ей не до смеха.

Наконец магазин запирается. Еще полтора часа усердно работают они бок о бок, задают корм и убирают — почти в полном молчании, после того как она явно не пожелала отвечать на его шуточки, с которыми он упорно к ней обращался.

И вот фрау Хете уже в кухне, она готовит ужин. На сковороде у нее шипит картошка, аппетитная, вкусная, жареная на свином сале. Сало она выменяла на гарцскую канарейку у одной покупательницы. Она заранее радовалась, что сделает ему сюрприз, угостив таким роскошным ужином, ведь он любит вкусенькое. Картошка уже зарумянилась.

По вдруг Хете гасит газ под сковородой. Вдруг она чувствует, что уже не в силах ждать, не желает больше ждать этого объяснения. Она входит в комнату, прислоняется спиной к печке, выделяясь темной, грузной массой, и спрашивает почти с угрозой. — Ну?

Он сидел, ожидая ужина за столом, который накрыл для двоих, и, по своему обыкновению, насвистывал.

Услышав это грозное «ну», он вздрагивает, встает, исподлобья бросает взгляд на темную фигуру у печи.

— Да, Хете, — отвечает он. — Будем ужинать? Ужасно лопать хочу.

Она готова в ярости избить его, этого мужчину, который воображает, что она так, молча, и простит ему предательство! Ее охватывает небывалый гнев, ей хочется колотить его, трясти, еще и еще! Но она делает над собою усилие и только повторяет свое «ну» — еще грознее.

— Ах, это! — отзывается он. — Ты имеешь ввиду деньги, Хете! — Он лезет в карман и вытаскивает кучу кредиток. — Вот, Хете, тут двести десять марок, а я взял из кассы девяносто две. — Он смеется слегка смущенно. — Надо же и мне что-нибудь внести в хозяйство!

— Откуда у тебя столько денег?

— А сегодня были эти знаменитые скачки в Карльсгорсте. Хорошо, что я еще успел поставить на

Адебара, Адебар-Победа. Ужасно увлекаюсь скачками. Я ведь здорово понимаю в лошадях, Хете. — Он сказал это с совершенно необычайной для него гордостью. — Я не все девяносто две, а только пятьдесят две марки поставил.

— А что бы ты стал делать, если бы лошадь не выиграла?

— Но Адебар непременно должен был выиграть, иначе просто и быть не могло!

— А если бы он все-таки не взял?

И тут-то он наконец чувствует свое превосходство над этой женщиной. Он усмехается, он говорит: — Видишь ли, Хете, ты ведь ничего не понимаешь в скачках, а я все понимаю. И уж если я говорю: Адебар возьмет, и даже рискую поставить на него пятьдесят марок...

Она прерывает его. Она очень резко прерывает его: — Ты моими деньгами рисковал! Если тебе нужны деньги, изволь говорить, ты не за харчи у меня работаешь, но без моего разрешения не смей никогда брать деньги из кассы, понятно?

От этого необычно резкого тона, он снова потерял всякую уверенность. Он жалобно лепечет (и она уже чувствует — сейчас он заревет, и она уже боится этих слез), итак, он жалобно лепечет: — Каким тоном ты говоришь со мной, Хете? Точно я только твой работник! Ну, конечно, я больше не возьму из кассы! Я просто думал, что доставлю тебе удовольствие, если заработаю такие денежки! Раз победа была гарантирована!

Но она не поддается на подобные разговоры. Деньги для нее всегда дело второстепенное, главное — обмануто доверие. А он воображает, будто она из-за денег сердится, вот болван! — Ради этих скачек ты и магазин закрыл? — говорит она с раздражением.

— Да, — отвечает он. — Ведь тебе все равно пришлось бы закрыть его, если бы меня тут не было.

— И ты уже заранее решил, что запрешь, когда я еще уходила?

Да, — отвечает он простодушно. Затем торопливо поправляется: — Нет, конечно, нет, а то я попросил бы у тебя позволения. Мне это пришло в голову только, когда я проходил мимо букмекера — знаешь на Нейе Кэнигштрассе, я шел мимо и прочел объявление, и когда увидел, что Адебар аутсайдер, я тут только и решил.

Так! отозвалась Хете. Она не верила ему. Конечно он все это задумал еще до того, как посадил ее в поезд метро. Она вспомнила, что он сегодня утром особенно долго возился с газетой и потом все что-то высчитывал на бумажке, даже когда уже пришли первые покупатели.

Так! — повторила она еще раз. — И ты преспокойно разгуливаешь по городу, а мы уговорились, что из-за гестапо тебе следует как можно меньше показываться на улице?

Но ведь ты же позволила мне проводить тебя до метро?

Ты был со мной. И потом я же тебе говорила, что это только проба! Это вовсе не значит, что тебе уже можно целый день бегать по городу! Где же ты был?

Ах, просто в маленьком кабачке, я его давно знаю. Туда гестаповцы никогда не заглядывают, там бывают только букмекеры и тототники.

И все они тебя знают! И все они могут раззвонить, — мы, де, видели этого Энно Клуге там-то и там-то!

Но ведь и гестапо знает, что где-нибудь же я есть.

Только где — не знает. А этот кабачок очень далеко отсюда, на Веддинге. И не было там никого, кто мог меня засыпать!

Он говорит убежденно, с жаром. Послушать со стороны — он совершенно прав. И он абсолютно не понимает, как ужасно обманул ее доверие, как жестоко она борется из-за него с собой.

Взял деньги — чтобы доставить ей удовольствие. Закрыл магазин — она тоже бы закрыла его. Отправился в кабачок — но это же далеко, на Веддинге. А что она испугалась за свою любовь, тут он ровно ничего не понял, это ему и на ум не пришло.

— Значит тебе, Энно, — спрашивает она, — больше нечего на этот счет сказать, или есть?

— Да что ж мне еще говорить, Хете? Я вижу, ты страшно сердита, но я, право, не вижу, чем я уж так провинился?

И вот они все-таки, эти слезы, которых она так опасалась! — Ах, Хете, не сердись больше на меня! Обещаю, что буду у тебя всегда заранее спрашиваться! Только не сердись на меня. Иначе я просто не выдержу...

Но на этот раз не помогли ни мольбы, ни слезы. Что-то в них звучало фальшиво. Почти брезгливость вызывал в ней этот всхлипывающий мужчина. — Все это я должна еще хорошенько обдумать, Энно, — сказала она, не сдаваясь. — Ты, видно, даже вот настолько не понимаешь, как ты обманул мое доверие!

И она прошла мимо него в кухню, чтобы дожарить картошку. Итак, объяснение между ними состоялось. А что оно дало? Разве оно определило их отношения? Разве помогло что-нибудь решить?

Нисколько! Оно только показало ей, что этот человек совершенно не способен почувствовать свою вину. Что он беззащитно лжет, когда этого, по его мнению, требуют обстоятельства, причем он готов лгать каждому, ему решительно все равно.

Нет, не такого мужчину ей нужно. С ним необходимо покончить. Правда, сегодня вечером она уже не может выгнать его на улицу — это ясно. Ведь он даже и не понимает, в чем его преступление! Он точно щенок, который изгрыз пару башмаков и не догадывается, за что его выдрал хозяин.

Нет, один-два дня она должна ему дать, чтобы он подыскал себе другую квартиру. А если он попадет в когти гестапо, что ж, она с этим не посчитается. Ведь не посчитался он с ней из-за каких-то своих скачек. Нет, она должна от него освободиться, никогда больше не сможет она отнестись к нему с доверием. Ей суждено жить в одиночестве до самой смерти! И от этой мысли ей становится страшно.

Однако, несмотря на этот страх, она после ужина говорит ему: — Я все обдумала, Энно, мы должны расстаться. Ты приятный мужчина, ты милый мужчина, но мы смотрим на жизнь слишком по-разному, и, в конце концов, мы никогда не споемся.

Оцепенев, он смотрит на Хете, которая, словно в подтверждение своих слов, стелит ему на диване. Сначала он ушам своим не верит, затем жалобно начинает ныть: — Господи, ведь ты, конечно, говоришь

это не всерьез, Хете! Мы так крепко любим друг друга! Ты же не захочешь выгнать меня на улицу, прямо в руки к гестаповцам!

— Ах! — восклицает она и, чтобы успокоить себя, Добавляет: — И насчет гестапо все это наверно тоже не так уж страшно. Иначе разве ты бегал бы по городу чуть не весь день?

Но тут он опускается на колени. Да, он на коленях подползает к ней. От страха он совсем обезумел.

— Хете! Хете! — молит он и начинает — рыдать. — Ты хочешь убить меня? Куда я пойду? Ах, Хете, пожалей меня хоть чуточку, я такой несчастный!

Мольбы и крики — жалкая, визжащая от страха собачонка.

Он силится обнять ее ноги, хватая за руки. Она спасается от него в спальню, запирает дверь на ключ. Но всю ночь слышит она, как он все вновь и вновь толкает дверь, нажимает на ручку, хнычет и клянчит.

Она лежит неподвижно. Она собирает все свои силы, чтобы не размякнуть, не уступить нытью за дверь. Она остается твердой в своем решении больше не жить с ним.

За завтраком они сидят друг против друга, бледные, замученные этой ночью без сна. Они почти не разговаривают. Они делают вид, будто объяснения и не бывало.

Но теперь он поставлен в известность, думает она, и если он сегодня не подыщет себе комнату, завтра вечером ему придется выкатываться отсюда. Расстаться необходимо!

О да, фрау Гэберле не только мужественная, но и добропорядочная женщина! И если она своего решения все же не выполнит, если она этого Энно все-таки не оттолкнет от себя, то это будет зависеть не от нее, а от людей, которых она пока еще даже не знает. Например, от комиссара Эшериха и от господина Боркхаузена.

ГЛАВА 27

Эмиль Боркхаузен Становится Нужным

В то время как Энно Клуге и фрау Гэберле налаживали совместную жизнь, которая так быстро снова разладилась, комиссару Эшериху пришлось пережить тяжелые дни. Он решил не скрывать от своего начальника Пралю то обстоятельство, что Энно Клуге ускользнул от своих соглядатаев и без следа исчез в широком море столицы.

Комиссар Эшерих покорно выслушал всю ту брань, которой его осыпало начальство по случаю его признания: он, де, идиот, бездарь, его посадить надо, такую шляпу, за целый год не сумел поймать какого-то дурацкого писаку с его открытками!

Наконец-то попал на след — и упустил негодяя! Просто болван, вот он кто! По правде говоря, комиссар Эшерих — пособник государственной измены, и с ним будет поступлено соответствующим образом, если он в течение недели, начиная с этого дня, не доставит обергруппенфюреру Пралю исчезнувшего Энно Клуге.

Да, комиссар Эшерих смиренно выслушал все эти оскорбления. Но они возымели на него странное действие: хотя он отлично знал, что Энно Клуге решительно никакого отношения к открыткам не имеет, что он не мог бы ни на один шаг приблизить комиссара к выяснению истинного виновника, вопреки всему этому, внимание Эшериха почти целиком сосредоточилось теперь на поисках именно этого ничтожества, этой мрази. Да и в самом деле, разве не обидно, что какой-то клоп, пользуясь которым он надеялся морочить голову своему начальнику, проскользнул у него между пальцев! За истекшую неделю невидимка оказался особенно деятельным: целых три его открытки поступили на письменный стол комиссара. Но впервые, за все время, что Эшерих обрабатывал это дело, он вдруг потерял интерес и к пишущему и к открыткам. Он даже забыл отметить флажком на плане города Берлина те точки, где они были найдены.

Нет, сначала он должен заполучить в свои руки Энно Клуге, и комиссар Эшерих действительно приложил небывалые усилия к тому, чтобы откопать этого человека. Он даже съездил под Руппин, к Эве Клуге, запасшись на всякий случай ордером на арест и жены и мужа. Однако он вскоре убедился, что эта женщина и в самом деле теперь решительно ничего общего с Энно не имеет и что о его жизни за последние годы ей известно весьма немного.

А что было известно, то она комиссару рассказала и без особой готовности, но и без неохоты, а вполне равнодушно. Она и была, видимо, совершенно равнодушна к участи мужа, к тому, что он совершил и чего не совершил. Комиссар услышал от нее только названия нескольких кабачков, которые посещал раньше Энно Клуге, узнал об его страсти к тотализатору, а также получил адрес некой Тутти Гебекрейц, от которой однажды на квартиру Эвы пришло письмо. В этом письме Гебекрейц обвиняла Энно Клуге в том, что он стянул у нее деньги и продовольственные карточки. Нет, когда фрау Клуге в последний раз видела Энно, она не передала ему письма и не говорила о нём. Только адрес случайно запомнился ей, ведь у почтальонов особая память на адреса.

Вооружившись этими данными, комиссар Эшерих вернулся в Берлин. Верный своему основному правилу — задавать вопросы, но на вопросы не отвечать и не распространять никаких сведений, он воздержался от всякого намека на следствие, которое уже велось в Берлине против фрау Эвы Клуге. Материал он получил, конечно, мизерный, все же начало положено, найден, так сказать, след следа, и он мог, по крайней мере, показать этому Пралю, что комиссар не просто ждет, он действует. Ведь только это было важно для господ начальников, даже если действия были инсценировкой, как было инсценировкой и все дело Клуге. Но просто ждать — этого они не могли вынести.

Посещение Тутти Гебекрейц не дало никаких результатов: с Клуге она познакомилась в кафе, знает, где он работал. Он дважды жил у нее недели по две, по три, да, верно, она писала ему насчет денег и карточек. Но во время своего вторичного посещения, он всю эту историю выяснил, вором оказался другой жилец, не он.

Потом Энно опять смылся, не сказав ей ни слова, наверно, к какой-нибудь женщине, это его манера. Нет, у нее с ним, конечно, никогда ничего не было. Нет, она понятия не имеет, куда он переехал. Но не в этом районе, наверняка, иначе она давно бы о нем слышала.

Действительно, в обеих кабачках его знали просто как Энно. Его что-то давно не видно, но обычно он, в конце концов, все-таки появляется. Конечно, господин комиссар, мы и виду не подадим. Мы же солидные люди, у нас только порядочные посетители бывают, которые интересуются благородным скаковым спортом. Как только он появится, мы сейчас же дадим вам знать. Хейль Гитлер, господин комиссар!

Комиссар Эшерих мобилизовал десяток агентов, они должны были расспрашивать насчет Энно Клуге у всех букмекеров и во всех кабачках и пивных северного и западного районов Берлина. И вот, в то время как он ожидал результатов этого демарша, с ним приключилась вторая неожиданность: ему вдруг стало казаться, что все же не совсем исключена возможность какой-то связи между открытками и Энно Клуге. Какая-то чортова путаница вокруг этого субъекта. Открытка, найденная у врача; жена, вначале нацистка, а затем вдруг ее просьба о разрешении выйти из партии — видимо сын эсэсовец что-то натворил, что матери пришлось не по вкусу. Может быть, этот Энно Клуге гораздо хитрее, чем предполагал комиссар, может быть он не только открытки подбрасывал, на его совести наверное есть еще что-нибудь похуже. Того же мнения был и сотрудник уголовного розыска Шредер, вместе с которым комиссар для освежения памяти еще раз обстоятельно перетряс все это дело. И Шредеру кажется, что с этим Клуге действительно не все в порядке, он что-то скрывает, ну, посмотрим, скоро что-нибудь да выяснится. У комиссара тоже было такое предчувствие, а в подобных делах предчувствие обманывает его очень редко.

На этот раз оно, действительно, не обмануло его. Однажды в эти дни, полные тревог и волнений, комиссару доложили, что некий Боркхаузен желал бы с ним поговорить.

Боркхаузен? спросил себя комиссар Эшерих. Боркхаузен? Кто же это — Боркхаузен? Ах, знаю, этот паршивый доносчик, который за грош собственную мать продаст.

И сказал вслух: — Пусть войдет. — Но когда Боркхаузен вошел, комиссар заявил: — Если вы намерены опять насчет Перзике трепаться — можете повернуть оглобли!

Боркхаузен посмотрел в упор на комиссара и промолчал. Было ясно, что он намерен говорить именно о Перзике.

— Ну? — сказал комиссар. — Отчего вы не поворачиваете, Боркхаузен?

— А все-таки это Перзике стащил радио у Розен-тальши, господин комиссар. Я теперь наверняка знаю, я...

— У Розентальши? — спросил Эшерих. — Это та старая еврейка, которая на Яблонскиштрассе из окна выпрыгнула?

Она! — подтвердил Боркхаузен. — А радио он у нее просто напроосто спер, то есть она-то уже была мерт-вая, а у нее из квартиры...

Знаете, что я вам скажу, Боркхаузен? — заявил комиссар. Я уже говорил об этом деле с комиссаром Рушем. Если вы все таки не прекратите эти кляузы, вы отсюда вылетите в два счета. Мы не желаем больше слышать об этой истории, тем более от вас! Вы меньше, чем кто либо, имеете право ковыряться в этом деле. Да, вы, Боркхаузен!

Но ведь он же спер радио... — снова начал Боркхаузен с тем тупым упорством, которое рождается только из слепой ненависти. — Раз я могу это на все сто доказать...

А ну-ка, выметайтесь отсюда, Боркхаузен, не то я прикажу спустить вас в подвал, вот тут под нами!

Тогда я пойду в управление на Алекс! — заявил Боркхаузен, он был глубоко обижен. — Правда есть правда, и воровство есть воровство...

Но Эшериху пришло на ум другое, а именно — дело невидимки, почти неустанно занимавшее его мысли. Он уже вовсе не слушал этого идиота. — А скажите-ка, Боркхаузен, — начал он, — вы ведь знаете пропасть людей и часто бываете в кабачках. Не знаете ли вы некоего Энно Клуге?

Боркхаузен, почуявший новое поручение, все еще обиженно ответил: — Некоего Энно я знаю. А что кроме того его фамилия — Клуге — это мне неизвестно. Я всегда считал, что Энно и есть его фамилия.

— Такой тихий, бледный, дохлый, плюгавый такой, мямля.

— Это и к моему подходит, господин комиссар.

— Светлое пальто, коричневая клетчатая спортивная кепка?

— Да, тоже.

— Вечные истории с женщинами?

— Насчет историй с женщинами у моего мне ничего неизвестно. Там, где я видел его, бабы не бывают:

— Мелкий игрок на скачках?

— Подходит, господин комиссар.

— Бывает в кабачках: «Второй заезд» и «Перед стартом?»

— Он самый, господин комиссар. Ваш Энно Клуге и есть мой Энно!

— Его-то вы и должны мне откопать, Боркхаузен! Бросьте вы всю эту чепуху насчет Перзике, ни до чего, кроме концлагеря, она вас не доведет!.. Лучше вынюхайте-ка вы мне, где он, этот самый Энно, обретається!

— Неужели он для вас такая находка, господин комиссар? — негодуяще воскликнул Боркхаузен. — Это же мразь! Просто одно недоразумение. На что вам такой идиот, господин комиссар?

— Уж это мое дело, Боркхаузен! Если я через вас раздобуду этого Клуге, считайте, что вы заработали пятьсот марок!

— Пятьсот марок, господин комиссар? Да мой Энно не то что пятисот, а и десяти не стоит. Тут, должно быть, ошибка!

— Может быть, здесь действительно ошибка, но вас это абсолютно не касается. Вы ваши пятьсот марок получите и в том, и в другом случае.

— Ну что ж! Раз вы обещаете, господин комиссар, я погляжу, как бы мне этого Энно нащупать. Но я вам его только покажу, я не приведу его сюда. С таким типом я и разговаривать-то не хочу!

— Да что такое было между вами? Обычно, ты не очень разборчив, Боркхаузен! Наверняка вы с Клуге чего-нибудь не поделили! Но я не намерен разгадывать ваши драгоценные тайны, катись, Боркхаузен, и добудь мне Клуге!

— Я хотел еще попросить у вас авансик, господин комиссар, нет, не аванс, — поправился он, — а немножко денег на расходы.

— Какие же у тебя могут тут быть расходы, Боркхаузен? Интересно знать!

— Мне придется ездить на трамвае, торчать в кабачках, там раздавишь баночку, там бутылочку, а все вместе — все-таки сумма, господин комиссар. Но я считаю, что пятидесяти марок хватит.

— Ну, конечно, если появляется великий Боркхаузен, все так и ждут, что он будет сорить деньгами! Дам я тебе десять марок и срочно выкидывайся отсюда. Воображаешь, у меня есть время с тобой тут канительиться?

Боркхаузен действительно считал, что этакому вот комиссару только и дела, что выжимать из людей их секреты и заставлять других работать вместо себя. Однако он поостерегся высказать подобную мысль. Он наконец пошел к двери, сказав: Но если я вам раздобуду Клуге, вы должны помочь и мне насчет Перзике. Это семейство у меня вот где сидит!

Одним прыжком Эшерих нагнал его, схватил за плечо и поднес кулак к его носу.

— Вот это видишь? — заорал он в бешенстве. — По-пробовать захотел, пес поганый? Еще одно слово о Перзике, и я тебя отправлю вниз, хотя бы тут все Энно Клуге в мире бегали на свободе!

И он наподдал оторопевшему шпику в зад коленкой с такой силой, что тот как пуля вылетел в коридор. И надо же было, чтобы Боркхаузен налетел на ординарца-эс-эсовца, который также весьма энергично дал ему пинка...

Шум, вызванный этой расправой, привлек внимание двух часовых на площадке лестницы. Они подхватили еще не опомнившегося Боркхаузена и сбросили его с лестницы, словно мешок с картошкой, не разбирая, где голова, где ноги, как пришлось.

И когда Боркхаузен остался лежать внизу, постанывая, слегка окровавленный, правда немного, и еще оглушенный паденьем, его схватил за воротник следующий часовой и, крикнув: — Ты что же, свинья, нам тут чистый пол мараешь? — поволок к дверям и вышвырнул на улицу.

Комиссар Эшерих с удовольствием наблюдал первые этапы этого вынужденного полета, пока Боркхаузен не исчез за поворотом лестницы.

Прохожие на Принц-Альбрехтштрассе боязливо отводили взгляд от валявшегося на мостовой человека, ибо отлично знали, из какого именно страшного учреждения он выброшен. Может быть, и посмотреть-то с жалостью на такого беднягу — уже преступление, а о помощи никто не смел и помыслить.

Часовой же, который снова тяжелым шагом вышел на подъезд, заявил: — Если ты, свинья, сию минуту не уберешься и будешь нам фасад портить, я тебя заставляю встать, да еще как!

Это подействовало. Боркхаузен принудил себя подняться и шатаясь побрел домой; все тело ныло, ноги отяжелели. Но втайне его снова жгли бессильная ненависть и гнев, и эта жгучая ненависть была мучительнее, чем боль от ушибов. Он твердо решил, что ради негодяя-следователя пальцем не шевельнет, пусть сам ищет своего Энно Клуге.

Однако на другой день, когда гнев его несколько утих и снова заговорил голос благоразумия, он сказал себе, что, во-первых, десять марок от комиссара Эшериха он получил, и их придется отработать, иначе ему не миновать обвинения в вымогательстве. Во-вторых, вообще не следует ссориться с такими высокопоставленными господами. Ничего не поделаешь, у них власть, и маленькому человеку приходится покоряться. Вчера при его изгнании, в конце концов, ему просто не повезло. Не налетел он на ординарца, все сошло бы довольно сносно. Эсэсовцы видели в этом просто веселую шутку, и если бы при Боркхаузене с кем-нибудь обошлись так же, он тоже от души посмеялся бы, — например, если бы вышвырнули Энно Клуге.

Да, вот и третья причина, по которой Боркхаузен предпочел все же выполнить задание: так он сможет напакастить и Энно Клуге, который своим дурацким коньком сорвал им тогда все их ловкое дельце.

Таким образом Боркхаузен, хотя у него еще и ломило кости, но уже прибодрившись, отправился в те два кабачка, которые ему называл комиссар Эшерих, и еще в некоторые другие. Он не расспрашивал хозяев насчет Энно, он просто, стоя у стойки, валял дурака и медленно тянул чуть не час одну кружку пива, рассуждая даже о лошадях, относительно которых, благодаря вечному подслушиванию, все же кое-что знал (будучи при этом, однако, совершенно свободен от всякой страсти к игре), и затем отправлялся в следующий кабачок, чтобы там проделать в точности то же самое. Он был терпелив, этот Боркхаузен, он мог так проводить целые дни, ему хоть бы что.

Однако, на этот раз, особого терпенья не потребовалось, ибо уже на второй день он увидел Энно в кабачке «Второй заезд». Боркхаузен оказался свидетелем торжества плюгавого Клуге по случаю победы Адебара и испытал мучительную зависть к удаче этого идиота Энно, которому так непростительно везло; кроме того его уди-вило, что Клуге дал букмекеру бумажку в пятьдесят марок. Уж, конечно, не трудовым потом она добыта, это Боркхаузен сразу учуял. Наверняка к кому-нибудь пристроился этот пролаза, этот паршивец!

Вполне понятно, что господин Боркхаузен и господин Клуге друг с другом не знакомы, они даже не видят друг друга. Уже менее понятно, что хозяин кабачка не позвонил комиссару Эшериху, хотя и обещал твердо. Но и это и порядке вещей: люди боятся гестапо, живут в постоянном страхе перед ним, однако совсем другое дело — оказывать ему содействие. Нет, они, конечно, не предостерегли Энно Клуге но, во всяком случае, они его не выдали.

Однако комиссар Эшерих не забыл об этом невыполненном обещании. Он сообщил в соответствующее место, после чего на хозяина кабачка была составлена карточка, где стояло слово «ненадежен». И рано или поздно настанет день, когда Эшерих покажет ему, что это значит, — если гестапо считает тебя ненадежным.

Боркхаузен первый вышел из кабачка. Далеко он однако, не отошел, а устроился за столбом для афиш и принялся спокойно и весело ожидать появления Клуге.

Боркхаузен был из тех шпики, которые не так-то легко теряют из вида свою жертву, а уж такую жертву — и подавно. Он даже изловчился и втиснулся в тот же вагон метро, что и Энно. Хотя Боркхаузен был

высок как жердь, Энно не заметил его.

Энно Клуге думал только о своей удаче с Адебаром и о хрустящих кредитках, которыми наконец-то опять были полны его карманы, а затем начал думать и о Хете, у которой ему жилось ведь очень хорошо. С любовью, растроганный, вспоминал он эту добрую стареющую расплывшуюся толстуху, но он и не вспомнил о том, что всего несколько часов назад обманул ее и обокрал.

Правда, когда Энно, дойдя до магазина, увидел, что он открыт и Хете в нем действует, причем наверняка очень сердится на то, что он удрал, — его хорошее настроение слегка испортилось. Но с тем фатализмом, с каким люди подобного склада покоряются даже самой тягостной неизбежности, вступил он в зоомагазинчик и пошел навстречу грозе. И если, занятый своими мыслями, он отнесся с недостаточным вниманием к тому, что за ним следуют по пятам, то в этом не было ничего удивительного.

Боркхаузен видел, как Клуге скрылся в магазине. Сыщик притаился в подворотне соседнего дома, решив, что Клуге намерен в магазине что-то купить и сейчас же опять появится. Однако покупатели входили и выходили, — и Боркхаузен уже начинал нервничать. Неужели он прозевал, когда Энно вышел; а как же тогда эти пятьсот монет, которые все равно, что лежали у него в кармане?

Но вот с шумом захлопнулись ставни, и теперь уже — не оставалось сомнений: этот тип каким-то образом смылся. Может быть, он все же почуял своего преследователя, под каким-нибудь предлогом прошел через магазин в дом и снова вышел парадным?

Боркхаузен проклинал себя за свою неосмотрительность — как это можно было оставить без наблюдения! парадный вход? Все время пялился только на дверь магазина, осел этакий! Правда, не исключена возможность, что завтра или послезавтра он опять встретит Энно в кабачке. Ведь теперь, когда тот так здорово хапнул на Адебаре, страсть! к игре будет все время зудить его. Энно живо спустит свои денежки.

Направляясь домой, Боркхаузен все же прошел вплотную мимо зоомагазинчика. И вдруг он увидел через витрину (ставень закрывал только дверь), что внутри горит маленькая лампочка, и когда он прижался лицом к стеклу, вглядываясь в глубь магазина поверх аквариумов и сквозь прутья клеток, он увидел, что там еще возятся две человеческие фигуры: стареющая женщина в самом опасном возрасте — это он сейчас же определил — и рядом с ней его дружок Энно. Энно в жилете и синем фартуке, Энно, который усердно засыпает зерно в кормушки, наливает воду, чистит клетки!

И что за сласть такая в этом идиоте! Чем он так приманивает женщин? Вот он, Боркхаузен, так и засел со своей Отти и пятью сорванцами, а этакий старый бандит, видишь, как словчился: захватил сразу целый магазин — с женщиной, рыбой и птицей.

Боркхаузен презрительно плюнул. И что это за дурацкая свинская жизнь, при которой у него, Боркхаузена, все приятное отнимается и само собой лезет в руки такому вот кретину?

Но чем дольше подглядывал Боркхаузен, тем яснее ему становилось, что эта пара там внутри отнюдь не пленена чарами любви. Напротив, они едва разговаривают, почти не смотрят друг на друга и очень возможно, что этот мозгляк Энно Клуге здесь просто на положении работника, который всего лишь помогает хозяйке при уборке магазина. Тогда он должен через некоторое время все же выйти из этого дома.

Поэтому Боркхаузен снова возвратился на свой наблюдательный пункт в подворотне. Магазин уже закрыт, и Энно, очевидно, выйдет через парадное, так что Боркхаузен поглядывал и на входную дверь. Однако вот и свет в магазине погас, а Клуге все нет. Тогда Боркхаузен отважился на смелый шаг. Рискуя столкнуться с Энно в подъезде, он вошел в дом.

Сначала он отметил себе имя «Х. Гэберле», а затем, крадучись, выскользнул во двор. Тут-то ему и подвезло, — они уже зажгли свет в комнате, хотя еще едва смеркались, — и Боркхаузен, заглянув в щель, оставленную не вполне опустившейся шторой, увидел всю комнату как на ладони. Однако увиденное там до того поразило его ... ему даже страшно стало.

В комнате стоял на коленках его дружок Энно, и на коленках же ползал за женщиной, которая, испуганно подобрав платье, шаг за шагом от него отступала. Эннохен же протягивал к ней ручки, он, видимо, плакал, жалобно всхлипывая.

Но дверь за женщиной захлопнулась, и Энно остался перед дверью, он дергал ручку вверх и вниз, видимо продолжая канючить и умолять.

Может они поссорились, подумал Боркхаузен. А какое мне дело? Во всяком случае, на ночь он здесь останется.

Энно Клуге стоял теперь перед своим диваном. Лицо его дружка было видно Боркхаузену совершенно ясно. И лицо это было сейчас поистине удивительно. Кажется, он только что ныл и хныкал, а теперь негодяй усмехается, посмотрит на дверь и опять усмехается...

Значит, он перед старухой только комедию ломал! В таком случае, молодой человек, желаю успеха! Боюсь только, как бы Эшерих не испортил тебе всю музыку!

Клуге закурил папироску. Затем направился прямо к окну, в которое подсматривал сыщик. Тот испуганно отпрянул — штора, развернувшись, упала донизу, и Боркхаузен мог спокойно покинуть на эту ночь свой наблюдательный пост. Ждать сегодня важных событий уже нечего, во всяком случае он их не увидит. Но по крайней мере этой ночью Энно никуда не денется.

Собственно говоря, Боркхаузен условился с Эшерихом, что как только обнаружит Энно, то сейчас же позвонит комиссару, будь то день или ночь. Но чем дальше Боркхаузен уходил во мраке ночи от Кэнигстор, тем сильнее начинал сомневаться в том, что такой поспешный звонок при данных обстоятельствах действительно самое правильное и самое для него выгодное. Боркхаузену пришло на ум, что ведь в этом деле есть две стороны, и что он мог бы извлечь выгоду из обеих.

Деньги от Эшериха обеспечены, отчего бы не сделать попытку выжать кое-что и из Энно? Ведь Боркхаузен видел у него в руках бумажку в пятьдесят марок, а благодаря победе Адебара он их приумножил до двухсот с лишним — так почему же ему, Боркхаузену, тоже не пожить этими

денежками? Эшерих ничего при этом не теряет, он получит своего Энно, и Энно тоже ничего не теряет, в гестапо у него все равно отберут деньги. Вывод?

И потом имеется еще толстуха, перед которой Энно так смешно елозил на коленках. У нее наверняка есть деньги, может быть, целая куча. Ее торговля как будто идет хорошо, товару осталось еще много, на отсутствие покупателей ей, видимо, жаловаться нечего. Правда, хныканье и ползание Энно показывает, что эта пара спелась далеко не во всем — допустим, но разве женщина так вот, собственными руками, и выдаст гестапо своего любовника, пусть даже отвергнутого? Тот факт, что старуха, невзирая на разрыв, все же держит у себя этого Энно и ему даже постельку постелила на диване, доказывает, насколько он ей все-таки не безразличен. А если этот старый кочет ей еще не безразличен, то она и денежки выложит, может быть, не бог весть сколько, но выложит. И это небольшое Боркхаузен отнюдь не желает упустить из своих рук.

Когда Боркхаузен обдумывал этот план, а он не раз обдумывал его и на пути домой, и ночью, лежа рядом со своей Отти, его сердце начинало ныть от страха, ибо он понимал, что махинация, которую он затеял, дело довольно рискованное! Эшерих уж, конечно, не потерпит своеволия, все они такие, эти господа гестаповцы, для них проще простого — отправить человека в концлагерь. А перед концлагерем Боркхаузен испытывает непреодолимый ужас.

Все же он до того заражен преступными помыслами окружающих его людей и их особой моралью, что упрямо твердит себе: если дело можно повернуть, так его и надо повернуть, тут не может быть двух мнений. А эту штуку насчет Энно повернуть безусловно можно, решает Борк-хаузен, утро покажет, заявится ли ему прямо к Эшериху, или сначала наведаться к Клуге. Сейчас он хочет спать...

Однако он не заснул, а принялся думать о том, что одному с таким делом не справиться. Ведь тут уж надо бу-дп везде поспевать. Отправится он, скажем, к Эшериху, а Энно Клуге останется в это время без надзора, или возь-мет в оборот толстуху, а Энно смоемся. Нет, одного тут мало. Но не было второго, которому он мог бы доверять, и кроме того второй потребует участия в прибылях. Борк-хаузен же не признавал никаких дележек.

Наконец сыщик сообразил, что среди его пяти сорванном, имеется также сын тринадцати лет, может быть, действительно его собственный сын. Ему всегда казалось, что этот парнишка с изысканным именем Куно-Дитер мог бы быть и его родным сыном, хотя Отти упрямо настаивала на том, что он от некоего графа, крупного померанского помещика. Но Отти известная шантажистка, о чем свидетельствует уже одно имя мальчика — по предполагаемому отцу.

С тяжелым вздохом Боркхаузен все же решает прихватить с собой мальчишку в качестве запасного наблюдателя. Это обойдется недорого — небольшой скандалчик с Отти и несколько марок парню. Затем мысли Боркха-узена пошли кружить и путаться и, в конце концов, он все-таки заснул.

ГЛАВА 28

Удачный Маленький Шантаж

Мы уже сообщали, что в то утро фрау Хете Гэберле и Энно Клуге, не сказав друг другу почти ни слова, вместе позавтракали и начали работать в магазине, бледные от бессонной ночи и поглощенные своими мыслями. Фрау Гэберле думала о том, что завтра же непременно надо выставить Энно, а Энно — о том, что он ни в каком случае не даст себя выставить.

Эту тишину, как первый вестник тревоги, нарушил неведомый верзила; войдя, он заявил фрау Гэберле: — Послушайте-ка, у вас там на витрине попугай. Сколько стоит парочка? Но только непременно самца и самку, я всегда за парочки... — Тут Боркхаузен сделал крутой поворот и с притворным удивлением, причем явно подчеркивая эту притворность, воскликнул, обращаясь к Энно, как раз пытавшемуся ускользнуть в комнату за магазином: — Оказывается, это все-таки ты, Энно! А я-то говорю себе, я гляжу, я раздумываю — не может быть, чтобы это был Энно, чего ему тут делать, в такой зоолавчонке? И оказывается, все-таки ты, земляк!

Энно, уже взявшийся за дверную ручку, так и окаменел на месте, не в силах ни удрать, ни ответить.

Фрау Гэберле усталилась во все глаза на верзилу, столь приветливо обращавшегося к Энно, губы ее дрожали, ноги подкашивались. Так вот она все-таки эта опасность, значит, Энно ни в чем не солгал ей, рассказывая о преследовании гестапо. Ибо в том, что этот человек с трусливым и наглым лицом — шпион гестапо, в этом она не сомневалась ни одного мгновения.

Но теперь, когда опасность стала действительностью, дрожало только тело фрау Хете. Дух ее был спокоен, и дух этот говорил: сейчас, в минуту опасности, ты не имеешь права бросить Энно на произвол судьбы, какой он там ни на есть.

И сказала фрау Хете человеку с колющими и бегающими глазами, она сказала этому человеку, который явно был переодетым полицейским: — Может быть, выпьете чашечку кофе с нами? Кстати, как вас зовут?

— Боркхаузен, Эмиль Боркхаузен, — представился шпик. — Я старинный приятель Энно по спорту. Что вы скажете, фрау Гэберле, насчет того, как он вчера вечером здорово хапнул на Адебаре? Мы встретились с ним в беговом кабачке — разве он вам не рассказывал?

Фрау Хете бросила быстрый взгляд на Энно. Он всё еще стоял, держась за ручку двери, в той же позе, в какой его- застиг приятельский оклик Боркхаузена. Энно казался теперь воплощением беспомощного страха; нет, он ничего не сообщил ей об этой встрече, со старым знакомым, он даже уверял, что никаких знакомых не видел, значит, он опять-таки налгал ей — и очень во вред себе, ибо теперь вполне ясно, каким образом этот шпик установил, что Энно прячется у нее. Скажи он тут же вчера вечером об их встрече, его еще можно было бы куда-нибудь отправить...

Но сейчас не время препираться с Энно Клуге и упрекать его за ложь. Сейчас время действовать. И поэтому она повторила: — Так давайте выпьем чашечку кофе, господин Боркхаузен, в эти часы покупателей бывает не так много. Ты, Энно, присмотри в магазине, а мы с твоим другом потолкуем...

Фрау Хете уже не чувствовала дрожи в теле. Она *помнила* только об одном, как тогда все это вышло с

ее Вальтером, и воспоминания придали ей силы. Она знала, что таких людей, как этот шпик, не проймешь ни слезами, ни жалобами, ни призывами к состраданию, у них нет сердца, у этих поставщиков для виселиц Гитлера и Гимmlера. А если и можно тут чего-нибудь добиться, для этого надо быть смелой, не струсить, ни в каком случае не пугаться.

Ведь они воображают, что все немцы такие же трусы, как Энно, но она не такая, нет она, фрау Хете, не такая.

И вот она своим спокойствием добилась того, что оба они беспрекословно ей подчинились. Уходя в комнату, она добавила: — И никаких глупостей, Энно! Не вздумай удрать — это бессмысленно! Не забудь, что твое пальто висит в комнате, и денег у тебя в кармане, наверное, тоже нет.

— Вы разумная женщина, — заявил Боркхаузен, усаживаясь за стол и глядя, как она наливает ему чашку кофе. — И вы решительная женщина, а я бы ни за что не подумал, когда вчера вечером вас в первый раз увидел.

Их взгляды встретились.

— Хотя, конечно, — торопливо добавил Боркхаузен, — вчера вечером вы тоже вели себя решительно, когда он елозил перед вами на коленках, а вы захлопнули дверь у него перед носом. Вы, верно, всю ночь так и не отперли ее, или...

При этом бесстыдном намеке щеки фрау Хете чуть порозовели, значит, вчерашняя постыдная и гнусная сцена имела даже свидетеля, и притом такого отвратительного! Но она быстро овладела собой и сказала: — Я полагаю, что и вы человек разумный, господин Боркхаузен, поэтому давайте не будем говорить о вещах второстепенных, а только о деле. Я полагаю, что у нас с вами может получиться деловой разговор.

— Может быть... может быть, конечно, — поспешил согласиться Боркхаузен, невольно оробев перед темпами, какие развивала эта женщина.

— Итак, вы хотите, — продолжала фрау Хете, — купить пару попугаев, полагаю, чтобы их потом выпустить на волю? Ведь если попугаи будут и дальше сидеть в клетке, им от этого никакой пользы не будет.

Боркхаузен почесал затылок. — Фрау Гэберле, — начал он наконец, — насчет попугаев — это для меня слишком мудрено. Я человек простой, вероятно, вы гораздо хитрее. Надеюсь, вы меня не надуете?

— А вы меня?

— И в мыслях нет! Я буду с вами совершенно откровенен. Я расскажу вам все как есть, всю правду. Гестапо поручило мне, комиссар Эшерих поручил — вы знаете, кто это? — Фрау Хете отрицательно покачала головой. —

Так вот, мне поручили выяснить, где прячется Энно. Больше ничего. Почему и зачем, я понятия не имею. И вот что я вам скажу, фрау Гэберле, я ведь совсем простой человек, с открытой душой...

Он наклонился к ней, она увидела его глаза, они были колючими. И тут же он отвел взгляд, взгляд простого человека, с открытой душой.

— Меня это поручение удивило, фрау Гэберле, скажу вам откровенно. Ведь мы оба с вами знаем, что Энно за человек, это же просто мразь, в голове у него ничего нет, так кое-какие мыслишки о скачках, о бабье. И вот за этим-то Энно теперь гоняется гестапо, да еще политический отдел, где чуть что, так сразу же — государственная измена, и голову долой. Мне это непонятно, а вам?

Он вопрошающе посмотрел на нее. Снова их взгляды встретились, и опять произошло то же самое. Он не мог смотреть ей в глаза.

— Продолжайте, господин Боркхаузен, — сказала она, — я вас слушаю.

— Разумная женщина! — кивнул Боркхаузен. — Чертовски разумная женщина и твердая. Это вчерашнее ползанье...

— Мы решили говорить только о деле, господин Боркхаузен!

— Ну да, разумеется! Вот я — честный, искренний немец с открытой душой, и вы, может, будете удивлены, как это я служу в гестапо. Так нет, фрау Гэберле. Не служу я в гестапо, я только иногда работаю для них. Ведь человеку жить нужно, верно? А у меня пятеро сорванцов, старшему всего тринадцать. И всех я должен прокормить...

— О деле давайте, господин Боркхаузен.

— Так нет, фрау Гэберле, не служу я в гестапо, я честный человек. И как я услышал, что они моего друга Энно разыскивают, и даже обещают большое вознаграждение за него, а я Энно давно знаю и ему настоящий друг, хоть мы иной раз и поцапаемся, так вот я и подумал, фрау Гэберле: они Энно ищут. Эту фитюльку. Если я найду его, думаю, то, может быть, смогу ему знак подать, понимаете, фрау Гэберле, чтобы он смылся, пока есть время. И вот я говорю комиссару Эшериху: насчет Энно вы не волнуйтесь, я вам его предоставляю, оттого что он мой старый друг. И я получил задание и деньги на расходы, и вот теперь сижу у вас, фрау Гэберле, а Энно хлопчет в магазине, и все, в сущности, в самом лучшем виде...

С минуту оба помолчали, Боркхаузен выжидающе, фрау Гэберле задумавшись.

Затем она сказала: — Так вы еще не известили гестапо?

— Какой там! Мне спешить некуда, иначе я все провалю! — Он поправился. — То есть я же хотел сначала подать знак моему старому другу...

И они опять замолчали. И опять фрау Хете спросила: — А какое же вознаграждение вам обещали в гестапо?

— Тысячу марок! Куча денег за такую мразь! Скажу вам, фрау Гэберле, я сам был просто поражен. Но комиссар Эшерих сказал мне: только доставьте мне этого Клуге, и я вам уплачу тысячу марок. Так и сказал комиссар Эшерих. И сто марок на расходы тоже согласился дать, это кроме тысячи.

Они долго сидели задумавшись.

Затем фрау Хете снова начала: — Я перед тем не зря про попугаев сказала, господин Боркхаузен, ведь если я вам заплачу тысячу марок...

— Две тысячи, фрау Гэберле, только по дружбе — две тысячи. И сверх того еще сто марок на расходы...

— Так вот, если бы даже я и дала вам эти деньги, вы знаете, что у господина Клуге ничего нет, а я

ничем с ним не связана...

— Нет, нет, фрау Гэберле, вы наидостойнейшая женщина! Не захотите же вы вашего друга, который на ко-ленях перед вами елозил, из-за таких грошей выдать гестапо? Тем более что я вас предупредил — все может быть: и государственная измена, и голову долой! Нет, этого вы наверное не сделаете, фрау Гэберле.

Она могла бы ему ответить, что он, скромный, честный немец, намеревается же сделать именно то, чего она, как наидостойнейшая женщина, ни в каком случае делать не должна, а именно — предать своего друга. Но она отлично знала, что подобные замечания совершенно бесполезны, эти субъекты лишены способности понимать их.

И поэтому от ответила: — Так вот, если я даже заплачу эти две тысячи сто, кто гарантирует мне, что попугай, несмотря на это, не останутся в клетке? — И, видя, что он снова растерянно чешет в затылке, она решила тоже не церемониться: — Так вот, кто гарантирует мне, что вы, взяв мои две тысячи сто, не отправитесь тут же к Эшериху и не возьмете с него еще тысячу?

— Но я же сам гарантирую, фрау Гэберле, я даю вам честное слово, ведь я простой человек, с открытой душой, и если я обещаю, так свое обещание держу! Вы видели, я тут же прибежал к Энно и предупредил его, рискуя тем, что он из магазина смоеется. И тогда плакали мои денежки.

Фрау Хете смотрела на него, чуть улыбаясь. — Все это очень хорошо, господин Боркхаузен, — сказала она наконец. — Но именно потому, что вы такой верный друг Энно, вы поймете, как мне важно иметь полную гарантию. Если мне вообще удастся наскрести эти деньги.

Боркхаузен сделал движение рукой, словно желая сказать, что у такой женщины, как она, деньги, конечно, всегда найдутся.

— Нет, господин Боркхаузен, — продолжала фрау Хете, ибо видела, что к иронии он совершенно не восприимчив, с ним нужно говорить в лоб, — кто мне поручится за то, что вы не возьмете сейчас мои деньги, а...

При мысли о том, что он может заполучить сию минуту головокружительную, никогда не виданную им сумму в две тысячи марок, Боркхаузен разволновался...

— А вдруг за дверью стоит гестаповец и заберет Энно? Нет, я должна получить от вас другие гарантии!

— Да никого за дверью нет, клянусь вам, фрау Гэберле! Я же честный человек, зачем мне вас обманывать? Я пришел прямо из дома, спросите хоть мою Отти!

Она прервала его торопливые заверения. — Так вот, подумайте, какую вы еще можете дать мне гарантию — кроме вашего слова?

— Да нет такой гарантии! Ведь это дело... оно только и стоит на доверии. А вы не можете не доверять мне, фрау Гэберле, раз я с вами говорил так откровенно!

— Да, доверие... — рассеянно отозвалась фрау Гэберле, и оба погрузились в продолжительное молчание, он — просто выжидая, на чем она порешит, она — ломая голову над тем, как бы ей получить хоть какую-нибудь гарантию.

А тем временем в магазине хлопотал Энно Клуге. Он обслуживал теперь уже ставший непрерывным поток покупателей — быстро и не без ловкости, он даже начал снова отпускать свои шуточки. Первый испуг, охвативший его при виде Боркхаузена, рассеялся. Ведь там в комнате сидит Хете и беседует с Боркхаузенем, и уж она, как-нибудь это дело уладит. Но раз она улаживает дело, это показывает, что она вовсе не имеет ввиду его выгонять. Поэтому он почувствовал даже облегчение и снова принялся за свои шуточки.

А в комнате за магазином фрау Гэберле наконец нарушила долгое молчанье. Она решительно заявила: — Ну, господин Боркхаузен, я вот что надумала. Я готова с вами заключить сделку на следующих условиях...

— Да? Скажите, скажите! — нетерпеливо настаивал Боркхаузен. Он уже видел перед собой желанную награду.

— Я дам вам две тысячи марок, но дам их не здесь, а в Мюнхене.

— В Мюнхене? — Он тупо уставился на нее. — Но я же не еду в Мюнхен! Что мне делать в Мюнхене?

— Мы сейчас, — продолжала она, — пройдем вместе на почту, и я отправлю две тысячи марок переводом на главный мюнхенский почтамт. Затем я отведу вас на вокзал, и вы поедете первым поездом в Мюнхен и там получите деньги. На вокзале я выдам вам еще двести марок на дорогу, кроме билета!

— Ну, нет! — злобно воскликнул Боркхаузен. — И не подумаю, я на такое дело не согласен. Я потащусь в Мюнхен, а вы свой перевод с почты обратно возьмете!

— Я отдам вам квитанцию при вашем отъезде, тогда я не смогу взять перевод обратно.

— А Мюнхен? — снова воскликнул он. — Чего ради Мюнхен? Мы же честные люди! Почему не здесь, сейчас же здесь, и дело в шляпе! Съездить в Мюнхен туда и обратно — да на это по крайней мере полтора суток нужно, а тем временем Энно смоеется, только его и видели!

— Но, господин Боркхаузен, ведь мы так и решили, ради этого я же и даю вам деньги! Попугай не должен остаться в клетке. Энно должен получить возможность спрятаться, за это я и плачу вам две тысячи марок!

Боркхаузен не нашелся, что возразить, и хмуро заметил: — И сто марок на расходы кроме того.

— Их вы тоже получите наличными на вокзале.

Но и это не могло улучшить настроения Боркхаузена. Он продолжал ворчать: — В жизни такой глупости не слышал! Как хорошо и просто все устраивалось, а тут на тебе — в Мюнхен. Вы бы уж сразу заявили, что в Лондон! Я смогу поехать туда после войны, когда все уже будет кончено! Как хорошо и просто все устраивалось — так нет, надо мудрить! А почему? Оттого что вы не доверяете своим ближним, оттого что это в вас самих недоверчивость сидит, фрау Гэберле. Я был с вами так честен...

— И я с вами честна! Или дело будет сделано на этих условиях, или никак.

— Что ж! — сказал он. — Тогда я пойду. — Он поднялся, взял свою шапку, но не ушел. — О Мюнхене и речи быть не может...

— Вы совершите очень интересное путешествие, — уговаривала его фрау Гэберле. — Дорога туда красивая, и, говорят, в Мюнхене до сих пор еще можно хорошо поесть и выпить. Пиво немного покрепче нашего здесь, господин Боркхаузен.

— Выпивкой я не интересуюсь, — отозвался он снова, однако уже не с раздражением, а скорее задумчиво.

Фрау Хете видела, что он ломает голову, стараясь придумать такой трюк, при котором можно было бы и ее деньги хапнуть и все-таки выдать Энно. Она еще раз проверила свой план, и он показался ей удачным. Таким способом она устранил Боркхаузена по крайней мере на два дня, и если за домом действительно нет слежки — она быстро это установит, — времени будет вполне достаточно, чтобы спрятать Энно.

— Что ж, — наконец заявил Боркхаузен и посмотрел на нее. — Значит, вы иначе не согласны!

— Нет, — сказала фрау Гэберле. — Вот мои условия, от них я не отступлю.

— Придется мне, видно, ехать, — отозвался Боркхаузен. — Не могу же я упустить эти две тысячи.

Он сказал это, словно оправдываясь и обращаясь скорее к самому себе.

— Я поеду в Мюнхен. А вы сейчас же пойдете со мной на почту?

— Сейчас же, — задумчиво повторила фрау Гэберле. Теперь, когда он наконец согласился, она опять забеспокоилась, она была убеждена, что он готовит новую гадость. И необходимо выжать из него, какую.

— Да, мы сейчас же пойдем, — повторила она. — Но мне нужно сначала привести себя в порядок и запереть магазин...

Он поспешно возразил: — А для чего запирать магазин, фрау Гэберле? Ведь там Энно!

— Энно пойдет с нами.

— Это еще зачем? Энно никакого отношения ко всему делу не имеет.

— Оттого, что я так хочу. А то может вдруг выйти, что Энно арестуют в ту самую минуту, когда я буду переводить вам деньги. Такие неувязки бывают, господин Боркхаузен.

— Да кто же его арестует?

— Ну хотя бы шпик там за дверью.

— Да никакого шпики там нет! — Он усмехнулся. — Можете убедиться, фрау Гэберле. Обойдите вокруг дома, посмотрите на людей. Никакого шпики за дверью у меня нет! Я честный человек!..

Она спокойно ответила: — Я хочу, чтобы Энно находился при мне. Так вернее будет.

— Вы упрямая старая ослица! — воскликнул он в бешенстве. — Ну хорошо, пусть Энно тоже идет. Но только и вы поторапливайтесь!

— Особенно спешить некуда, — сказала она. — Мюнхенский поезд отходит только около двенадцати. Успеем. А теперь извините меня, я уйду на четверть часика, мне нужно привести себя в порядок. — Она испытующе посмотрела на него — он сидел у стола, не спуская внимательных глаз с застекленной двери, сквозь которую мог наблюдать за тем, что происходит в магазине. — И еще одна просьба, господин Боркхаузен: не разговаривайте сейчас с Энно, он очень занят в магазине, да и вообще...

— О чем мне говорить с этим идиотом! — раздраженно ответил Боркхаузен. — С таким треплом я и слова не скажу.

Однако он послушно пересел лицом к двери в ее спальню и к окну во двор.

глава 29.

Изгнание Энно.

Два часа спустя все было закончено. Мюнхенский скорый отошел от перрона, унося в купе второго класса Боркхаузена, никогда еще не ездившего во втором классе. Да, фрау Гэберле умела быть великодушной, — в ответ на просьбу этого шпионишки она еще приплатила к его билету третьего класса, может быть, желая привести его в хорошее настроение, а может быть, радуясь, что на целых двое суток отделяется от этого субъекта.

И вот, когда другие провожающие медленно протискивались через турникет, она шопотом сказала Энно: — Давай, Энно, присядем-ка на минутку в зале ожидания и обдумаем, что нам теперь делать.

Они сели так, чтобы видеть входные двери. Но в зале ожидания было немного народу, и после них долгое время никто не входил.

Фрау Хете спросила: — Как ты думаешь, за нами следят?

И Энно Клуге, едва только непосредственная опасность миновала, уже с обычным своим легкомыслием ответил: — Ну, да! Следят! Ты думаешь кто-нибудь согласится, чтобы над ним командовал такой идиот, как этот Боркхаузен. Такой болван! Такая сволочь!

Она чуть не заявила ему, что считает этого Боркхаузена, эту продувную бестию, гораздо умнее трусливого и легкомысленного ничтожества, сидящего сейчас рядом с ней. Однако она не сказала этого. Сегодня утром, переодеваясь, она клятвенно обещала себе раз и навсегда покончить со всякими упреками. Ее задача теперь только в том, чтобы пристроить Энно в безопасное место. А как только эта задача будет выполнена, она его больше никогда не увидит.

Возвращаясь все к той же мысли, мучившей его уже в течение нескольких часов, он сказал с завистью: — Будь я на твоём месте, я бы ни за что не дал такому негодяю две тысячи сто. И потом еще двести пятьдесят на дорогу. Да еще билет с приплатой. Выходит, ты заплатила этому мошеннику больше двух тысяч пятисот, такой свинье! Я бы ни за что не заплатил!

Она спросил?: — А что с тобой было бы, если бы я не заплатила?

— Отдала бы мне эти две тысячи пятьсот, увидела бы, как здорово я бы это дело провернул. Можешь мне поверить — Боркхаузен и на пятьсот пошел бы!

— Но ведь ему гестапо уже обещало тысячу.

— Тысячу? Это просто смешно! Точно они там в гестапо так тысячами и швыряются! И еще такому паршивому шпику, как Боркхаузен. Да им достаточно просто приказать, и он должен делать все, что они пожелают, за пять марок, поденно! Подумать только — две тысячи пятьсот марок, нет, он тебя как миленькую облапошил, Хете!

И он иронически расхохотался.

Его неблагодарность оскорбила ее. Но у нее не было охоты пускаться в объяснения. Она сказала лишь довольно резко: — Я больше не желаю говорить об этом, понимаешь, не желаю! — И она решительно и в упор смотрела на него до тех пор, пока он не опустил свои водянистые глаза.

— Давай лучше подумаем, что нам теперь с тобой делать.

— Ах, — сказал он, — право же, спешить некуда... Раньше чем послезавтра он никак не может вернуться. А мы сейчас поедem обратно в магазин, до послезавтра уж что-нибудь надумаем.

— Не знаю, мне бы не хотелось возвращаться с тобой туда, в крайнем случае, чтобы ты только собрал свои вещи. Я так тревожусь, может быть, за нами все-таки следят?

— Я ведь говорю тебе, что нет! В этих делах я больше тебя понимаю. И потом Боркхаузен не может нанять шпика, откуда у него деньги возьмутся!

— Но шпику ему гестапо может дать.

— И шпик из гестапо будет тебе спокойно смотреть, как Боркхаузен укатывает в Мюнхен, а я его провожаю на поезд! Это же идиотство, Хете!

И она должна была признать, что он прав. Но тревога не покидала ее. Она спросила: — А тебе не показалась странной эта история с папиросами?

Но он уже забыл. Ей пришлось напомнить ему, как Боркхаузен, едва они вышли из дому, тут же завел разговор о папиросах, ему, де, нужно во что бы то ни стало достать несколько штук. Он пристал с этим к Хете и Энно, но у них тоже не было, Энно за ночь все выкурил. Однако Боркхаузен настаивал на своем, папиросы ему необходимы, так он просто не выдержит, он привык курить по утрам. Он тут же «перехватил» у Хете двадцать марок и окликнул подростка, который с криком носился на улице.

— Эй, ты, послушай, не знаешь ли, у кого бы раздобыть папироску? Но табачной карточки у меня нет.

— Погляжу, нельзя ли. А деньги у вас есть? Мальчик, к которому обратился Боркхаузен, был очень белокур и голубоглаз, в форме гитлеровской молодежи, настоящее белобрысое дитя Берлина.

— Дайте-ка мне вашу двадцатку, я раздобуду вам.

— А если ты сопнешь ее и не вернешься? Нет уж, лучше я сам с тобой пойду. Одна минута, фрау Гэберле!

И оба исчезли в каком-то доме. Через, некоторое время Боркхаузен вышел один и тут же, без всякого напоминания с ее стороны, отдал фрау Хете двадцать марок.

— Нет у них. Этот соплик просто морочил мне голову, чтобы замотать двадцатку. Но я всыпал ему как следует, наверное все еще валяется во дворе.

Затем они пошли дальше, на почту, на городскую станцию.

— Ну и что же ты тут находишь странного, Хете? Просто Боркхаузен, как и я, — если ему приспичит, он к генералу способен пристать па улице и попросить у него бычок.

— Но ведь он потом даже не вспомнил о папиросах, хоть и не достал! По-моему, это странно. Может, он с мальчишкой насчет чего-нибудь стакнулся?

— Насчет чего же он мог с парнем стакнуться, Хете? Дал ему хорошенько по затылку, это да.

— А может быть, мальчишка следит за нами?

На мгновение даже Энно задумался. Но потом заявил с обычным легкомыслием: — И чего ты себе не навывдумываешь! Хотел бы я иметь только такие заботы!

Она умолкла. Но тревога попрежнему сжимала сердце Хете, и она настояла на том, чтобы они вернулись в магазин только на минутку, взять его вещи. Она решила переправить его потом со всевозможными предосторожностями к одной своей приятельнице.

Но его это совершенно не устраивало. Он чувствовал: она хочет от него отделаться. А он не хотел уходить. У нее было безопасно, и хорошая пища, и работа по желанию, и любовь, и тепло, и утешение. И потом: она такая удобная дойная корова, — Боркхаузен только что вытянул у нее две с половиной тысячи марок, а теперь его очередь.

— У твоей приятельницы? — недовольно отозвался он. — Что это за женщина? Я не люблю жить у чужих людей.

Хете могла бы сказать, что эта женщина — старый товарищ ее мужа, что она и теперь в глубокой тайне продолжает свою деятельность, и что каждый, кого преследуют нацисты, найдет у нее убежище. Но она уже не доверяла Энно. Она несколько раз была свидетельницей того, как он труслив, — нет, ему незачем знать слишком много.

— Это моя подруга, — сказала она только. — Она моих лет, может быть, немного моложе.

— А чем она занимается? На что она живет? — продолжал он выпытывать.

— Не знаю в точности, вероятно, служит где-нибудь секретарем. Она незамужняя.

— Ну, если она твоих лет, то заполучить мужа ей будет трудновато, — насмешливо заметил Энно.

Она вздрогнула, но ничего не ответила.

— Нет, Хете, — начал он снова, пустив в ход самые нежные интонации: — Что мне делать у твоей подруги? Когда мы вдвоем с тобой, и только вдвоем — это всего лучше. Позволь мне остаться у тебя, — ведь Боркхаузен вернется только послезавтра — так хоть по крайней мере до послезавтра!

— Нет, Энно, — ответила она. — На этот раз послушайся меня. Я отправлюсь одна в квартиру и уложу твои вещи. Ты можешь пока подождать в какой-нибудь закуской. А потом мы вместе поедem к моей приятельнице.

Он еще долго возражал ей, но, в конце концов, сдался. Он сдался тогда, когда она не без умысла сказала: — Тебе ведь и деньги понадобятся. Я положу тебе денег в чемодан, достаточно на первое время, чтобы ты не нуждался.

Перспектива скоро обрести в своем чемодане деньги (а она, конечно же, не могла дать ему меньше, чем дала Боркхаузену), эта перспектива манила, его и решала дело... Если он останется у Хете до послезавтра, то и деньги будут только послезавтра. А он хотел знать сейчас же, сколько она ему предназначила.

С горечью поняла она, что им руководит. Он сам делал все, чтобы убить в ней последние остатки

уважения и любви, но она примирилась с этим без гнева. Она уже давно узнала на собственном опыте, что в жизни за все приходится платить, и зачастую дороже, чем оно того стоит. Главное, что он согласился исполнить ее волю.

Когда фрау Гэберле приблизилась к своей квартире, она опять увидела белокурого голубоглазого мальчишку, бегавшего по улице с кучей других ребят. Она вздрогнула. Затем кивком подозвала его к себе: — Ты все еще не ушел? — спросила она. — Разве тебе непременно тут надо баловаться?

— Да я живу здесь! — сказал он. — Где же мне еще баловаться? — Она тревожно вглядывалась в его лицо, но не уловила никакого движения. Должно быть, парнишка не узнал ее, — во время своего разговора с Борк-хаузенон он, верно, не обратил на нее никакого внимания. А это едва ли было бы так, если бы он шпионил.

— Здесь живешь? — спросила она. — Почему же я тебя никогда не видела на этой улице?

— А я виноват, коли вы слепая? — дерзко ответил он. Засунув в рот один малец, он пронзительно свистнул.

Потом, остановившись перед каким-то домом и задрав голову, крикнул: — Мама, выгляни-ка в окошко. Тут тетка одна не верит, что ты косоглазая! Мама, ну-ка покажи ей, какая ты косая!

Смеясь, фрау Хете побежала к себе в магазин, окончательно убежденная в том, что, по крайней мере насчет этого мальчишки, ей все померещилось.

Однако, при укладке, она снова нахмурилась. У нее вдруг возникли сомнения, правильно ли она делает, устраивая Энно у своей приятельницы Анны Шэнлейн. Правда, Анна каждый день рискует жизнью ради каждого незнакомого ей человека, которого у себя прячет. Но у фрау Хете было такое чувство, что она этим Энно Клуге как бы подбрасывает Анне кукушкино яйцо. Конечно, Энно, видимо, в самом деле политический, а не обыкновенный преступник, это подтвердил даже Боркхаузен, но...

Он такой легкомысленный, не столько от беспечности, сколько от полного равнодушия к судьбе своих ближних. Ему ни до кого нет дела. Он всегда думает только о себе, он способен и в дальнейшем то и дело бегать к Хете, под предлогом, что соскучился, и только подведет Анну.

С тяжким вздохом всовывает фрау Гэберле триста марок в конверт и кладет его сверху в чемодан. Сегодня она истратила больше, чем сэкономила за два года. Но она принесет еще одну жертву, она обещает Энно выдавать ему по сто марок за каждый день, когда он совсем не будет выходить из квартиры ее приятельницы. Увы, она может сделать ему подобное предложение. Он не обидится, он, самое большее, в первую минуту сделает вид, что слегка обиделся. Но это все-таки заставив его сидеть дома, он так жаден до денег.

С чемоданом в руках фрау Хете выходит из дому. Белобрысый мальчишка уже не играет на улице. Может быть, он вернулся к своей косоглазой матери. Фрау Хете идет в закусочную на Александерплац, где они условились встретиться с Энно.

ГЛАВА 30 Эмиль Боркхаузен И Его Сын

Да, Боркхаузен чувствовал себя весьма хорошо в аристократическом экспрессе, в благородном купе второго класса, среди офицеров, генералов и дам, от которых так замечательно пахло. Его ни мало не беспокоило, что сам он отнюдь не элегантен и не благоухает и что его спутники не подарили ему ни одного дружелюбного взгляда. Боркхаузен привык к тому, чтобы на него смотрели недружелюбно. Едва ли за всю его убогую жизнь у кого-нибудь из ближних нашелся для него хоть один приветливый взгляд.

Боркхаузен пил свое краткое счастье большими глотками, оно и было кратким, это счастье, — ибо продолжалось не до Мюнхена, и даже не до Лейпцига, как он сначала опасался, а всего лишь до Лихтерфельде; как выяснилось, этот поезд останавливался в Лихтерфельде. Тут-то и крылась ошибка в расчетах фрау Хете. Если вам предстоит получить деньги в Мюнхене, то вовсе не нужно ехать туда сейчас же. Это можно сделать и позднее, покончив сначала с самыми срочными делами в Берлине, А самым срочным делом было для Боркхаузена доложить Эшериху относительно Энно и забрать свои пятьсот марок. Да и вообще, может быть, совсем не нужно самому ехать в Мюнхен, достаточно написать на почту, чтобы деньги перевели в Берлин. Во всяком случае о немедленной поездке в Мюнхен не может быть и речи.

Итак, Эмиль Боркхаузен — не без легкого сожаления — вышел в Лихтерфельде. У него произошли короткие и оживленные дебаты с начальником станции, который все не мог понять, как это человек, едущий в Мюнхен, способен между Берлином и Лихтерфельде еще передумать. И вообще этот Боркхаузен показался ему в высшей степени подозрительным.

Однако Боркхаузен был непоколебим: — Да вы позвоните в гестапо и спросите комиссара Эшериха, увидите, правду я говорю или нет, господин начальник станции! Уж и сядете же вы в калошу! Я ведь еду по служебному делу!

В конце концов человек в красной фуражке, пожимая плечами, приказал выдать ему обратно деньги. Какое ему, в сущности, дело? В наши дни все возможно, могут же подобные сомнительные субъекты разъезжать по всей стране, выполняя задания гестапо! Тем хуже.

А Эмиль Боркхаузен, вернувшись, пустился на розыски своего сына.

Однако перед зоомагазином Хете Гэберле мальчишки не оказалось, хотя магазин был открыт и покупатели входили и выходили. Спрятавшись за столбом для афиш и не спуская глаз с двери магазина, Боркхаузен обдумывал, что же могло случиться. Или Куно-Дитер покинул свой пост оттого, что ему надоело? Или Энно ушел, может быть опять во «Второй заезд»? Или этот мозгляк совсем смылся отсюда, и она теперь одна орудует в магазине?

В ту минуту, когда Боркхаузен решал, не предстать ли ему еще раз с нахальным видом перед Гэберле, которую он так ловко надул, и потребовать у нее дополнительных сведений, мальчуган лет девяти, подбежав к нему, пропищал: — Послушайте-ка! Вы отец Куно?

— Я отец. А что такое?

— Дайте марку.

— Зачем это я должен дать тебе марку?

— А я скажу вам одну вещь!

Боркхаузен сделал быстрое движение, чтобы схватить мальчишку за шиворот: — Сначала товар, потом деньги! — сказал он.

Но тот, проскользнув у него под локтем, опередил его и крикнул: — А вот и не скажу! Можете свои деньги при себе оставить!

И он убежал к товарищам, игравшим на трамвайной линии прямо перед магазином.

Но туда Боркхаузен не мог за ним последовать, предпочитая не быть на виду. Он ругался и свистел, пытаясь вернуть сорванца и вместе с тем проклиная и мальчишку и свою неуместную бережливость. Однако мальчугана оказалось не так легко приманить; только спустя добрых четверть часа вынырнул он откуда-то, снова остановился на некотором расстоянии перед разозленным Боркхаузенем и дерзко возвестил: — А теперь это будет стоить две марки.

Боркхаузен охотнее всего бы сгреб парнишку и выдрал, но что тут поделаешь? Он был в руках у малыша, так как не мог за ним погнаться.

— Я дам тебе марку, — мрачно заявил он.

— Нет, две марки!

— Ну хорошо, получишь две!

Боркхаузен извлек из кармана пачку денег, отыскал среди них бумажку в две марки, сунул остальные обратно и протянул ее мальчишке.

Но тот покачал головой. — Знаю я вас, — сказал он. — Я у вас возьму деньги, а вы их тут же отнимите! Нет уж, положите их вон там на мостовую.

Мрачно, не говоря ни слова, Боркхаузен выполнил требование мальчика.

— Ну? — сказал он затем, снова выпрямившись и отступив на шаг.

Мальчуган медленно тянулся к бумажке, не спуская глаз с Боркхаузена. Когда он наклонился над деньгами, Боркхаузен с трудом поборол искушение схватить этого маленького негодяя и исколотить его. Он мог бы это сделать, но все же поборол искушение, ведь тогда он не получит никаких сведений, и малый поднимет такой крик, что сбежится вся улица.

— Ну? — спросил он вторично и на этот раз с угрозой. Мальчуган ответил: — Кабы я тоже был негодяем, я мог бы потребовать с вас еще денег, много раз. Но я не такой, я знаю, вы хотели меня опять надуть, но я, я не такой негодяй. — Выставив таким образом в ярком свете свое моральное превосходство над Боркхаузенем, он торопливо добавил: — Ждите у себя на квартире, что вам скажут насчет Куно.

И мальчик исчез. Те добрых два часа, в течение которых Боркхаузен ждал Куно в своей квартире, не способствовали смягчению его гнева. Нет, они наоборот разожгли его. Ребята орали, Отти злилась. Она так и сыпала колкостями по адресу ленивых свиней, которые целый день сидят, ничего не делают, только папиросами дымят и всю работу взваливают на женщину.

Вытащив из кармана бумажку в десять — пятнадцать марок, он мог бы превратить гнуснейшее настроение Отти в самое радужное, но он не хотел. Он не хотел опять швыряться деньгами, ведь он только что выбросил на ветер две марки за весьма сомнительную новость, до которой и сам бы мог додуматься. Все в нем кипело при мысли о сыне, который навязал ему этого сопляка, а сам наверно что-нибудь промазал! Куно-Дитер — Боркхаузен это твердо решил — должен получить ту взбучку, от которой малыш увернулся.

Тут раздался стук в дверь, но вместо ожидаемого Куно-Дитера появилась фигура в штатском, в которой однако нетрудно было признать бывшего фельдфебеля.

— Вы — Боркхаузен?

— Я, а что?

— Вас требует к себе комиссар Эшерих, собирайтесь, вы пойдете со мной.

— Мне сейчас нельзя, — возразил Боркхаузен: — Я жду одного человека. Скажите комиссару, что я рыбку поймал!

— Я обязан доставить вас к комиссару, — упрямо настаивал бывший фельдфебель.

— Не сейчас! Я не дам провалить мне все дело! Отправляйтесь-ка вы лучше отсюда! — Боркхаузен злился, но сдерживал себя. — Скажите комиссару, что птичка у меня в руках, и я еще сегодня к нему загляну.

— Ну, не разводите канитель, идите со мной! — тупо повторил посланный.

— Да что вы тут шарманку завели — «идите со мной»! — закричал Боркхаузен. — Не соображаешь, что я тебе говорю? Заладил как сорока «идите со мной!» А если я говорю тебе, что жду важных известий, и должен сидеть здесь, иначе заяц у меня из капкана уйдет? Мозгов нехватает, да? — Он посмотрел на фельдфебеля, даже слегка задохнувшись. Затем сердито добавил: — Зайца я должен изловить для комиссара, понятно?

Но бывший фельдфебель невозмутимо заявил: — Мне про все это ничего не известно. Комиссар сказал мне: Фрише, приведи-ка Боркхаузена. Ну вот и идите!

— Ничего подобного! — сказал Боркхаузен. — Ты просто болван! Или ты собираешься меня арестовать? — Он чуял носом, что тот не имеет полномочий на арест. — Ну так выкатывайся вон! — крикнул он и захлопнул дверь перед носом посланца.

Три минуты спустя он увидел, как потерпевший поражение бывший фельдфебель тащится через двор; видимо, он решил махнуть рукой на это предприятие.

Но едва только тот исчез в подворотне переднего корпуса, как Боркхаузен испугался возможных последствий своего неповиновения посланцу всемогущего Эшериха. Только злость на проклятого Куно-Дитера могла довести его до подобной неосторожности! Просто наглость — заставлять отца торчать тут часами, может быть, до самой ночи! На улицах сколько хочешь мальчишек, на каждом углу, и любого можно послать с поручением! Ну, он уж. покажет сыну, какого он мнения о нем, нет, Боркхаузен не

позволит ему выкидывать такие штучки безнаказанно!

И он отдался игре своего воображения, представляя себе, как обработает стервеца. Он видит розги, и еще полудетское тело сына, и на его лице появляется улыбка, но это не улыбка затихающего гнева... Он слышит крики этого паршивца и зажимает ему одной рукой рот, а другой сечет его. И вот все тело мальчика уже только дрожит мелкой дрожью, и с губ срываются только тихие стоны.

Боркхаузен неумоимо рисовал себе все новые картины. Он разлегся на диване и сладострастно сопел.

И почти досаду вызвал у него посланец Куно-Дитера, который, наконец, явился и постучал: — Что такое? — отрывисто спросил Боркхаузен.

— Куно велел проводить вас к нему.

На этот раз перед ним предстал совсем большой мальчик, лет четырнадцати — пятнадцати, в форме гитлеровской молодежи.

— Но сначала дайте мне пять марок.

— Пять марок! — прорычал Боркхаузен, однако не решился уж так открыто упорствовать по отношению к этому парню в коричневой рубашке: — Ловко вы моими деньгами швыряетесь. — И он принялся перебирать пачку денег.

Рослый мальчишка жадно уставился на деньги в руках Боркхаузена. — Мне стоил проезд, — сказал он. — И потом, вы думаете, я мало времени потерял — из западного района — сюда?

— А твоё время больно дорого стоит? Да? — Боркхаузен все еще не нашел бумажку в пять марок. — Ты говоришь, западный район, западный — никак не может быть! Небось, это для тебя западный? Может быть, ты имеешь в виду центр? Это уж скорее.

— Ну, если по вашему, Ансбахерштрассе не в западном...

Мальчишка спохватился, что проболтался, а Боркхаузен уже сунул деньги обратно: — Спасибо! — иронически засмеялся он. — Можешь больше не тратить своего драгоценного времени. Я теперь и сам найду. Лучше всего, если я поеду на метро до Виктория-Луизеплац, верно?

— Вы не смее! Такой шулки вы не смеее сделать со мной! — и мальчишка, сжав кулаки, стал наступать на Боркхаузена. Его темные глаза горели гневом. — Я на проезд потратился, я...

— Ты потерял свое драгоценное время, уже слышали! — продолжал издеваться Боркхаузен. — Катись-ка отсюда, за глупость всегда платить приходится. — Вдруг, им снова овладела ярость: — Что ты еще торчишь тут, в моей комнате? Ты хочешь меня в моей собственной квартире обчистить? А ну, живо отсюда, а не то я тебе так дам...

Он грубо стал выталкивать рассерженного мальчишку и быстро захлопнул за собой дверь. Всю дорогу, пока они не вышли из метро на Виктория-Луизеплац, он осыпал то злобными, то насмешливыми замечаниями бледного от бешенства парнишку, который хотя и не отходил от него ни на шаг, но ни единым словом не отзывался на его насмешки.

Уже наверху, когда они выходили из шахты метро, мальчик вдруг пустился рысью и скоро оказался далеко впереди Боркхаузена. Последний был вынужден изо всех сил спешить за ним: он не хотел, чтобы оба мальчика успели переговорить. Он был не вполне уверен, на чью сторону станет Куно-Дитер — на сторону отца или этого паршивого щенка.

Оказалось, что они действительно уже стоят рядом перед одним из домов на Ансбахерштрассе. Незнакомый подросток горячо в чем-то убеждал Куно-Дитера, а тот слушал его, опустив голову. Когда Боркхаузен подошел к ним, подросток отступил на десять шагов, предоставив им объясняться с глазу на глаз.

— Ты что, собственно говоря, о себе воображаешь, Куно-Дитер, — раздраженно начал Боркхаузен, — что ты вечно мне каких-то бандитов подсовываешь, жуликов бессовестных, — ничего еще не сделал, а уже сразу денег требует!

— Задаром никто ничего не делает, отец, — невозмутимо отозвался Куно-Дитер, — сам отлично понимаешь, и я тоже хочу знать, что я на этом деле заработаю, мне проезд стоил...

— Ну, заладили. У всех проезд! Получше-то ничего не придумаете? Нет, Куно-Дитер, сначала ты изволь отцу подробно объяснить, что тут есть на Ансбахер, а тогда увидишь, сколько тебе твой отец даст. Он вовсе не такой, твой отец, только не нажимай, терпеть не может твой отец, когда нажимают!

— Нет, отец, — снова возразил Куно-Дитер. — Ничего ты потом не дашь, то есть денег, конечно. По морде нашьвыряешь. А сам какие деньги уже хватанул на этом деле, и еще хватанешь, я же вижу! А из-за тебя тут целый день торчи не жравши, ну так и я хочу свои денежки получить. Я так считаю, что пятьдесят марок, не меньше.

— Пятьдесят марок! — Боркхаузен чуть не задохся от такого нахальства. — Пять марок я тебе так и быть дам, те самые пять марок, которые с меня хотел содрать этот твой балбес... И еще благодарить изволь!

— Нет, отец, — и Куно-Дитер упрямо посмотрел на отца своими голубыми глазами. — Ты чорт-те сколько заработаешь на этом деле, и я так не согласен, всю работу за тебя проверни, а потом пять марок в зубы, и все. Нет, имей ввиду, я просто-напросто тебе ничего не скажу.

— А что ты мне можешь сказать особенного? Что этот Клуге там в доме сидит? Так это я и без тебя знаю. И все остальное я без тебя узнаю. Нет, сматывайся-ка домой и пусть мать тебе поесть даст; воображают, что нашли дурака! Подумаешь — герои!

— Так я, значит, сейчас пойду туда, — решительно заявил Куно-Дитер, — и скажу Клуге, что ты следишь за ним. Я тебе это дельце сорву, отец.

— Ты — бандит проклятый! Вот кто! Слышишь? — крикнул Боркхаузен и замахнулся.

Но сын уже неслись прочь от него, он вбежал в ворота дома. Боркхаузен помчался за ним через двор и у лестницы черного хода наконец настиг его. Он швырнул сына наземь и начал бить его, хотя тот и брыкался. Все происходило примерно так, как он рисовал себе перед тем, лежа на диване, только Куно-Дитер не кричал, а яростно защищался, и это еще больше разъярило Боркхаузена, он нарочно стал бить мальчика по лицу и пинать ногами в живот: — Я тебе, гадина этакая, покажу, — захрипел он, и перед его глазами поплыл багровый туман.

Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади схватил его, кто-то крепко стиснул его локти. Он поспешно оглянулся: оказалось — парень из гитлеровской молодежи и не один — целая шайка подростков, пятеро или шестеро, и все они набросились на него. Ему пришлось выпустить Куно-Дитера и защищаться от этих подростков, причем каждого в отдельности он мог бы опрокинуть одной рукой, но, действуя скопом, они представляли для него серьезную опасность.

— Проклятые трусы! — крикнул он, отступая к стене и норовя придавить повисшего на нем мальчишку, но они схватили его за ноги и рванули в сторону. Он упал.

— Куно! — задыхался он. — Помоги своему отцу! Эти трусы...

Однако Куно не помог отцу. Он успел подняться на ноги и первый ударил Боркхаузена в лицо.

Из груди Боркхаузена вырвалось не то гневное рычание, не то глухой стон. Он стал кататься по земле, сцепившись с мальчишками в клубок, силясь притиснуть их к ступенькам и стенам, сбросить с себя и самому встать на ноги. Слышалось только прерывистое дыхание, тупой звук ударов, шарканье ног... Молча, с неистовым бешенством дрались они.

Старая дама, спускавшаяся по лестнице, увидев внизу этот бой, в ужасе замерла на месте, она вцепилась в перила и беспомощно закричала: — Как вы смеете! В нашем порядочном доме!

Подростки рассыпались кто куда; Боркхаузен приподнялся, сел, ничего не соображая, уставился на даму.

— Это же бандиты! — прохрипел он. — Хотели избить старика, и собственный сын тут же!

На крики старой дамы открылось несколько дверей, вышло несколько перепуганных соседей, они, перешептываясь, смотрели на сидевшего внизу человека.

— Подрались! — пискнула старуха с багровым лицом. — Подрались в нашем порядочном доме!

Боркхаузен пришел в себя. Если Энно Клуге прячется где-то здесь, то Боркхаузену давно пора смыться. Ведь каждую минуту мог выскочить откуда-нибудь и Клуге, любопытствуя, что тут за шум.

— А всего-то и дела, что поучил немножко своего парнишку, — усмехаясь пояснил он безмолвно уставившимся на него жильцам. — Все в порядке. Все ясно.

Он встал и направился через задний двор и палисадник на улицу. На ходу он отряхнулся и перевязал галстук.

Мальчишки, конечно, исчезли бесследно. Ну подождите, сегодня вечером он Куно-Дитеру покажет! Дрался с собственным отцом, первый ударил его по лицу! Никакая Отти уже не сможет защитить его своим телом! Он еще с ней рассчитается за то, что она, словно кукушка, подкинула в его гнездо этого проклятого птенца.

Боркхаузен наблюдает за домом, а его бешенство на Куно-Дитера все растет. И он чуть с ума не сходит, когда выясняется, что мальчишки во время свалки вытащили у него из кармана всю находившуюся там пачку денег. Осталось всего несколько марок в жилетном кармане. Вот сволочи, вот проклятое отродье! Охотнее всего он тут же бросился бы их искать, чтобы измолотить их и отобрать у них деньги.

И он уже готов бежать.

Но тут же приходит в себя: ему нельзя уходить, он должен торчать здесь, иначе и пятьсот марок улыбнутся ему! Ведь ясно: ни за что на свете не получить ему обратно свои деньги от таких бандитов, нужно спасать хоть эти пятьсот.

Он идет, снедаемый яростью, в маленькое кафе и оттуда говорит по телефону с комиссаром Эшерихом. Затем возвращается на свой наблюдательный пункт и нетерпеливо ждет появления Эшериха. Ах, какая горечь на сердце! Сколько положено трудов — и вечно судьба против него! Другим все удастся, за что ни возьмутся, такая, например, тля, как этот Энно, и, смотрите — заполучил женщину с деньгами и отличный магазин; такая мразь ставит на одну лошадь, и, пожалуйста, тут же выигрывает, а он?

Что он ни делай — все у него срывается, уж кажется, сколько сил положил на эту Гэберле — радовался, что хоть немного денег в кармане завелось, и опять нет их! А тогда браслетка Розентальши — тоже сорвалось. Всегда неудача! А этот его чудный план ограбления квартиры, целый склад белья — тоже все провалилось. За что ни возьмись — все срывается.

Неудачник я, вот что! с горечью говорит он, обращаясь к самому себе. Хоть бы комиссар с собой прихватил эти пятьсот! А Куно я просто убью! Я буду лупить его, я буду морить его голодом до тех пор, пока он не околеет. Я ему этого ни за что не прощу!

Боркхаузен сказал Эшериху по телефону, чтобы тот сейчас же принес с собой деньги.

— Ну, там посмотрим! — ответил комиссар.

Что это опять значит? Или он тоже хочет мне нагадить? Это же невозможное дело!

Нет, во всей этой истории его интересуют только деньги. Как только деньги будут у него в кармане, он смоемся, на судьбу Энно ему в высокой степени наплевать. Это его больше не интересует. Может быть, действительно прокатиться в Мюнхен? Ему так все осточертело! Он просто не в силах здесь больше оставаться. И еще этот Куно, который лупит его по морде и потом тащит его деньги, — неслыханно, собственный сын!

Нет, Гэберле права, он поедет в Мюнхен. Конечно, если Эшерих принесет деньги, иначе ему не на что купить билет. Но комиссар, который не держит своего слова — этого просто быть не может! Или?..

ГЛАВА 31

Визит К Фрейлейн Шэнлейн

Сообщение Боркхаузена по телефону о том, что он нащупал Энно Клуге в западном районе Берлина, чрезвычайно смутило Эшериха. Невольно он ответил: — Да, еду, еду сейчас же! — И уже совсем собрался уходить, но тут им снова овладели сомнения.

Да, вот он и поймал его, этого Клуге, поймать которого он так желал, которого столько дней преследовал. И вот он нашелся, достаточно протянуть руку, и этот субъект в его власти. Во время всех этих усиленных и нетерпеливых поисков он непрерывно думал о той минуте, когда наконец схватит Клуге,

но упорно отгонял всякую мысль о том, что он тогда будет делать с ним.

Эта минута настала. И сразу же возникал вопрос, как быть дальше. Ведь ясно, что открытки писал не Энно, абсолютно ясно. Во время поисков ему удавалось закрывать на это глаза, он даже болтал с помощником Шредером о том, что наверняка у Клуге еще почему-нибудь рыльце в пуху.

Вот именно — еще почему-нибудь, не поэтому, не он писал эти открытки. Ни в каком случае! Если арестовать его и привести сюда, на Принц-Альбрехтштрассе, то господин обергруппенфюрер неизбежно сам пожелает допросить Клуге, и все выйдет наружу, то есть — решительно ничего об открытках и очень многое относительно подписи под неким протоколом, добытой хитростью, это ясно! Нет, приводить Клуге сюда невозможно!

Но в такой же мере невозможно и оставить Клуге на свободе, даже под непрерывным наблюдением, Праль никогда этого не допустит. Да он слишком долго и не даст водить себя за нос, даже если Эшерих пока и умолчит о том, что Клуге найден. Праль уже несколько раз весьма решительно намекал на то, что все это дело невидимки пора передать в другие, более ловкие руки. Поэтому не мог же теперь комиссар срамиться! Да и сам он был заинтересован в этой истории, она приобрела для него особое значение.

И вот Эшерих сидит за своим письменным столом и смотрит перед собой, он кусает свои усы песочного цвета.

Проклятый тупик, говорит он себе. Проклятый тупик, в который я дал затащить себя! Что бы я ни предпринял, все будет ошибкой, и если я ничего не предприму, это будет тем большей ошибкой! Дурацкий тупик!

Он сидит и размышляет. Время идет, а комиссар Эшерих все еще сидит на том же месте и размышляет. Боркхаузен — к дьяволу Боркхаузена! Пусть торчит там и наблюдает за домом! Спешить ему некуда. А если тем временем Энно у него проскочит между пальцев, то комиссар его на куски разорвет. Скажите пожалуйста! Пятьсот марок, и сейчас же захватите с собой! Да весь его Энно, сто таких Энно не стоят пятисот марок! В морду он даст Боркхаузену, такой идиот! Какое дело Эшериху до Клуге, ему нужен тот, кто писал открытки!

Однако, по мере того как комиссар Эшерих, сидя в тишине, размышляет, его мысли насчет Боркхаузена, может быть, постепенно и меняются. Во всяком случае комиссар встает и идет к кассиру. Там он выписывает себе пятьсот марок (потом отчитаюсь) и возвращается в свой кабинет. Сначала он предполагал поехать на Ансбахерштрассе в служебной машине и захватить с собой двух агентов, но теперь он отменяет свой приказ, ему не нужна ни машина, ни люди.

Может быть, у Эшериха изменился взгляд не только на то, что касается Боркхаузена, может быть, ему пришло в голову кое-что новое и относительно дела Энно Клуге. Во всяком случае, он вытаскивает из кармана брюк свой казенный револьвер — это целая пушка — и сует туда маленький пистолетик, появившийся у него совсем недавно, после одной весьма удачной конфискации чужого имущества. Он уже испробовал эту штучку, она как раз ему по руке и стреляет метко.

Итак, пошли. В дверях кабинета Эшерих останавливается, еще раз оборачивается. И происходит нечто странное: совершенно произвольно он слегка кивает головой, словно посылая комнате привет, словно прощаясь с ней. Прощай, мол... Какое-то смутное ощущение, какое-то предчувствие, которого он почти стыдится, подсказывает ему, что он, комиссар Эшерих, не таким уже вернется в нее, каким сейчас уходит. До сих пор он был чиновником и охотился на людей так же, как другой продает почтовые марки, аккуратно, усердно, согласно правилам.

Но когда он сегодня вечером или завтра утром вернется сюда, он не будет уже, может быть, тем чиновником, на нем будет какая-то вина, которую не так легко забыть, что-то, про что, может быть, только он будет знать, но тем хуже: он будет знать и никогда уже ему перед собой не оправдаться.

Эшерих кивает своей комнате и уходит, и ему почти стыдно этого прощального поклона. Ну, там посмотрим, говорит он себе, все еще может сложиться иначе. Сначала я должен поговорить с этим Клуге...

Он тоже едет на метро и когда добирается до Ансбахерштрассе, уже вечернее.

— Долго же вы заставляете себя ждать, — рычит Боркхаузен; в нем при виде комиссара вновь закипает бешенство. — Я целый день не ел. Вы захватили мои деньги, господин комиссар?

— Успеешь, — рычит в ответ комиссар, и Боркхаузен принимает это за положительный ответ. Его сердце бьется спокойнее: будут деньги!

— Ну, где же тут живет твой Клуге? — спросил комиссар.

— А я почему знаю! — огрызнулся Боркхаузен, сейчас же обидевшись, и, чтобы предупредить дальнейшие упреки, продолжал: — Не могу же я прямо лезть в дом и расспрашивать, раз мы с ним старые знакомые. Но скорее всего он живет во флигеле, это уж вы сами выясните. Я свое дело сделал и хочу получить деньги.

Но Эшерих не обращает на его слова никакого внимания, он, расспрашивает Боркхаузена, каким образом Энно сказался в западном районе, и как агент напал на его след.

Боркхаузену приходится все это изложить подробно, и комиссар делает себе заметки относительно фрау Хете Гэберле, зоомагазина, вечерней сцены с ползанием на коленях: на сей раз комиссар записывает.

Конечно, Боркхаузен сообщает не все, но этого нельзя и требовать. Никто не может требовать от человека, чтобы он сознался в своей неудаче. Ибо, расскажи Боркхаузен, как он выжал из Гэберле деньги, ему пришлось бы открыть и то, как он их лишился. Ему пришлось бы рассказать и о предназначенных ему двух тысячах марок, которые теперь едут в Мюнхен. Ну нет, этого от него никто не в праве требовать.

Будь Эшерих хоть немного внимательнее, он заметил бы некоторые неувязки в повествовании своего шпика. Однако мысли Эшериха все еще поглощены совсем другим, и, охотнее всего, он вообще отправил бы этого Боркхаузена ко всем чертям. Но тот еще нужен ему на некоторое время, и поэтому комиссар говорит: — Подождите здесь! — и входит в дом.

Однако он не прямо направляется в палисадник, а сначала заходит в швейцарскую, чтобы навести там справки. Лишь после этого идет он, сопровождаемый швейцаром, во флигель и поднимается на четвертый

этаж.

Здесь ли Энно Клуге, во флигеле, или нет, этого швейцар не мог сказать наверное: ведь он обслуживает только господ из переднего корпуса, не жильцов флигеля. Но он, конечно, знает всех, проживающих там, уже по одному тому, что ведаёт выдачей продовольственных карточек. Одних он знает очень хорошо, других — не очень. Есть там, например, такая фрейлейн Анна Шэнлейн, на четвертом, ну, она, заранее можно сказать, безусловно пустит к себе такого человека. Она и без того у швейцара на примете, вечно у нее ночует всякий сброд, и секретарь почтового отделения на третьем клятвенно уверяет, что она по ночам слушает за границу. Подтвердить это под присягой он бы не решился, но подслушивать обещал систематически. Да, швейцар, уже давно собирался поговорить насчет этой Шэнлейн с начальником своего квартала, но теперь он все равно заявляет о ней господину комиссару. Пусть господин комиссар сначала спокойно займется Шэнлейн, а если выяснится, что того человека действительно у нее нет, можно поискать и в других квартирах. Но и во флигеле живут, в общем, порядочные люди!

— Вот тут! — шепчет швейцар.

— Станьте здесь, чтобы вас было видно через окошечко, — отзывается комиссар тоже шопотом. — Придумайте что-нибудь, зачем вы пришли, ну хотя бы за очистками для государственных свиней или насчет зимней помощи.

— Ладно, — отвечает швейцар и звонит. Некоторое время ничего не слышно, швейцар звонит во второй, в третий раз. В квартире попрежнему тишина.

— Дома нет? — шепчет комиссар.

— Не знаю, — отвечает швейцар. — Я сегодня эту Шэнлейн еще не видел на улице.

И он звонит в четвертый раз.

Дверь открывается внезапно. Они не слышали перед тем никакого шороха. На пороге стоит высокая тощая женщина. На ней поношенные выцветшие лыжные брюки и джемпер канареечного цвета с красными пуговицами. У нее резко очерченное худое лицо с пятнами румянца на скулах, как это нередко бывает у туберкулезных. И глаза ее лихорадочно блестят.

— В чем дело? — коротко спрашивает она, и в ней не чувствуется ни малейшего испуга, когда комиссар Эшерих становится в дверях так, что закрыть их уже нельзя.

— Мне хотелось бы поговорить с вами, фрейлейн Шэнлейн. Я комиссар Эшерих из государственной тайной полиции.

И опять никакого испуга: она только продолжает смотреть на него лихорадочно блестящими глазами, затем отрывисто бросает: — Пойдемте! — и ведет его за собой в квартиру.

— Стойте здесь, около двери, — шепчет комиссар швейцару, — и если кто-нибудь захочет войти или выйти, позовите меня.

Она довольно неряшливая и пыльная, эта комната, в которую хозяйка приводит комиссара. Допотопная плюшевая мебель с резными колонками и шарами, еще дедовских времен. Бархатные портьеры. Мольберт, на котором стоит портрет бородатого мужчины — увеличенное цветное фото. В воздухе висит табачный дым, в пепельнице торчат несколько окурков.

— В чем дело? — снова спрашивает фрейлейн Шэнлейн.

Она остановилась подле стола и не предложила комиссару сесть. Однако комиссар садится, он вытаскивает из кармана коробку папирос, указывая при этом на портрет. — А это кто же? — спрашивает он.

— Мой отец, — отвечает женщина. И еще раз спрашивает: — В чем дело?

— Мне хотелось порасспросить вас кое о чем, фрейлейн Шэнлейн, — говорит комиссар и предлагает ей папиросы. — Да вы сядьте и возьмите папироску!

Женщина отрывисто бросает: — Я не курю.

— Раз, два, три, четыре, — пересчитывает комиссар окурки в пепельнице. — И в комнате табачный дым. У вас гости, фрейлейн Шэнлейн?

Она посмотрела на него без испуга, без страха. — Я никогда не признаюсь в том, что курю, — сказала она затем, — дело в том, что врач запретил мне куренье из-за моих легких.

— Значит, у вас нет гостей?

— Значит, у меня нет гостей.

— Я скоренько осматрю вашу квартиру, — заявляет комиссар и встает. — Нет, пожалуйста, не трудитесь. Я уж сам найду дорогу.

Он быстро прошел через две других комнаты, заставленных диванами, шкафами, креслами и кронштейнами. На миг он приостановился, вслушался, обратившись лицом к одному из шкафов, и улыбнулся.

Затем возвратился к фрейлейн Шэнлейн. Она стояла там же, где он оставил ее, — у стола.

— Мне сообщили, — сказал он, снова садясь, — что у вас бывает много гостей, и притом таких, которые обычно остаются ночевать, но вы о них никогда не заявляете. Вы знаете постановление, что вы обязаны заявлять?

— Мои гости, это почти всегда племянники и племянницы, они не остаются у меня дольше, чем на две ночи, кажется, я обязана заявить только при четвертой ночевке...

— У вас, видно, большущая семья, фрейлейн Шэнлейн, — задумчиво сказал комиссар. — Чуть ли не каждую ночь у вас остаются один, два, а иногда и три родственника.

— Это сильно преувеличено. Впрочем, у меня действительно семья очень большая. Шесть братьев и сестер, все женатые и замужние и все многодетные.

— И среди ваших племянниц и племянников есть даже почтенные старые мужчины и дамы?

— Их родители, конечно, тоже навещают меня иногда.

— Удивительно большое, удивительно общительное семейство... Да, что я еще хотел спросить: где у вас стоит ваш радиоприемник, фрейлейн Шэнлейн, я что-то не вижу его.

Она крепко сжимает губы: — У меня нет радиоприемника.

— Ну конечно! — кивает комиссар. — Ну конечно. Совершенно так же, как вы никогда не признаетесь, что курите. Но ведь музыка по радио не вредна для легких.

— Но она вредна для политических взглядов, — насмешливо отозвалась она. — Нет, у меня нет радиоприемника. Если слышно музыку у меня в квартире, то это патефон, вон он стоит на полке за вашей спиной.

— И говорит на иностранных языках, — закончил Эшерих.

— У меня очень много иностранных пластинок с танцевальной музыкой. Я не считаю преступлением даже сейчас, во время войны, ставить их иногда для моих гостей.

— Для ваших племянников и племянниц? Нет, в этом действительно не было бы никакого преступления.

Он встал, держа руки в карманах. Вдруг он заговорил совсем другим тоном, уже не насмешливо, а грубо: — А что вы скажете, фрейлейн Шэнлейн, если я вас сейчас прихвачу с собой, а здесь устрою небольшой наблюдательный пункт и оставлю у вас в квартире нашего тайного агента? Он бы мог встречать ваших гостей и заодно знакомиться с документами ваших племянников и племянниц. Может быть, кто-нибудь из гостей притащит с собой даже радиоприемник? Как вы полагаете?

— Я полагаю, — отозвалась фрейлейн Шэнлейн, все так же бесстрашно, — что вы с самого начала пришли меня арестовать. Поэтому все равно, что я скажу. Идемте! Могу я только надеть платье вместо этих спортивных брюк?

— Еще минутку, фрейлейн Шэнлейн! — крикнул ей вслед комиссар.

Она остановилась, и, уже держась за ручку двери, обернулась к нему.

— Еще одну минутку. Конечно, вы совершенно правильно сделаете, если перед своим уходом выпустите того господина, который сидит у вас в шкафу. Мне уже тогда, когда я проходил через вашу спальню, показалось, что ему там весьма душно. В шкафу наверно очень много нафталина...

Красные пятна на ее скулах исчезли; побелел как полотно, она неподвижно смотрела на него.

Он покачал головой. — Дети! Дети! — сказал он с насмешливой укоризной. — Да вас же можно голыми руками брать. И еще воображаете себя заговорщиками! И еще хотите бороться с нашим государством своими детскими фокусами? Да вы только себе вредите!

Она смотрела на него, оцепенев. Рот ее был плотно сжат, глаза лихорадочно блестели, она все еще держалась за ручку двери.

— Но вам повезло, фрейлейн Шэнлейн, — продолжал комиссар тем же легким тоном презрительного превосходства, — поскольку сегодня вы лично меня совершенно не интересуете. Я интересуюсь сегодня только господином в вашем шкафу. Может быть, когда у себя в кабинете я обдумаю ваше дело, я сочту своей обязанностью доложить о вас в соответствующем месте. Я говорю — может быть, наверно еще не знаю. А может быть, ваше дело покажется мне слишком пустяковым, особенно, принимая во внимание ваши легкие...

Вдруг она заговорила горячо и страстно: — Не нужно мне от вас никакой милости! Ненавижу вашу жалость! Мое дело не пустяковое! Да, верно, я систематически укрывала у себя политически неблагонадежных! Я слушала передачи из-за границы! Вот! Теперь вы знаете! Теперь вы уже не можете щадить меня — несмотря на мои легкие!

— Барышня! — насмешливо сказал он и окинул почти сострадательным взглядом эту странную фигуру старой девы в спортивных брюках и желтом с красными пуговицами джемпере. — У вас не только легкие, у вас и нервы! Полчаса допроса, и вы бы увидели, какая жалкая бессильная тряпка ваше тело! Очень неприятно, когда такую штуку относительно себя обнаружишь, подобного унижения собственного достоинства многие совсем не могут вынести, и потом сами мастерят себе петельку.

Он еще раз посмотрел на нее, задумчиво кивнул.

Затем сказал пренебрежительно: — И это называется бунтовщики!

Она содрогнулась, словно ее ударили хлыстом, но не ответила.

— Однако мы за приятной беседой совершенно позабыли о вашем госте в шкафу, — продолжал он, помолчав. — Идемте, фрейлейн Шэнлейн, если мы не вызволим его, он, пожалуй, там богу душу отдаст.

Энно Клуге действительно уже задыхался, когда комиссар вытащил его из шкафа. Комиссар положил маленького человечка на шезлонг и несколько раз сделал ему искусственное дыхание, чтобы в его легкие проник более чистый воздух.

— А теперь, — сказал он, посмотрев на женщину, безмолвно стоявшую тут же, — а теперь, фрейлейн Шэнлейн, оставьте нас одних с господином Клуге, по крайней мере, па четверть часика. Посидите в кухне, оттуда труднее всего подслушивать.

— Я никогда не подслушиваю!

— Нет, так же, как вы не курите и развлекаете патефоном только племянников и племянниц! Я позову вас, когда вы мне понадобится!

Он еще раз кивнул ей и, проверив, действительно ли она ушла в кухню, обратился к господину Клуге, кото- рый теперь сидел на диване и своими водянистыми глазами в страхе смотрел на комиссара. По его лицу уже катились слезы.

— Ну, ну, господин Клуге, — сказал комиссар успокоительно. — Это вас так обрадовала встреча со стариком Эшерихом? Значит, вы скучали обо мне? Говоря по правде, я тоже по вас соскучился и счастлив, что снова отыскал вас. Теперь мы уже так легко не расстанемся, дорогой господин Клуге!

Слезы ручьями полились из глаз Энно. Он судорожно всхлипывал: — Ах, господин комиссар, вы же мне наверняка обещали отпустить меня!

— Да разве я вас не отпустил? — спросил комиссар удивленно. — Но ведь это же не исключало того, что я вас опять заберу, когда по вас соскучусь. Может быть, мне нужно, чтобы вы еще один протокол подписали, а, господин Клуге? В качестве моего друга вы не откажете мне в таком маленьком одолжении? А?

Энно затрепетал от взора этих устремленных на него безжалостных насмешливых глаз. Он знал, что эти

глаза могут все что угодно из него вытянуть, он все сейчас же выболтает и тогда он пропал, пропал навек — так или иначе...

ГЛАВА 32

Эшерих И Клуге Отправляются На Прогулку

Когда комиссар Эшерих и Энно Клуге вышли из флигеля на Ансбахерштрассе, было уже совсем темно. Нет, не взирая на легкие фрейлейн Шэнлейн, комиссар все же не решился признать ее дело пустяковым. Эта старая дева готова была прятать у себя любого преступника, без всякого разбору. У Энно Клуге, например, она, видимо, даже не спросила имени и спрятала только потому, что его притащила к ней приятельница.

И фрау Гэберле тоже следует рассмотреть повнимательнее. Горе с этим народом! Сейчас, когда идет величайшая война за мировое господство, даже сейчас он все-таки бунтует. Куда ни повернись, везде подвох. Комиссар Эшерих был твердо уверен, что чуть не в каждой немецкой семье полным-полно всяких секретов и подвохов, стоит только покопаться. Почти у каждого — исключая, разумеется, преданных членов национал-социалистской партии, — совесть нечиста. Впрочем, он, конечно, поостерегся бы произвести такой обыск, как сейчас у Шэнлейн, у кого-нибудь из членов этой партии.

Итак, он оставил швейцара на страже в ее квартире. Швейцар, кажется, вполне надежный малый, кстати — тоже член национал-социалистской партии; нужно будет устроить ему какое-нибудь местечко с хорошим окладом. Это придает таким людям бодрость и обостряет зрение и слух. Награждать и наказывать — вот лучший способ править людьми.

Комиссар, взяв подруку Энно Клуге, направляется к столбу для афиш, за которым спрятался Боркхаузен. Но сейчас Боркхаузен вовсе не горит желанием увидеть своего прежнего друга; чтобы ускользнуть от его взгляда, он обходит столб. Однако комиссар, вдруг сделав крутой поворот, все же перехватывает его, и вот Эмиль и Энно стоят лицом к лицу.

— Добрый вечер, Энно, — говорит Боркхаузен и протягивает руку. Но Клуге не видит ее. Какое-то негодование пробуждается даже в этом жалком существе. Энно ненавидит Боркхаузена, ведь это он уговорил его пойти на ограбление, в результате которого Энно достались только побои, это он сегодня утром выжал из Хете тысячи, и все-таки предал его.

— Господин комиссар, — торопливо начал Клуге, — разве вам Боркхаузен не сказал, что он сегодня выманил у моей подруги фрау Гэберле две с половиной тысячи марок? Он за это обещал не трогать меня, а сам...

Комиссар только для того отыскал Боркхаузена, чтобы отдать ему деньги и отправить домой. Но теперь он разжимает пальцы, держащие в кармане пачечку кредиток, и с удовольствием прислушивается к грубому ответу Боркхаузена.

— А разве я тебя не отпустил, Энно? Если ты как идиот опять тут же попался, я уже не виноват. Я свое обещание сдержал.

— Ну, об этом мы еще потолкуем, Боркхаузен. А теперь катитесь-ка домой! — сказал комиссар.

— Сначала я хочу получить свои деньги, господин комиссар, — решительно заявляет Боркхаузен. — Вы мне твердо обещали пятьсот марок, если я вам этого Энно Клуге предоставлю. И вот вы его подручку держите, а теперь на попятный...

— Два раза вы за это дело денег не получите, Боркхаузен! — твердо прерывает его комиссар, — Вы уже получили две тысячи пятьсот!

— Но деньги-то все еще не у меня в руках, — почти кричит негодующий и расстроенный Боркхаузен: — Она же послала их по почте в Мюнхен, чтобы я им тут не мешал.

— Умная женщина! — одобрительно замечает комиссар. — Или это вы придумали, господин Клуге?

— И опять он врет! — горестно восклицает Энно. — Только две тысячи она перевела в Мюнхен, а пятьсот, даже больше пятисот он получил наличными! Обыщите его карманы, господин комиссар!

— Так их же у меня вытащили! На меня напала шайка подростков и все деньги вытащила! Можете обыскать меня с головы до ног, господин комиссар, у меня осталось только несколько марок, да и те были случайно в жилетном кармане.

— Вам, видно, вообще нельзя давать денег в руки, Боркхаузен, — заметил комиссар, покачивая головой. — Не умеете вы обращаться с деньгами. Такой здоровенный малый дал себя ограбить шайке подростков.

Боркхаузен снова начинает клянчить, требовать, убеждать, но комиссар приказывает — они дошли до Виктория-Луизеплац. — Ну-ка, отправляйтесь сейчас же домой, Боркхаузен!

— Господин комиссар, вы мне твердо обещали...

— Если вы сию же минуту не уберетесь в метро, я прикажу полицейскому забрать вас! Он вас сейчас же арестует за вымогательство!

И комиссар уже направляется к шуцману, а Боркхаузен, взбешенный и разозленный, этот горе-бандит, у которого каждый раз вырывают победу из-под носа, когда он вот-вот готов одержать ее — Боркхаузен спешит убраться с Виктория-Луизеплац. (Ну, берегись теперь, Куно-Дитер, дай мне только домой вернуться!)

Комиссар, действительно, обращается к шуцману, он называет себя и дает ему поручение арестовать фрейлейн Шэнлейн и пока подержать ее в участке. — Ну, скажем, за слушание вражеских радиопередач. Только прошу без всяких допросов. Завтра явится один из нас и заберет эту женщину. Всего, господин вахмистр!

— Хейль Гитлер, господин комиссар! — Так, — говорит комиссар, — когда они идут по Моцштрассе в сторону Ноллендорфплац. — Что же мы теперь предпримем? Я голоден и привык в это время есть. Знаете что, я приглашаю вас со мной поужинать. Вы, вероятно, не так уж отчаянно спешите к нам в гестапо. Боюсь, что с питанием у нас обстоит неважно, люди ведь так невнимательны, — иной раз по два, по три

дня ничего не приносят. Даже воды. Плохо организовано. Н-да, так как же, вы согласны, господин Клуге?

Эшерих приводит совершенно растерявшегося Клуге в небольшой винный погребок, где комиссара видимо знают. Комиссар кушает богато, на столе появляются не только превосходный и обильный ужин, вино и водка, но и настоящий кофе, пирожные и папиросы. При этом комиссар бесстыдно заявляет: — Может быть, вы воображаете, Клуге, что я за все это заплачу? Ничего подобного, это пойдет за счет Боркхаузена. Я плачу из тех денег, которые, собственно говоря, ему причитаются. Разве не здорово, что вы набиваете себе брюхо за счет той награды, которая была обещана за вашу поимку? Эта наша унифицированная справедливость!

Комиссар говорит и говорит, однако он, может быть, не так уж уверен в себе, как старается казаться. Он ест мало, зато много пьет и притом как-то слишком торопливо. Может быть, его снедает тайная тревога, он дергается, нервничает, что ему обычно не свойственно. Он то катает хлебные шарики, то вдруг ощупывает задний карман брюк и бросает при этом быстрый взгляд на Клуге.

Энно довольно безучастен. Он здорово наелся, но почти не пил. Он все еще совершенно растерян и не знает, как это понимать: арестован он или нет? Ни в чем он тут не может разобратся!

Но Эшерих ему объясняет: — Вот вы сидите, господин Клуге, — начинает он, — и дивитесь на меня. Я конечно наврал вам, вовсе я уже не так смертельно голоден, но мне нужно как-нибудь дотянуть до десяти часов. Нам предстоит совершить небольшую прогулку, и тогда выяснится, что мне с вами делать. Да, тогда выяснится.

Комиссар говорит все тише, раздумчивее, медленнее, и Энно Клуге подозрительно косится на него. Наверно опять какая-нибудь чертовщина кроется в этой прогулке в одиннадцатом часу вечера. Но какая? И как ускользнуть от нее? Этот Эшерих вцепляется в человека как дьявол, даже в уборную одного не пускает.

А комиссар продолжал: — Дело в том, что я одного человека могу застать только после десяти часов. А он живет за городом, в Шлахтензее, теперь понятно, господин Клуге? Это я и называю маленькой прогулкой.

— А я имею к нему какое-нибудь отношение? Я знаю этого человека? У меня нет никаких знакомых в Шлахтензее. Я всегда жил в районе Фридрихсхайна...

— Думаю, что вы его, может быть, все-таки знаете. Я хочу, чтобы вы его хорошенько рассмотрели.

— А когда я рассмотрю, и выяснится, что я его не знаю, тогда что? Что вы тогда со мной сделаете?

Комиссар равнодушно пожимает плечами. — Там видно будет. Но я полагаю, что вы этого человека знаете.

Оба смолкли. Затем Энно Клуге спросил: — Это опять имеет какое-то отношение к проклятой истории с открытками? Лучше бы я никогда вашего протокола не подписывал! Не следовало мне оказывать вам это одолжение, господин комиссар.

— Вот как? А знаете, пожалуй, вы правы, и для вас, и для меня было бы лучше, если бы вы никогда его не подписывали, господин Клуге! — Эшерих смотрит на своего соседа таким угрюмым взглядом, что Энно снова пугается. Комиссар замечает это.

— Ну, ну, — говорит он успокоительно, — там видно будет. Я думаю, мы сейчас еще выпьем по рюмке водки и поедем. Мне хотелось бы с последним поездом вернуться в город.

Клуге уставился на него в глубоком ужасе. — А я? спрашивает он дрожащими губами. — Я останусь... там?

— Вы? — комиссар рассмеялся. — Ну, вы конечно тоже уедете со мной, господин Клуге! Что вы смотрите на меня с таким ужасом? Я же не сказал ничего, что могло бы вас так напугать. Конечно, мы вместе вернемся и город, Вот кельнер несет нам водку. Обер, подождите, мы вам отдадим сейчас в обмен наши стаканы.

Вскоре они были уже на вокзале Цообанхоф. Они сели в поезд и когда вышли на остановке Шлахтензее, ночь была настолько черна, что они в первую минуту растерянно остановились на привокзальной площади. В затемненном поселке не было ни огонька.

В такой темноте мы ни за что не найдем дороги, — со страхом сказал Энно. — Господин комиссар, пожалуйста, давайте уедем обратно! Лучше уж я просижу ночь у вас в гестапо, чем...

Не говорите глупостей, Клуге! — грубо прервал его комиссар и решительно взял Энно под руку. — Вы что же воображаете, я полночи с вами канителюсь, чтобы повернуть обратно, когда до цели осталось каких-нибудь четверть часа ходу? — И продолжал, даже с некоторой мягкостью: Я уже теперь отлично вижу в темноте. Мы пойдем по этой вот тропинке, тут ближе всего до озера.

Молча двинулись они в путь, ощупывая ногами почву, остерегаясь незримых препятствий.

Через некоторое время сумрак перед ними как будто посветлел.

— Видите, Клуге, — сказал комиссар, — я знал, что могу положиться на свою способность ориентироваться. Вот и озеро!

Клуге промолчал, и молча зашагали они дальше.

Ночь была совершенно безветренная, всюду царило безмолвие. Ни души не встретили они. От неподвижной водной глади, которую они скорее чувствовали, чем видели, исходил тонкий серый свет, словно она возвращала бледнейший отблеск поглощенного ею днем сияния.

Комиссар откашлялся, точно желая что-то сказать, но промолчал.

Вдруг Энно остановился. Он вырвал руку из-под локтя своего спутника и почти крикнул: — Ни шагу я больше не сделаю! Если вы хотите что-нибудь совершить надо мной, давайте скорее, здесь, какая разница — сейчас или через четверть часа! Никто не может прийти мне на помощь! Наверное, уж полночь!

Как будто в ответ на эти слова, откуда-то донесся бой часов. Они звонили где-то неожиданно близко и громко в черной ночи. Оба невольно стали считать удары.

— Одиннадцать! — сказал комиссар. — Одиннадцать часов. До полуночи еще час. Пошли, Клуге, мы через пять минут будем на месте!

И он снова попытался взять Энно под руку.

Но Клуге опять вырвался с неожиданной силой: — Я уже сказал, что я ни шагу больше, ни одного шагу не сделаю!

Его голос сорвался от страха, так громко он крикнул. Испуганная болотная птица взлетела над камышами и снова тяжело опустилась.

— Не кричите так! — рассердился комиссар, — вы все озеро разбудите! — Потом сдержался: — Ну хорошо, отдохните минутку. Вы сейчас образумитесь. Сядем?

И он снова схватил Клуге за локоть. Энно сразмаху ударил по этой, протянувшейся к нему руке.

— Я не желаю, чтобы вы ко мне прикасались! Можете делать со мной, что хотите, но не смейте прикасаться!

Комиссар резко ответил: — Со мной не говорят таким тоном, Клуге! Кто вы? Просто трусливая, плюгавая, паршивая собачонка!

Комиссар тоже начинал нервничать.

— А вы? — закричал Клуге: — Кто вы? Убийца, вот кто, как подлец убиваете из-за угла!

Он сам испугался того, что сказал. И тут же забормотал: — Ах, простите меня, господин комиссар, я не то хотел сказать.

— Это все нервы... — отозвался комиссар, — вам нужно изменить образ жизни, Клуге, такой жизни ваши нервы не выдержат. Давайте-ка посидим вон там на лодочной пристани. Не тревожьтесь, я больше не притронусь к вам, раз вы так меня боитесь.

Они свернули к лодочной пристани.

Когда они вступили на мостки, доски закрипели. — Еще несколько шагов, — уговаривал комиссар своего спутника. — Лучше всего сядем на самом конце. Люблю посидеть вот так, когда кругом только вода.

Однако Клуге снова заартачился, он только что вел себя так решительно и смело и вдруг захныкал: — Не пойду я дальше! Ах, пожалейте же меня, господин комиссар! Не топите меня! Я не умею плавать, говорю вам прямо! Я всегда так ужасно боялся воды! Я вам какой хотите протокол подпишу! Помогите! Помо...

Комиссар сгреб свою жертву и понес барахтающегося человека на дальний конец мостков. Лицо Энно он прижал к своей груди, прижал так крепко, что Клуге уже не мог больше кричать. Так отнес он его на конец мостков и подержал над самой водой.

Если ты еще раз заорешь, собака, я тебя швырну туда!

Из груди Клуге вырвалось отчаянное рыдание. — Я не буду больше кричать, — прошептал он. — Ах, я все равно пропал, бросьте меня туда! Я не могу больше выдержать... Комиссар посадил его на край мостков и сел рядом. Так, — сказал он. — А теперь, когда ты убедился, что я сейчас же могу швырнуть тебя в озеро, и все-таки не делаю этого, ты, надеюсь, поймешь, что я не убийца? Клуге пробормотал что-то. Его зубы громко стучали. Так, а теперь послушай, мне нужно кое-что тебе сказать. Насчет того человека, которого ты здесь в Шлахтензеее будто бы должен опознать, все, конечно, вранье.

— А зачем?..

— Подожди. Я знаю также, что ты никакого отношения к этой истории с открытками не имеешь, а насчет протокола — я думал, так будет лучше, я хотел дать моему начальству хоть какой-нибудь след, пока я поймаю настоящего преступника. Вышло не лучше, а хуже. Теперь они желают тебя заполучить, Энно, эти важные господа из СС, и они намерены тебя допросить по-своему, со всеми своими штучками. Они верят протоколу и считают, что ты или сам писал открытки или, во всяком случае, агент того, кто писал, и они из тебя это признание выжмут, они все, что захотят, из тебя своими допросами выжмут, они выдавят тебя, как лимон, а потом убьют или сначала судить будут, что выйдет одно на одно, только мучительство затянется еще па несколько недель.

Комиссар сделал паузу, и вконец уstraшенный Энно, дрожа, прижался к тому, кого он только что назвал убийцей, словно ища у него защиты.

Вы же знаете, что я тут ни при чем! — лепетал он, заикаясь, — истинный бог. Вы не можете меня отдать им, я же там не выдержу, я буду кричать...

— Непременно будешь кричать, — бесстрастно подтвердил комиссар, — но им наплевать, им это только удовольствие доставит. Знаешь, Клуге, они посадят тебя на табуретку, а прямо перед тобой поставят рефлектор страшной силы, и ты будешь все время смотреть на него, и изнемогать от жары и нестерпимого света. И при этом они непрерывно будут допрашивать тебя, они будут сменяться, но тебя никто не сменит, как бы ты не был измучен. А когда ты упадешь от усталости, они поднимут тебя пинками и ударами кнута и будут поить тебя соленой водой, а когда окажется, что все это не действует, они тебе на пальцах каждый суставчик вывернут. Они будут лить тебе на ноги серную кислоту.

— Перестаньте, прошу вас, перестаньте, не могу я этого слышать.

— Не только выслушать, но и вытерпеть придется, один день, два, три, пять дней, днем и ночью, и при этом тебя будут морить голодом, так что у тебя желудок сморщится, как стручок, и будет так болеть внутри и снаружи, что хоть помирай. Нет, они так легко не отпустят, если попался к ним в капкан, они...

— Нет, нет, нет! — кричал Энно, зажимая уши. — Я ничего не хочу больше слушать! Ни одного слова! Лучше тогда сейчас же умереть!

— Да, я тоже так думаю, — согласился комиссар. — Тогда лучше сейчас же умереть.

Между обоими воцарилось глубочайшее молчание... Затем маленький человечек Энно Клуге вдруг сказал, затрепетав: — Только в воду я не хочу...

— Нет, нет, — успокоительно отозвался комиссар. — Этого и не нужно, Клуге. Видите, я принес вам тут кое-что другое, видите, какой хорошенький пистолетик. Достаточно вам прижать его к виску, — не бойтесь, я буду держать вашу руку, чтобы она не дрожала — и потом чуть согнуть палец... Вы никакой боли не почувствуете и сразу очутитесь далеко-далеко от всех этих гонений и преследований и наконец обретете покой и мир...

— И свободу, — задумчиво добавил маленький человек, — это опять в точности как тогда, когда вы

уговаривали меня насчет протокола, вы и тогда обещали мне свободу. А теперь это правда будет? Как ты думаешь?

Ну, конечно, Клуге. Это же единственная истинная свобода, о которой может быть речь по отношению к нам, людям. Да, я уже не смогу тебя еще раз поймать и мучить. Никто не сможет. Ты будешь оттуда надо всеми нами смеяться...

— А что будет потом, после покоя и мира? Что-нибудь еще будет? Потом? Как по-твоему?

— Не думаю, чтобы потом еще что-нибудь было... ни страшного суда, ни ада. Там будет только покой и мир.

А для чего же я тогда жил? Почему я так мучился? Я же ничего не сделал хорошего, я не дал ни одному человеку радости. Никогда я никого по-настоящему не любил.

Н-да, — заметил комиссар, — героем тебя не назовешь, Клуге. И ничего полезного ты тоже не сделал. Но охота тебе сейчас об этом раздумывать. Теперь уже, во всяком случае, поздно, сделаешь ли ты то, что я тебе предлагаю, или поедешь со мной в гестапо. Уверю тебя, Клуге, через какой-нибудь час ты будешь на коленях молить, чтобы тебя пристрелили. Но пройдет много-много часов, прежде чем они тебя домучают до смерти.

Нет, нет, — сказал Энно Клуге. — К ним я не поеду. Дай-ка мне пистолет, — вот так, я верно держу?

— Да...

— А куда приставить? Вот тут к виску?

— Да...

— А потом положить палец вот сюда на гашетку? Я попробую осторожно, я еще не хочу... мне немного поговорить с тобой надо.

— Тебе совершенно нечего бояться, пистолет еще на предохранителе.

— Пойми, Эшерих, ты последний человек, с которым я говорю. Потом будет только покой и мир, и никогда уж, ни с одним человеком я не смогу поговорить.

Он зябко повел плечами.

— Если ты приставишь пистолет к виску и нажмешь гашетку, то тебя ждут потом только покой и свобода.

Энно близко наклонился к комиссару и прошептал: —³ Ты можешь обещать мне одно, только наверное, Эшерих?

— Да. В чем дело?

— Но только ты свое обещание сдержи.

— Если смогу, сдержу.

— Не дай мне соскользнуть в воду. Воды я боюсь. Оставь меня лежать тут, на сухой пристани.

— Ну конечно, это я тебе обещаю.

— Хорошо, дай мне на том свою руку.

— Вот.

— А ты меня не обманешь, Эшерих? Видишь ли, я просто жалкая мелкая мразь, и не так уж важно, обманут меня или нет. Но ты все-таки меня не обманешь?

— Наверняка не обману, Клуге!

— Дай мне еще раз пистолет, Эшерих, — а теперь ты спустил предохранитель?

— Нет, еще нет, только когда ты скажешь;

— Вот так — я правильно приставил? Да? Я уже почти, не чувствую, какое дуло холодное, я сам холодный, как дуло. Знаешь ты, что у меня есть жена и дети?

— Я даже говорил с твоей женой, Клуге.

— О! — Энно был так заинтересован, что сразу же опустил револьвер. — Она здесь в Берлине? Мне очень хотелось бы еще раз поговорить с ней.

— Нет, не в Берлине, — ответил комиссар, проклиная себя за то, что изменил своему основному правилу, — никогда не сообщать никаких сведений. Вот вам сразу же и результаты! — Она все еще под Руппином у родных. И лучше тебе уж не говорить с ней, Клуге.

Что же, она нехорошо обо мне отзывается?

Да, она плохо о тебе отзывается.

Жалко, — сказал человек. — Жалко. В сущности, кик чудно, Эшерих. Я ведь просто тля, меня никто любить не может. А вот ненавидеть — многие меня ненавидят.

Не знаю, ненависть ли это у твоей жены, мне кажется, она хочет только, чтобы ты оставил ее в покое. Ты мешаешь ей...

— А что, пистолет еще на предохранителе, комиссар?

— Да, — ответил комиссар, изумленный тем, что Клуге, который за последние четверть часа как будто со-всем успокоился, вдруг опять так разволновался. — Да, пистолет на предохранителе. Какого чорта?!

Выстрел блеснул огнем, так близко от его глаз, что Эшерих, застонав, повалился на доски и, все еще чувствуя себя ослепшим, прижал руки к глазам.

А Клуге шептал ему на ухо: — Я же знал, что не на предохранителе! Опять ты хотел обмануть меня! А теперь ты у меня в руках, теперь я дам тебе твой покой и мир... — Он приложил пистолет ко лбу комиссара, он захихикал: — Чувствуешь, какой холодный? Это покой и мир, это лед, в котором мы будем похоронены на веки вечные...

Комиссар, кряхтя, поднялся. — Ты нарочно это сделал, Клуге? — сурово спросил он и с трудом открыл глаза, словно оторвав саднящие опаленные веки от ломивших глаз. Ему чудилось, что сидевший рядом с ним — просто черный комок — еще чернее ночи.

Да, нарочно, — захихикал тот. Это было покушение на убийство, — сказал ко-миссар.

По ты же сказал — пистолет на предохранителе! Комиссар наконец уверился, что с его глазами ничего не случилось.

— Я тебя сейчас в воду швырну, сволочь! И это будет только убийство при самозащите, — и он схватил человека за плечо.

Нет, нет, пожалуйста нет! Пожалуйста! Я сделаю это, определенно сделаю. Только не в воду! Ты же мне по правде обещал...

Комиссар крепко держал его за плечо. — Ах, вздор! Без хныканья! Никогда у тебя мужества нехватит! В воду!

Два выстрела мгновенно последовали один за другим. Комиссар почувствовал, как тело Энно в его руках обмякло, оно стало быстро оседать. Эшерих сделал было какое-то движение, когда мертвый Энно соскользнул с мостков. Руки комиссара словно хотели его удержать. Но он только пожал плечами.

Тело грузно шлепнулось в воду и сейчас же исчезло.

Так лучше, сказал себе Эшерих и облизнул пересохшие губы. Меньше улик...

Он постоял еще с минуту, не зная, столкнётся ли также в воду лежавший на мостках пистолет или нет. Затем так и оставил его. Медленно пошел он прочь от пристани, поднялся по береговому склону и направился к вокзалу.

Вокзал был уже заперт, последний поезд ушел. Комиссар хладнокровно решил прошагать пешком весь долгий путь до Берлина.

Опять раздался бой часов.

Полночь, подумал комиссар. Все-таки дело сделано. Полночь. Хотел бы я знать, как ему нравится его покой, очень хотел бы! Считает ли он, что его опять обманули? Мразь, маленькая, скулящая мразь!

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. ИГРА ОБЕРНУЛАСЬ ПРОТИВ КВАНГЕЛЕЙ

ГЛАВА 33 Трудель Хергезель

Хергезели поехали поездом из Эркнера в Берлин. Да, уже не существовало Трудель Бауман: упорная любовь Карла победила, они поженились, и теперь, в год бедствий 1942, Трудель была на пятом месяце беременности.

Вступив в брак, оба перестали работать на фабрике военного обмундирования; после тяжелой истории с Григолейтом и Еншем им было там не по себе. Он нанялся на химическую фабрику в Эркнере, а Трудель подрабатывала шитьем па дому. Воспоминание о поре их нелегальной деятельности вызывало в обоих чувство тайного стыда: оба они считали себя отступниками; вместе с тем, оба говорили себе, что для такой деятельности, которая требует полного отказа от своего «я», они не годятся. Теперь они жили только ради личного, домашнего счастья и заранее предвкушали радость иметь ребенка.

Когда они покинули Берлин и переехали в Эркнер, они предполагали, что будут жить там совершенно спокойно. Как и многие столичные жители, они воображали, будто взаимная слежка только в Берлине так невыносима, а в провинции, в маленьком городке, сохранилась еще какая-то добропорядочность. Но и им, подобно многим столичным жителям, пришлось убедиться на опыте, что доносы, подслушивание, добровольный сыск в маленьком городке и десять раз хуже, чем в столице. В маленьком городке нельзя затеряться в толпе, каждый виден со всех сторон, его личная жизнь быстро становится известной, разговоров с соседями почти невозможно избежать, а с тем, как такие разговоры извращаются, им уже не раз приходилось сталкиваться.

Ввиду того, что они не были членами национал-социалистской партии, при всяких сборах старались вносить как можно меньше, стремились жить уединенно и только для себя, охотнее сидели дома и читали, вместо того чтобы ходить на собрания, что Хергезель, со своими длинными, вечно растрепанными волосами и темным пылающим взглядом имел вид заправского социалиста и пацифиста (по мнению коричневой братии), а Трудель однажды заявила, что евреев нельзя не пожалеть, ввиду всего этого молодую пару очень скоро стали считать политически неблагонадежными, каждый их шаг был известен, о каждом их слове доносили куда следует.

Хергезели очень страдали от атмосферы, окружавшей их в Эркнере. Но они внушали себе, что это не беда и что с ними ничего не может приключиться, они же ничего враждебного против государства не делают. А думать каждый волен, как он хочет, говорили они, но им следовало бы знать, что в этом государстве человеку запрещается даже думать.

Поэтому они все чаще искали утешения в своей любви. Они походили на двух любящих во время наводнения: уносимые волнами, среди рушащихся домов и тонущей скотины, они крепко вцепились друг в друга и надеются, что благодаря своей любви избегнут общей гибели. Они еще не понимали, что в этой ополчившейся на весь мир Германии личное счастье уже давно упразднено и человеку некуда податься, ибо каждый немец лишь частица единой Германии и обязан нести бремя общей судьбы.

Хергезели расстались на Александерплац. Ей нужно было отнести работу на Малую Александерштрассе, а он хотел посмотреть детскую коляску, которую, согласно объявлению, предлагали в обмен. Они условились снова встретиться в обеденное время на вокзале, и каждый пошел своей дорогой. Трудель Хергезель, которой, после недомоганий первого времени, теперь, на пятом месяце, беременность давала только небывалое чувство уверенности в себе и счастья, торопливо свернула на Малую Александерштрассе и вошла в подъезд.

Вперед не по лестнице поднимался какой-то мужчина. Она видела его только сзади, но тотчас, по характерной манере держать голову, по особенно прямой, словно негнущейся шее, долгой фигуре и крутым плечам, узнала Отто Квангеля, отца ее бывшего жениха, человека, которому она некогда выдала тайну подпольной группы.

Невольно она пошла медленнее. Было ясно, что Квангель еще не заметил ее. Он поднимался неторопливыми, но ровными и решительными шагами. Она следовала за ним, отставая на десяток ступеней, готовая тут же остановиться, как только Квангель позвонит у одной из дверей этого дома, где помещался ряд контор. Но он не позвонил, и она увидела, как он остановился возле лестничного окна,

вынул из кармана открытку и положил ее на подоконник. В этот миг его глаза встретились с глазами наблюдавшей за ним молодой женщины. Однако Квангель, если и узнал Трудель, то и виду не подал. Он прошел мимо и спустился вниз по лестнице, даже не взглянув на нее.

Едва он достиг следующего этажа, как она бросилась к окну и схватила открытку. Она прочла только первые слова: «Неужели вы до сих пор не поняли, что фюрер постыдно обманывал нас, когда он заявлял, будто Россия вооружается, чтобы напасть на Германию?»...

Тут Трудель поспешила вслед за Квангелем.

Она догнала его, когда он уже выходил на улицу, пошла рядом с ним вплотную и сказала: — Ты разве не узнал меня, отец? Ведь это я, Трудель, невеста твоего Оттохен.

Он повернул голову. Никогда еще эта голова не казалась ей такой сухой и птичьей. На миг ей подумалось, что он не захочет признать ее, но он коротко кивнул и сказал: А ты хороши выглядишь, девушка!

Да, — отозвалась она, и ее глаза засияли. — И я чувствую себя такой сильной и счастливой, как еще никогда в жизни. Я ведь замуж вышла. Ты не сердись, отец?

— Что же тут сердиться? На твое замужество? Не будь дурочкой, Трудель, ты молодая, а уже скоро два года, как Оттохен умер. Нет, даже Анна не стала бы корить тебя, что ты вышла замуж, а она все еще каждый день думает о своем Оттохен.

— А что мама?

— Как всегда, Трудель, в точности как всегда. Для пас, стариков, жизнь уже не меняется.

— А все-таки! — сказала она и остановилась. — Все-таки! — Лицо ее стало очень серьезным. — Все-таки у нас много кой-чего изменилось. Помнишь, мы стояли с тобой в коридоре швейной фабрики под объявлением, где было написано про казнь? Ты тогда предостерегал меня...

— Я не знаю, о чем ты говоришь, Трудель. Старики многое забывают.

— А сегодня я предостерегаю тебя, отец, — продолжала она вполголоса, но с еще большей настойчивостью. — Я видела тебя, когда ты подбросил открытку на лестнице, эту страшную открытку, она у меня вот тут в сумке.

Он смотрел на нее, не отводя холодного взгляда, в котором как будто вдруг блеснуло недовольство.

Она прошептала: — Отец, ведь ты головой рискуешь. И другие могли тебя увидеть, не только я. Мать знает, что ты делаешь такие вещи? Ты часто это делаешь?

Он молчал очень долго, и она уже решила, что он не хочет отвечать. Но он сказал: — Ты же знаешь, Трудель, я ничего без матери не делаю.

— О! — воскликнула она, и слезы выступили у нее на глазах. — Этого-то я и боялась! Ты и маму погубишь!

— Мать потеряла сына! И она все еще страдает — не забывай, Трудель!

Ее щеки заалели, словно он в чем-то упрекнул ее. — Я не думаю, — пролепетала она, — чтобы Оттохен был доволен, если бы знал, что его мать пошла на такие дела.

— Каждый идет своей дорогой, Трудель, — холодно отозвался Отто Квангель. — Ты своей, а мы своей. Да, мы идем своей дорогой. — Он резко дернул головой — назад, потом вперед, словно клюющая птица. — А теперь, нам пора распрощаться. Желаю тебе счастья с твоим маленьким, Трудель. Я передам матери от тебя поклон — может быть.

И его уже не было подле нее.

Затем он еще раз вернулся. — Открытку, — сказал он, — ты не оставляй в сумке, — понимаешь? Положи куда-нибудь, как я. А мужу ты не скажешь ни слова об этом, обещаю мне, Трудель!

Она тихонько кивнула и только посмотрела на него со страхом.

— И потом ты забудешь о нас. Ты все решительно забудешь насчет Квангелей; если ты меня еще когда-нибудь увидишь, ты меня не знаешь, понятно?.

И опять она молча кивнула.

— Ну, так желаю счастья, — повторил он и на этот раз действительно ушел, а ей хотелось еще так много сказать ему.

Когда Трудель подбросила открытку Отто Квангеля, она пережила все страхи преступника, который трепещет, что вот-вот его накроют. Она так и не решилась дочитать открытку до конца. Таким образом, трагическая судьба постигла и эту открытку Отто Квангеля, ее нашел близкий ему человек, и вместе с тем она тоже не выполнила своего назначения. Она тоже оказалась написанной зря, и у нашедшей ее было только одно желание — как можно скорее от нее отделаться.

Когда Трудель положила открытку на тот же самый подоконник, на который ее положил Отто Квангель (ей даже и в голову не пришла мысль о каком-нибудь другом месте), она торопливо взбежала по нескольким оставшимся ступеням и позвонила у двери той юридической конторы, секретарше которой она шила платье, — из украденного во Франции материала, присланного секретарше одним другом, состоявшим в зондердивизии.

Во время примерки Трудель бросало то в жар, то в холод, наконец в глазах у нее потемнело, и ей пришлось полежать в комнате адвоката — он был в суде, — а затем выпить чашку кофе, настоящего крепкого кофе (украденного в Голландии другим другом, состоявшим в эсэсовских частях).

Но в то время как весь персонал конторы заботливо хлопотал вокруг нее — о ее положении нетрудно было догадаться, — в это время Трудель Хергезель думала: он прав, я ни в коем случае не должна говорить об этом Карлу. Только бы маленькому не повредило, я так ужасно разволновалась.

Когда она наконец опять спустилась по лестнице, открытки на подоконнике уже не было. Трудель облегченно вздохнула, но чувство облегчения скоро исчезло. Она никак не могла отвлечься, она все вновь и вновь возвращалась к вопросу о том, кто же нашел открытку, испытал ли он такой же ужас, как она, и как он с открыткой поступил.

Она вернулась на вокзал уже не с таким легким сердцем, как пришла сюда. Ей, собственно, следовало сделать еще несколько покупок, но она была просто не в состоянии. Молодая женщина тихонько уселась в

зале. Она жаждала только одного, чтобы Карл поскорее пришел. Когда Карл будет здесь, этот страх, казалось все еще сковывавший ее члены, пройдет; даже если она ему ничего не скажет, уже одно его присутствие прогонит этот страх.

Она улыбнулась и закрыла глаза. Хороший Карли, мой единственный Она заснула.

ГЛАВА 34

Карл Хергезель И Григолейт

У Карла Хергезеля дело с обменом детской коляски так и не выгорело, и он был глубоко возмущен. Оказалось, что коляске по меньшей мере двадцать, двадцать пять лет, совершенно допотопный фасон, вероятно, еще Ной отвез в ней своего младшенького на ковчег. А старуха требовала за нее фунт шпига! Уперлась как бык и заладила одно: — У вас там в деревне все есть! У вас там всяких жиров хоть завались!

Просто нахальство, чего только люди не выдумают! Тщетно заверял ее Хергезель, что Эркнер никакая не деревня и что им не выдают ни одного лишнего грамма по сравнению с Берлином. Что он простой рабочий и не в состоянии платить бешеные деньги.

— А вы что же воображаете, я бы рассталась с такой ценной вещью, если уж не за что-нибудь очень хорошее?. Да я в ней своих двух ребят вырастила. Вы, небось, хотели взять ее за рваную сотню? Нет, дорогой, не на таковскую напали, поищите себе другую дуру!

Хергезель, который не дал бы и пятидесяти марок за этот рыдван с высокими колесами и старчески дрожащими рессорами, настаивал на своем: это просто наглость, кроме того, ее можно и к ответственности привлечь — есть запрещение требовать жиры за товары.

— Привлечь! — старуха презрительно засопела. — К ответственности! А вы попробуйте-ка, молодой человек, заявите на нас! Да мой муж старшим вахтером в полиции служит! Никогда не привлекут нас ни к какой ответственности! А ну, выкатывайтесь сейчас же из моей квартиры!

Я не позволю, чтобы на меня орали в моем собственном доме! Считаю до трех, и если вы не уберетесь, я заявлю на вас куда следует — за хулиганство в частном доме.

Однако перед уходом Карл Хергезель все же выложил ей всеми словами, что он о ней думает. Он подробно разъяснил ей, какого он мнения о таких спекулянтах: они желают разжиться за счет тех немцев, которым тяжело живется. Наконец он ушел, все еще возмущаясь.

И тут-то, еще не остыв, он встретился с Григолейтом, его товарищем из той эпохи его жизни, когда они еще боролись за лучшее будущее.

— А, Григолейт, — сказал Хергезель, когда на него чуть не налетел долговязый человек с высоким лбом, тащивший два чемодана и портфель: — А, Григолейт, ты опять в Берлине? — Он схватил один из чемоданов: — Норт, ну и тяжелый! Ты идешь на Алекс? Я тоже. Я Донесу тебе чемодан.

Григолейт неохотно улыбнулся. — Ну ладно, Хергезель, это очень любезно с твоей стороны, ты видно, остался прежним, всегда готов помочь. Что ты подделываешь? И что подделывает эта тогдашняя хорошенькая девочка — как ее звали, забыл!

— Трудель, Трудель Бауман. Впрочем я на этой тогдашней хорошенькой девочке женился, и у нас будет ребенок.

— Этого надо было ожидать. Желаю счастья. — Перемены в жизни Хергезелей, видимо, не слишком интересовали Григолейта, тогда как для Карла они были неустанно бьющим источником радости.

— А что ты подделываешь, Хергезель? — продолжал расспрашивать Григолейт.

— Я? То есть, ты имеешь в виду, где я работаю? Опять электротехником на химической фабрике в Эркнере.

— Нет, я имею в виду, что ты действительно делаешь, Хергезель, — для нашего будущего!

— Ничего, Григолейт, — ответил Хергезель, испытывая какое-то смутное чувство вины. И он принялся объяснять: — Видишь ли, Григолейт, мы поженились, мы молоды и живем только друг для друга. Какое нам дело до внешнего мира с этой его чортовой войной? Мы счастливы, что у нас будет малыш. Видишь ли, Григолейт, это тоже кое-что. Если мы постараемся остаться честными и воспитаем его честным человеком...

— Трудновато будет в этих условиях, которые нам устроили коричневые! Да уж ладно, Хергезель, от вас ничего другого и ожидать нельзя было. Вы всегда больше думали брюхом, чем головой.

От гнева Хергезель весь залился краской. Это просто безобразие, как с ним говорит Григолейт. Причем тот, видимо, вовсе не хотел обидеть его, ибо даже не заметил волнения своего спутника и невозмутимо заговорил снова: — Я продолжаю, и Енш тоже. Нет, не здесь, не в Берлине. Теперь мы обосновались гораздо западнее, то есть я-то не обосновался, я постоянно разъезжаю, вроде так сказать, курьера...

— И вы, действительно, надеетесь на какие-то результаты? Десяток заговорщиков против такой гигантской машины!..

— Во-первых, нас не десяток. Каждый честный немец, а два-три миллиона их все-таки еще наберется, будет помогать нам. Главное для них — побороть страх. Но все это скоро изменится. Еще некоторое время Гитлер, может быть, и будет побеждать, а затем начнутся контрудары, он допобеждается до собственной гибели. И налеты будут все учащаться... -

— А во-вторых? — спросил Хергезель, которого эти военные прогнозы Григолейта несколько не интересовали. — Во-вторых?..

— Во-вторых, знай, милый мой хитрец, дело вовсе не в том, много нас или немного борется с гитлеровским режимом, а в том, что если ты признал что-нибудь правильным, так надо за это и бороться. Ты ли дождешься плодов этой борьбы или только тот, кто займет твое место — совершенно все равно. Я не могу просто сложить руки и заявить: «Они, правда, свиньи, но какое мне до этого дело?»

— Да, — отозвался Хергезель. — Но ты не женат, тебе не нужно заботиться о жене и ребенке...

— Ну, заладил! — воскликнул Григолейт. — Перестань, пожалуйста, повторять этот проклятый

сентиментальный вздор! Ты же сам не веришь ни одному своему слову! Жена и ребенок! Да неужели ты, идиот этаким, не понимаешь, что. я бы уже двадцать раз мог жениться, если бы хотел обзавестись семьей? Но я не сделаю этого! Я говорю себе, что только тогда буду иметь право на личную жизнь, когда на этой земле для такой жизни место очистится. А чтобы место нашлось, нужно сначала потрудиться.

— Мы очень далеко разошлись с тобой, — с унынием пробормотал Хергезель, — я же ни у кого ничего не отнимаю своим счастьем!

— Нет, ты просто крадешь. Крадешь у матери ее сына, у жены — мужа, у девушки — ее друга, пока ты допускаешь, чтобы их ежедневно расстреливали тысячами, и пальцем не шевельнешь, чтобы остановить убийство. Все это ты отлично знаешь; может быть, ты даже хуже иного тупоголового нациста. Ты знаешь, что происходит кругом и все-таки никак не борешься.

— Слава богу, вот и вокзал, — сказал Хергезель и поставил на землю тяжелый чемодан. — И мне уже не нужно будет выслушивать, как ты смешиваешь меня с грязью. Если бы мы еще побыли вместе, ты бы в конце концов решил, что не Гитлер, а Хергезель затеял всю эту войну.

— Да, и ты тоже! Конечно в переносном смысле. Говоря точнее, только твоя толстокожесть дала ему возможность затеять ее.

Но тут Хергезель громко рассмеялся, и даже мрачный Григолейт, взглянув в лицо своего смеющегося спутника, снизошел до легкой усмешки.

— Ну, да бросим все это! — сказал Григолейт. — Мы никогда не пойдем друг друга, ты не тем местом думаешь! — Он провел рукой по высокому лбу. — Но ты мог бы оказать мне маленькую услугу, Хергезель.

— С удовольствием, Григолейт.

— У меня тут этот тяжеленный чемоданище, ты только что тащил его. Через час я еду дальше в Кенигсберг, там мне чемодан совершенно не нужен. Ты мог бы на это время взять его к себе?

— Да понимаешь, Григолейт, — начал Хергезель и с неприязнью посмотрел на тяжелый чемодан. — Я ведь говорил тебе, что живу теперь за городом, в Эркнере. Его придется туда тащить, это довольно далеко. Почему ты просто не отдашь его на хранение?

— Да почему-почему... Да потому, что я этим молодцам здесь не доверяю. У меня там все белье, и башмаки, и новый костюм. А здесь бессовестно воруют. И потом — бомбы — томми особенно охотно бомбят вокзалы, — а тогда я лишусь решительно всего, что имею. Ну, соглашайся, Хергезель! — настаивал он.

— Да уж ладно. Жена недовольна будет, Только для тебя. А знаешь, Григолейт, лучше я жене ничего не скажу о том, что встретил тебя. Она ведь взволнуется, а ей и ребенку это вредно в ее теперешнем положении, ты понимаешь?

— Хорошо, хорошо. Делай как хочешь. Главное сбереги мне чемодан. Примерно через неделю я буду здесь опять проездом и заберу этого слона. Скажи мне свой адрес. Хорошо, хорошо! Значит, до скорого, Хергезель!

— До скорого, Григолейт.

Карл Хергезель вошел в зал ожидания и стал искать Трудель. Он нашел ее в темном уголке, куда она забилась, голова ее была откинута на спинку дивана, молодая женщина крепко спала. Мгновение он смотрел на нее. Она спокойно дышала, спокойно поднималась и опускалась полная грудь. Рот был чуть приоткрыт, а лицо очень бледное. Оно казалось озабоченным, и на лбу стояли мелкие прозрачные бисеринки пота, словно Трудель перед тем чрезвычайно утомилась.

Он смотрел на любимую. Затем, вдруг приняв решение, схватил чемодан Григолейта и потащил в камеру хранения. Нет, для Карла Хергезеля сейчас самое главное на свете, это чтобы Трудель не тревожилась и не волновалась. Если он отвезет чемодан в Эркнер, ему придется рассказать и относительно встречи с Григолейтом, а он знал, что всякое напоминание о прошлом ее глубоко взволнует.

Когда Хергезель с квитанцией в кармане вернулся в зал ожидания, оказалось, что Трудель уже проснулась и как раз подкрашивает себе губки. Она улыбается ему, лицо ее бледновато, она спрашивает: — Что это за невероятный чемодан, с которым ты только что таскался? Неужели в нем детская коляска, Карли?

— Невероятный чемодан? — он прикидывается удивленным. — У меня нет никакого чемодана. Я только что пришел, а насчет коляски дело не выгорело, Трудель.

Она с удивлением смотрит на Карла. Муж обманывает ее? Но чего ради? Какие у него секреты? Ведь она только что видела совершенно ясно, как он стоял с чемоданом возле стола, а затем повернулся и куда-то потащил чемодан.

— Но как же, Карл, — говорит она слегка обиженно. — Ведь я сейчас видела тебя — ты стоял с чемоданом у стола.

— Откуда же у меня может быть чемодан? — отозвался он с легким раздражением. — Тебе приснилось, Трудель!

— Я не понимаю, почему ты вдруг вздумал меня обманывать! Мы никогда еще друг друга не обманывали!

— Я тебя не обманываю, не смей так говорить! — Он волнуется все сильнее, у него совесть нечиста. Затем, сделав над собой усилие, он продолжает спокойнее. — Я же сказал тебе — я только что пришел. А насчет чемодана — ничего не знаю, тебе приснилось, Трудель!

— Так, так, — говорит она, не сводя с него глаз. — Так, так! Ну ладно, Карли. Значит, мне приснилось. Не будем больше об этом говорить.

Она опускает глаза. Ей очень больно, что у него от нее секреты, и эта боль тем мучительнее, что и у нее от него секреты. Ведь она обещала Отто Квангелю ничего не говорить мужу об их встрече и, тем более, об открытке. Но у мужа и жены никаких тайн не должно быть друг от друга. А вот теперь и у него они есть.

Карла Хергезеля тоже мучит стыд. Какой позор — так бессовестно лгать любимой, да он еще и накричал на нее, за то что она сказала правду. Он борется с собой, — не рассказать ли ей о встрече с Григолейтом? Затем решает: нет, это еще больше взволнует ее.

— Прости, Трудель, — и он торопливо сжимает ей руку, — прости, что я на тебя взъелся. Но меня до

того разозлила эта история с коляской... нет, ты послушай...

ГЛАВА 35

Первое Предостережение

Нападение Гитлера на Россию дало новую пищу Квангелю для гнева на этого подлого злодея. В этот раз он следил за подготовкой наступления во всех ее деталях. Поэтому ничто не удивило его — начиная с первого скопления войск у «наших границ» и кончая вторжением. Он с самого начала знал, что они лгут, эти Гитлер-Гейбельс-Фритче, каждое слово их было грязью и ложью. Никого не могут они оставить в покое, и, охваченный гневным негодованием, он в одной из открыток написал: «Гитлер вероломно напал на Россию! Никто из русских и не думал о войне!»

Подходя теперь и цеху к кучке беседующих рабочих, он иногда жалел, — если разговор шел о политике, — что они тут же расходятся. Он охотно слушал, что люди говорят о войне.

Тотчас же воцарялось угрюмое молчание, разговоры стали делом слишком опасным. Разоблаченный столяр Дольфус был давным-давно снят, а о том, кто является его преемником, Квангель мог только гадать. Одиннадцать человек из его цеха, в том числе — двое мужчин, работавших на мебельной фабрике уже свыше двадцати лет, исчезли бесследно, некоторых взяли прямо на работе, другие однажды утром не пришли. Никто не объяснил, куда они делись, и это доказывало, что они где-то как-то сказали лишнее, и им пришлось отправиться в концлагерь.

Вместо этих одиннадцати появились новые, и старый мастер не раз спрашивал себя — а может быть, все они шпики, а может быть, одна половина рабочих шпионит за другой, и наоборот. Весь воздух буквально провонял предательством. Ни один человек не доверяет другому, и в этой ужасной атмосфере люди, кажется, все более тупеют и становятся как бы только частями тех машин, которые они обслуживают.

Но иногда из этой приглушенности взмывал, точно пламя, яростный гнев — как тогда, когда рабочий сунул руку под пилу, крича: — Чтобы он сдох, этот Гитлер! И он сдохнет так же наверняка, как я сейчас себе руку отпилю!

Им с трудом удалось вырвать этого безумца из машины, и о нем конечно больше никто никогда не слышал. Вероятно, он давно умер, это было бы для него лучше! Да, требовалась чертовская осторожность, не каждый ведь пользуется таким доверием, как эта старая отупевшая ломовая лошадь, этот Отто Квангель, который, кажется, только одним и интересуется, чтобы они выработали свою ежедневную норму гробов. Да, гробы! От ящиков для бомб они опустились до гробов, убогих, дощатых, из самого дешевого тонкого бракованного материала, кое-как покрашенных в коричневый с черным.

Фабрика выпускала тысячи, десятки тысяч таких гробов, целые товарные поезда гробов, целый вокзал был забит такими поездами, много вокзалов.

Квангель, вытянув шею и зорко следя за каждой машиной, нередко размышлял обо всех тех людях, которые в этих гробах уходили в могилу, загубленные жизни, бессмысленно загубленные жизни, если правда, что гробы предназначены для жертв воздушных налетов, то есть, главным образом, для стариков, матерей и ребят... Или их отправляют в концентрационные лагеря, каждую неделю по несколько тысяч шук — для тех, кто не смог скрыть свои убеждения или не хотел их скрыть — каждую неделю по несколько тысяч гробов в один лагерь. Или, может быть, этим товарным поездам с гробами действительно предстоит дальний путь на фронты? Этому Отто Квангель не очень-то верил, какое им дело до каких-то там убитых солдат! Мертвый солдат для них не больше, чем мертвый крот.

В электрическом свете холодный птичий глаз поблескивает зло и сурово, голова рывками откидывается назад, тонкогубый рот крепко сжимается. Никто даже и не подозревает о том мятеже, о том негодовании, которые живут в груди этого человека, а он знает, что ему слишком много еще нужно сделать, он знает, что призван для выполнения великой задачи, и пишет теперь не только по воскресеньям: он пишет и в будни, до начала работы. После нападения на Россию он пишет порой целые письма, на них уходят два дня, но его гнев должен иметь выход.

Квангель вынужден признать: он уже не соблюдает былой осторожности. Все это благополучно продолжается уже два года, никогда на него не пало ни малейшего подозрения, он привык чувствовать себя в безопасности.

Первым предостережением для него явилась встреча с Трудель Хергезель. Ведь вместо нее на лестнице мог оказаться и кто-то другой, а тогда им с Анной был бы конец! Нет, вопрос не в нем и не в Анне; вопрос только в том, чтобы работа велась, сегодня и все будущие дни. И ради этой работы снова надо стать осторожнее. Он допустил, чтобы Трудель наблюдала за ним, когда он подбрасывал открытку, это было с его стороны непрослительным легкомыслием.

Между тем Квангель и не подозревал, что комиссар Эшерих к этому времени уже из двух источников получил описание его личности. Уже дважды за Квангелем наблюдали, когда он подбрасывал свои открытки, оба раза это были женщины, они потом с любопытством прочли открытки, но не достаточно быстро подняли тревогу, и преступника не успели захватить.

Да, у комиссара Эшериха имелось теперь два описания невидимки. К сожалению, однако, эти описания почти во всех пунктах противоречили друг другу. Только в одном обе свидетельницы сошлись, что лицо у преступника необыкновенное, совсем не похожее на других людей. Но когда Эшерих потребовал более подробного описания этого необыкновенного лица, то оказалось, что женщины или не могли рассмотреть его, или не умели облечь свои наблюдения в слова. Обе заявили только, что у него вид настоящего преступника. Но когда их спросили, как же, по их мнению, должен выглядеть настоящий преступник, они пожали плечами и заявили, что господам это должно быть лучше известно!

Квангель долго колебался, рассказать ему Анне о своей встрече с Трудель или не рассказывать. Наконец он все же решил рассказать: он не хотел иметь от нее ни малейшей тайны. Да она и заслужила это право — знать правду, и хотя опасность того, что через Трудель что-нибудь откроется, была очень незначительна, но даже о незначительной опасности Анна должна была знать. Поэтому он рассказал ей,

как все произошло, несколько не затушевывая своего легкомыслия.

Реакция Анны была очень характерной. Сама Трудель, ее брак и будущий ребенок несколько не заинтересовали ее, зато она в крайнем испуге прошептала: — Ты подумай, Отто, а что если бы это был кто-то другой, какой-нибудь штурмовик.

Он презрительно усмехнулся: — Но ведь это не был кто-то другой! И я теперь опять буду осторожен!

Все же это обещание ее не успокоило. — Нет, нет, — сказала она горячо. — Теперь я сама буду разносить открытки. На старуху никто не обратит внимания. А тебя каждый заметит, Отто!

— Вот уже два года, а пока никто не замечал! Тут и разговору не может быть, чтобы на тебя свалить самое опасное! Нехватало еще, чтобы я за твою юбку прятался!

— Ну, конечно, — сердито отозвалась она. — Будешь теперь свои мужские глупости нести! Сказал тоже — прятаться! Что ты смелый — мне и так известно, но что ты неосторожный — это я теперь узнала и постараюсь не забыть. Можешь спорить, сколько тебе угодно.

— Анна, — сказал он и схватил ее руку, — ты не должна, как другие женщины, вечно упрекать меня за один и тот же промах! Я же сказал тебе, — я буду осторожнее, уж поверь! Ведь два года дело не срывалось? Почему же оно теперь сорвется?

— А я не понимаю, — продолжала она упорствовать, — отчего и я не могу разносить открытки. Ведь ты иногда и раньше поручал мне.

— Ты и дальше будешь. Когда их наберется слишком много, или меня будет донимать ревматизм.

— Но я свободнее тебя! И потом я, право же, меньше бросаюсь в глаза. И ноги у меня помоложе. И я не хочу больше здесь умирать от страха, каждый раз, когда я знаю, что ты пошел.

— А меня ты за кого считаешь? Ты думаешь, я могу спокойно сидеть дома, когда знаю, что Анна бежит по улицам? Разве ты не понимаешь, что мне стыдно будет, если главная опасность придется на твою долю? Нет, Анна, не требуй этого от меня!

— Тогда давай ходить вместе. Четыре глаза видят лучше чем два, Отто.

— Вдвоем мы скорее обратим на себя внимание, одному легче проскользнуть среди людей. И я не думаю, что в таком деле четыре глаза видят лучше двух. Когда двое, один полагается на другого. И вообще, ты не сердись, но я только нервничать начну, если ты будешь рядом со мной, я думаю, и ты тоже.

— Ах, Отто, — сказала она. — Когда ты что-нибудь заберешь себе в голову, ты всегда настоишь на своем. Тебя не переспоришь, но я от страха просто изведусь, особенно теперь, когда я знаю, какая тебе грозит опасность!

— Опасность эта не больше, чем раньше, не больше, чем в тот день, когда я подсунил первую открытку на Нейе Кэнигсштрассе. Опасность есть всегда для всякого, кто делает то, что мы делаем. Или ты, может быть, хочешь, чтобы мы совсем это дело бросили?

— Нет! — горячо воскликнула она. — Нет! Я и двух недель не выдержу без этих открыток! Для чего же тогда мы жить будем? Ведь в них вся наша жизнь, в этих открытках!

Он угрюмо усмехнулся, с угрюмой гордостью посмотрел на нее.

— Видишь, Анна, — сказал он помолчав. — Такая вот ты мне и дорога. В нас нет страха. Мы знаем, что нам грозит, и мы готовы в любую минуту, готовы на все, — но нужно надеяться, что это случится как можно позднее.

— Нет, — сказала она. — Нет. Мне все кажется, это никогда не случится. Мы переживем войну, мы переживем нацистов, и тогда...

— Тогда? — спросил и он, ибо они оба вдруг увидели перед собой — после наконец-то завоеванной победы — совершенно бесцельную жизнь.

— Что ж, — сказала она, — я думаю, мы и тогда найдем дело, за которое стоит бороться. И, может быть, совсем открыто, без таких опасностей.

— Опасность, — отозвался он, — опасность всегда есть, Анна, иначе это не борьба. Иногда я чувствую, что так им и не поймать меня, и я лежу, лежу часами и думаю, где еще может крыться опасность, и что я мог все-таки упустить. Думаю и ничего не нахожу. И все-таки где-то есть опасность, я чую. Что могли мы упустить, Анна?

— Ничего, — сказала она. — Ничего. Если ты будешь осторожен, когда подбрасываешь открытки...

Он сердито покачал головой. — Нет, Анна, — пояснил он, — не об этом я говорю. Опасность не на лестнице и не тогда, когда я пишу. Опасность где-то совсем в другом месте, куда я не могу заглянуть. Вдруг мы проснемся и поймем, что она всегда была тут, а мы никогда ее не видели. Но будет уже поздно.

Она все еще не понимала. — Не знаю, почему ты вдруг начал тревожиться, Отто, — сказала она. — Мы ведь все сто раз обдумали и рассчитали. Если только мы будем осмотрительны...

— Осмотрительны! — воскликнул он, раздраженный ее упорным непониманием. — Как можно быть осмотрительным, если смотришь да не видишь! Эх, Анна, не понимаешь ты меня! В жизни не все можно рассчитать заранее.

— Нет, я не понимаю тебя, — сказала она, качая головой. — По-моему, зря ты растревожился, отец! По-моему, Отто, тебе спать больше надо по ночам. Ты слишком мало спишь.

Он молчал.

Через некоторое время она спросила: — Ты знаешь, как теперь фамилия Трудель Бауман и где она живет?

Он покачал головой. Он сказал: — Нет, не знаю и знать не хочу.

— А мне хочется знать, — настаивала она. — Я хочу услышать собственными ушами, что у нее с открыткой все ладно вышло. И зачем только ты поручил ей! Разве такое дитя знает, что делает! Может и открытку-то она положила на глазах у всех, и ее тут же сцапали. А если они такую молодую женщину захватят в свои когти, им недолго узнать и фамилию Квангель.

Он покачал головой. Он сказал: — Нет, не знаю. С этой стороны нам никакой опасности не грозит.

— А я хочу знать наверняка! — воскликнула фрау Квангель. — Я пойду к ней на фабрику и наведу справки.

— Ты не пойдешь, мать. Трудель для нас больше не существует. Нет, не спорь, ты останешься дома. И чтобы я об этом больше не слышал. — Но, видя, что она все еще не покорилась, он добавил: — Поверь мне, Анна, все правильно, что я тебе говорю. О Трудель нам незачем больше вспоминать, все это кончено. И все-таки, — продолжал он тише, — когда я ночью лежу и не могу заснуть, мне иногда начинает казаться, что нам не уцелеть.

Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза.

— И я начинаю себе представлять, как все это произойдет. Такие вещи полезно представить себе заранее, тогда ничто уж тебя не удивит. Ты никогда не думаешь об этом?

— Я не очень понимаю, о чем ты говоришь, Отто, — отозвалась Анна с неохотой.

Он стоял, прислонившись спиной к книжной полке Оттохен, одно плечо касалось книжки мальчика «Справочник радиолюбителя». Квангель пронизательным взглядом посмотрел на жену.

— Когда они арестуют нас, мы будем врозь, Анна. Мы, может быть, только два-три раза увидимся на допросах, на суде и потом, может быть, на полчаса перед казнью.

— Нет, пет, нет! — закричала она: — Не смей говорить про это! Мы уцелеем, Отто, мы должны уцелеть!

Он положил свою большую, огрубевшую от работы руку на ее маленькую, теплую, дрожащую.

— А если мы все-таки не уцелеем? Будешь ты в чем-нибудь раскаиваться? Будешь жалеть о том, что мы делали?

— Нет, ни о чем! Но мы уцелеем, нас не выследят, Отто, я чувствую.

— Видишь ли, Анна, — продолжал он, не слушая ее заверений. — Я вот это-то и хотел от тебя услышать. Мы никогда ни о чем не будем жалеть. Мы останемся верны тому, что мы делали, даже если они нас очень будут мучить.

Она посмотрела на него, стараясь сдержать дрожь. Но тщетно. — Ах, Отто! — воскликнула она разрыдавшись. — Зачем тебе понадобилось говорить все это? Ты сам накликаешь на нас беду! Никогда не слышала я от тебя таких слов!

— Не знаю, отчего я затеял сегодня такой разговор, — заметил он и отошел от книжной полки, — но один раз нужно было. Вероятно, я больше никогда не заговорю про это. Но я хочу, чтобы ты знала! Мы будем очень одиноки в наших камерах, ни словечком нельзя будет перекинуться, а ведь мы больше двадцати пяти лет и дня не провели друг без друга. Нам очень трудно придется. Но мы будем знать, что ни один из нас не струсит, и мы можем положиться друг на друга, — как было всю жизнь, так будет и в смерти. Нам ведь и умирать придется в одиночку, Анна!

— Отто, ты говоришь так, будто уж до этого дошло! Но ведь мы же на свободе, и никто нас не подозревает. Мы можем в любой день прекратить это дело, если захотим...

— Но захотим ли мы? Можем ли мы захотеть?

— Нет, я не говорю, что мы захотим, я не хочу бросать, ты знаешь. Но я не хочу, чтобы ты так говорил, будто нас уже схватили и нам остается только умереть. Я еще не хочу умирать, Отто, я еще хочу пожить с тобой!

— А кому хочется умирать? — спросил он. — Все хотят жить, все, все, даже самый крошечный червячок цепляется за жизнь. И я тоже хочу жить. Но, может быть, хорошо, когда еще живешь спокойной жизнью, подумать заранее о тяжелой смерти, к ней подготовиться. Человеку нужно знать, что он сможет умереть достойно, без воя и визга. Ведь это отвратительно...

Наступило молчанье.

Затем Анна сказала вполголоса: — Ты можешь положиться на меня, Отто. Тебе не будет стыдно за меня!

ГЛАВА 36

Провал Комиссара Эшериха

В тот год, который последовал за самоубийством Энно Клуге, комиссар Эшерих имел возможность вести довольно спокойную жизнь, ибо его начальники не слишком докучали ему своим нетерпением. Когда весть о самоубийстве дошла до гестапо, когда стало ясно, что этот Клуге окончательно ускользнул от допросов гестаповцев и эсэсовцев, обергруппенфюрер Праль пришел в бешенство. Одна гроза следовала за другой. Но постепенно и это улеглось, след невидимки совершенно остыл, и нужно было искать нового следа.

В общем, дело невидимки теперь уже не казалось таким важным. Однообразие открыток, в которых он повторял все одно и то же и которых никто не читал, никто не желал, читать, и которые вызывали у каждого страх или растерянность, делали его только смешным. Правда, Эшерих все еще добросовестно втыкал свои флажки в план города Берлина. С некоторым удовлетворением он отмечал, что к северу от Александерплац они становились все гуще — наверно тут-то и гнездышко этой птички! И потом это бросающееся в глаза скопление флажков — около десятка — к югу от Ноллендорфплац — невидимка, должно быть, появлялся там регулярно, хотя и через большие промежутки времени. Все это в один прекрасный день получит свое полное объяснение...

Все ближе, ближе! Ты подходишь к нам неотвратимы хихикал комиссар и потирал руки.

Но затем он опять переходил к другим своим работам. Были дела более важные и срочные: какой-то сумасшедший, «убежденный нацист», как он с гордостью называл себя, ежедневно писал министру Геббельсу грубо оскорбительные, нередко порнографические письма. Сначала эти письма казались министру забавными, затем начали злить, а под конец он разбушевался и потребовал, чтобы ему доставили обидчика. Его самомнение было смертельно оскорблено.

Тут комиссару Эшериху повезло, и в три месяца дело «похабника», как он называл свою жертву, было благополучно доведено до конца. Автор непристойных писем, который, впрочем, оказался действительно членом нацистской партии, и притом старым членом, был доставлен господину министру Геббельсу, и Эшерих мог сдать его дело в архив. Он знал, что никогда больше не услышит о «похабнике». Министр не прощал оскорблений.

Затем шли другие дела — прежде всего этого чудака, который рассылал руководящим лицам папские энциклики и радиовыступления Томаса Манна, подлинные и фальшивки. Хитрый парень, не так-то легко было его сцапать! Все же Эшерих, наконец, подготовил его для камеры смертников в Плэце.

Имелся еще мелкий поверенный по торговым делам, который внезапно заболел манией величия, и, вообразив себя главным директором несуществующего сталелитейного завода, писал конфиденциальные письма не только директорам действительно существующих предприятий, но и самому фюреру, сообщая в них такие подробности о тревожном состоянии германской военной промышленности, которые нельзя было выдумать. Ну, поймать эту птицу оказалось сравнительно нетрудно, круг людей, имевших доступ к такой информации, был относительно невелик.

Да, комиссар добился значительных успехов; среди его коллег уже шептались о том, что он скоро выдвинется. Он необыкновенно удачен, этот год, протекший с самоубийства маленького Энно, и комиссар Эшерих очень доволен.

Но настала минута, когда начальники Эшериха снова задумались над картой города невидимки. Выслушивая пояснения Эшериха, они глубокомысленно кивали головой, когда им было указано на особое скопление флажков к северу от Александерплац; кивали еще глубокомысленнее, когда Эшерих обратил их внимание на интересный передовой отряд флажков к югу от Ноллендорфплац, и наконец сказали: — Какие же у вас теперь данные, господин Эшерих? Какие планы вы изобрели, чтобы поймать этого невидимку? После вторжения в Россию парень стал чертовки активен! На той неделе найдено, кажется, пять писем и открыток?

— Да, — сказал комиссар. — А на этой неделе поступило еще три!

— Так как же обстоит дело, Эшерих? Подумайте, сколько времени он пишет, так больше не может продолжаться! У нас здесь не статистическое бюро для регистрации открыток, призывающих к государственной измене. Вы же ведете розыск, за это и деньги получаете, дорогой! Ну, так какие же у вас данные?

Под этим натиском Эшерих принялся горько сетовать на глупость обеих женщин, они видели этого человека и не задержали его, и даже описать не могли!

— Да, да все это очень хорошо, дорогой. Но мы сейчас говорим не о глупости свидетелей, мы говорим о планах, которые измыслила ваша умная голова!

Тогда комиссар снова подвел этих господ к карте и вполголоса стал объяснять, что вот, мол, к северу от Алекса всюду торчат флажки, и только на одном, сравнительно небольшом участке, их совершенно нет.

— Тут-то и сидит невидимка. Тут он не подбрасывает открыток, так как слишком известен в этих местах, и ему приходится опасаться, что кто-нибудь из соседей увидит его. Всего несколько улиц, где живет мелкий люд. Тут-то он и засел.

— А почему же вы даете ему до сих пор сидеть? Отчего вы данным давно не приказали произвести повальный обыск, раз речь идет о нескольких улицах. Вы обязаны сцапать его, Эшерих! Мы вас просто не понимаем, ведь вы же толковый малый, а в этом случае почему-то делаете глупость за глупостью. Мы ознакомились с делом. Во-первых, эта история с Клуге; невзирая на то, что он сознался, вы его почему-то отпускаете на все четыре стороны, потом несколько им не интересуетесь и даете ему возможность совершить самоубийство, именно тогда, когда он нам особенно нужен! Глупость за глупостью, Эшерих!

Комиссар Эшерих, нервно покручивая усы, позволяет себе возразить на это, что Клуге не имел никакого отношения к писавшему открытки. Ведь они продолжают неукоснительно появляться и после его смерти.

— Я считаю его признание, будто какой-то незнакомец поручил ему подбросить открытку, безусловно не заслуживающим доверия.

— Ну, мало ли что вы считаете! А мы считаем необходимым, что бы вы наконец взялись за дело. Как — нас совершенно не касается, но мы желаем видеть результаты! Итак, прежде всего произведите повальные обыски в районе этих нескольких улиц. Увидим, что при этом выяснится. Ведь что-нибудь да выяснится, везде есть бунтовщики.

На это комиссар Эшерих, со всем подобающим смирением, замечает, что хотя речь идет только о нескольких улицах, но ведь придется обыскать около тысячи квартир.

— Это страшно взвинтит население. Люди и без того нервничают из-за участвовавших налетов, а тут мы им дадим реальный повод для недовольства. И потом, к чему приведет такой повальный обыск? Ведь этому человеку для его преступной деятельности нужна лишь ручка с пером, она есть в каждом доме, пузырек с чернилами — тоже, десяток открыток тоже найдется. Я не знаю, какие конкретные задачи я бы мог поставить перед моими людьми, что, собственно, они должны искать? Самое большее — руководствоваться какими-то отрицательными данными, например: у этого человека, наверняка, нет радиоприемника; ни разу не нашел я в его открытках намека на то, чтобы он почерпнул свои сведения из радиопередач. Иногда он просто неверно информирован! Нет, я не представляю себе, на чем я могу построить подобные обыски!

— Но дорогой, милейший Эшерих, мы отказываемся понимать вас! У вас одни возражения, вы не в состоянии предложить нам ни одного конкретного мероприятия! Но мы же должны поймать этого человека и притом как можно скорее!

— Мы и поймает его, — улыбнулся комиссар, — но что это будет скоро — я не могу вам обещать. Все же, я не думаю чтобы ему удалось еще два года писать свои открытки.

Они негодуя застонали.

— А почему? Да оттого что время работает против него. Приглядитесь к этим флажкам, еще сотня, и все станет нам во много раз яснее. Это дьявольски упорный, хладнокровный тип, мой невидимка, но ему кроме того и чрезвычайно везет. Дело в том, что одного хладнокровия мало, нужно еще немаложко счастья, и до сих пор ему почти непостижимо везло. Но ведь это совершенно так же, господа, как при игре в карты: некоторое время счастливая карта может идти к одному игроку, а потом вдруг все лопается. Игра может обернуться против невидимки, и козыри окажутся у нас в руках!

— Все это очень мило и интересно, Эшерих! Остроумные выкладки криминалиста, и мы все это очень хорошо понимаем. Но мы не особенные любители теорий, а из ваших слов ясно одно — что нам придется ждать еще два года, прежде чем вы решитесь действовать. Так вот, мы на это не пойдем, мы предлагаем вам еще раз основательно продумать все дело и, скажем, через неделю, ознакомить нас с вашими предложениями. И тогда видно будет, способны вы справиться со своей задачей или нет. Хейль Гитлер, Эшерих!

Однако обергруппенфюрер Праль, который, ввиду присутствия более высокого начальства, до сих пор не обмолвился ни словом, точно воды в рот набрал, еще раз вернулся в кабинет Эшериха. Ворвавшись к нему, он закричал: — Осел! Идиот! И вы воображаете, что я и дальше позволю позорить мой отдел такому остолопу? Только одну неделю даю вам срок. — Он в бешенстве тряс перед ним кулаками. — И если вы и за эту неделю ничего не придумаете, тогда уже не взыщите! — И так далее, и так далее. Но комиссар Эшерих уже не слушал.

Во время предоставленной ему недельной отсрочки комиссар Эшерих очень мало занимался делом невидимки, вернее, совсем не занимался. Один раз он уже дал своим начальникам сбить себя с принятой им тактики выжидания, и сейчас же все поехало вкривь и вкось, и расплачиваться за это пришлось Энно Клуге.

Не то, чтобы этот Клуге особенно отягощал его совесть, — никому ненужный, жалкий плакса, совершенно неважно, жив он или мертв. Но комиссару эта маленькая мразь причинила не мало неприятностей. Понадобились! некоторые усилия, чтобы зажать кое-кому рот. Да, в ту, ночь, о которой он не любил вспоминать, комиссар очень волновался, а этот долговязый бесцветный человек больше всего на свете не любил волноваться.

Нет, не даст он даже самому высшему начальству еще раз соблазнить его, не откажется от терпеливого выжидания. Что, собственно, может грозить ему? Ведь Эшерих нужен им, он во многих отношениях для них просто незаменим. Пусть бесятся и бранятся, в конце концов и они признают, что правильно только одно: терпеливо ждать. Нет, Эшерих не внесет никаких предложений...

Это было памятное совещание. Оно состоялось уже не в кабинете Эшериха, а в зале и под председательством одного из высших начальников. Конечно, рассматривалось не только дело невидимки, обсуждались и многие другие дела. Начальство бранилось, рычало, язвило. Наконец перешли к его делу.

— Комиссар Эшерих, будьте добры доложить нам ваши соображения по делу об открытках!

Комиссар готов был доложить. Он сделал маленький обзор всех данных и того, что было до сих пор предпринято. Сделал его превосходно — кратко, точно, не без остроумия, при этом задумчиво поглаживая свои усы.

Затем последовал вопрос председателя: — Какие же вы можете внести предложения, чтобы ликвидировать это дело, которое тянется вот уже два года? Два года, комиссар Эшерих!

— Я могу порекомендовать только одно — терпеливо выжидать и в дальнейшем, иного способа нет. Но, может быть, следовало бы дать это дело на проверку господину советнику Цотту?

Воцарилась мертвая тишина.

Затем, то там, то здесь раздались иронические смешки. Кто-то крикнул: — Он отлынивает!

И другой: — Сам провалил, а теперь другим подсовывает!

Обергруппенфюрер Праль с громом обрушил на стол стиснутые кулаки. — Я тебя возьму в оборот, сволочь! — Прошу сохранять полное спокойствие.

В голосе председателя прозвучало презрение. Все смолкли.

— Господа, мы были сейчас свидетелями такого отношения к делу, которое можно, пожалуй, приравнять только к дезертирству с поля боя. Это трусливое бегство от тех трудностей, с которыми неизбежно связана всякая борьба. Инцидент весьма прискорбный. Эшерих, вы освобождаетесь от дальнейшего участия в данном совещании. Ждите у себя моих распоряжений.

Комиссар, мертвенно-бледный (ничего подобного он не ожидал), поклонился и направился к двери; дойдя до нее, он щелкнул каблуками и, вытянув руку, возгласил: — Хейль Гитлер!

Никто не обратил на него внимания. Комиссар удалился в свой кабинет.

Обещанные приказания предстали перед ним в виде двух эсэсовцев, они угрюмо уставились на него, затем один из них угрожающе заявил: — Не смейте здесь больше ни к чему прикасаться, понятно вам?

Эшерих медленно повернул голову к человеку, осмелившемуся так с ним разговаривать. Подобный тон был новостью; не то, чтобы он был Эшериху незнаком, но с ним лично так говорили впервые. Ведь этот парень рядовой эсэсовец, — и уж значит плохи дела Эшериха, если подобный субъект смеет обращаться к нему таким тоном.

Зверское лицо, вдавленный нос, тяжелый подбородок, склонность к насилию, слабо развитое мышление, в пьяном виде опасен, подытожил Эшерих. Как выразилась на его счет эта высокопоставленная скотина там наверху? Дезертирство? Смешно! Комиссар Эшерих — и дезертирство. Но это на них похоже, на этих господ, они любят бросаться громкими словами, за которыми решительно ничего не следует!

Вошли обергруппенфюрер Праль и советник Цотт.

— Ну вот, значит, все-таки приняли мое предложение, — встретил их Эшерих. — Самое разумное, что вы могли сделать, хотя я не допускаю, чтобы даже этот казуист мог выкроить что-нибудь новое из имеющегося материала!

Эшерих только что собрался приветствовать советника Цотта по-дружески весело, показать ему, что он, Эшерих, ничуть на него не в обиде, но вдруг эсэсовцы грубо отшвыривают его, и один из них, тот, с лицом убийцы, рявкает: — Разрешите доложить, — эсэсовцы Добат и Якоби с арестованным.

Это кто же арестованный, я? изумленно спрашивает себя Эшерих. И затем вслух: — Господин обергруппенфюрер, разрешите доложить, что...

— Заткни ты этой сволочи глотку! — в ярости рычит Праль, которому, вероятно, тоже здорово нагорело.

Эсэсовец Добат кулаком дает Эшериху в зубы. Бешеная боль, отвратительный теплый вкус крови во рту.:

Затем Эшерих наклоняется и выплевывает на ковер несколько зубов.

Но, совершая все эти действия, совершая их вполне автоматически, — даже боли настоящей он не чувствует — Эшерих думает: необходимо это сейчас же выяснить. Я, конечно, все готов сделать. Произвести повальные обыски хотя бы во всем Берлине. В каждый дом, где есть адвокаты и врачи, поставить сыщиков. Я сделаю все, что вы пожелаете, но не можете же вы просто так бить меня по морде, меня, старого следователя и кавалера ордена «За военные заслуги»!

В то время как он лихорадочно перебирает эти мысли, машинально стараясь вырваться из рук эсэсовцев и все вновь и вновь сиюсь заговорить, — что ему, однако, не удается из-за рассеченной верхней губы и крови во рту — в это время к нему подскакивает обергруппенфюрер Праль, хватая его обеими руками за грудь и кричит: — Попался наконец, зазнайка, дермо! Воображал, что ты хитрее всех, когда читал мне свои дурацкие лекции, да? Думал, я не замечаю, за какого болвана ты меня считаешь, а себя за сверхумника, — а? Вот ты теперь и попался, мы уж тебя возьмем в оборот, не отвертишься!

Обезумев от бешенства, Праль устоял на стоявшего перед ним окровавленного человека. И крикнул: — Весь ковер заплещешь мне тут своей собачьей кровью! — Изволь проглатывать кровь, собака, не то я сам тебя по роже съезжу!

И комиссар Эшерих — нет, жалкий, трепещущий че-ловечишко Эшерих, который всего полчаса назад был всесильным комиссаром гестапо, обливаясь смертным потом, силился проглотить тошнотворно-теплую струю крови, не запачкать ковер, свой собственный, нет, теперь уже ковер советника Цотта...

Жадно созерцал обергруппенфюрер унижительное состояние комиссара. Затем отвернулся от Эшериха с досадливым — Да что там! — и спросил советника: — Этот тип еще нужен вам, господин Цотт, для каких-нибудь выяснений?

Существовал неписанный закон, по которому все прикомандированные к гестапо старые криминалисты держались друг друга не на жизнь, а на смерть, так же как и эсэсовцы нередко объединялись против гестаповских криминалистов. Никогда бы Эшериху не пришлось в голову выдать коллегу эсэсовцам, как бы ни был тот виноват; наоборот, он постарался бы скрыть от них даже самое постыдное преступление. А теперь ему пришлось собственными ушами услышать, как советник, бросив беглый взгляд на Эшериха, холодно ответил: — Этот тип для выяснений? Нет, спасибо, господин обергруппенфюрер, уж лучше я сам все выясню!

— Увести! — крикнул обергруппенфюрер. — И поторопите его, ребята!

Ускоренным темпом эсэсовцы протащили Эшериха по тому самому коридору, по которому он ровно год назад пустил пинком Боркхаузена, смеясь своей превосходной шутке. И они сбросили его вниз с той же каменной лестницы, и он остался лежать весь в крови на том же месте где весь в крови тогда лежал Боркхаузен. Пинками Эшериха подняли на ноги, погнали вперед и затем сбросили вниз в подвал...

Каждый член его мучительно ныл, а тут пошло: снимай костюм, напяливай арестантский халат, — наглый дележ его одежды между эсэсовцами. И все это вперемежку с пинками, затрещинами, угрозами...

О, разумеется, комиссар Эшерих за последние годы перевидал не мало в этом роде и не находил тут ничего поражающего или предосудительного, ибо ведь так поступали с преступниками. И поступали по праву. Но чтобы он, Эшерих, следователь и комиссар, был отнесен к числу этих бесправных преступников, это не укладывалось в его голове. Ведь он то не совершил преступления. Он только предложил передать другому дело, относительно которого весь синклит его начальников также не мог придумать ничего путного. Нет, это должно выясниться, и они вернут его! Ведь им без него никак не обойтись! А до тех пор нужно сохранять самообладание, он не должен выказывать ни малейшего страха, даже его страданий никто не должен замечать.

В это время еще кто-то был доставлен в камеру. Карманный воришка, как выяснилось тут же, имевший неосторожность стянуть что-то у дамы сердца высокопоставленного фюрера-штурмовика и пойманный на месте преступления.

И вот они привели его сюда, видимо, они уже дорогой обработали его, этого всхлипывающего человечка; он то и дело ползал на коленях, обнимая ноги эсэсовцев, и молил: только пусть не бьют его, ради девы Марии не бьют! Пусть они смилуются над ним, и Иисус Христос воздаст им!

А эсэсовцы развлекались тем, что в самый разгар этих молений пинали в лицо валявшегося у них в ногах воришку. Он с криком бросался на землю, судорожно ловил на их жестоких лицах хотя бы проблеск милости и снова начинал свои заклинания...

И с этим ничтожным червем, с этим вонючим трусом был заперт в одной камере некогда всесильный комиссар Эшерих!

ГЛАВА 37

Второе Предостережение

Как-то в одно воскресное утро фрау Анна сказала нерешительно: — Мне кажется, Отто, нам следовало бы побывать у моего брата Ульриха, ничего не поделаешь. Вот уже два месяца, как мы к Хефке глаз не кажем.

Отто Квангель, писавший очередную открытку, поднял голову: — Хорошо, Анна, — отозвался он. — Так вот, в следующее воскресенье. Идет?

— Мне хотелось бы поехать сегодня, Отто. По-моему, они ждут нас.

— Да ведь им все равно, какое воскресенье. У них нет сверхурочной работы, как у нас, они ведь притаились и сидят!

И он насмешливо улыбнулся.

— В пятницу было рождение Ульриха, — возразила фрау Квангель. — Я испекла ему пирог, и мне очень хотелось бы отвезти его. Наверняка, они ждут нас сегодня.

— Сегодня я предполагал, собственно, кроме открытки, написать еще письмо, — недовольно ответил Квангель. — Я уж себе наметил это, терпеть не могу ломать свои планы.

— Ну, пожалуйста, Отто!

— А разве ты не можешь поехать без меня, Анна, и сказать им, что у меня опять мой ревматизм? Ведь ты уже раз была там одна?

— Вот именно потому, что я раз уже была одна, мне и не хотелось бы еще раз, — просила Анна. — Сегодня, в день его рождения...

Квангель посмотрел на умоляющее лицо жены. Он охотно доставил бы ей это удовольствие, но мысль о том, что ему сегодня придется выйти из дому, почему-то угнетала его.

— А мне именно сегодня хотелось написать письмо, Анна! Очень важное письмо. Я кое-что придумал... Оно наверняка произведет сильное впечатление. А там — я знаю наперед все ваши разговоры, наизусть выучил. У Хефке такая скука! Мне с ним не о чем говорить, а твоя невестка всегда молчит как рыба. Не следовало бы вовсе поддерживать эти родственные отношения. И вообще родные — одна тоска! Нам с тобой вполне достаточно друг друга.

— Ну ладно, Отто, — пошла она на уступки, — пусть сегодня будет в последний раз. Обещаю больше никогда тебя не звать. Но только давай уж сегодня, раз уж я испекла пирог, и Ульрих празднует свой день рождения! Только этот раз! Ну, пожалуйста, Отто!

— А мне особенно не хочется сегодня, — заметил он.

Но, уступая ее молящему взору, он, наконец, проворчал: — Ну, уж, ладно, Анна, сейчас соображу!.. Если я до обеда закончу две открытки...

Он кончил до обеда обе открытки, и около трех часов Квангели вышли из дому. Они предполагали доехать на метро до Ноллендорфплац, но перед остановкой «Бю-ловштрассе» Квангель предложил жене выйти, может быть, тут удастся что-нибудь сделать.

Она знала, что открытки у него в кармане, сразу поняла и кивнула.

Они прошли часть Потсдаммерштрассе, не видя ни одного подходящего дома. Затем свернули вправо на Винтерфельдштрассе, иначе они очутились бы слишком далеко от квартиры Хефке. И они снова принялись искать.

— Тут хуже, чем у нас, — сказал недовольно Квангель.

— И потом сегодня воскресенье, — добавила она. — Смотри, будь осторожен.

— Я и так осторожен, — отозвался он, и затем вдруг добавил: — Вот я сюда войду.

Не успела она слова сказать, как он уже исчез в подъезде.

Для Анны начались минуты ожидания, эти всегда по-новому мучительные минуты, когда она боялась за Отто и вместе с тем была вынуждена только ждать.

О господи! думала она, разглядывая дом, и дом-то какой-то нехороший. Только бы все сошло благополучно! Мне, может быть, не следовало так уговаривать его поехать сегодня к брату! Ему ужасно не хотелось, я заметила! И не только из-за письма, которое он решил написать. Если с ним сегодня беда случится, я вечно буду упрекать себя!

Вот идет Отто...

Но это был не Отто, из дома вышла какая-то дама и, пристально посмотрев на Анну, прошла мимо.

Она как будто на меня посмотрела с подозрением. По крайней мере мне так показалось. Не случилось ли чего в доме? Отто там так долго, наверно не меньше десяти минут. Пустяки, я же знаю, сколько раз так бывало: когда стоишь перед домом и ждешь, время тянется бесконечно. Слава богу, вот и сам Отто!

Она хотела пойти ему навстречу и остановилась.

Отто вышел из дому не один, его сопровождал очень рослый человек в черном пальто с бархатным воротником, половина лица у него была изуродована огромным родимым пятном с распухшими рубцами. В руке он держал битком набитый черный портфель. Не говоря ни слова, оба прошли в сторону Винтерфельдплац мимо Анны, у которой от страха сердце почти остановилось. Она последовала за ними, едва держась на ногах.

Что еще случилось? спрашивала она себя, в тревоге. Что это за человек идет с Отто? Может быть, он из гестапо? Какой ужасный, с родимым пятном! Они совсем не говорят друг с другом! О боже, и зачем только я уговорила Отто! Он сделал вид, что не знает меня, значит, есть опасность! Эта несчастная открытка!

И вдруг Анна почувствовала, что больше не может выдержать. С необычной для нее решительностью она догнала загадочную пару и остановилась. — Господин Берндт! — воскликнула она и протянула Отто руку. — Вот хорошо, что я вас встретила, нужно, чтобы вы сейчас же пошли к нам. У нас водопроводная труба лопнула, всю кухню затопило... — Она смолкла, ей показалось, что человек с родимым пятном очень странно посмотрел на нее, так насмешливо, так презрительно...

Однако Отто сказал: — Сейчас приду. Вот только провожу господина доктора к моей жене.

— Да я и один найду, — сказал человек с родимым пятном. — Фон-Эйнемштрассе 17 — вы говорите? Хорошо, надеюсь вы скоро явитесь.

— Через четверть часика, господин доктор, самое большее через четверть часика я буду дома. Только закрою у них там воду.

Пройдя с десятков шагов, он прижал локоть Анны к своей груди с совершенно необычной нежностью: — Ты замечательно придумала, Анна! Я просто не знал, как мне от этого типа отделаться. Как только ты догадалась!

— Кто он такой? Врач? Я подумала, кто-нибудь из гестапо, и уже просто не могла больше ничего не знать. Иди медленнее, Отто, у меня руки и ноги дрожат. Раньше не дрожали, а вот сейчас дрожат. Что случилось? Он что-нибудь знает?

— Ничего. Можешь быть совершенно спокойна. Он ничего не знает. И ничего не случилось, Анна. Но с самого утра сегодня, как ты мне сказала, что нужно поехать к твоему брату, у меня все время было какое-то нехорошее предчувствие. Сначала, я думал, — из-за письма, которое я уже решил написать и не написал. И из-за скуки у Хефке. А теперь я знаю, отчего. Мне все время казалось — сегодня непременно что-нибудь случится, лучше мне сегодня совсем не выходить из дому.

— Значит, все-таки что-то случилось, Отто?

— Нет, решительно ничего. Я же сказал тебе, что ничего. Поднимаюсь я по лестнице и только собрался положить открытку, еще в руках ее держу, как вдруг из своей квартиры выскакивает этот человек. Я не успел даже сунуть открытку в карман. — Что вы тут делаете на лестнице? — сейчас же заорал он на меня. Ну, ты же знаешь, у меня привычка выработалась, когда я вхожу в дом, непременно заметить себе чью-нибудь фамилию в списке жильцов. — Я к доктору Боллю, — говорю. — Это я, — отвечает он. — В чем дело? У вас дома кто-нибудь болен? — И мне ничего другого не оставалось, как соврать. Я сказал, что ты заболела и чтобы он зашел к нам. К счастью, я вспомнил название Фон-Эйнемштрассе. Я думал, он скажет, что придет сегодня вечером или завтра утром, но он сейчас же закричал: — Превосходно! мне как раз по пути! Идите вместе, господин Шмидт! — Я, понимаешь, назвался Шмидтом, ведь это очень распространенная фамилия.

— Да, а я-то назвала тебя при нем «господин Берндт», — испуганно воскликнула Анна. — Он наверно заметил.

Квангель, пораженный, остановился. — А ведь верно, — сказал он, — я об этом не подумал! Но, видно, он все-таки не заметил. На улице пусто. Никто не идет за нами. Он долго проищлет семнадцатый номер и, конечно, не найдет, а мы будем давно сидеть у Хефке.

Анна остановилась. — Знаешь, Отто, — сказала она. — Теперь уж я скажу: лучше не ходить сегодня к Ульриху. Теперь и мне кажется, что сегодня нехороший день. Давай вернемся домой. А завтра я сама разнесу открытку.

Но он, улыбаясь, покачал головой. — Нет, нет, Анна, раз мы так далеко забрались, давай уж отделаемся. Мы ведь решили, что это в последний раз. А, кроме того, по-моему, именно сейчас нам не следует показываться на Ноллендорфплац. Мы можем встретить там этого врача.

— Тогда, по крайней мере, отдай мне открытку. Мне не хочется, чтобы ты разгуливал с ней в кармане.

Он сначала воспротивился, затем отдал ей обе.

— Сегодня и правда нехорошее воскресенье, Отто.

ГЛАВА 38 Третье Предостережение

Но, сидя у Хефке, они забыли о своих дурных предчувствиях. Оказалось, что их действительно там поджидали. Угрюмая, молчаливая невестка уже испекла пирог, и когда оба пирога были съедены, Ульрих Хефке поставил на стол бутылку водки, которую ему преподнесли на фабрике его сослуживцы. Хозяева и гости медленно тянули водку из маленьких стаканов, наслаждаясь непривычным для них напитком, и, в результате, стали оживленнее чем обычно, разговорчивее. В конце концов — бутылка уже опустела — маленький горбун с кроткими глазами запел. Он пел церковные хоралы, гимны: «Будь христианином» и «Войди в твои врата, моей души будь гостем» — притом все тринадцать строк.

Он пел очень высоким фальцетом, голос звучал молитвенно чисто, и даже Отто Квангелю казалось, что вернулись дни его детства, когда такие песни значили для него очень много, ибо в нем жила бесхитростная вера. Тогда жизнь еще была проста, он верил не только в бога, но и в людей. Он считал, что изречения вроде «любите врагов ваших» или «блаженны миротворцы», — что эти изречения имеют на земле какую-то цену. С тех пор все резко изменилось, и, конечно, не к лучшему. В бога никто уж не верил; ибо нельзя же допустить, чтобы благой бог согласился на такой позор, какой творился сейчас на свете, а что касается веры в людей, то эти свиньи...

Горбун Ульрих Хефке пел высоким, чистым голосом: «Ты человек, и знаешь это сам, зачем же ты стремишься...»

Однако от ужина Квангели решительно отказались. Да, было очень хорошо, но они никак не могут, пора домой. У Отто есть еще дела. И потом какое уж тут угощение с этими продовольственными карточками. Квангели это по себе знают. Вопреки заверениям обоих Хефке, что один раз ничего, ведь не каждую неделю празднуют день рождения, и все давно готово, пусть заглянут в кухню, вопреки всем этим заверениям, Отто и Анна настаивали на своем — нет, им пора ехать.

И они действительно начали прощаться, хотя Хефке были искренне обижены.

Когда они вышли на улицу, Анна сказала: — Ты видел, Ульрих здорово хватил, и жена его тоже.

— Какое нам дело. Мы все равно были там в последний раз.

— Но сегодня было очень приятно, ты не находишь, Отто?

— Конечно. Водка очень помогла...

— И Ульрих хорошо поет, правда ведь, хорошо?

— Да, очень хорошо. Чудачок! Я уверен, он каждый вечер в постели богу молится.

— Оставь его, Отто! Верующим нынче легче жить. Они могут обращаться к кому-то со своими горестями. И они думают, что во всей этой резне есть какой-то смысл.

— Спасибо! — вдруг зло отозвался Квангель. — Нашли где искать смысл! Бессмыслица все это! Они верят в бога и поэтому ничего не хотят менять на земле. Вечно только ползать и прятаться. На небе, дескать, опять все уладится. Богу, мол, известно, отчего на земле так плохо! А в день страшного суда и мы все узнаем! Нет уж, спасибо!

Квангель говорил горячо и очень злобно. Он не привык к алкоголю, водка и на него подействовала. Вдруг он остановился. — Вот дом! — вдруг заявил он. — Сюда я войду. Дай мне одну открытку, Анна!

— О нет, Отто. Не надо! Мы ведь уговорились, что сегодня уже не будем! Ведь сегодня нехороший день!

— Сейчас уж нет! Сейчас нет! Давай открытку, Анна! Нерешительно протянула она ему открытку: — Только бы не сорвалось, Отто. Я так боюсь...

Но он не слушал ее, он уже исчез в подъезде. Она ждала. Однако на этот раз ей не пришлось долго волноваться. Отто быстро вернулся.

— Готово, — сказал он и взял ее под руку. — С этой покончили. Видишь, как просто? Не нужно слушаться предчувствий.

— Слава тебе господи! — сказала Анна.

Но едва они сделали несколько шагов в сторону Нол-лендорфплац, как их нагнал какой-то господин. В руке он держал открытку Квангеля.

— Вы! вы! — завопил он в каком-то испуге. Вы только что подбросили около моей двери вот эту открытку! Я видел вас очень ясно. Полиция! Алло! Шуцман!

Да, никакого сомнения! Игра вдруг обернулась против Квангелей. После того как мастер больше двух лет действовал так успешно, счастье изменило ему. Одна неудача за другой. В этом бывший комиссар Эшерих оказался прав: нельзя всегда играть удачно, нужно включать в свои расчеты и неудачу. Об этом Отто Квангель позабыл. Он никогда не думал о тех ничтожных, дрянных случайностях, которые подстерегают человека на каждом шагу, их невозможно предвидеть, и, вместе с тем, их все же необходимо принимать в расчет.

На этот раз случай настиг его в образе мстительного чинуши, использовавшего воскресенье, чтобы шпионить за верхней жилицей. Он имел зуб против нее за то, что она долго спит по утрам, вечно бегают в мужских брюках, а вечерами, и далеко за полночь, не выключает радио. Он подозревал ее в том, что она водит к себе мужчин, а если это так, то он ославит ее по всему дому. Он пойдет к хозяину и заявит, что такая шлюха не может жить в приличном месте.

И вот он уже больше трех часов терпеливо ждал, притаившись у глазка своей двери, когда, вместо верхней жилицы, по лестнице поднялся Отто Квангель. И он видел, собственными глазами видел, как Квангель положил открытку на ступеньку лестницы, — он это делал иногда, когда у лестничных окон не было подоконников.

— Я видел, я собственными глазами видел! — вопил он, размахивая перед носом вахмистра открыткой. — Вы только прочтите, господин вахмистр! Это же государственная измена! Его вздернуть надо!

— Да вы не кричите, — неодобрительно остановил его полицейский. — Посмотрите, этот господин совершенно спокоен. Никуда он от вас не убежит! Ну, так ли все было, как он рассказывает?

— Вздор! — резко запротестовал Отто Квангель. — Он с кем-то спутал меня! Я только что был на рождении у своего шурина на Гольцштрассе, а здесь на Маасен-штрассе я ни в один дом не заходил. Спросите хоть жену.

Он оглянулся, ища ее. Анна как раз проталкивалась обратно через плотное кольцо любопытных. Она сразу же вспомнила о второй открытке, лежавшей у нее в сумке. Необходимо было немедленно отделаться от нее, это главное. Она выбралась из толпы, увидела почтовый ящик и совершенно незаметно — все смотрели только на оравшего обвинителя — опустила открытку в ящик.

Теперь она стояла рядом с мужем и ободряюще улыбалась ему.

Тем временем полицейский прочел открытку. Он нахмурился и засунул ее за обшлаг рукава. Он знал об этих открытках, каждый участок не раз, а десятки раз получал приказы обратить на них внимание. Расследовать даже ничтожнейшие улики было его обязанностью.

— Вы оба пойдете со мной в участок! — решил он.

— А я? — возмущенно крикнула Анна Квангель и взяла мужа под руку. — Я тоже пойду! Я не хочу, чтобы мой муж шел один!

— Правильно, мамаша! — раздался чей-то басистый голос из толпы зрителей. — Знаешь, эти молодцы какой народ — стереги сама своего хозяина!

— Тихо! — заорал вахмистр. — Тихо! Назад! Разойдитесь! Не на что тут глазеть!

Однако публика была другого мнения, и полицейский, видя, что он никак не может одновременно стеречь троих и разгонять толпу в пятьдесят человек, решил махнуть рукой на зрителей.

— Вы действительно не ошиблись? — спросил он все еще кипевшего яростью обвинителя. — Разве его жена была с ним на лестнице?

— Нет, ее там не было. Но я наверняка не ошибся, господин вахмистр. — И он снова начал кричать: — Я собственными глазами видел, я три часа караулил у двери...

Резкий голос из толпы неодобрительно крикнул: — Ах ты, шпик поганый!

— Тогда отправляйтесь все трое! — решил вахмистр. — Да разойдитесь же наконец! Вы же видите, господа пройти хотят! И чего смотреть! Вот сюда, сюда, господин!

В участке им пришлось ждать пять минут, после чего их отвели в кабинет начальника, рослого малого с широким, загорелым лицом. Открытка Квангеля лежала у него на письменном столе.

Обвинитель повторил свои показания.

Отто Квангель возражал: он только что был у своего шурина на Гольцштрассе, ни в один дом на Маасенштрассе не заходил. Он говорил без всякого волнения, этот старый мастер, как он отрекомендовался, являя собой и для начальника приятную противоположность орущему и все еще беснующемуся и брызжущему слюной доносчику.

— Скажите, пожалуйста, — заговорил начальник, обращаясь к последнему: — Каким это образом вы просидели три часа у двери? Ведь вы же не могли знать, что придет кто-то с такой открыткой? Или вы знали?

— Ах, в нашем доме живет одна шлюха, господин начальник! Вечно в брюках бегают, целую ночь у нее радио орет — вот я и хотел проследить, каких это кавалеров она к себе в квартиру водит. А тут он и явился...

— Ноги моей в этом доме не было, — упрямо повторил Квангель.

— Да как это мой муж будет такими делами заниматься? Вы думаете, я допущу? — вмешалась Анна. — Мы уже больше двадцати пяти лет женаты, и всегда мой муж был чист как стеклышко!

Начальник покосился на суровое птичье лицо перед ним. Ну, с этого человека все станет, пронеслось у него в голове. Но чтобы он писал такие открытки?

Он повернулся к доносчику. — Ваше имя? Миллек? Вы ведь кажется на почте работаете? Да?

— Старшим секретарем, господин начальник, верно.

— Вы тот самый Миллек, от которого мы, в среднем, два раза в неделю получаем заявления? То продавец вас в магазине обвесил, то кто-то ковры выбивает в четверг, то кто-то перед вашей дверью наложил, и так далее, и так далее. Это вы?

— Люди хулиганят, господин начальник! Они нарочно мне пакости делают! Поверьте, господин начальник!

— И, значит, сегодня, во вторую половину дня, вы следили за женщиной, которую считаете шлюхой, а теперь оговариваете этого человека...

Старший секретарь принялся уверять, что он только выполняет свой долг. Он заметил, что этот человек подбросил открытку и, так как по одной строчке ее сразу видно, что дело идет о государственной измене, то он сейчас же побежал догонять его.

— Так, так! — проговорил начальник. — Одну минутку...

Он сел за свой письменный стол и сделал вид, что еще раз перечитывает открытку, хотя и так трижды прочел ее. Он размышлял. Он был уверен, что этот Квангель на самом деле старый рабочий и его показания соответствуют действительности, а Миллек, наоборот, склочник, его доносы ни разу еще не подтвердились. Охотнее всего начальник отправил бы всех троих по домам.

Однако открытка-то ведь все же налицо, ничего не скажешь, и существует строжайший приказ не пренебрегать малейшими данными. Начальник участка вовсе не хотел нажить себе неприятности. Он и так не на слишком хорошем счету. Его подозревают в преступном попустительстве, в том, что он втайне мирволит евреям и. антифашистам. Приходится быть очень осторожным. И потом, что особенного может случиться с этой женщиной и ее мужем, если даже он передаст их в гестапо? В случае их невинности, их через несколько часов отпустят, а ложного доносчика проучат за то, что он людям лишних хлопот наделал.

Он уже собрался вызвать к телефону комиссара Эшериха, но вдруг спохватился. Он позвонил и сказал вошедшему полицейскому: — Возьмите-ка этих господ и хорошенько общитесь. Только смотрите, не перепутайте их вещи. И потом пришлите кого-нибудь сюда, я обыщу женщину.

Но и обыски не дали результатов, у Квангелей не нашли ничего предосудительного. Анна облегченно вздохнула, вспомнив об открытке, опущенной в почтовый ящик. А Отто Квангель, еще не знавший об удачном маневре жены, совершенном так быстро и с таким присутствием духа, подумал: Анна молодец! Но куда она дела открытку? Я же был все время с нею!

Документы Квангеля подтвердили его показания. Зато в кармане Миллека был найден совершенно готовый донос в полицию относительно некоей фрау фон-Трескоф, проживающей на Маасштрассе 17, которая, несмотря на запрещение, выпускает свою злую собаку гулять без сворки. Уже два раза собака злобно рычала на старшего секретаря. Он боится за свои брюки, которые теперь, в военное время, просто невозстановимы.

— Ну, чего бы все скандалы устраиваете! — сказал начальник. — И это теперь, на третьем году войны! Неужели вы воображаете, что у нас других дел нет? Отчего вы сами не подойдете к даме и вежливо не попросите, чтобы она выводила собаку на сворке?

— Ну, уж этого я никогда не сделаю, господин начальник! Заговорить с дамой ночью на улице — нет! А потом она на меня донесет, что я приставал к ней!

— Вахмистр, уведите пока всех троих. Мне нужно поговорить по телефону.

— Что же это? Я тоже арестован? — опять завопил старший секретарь. Но тут дверь за ним захлопнулась.

Начальник взял трубку, набрал номер и назвал себя: — Я хотел бы говорить с комиссаром Эшерихом.

— Комиссар Эшерих был, да весь вышел, — капут! — крикнул в трубку чей-то дерзкий голос. — Теперь это дело ведет советник Цотт.

— Тогда дайте мне господина советника Цотта, впрочем, если он сегодня, в воскресенье, тут!

— У телефона Цотт.

— У телефона начальник полицейского участка Крауз. Господин советник, к нам только что доставлен человек, который как будто имеет отношение к истории с открытками, — вы в курсе?

— Знаю! Дело невидимки. Кто этот человек по профессии?

— Столяр. Старший мастер на мебельной фабрике!

— Тогда вы не того поймали. Тот работает в трамвайном парке. Отпустите его на все четыре стороны, начальник. Точка!

Так Квангели снова оказались на свободе — к своему величайшему изумлению, ибо считали, что, в лучшем случае, дело не обойдется без нескольких основательных допросов и обыска в их квартире.

ГЛАВА 39

Советник По Уголовным Делах Цотт

Советник Цотт — с торчащей бородкой и торчащим брюшком, персонаж прямо из рассказов Эрнста Теодора Амадея Гофмана, существо, как будто состоящее из бумаги, архивной пыли, чернил и чрезвычайного глубокомыслия — в былые времена считался среди берлинских криминалистов фигурой комической. Он презирал все общепринятые методы, сам почти никогда не вел допросов, и при виде убитого ему становилось дурно.

Больше всего ему нравилось копаться в делах, которые вели другие, он сопоставлял данные, наводил справки, делал выписки целыми страницами, но главной его манией было решительно по всякому поводу составлять таблицы, бесконечные, до тончайших деталей разработанные таблицы, на основании которых он и выводил свои глубокомысленные заключения. Так как советник Цотт, следуя методу, по которому все должна делать только голова, достиг поразительных результатов в ряде случаев, казавшихся совершенно безнадежными, то вошло в обыкновение сплавлять ему все безнадежные дела — и если уже Цотт ничего не мог из них выкрутить, то никто не сможет.

Таким образом, в самом предложении комиссара Эшериха — передать дело невидимки советнику Цотту — не было ничего необычного. Беда была в одном — Эшериху следовало сделать так, чтобы это предложение исходило от его начальника: в устах комиссара оно являлось дерзостью, больше того — капитуляцией перед врагом, дезертирством...

Советник Цотт сидел три дня запершись с делом невидимки и лишь тогда попросил у обергруппенфюрера разрешения поговорить с ним. Обергруппенфюрер, жаждавший поскорее покончить с этой заботой, тотчас явился к нему.

— Ну, господин советник, Шерлок Холмс вы этаким, что вы тут опять вынюхали? Я уверен, что вы уже нащупали невидимку. Осел Эшерих...

Последовал целый залп брани по адресу Эшериха, который все прошляпил. Советник Цотт выслушал этот залп не поморщившись, даже кивком или покачиванием головы не выразил он своего мнения.

Когда пыл его начальника улегся, Цотт сказал: — Итак, господин обергруппенфюрер, перед нами автор открыток: это простой, малообразованный человек, он в своей жизни писал немного, и ему довольно трудно выражаться письменно. Он вероятно холостяк или вдовец, и живет в квартире совершенно один, иначе, в течение двух лет, его наверняка застигла бы за этой работой какая-нибудь женщина или квартирная хозяйка. То, что не возникло никаких слухов о нем, — хотя, как известно, в районе севернее от Александерплац очень много ходило разговоров об этих открытках, — доказывает, что никто не видел его пишущим. Он должен жить в абсолютном одиночестве. Это, вероятно, пожилой человек, — более молодому такое занятие без осязаемых результатов давно бы наскучило, и он давно придумал бы что-нибудь другое. Нет у него также и радио...

— Хорошо, хорошо, господин советник, — нетерпеливо прервал его Праль. — Все это давно и в тех же словах я слышал от идиота Эшериха. Мне нужны новые подробности, факты, дающие мне возможность задерживать этого молодца. Я вижу, у вас тут какая-то таблица. Что за таблица?

— В эту таблицу, — ответил советник, не подавая и виду, как жестоко Праль его оскорбил, заявив, что все глубокомысленные выводы Цотта уже были предвосхищены Эшерихом, — в эту таблицу занесены все даты нахождения открыток. На сегодня зарегистрировано двести тридцать три открытки и десять писем. Если мы задумаемся в даты, то придем к следующему выводу: после восьми вечера и до десяти утра не было подброшено ни одной открытки...

— Но ведь это же ясно как апельсин! — воскликнул обергруппенфюрер. — Ведь подъезды же заперты в эти часы! Чтобы узнать это, мне вовсе не нужны таблицы!

— Одну минутку, прошу вас! — сказал Цотт, и в его голосе, наконец, послышалось раздражение. — Я еще не кончил; кстати, подъезды в домах отпираются вовсе не в десять, а уже в семь, а иногда и в шесть часов утра. Итак, я продолжаю. Открытки подбрасывались между девятью и двенадцатью утра. Ни одна не была положена между двенадцатью и четырнадцатью, откуда следует, что пишущий открытки и разносящий их — а это несомненно одно и то же лицо — регулярно между двенадцатью и четырнадцатью обедает и что работает он или ночью или во второй половине дня. Если мы возьмем любое из мест, где найдена такая открытка, хотя бы Алекс, и установим, что она была подброшена в одиннадцать пятнадцать, и если учесть то расстояние, которое человек может пройти за сорок пять минут, и описать циркулем круг, приняв место нахождения открытки за центр — то к северу мы непременно натолкнемся на тот район, где нет флажков. Это, конечно, приблизительный расчет, ведь время, когда открытка найдена, не всегда совпадает с временем, когда она положена. Отсюда я заключаю, во-первых, что человек этот очень точен. Во-вторых, он не любит пользоваться городским транспортом. Он живет в треугольнике, который образуют Грейфсвальдер, Дан-дигер и Пренцлаурштрассе, а именно, в северном углу треугольника, возможно, что на Ходовецки, Яблонски или Кристбургерштрассе.

— Замечательно, господин советник! — сказал обергруппенфюрер, который все больше раздражался. — Мне, впрочем, помнится, что уже Эшерих называл эти улицы. Только он считал, что обыски по домам ничего не дадут. Как вы полагаете насчет обысков?

— Одну минутку, — сказал Цотт и поднял свою крошечную ручку (от протоколов и дознаний, на которых она покоилась, она как будто успела пожелтеть). — Я хотел бы точно изложить все мои данные, чтобы вы сами могли решить, насколько предлагаемые мною мероприятия целесообразны...

Перестраховывается, лисица паршивая! подумал Праль. Подожди, у меня не перестраخуешься, если придется и тебя взять в оборот, я пойду на это!

— Когда мы посмотрим далее на таблицу, — продолжал разглагольствовать советник, — то мы увидим, что все открытки были положены в будни, — интересующий нас субъект по воскресеньям сидит дома. Воскресенье — день, когда он их пишет, это подтверждается и тем, что большинство открыток найдены в понедельник и во вторник. Он всегда спешит унести из дому столь опасный материал.

Человечек с торчащим брюшком поднял палец: — Исключение составляют те девять открыток, которые найдены южнее Ноллендорфплац, они все положены в воскресенье, большинство — с перерывом в три месяца, и всегда во вторую половину дня или ранним вечером, откуда можно заключить, что там живут какие-нибудь родственники писавшего, может быть, старуха-мать, у которой он бывает по обязанности через регулярные промежутки времени.

Советник Цотт сделал паузу и сквозь очки в золотой оправе посмотрел на обергруппенфюрера, словно ожидая одобрения.

Но тот сказал лишь: — Все это очень хорошо. Вы, разумеется, чрезвычайно проницательны. Но я не вижу, каким образом это нас двинет дальше...

— Чуть-чуть все же двинет, господин обергруппенфюрер, — возразил советник. — Я, конечно, очень осторожно и незаметно буду наводить справки в домах на указанных улицах, не живет ли там человек, отвечающий моим выводам.

— Ну, это все-таки уже кое-что! — воскликнул с облегчением обергруппенфюрер. — А еще...

— Но я, — продолжал советник, с тихим торжеством извлекая вторую карту, — я составил еще таблицу и на ней обозначил красными кругами диаметром в один километр основные точки, где были найдены

открытки. Точки на Ноллендорфплац и вероятное местожительство интересующего нас субъекта остались вне кругов. Если я взглянусь теперь в эти одиннадцать основных точек — имейте ввиду — одиннадцать, господин обергруппенфюрер, — я сделаю поразительное открытие, а именно, что все они, все, без исключения, лежат поблизости от трамвайных парков. Посмотрите сами, господин обергруппенфюрер. Вот здесь! и здесь! и там! Вот тут трамвайный парк несколько вправо, почти вне круга, но все же на его радиусе. И потом опять здесь, как раз посередине...

Цотт смотрел на обергруппенфюрера почти умоляюще. — Это не может быть случайностью! — сказал он. — Таких случайностей для криминалиста не существует! Господин обергруппенфюрер, этот человек имеет какое-то отношение к трамваю! Иначе и быть не может! Он наверно работает там ночью, иногда, может быть, вторую половину дня. Однако он ходит не в форме, это нам известно из показаний свидетельниц, которые видели его, когда он подбрасывал открытки. Господин обергруппенфюрер, прошу вашего разрешения поставить в каждом из этих трамвайных парков по одному из наших лучших агентов. Я считаю, что такое мероприятие даст гораздо больше, чем опросы по домам. Но и то и другое, проведенное основательно, бесспорно приведет к успеху.

— Ах вы, хитрая лисица! — воскликнул обергруппенфюрер, окончательно убежденный, и так хлопнул советника по плечу, что тот присел чуть не до земли. — Ах вы, мошенник! Эта мысль насчет трамвайных парков великолепна! А Эшерих просто болван! Он должен был сообразить. Разумеется, я даю вам разрешение! Поторопитесь со всем этим и через два-три дня доложите мне, что молодца уже сцапали. Я хочу этому ослу, этому Эшериху, сам дать в морду и сказать ему, какой он осел!

И обергруппенфюрер с довольной улыбкой вышел из комнаты.

Советник, оставшись один, кашлянул. Он засел за свои таблицы, лежавшие на письменном столе, через очки покосился на дверь и еще раз кашлянул. Он ненавидел всех этих бездарных наглецов, которые только орать умеют, и особенно горячо ненавидел этого, который только что вышел из комнаты, безмозглую обезьяну, то и дело сравнивавшую его с Эшерихом: «Мне уж Эшерих говорил», или «Мне уж от Эшериха все известно, от этого осла!»

Он его шутливо похлопал по плечу, а советник не выносил ни малейшего физического прикосновения. Нет, какая наглость; впрочем, нужно набраться терпенья. Эти господа не так уж крепко сидят в седле, их крик и брань — только попытка скрыть свой страх перед неминуемой гибелью. С какой бы уверенностью и грубостью они не выступали, в душе они отлично знают, что сами ничего не могут, сами они ничто. И такому-то болвану вынужден был советник рассказать о своем великом открытии относительно трамвайных парков, человеку, который совершенно неспособен оценить проницательный ум Цотта и все же будет делить с ним плоды этого открытия! Просто мечешь бисер перед свиньями, — вечно одно и то же!

Затем, однако, советник возвращается к своим бумагам, к своим таблицам и планам. У него в голове образцовый порядок: он задвигает один ящичек и полностью выключает его содержание; он выдвигает ящик с трамвайными парками и начинает размышлять о том, какую должность может занимать автор открыток. Он звонит в дирекцию городского транспорта, в отдел личного состава, и требует, чтобы ему зачитали длиннейший список должностей всех работающих в берлинской трамвайной компании. Время от времени он делает заметки.

Он весь поглощен одной единственной мыслью: преступник должен иметь какое-то отношение к городскому трамваю. Цотт так невероятно гордится своим открытием, что был бы беспрельдно огорчен, если бы к нему сейчас привели Квангеля и оказалось бы, что преступник мастер с мебельной фабрики! Советнику было бы совершенно безразлично, что автор открыток наконец пойман, ему было бы только обидно, что его замечательная теория оказалась ложной.

И поэтому, когда через два дня — обыски уже идут во всех домах и трамвайных парках — начальник полицейского участка докладывает советнику, что они, кажется, поймали автора открыток, Цотт осведомляется только о его профессии. Ему отвечают «столяр», и вопрос о нем тем самым отпадает. Он может быть только трамвайным служащим!

Разговор кончен, и вопрос о Квангеле снят. Снят раз и навсегда, и советник даже не отдает себе отчета, что участок этот на Ноллендорфплац, что сегодня воскресенье и близок вечер, и что именно на Ноллендорфплац снова найдена открытка! Даже номер участка он не берет себе на заметку. Эти идиоты вечно делают одни глупости — вопрос снят!

Мои люди уж добьются толку, завтра, самое позднее — послезавтра. А все, что полиция делает, — это обычно навоз, просто они не криминалисты!

И вот таким-то образом захваченные полицией Квангели оказываются вновь на свободе...

ГЛАВА 40

Отто Квангель Теряет Уверенность

В этот воскресный вечер Квангели молча приехали домой, молча поужинали. Фрау Анна, проявившая в нужную минуту столько мужества и решительности, пролила в кухне несколько тайных слезинок, о которых Отто не должен был знать. Сейчас, когда все уже прошло, ее охватывают страх и ужас. Ведь дело едва не кончилось бедой, еще немного, — и была бы им обоим крышка — не будь этот Миллек столь известным склочником и будь начальник участка другим человеком, ведь по всему было видно, что он этого доносчика терпеть не может. Да, еще раз кончилось благополучно, но никогда, никогда Отто не должен больше подвергать себя такой опасности.

Она входит в комнату, где муж безустали шагает взад и вперед. Огня они не зажигали, но он поднял занавески, и в окно светит луна.

Отто продолжает ходить, все еще не говоря ни слова.

— Отто. — Да?

Он останавливается и смотрит на жену, она сидит на диване, чуть видная в тусклом бледном свете, просачивающемся в комнату.

— Отто, мне кажется, нам нужно сделать перерыв. Сейчас нам не везет.

— Нельзя, — отвечает он. — Нельзя, Анна. Это бросится в глаза, если вдруг не будет открыток. Именно теперь, когда они нас чуть не поймали, это особенно бросится в глаза. Ведь они не такие дураки — они сразу почуют, что есть какая-то связь между нами и открытками, которых вдруг не стали больше находить. Надо продолжать, хотим мы или не хотим.

И сурово добавил: — А я и хочу!

Анна тяжело вздохнула. Она не имела мужества решительно поддержать его, хотя соглашалась, что он прав. Это не такая дорога, на которой можно останавливаться, когда вздумается. Здесь нет пути назад, нет передышек. Нужно идти все вперед и вперед.

После некоторого размышления она сказала: — Тогда позволь мне самой разносить открытки, Отто. Тебе сейчас с ними не везет.

Он гневно ответил: — Я тут не при чем, если какой-то доносчик сидит три часа у глазка. Я очень внимательно осматривался, нет ли кого, я был осторожен!

— Я не говорю, что ты был неосторожен, Отто. Я сказала только, что тебе сейчас не везет. Ты тут не при чем.

Он перевел разговор на другое: — А куда, скажи, ты дела вторую открытку? На себе спрятала?

— Нельзя было, ведь кругом были люди. Нет, Отто, я опустила ее в почтовый ящик на Ноллендорфплац, тут же в суматохе.

— В почтовый ящик? Очень хорошо. Это ты хорошо сделала, Анна. В ближайшие недели везде, где бы мы ни находились, мы будем опускать открытки в почтовые ящики, это не так привлекает внимание. Почтовые ящики — это тоже не плохо, и на почте работают не только нацисты. Да и риску меньше.

— Прошу тебя, Отто, позволь мне теперь разносить открытки, — попросила она снова.

— Ты, пожалуйста, не думай, мать, что я допустил промах, которого ты бы избежала. Это те самые случайности, которых я так боялся, против них никакая осторожность не поможет, оттого что их нельзя предвидеть. Ну, что я поделаю, если шпион три часа у глазка торчит? А ты можешь вдруг заболеть, ты можешь упасть и сломать ногу — они сейчас же обшарят твои карманы и найдут открытку! Нет, Анна, от случайностей нет защиты!

— Я бы так успокоилась, если бы ты мне поручил открытки, — начала она в третий раз.

— Я не говорю нет, Анна. Сознаюсь тебе, я вдруг потерял уверенность, мне кажется, я только и могу смотреть туда, откуда мне не грозит опасность. И как будто вокруг меня — везде, совсем рядом со мной — враги, а я не могу их увидеть.

— Ты изнервничался, Отто. Ведь это так давно продолжается. Если бы можно было хоть две-три недели не писать открыток! Впрочем, ты прав, нельзя этого, но теперь я сама буду их уносить.

— Я не говорю нет. Давай. Я не боюсь, но ты права, я нервничаю. А все из-за этих случайностей, я никогда их не учитывал. Я думал — достаточно, если делаешь дело аккуратно. Но этого мало, нужно еще, чтобы везло, Анна. Нам долго везло, а теперь, видно, счастье от нас отвернулось...

— Да ведь еще раз повезло же, — сказала она, стараясь его успокоить. — Ничего же, как видишь, с нами не случилось.

— Но они могут когда угодно опять забрать нас! Раз уже заподозрили, могут в любую минуту опять заподозрить. А все. эти проклятые родственники. Я всегда говорил, не нужны они!

— Не будь несправедливым, Отто. При чем тут Ульрих?

— Конечно, не при чем! Кто говорит? Но если бы не он, мы туда не поехали бы. Никогда не нужно привязываться к людям, Анна, от этого потом только тяжелее. А вот теперь мы на подозрении.

— Будь мы действительно на подозрении, они бы не отпустили нас, Отто.

— Чернила! — сказал он и вдруг остановился. — У нас дома еще есть чернила! Чернила, которыми я писал открытку, и такие же вот тут в пузырьке.

Он побежал в уборную и вылил чернила. Затем долго одевался.

— Куда, Отто?

— Пузырек нельзя оставлять в доме! Мы завтра раздобудем другие чернила. Сожги пока ручку, а главное — прежние открытки и почтовую бумагу, у нас еще осталась. Все это нужно сжечь! Осмотри все ящики комода. Ничего такого не должно оставаться в доме!

— Ах, Отто, но ведь нас же никто не подозревает! Все это еще успеется!

— Ничего не успеется! Делай, что тебе говорят! Все проверить, все сжечь!

Он ушел.

Когда Отто вернулся, он был спокойнее. — Я бросил пузырек в Фридрихсхайне. Ты все сожгла?

— Да!

— Все-все? Ты все пересмотрела и сожгла?

— Раз я говорю тебе, Отто!

— Ну, ладно, ладно, Анна! Но у меня опять такое чудное чувство, будто я не вижу, где на самом деле враг притаился. Будто я что-то позабыл!

Он провел рукой по лбу, задумчиво окинул взглядом комнату.

— Успокойся, Отто, ты ничего не забыл, ничего. В этой квартире ничего нет.

— А пальцы у меня не в чернилах? Ты понимаешь, на мне не должно быть даже самого маленького чернильного пятнышка, именно теперь, когда у нас совсем нет чернил.

Они еще раз произвели осмотр, и, действительно, нашли следы чернил на указательном пальце его правой руки. Анна оттерла их.

— Видишь, я же говорю, всегда найдется еще что-нибудь! Это и есть враги, которых я не вижу! Может быть, именно это чернильное пятнышко, я на него не обратил внимание, а оно все-таки мучило меня!

— Его уже нет, Отто, больше уже ничего нет, тебе нечего тревожиться.

— Слава тебе господи! Понимаешь, Анна, не боюсь я, но мне не хочется, чтобы нас слишком рано поймали! Мне хотелось бы продолжать мою работу как можно дольше. Если удастся, я хочу еще видеть,

как все это рухнет. Да, мне очень хотелось бы увидеть. Ведь тут все-таки и наша капля есть.

Теперь Анна старается утешить его: — Да, ты увидишь, мы оба увидим. Ведь ничего же не случилось. Верно, нам грозила большая опасность, но... Ты говоришь — счастье отвернулось от нас? Нет, счастье не изменило нам, опасность миновала. Мы свободны.

— Да, — согласился Отто Квангель. — Мы дома, мы на свободе. Пока еще — да. И надеюсь, будем еще долго, долго...

ГЛАВА 41

Старый Нацист Перзике

Сыщик советника Цотта, Клебс, получил задание вынюхать всю Яблонскиштрассе и накрыть там некоего одиноко живущего пожилого человека, аресту которого гестапо придавало большое значение.

В кармане у Клебса лежал список наиболее надежных членов нацистской партии из числа жильцов каждого дома, и не только переднего корпуса, но, по возможности, и флигелей; в этом списке стояла также фамилия Перзике.

Но если на Принц-Альбрехтштрассе эти поиски считались очень важными, то для сыщика Клебса это было самым обыкновенным делом. Маленький, скудно оплачиваемый и скудно питающийся, кривоногий, с нечистой кожей и гнилыми зубами, Клебс был похож на крысу, и когда он действовал, то напоминал крысу, роющуюся в грудах отбросов. Он всегда был готов взять предложенную ему булку, выклянчить стаканчик водки или папироску, и его жалобный пискливый голос становился при этом каким-то сиплым, словно несчастный начинал задыхаться.

У Перзике ему открыл старик. У него был ужасный вид, седые волосы свалились, лицо отекло, глаза покраснели, и весь он пошатывался и покачивался, точно судно в свирепую бурю.

— Чего тебе?

— Кое-какие справочки получить, я от национал-социалистской партии.

Сыщикам было строжайше запрещено ссылаться при опросах на гестапо. Весь опрос должен был производить такое впечатление, будто просто наводятся справки относительно какого-то члена нацистской партии.

Но на старика Перзике даже этот безобидный ответ относительно «справочек» подействовал так, точно его ударили под ложечку. В его одурелом, затуманенном винными парами мозгу на миг вспыхнул какой-то проблеск сознания, а вместе с сознанием — и страх. Все же он сделал над собой усилие и сказал: — Входи!

Крыса молча последовала за ним. Она рассматривала старика живыми острыми глазками. Ничто не могло ускользнуть от нее.

В комнате царил хаос. Опрокинутые стулья, поваленные бутылки, — вытекшая из их горлышек водка стояла на полу вонючими лужами; тут же скомканное одеяло, сорванная со стола скатерть. Под зеркалом, с сетью трещин от удара, гряда осколков. Одна штора сдернута, другая тоже сорвана. И повсюду окурки, окурки и надорванные пачки табаку и папирос.

Воровские пальцы сыщика Клебса задержались. Охотнее всего он начал бы сейчас же тащить и хапать: водку, папиросы, табак, деньги и вон те карманные часы, что свисают из жилета, перекинутого через спинку стула. Но сейчас он был только посланцем гестапо или национал-социалистской партии. Поэтому он честно уселся на табуретку и весело пискнул: — Вот уж где и попить и покурить можно! Богато живешь, Перзике!

Старик посмотрел на него тяжелым и мутным взглядом. Затем сразу двинул к нему через весь стол початую бутылку водки, — Клебс едва успел подхватить ее, иначе она бы опрокинулась.

— Поищи себе папиросу! — пробормотал Перзике и окинул взглядом комнату. — Наверно тут где-нибудь папиросы валяются. — И добавил, едва ворочая языком: — А уж огоньку у меня нет.

— Да ты не беспокойся, Перзике! — успокоительно засипел Клебс. — Я уж найду, что мне нужно. У тебя в кухне наверняка газ есть и зажигалка для газа.

Он вел себя так, словно они давным-давно знакомы. Словно они закадычные друзья. Нисколько не смущаясь, он начал с того, что заковылял на своих кривых ногах в кухню, — там царил еще больший беспорядок, — побитая посуда, поваленная мебель, — действительно отыскал среди всего этого зажигалку для газа и зажег ее.

Он уже успел сунуть в карман три вскрытых пачки папирос. Одна из них, правда, намокла в луже водки, но ее можно высушить. Возвращаясь в столовую, Клебс заглянул в две остальных комнаты, всюду царил хаос и разрушение. Как Клебс и предполагал, старик был один в квартире. Сыщик радостно потер руки и оскалился, показав желто-коричневые зубы. Да, тут еще кой-чем можно будет разжиться, не только глотком водки да пачкой папирос!

Старик Перзике все еще сидел на том же стуле. Однако хитрый Клебс сразу же заметил, что тот без него, видимо, вставал, ибо сейчас перед ним стояла полная бутылка водки, которой до сих пор Клебс не видел.

Значит, еще где-нибудь запас есть. Это мы выясним!..

Клебс, самодовольно пискнув, сел на стул, пустил старику в лицо клубы табачного дыма, сделал глоток из бутылки и спросил с невинным видом: — Ну, что у тебя на сердце, Перзике? Выкладывай-ка, старикан, облегчи душу! Да только живо, не то сразу же под расстрел.

При этих словах старик задрожал. Он не мог уловить смысл того, что сказал посетитель. Он понял только, что его расстреляют.

— Нет, нет! — испуганно забормотал он. — Не надо стрелять, не надо стрелять! Вот приедет Бальдур, Баль-дур все уладит.

Крыса решила пока не уточнять, кто такой Бальдур, этот все улаживающий Бальдур. — Да, если только все это можно уладить, Перзике! — сказал Клебс осторожно.

Он взглянул на старика, который, казалось, угрюмо и злобно вперился в него. — Ну, что ж, если Бальдур приедет... — заметил он примирительно.

Старик все так же молча смотрел на него в упор. Вдруг, в одну из тех минут просветления, которые время от времени наступают у человека, пьяного в течение многих дней, он сказал ясно и членораздельно: — Да вы, собственно, кто? Чего вы хотите от меня? Я же вас совсем не знаю.

Крыса с опаской посмотрела на столь решительно очнувшегося хозяина. В этой стадии пьяницы иногда буянят и дерутся, Клебс же был такой хлипкий и, кроме того, трус, а по старику Перзике даже сейчас, когда он находился в состоянии полного распада, было видно, что он подарил своему фюреру двух бравых эсэсовцев и одного питомца «Напола».

Клебс сказал, возвращаясь к основному вопросу: — Я же вам объяснил, господин Перзике. Вы, может, не поняли. Моя фамилия Клебс, я к вам от национал-социалистской партии, мне нужны кое-какие справки...

Кулак Перзике с громом обрушился на стол. Качнулись обе бутылки, и Клебс едва успел подхватить их.

— Как ты смеешь, собака, — заревел Перзике, — говорить, будто я не понял? Ты что же — умней меня, что ли, вонючка? В моем собственном доме, за моим собственным столом смеешь говорить мне, будто я не понимаю, что ты несешь? Скотина вонючая, сволочь!

— Нет, нет, нет, господин Перзике! — засипела крыса, стараясь успокоить его. — Я не то хотел сказать. Тут маленькое недоразумение. Давайте все дружно да мирно обговорим. Всегда нужно спокойненько — ведь мы старые члены нашей партии!

— Где твое удостоверение? Как это ты заявляешься ко мне в мой дом и не предъявляешь удостоверения? Ты знаешь — это запрещено.

Но этим Клебса нельзя было запугать: гестапо снабдило его превосходными, полноценными, безукоризненными удостоверениями.

— Вот, господин Перзике, ознакомьтесь со всем этим спокойненько. Все в порядке. Я уполномочен собрать сведения, и вы должны мне в этом деле помочь, если можете!

Старик мутным взглядом посмотрел на удостоверения, которые тот протянул ему. Клебс остерегался выпускать их из рук. Буквы расплывались перед глазами старика, он неуклюже потыкал пальцем в бумаги: — Это вы самый и есть?

— Да вы взгляните сюда, господин Перзике. Все говорят, что я на карточке страшно похож! — И хвастливо добавил: — Но только в жизни я будто бы кажусь на десять лет моложе. Не знаю, я не хвастун. Я никогда даже и не смотрюсь в зеркало!

— Убери, — проревел бывший трактирщик, — не желаю я сейчас читать! Садись, пей водку, кури, только води себя смирно. Мне нужно все это еще обдумать.

Крыса Клебс сделала то, что ей было приказано, при этом она внимательно наблюдала за своим собеседником, которым, видимо, снова овладевал хмель.

Да, голова у старика Перзике, тоже сделавшего большой глоток из своей бутылки, снова начала туманиться, его неудержимо влекло обратно в водоворот опьянения, и то, что он называл «обдумыванием», было просто беспомощными попытками что-то сообразить, поисками чего-то, что от него давно ускользнуло. Он даже не знал, чего ищет.

Он очутился в печальном положении, этот старик. Сначала первого сына угнали в Голландию, затем второго в Польшу. Бальдура послали в «Напола», честолубивый мальчишка достиг своей цели! Он был принят в число «лучших сынов германской нации», он теперь ученик самого фюрера. И он усердно учился, учился властвовать, но не над собой, а над всеми другими людьми, не сумевшими пойти так далеко, как он.

Отец остался только с женой и дочерью. Он и раньше любил заглядывать в рюмку и был самым усердным клиентом своего прогоревшего трактирчика. Когда сыновья уехали и, главное, когда Бальдур уже не мог присматривать за ним, Перзике запил по-настоящему, запил беспробудно. Жену сначала тоска взяла в этом мужском хозяйстве, где она была только ничтожной, робкой и плаксивой служанкой и где с ней всегда дурно обращались; затем ей стало страшно — откуда муж берет столько денег на водку? К этому прибавился страх перед вечными угрозами и обидами, которые ей наносил пьяный старик, — и она, в конце концов, бежала тайком к родным, оставив отца на руках у дочери.

Дочь, беспутное создание, прошедшая через Союз германских девушек, сама бывшая одно время руководительницей в этом союзе, не имела ни малейшего желания убирать за стариком и еще терпеть за это свинское обращение. Благодаря ее связям, ей удалось устроиться надзирательницей в женском концлагере Равенсбрук, и она предпочла, с помощью верховой плетки и злых овчарок, подгонять старух, никогда в своей жизни физическим трудом не занимавшихся, заставляя их работать выше сил.

Отец, оставшись совершенно один, все больше опускался. На службе он казался больным, никто не заботился о его обеде, и он поддерживал себя только алкоголем. В первые дни он еще, время от времени, забирал хлеб на свои талоны, но талоны он потом потерял или их украли, и Перзике вот уже много дней ничего не ел.

В прошлую ночь ему стало очень худо, это он помнил. Но он не помнил, как разбушевался, бил посуду, опрокидывал шкафы, как он в мучительном ужасе видел повсюду преследовавших его людей. Квангели и советник Фром долго стояли у его двери и звонили, звонили. Но он не шевельнулся, он ни за что бы не отпер своим преследователям. Там, за дверью, несомненно стояли люди, подосланные из его бюро, они хотят потребовать у него отчета относительно состояния кассы, а в кассе нехватает свыше трех тысяч марок, а может быть, и шести тысяч — даже в самые трезвые минуты он не мог бы сказать точно.

Старик Фром спокойно заметил: — Предоставим ему бушевать. Меня это мало интересует...

Обычно столь приветливое, чаще всего — слегка насмешливое лицо его стало очень холодным. Господин советник снова спустился к себе.

А Отто Квангель, который терпеть не мог, чтобы его впутывали в чужие дела, тоже заявил: — Зачем мы будем вмешиваться? Только одни хлопоты! Ты слышишь, Анна, он пьян как стелька! Потом утихомирится.

По Перзике, который едва ли помнил обо всем этом па следующий день, Перзике не утихомирился. Утром ему стало нехорошо, у него сделалась такая дрожь во всем теле, что он едва мог поднести ко рту горлышко бутылки, но чем больше он пил, тем тише становилась дрожь, и меньше страх, который все еще находил на него приступами. В конце концов, осталось только мучившее его смутное чувство, что он что-то забыл и непременно должен вспомнить.

И вот теперь против него сидела крыса, терпеливая, хитрая, жадная. Крысе некуда было торопиться, она увидела свое счастье и твердо решила взять его. Крыса Клебс вовсе не спешила к господину советнику Цотту со своим донесением. Ему всегда можно что-нибудь накрутить, отчего вышла задержка. Ведь перед Клебсом открылись такие возможности, которые нельзя упускать.

И он действительно не упустил их, этот Клебс! Старик Перзике все глубже погружался в хмель, и хотя был в состоянии уже только лепетать, но и такой лепет имел свою цену. Через час Клебс знал решительно все, что ему необходимо было знать о растрате старика и о том, где бутылки с водкой и папиросы, а остаток денег уже был у него в кармане.

Теперь крыса — давно уже лучший друг Перзике. Она уложила его в постель, и когда старик рычит, Клебс бежит к нему и дает ему столько водки, сколько тот захочет, лишь бы он перестал рычать. Тем временем крыса торопливо засовывает в два чемодана все, что ей кажется заслуживающим внимания. Дорогое камчатное столовое белье покойной Розенталь снова меняет владельца, и опять-таки не вполне законно.

Затем Клебс вливает в старика еще одну основательную порцию водки, берет чемоданы и выскальзывает из квартиры.

Когда он открывает входную дверь, ему навстречу выступает костлявый верзила с угрюмым лицом и спрашивает: — Что вы делаете в квартире Перзике? Что это вы тут вытаскиваете? Вы же пришли без всяких чемоданов! Ну, скоро, что ли? Или хотите со мной в полицию прогуляться?

— Прошу вас, зайдите сюда, — смиренно сипит, крыса. — Я старый друг господина Перзике и товарищ по партии фюрера. Он вам подтвердит это. Вы ведь управляющий домом, да? Господин управляющий, дело в том, что мой друг Перзике очень болен...

ГЛАВА 42

У Боркхаузена В Третий Раз Сорвалось

Они уселись в разгромленной столовой; теперь «управляющий» сидел на месте крысы, а Клебс — на стуле Перзике. Нет, старик Перзике ничего не мог объяснить, но та уверенность, с какой Клебс ходил по квартире, то спокойствие, с каким он обращался к старику и давал ему пить, все ж заставили «управляющего» насторожиться.

Наконец Клебс извлек засаленный бумажник, сшитый из набойки, которая некогда была черной, а теперь отливала на кантах рыжизной. Он сказал: — Может быть, господин управляющий разрешит мне предъявить мои документы? Все в порядке, национал-социалистская партия поручила мне...

Однако его собеседник отстранил бумаги, от водки он тоже отказался, только папиросу взял. Нет, спасибо, лучше он не будет пить, он слишком хорошо помнит, как там, наверху, у Розентальши, Энно Клуге сорвал ему чудное дельце из-за дурацкого коньяка. Еще раз он так не промахнется! Боркхаузен, ибо это не кто иной, как Боркхаузен, сидит на стуле в роли управляющего и напряженно обдумывает, как ему лучше взяться за Клебса. Ведь он сразу раскусил этого субъекта, и действительно ли тот друг Перзике и действительно ли сидит здесь по поручению своей партии — неважно: негодяй решил заняться грабежом. И в чемоданах у него, конечно, краденое добро. Иначе бы не испугался он так при виде Боркхаузена, иначе не был бы и сейчас так боязлив и предупредителен. Если у человека честные намерения, никогда не будет он пресмыкаться перед другим, это Боркхаузен прекрасно знает по собственному опыту.

— Может быть, все-таки разрешите стаканчик, господин управляющий?

— Нет! — Боркхаузен почти рывкает. — Заткнитесь, мне еще нужно кое-что сообразить...

Крыса съежилась и замолчала.

Этот год был для Боркхаузена очень тяжел. Тех двух тысяч, которые ему перевела фрау Гэберле, он тоже не получил. Почта, в ответ на его просьбу о переводе этих денег, сообщила ему, что они изъяты гестапо, так как получены преступным путем, и пусть он свяжется с гестапо. Нет, Боркхаузен не связался с гестапо. Он не желал больше иметь никакого дела с этим бесчестным Эшерихом, и Эшерих больше никогда не посылал за Боркхаузенем.

Итак, все провалилось; но еще хуже было то, что Куно-Дитер совсем не вернулся домой. Сначала Боркхаузен все еще повторял про себя: «Ну, подожди у меня! Только покажись!» рисовал себе картины порки и грубо обрывал Отти, когда она со страхом спрашивала, куда делся ее любимчик.

Однако, неделя шла за неделей, и без Куно-Дитера его положение дома сделалось почти нестерпимым. Отти стала просто ведьмой и превратила его жизнь в сущий ад. Ему было, в конце концов, все равно, пусть парень хоть совсем не возвращается, тем лучше: одним обжорой на его шее меньше... Но Отти просто как бешеная становилась от беспокойства за своего любимца, казалось, она и дня не может прожить без Куно-Дитера, а раньше она ведь и по отношению к нему не скупилась на брань и побои.

Наконец Отти совсем рехнулась, она побежала в полицию и обвинила собственного мужа в убийстве сына! А с такими людьми, как Боркхаузен, в полиции не церемонятся. Репутацией он там пользовался неважной и даже, можно сказать, самой дурной, и его тотчас же привлекли к уголовному суду.

Пять с половиной месяцев отсидел он, пришлось усердно клеить пакеты и щипать пеньку, а не то урезывали паек, которого и так не хватало. Но хуже всего были ночи, когда начинались воздушные налеты. Боркхаузен отчаянно боялся воздушных налетов. Он видел раз одну женщину в Шэнхаузераллэ: в нее попала зажигательная бомба. До самой смерти не забудет Боркхаузен этого зрелища.

Итак, он ужасно боялся самолетов. А когда стрекотанье моторов раздавалось все ближе и весь воздух наполнялся гуденьем, а затем падали первые бомбы 23* 355 и стены его камеры озарялись багровыми

вспышками и отсветами близких пожаров, — нет, они не выпускали заключенных из камер, они не пускали их в убежище, где сами сидели в безопасности, эти проклятые живодеры! В такие ночи по всему огромному зданию распространялась истерика, заключенные цеплялись за решетки окон и кричали, — о, как они кричали! И Боркхаузен тоже кричал вместе с ними. Он был как животное, сначала он прятал голову под одеяло, затем бился головой об дверь камеры, теменем вперед бросался он на дверь с разбега, пока, наконец, оглушенный, не валился на пол. Это было для него тем наркозом, который помогал ему выносить такие ночи.

После двух с половиной месяцев предварительного заключения он вернулся домой не слишком дружелюбно настроенный. Разумеется, его ни в чем не удалось обвинить, но он мог бы не мучиться эти два с половиной месяца, а все из-за Отти, из-за этой гадины! Он теперь так и обходился с ней, как с гадиной, небось она в его квартире без него недурно проводила время со своими друзьями (она аккуратно вносила квартирную плату), тогда как он щипал пеньку и чуть с ума не сходил от страха.

Отныне в боркхаузенской квартире побои сыпались градом. Чуть что — Боркхаузен начинал драться; какой бы предмет он ни держал в руке, он запускал им в морду гадины, проклятой, которая такую беду навлекла на него!

Однако и Отти заняла оборону. Никогда не было для него дома ни готовой пищи, ни денег, ни папирос. Когда он бил ее, она так кричала, что сбегались жильцы, и все брали ее сторону против Боркхаузена, хотя отлично знали, что она просто-напросто подлая шлюха. И вот однажды, когда он стал целыми прядями вырывать ей волосы из головы, она сделала самую ужасную низость, то есть просто смылась вчистую, бросила его с четырьмя сорванцами на руках, из которых ни одного он не мог считать наверняка своим ребенком. Пришлось Боркхаузену поступить на работу, иначе они бы все с голоду подошли, и все хозяйство свалилось на десятилетнюю Паулу.

Невеселый был год, ничего не скажешь — сволочной! А тут еще эта гложущая ненависть к Перзике, которому он не мог да и не смел напасть, бессильная ярость и зависть, когда в доме стало известно, что Бальдур поступил в «Напола», и наконец, проблеск слабой, хилой надежды, когда он узнал о беспробудном пьянстве старика Перзике, надежды на то, что, может быть... может быть, все-таки...

И вот он сидит в квартире Перзике — вон под окошком на столике радиоприемник, который Бальдур спер из квартиры Розенталь. Боркхаузен теперь у цели, и весь вопрос только в том, как бы ему половчее отделаться от этого клопа.

Глаза Боркхаузена вспыхивают, когда он рисует себе, как взбесился бы Бальдур, если бы увидел, что Боркхаузен сидит вот тут за их столом! Он, конечно, хитер, этот Бальдур, нечего говорить, а все-таки еще недостаточно хитер. Терпением иной раз больше возьмешь, чем хитростью. И вдруг Боркхаузену приходит на память, как этот самый Бальдур хотел подвести его и Энно, когда они вломились в квартиру Розентальши, то есть, конечно, это не было настоящей кражей со взломом, все было сговорено...

Выставив нижнюю губу, Боркхаузен созерцает своего собеседника, который, кажется, во время столь продолжительного молчания совсем изнервничался. Он говорит: — Да, так покажите мне, что у вас там в чемоданах!

— Знаете, — крыса пытается оказать сопротивление, — по-моему, вы слишком много на себя берете! Если мне мой друг, господин Перзике разрешил — хоть вы и управляющий, а таких прав вам не дано...

— Ах, перестаньте трепаться! — сказал Боркхаузен. — Или вы мне сию минуту покажете, что у вас там в чемоданах, или мы сейчас же отправляемся в полицию.

— Мне это хоть и ни к чему, — заявила крыса, — но я, так и быть, покажу вам. С полицией такая волянка, а мой товарищ очень тяжело болен, и, может быть, долго еще не сможет подтвердить, что я чистую правду говорю...

— Живо! Живо! Открыть! — внезапно вскидывается Боркхаузен, он не утерпел и все-таки приложился к бутылке.

Крыса Клебс смотрит на него, но тут на лице шпики появляется хитрая усмешка. «Живо! Живо! Открыть!» — этим Боркхаузен выдал свою жадность. Выдал и то, что он вовсе не управляющий, а если и управляющий, то такой, который готов пойти на бесчестное дело.

— Ну, что ж, дорогой, — вдруг спрашивает крыса совсем другим тоном, — пополам, что ли?

И тут же удар кулаком сбивает его с ног. Чтоб вернее было, Боркхаузен еще два, три раза наносит ему удары ножкой от стула. Так, этот теперь по крайней мере час не пикнет!

Тогда Боркхаузен принимается укладывать, перекидывать. Опять бывшее белье Розенталь меняет своего владельца. Боркхаузен работает быстро и совершенно спокойно. Уж на этот раз никто не встанет между ним и удачей. Он всем готов рискнуть, даже своей головой. Еще раз он не даст себя обставить.

Но когда потом, четверть часа спустя, Боркхаузен вышел из квартиры, схватка между ним и двумя полицейскими была делом нескольких секунд. Немножко топота и возни, и Боркхаузен был усмирен и связан.

— Так! — сказал с удовлетворением отставной советник апелляционного суда Фром, — полагаю, что вашей деятельности в этом доме навсегда конец, господин Боркхаузен. Я не забуду отдать ваших детей в попечительство. Но это вас, вероятно, не очень интересует. Так, господа, а теперь нам еще нужно зайти в квартиру. Я надеюсь, что с этим крысенком, который перед вами поднялся туда, вы обошлись не слишком свирепо. И потом мы найдем там еще господина Перзике, господин вахмистр, сегодня ночью у него был приступ белой горячки.

ГЛАВА 43

Интермедия: Деревенская Идиллия

Бывший почтальон Эва Клуге работает на картофельном поле, совсем так, как мечтала когда-то. Для раннего лета день выдался прекрасный, почти жаркий, небо ослепительно синее, и здесь на полянке, у самого леса, ветра почти нет. Вскapывая землю, фрау Эва Клуге постепенно скинула всю лишнюю

одежду; на ней осталась только юбка да блузка. Ее крепкие голые ноги, лицо и руки покрыты золотистым загаром.

Мотыга все время попадает то на лебеду, то на дикую редьку, чертополох и пырейник — работа подвигается медленно, поле изрядно засорено. Когда мотыга попадает на камень, раздается певучий серебряный звон — очень приятный для слуха. Неподалеку от опушки леса фрау Эва натывается на целую ложбинку малинового иван-чая — место сыроватое, картофель тут растет плохо, и иван-чай его забивает. Ей, собственно, хотелось бы позавтракать, да и по солнцу видно, что уже время, но она решает сперва уничтожить сорняк, а потом отдохнуть. Она усердно орудует мотыгой, губы ее крепко сжаты. Здесь, в деревне, она научилась ненавидеть сорняки, эту нечисть, и теперь беспощадно истребляет их.

Но хотя рот фрау Эвы плотно сжат, глаза ее ясны и спокойны. Во взгляде нет той суровости и озабоченности, как два года назад во времена ее берлинской жизни. Она успокоилась, она справилась с горем. Она знает, что Энно умер, фрау Геш написала ей об этом из Берлина. Знает, что потеряла обоих сыновей: Макс убит в России, а Карлеман давно потерян для нее. Ей неполных сорок пять лет, жизнь еще далеко не кончена, она не отчаивается, она работает. Она не хочет зря промаяться оставшиеся ей годы, она хочет что-то делать.

Есть у нее и маленькая радость — ежевечерние встречи с помощником сельского учителя. «Настоящий» учитель, Швох, ярый нацист, подленький кляузник и доносчик, сотни раз со слезами на глазах уверял, что он рвется на фронт, а ему, как это ни тяжело, приходится по приказу фюрера оставаться на своем посту. И вот «настоящий» учитель Швох, невзирая на врачебные свидетельства, все же был взят в армию. Случилось это с полгода назад. Но видимо путь на фронт оказался чересчур труден для этого ретивого вояки: учитель Швох по сию пору застрял в каком-то казначейском управлении, где он числится писцом. Фрау Швох частенько ездит к мужу, нагруженная салом и ветчиной, и, очевидно, муж вкушает эти жирные блага не один. Дело выгорело, ее бравый Вальтер произведен в унтер-офицеры, сообщила фрау Швох, вернувшись из своей последней жировой экспедиции. А между тем, по приказу фюрера, производство в чин допускается только в действующей армии. Однако на пламенных приверженцев нацистской партии, да еще с ветчиной и салом, подобные приказы фюрера, конечно, не распространяются.

Но фрау Клуге это не трогает. С тех пор как она вышла из их партии, она прекрасно во всем разбирается. Дело в том, что она побывала в Берлине; когда к ней вернулось душевное равновесие, она поехала в Берлин, явилась на почтамт и предстала перед нацистским судом. Это были дни отнюдь не из приятных, на нее орали, ей грозили, а во время пятидневного ареста даже один раз избили. Она была на волосок от концлагеря, но пока что ее оставили в покое. Все равно она враг государства — и ей еще покажут, чем это пахнет.

Эва Клуге ликвидировала свое хозяйство. Кое-что пришлось продать, в деревне ей дали комнату, и зажила она самостоятельно. Она работала не только на зятя, который норовил не платить ей денег, а разве лишь, на худой конец, кормить ее; она рада была подсобить в любом крестьянском хозяйстве. Она помогала не только в июле или во дворе, но и бралась ухаживать за больными, шить, садовничать, стричь овец. У нее были золотые руки. Казалось, будто она вспоминает давно забытое дело, а не учится чему-то новому. Видно, крестьянская работа была у нее в крови.

Однако тихая, очень скромная и, главное, мирная жизнь, которую она создала себе на развалинах былого, осветилась и согрелась по-настоящему только присутствием помощника учителя Киншепера. Киншепер был высокий, несколько сутулый человек лет под шестьдесят, с седыми развевающимися волосами и очень смуглым лицом, на котором улыбались юные голубые глаза. Подобно тому как Киншепер укрощал этими улыбающимися голубыми глазами деревенских ребят и выводил их после бандитского воспитания своего предшественника на более человеческую стезю, подобно тому как он, вооружившись садовыми ножницами, проходил по деревенским садам и срезал с дикорастущих фруктовых деревьев тунейные и засохшие ветки, прижигал карболкой ранки и язвочки — так же залечил он и раны Эвы, растворил горечь и внес в ее душу мир.

И не то, чтобы он много говорил на эти темы, Киншепер не был красноречив. Но когда он водил ее на свою насеку и рассказывал о жизни пчел, которых страстно любил, когда он вечерами бродил с ней по полям и показывал, как плохо возделана почва и как мало надо труда, чтобы сделать ее плодороднее, когда он ухаживал за телящейся коровой или поправлял, по собственному почину, чужой забор, когда он сидел за органом и тихонько играл только для нее и для себя, когда она видела, что повсюду он приносит с собой покой и порядок, то это успокаивало ее лучше всяких ободряющих слов. Человек доживает свою жизнь в годы ненависти, слез и крови, а у самого совесть чиста и спокойна.

Жена учителя Швоха, еще более рьяная нацистка, чем ее неукротимый вояка-муж, конечно, сразу же возненавидела Киншепера и делала ему всяческие пакости, какие только мог изобрести ее злобный ум. Она обязана была предоставить заместителю мужа квартиру и стол, но она делала все от нее зависящее, чтобы Киншепер не успевал позавтракать до начала занятий в школе, чтобы еда его всегда пригорала, а комната никогда не убиралась.

Однако против его веселой невозмутимости она была бессильна. Как бы она ни горячилась, ни злобствовала, ни бушевала, какие бы гадости ни говорила, сколько бы ни подслушивала у двери класса, а потом доносила на него школьному совету, — он неизменно говорил с ней, как с непослушным ребенком, который со временем сам пожалеет о своих пакостях. В конце концов, Киншепер стал столоваться у фрау Эвы Клуге, переехал в деревню, и жирная злочка Швох могла воевать с ним только на расстоянии.

Ни фрау Эва Клуге, ни седой учитель Киншепер не помнили, как впервые заговорили о том, что им хорошо бы пожениться. А может быть, они и не говорили вовсе. Это вышло как-то само собой. Да они и не спешили — когда-нибудь и как-нибудь дело дойдет до этого. Просто два стареющих человека не хотели коротать век в одиночестве. Детей больше не надо — при одной мысли о детях фрау Эва содрогалась. Ей нужна дружба, взаимопонимание в любви и, главное, доверие. В своем первом браке она никогда не знала доверия, и руководить всегда должна была она, а теперь, на последнем этапе жизни, она

доверчиво отдает себя чужому руководству. Когда вокруг нее сгустился мрак, когда она дошла до полного отчаяния, сквозь тучи вдруг проглянуло солнце.

С иван-чаем она разделалась, на первый раз он истреблен. Конечно, он снова прорастет, ведь это такой сорняк, который нужно при вспашке вырывать из рыхлой земли, иначе малейший кусочек корня снова даст ростки. Но фрау Эва запомнила это местечко, она будет приходить до тех пор, пока от иван-чая не останется и следа.

Сейчас ей совсем не худо бы позавтракать, давно пора, и желудок настоятельно этого требует. Но вот она оглядывается на оставленный в тени, у опушки леса, хлеб и бутылку кофе и видит, что сегодня ей завтракать не суждено, сегодня ее желудку придется замолчать. К ее завтраку подобрался парнишка лет четырнадцати, невероятно оборванный и грязный, он так жадно глотает ее хлеб, как будто у него давно не было во рту ни крошки.

Мальчик до того занят едой, что даже не слышит, как мотыга на поле затихает. Только когда женщина подходит к нему вплотную, он вздрагивает и устремляет на нее большие синие глаза из-под всклокоченной копны светлых волос. Хотя парнишка уличен в воровстве и бегство уже невозможно, взгляд его не выражает ни страха, ни раскаяния, скорей дерзкий вызов.

В последние месяцы деревня, а с нею и фрау Клуге, привыкла к таким ребятам; налеты на Берлин все учащались, и населению было предложено рассылать детей по деревням. Вся провинция наводнена берлинской детворой. Но странно, некоторые ребята никак не могли свыкнуться с тихой деревенской жизнью. Здесь был покой, мирный сон по ночам, да и питались здесь лучше, но они не выдерживали, их тянуло обратно в большой город. И они пускались в путь, босые, без денег, питались подаянием, скрывались от сельской полиции и безошибочно находили дорогу назад в город, где почти каждую ночь пылали пожары. Их ловили, отправляли обратно в деревенскую общину, но, едва подкормившись, они убегали опять.

И этот мальчуган с дерзким взглядом, поедавший завтрак фрау Эвы, повидимому, давно был в пути. Фрау, Эва не помнила, чтобы ей случалось видеть до такой степени оборванное и грязное существо. В волосах у него торчала солома, а в ушах хоть огород разводи.

— Что — вкусно? — спросила фрау Эва.

— Ясно! — сказал он, и уже одно это слово выдало его берлинское происхождение. Он взглянул на нее. — Драться хочешь? — спросил он.

— Нет, — ответила она, — Ешь себе спокойно. Я обойдусь разок и без завтрака, а ты видно проголодался.

— Ясно! — опять сказал он. — А потом отпустишь? — Может быть, — ответила она. — А может, лучше я тебя сперва помою и почищу? А может, я найду для тебя целые штаны?

— Незачем! — заявил он решительно. — Я загоню их, как только лопать захочется. Сколько я всего загнал за год! Штанов пар пятнадцать! И башмаков десять пар! — Он заодно взглянул на нее.

— Зачем ты мне все это рассказываешь? — спросила она. — Тебе же выгоднее было бы попросту взять штаны.

— Сам не знаю, — сказал он. — Ты вот меня не облаяла, когда я умял твой хлеб. По-моему, лаяться вообще глупо.

— Значит, ты уже год бродяжничаешь?

— Нет, тут я призагнул. Зиму я кое-как прокрутился. У одного кабатчика. Свиной кормил, мыл пивные стаканы, все делал. Хорошее было времечко, — проговорил он мечтательно. — Кабатчик потешный был хрыч. С утра ходил пьяный, а со мной говорил как будто мы пара, по годам и вообще. У него я и водочку потягивать стал и курить научился. А ты пьешь водку?

Фрау Клуге отложила обсуждение вопроса о том, рекомендуется ли четырнадцатилетним ребятам пить водку.

— А ты все-таки убежал оттуда? Хочешь вернуться в Берлин?

— Ну, нет, — ответил мальчик. — К своим я больше не пойду. Чего я там не видал.

— Но твои родители будут беспокоиться, они ведь не знают, где ты!

— Подумаешь! Да они рады, что отделались от меня!

— Кто твой отец?

— Он? Да что хочешь. Он и кот, и шпик, и сопрет тебе, что плохо лежит. Только он растяпа, редко на что толковое нападает.

— Так, — сказала фрау Клуге, и голос ее зазвучал несколько суровей. — А что мать твоя на это говорит?

— Мать? А что ей говорить? Сама-то она шлюха. Бац! Несмотря на обещание фрау Клуге, затрещина не миновала его.

— Как тебе не стыдно так говорить о, своей матери? Безобразник ты этакий!

Мальчишка невозмутимо потер щеку.

— Здорово дала, — констатировал он. — Одной такой за глаза хватит.

— Не смей так говорить о матери! Понимаешь? — сказала она сердито.

— Почему? — спросил он и расположился поудобней. Он наелся досыта и теперь благодушно поглядывал на щедрую хозяйку. — Почему не говорить? Когда она и есть шлюха. И сама так говорит: не ходила бы я на улицу, все вы с голоду бы подохли! Нас пятеро, и все от разных. У моего, говорят, имение в Померании. Я, собственно, и собирался к нему, поглядеть, что за тип. Думаю — интересный фрукт. Куно-Дитер зовут его. На свете, должно быть, не много людей с таким имечком, уж я бы нашел его...

— Куно-Дитер, — сказала фрау Клуге. — Значит, и тебя зовут Куно-Дитер?

— Говори просто Куно, Дитера я тебе дарю!

— Ну, ладно, Куно, скажи мне, в какую общину ты был эвакуирован? Как называется деревня, куда ты приехал поездом?

— Да никто меня не эвакуировал. Просто удрал от своих! — Он лежал теперь на боку, грязная щека

покоилась на такой же грязной руке. При этом он лениво посматривал на фрау Клуге, явно расположенный к беседе. — Рассказать тебе все, как было? Давно уж, с год назад, этот самый так называемый папаша нагрел меня на пятьдесят марок, да еще меня же и отлупил. Ну, тогда я привел своих дружков, то есть не то, чтобы дружков, а так, ребят постарше, и вот все мы навалились на него и здорово отдубасили. Таких учить надо, пусть знает, что не всегда маленьким от больших страдать. И еще мы выгребли у него из кармана все деньги. Сколько там было — не знаю, старшие делили. Мне досталось всего двадцать марок. А потом они мне сказали: сматывайся поскорей, пока твой старик не избил тебя до смерти и не запихнул в приют. Валяй в деревню к крестьянам. Вот я и махнул в деревню к крестьянам. И жилось мне тут очень-даже неплохо, прямо надо сказать!

Он замолчал и снова посмотрел на нее.

Ома смотрела на него и думала о Карлемане. Через три года этот будет вторым Карлеманом, без любви, без игры, без стремлений, будет думать только о себе.

— Как ты считаешь, Куно, что из тебя выйдет? — спросила она и прибавила: — Верно хочешь пойти в эсэсовцы или штурмовики?

— К этим-то? — протянул он. — Нет, дудки! Эти хуже отца. Только и знают, что ругаются и командуют! Нет уж, туда меня, не заманишь, спасибочки!

— А, может, тебе понравится командовать другими?

— Ну, нет, это мне тоже не подходит. Слушай-ка, как тебя звать?

— Эва, Эва Клуге.

— Знаешь, Эва, что мне нравится — мне нравится машина, автомобиль. Я бы все хотел знать насчет машин, как мотор работает и что в карбюраторе делается. Нет, не что делается, это я и сам знаю, а почему так делается... Вот что мне хочется узнать, только я для этого глуп, меня смолodu всегда по котелку били, вот он и треснул. Я даже правильно писать не умею!

— Ну, положим, не такой уж ты дурачок! Я уверена, писать ты скоро научишься, а потом и все про моторы узнаешь.

— Учиться? Опять ходить в школу? Дураков нет. Да и стар я для этого. У меня уже две девочки были.

Ее передернуло, но в следующее мгновение она взяла себя в руки. — А как ты думаешь, — возразила она, — мастер или техник может когда-нибудь совсем доучиться? Они все учатся и учатся: кто в университете, кто на вечерних курсах.

— Знаю! Все знаю! Все это на любом столбе написано. «Вечерние курсы для квалифицированных электротехников», — он вдруг заговорил правильным немецким языком; — «Основы электротехники».

— Вот видишь, — воскликнула фрау Эва. — А ты считаешь, что тебе поздно учиться! Значит, до конца дней хочешь остаться бродягой, зимой мыть стаканы и колоть дрова? Прекрасная жизнь! Немного она принесет тебе радости!

Он снова широко открыл глаза и смотрел на нее испытующе и вместе с тем недоверчиво.

— Ты к чему клонишь? Чтобы я вернулся к своим и ходил в Берлине в школу? Или собираешься засадить меня в приют?

— Ничего подобного! Я думаю, не взять ли тебя к себе. А тогда и сама буду с тобой заниматься и еще один мой друг.

Он попрежнему смотрел недоверчиво. — А какая тебе с того прибыль? Ведь я тебе чорт-те сколько стоить буду, — и еда, и башмаки, и книги и все прочее.

Я не знаю, поймешь ли ты меня, Куно. У меня был когда-то муж и два мальчика. Я их потеряла. И теперь я совсем одна, только и есть у меня, что этот друг!

— Тогда у тебя и ребенок народится.

Она покраснела, она, стареющая женщина, покраснела под взглядом четырнадцатилетнего парнишки.

Нет, у меня не может быть детей, — сказала она и решительно взглянула на него. — Но для меня было бы радостью, если бы ты стал кем-нибудь, инженером по автомобилям или авиаконструктором. Для меня было бы радостью сделать из такого мальчика, как ты, что-нибудь путное.

— Ты, верно, считаешь, что я — последняя сволочь?

— Тебе и самому ясно, что сейчас ты немножко стоишь, Куно.

— Что правда, то правда!

— И тебе не хочется стать другим?

— Хочется-то хочется, да...

— Ну что?..

— А ну как я тебе скоро надоем! Я не люблю, когда меня выгоняют, я лучше сам уйду!

— Ты можешь уйти от меня, когда угодно, я тебя держать не стану.

— Не врешь?

Не вру! Даю тебе слово, Куно. У меня ты будешь свободен.

Да, только если я буду у тебя, меня надо заявить, а тогда мои старики узнают, где я. И уж они мне дня здесь законно прожить не дадут.

— Если у вас дома такая жизнь, как ты рассказы-ваешь, тебя никто не заставит вернуться. Возможно даже, мне тогда передадут все права, и ты будешь совсем моим мальчиком...

Мгновение они смотрели друг на друга. Ей показалось, что в равнодушном синем взгляде зажегся мимолетный огонек. Но тут мальчик положил руку под голову, закрыл глаза и сказал: — Ну, ладно. Пока что я малость посплю. А ты ступай к своей картошке.

— Ну, Куно! — воскликнула она. — Должен же ты ответить на мой вопрос.

— Должен? Никто никому ничего не должен.

С минуту она в недоумении смотрела на него, затем усмехнулась и принялась за прерванную работу.

Она усердно копала и полола, но теперь она делала это машинально. Два раза она поймала себя на том, что перекапывает картошку. Потихе, Эва! мысленно одернула она себя.

Однако и после этого она не стала внимательной. Она все думала о том, что, пожалуй, лучше будет,

если ничего не выйдет с этим испорченным мальчишкой. Сколько любви и труда вложила она в Карлемана, а что получилось из ее любви и труда, и при этом в детстве он не был испорченным. И вот теперь ей вздумалось заново переделать четырнадцатилетнего сорванца, который презирает и жизнь и людей? Что она себе вообразила? Кстати, и Киншепер ни за что не согласится...

Она оглянулась на спящего мальчика. Но его уже не было на месте, в тени на опушке леса лежали только ее вещи.

Ну и прекрасно! подумала она. Он сам избавил меня от всяких решений. Удрал! Тем лучше.

И она гневно всадила мотыгу в землю.

Но не прошло и минуты, как она обнаружила, что Куно-Дитер прилежно выпалывает сорную траву на другом конце картофельного поля и складывает ее сбоку в кучки. Шагая по бороздам, она добралась до него.

— Выспался? — спросила она.

— Не могу спать, — ответил он. — Ты мне совсем задурила голову. Надо подумать.

— Думай, сделай милость. Только не воображай, что ты должен на меня работать.

— На тебя! — трудно себе представить, сколько презрения вложил он в эти два слова. — Просто так думать легче, и потом мне это нравится. А то — сказала, на тебя! За твои паршивые бутерброды, что ли?

И фрау Клуге снова с тихой усмешкой вернулась к работе. Конечно же, он делал это для нее, хотя не хотел сознаться даже самому себе. Теперь она уже не сомневается, что в обед он пойдет с нею, и все предостерегающие голоса сразу же потеряли всякое значение.

Закончив работу раньше обычного, она опять подошла к мальчику и сказала: — Куно, я иду обедать. Если хочешь, пойдем со мной.

Он выдернул еще несколько сорных трав и оглядел очищенный участок поля: — Порядочный кусок я выполол! — сказал он довольным тоном. — Конечно, я вырвал только крупный сорняк, для мелкого надо еще раз пройтись мотыгой, она лучше приберет.

— Правильно, — сказала фрау Эва. — Вырывай только крупный сорняк, с мелочью я сама справлюсь.

Он снова искоса посмотрел на нее, и она убедилась, что его синие глаза могут глядеть и плутовато.

— Ты это на что намекаешь? — осведомился он.

— Думай, как хочешь. Никаких намеков тут нет.

— Тогда дело другое!

На пути домой она остановилась у небольшого, но быстрого ручейка.

— В таком виде мне не хотелось бы вести тебя в деревню, Куно, — сказала она.

Он сразу же насупился и недоверчиво спросил: — Стидишься меня?

— По мне, иди таким, — ответила она. — Только если ты хочешь остаться в деревне, так живи там хоть пять лет и ходи франтом, крестьяне никогда не забудут, в каком виде ты явился к ним. Свинья свиньей, сущим босяком, — и через десять лет припомнят.

— Что верно, то верно, — согласился он. — Я их тоже знаю. Ну, ладно, ступай, тащи барахло! А я тут немножко пообскребусь.

— Я принесу мыло и щетку, — крикнула она на ходу и спешно побежала в деревню.

Позднее, много позднее, к концу дня, к вечеру, когда они поужинали втроем: фрау Эва, седой Киншепер и почти Неузнаваемый Куно-Дитер, фрау Эва сказала: — Сегодня ты переночуешь на сеновале, Куно. Завтра я для тебя попрошу чуланчик, из него только весь хлам нужно вынести. Я его поуютнее устрою.

Куно выразительно посмотрел на нее. — Это значит, сейчас мне пора сматываться, — сказал он. — Господам угодно остаться вдвоем. Ну, ладно. Но спать я не собираюсь, Эва, я не грудной младенец. Пойду пошляюсь по деревне.

— Только возвращайся не поздно, Куно! И не кури на сеновале.

— Ну, еще бы! Я бы первый там изжарился. Ну-с, молодежь, повеселитесь вволю, сказал отец и сделал матери ребенка. — С этими словами господин Куно-Дитер удалился.

Фрау Эва Клуге улыбнулась озабоченной улыбкой. — Сама не знаю, Киншепер, правильно ли я сделала, что впустила такое сокровище в нашу тесную семью. Это трудный случай, очень трудный.

Киншепер рассмеялся. — Ну, Эва, — сказал он, — неужто ты не видишь, что мальчишка просто задается. Хочет показать себя! И главное, с самой гнусной стороны! Он сразу заметил, что ты не в меру стыдлива...

— Неправда! — запротестовала она. — Но когда четырнадцатилетний мальчишка рассказывает мне, что он имел уже двух любовниц...

— Вот и видно, что ты не в меру стыдлива, Эва! И что собственно значит — две любовницы, которых он к стати и не имел! Ничего это не значит! Я пощажу твой слух, Эва, и не стану тебе рассказывать, чем занимаются ребята в этой скромной и благочестивой деревушке; по сравнению с ними твой Куно-Дитер — просто золото.

— Но дети об этом не рассказывают!

— Потому что у них совесть не чиста. У него же она совсем молчит, и он считает это вполне нормальным, ведь он никогда ничего другого не видел и не слышал. Все это уляжется. В мальчишке заложено доброе семя; не пройдет и полугода, как он будет краснеть, вспоминая все, что наболтал тебе в первые дни. Он все это отбросит вместе со своим берлинским жаргоном. Ты заметила, он умеет говорить вполне грамотно, только не хочет.

— Мне совестно, особенно перед тобой, Киншепер!

— Напрасно, Эва. Мальчишка меня забавляет, и верь мне, кем бы он ни стал, но гитлеровцем он не станет никогда. Скорее он будет чудачком, нелюдимом, только не нацистом.

— Дай бог! — сказала Эва. О большем я и не мечтаю.

У нее было смутное чувство, что спасая Куно-Дитера, она как бы искупает зло, причиненное Карлеманом

Письмо начальника участка было официально адресовано Цотту, советнику по уголовным делам при государственной тайной полиции в Берлине. Но из этого еще не следовало, что оно и попало непосредственно к советнику Цотту. Лет, начальник Цотта обергруппенфюрер СС Праль вошел к советнику, держа в руках это письмо.

Что за история, господин советник? — спросил Праль. — Вот тут опять открытка невидимки, и к ней приколота записка: арестованные отпущены на свободу, согласно телефонному распоряжению советника Цотта из гестапо. Какие арестованные? Почему мне об этом не доложено?

Советник искоса, сквозь очки, посмотрел на своего начальника: — Ах, вот что! Да, да, припоминаю. Это было не то вчера, не то третьего дня. Нет, теперь я вспомнил точно — это было в воскресенье. Вечером. Между шестью и семью, то есть, виноват, между восемнадцатью и девятнадцатью часами, господин обергруппенфюрер.

Щегольнув своей великолепной памятью, он гордо посмотрел на обергруппенфюрера.

— А что именно было в воскресенье между восемнадцатью и девятнадцатью? Откуда взялись арестованные? И отчего их освободили? И на каком основании мне о них не доложили? Конечно, очень утешительно, что вы все это помните и знаете. Но и я не прочь бы все узнать, Цотт.

Окрик «Цотт», без всякого титулования, прогремел как первый орудийный залп.

Пустяковое дело! — следователь успокоительно помахал своей пергаментно-желтой ручкой. — Что-то там намудрили в участке. Захватили каких-то людишек, мужа и жену — якобы именно они писали или распространяли открытки. Понятно, очередная выдумка полиции. Какие там муж и жена — ведь мы же знаем, что тот живет один! Да и вот еще несуразность — этот по профессии был столяр, а настоящий, как мы знаем, имеет отношение к трамваю!

— Вы хотите этим сказать, сударь, — произнес, еще сдерживаясь, обергруппенфюрер (слово «сударь» было вторым и куда более метким выстрелом в этом бою), — вы хотите сказать, что дали приказ об освобождении арестованных только потому, что их было двое вместо одного и что мужчина назвался столяром. А сами даже не потрудились взглянуть на них и допросить? Так, сударь?!

— Господин обергруппенфюрер, — возразил следователь Цотт и поднялся с места. — Мы, криминалисты, действуем по определенному плану и не отклоняемся от него. Я разыскиваю одинокого человека, имеющего отношение к трамваю, а не какого-то отца семейства, да еще столяра. Этот меня не интересует, ради него я и шагу не сделаю.

— Как будто столяр не может работать в трамвайном парке, ремонтировать вагоны, например! — взорвался Праль. — Что за непроходимая тупость!

Цотт собрался было обидеться, но справедливое замечание начальника озадачило его. — Да, конечно, — сконфуженно ответил он, — об этом я, конечно, не подумал. Но я ищу одинокого человека, — продолжал он, оправившись. — А этот женат.

— Не знаете вы разве, на какие пакости способны бабы? — буркнул Праль. Но у него наготове был еще козырь: — А вы не подумали, господин советник Цотт (третий и самый меткий выстрел), что открытка была подброшена в воскресенье, под вечер, недалеко от Ноллендорфплац, то есть в районе данного полицейского участка. Неужели и эта маленькая ничтожная улика ускользнула от вашей криминалистической проницательности?

На сей раз советник Цотт был по-настоящему огорошен, козлиная борода его задрожала, темные, умные глаза помутнели.

— Я до крайности сконфужен и огорчен, господин обергруппенфюрер! Как это могло со мной случиться?

Да, конечно, я оплошал. Дались мне эти трамвайные парки! Уж очень я гордился своей догадкой. Не в меру гордился...

Обергруппенфюрер злобно смотрел на этого человечка, который в искреннем сокрушении каялся в своих грехах.

— Это была ошибка, большая ошибка, — с жаром говорил Цотт. — Мне не следовало брать на себя это дознание. Мое дело — спокойная кабинетная работа, а не розыск преступников. Коллега Эшерих куда более пригоден для такой работы. К тому же меня тут постигла еще одна неудача, — продолжал он покаянным тоном. — Я поручил слежку в одном из намеченных домов своему человеку, некоему Клебсу, а его арестовали будто бы за соучастие в краже, — в ограблении одного алкоголика. Вдобавок он тяжело ранен. Вообще, пренеприятная история. При разборе дела он молчать не будет и прямо скажет, что мы послали его...

Обергруппенфюрер Праль дрожал от злости, но смиренная искренность и полное равнодушие Цотта к собственной участи пока что держали его в узде. — А как вы представляете себе продолжение дела? — холодно спросил он.

— Господин обергруппенфюрер, прошу вас, — и Цотт умоляюще поднял руки, — прошу вас, увольте меня! Увольте от этого поручения, — мне оно ни в каком смысле не по плечу! Верните из подвала комиссара Эшериха, он с этим справится лучше...

— Надеюсь, — сказал Праль, пропустив мимо ушей все сказанное советником, — надеюсь, вы хотя бы записали адреса этих двух, — которых задержали и отпустили?

— Нет, не записал! Я был загипнотизирован своей навязчивой идеей и действовал с преступным легкомыслием. Но я свяжусь с участком, мне скажут адреса, и мы выясним.

— Ну, так свяжитесь же!

Разговор был очень краток. Советник доложил обергруппенфюреру: — Они тоже не записали адресов. — И в ответ на гневный жест начальника: — Я, я один во всем виноват. После телефонного разговора со мной они сочли вопрос исчерпанным. По моей вине даже и дела-то не завели!

— Так что теперь у нас нет никаких следов?

- Никаких!
- И как же вы расцениваете свое поведение?
- Я прошу выпустить из подвала комиссара Эшериха!

Обергруппенфюрер Праль некоторое время безмолвно смотрел на стоявшего перед ним человека. Затем, дрожа от ярости, произнес: — Понимаете вы, что я отправлю вас в концлагерь? Вы мне, мне, осмеливаетесь предлагать такую штуку и не дрожите, не воете от страха? Значит, вы из одного теста с красными. Вы признаете свою вину, но как будто даже хвастаете ею!

— Нет, я не хвастаю своей виной. Но я готов нести все ее последствия. И надеюсь, что не буду при этом ни дрожать, ни выть!

На эти слова обергруппенфюрер Праль только презрительно ухмыльнулся: немало собственного достоинства рушилось у него на глазах под побоями эсэсовцев. Но и не раз приходилось ему видеть у истязуемых тог незабываемый взгляд, взгляд спокойного, чуть ли не презрительного превосходства — посреди самой лютой пытки. И вспомнив тот взгляд, он не стал орать и бить, а сказал только: — Оставайтесь здесь в комнате, в моем распоряжении. Я пойду доложить о вас.

Советник Цотт кивнул головой в знак согласия, и обергруппенфюрер Праль ушел.

ГЛАВА 45

Комиссар Эшерих Снова На Свободе

Комиссар Эшерих восстановлен в должности. Тот, кого считали сгинувшим в подвалах гестапо, вернулся к жизни. Он порядком помят и потрепан, но все же сидит снова за своим письменным столом, и коллеги спешат выразить ему сочувствие. Они всегда верили в него. Они охотно сделали бы для него все, что в их власти. — Да ведь ты сам знаешь, раз уж высшее начальство отправляет кого-нибудь в застенки, наш брат тут бессилен. Только себя подведешь. Ну, да ты знаешь и понимаешь сам, Эшерих.

Эшерих заверяет, что понимает все. Он кривит губы в улыбке, которая выходит довольно жалкой, — верно потому, что Эшерих еще не научился улыбаться, когда у него недостает зубов.

Только две речи по поводу восстановления его в должности произвели на него впечатление. Первую произнес Цотт.

— Коллега Эшерих, — сказал ему Цотт, — меня не засадят в подвал на ваше место, хотя заслужил я это в десять раз больше вас. И не только потому, что натворил ошибок, но и потому, что по-свински поступил с вами. Я считал, что вы плохо работали — вот мое единственное оправдание...

— Бросьте говорить об этом, — ответил Эшерих с беззубой улыбкой. — В деле невидимки все до сих пор работали плохо — и вы, и я, словом все. Смешно сказать, но мне очень любопытно поглядеть на этого субъекта. Большой, должно быть, чудак...

Он задумчиво поглядел на Цотта.

Тот протянул ему свою пергаментно-желтую ручку.

— Не думайте обо мне слишком дурно, коллега Эшерих, — тихо сказал он. — Да и вот еще что: я там выдвинул новую версию, будто преступник имеет отношение к трамваю. Вы это увидите в деле. Пожалуйста, не отметайте этой версии при дознании. Я был бы счастлив, если бы хоть одно из моих предположений оправдало себя! Пожалуйста, имейте это в виду!

И советник по уголовным делам Цотт исчез в своем уединенном тихом кабинете и окончательно погрузился в теоретические выкладки.

Вторую впечатляющую речь держал, разумеется, обергруппенфюрер Праль. — Эшерих, — произнес он зычным голосом, — комиссар Эшерих! Вы вполне оправились?

— Вполне оправился! — ответил комиссар. Он стоял у своего письменного стола, машинально вытянув по швам руки с плотно прижатыми большими пальцами, как учили его внизу, в камере. Как ни старался комиссар овладеть собой, он весь дрожал. Глазами он «ел» начальство. Перед обергруппенфюрером он испытывал только страх, животный страх, ведь тот в любую минуту мог отправить его назад, в подвал.

— Раз вы совсем оправились, Эшерих, — продолжал Праль, превосходно понимая действие своих слов, — вы можете снова работать. Верно?

— Да, я могу работать, господин обергруппенфюрер!

— А раз вы можете работать, значит можете поймать невидимку! Можете?

— Могу, господин обергруппенфюрер!

— В кратчайший срок, Эшерих!

— В кратчайший срок, господин обергруппенфюрер!

— Вот видите, Эшерих, — заметил обергруппенфюрер Праль, наслаждаясь страхом подчиненного. — До чего благотворно действует небольшой отдых в подвале! Такие люди мне и нужны! Вы теперь не так уж убеждены в своем превосходстве надо мной, господин Эшерих?

— Помилуйте, господин обергруппенфюрер! Конечно, нет. Так точно, господин обергруппенфюрер!

— Вы больше не считаете себя самой хитрой бестией во всем гестапо, а других — собачьим дермом, не считаете, Эшерих?

— Так точно, господин обергруппенфюрер, больше не считаю!

— Вот видите, Эшерих, — продолжал обергруппенфюрер и в шутку, но больно щелкнул Эшериха по носу, так что тот в испуге отпрянул. — Но как только вам опять покажется, что вы хитрее всех, как только вы решите, что обергруппенфюрер Праль просто безмозглая скотина, и начнете самоуправствовать — предупредите меня своевременно. Пока не поздно, я отправлю вас полечиться в подвал. Идет?

Комиссар Эшерих лишь тупо смотрел в лицо начальнику. Теперь и слепой бы заметил, до чего дрожит комиссар.

— Ну, как, Эшерих, предупредите вы меня своевременно, когда снова вздумаете всех перехитрить?

— Так точно, господин обергруппенфюрер!

— Или, когда работа не будет спориться, чтобы я вас немножко подхлестнул?

— Так точно, господин обергруппенфюрер! — Ну, значит, столкнулись, Эшерих!

И видя, что подчиненный достаточно принижен, высокое начальство неожиданно протянуло ему руку. — Рад снова видеть вас за делом, Эшерих. Надеюсь, мы сработаемся попрежнему. С чего вы намерены начать?

— Затребовать точные приметы от сотрудников участка у Ноллендорфплац. Будьте покойны, теперь-то мы их раздобудем. Возможно, что агент, который допрашивал задержанных, хоть приблизительно помнит их имена. Затем продолжать розыски, начатые коллегой Цоттом.

— Так, так. Для начала годится. Ежедневно будете докладывать мне...

— Так точно, господин обергруппенфюрер!

Вот какова была вторая беседа, которая произвела некоторое впечатление на комиссара по уголовным делам Эшериха после восстановления его в должности. Вообще же пережитое совсем не было заметно по нему, особенно после того, как были восполнены недостающие зубы. Служивцы находили даже, что Эшерих стал много симпатичнее. Верно оттого, что у него совсем пропал тон иронического превосходства. Над кем бы он мог теперь чувствовать превосходство?

Комиссар Эшерих трудится, ведет розыск, снимает допросы, составляет описания примет, перечитывает документы, звонит по телефону — словом, Эшерих трудится на славу. Но хотя по нему ничего не заметно и хотя он надеется когда-нибудь вновь без дрожи говорить со своим начальником Пралем, Эшерих все же знает, что прежним он не будет никогда. Он теперь только автомат, и работает он по шаблону. Вместе с чувством превосходства исчезло и удовлетворение от работы. Только на почве, удобренной гордостью, могли созреть плоды его трудов.

Эшерих всегда чувствовал себя очень уверенным. Он считал всегда, что с ним ничего не может случиться. Для него не было сомнений, что он выше остальных людей. И все эти самообольщения развеялись сразу, в ту секунду, когда эсэсовец Добат ткнул его кулаком в зубы и Эшерих узнал страх. За несколько дней Эшерих так научился бояться, что ему не разучиться до конца своей жизни. Он знает, что может держать себя как угодно, может достичь невозможного, может снискать почести и похвалы, — все равно, он ничто. Удар кулаком способен превратить его в ревущее, дрожащее, запуганное ничтожество, немногим лучше трусливого воришки-карманника, его сожителя по камере, который непрерывно бубнил молитвы, так что они до сих пор звенят у него в ушах. Совсем не многим лучше. Да что там — ничуть не лучше!

Одно только поддерживало дух комиссара Эшериха — мысль о невидимке, которого он должен поймать, а дальше будь что будет. Он должен собственными глазами увидеть этого человека, должен поговорить с этим человеком, виновником своего несчастья. Он сокрушит его, этого таинственного врага.

Только бы заполнить его!

ГЛАВА 46 Роковой Понедельник

В понедельник, которому суждено было стать роковым для Квангелей...

В понедельник, через месяц после восстановления Эшериха в должности...

В понедельник, когда Эмиль Боркхаузен был приговорен к двум годам, а крыса Клебс к году тюрьмы...

В понедельник, когда Бальдур Перзике наконец-то вернулся из «Напола» в Берлин и навестил отца в санатории для алкоголиков...

В понедельник, когда Трудель Хергезель свалилась с лестницы на Эркнеровском вокзале и у нее случился выкидыш...

В этот самый роковой понедельник Анна Квангель лежала в постели больная гриппом, в сильном жару. Доктор только что ушел. У постели сидел Отто Квангель. Они спорили о том, относить ему сегодня открытки или нет.

— Ты вообще больше не будешь ходить с ними, мы ведь твердо договорились, Отто! Открытки смело пролежат до завтра или послезавтра. А тогда я уже буду на ногах!

— Мне хочется унести их из дому, Анна!

— Ну, тогда я пойду! — И Анна поднялась в постели.

— Лежи! — Он силой уложил ее. — Не говори глупостей, Анна. Я рассовал сотню, две сотни открыток...

В эту минуту раздался звонок.

Они испуганно вздрогнули, как пойманные с поличным воры. Квангель торопливо спрятал в карман обе открытки, лежавшие на одеяле.

— Кто б это мог быть? — боязливо спросила Анна.

— В такое время? В одиннадцать утра? — удивился и он.

— Может, у Хефке что-нибудь случилось? Или доктор вернулся? — предположила она.

Звонок зазвонил опять.

— Пойду, посмотрю, — прошептал он.

— Не надо, не ходи, — попросила она. — Ведь никто бы не отворил, если бы мы с тобой пошли разносить открытки!

— Да я только посмотрю, Анна!

— Не надо, не отворяй, прошу тебя. У меня предчувствие: если ты отворишь дверь, в дом войдет беда!

— Я только послушаю потихоньку и приду тебе рассказать.

Он пошел.

Она ждала в сердитом нетерпении. Никогда-то он не уступит, не исполнит ее просьбы. Он поступал опрометчиво, за порогом стерегла беда, а он не чуял ее теперь, когда она пришла на самом деле. И вдобавок он слова не держит! Вот он отворяет дверь и разговаривает с каким-то мужчиной. А ведь обещал сперва притти и все рассказать.

— Ну, что там? Да, говори же, Отто! Ты видишь, как я волнуюсь! Что это за человек? И он еще не ушел!

— Ничего страшного, Анна. Это рассыльный с фабрики. Мастера из утренней смены поранило — мне надо сейчас же заменить его.

Немного успокоившись, она откидывается на подушки. — И ты пойдешь?

— Ну, конечно!

— А обед не готов!

— Не беда, что-нибудь перекушу в буфете!

— Возьми хоть хлеба!

— Ладно, ладно, об этом не беспокойся. Плохо то, что тебя я надолго оставлю одну.

— Все равно, в час тебе пришлось бы итти.

— Я отработаю сразу же и свою смену.

— Рассыльный ждет?

— Да, я поеду прямо с ним.

— Только возвращайся скорее, Отто. Для такого случая можешь сесть в трамвай!

— Ну, понятно, Анна. Поправляйся!

Он уже пошел к двери, но она окликнула его: — Пожалуйста, Отто, поцелуй меня на прощание!

Он вернулся, немного удивленный, немного смущенный такими непривычными для них нежностями. Он коснулся губами ее губ.

Она крепко прижала его голову к себе и горячо поцеловала его.

— Какая я глупая, Отто, — сказала она. — Мне до сих пор страшно. Это, верно, от жара. Ну, ступай!

Так они расстались. Свободными людьми им больше никогда не суждено было встретиться. Впопыхах оба забыли об открытках у него в кармане.

Но старый мастер сразу же вспоминает об открытках, едва только садится в трамвай со своим спутником. Он хватается за карман — вот они! Он досадует на себя — об этом следовало подумать раньше! Лучше бы оставить их дома, лучше бы сразу выйти из трамвая и подбросить их в каком-нибудь подъезде. Но он не находит предлога, достаточно убедительного для своего спутника. Он вынужден итти с открытками на работу — этого он еще ни разу не делал, этого ему не следовало делать — но теперь уже поздно.

Он стоит в уборной. Открытки он держит в руках, он уже собрался порвать, спустить их — но взгляд его привлекает то, что написано, что стоило долгих часов труда: слова кажутся ему сильными, убедительными. Жаль уничтожить такое оружие! Его удерживает природная бережливость, «мерзкая скарედность», а кроме того, он уважает самую работу, — все, что потребовало работы, для него священо. Великий грех — бесцельно уничтожать работу!

Но оставить открытки в куртке, которую он не снимает и в мастерской — немыслимо. Он перекладывает их в портфель, где лежит хлеб и термос с кофе. Отто Квангель превосходно знает, что портфель распоролся сбоку, его давно пора было отдать шорнику. Но шорник перегружен работой и буркнул ему, что срок починки — самое меньшее две недели. Квангель не мог столько времени обходиться без портфеля, да у него и никогда оттуда ничего не выпадало. Поэтому он спокойно кладет открытки в портфель.

Он медленно идет по мастерской к раздевалке и уже на ходу поглядывает вправо и влево. Смена ему чужая, только изредка кивает он знакомым. Один раз ему даже приходится самому стать к станку. Люди с любопытством смотрят на него, многие его знают: ага, это Квангель, чудаковатый старик, правда, его смена на него не жалуется, говорят, он человек справедливый, этого у него не отнимешь. Как бы не так, сущая жила, последние соки из людей выжимает. Да нет же, никто из его смены на него не жалуется. А вид-то какой потешный, все мотает головой, точно она у него на шарнирах. Т-с-с-с, обратно идет, а болтовни он смерть как не любит, только посмотрит на болтуна, так хоть сквозь землю провалиться.

Отто Квангель запер портфель в шкаф, а ключ положил в карман. Ну вот, еще одиннадцать часов, а потом можно унести открытки с фабрики, тогда уже стемнеет и удастся куда-нибудь ткнуть их, тащить их опять домой ни в коем случае нельзя. Анна способна встать с постели, только бы вынести открытки из дому.

При этой, чужой, смене Отто Квангель не может оставаться на своем обычном наблюдательном посту посреди мастерской — кругом сплошной шум и гам! Он ходит от одной кучки к другой, тут ведь не все еще знают, как понимать, когда он молча уставится на человека, у многих хватает наглости попытаться втянуть мастера в разговор. Проходит не мало времени, пока работа настраивается на привычный для него лад, пока они затихают, поняв, что при нем полагается только работать.

Квангель собирается уже вернуться на свой наблюдательный пост, но вдруг замирает на месте, вздрагивает всем телом, глаза его расширяются. Прямо перед ним, на усыпанном опилками и стружками полу мастерской лежит одна из двух его открыток.

Руки у него так и тянутся скорее потихоньку поднять открытку, но тут он видит в двух шагах вторую. Поднять их незаметно нельзя. Рабочие то и дело поглядывают на нового мастера, а женщины, те не сводят с него глаз, будто никогда не видели мужчины.

Да что там, подниму, и все, пускай смотрят! Какое им дело! Нет, мне нельзя! Открытка тут лежит не меньше четверти часа, удивительно, что никто не взял ее! А может быть, кто-нибудь уже видел ее и опять швырнул на землю, когда прочел, что в ней написано. А теперь он же увидит, как я подниму и спрячу ее!

Берегись! Берегись! кричит Квангелю внутренний голос. Берегись! Не поднимай открытки! Сделай вид, что не заметил ее, пусть другой найдет! Иди на свое место!

Но вдруг что-то странное происходит в Отто Кван-геле. Столько времени, целых два года писал он и подбрасывал открытки — и ни разу не видел их действия. Вечно он сидел в своей темной норе, а что происходило с открытками, какую бурю они вызывали — это он представлял себе сотни раз, но на самом деле не видел ни разу.

А мне хотелось бы посмотреть на это! Что со мной может случиться? Здесь я один из восьмидесяти рабочих, подозрение может пасть на всех одинаково, на меня меньше, чем на других, меня все знают, как

старую рабочую клячу, считают, что я равнодушен к политике. Да, надо рискнуть, надо разок это увидеть.

И не додумав еще до конца, он окликает одного из рабочих: — Эй ты! Подними-ка эти штуки! Кто-то, должно быть, посеял их. Да что там такое? Чего ты глаза вылупил?

Он берет у рабочего одну из открыток и делает вид, будто читает ее. Но читать он не может, не может прочесть того, что писал сам крупными печатными буквами. Он не в силах отвести взгляда от лица рабочего, который уставился на открытку. Тот не читает тоже, но рука его дрожит, а глаза полны страха.

Квангель пристально смотрит на него. Значит, страх, один только страх. Рабочий даже не дочитал открытки до конца, не успел он прочесть первую строку, как его охватил страх.

Внимание Квангеля отвлекает приглушенный смехок. Он оглядывается и видит, что полмастерской уставилось на них двоих, читающих какие-то открытки в рабочее время... А может быть, они почуяли уже, что происходит что-то страшное?

Квангель берет у рабочего вторую открытку. Эту игру он должен доигрывать один, партнер его до того перепуган, что не в силах продолжать.

— Который тут у вас уполномоченный от рабочего фронта? Вон тот в бархатных штанах у ленточной пилы? Ладно! А теперь ступай работать, да смотри, не болтай, не то тебе худо придется!

— Послушай! — говорит Квангель человеку у ленточной пилы. — Выйдем-ка на минутку в коридор. Мне надо тебе что-то сказать. — И когда они выходят за дверь: — Вот, возьми эти две открытки! Парень поднял их, а я заметил. Пожалуй, тебе следует передать их администрации. Как ты думаешь?

Тот читает. Но и он прочитывает не больше двух строк. — Это что такое? — в испуге спрашивает он. — И они лежали тут, у нас в мастерской? Господи, да с нас за это заживо шкуру сдерут! Кто, ты говоришь, поднял эту пакость? А ты видел, как он их поднимал?

— Говорю тебе, я велел ему поднять их. А может быть, я первый увидел. Все может быть!

— Господи, что же мне с ними делать? Пойду выброшу в уборную!

— Нет, ты должен сдать их в дирекцию, иначе подозрение ляжет на тебя. Парню, который их нашел, рта не заткнешь. Беги скорее, а я за тебя стану к раме.

Тот нехотя идет. Открытки он держит так, словно они жгут ему пальцы.

Квангель возвращается в мастерскую. Но он не может сразу же стать к ленточной пиле — вся мастерская взбудоражена. Никто не знает ничего определенного, но все чуют, что случилось что-то. Все переглядываются, шепчутся, и на этот раз пристальных птичьих взглядов и многозначительного молчания недостаточно, мастеру приходится грозить штрафами, разыгрывать возмущение, чтобы водворить тишину.

Когда затихают в одном углу, в другом поднимается еще больший гам, а если работа кое-как налаживается, мастер обнаруживает, что у двух-трех станков работает не вся бригада, — ясно, что целая компания собралась в уборной. Он выгоняет их оттуда, и у одного из них хватает наглости спросить: — Что вы там вычитали? Верно, что это была вражеская листовка?

— Занимайся своим делом! — рычит Квангель и загоняет парнишку в мастерскую.

А там болтовня в полном разгаре. Все разбилось на кучки, и в мастерской царит небывалое волнение. Квангель бежит туда, сюда, бранится, грозит, ругается — даже лоб у него вес в поту.

И при этом его гвоздят все те же мысли: вот каково первое действие. Страх. Такой страх, что никто даже до конца не дочитывает! Но это ничего не значит. Здесь все уверены, что за ними следят! А мои открытки люди находили по большей части без свидетелей. И тот, кто находил, мог спокойно дочитать и обдумать их, тогда и действие они производили совсем другое. Я просто проделал глупый опыт. Посмотрим еще, как он сойдет. В общем хорошо, что я, в качестве мастера, поднял и сдал открытки, этим я выгородил себя. Ну, конечно. Я ничем не рисковал. И даже, если у меня дома сделают обыск, все равно там ничего не найдут. Правда, Анна перепугается — впрочем, нет, успею вернуться до обыска и предупредить Анну... Сейчас 14 часов 2 минуты — как раз должна заступить новая смена, моя смена.

Но новой смены нет, звонок в мастерской не звонит, сменная бригада — постоянная бригада Квангеля — не появляется, станки гудят без остановки.

Теперь рабочие встревожены не на шутку, они все чаще шушукуются и поглядывают на часы.

Квангелю приходится махнуть на них рукой, он не в силах прекратить их разговоры. Что может он один против восьмидесяти?

Внезапно в мастерской появляется господин из конторы, щеголеватый господин в отутюженных брюках и со свастикой. Он становится возле Квангеля и кричит, перекрывая гул станков: — Бригада! Внимание!

Все лица поворачиваются к нему, — просто любопытные, выжидающие, угрюмые, настороженные, равнодушные.

— По особым причинам бригада временно продолжает работу. Сверхурочные будут оплачены!

Он молчит с минуту, все уставилось на него. И это все? По особым причинам! Они ждут продолжения.

Но он кричит только: — Бригада, продолжать работу!

Потом обращается к Квангелю: — Мастер, вы отвечаете за полный порядок и бесперебойную работу! Укажите мне человека, который поднял открытки.

— Кажется, я первый увидел их.

— Это я знаю. Ну, так который? Хорошо. Имя вы, надеюсь, знаете?

— Нет. Это не моя бригада.

— И это я знаю. Да, скажите бригаде, что ходить в уборные пока что нельзя, вообще запрещается покидать помещение. Снаружи, у каждой двери стоит двойной караул.

И небрежно кивнув Квангелю, выутюженный господин удалился.

Квангель переходит от станка к станку. С минуту смотрит на работу, на руки рабочих, потом говорит: — Покидать помещение и ходить в уборные временно запрещается. Снаружи, у каждой двери стоит двойной караул!

Он ничего не успевают спросить, как он уже переходит к соседнему станку и повторяет свое сообщение.

Да, теперь ему уже нет надобности пресекать их разговор и понукать их. Все работают безмолвно,

мрачно и сосредоточенно. Все сознают опасность, грозящую каждому. Из восьмидесяти человек нет ни одного, кто бы как-нибудь и когда-нибудь не погрешил против нынешнего правительства, хотя бы словом! Каждый из них под угрозой. Жизнь каждого в опасности. И всем им страшно...

Но пока что они делают гробы. Они наваливают в углу мастерской гробы, которые нельзя выносить из помещения. Сперва их всего два-три, но время идет, их становится все больше и больше, они громоздятся один на другой, доходят до потолка. Возле растут новые ряды. Гробы на гробах, для каждого из бригады, для всего немецкого народа! Они пока еще живы, но они уже сколачивают собственные гробы.

Квангель стоит среди них. Он рывками вытягивает шею, все дальше и дальше. Он тоже чувствует опасность, но ему она смешна. Его не поймают. Он позволил себе шутку, он переполюсовал всю администрацию, но сам-то он всего навсего бестолковый старик Квангель, мерзкий скряга. Его они никак не заподозрят. Он будет бороться все дальше, все дальше.

Так идет до тех пор, пока снова распахивается дверь и появляется тот же господин с остро оттопленными складками на брюках. За ним деревянно шагает другой, долговязый мужчина с усами песочного цвета, которые он заботливо поглаживает.

Тотчас же у всех станков прекращается работа.

И в то время как господин из конторы кричит: — Бригада! Кончать работу!..

В то время как все облегченно, но недоверчиво кладут инструмент...

В то время, как их потускневшие глаза снова оживают....

В это время долговязый мужчина с бесцветными усами успевает сказать: — Мастер Квангель, вы арестованы по вескому подозрению в измене родине и государству. Ступайте незаметно вперед!

Бедная Анна, подумал Квангель и, высоко подняв голову, медленно пошел из мастерской впереди комиссар! Эшериха.

ГЛАВА 47

Понедельник. День Комиссара Эшериха

На этот раз комиссар Эшерих действовал быстро и безошибочно.

Услышав по телефону, что две открытки найдены на мебельной фабрике Краузе и К^о, в мастерской, где работала бригада из восьмидесяти человек, он сразу же решил: настал час, которого он ждал так долго, наконец-то невидимка совершил промах. Наконец-то он его поймает!

Спустя пять минут он затребовал себе команду, которая могла бы оцепить весь фабричный участок, и помчался на фабрику в мерседесе. Машину вел сам обергруппенфюрер.

Праль настаивал на том, чтобы немедленно вывести из мастерской всех восемьдесят человек и допрашивать каждого до тех пор, пока не выяснится правда. Эшерих же категорически заявил: — Мне прежде всего нужен список всех работающих в мастерской вместе с их адресами. Скоро вы можете представить мне такой список?

— В пять минут. А как быть с людьми? Через пять минут у них конец рабочего дня.

— К концу смены надо заявить им, что они должны продолжать работу. Пояснения излишни. У каждой двери выставить двойной караул. Запретить выход из помещения. Позаботьтесь о том, чтобы все произошло по возможности незаметно. Незачем зря волновать людей!

И когда вошел конторщик со списком: — Автор открыток должен жить на Ходовецкиштрассе, либо на Яблонкскиштрассе, либо на Кристбургерштрассе. Кто из восьмидесяти проживает там?

Они просматривают список — никто! Никто равно!

Еще раз судьба едва не выручила Отто Квангеля. Он работал в другой смене и в списке не числился.

Комиссар Эшерих выпятил нижнюю губу, снова втянул ее, раз-другой нетерпеливо закусил усы, которые только что любовно поглаживал. Он не сомневался в успехе и теперь был крайне разочарован.

Но сорвав досаду на своих возлюбленных усах, он только сказал сухо: — Рассмотрим личное дело каждого рабочего в отдельности. Кто из вас, господа, может дать точные сведения? Вы заведуете личным составом? Превосходно. Так начнем. Абекинг Герман... Что вам о нем известно?

Он подвигался по списку с невероятной медлительностью. Через час с четвертью они добрались только до буквы Г.

Обергруппенфюрер Праль закуривал и сейчас же гасил одну папиросу за другой. Он начинал шопотом разговоры, которые после двух-трех фраз иссякали. Он барабанил пальцами по окну бравурные марши. Наконец он не выдержал: — Все это чушь! Разве не проще было бы...

Комиссар Эшерих даже головы не поднял. Тут только перестал он ощущать страх перед начальством. Ему нужно было найти преступника, а он сознавал, что неудача с адресами очень мешает ему. Но как бы ни кипел Праль, массового допроса он не допустит!

— Дальше, пожалуйста!

— Кемерер Эуген — это их мастер!

— Простите, он вне подозрений. Сегодня в девять утра ему повредило руку строгальным станком. Его обязанности сегодня исполняет мастер Квангель...

— Итак, дальше: Круль, Отто...

— Простите, еще раз: мастера Квангеля нет в списке господина комиссара.

— Да не вмешивайтесь вы каждую минуту! До каких пор нам тут торчать? Этот старый одер Квангель тоже вне подозрений!

Но у Эшериха вновь вспыхивает искорка надежды, он спрашивает: — А где живет Квангель?

— Надо посмотреть в другом списке, он не из этой смены.

— Прикажете посмотреть. Да нельзя ли поживей? Я ведь просил дать мне полный список.

— Сейчас посмотрим. Но, уверяю вас, господин комиссар, этот Квангель — просто выживший из ума старик. Да и работает он на нашей фабрике много лет, мы его насквозь знаем...

Комиссар только отмахнулся, сколько ошибок совершают люди, думая, будто знают своих ближних

насквозь!

— Ну? — лихорадочно спросил он возвратившегося юношу конторщика. — Ну?

И юноша не без торжества ответил: — Мастер Квангель проживает на Яблонскиштрассе, номер... Эшерих вскочил.

— Это он! Я нашел невидимку! — выкрикнул он с несвойственным ему волнением.

— Подать сюда эту гадину! — рявкнул обергруппенфюрер Праль. — Стереть его в порошок, в порошок! Волнение охватило всех.

— Квангель! Кто бы подумал, что Квангель... Такой старый осел — прямо не верится! Да ведь он первый заметил открытки! Что же удивительного, раз он их подбросил! Какой же дурак сам полезет в ловушку? Квангель — нет, не могу поверить!

Но все перекрывал рев Праля: — Подать сюда эту гадину! Стереть его в порошок!

Первым пришел в себя комиссар Эшерих.

— Простите, одно слово, господин обергруппенфюрер. Осмелюсь предложить произвести сперва небольшой обыск на квартире этого самого Квангеля.

— Зачем такие церемонии, Эшерих? Чего доброго, этот разбойник пока что улепетнет!

— Отсюда никто не может убежать. А что, если мы найдем в квартире такие улики, после которых ему бесполезно будет отпираться? Это избавит нас от лишних трудов. А сейчас наиболее благоприятный момент, пока ни сам он, ни семья не знают, что мы подозреваем его...

— Куда проще, вымотать из человека кишки, пока он не сознается. Но я не возражаю: можно забрать сразу и жену. Только смотрите, Эшерих! Вдруг этот разбойник выкинет тем временем какую-нибудь подлость, бросится, например, в машину, тогда я опять за вас возьмусь, так и знайте. Мне надо, чтобы его вздернули!

— И вздернут, не беспокойтесь! Я прикажу непрерывно следить за ним из коридора. Работа должна продолжаться... пока мы не вернемся... Через час, надеюсь, не позже, господа.

ГЛАВА 48

Арест Анны Квангель

После ухода мужа Анна Квангель погрузилась в тягостное полузабытье. Потом очнулась и стала шарить по одеялу, но ни одной из открыток не нашла. Как она ни старалась, она не могла вспомнить, чтобы Отто взял открытки с собой. Нет, наоборот, теперь она вспомнила наверняка, что сама должна унести их завтра или послезавтра — так было решено.

Значит, открытки находятся где-то в квартире. И вот она принимается за поиски, — ее бросает то в жар, то в холод. Она перерывает вверх дном всю квартиру, ищет среди белья, ползает под кроватью. Она задыхается, иногда, совсем обессилев, присаживается на край кровати, натягивает на себя одеяло и сидит, уставившись в пространство, забыв об открытках. Но сразу же вскакивает и опять принимается за поиски.

Так возится она долгие часы, пока не раздастся звонок. Она удивлена. Что это — звонок? Кто бы это мог звонить? Кому от нее что-то понадобилось?

И она снова впадает в лихорадочную дремоту, но ее испугивает вторичный звонок. На этот раз звонят долго, резко, настойчиво. А вслед за тем в дверь начинают колотить кулаками, раздаются крики: — Откройте, откройте немедленно! Полиция!

Анна Квангель улыбается, улыбаясь ложится снова в постель и тщательно подтыкает одеяло. Пусть себе звонят и кричат! Она больна, она не обязана открывать. Пусть приходят в другой раз или когда Отто будет дома. Она все равно не откроет.

А те все звонят, кричат, барабанят...

Вот дурачье-то! Будто я из-за этого скорее открою! Плевать мне на них!

Сознание ее затуманено жаром, и ей ни на миг не приходит мысль ни о затерянных открытках, ни об опасности, которой чреват этот полицейский визит. Она радуется только, что больна и может не открывать.

Но они, понятно, все-таки входят в комнату, их пятеро или шестеро — должно быть вызвали слесаря или открыли дверь отмычкой. Цепочки не было, из-за болезни она, после ухода Отта, не накинула цепочки. Именно сегодня не накинула — обычно дверь всегда на цепочке.

— Вас зовут Анна Квангель? Вы жена мастера Отто Квангеля?

— Да, уважаемый. Двадцать восемь лет, как мы женаты.

— Почему вы не открывали на звонки и стук?

— Потому что я больна. У меня грипп.

— Нечего ломать комедию! — перебивает ее толстяк в черном мундире. — Вы симулянтка!

Комиссар Эшерих умиротворяюще кивает начальнику. Даже ребенку видно, что эта женщина действительно больна. Может быть, и лучше, что она больна: многие болтают лишнее в жару. Пока его подручные приступают к обыску, комиссар снова обращается к больной. Он берет ее горячую руку и говорит участливо: — К сожалению, я должен сообщить вам неприятную новость, фрау Квангель...

— Да? — спрашивает она, но отнюдь не испуганно.

— Мне пришлось арестовать вашего мужа.

Она улыбается. Анна Квангель только улыбается. Улыбаясь, она качает головой и говорит: — Нет уж, уважаемый, будет вам. Кто моего Отто арестует? Он честный человек. — Она наклоняется к комиссару и шепчет: — Знаете, уважаемый, что мне кажется? По-моему, все это мне только снится. Ведь у меня жар. Доктор сказал — грипп, а в жару всякое приснится. Вот мне все и снится — и вы и черный толстяк, — и тот, что у комода роется в моем белье. Нет уж, нет, вы не арестовали моего Отто, это мне только снится.

Комиссар Эшерих говорит тоже шопотом: — А теперь, фрау Квангель, вам еще снятся открытки. Знаете — открытки, которые постоянно писал ваш муж?

Но рассудок Анны Квангель не настолько помутился от жара, чтобы она не насторожилась при слове

«открытки». Она вздрагивает. Одно мгновение взгляд, устремленный на комиссара, вполне ясен и зорек. А потом она говорит, снова улыбаясь и покачивая головой: — Какие открытки? Никаких мой муж не пишет открыток! Все, что приходится, всегда пишу я. Только мы уже давно никому не пишем. С тех пор, как погиб мой сын, мы никому не пишем. Это вам снится, уважаемый, будто мой Отто писал открытки!

Правда, комиссар видел, как она вздрогнула, но это еще не доказательство. — Вот видите, как раз с тех пор, как погиб ваш сын, вы и пишете открытки, оба пишете. Не помните, что вы написали в первой?

И он читает наизусть, с некоторой торжественностью в голосе: «Матери! Фюрер убил моего сына! Фюрер убьет и ваших сыновей, он не успокоится и тогда, когда внесет горе во все дома всего мира...»

Она слушает. Улыбается. Говорит: — Это писала какая-то мать! Мой Отто не писал этого, это вам просто снится!

А комиссар: — Это писал Отто, под твою диктовку! Сознавайся!

Но она качает головой: — Нет, уважаемый! Я такого не продиктую. У меня на это ума нехватит.

Комиссар встает и выходит из спальни. В общей комнате он вместе со своими помощниками принимается за поиски письменных принадлежностей. Он находит баночку чернил, ручку и перо, которые внимательно разглядывает, и открытку полевой почты. Со своими находками он возвращается к Анне Квангель.

Ее тем временем успел допросить на свой лад обергруппенфюрер Праль. Праль твердо убежден, что вся эта канитель насчет гриппа и жара — чистая брехня, что баба симулирует. Но будь она и в самом деле больна — на его методы допроса это ничуть не повлияло бы. Он хватает Анну Квангель за плечи, да так, чтобы ей было побольнее, и начинает ее трясти. Голова стучается о деревянную спинку кровати. Двадцать — тридцать раз дергает он ее сверху и сразмаху швыряет назад на постель и при этом бешено орет: — Будешь ты еще врать, старая сволочь? Будешь, будешь еще врать?!

— Не надо! — стонет она. — Не надо так!..

— Сознавайся — ты писала открытки! Сознавайся сейчас же! Не-то-я-тебе-баш-ку разmozжу, красная сволочь!

И при каждом слове он стучает ее головой об кровать.

Комиссар Эшерих с письменными принадлежностями в руках, улыбаясь, наблюдает за ними с порога. Хороша манера допроса у господина обергруппенфюрера! Если это продлится еще пять минут, старуху нельзя будет допрашивать целых пять дней. Самая изощренная пытка не вернет ее в сознание.

Но для данной минуты это, пожалуй, не так плохо. Пусть тот немножко попугает и помучает ее, тем судорожней ухватится она за него, обходительного Эшериха!

Заметив, что комиссар стоит возле кровати, обергруппенфюрер перестает трясти свою жертву и говорит не то оправдываясь, не то укоряя: — Вы чересчур мягки с такими бабами, Эшерих! Их надо трепать, пока они не запищат.

— Конечно, господин обергруппенфюрер, разумеется, надо! Но разрешите мне сперва показать ей кое-что.

Он поворачивается к больной, которая лежит теперь в постели, тяжело дыша и закрыв глаза: — Послушайте-ка, фрау Квангель!

Она как будто не слышит.

Комиссар обхватывает ее и осторожно сажает. — Так, а теперь откройте глаза! — говорит он вкрадчиво.

Она открывает глаза. Эшерих рассчитал правильно — после тряски и угроз ей приятно слышать приветливый мягкий голос.

— Вы только что говорили мне, что у вас давно уже никто не пишет? А ну-ка взгляните на это перо. Им писали очень недавно, вчера или сегодня, чернила на нем совсем свежие! Смотрите, их можно отколупнуть ногтем!

— Я в этом не разбираюсь, — уклончиво отвечает фрау Квангель. — Спросите лучше мужа, а я в этом не разбираюсь.

Комиссар Эшерих пристально смотрит на нее.

— Отлично разбираетесь, фрау Квангель, — говорит он, уже несколько резче. — Только не хотите сознаться, потому что понимаете, что выдали себя.

— У нас никто не пишет, — упрямо повторяет фрау Квангель.

— И мужа вашего мне незачем спрашивать, — невозмутимо продолжает комиссар. — Он уже во всем сознался. Открытки писал он под вашу диктовку...

— Ну, и хорошо, раз Отто сознался, — говорит Анна Квангель.

— Дай этой наглой стерве в морду, Эшерих! — внезапно рявкает обергруппенфюрер. — Наглость какая — манежить нас столько времени!

Но комиссар не дает в морду наглой стерве. — Мы накрыли вашего мужа с двумя открытками в кармане! — говорит он вместо этого. — Куда же ему было отпираться!

Услышав про две открытки, которые она так долго искала в полубреду, фрау Квангель снова испуганно вздрагивает. Значит, он все-таки взял их с собой, хотя было твердо решено, что их завтра или послезавтра понесет она. Нехорошо поступил Отто.

Что-то произошло с открытками, с трудом соображает она. Только Отто ни в чем не сознался, иначе они не стали бы так рыться здесь и выспрашивать меня. Тогда бы они просто...

И она говорит вслух: — Почему же вы не привели сюда Отто? А то я ничего не знаю про открытки. Зачем ему писать открытки?

Она снова откидывается на подушки, плотно сомкнув глаза и губы, твердо решив не вымолвить больше ни слова.

С минуту комиссар Эшерих задумчиво смотрит на лежащую женщину. Она очень измучена, это ясно. Сейчас с ней ничего не поделаешь. Он резко поворачивается, зовет двух своих помощников и приказывает: — Переложите ее на вторую кровать, а эту тщательно обыщите! Прошу вас, господин обергруппенфюрер!

Он хочет выпроводить своего начальника из комнаты, ему совсем не нужно второго допроса в

пралевском духе. Весьма возможно, что эта женщина в ближайшие дни очень понадобится ему, и тогда желательно, чтобы у нее сохранилась хоть крупница сил и сознания. Вдобавок, она, повидимому, принадлежит к той довольно редкой породе людей, которых физическое насилие только ожесточает. Побоями из нее явно ничего не выжмешь.

Обергруппенфюрер крайне неохотно уходит из комнаты. Он бы с этой старой шлюхой не стал миндальничать, он бы с ней расправился по-свойски! Именно на ней он охотнее всего выместил бы всю злобу за эту нудную канитель с невидимкой. Но тут как на грех вертятся эти два шпика, впрочем, все равно — сегодня вечером старая карга будет сидеть в подвале на Принц-Альбрехтштрассе, там он ответит на ней душу.

— Вы ведь заберете старую каргу, Эшерих? — спросил он в другой комнате.

— Конечно, заберу, — ответил комиссар, рассеянно глядя, как помощники с педантичной добросовестностью разворачивают и снова складывают белье, протыкают диван длинными иглами и выстукивают стены. — Только сперва надо привести ее в пригодное для допроса состояние, — добавил он. — Сейчас у нее жар, и она недоосмысливает всего. Она должна понять, что ее жизнь под угрозой. Тогда ей станет страшно...

— Уж я на нее нагоню страху, — проворчал обергруппенфюрер.

— Только не таким способом — во всяком случае не теперь, когда у нее жар, — попросил Эшерих и тут же: — Что там такое?

Один из его подручных занялся книгами, стоявшими на полочке. Он встряхнул какую-то книгу, и что-то белое вылетело из нее на пол.

Комиссар подскочил первым и поднял листок бумаги.

— Открытка! Начатая и недописанная открытка. И он прочел вслух:

«Фюрер, приказывай, мы повинемся! Да, мы стали стадом баранов, и фюрер может погнать нас на любую бойню. Сами мы разучились думать...»

Он опустил открытку и огляделся по сторонам.

Все смотрели на него.

— Вот оно — доказательство! — чуть не с гордостью провозгласил комиссар Эшерих. — Мы нашли преступника. Он разоблачен полностью, это уже не признание под нажимом, а ясная судебная улика! Ради этого стоило ждать столько времени!

Он оглядывался по сторонам. Тусклые глаза его блеснули. Настал его час, тот час, которого он дожидался столько времени! Вмиг припомнил он долгий, долгий путь, который пришлось ему проделать: от первой открытки, принятой им с равнодушной усмешкой, до этой вот у него в руке. Он припомнил все нараставший приток открыток, все увеличивавшееся количество красных флажков, припомнил он и маленького Энно Клуге.

Припомнил, как тот стоял перед ним в камере полицейского участка, как сидел с ним над темными водами Шлахтензее. Потом грянул выстрел, и ему показалось, что он ослеп навеки. Вспомнил он, как его самого двое эсэсовцев швырнули с лестницы, окровавленного, уничтоженного, и как воришка-карманник ползал на коленях и призывал свою заступницу деву Марию. Мимолетно вспомнил и советника по уголовным делам Цотта — бедняга, его домысел насчет трамвайных парков тоже провалился!

Это был час торжества для комиссара Эшериха. Да, стоило набраться терпения, стоило перенести многое! Теперь он у него в руках, этот невидимка, этот нечистый дух, как Эшерих в шутку обозвал его вначале, а потом он и в самом деле стал нечистой силой — чуть не загубил его, Эшерихову душу. Но теперь он пойман, охота окончена, игра доиграна.

Комиссар Эшерих стряхнул с себя раздумье и сказал повелительным тоном: — Отправить старуху в санитарной машине под охраной двух человек. Кеммель, вы отвечаете мне за нее; никаких допросов, вообще никаких разговоров. Немедленно врача. Чтобы через три дня она была здорова, так и скажите ему, Кеммель!

— Слушаюсь, господин комиссар!

— Остальные должны привести квартиру в полный порядок. В какой книге лежала открытка? В «Справочнике радиолюбителя»? Хорошо! Вреде, вложите открытку точно так, как она лежала. Через час все должно быть в порядке. Я вернусь сюда с преступником. Никого из вас чтобы здесь не было. Ни дежурных, никого! Поняли?

— Точно так, господин комиссар!

— Что ж, пойдем, господин обергруппенфюрер?

— А вы не хотите показать старухе свою находку, Эшерих?

— К чему? Пока что, в жару, она на все реагирует неправильно. Мне сейчас важнее муж. Вреде, вы нигде не видали ключа от входной двери?

— В хозяйкиной сумке.

— Дайте его сюда — спасибо. Итак, идемте, господин обергруппенфюрер.

Снизу, из своего окна, советник апелляционного суда Фром видел, как они уезжали, и покачал головой. Потом он увидел, как вдвинули в санитарную машину носилки с фрау Квангель, но по наружности сопровождающих помял, что везут ее не в обычную больницу.

— Один за другим, — сказал про себя Фром, советник апелляционного суда в отставке. — Один за другим. Розентали, Перзике, Боркхаузен, Квангели. Пустеет наш дом. Я остался почти в одиночестве. Одна половина народа сажает за решетку вторую половину. Долго это не может длиться. Ну, я-то, во всяком случае, останусь здесь, меня не засадят...

Он усмехается и кивает головой.

— Чем хуже, тем лучше. Тем скорее придет этому конец!

Комиссару Эшериху не легко было уговорить господина обергруппенфюрера Пралю оставить его наедине с Квангелем при первом допросе. Но наконец он добился своего.

Было уже почти темно, когда Эшерих поднимался вместе с мастером к нему на квартиру. Лестница была освещена, и Квангель зажег свет, войдя в первую комнату. Затем он кивнул в сторону спальни.

— Жена моя больна, — шопотом пояснил он.

— Вашей жены тут уже нет, — ответил комиссар. — Ее увезли. Садитесь — поговорим.

— У жены большой жар — у нее грипп... — прошептал Квангель.

Видно было, что весть об отсутствии жены сильно поразила его. Тупое безразличие, которое он напустил на себя, явно поколебалось.

— Вашу жену пользует врач, — успокоительно сказал комиссар. — Надеюсь, дня через два-три жар спадет. Я велел прислать за ней санитарную машину.

Впервые Квангель внимательно посмотрел на сидевшего перед ним человека. Долго не отводил он своих неподвижных птичьих глаз от комиссара. Потом кивнул одобрительно. — Санитарная машина и доктор, это хорошо, это правильно, — сказал он, — Спасибо. Вы неплохой человек.

Комиссар поспешил воспользоваться благоприятной минутой. — Мы вовсе не такие злодеи, господин Кван-гель, какими нас любят изображать, — сказал он. — Мы все делаем, чтобы облегчить положение арестованных. Нам ведь только важно установить наличие преступления. Это наше ремесло, как ваше — мастерить гробы...

— Да, — жестко сказал Квангель, — да, верно. Один поставляет гробы, другой — содержимое.

— Вы хотите сказать, — с легкой иронией возразил Эшерих, — что я поставляю содержимое для гробов? Разве вы считаете свое дело таким безнадежным?

— У меня нет никакого дела!

— Ну, небольшое дельце все-таки есть. Взгляните хотя бы на это перышко, Квангель. Да, да, это ваше перо. И чернила на нем совсем свежие. Что вы писали этим пером — сегодня или, скажем, вчера?

— Мне пришлось подписать одну бумажку.

— Какую бумажку, господин Квангель?

— Больничный листок жене... Жена у меня ведь больна... у нее грипп...

— А жена ваша говорила, что вы никогда не пишете. Все, что надо у вас в доме, пишет она, так она говорила.

— И верно говорила. Все она пишет. А вчера пришлось мне писать, потому что у нее был жар. Она об этом и не знает.

— Вот попробуйте-ка, господин Квангель, как перо царапает, — продолжал комиссар, — совсем новенькое, а царапает. Это потому, что вы очень нажимаете, когда пишете, господин Квангель. — Он выложил на стол открытки, найденные в мастерской. — Посмотрите, первая написана еще довольно чисто. А во второй, посмотрите — вот тут, и тут, и тут вот в букве Б тоже — перо начало уже царапать. Ну как, господин Квангель?

— А, это те открытки, что валялись в мастерской, — равнодушно сказал Квангель. — Я велел парню в синей куртке поднять их. Он и поднял. Я только заглянул в них и сейчас же отдал уполномоченному рабочему фронта. А уж он отнес их куда-то. Больше я ничего не знаю.

Все это Квангель проговорил однотонно, медлительно, с запинкой, как говорят старые туповатые люди.

— Но разве вы не видите, господин Квангель? — спросил комиссар. — Вторую открытку дописывали расщепленным пером.

— Я в этом ничего не смыслю. Я не бог весть какой книжник, как говорится в библии.

Некоторое время в комнате царила тишина. Квангель тупо, почти без выражения уставился в одну точку на столе.

А комиссар смотрел на Квангеля. Он был твердо убежден, что это вовсе не такой тяжелодум, каким он прикидывается, что ум у него не менее острый, чем профиль, и не менее живой, чем взгляд. Комиссару важно было извлечь на свет эту остроту ума. Он хотел говорить с хитрецом, писавшим открытки, а не с отупелым от работы стариком мастером.

— Что там за книги на полке? — немного помолчав, спросил Эшерих.

Квангель медленно поднял взгляд, мгновение смотрел на комиссара, потом рывками стал поворачивать голову, пока полка с книгами не попала в его поле зрения.

— Что за книги? Там стоит молитвенник и библия жены. А остальные все книжки покойного сына. Сам я книг не читаю, у меня их и не водится. Я не большой грамотей...

— Достаньте-ка мне четвертую книжку слева, господин Квангель. Ту, что в красном переплете.

Медленно и бережно вынул Квангель книгу, осторожно перенес на стол и положил перед комиссаром.

— «Справочник радиолюбителя» Отто Рунге, — вслух прочел комиссар надпись на обложке. — Скажите, Квангель, эта книга вам ни о чем не напоминает?

— Эта книга моего покойного сына Отто, — медленно ответил Квангель. — Он все возился с радио. Его даже знали, мастерские спорили за него, он изучил все системы...

— А больше эта книга вам ни о чем не напоминает?

— Да нет же! — Квангель покачал головой. — Я таких книжек не читаю, что я в них смыслю?

— Но, может быть, вы что-нибудь вкладываете в них? Раскройте-ка книжку, господин Квангель!

Книга раскрылась как раз на том месте, где лежала открытка.

Квангель уставился на слова: «Фюрер, приказывай, мы повинемся...»

Когда это написано? Должно быть, давно, очень давно. В самом начале. Но почему же открытка недописана? Как она очутилась в книжке мальчика?

И постепенно всплыло у него воспоминание о первом приходе шурина Ульриха Хефке. Тогда открытку наспеш сунули куда-то, и он продолжал вырезать голову Отто. Запрятали и позабыли оба — и он и Анна!

Нот она — опасность, которую он ощущал постоянно! Вот тот невидимый враг, который грозил откуда-то из темноты. Тот промах, который нельзя было учесть...

Попался! говорил ему внутренний голос. Загубил свою голову по собственной вине. Теперь уж крышка!
Но Анна-то созналась в чем-нибудь? Конечно, они ей показали открытку. Нет, Анна отпиралась, несмотря ни на что, я ее знаю, и я тоже буду отпираться. Правда, у Анны был жар...

— Почему же вы молчите, Квангель? — спросил Эшерих. — Когда вы писали эту открытку?

— Я понятия не имею ни о какой открытке, — отвечал он. — Разве у меня хватит ума написать такое?

— А как же открытка попала в книгу вашего сына? Кто вложил ее туда?

— Почему я знаю? — огрызнулся Квангель. — Может, вы сами вложили или кто-нибудь из ваших молодцов. Кто не знает, как подделывают улики, когда их нет!

— Открытка была обнаружена в книге при нескольких правомочных свидетелях. И жена ваша была при этом.

— И что же сказала моя жена?

— Как только открытка была найдена, так она сразу же созналась, что вы писали, а она диктовала. Послушайте, Квангель, перестаньте упрямиться, сознавайтесь без всяких уверток. Если вы сейчас сознаетесь, нового для меня вы все равно ничего не откроете. А положение свое и своей жены значительно облегчите. Если же вы не пожелаете сознаться, мне придется забрать вас в гестапо, а там у нас в подвалах не очень-то уютно...

У комиссара даже дрогнул голос при воспоминании о пережитом им самим в этих подвалах.

Однако он быстро овладел собой: Если вы признаетесь, я сразу же передам вас судебному следователю. Вас поместят в Моабит и обращаться с вами будут хорошо, наравне с прочими заключенными.

Но что бы ни говорил комиссар, Квангель уперся на своей лжи. Дело в том, что Эшерих совершил промах, не ускользнувший от проницательности Квангеля. Впечатление от самого Квангеля и отзывы его начальства никак не вязались у Эшериха с представлением об этом тупице, как об авторе открыток. Нет, он только писал их под диктовку жены...

Из того, что комиссар настаивал на своей версии, Квангель сделал вывод, что Анна ни в чем не созналась. Этот прохвост все выдумал.

И он продолжал отпираться.

В конце концов Эшерих прекратил безуспешный допрос на дому и повез Квангеля на Принц-Альбрехтштрассе. Он рассчитывал, что чуждая обстановка, вид эсэсовских молодцов, весь этот грозный механизм потрясет воображение простого человека, сделает его сговорчивее.

Они вошли в кабинет комиссара, и Эшерих подвел Квангеля к плану Берлина, утыканному красными флажками.

— Вот, взгляните, господин Квангель, — сказал он. — Каждый флажок означает найденную открытку. Он вколот на том месте, где была найдена открытка. Присмотритесь внимательно, — и он ткнул пальцем в план. — Видите, всюду кругом флажок торчит на флажке, а вот тут их совсем нет. Это Яблонкиштрассе. Раз вы на ней живете, вас там хорошо знают. И там вы, конечно, не стали подбрасывать открытки...

Но тут Эшерих заметил, что Квангель совсем не слушает его. Странное, непонятное волнение охватило старого мастера при виде плана столицы. Глаза его лихорадочно блеснули, руки дрожали.

— Да тут их пропасть, этих флажков. Сколько всего, примерно? — с каким-то испугом спросил он.

— Могу вам сказать точно, — ответил комиссар, поняв, наконец, чем так потрясен Квангель. — Флажков двести шестьдесят семь, открыток было двести пятьдесят девять и восемь писем. А сколько вы всего написали, Квангель?

Тот молчал, но молчал он уже не из упорства, а от потрясения.

— И примите во внимание вот что, господин Квангель, — поспешил комиссар воспользоваться своим преимуществом, — все эти письма и открытки доставлены к нам добровольно. Ни одна из них не была найдена нами самими. Люди бежали с ними сюда буквально сломя голову. Многие даже не дочитывали ваших открыток и только думали, как бы скорее от них избавиться.

Квангель молчал попрежнему, но по лицу его пробегала судорога. Жесточайшая борьба происходила в нем, взгляд строгих зорких глаз то вспыхивал, то блуждал растерянно, опускался в землю и снова, как зачарованный, останавливался на флажках.

— Да, Квангель! Люди себя не помнили от страха, многие были арестованы, а один — я это знаю достоверно, — даже покончил с собой из-за ваших открыток...

— Нет! — крикнул Квангель. — Нет, этого я не хотел! Этого я не ожидал! Я хотел, чтобы всем было лучше, чтобы люди узнали правду и война скорее кончилась, чтобы прекратилась эта окаянная бойня — вот чего я хотел! Да разве я хотел нагонять на людей страх и ужас! Кто это покончил с собой?

— Не важно, мелкий тототшик, лодырь, о таком ничтожестве и сокрушаться не стоит.

— Обо всех стоит. С меня спросится за его кровь.

— Ну вот, господин Квангель, — обратился комиссар к подавленному скорбью человеку. — Вот вы и признались в своем преступлении, и даже сами не заметили этого.

— В преступлении? Я не совершал преступления, как вы его понимаете. Мое преступление в том, что я считал себя хитрее всех. Я хотел действовать один, а ведь знаю же я, что в одиночку ничего не сделаешь. Нет, мне незачем стыдиться того, что я делал. Только делал я неправильно. За это я достоин кары и готов умереть...

— Ну, до такой крайности еще не дошло, — успокоительно заметил комиссар.

Квангель его не слушал. Он говорил сам с собой: — Я никогда по-настоящему не считался с людьми, иначе я бы подумал об этом.

— Вы помните, Квангель, сколько всего написано писем и открыток?

— Двести семьдесят шесть открыток и девять писем.

— Значит целых восемнадцать штук не были сданы.

— Восемнадцать штук — весь мой труд больше чем за два года, вся моя надежда! Что ж, и за восемнадцать штук можно заплатить жизнью!

— Только не воображайте, Квангель, что эти восемнадцать штук пошли по рукам, — сказал комиссар, —

нет, у тех, кто их нашел, у самих было рыльце в пуху, они просто побоялись сдать открытки. Так что и эти восемнадцать не оказали действия, по крайней мере до нас не дошло никаких отголосков их действия.

— Значит, я ничего не добился?

— Во всяком случае, не добились того, чего хотели! Ваше счастье, Квангель, это несомненно будет вам зачтено как смягчающее вину обстоятельство. Пожалуй, вы отделаетесь пятнадцатью или двадцатью годами тюрьмы.

Квангель содрогнулся. — Нет! Нет! — прошептал он.

— А что вы, собственно, вообразили себе? Вы, простой рабочий, задумали бороться с фюрером, за которым стоит национал-социалистская партия, армия, штурмовики и эсэсовцы. Бороться с фюрером, когда он уже покорил полмира, а через год-два разделается и с последним нашим врагом! Да это просто смешно! Как было не понять с самого начала, что это плохо кончится. Это все равно, что комару сражаться со слоном. И как вас угораздило, благоразумный вы человек! Не понимаю!

— И никогда не поймете. По-моему, не важно, один ли борется или девять тысяч. Раз человек решил, что должен бороться, он и будет бороться, хотя бы один. А я понял, что мне надо бороться. Дайте мне волю, и я опять буду бороться, только по-другому, совсем по-другому. — Теперь он уже спокойно смотрел на комиссара. — Кстати, жена моя тут ни при чем. Отпустите ее на свободу!

— Вот вы опять лжете, Квангель! Жена указывала вам, что писать. Она сама созналась.

— Нет, это вы лжете опять! Похож я на человека, который живет по указке жены? По-вашему, она и придумала все это дело? Ну нет, извините, я, я сам дошел до этого, я писал открытки, я их разносил, меня и надо наказывать. Только не ее, только не жену!

— Она созналась...

— Ни в чем она не созналась! Не желаю я слушать такие поклепы! Не смейте чернить мою жену!

С минуту стояли они друг против друга — человек с острым птичьим профилем и строгим взглядом и пепельно-серый комиссар с выцветшими усами и водянистыми глазами.

И Эшерих опустил взгляд и сказал: — Сейчас я вызову секретаря, мы составим протокольчик. Надеюсь, вы не откажетесь от своих показаний?

— Нет, не откажусь.

— И вы понимаете, что вас ждет? Длительное тюремное заключение, а может быть, и смерть.

— Да, я знал, что делал. Надеюсь, и вы знаете, что делаете, господин комиссар?

— А что я делаю?

— Вы работаете на кровопийцу, вы поставляете добычу кровопийце. И делаете это ради корысти, а не ради него. Ведь нет же у вас веры в него. Одна корысть...

И снова они стояли молча друг против друга, и снова побежденный комиссар спустя мгновение отвел взгляд.

— Ну, я пойду за секретарем, — сказал он почти смущенно.

И вышел.

ГЛАВА 50

Смерть Эшериха

Среди ночи комиссар Эшерих все еще, или вернее опять, сидит в своем кабинете. Сидит, весь обмякший, пришибленный. Сколько ни вливал он в себя спиртного, страшная сцена, участником которой ему пришлось быть, не идет у него из головы.

На этот раз его высокий начальник обергруппенфюрер Праль не выхлопотал креста «За военные заслуги» для своего талантливейшего, усерднейшего, драгоценнейшего комиссара. Его только пригласили на маленькую пирушку — отпраздновать успех. Они собрались всем скопом, большими стаканами тянули крепкий арманьяк, наперебой хвастали тем, что накрыли невидимку, а Эшериха заставили под одобрительный рев читать признания Квангеля.

Метать перед свиньями бисер кропотливых, тщательных криминалистических изысканий!

А затем, когда господу упились влоск, они придумали себе особую забаву. Захватив бутылки и стаканы, они спустились в камеру Квангеля и комиссара потащили с собой. Им хотелось взглянуть, что за птица этот оголтелый безумец, дерзнувший бороться против фюрера!

Когда они вошли, Квангель крепко спал на своей койке, укрывшись одеялом. Удивительное у него лицо, подумал Эшерих, такое напряженное, замкнутое, озабоченное, даже и во сне!

Но тем не менее он крепко спал...

Разумеется, ему не дали спать. Его разбудили пинками, согнали с койки. И он стоял перед этими черными с серебром мундирами, в куцой рубашке, не вполне прикрывавшей его наготу, — комичная фигура, если не смотреть на лицо!

А потом господам пришла фантазия окрестить старого хрыча-невидимку, и они вылили ему на голову бутылку водки. Обергруппенфюрер Праль с пьяных глаз произнес изящный спич в честь невидимки, гнусной скотины, которую скоро освежают, и под конец речи разбил рюмку об голову Квангеля.

Это послужило сигналом для других, все принялись бить рюмки об голову старика. По лицу его текла водка и кровь, но, пока это происходило, Эшериху все время казалось, что сквозь потоки крови и водки Квангель, не отрываясь, смотрит на него и как будто говорит: вот оно, правое дело, во имя которого ты убиваешь! Вот они, твои заплечные мастера! Все вы таковы. Ты прекрасно знаешь, что делаешь. Я умру за преступление, которого нет, ты же будешь жить, и ты считаешь, что твое дело — правое!

Вдруг они заметили, что рюмка Эшериха еще цела. Тогда они приказали ему тоже разбить ее об голову Квангеля. Пралью пришлось дважды очень резко повторить приказ: — Забыл ты, что ли, как я тебя беру в оборот, когда ты артачишься? — После этого Эшерих тоже разбил свою рюмку об голову Квангеля. Четыре раза принимался он бить, так дрожала у него рука, пока рюмка не раскололась. И все время он чувствовал на себе строгий презрительный взгляд Квангеля, молча смотревшего, как топчут его

достоинство. Комическая фигура в куцой рубашке — в ней было больше силы и достоинства, чем во всех его мучителях. И при каждом ударе, который в страхе и отчаянии наносил комиссар Эшерих, ему казалось, будто он бьет по своему собственному «я», будто топором подрубают корни его жизни.

Наконец Отто Квангель лишился чувств, и они бросили его на голом полу камеры, окровавленного, без сознания. Мало того, они запретили часовой заниматься этой скотиной и вернулись наверх, бражничать и пировать дальше, будто одержали нивесть какую славную победу.

И вот комиссар Эшерих опять сидит в своем кабинете за письменным столом. Напротив, на стене все еще висит карта с красными флажками. Телом он совсем обмяк, но мысль работает ясно.

Да, карта больше не нужна. Завтра можно ее снять. А послезавтра я повешу новую карту и буду травить нового невидимку. Потом еще и еще. Какой во всем этом смысл? Разве я для того живу на свете? Наверно, это неизбежно, но если это так, значит я ничего не смыслю, значит все бессмысленно на этом свете. Не все ли равно тогда, что я делаю...

«С меня спросится за его кровь»... Как он это сказал! А за его кровь спросится с меня! Не только за его, за кровь Энно Клуге тоже. Я погубил того, чтобы выдать пьяной своре этого. Но то был жалкий слизняк, а это человек. Этот не будет скулить, как то ничтожество на пристани, этот умрет пристойно...

А я? Что будет со мной? Встретится новый случай, и усердный Эшерих не преуспеет так, как рассчитывал обергруппенфюрер Праль, и я снова попаду в подвал. В конце концов настанет день, когда меня отправят вниз и уже не вернут назад. Значит, я живу в ожидании такого финала? Нет, Квангель прав, называя Гитлера кровопийцей, а меня — поставщиком жертв для кровопийцы. Мне всегда было безразлично, кто сидит у руля, во имя чего ведется война, лишь бы я мог заниматься своим привычным делом — охотой на людей. А когда они были пойманы, меня уже не касалось, что с ними станет...

Но теперь меня это касается. Мне опостылело, мне претит поставлять добычу этим мерзавцам; после того как я поймал Квангеля, мне это претит. Как он стоял там, в камере, и смотрел на меня. По лицу течет водка и кровь, а он стоит и смотрит! Это твоих рук дело, говорил его взгляд, ты предал меня! Ох, будь еще возможно, я послал бы к чертям все это заведение, лишь бы освободить его! Будь еще возможно, я сбежал бы отсюда, я стал бы делать то же, что Квангель, только поумнее, все равно, я боролся бы.

Но это невозможно, они не выпустят меня, они называют такие штуки дезертирством. Они схватят меня и швырнут опять в тюрьму. А мое тело слабо, оно кричит, когда его терзают, я — человек малодушный. Я малодушен, как Энно Клуге, нет во мне стойкости Отто Квангеля. Когда обергруппенфюрер Праль орет на меня, я дрожу, и дрожа делаю все, что он ни прикажет. Я бью рюмку об голову единственного порядочного здесь человека, но каждый удар — это горсть земли на мою могилу.

Комиссар Эшерих медленно поднялся. На лице его застыла жалкая улыбка. Он подошел к стене, прислушался. Сейчас, среди ночи, в большом здании на Принц-Альбрехтштрассе стояла тишина. Только часовой шагал по коридору взад-вперед, взад-вперед.

Ты тоже не знаешь, зачем мечешься взад-вперед, — подумал Эшерих. — Когда-нибудь и ты поймешь, что загубил свою жизнь...

Он схватил карту, сорвал ее со стены. Часть флажков вывалилась, булавки зазвенели на полу. Эшерих скомкал карту и тоже швырнул ее на пол.

— Точка! — сказал он. — Кончено! Кончено дело невидимки!

Медленно вернулся он к письменному столу, выдвинул ящик.

Быстро достал револьвер и выстрелил. На этот раз он не дрожал.

Вбежавший в кабинет часовой увидел, что на полу позади письменного стола лежит тело почти без головы.

Обергруппенфюрер Праль бушевал. — Это дезертирство! Штатские все скоты! Всем, кто не носит мундира, — одно место — в тюрьме, за колючей проволокой! Но погоди, его преемника я прикручу как следует. Всю дурь у него из головы выбью, чтобы ничего там не осталось, кроме страха! Слишком я мягкий человек — вот главный мой недостаток! Притащите-ка сюда наверх старого скота Квангеля! Пусть полюбуется на эту падаль и уберет ее прочь!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КОНЕЦ

ГЛАВА 51 Анна Квангель На Допросе

Через две недели после ареста, когда Анна Квангель совсем выздоровела, она на одном из первых допросов проговорила, что ее сын, Отто, был помолвлен с Тру-дель Хергезель. К тому времени Анна еще не уразумела, что одно упоминание чьего-либо имени опасно, опасно — для упомянутого лица. Круг друзей и знакомых каждого заключенного изучался с сугубой тщательностью, вынюхивался каждый их след, чтобы «гнойник был вскрыт и уничтожен до основания».

Следователь, комиссар Лауб, преемник Эшериха, приземистый, тучный человек, имевший привычку, как кнутом, хлестать допрашиваемого по лицу костлявыми пальцами, сделал вид, что пропустил мимо ушей это сведение. Он долго, томительно, мучительно допрашивал Анну Квангель о друзьях и работодателях ее сына, спрашивал подробности, которые она не могла, но должна была знать, спрашивал и спрашивал без конца, а в промежутках то и дело хлестал ее пальцами по лицу.

Комиссар Лауб был большим мастером такого рода допросов и выдерживал бессменно до десяти часов кряду, а значит, должен был выдерживать и допрашиваемый. Анна Квангель от усталости валилась со скамьи. Только что перенесенная болезнь, страх за участь Отто, о котором она ничего не знала, стыд, что ее бьют по лицу, как ленивого школьника, — все это делало ее невнимательной, и комиссар Лауб снова бил ее по лицу.

Анна Квангель тихо застонала и закрыла лицо руками.

— Руки прочь! — закричал комиссар. — Смотрите прямо на меня! Слышите, вы!

Она отняла руки, она посмотрела на него, и во взгляде ее был страх. Но страх не перед ним, ей страшно было собственной слабости.

— Когда вы последний раз видели так называемую невесту вашего сына?

— Очень давно. Не помню. До того, как мы начали писать открытки. Больше двух лет назад... Ох, не бейте же! Вспомните свою мать! Что бы вы сказали, если бы били вашу мать?

Два, три удара последовали один за другим.

— То моя мать, а вы — преступная стерва! Посмейте-ка еще раз помянуть мою мать, я вам покажу тогда, как я умею бить! Где жила эта девушка?

— Да не знаю я! Муж говорил мне, что она вышла замуж! Наверно, переехала куда-нибудь.

— Так значит ваш муж видел ее? Когда это было?

— Да не помню я! Мы уже писали тогда открытки.

— И она с вами, а? Помогала?

— Нет, нет! — крикнула фрау Квангель. С ужасом увидела она, что натворила. — Муж встретил Трудель на улице, — торопливо добавила она. — Тогда она ему и сказала, что вышла замуж и больше не работает на фабрике.

— Ну — и дальше? На какой же фабрике она работала?

Фрау Квангель назвала адрес фабрики военного обмундирования.

— Дальше?

— Это все. Больше я ничего не знаю. Честное слово, господин комиссар.

— Как, по-вашему, не странно, что невеста даже не заходит к родителям жениха, тем более после его смерти?

— Муж мой — человек нелюдимый. У нас никогда никто не бывал, а с тех пор, как мы стали писать открытки, он и вовсе не хотел никого знать.

— Опять вы лжете! Ведь Хефке начали у вас бывать как раз в это время!

— Да, правда! Я позабыла. Но мужу это было не по душе, он только потому и соглашался, что Ульрих мой брат. А вообще-то он родню терпеть не может! — Она печально взглянула на комиссара и робко спросила: — Можно и мне задать вам вопрос, господин комиссар?

— Спрашивайте! — буркнул комиссар Лауб. — На всякий спрос есть ответ.

— Правда, что... — Она запнулась. — Мне кажется, я видела вчера утром в коридоре мою невестку... Правда, что Хефке тоже арестованы?

— Вот опять вы лжете! — Сильный удар. Вслед за ним другой. — Жена Хефке совсем в другом месте. Вы никак не могли ее видеть. Это вам кто-то выболтал. Го-шрите, кто?

Но фрау Квангель покачала головой. — Никто не выболтал. Я видела невестку издали. И даже не уверена, она ли это. — Анна вздохнула. — Значит, и Хефке тоже сидят, а они-то уж ничего не сделали и ни о чем не знали. Бедняги!

— Бедняги! — передразнил ее комиссар Лауб. — Ничего-то они не знали. Все вы так говорите! Но все вы преступники, и не быть мне комиссаром Лаубом, если я не вымотаю из вас кишки, пока не дознаюсь правды. Кто с вами в камере?

— Я не знаю, как ее фамилия. Я зову ее просто Берта.

— С каких пор Берта с вами в камере?

— Со вчерашнего вечера.

— Значит, она вам и выболтала про Хефке. Сознавайтесь, фрау Квангель, иначе я велю притащить эту Берту сюда и в вашем присутствии буду избивать ее до тех пор, пока она не сознается.

Фрау Анна Квангель снова отрицательно показала головой. — Сознаюсь я или нет, господин комиссар, вы все равно притащите Берту сюда и будете бить ее. Я одно могу сказать: я сама видела фрау Хефке внизу в коридоре...

Комиссар Лауб, злобно ухмыляясь, смотрел ей в лицо и вдруг завопил: — Погодите, я вас всех закопаю в землю. Всех вас сгною! Всех! Дежурный, приведите сюда Берту Купке!

Целый час он запугивал и избивал обеих женщин, хотя Берта Купке сразу же созналась, что рассказала фрау Квангель про фрау Хефке. Она раньше помещалась в одной камере с фрау Хефке. Но комиссару Лаубу этого было мало. Он желал точно знать, о чем они говорили между собой, а ведь они только жаловались друг другу на свое горе, как это водится у женщин. Он же чуял повсюду заговоры и государственные преступления и не переставал бить и пытать! Наконец ревущую Купке оттащили обратно в подвал, и Анна Квангель снова осталась единственной жертвой комиссара Лауба. Она была до того измучена, что слышала его голос как бы издали, его фигура расплывалась перед ней, и удары уже не причиняли боли.

— Что же произошло? Почему так называемая невеста вашего сына перестала у вас бывать?

— Не знаю. Нет, ничего не произошло. Просто муж был против всяких гостей.

— Вы же сознались, что Хефке он согласился принимать.

— Хефке не в счет, Ульрих ведь мне брат.

— А почему Трудель больше не приходила к вам?

— Потому что мой муж этого не хотел.

— Когда же он ей об этом сказал?

— Да не знаю я! Господин комиссар, я больше не могу. Дайте мне отдохнуть полчаса. Ну хоть четверть часа!

— Только, когда ты мне все, все скажешь. Так когда ваш муж запретил Трудель ходить к вам?

— Когда мой сын был убит.

— Ага! А где это он ей сказал?

— У нас дома.

— А почему, он объяснил?

— Он не хотел, чтобы кто-нибудь у нас бывал. Господин комиссар, право, я больше не могу. Хоть десять минут дайте отдохнуть!

— Ладно. Через десять минут сделаем перерыв. Какую же причину выставил ваш муж, когда запретил Трудель приходить?

— Он просто не хотел, чтобы у нас бывали люди. Ведь мы уже тогда задумали писать открытки.

— Значит, он ей сказал, что собирается писать открытки?

— Нет, об этом он никому не говорил ни слова.

— Какую же он выставил причину?

— Просто сказал, что не хочет больше, чтобы к нам ходили. Ох, господин комиссар!

— Если вы скажете мне настоящую причину, я на сегодня вас отпускаю!

— Да это и есть настоящая причина!

— Неправда! Я же вижу, вы лжете. Если вы не скажете мне правды, я буду допрашивать вас еще десять часов. Что же он сказал? Повторите мне слово в слово все, что он сказал Трудель Бауман.

— Не помню. Он очень сердился.

— За что же он сердился?

— За то, что я оставила Трудель Бауман ночевать, у нас.

— А когда он запретил ей приходить, потом, или сразу же выставил ее?

— Нет, только утром.

— А утром запретил приходить?

— Да.

— За что же он так сердился?

Анна Квангель собралась с силами. — Я вам все скажу, господин комиссар. Этим я больше никому не причиню вреда. Как раз в ту ночь я спрятала у себя старую еврейку Розенталь, ту, что потом выбросилась из окна и насмерть разбилась. За это он так рассердился, что заодно выпроводил и Трудель.

— Почему же Розенталь пряталась у вас?

— Потому что ей было страшно одной в квартире. Она жила над нами. У нее взяли мужа. И ей было страшно. Господин комиссар, вы мне. обещали...

— Сейчас, Сейчас мы закончим. Значит, Трудель знала, что вы прятали у себя еврейку?

— Да ведь это не было запрещено?

— Конечно, было запрещено! Порядочный ариец не станет прятать у себя жидовское отродье, а порядочная девушка пойдет и донесет об этом в полицию. Что же сказала Трудель, когда узнала, что у вас еврейка в квартире?

— Господин комиссар, больше я ничего не скажу. Вы каждое мое слово переворачиваете по-своему. Трудель ни в чем не виновата, она ничего не знала!

— А что у вас ночевала еврейка, она знала?

— В этом ведь не было ничего дурного.

— На этот счет мы другого мнения. Завтра я притяну вашу Трудель.

— Господи боже мой, что я опять натворила, — заплакала фрау Квангель. — Теперь я и Трудель впутала в беду. Господин комиссар, Трудель нельзя трогать, она в положении!

— Ага, вот оно что, теперь вы и об этом, оказывается, знаете, а говорите, что не видали ее около двух лет! Откуда вы это знаете?

— Ну я же вам говорила, господин комиссар, что муж как-то встретил ее на улице.

— Когда это было?

— Недели две назад. Господин комиссар, вы мне обещали передышку. Хоть самую маленькую, ради бога! Сил моих больше нет.

— Еще минутку! Сейчас кончим. Кто заговорил первый: Трудель или ваш муж? Они же были в ссоре?

— Они не были в ссоре, господин комиссар.

— Как это не были, когда ваш муж запретил ей бывать у вас!

— Трудель на это не обиделась, она знает моего мужа.

— Где же они встретились?

— Не знаю, кажется, на Малой Александерштрассе.

— А что ваш муж делал на Малой Александерштрассе? Ведь вы говорили, что он ходил только на фабрику и обратно?

— Да, больше никуда!

— А что он делал на Малой Александерштрассе? Верно рассовывал открытки, так, фрау Квангель?

— Нет, нет! — испуганно воскликнула она и вдруг побледнела. — Открытки всегда разносила я. Я одна, не он!

— Отчего вы так побледнели, фрау Квангель?

— Я вовсе не побледнела. А может, и побледнела. Мне плохо, Вы же обещали сделать передышку, господин комиссар.

— Сейчас, как только мы это выясним. Значит, ваш муж относил открытку и тут встретил Трудель Бауман? Что она сказала по поводу открыток?

— Да она же ничего о них не знала!

— Когда ваш муж встретил Трудель, открытка была еще у него в кармане или он ее уже отнес?

— Уже отнес.

— Вот видите, фрау Квангель, теперь мы подошли ближе к делу. Скажите мне только одно — что сказала Трудель Бауман по поводу открытки, и тогда мы на сегодня закончим.

— Да не могла она ничего сказать, он ведь раньше отнес открытку.

— Подумайте хорошенько! Я по вас вижу, что вы лжете. Если вы будете упорствовать, то просидите здесь до утра. Зачем вам зря мучиться? Завтра я заявлю Трудель Бауман, что ей было известно об открытках, и она сразу же сознается. Зачем вы сами портите себе жизнь, фрау Квангель? Вам ведь

хочется поскорее взобраться на свои нары. Ну, так как же было дело, фрау Квангель? Что сказала Трудель Бауман по поводу открыток?

— Нет! Нет! Нет! — в отчаянии закричала фрау Квангель и вскочила. — Больше я ни слова не скажу! Никого не выдам! Говорите, что хотите. Убейте меня, я больше ничего не скажу!

— Садитесь и сидите спокойно, — сказал комиссар Лауб и разок-другой хлестнул несчастную женщину по лицу. — Я сам решу, когда вам можно встать. И когда кончать допрос — тоже решу я. Сперва надо договориться насчет Трудель Бауман. После того, как вы сейчас сознались, что она совершила государственное преступление...

— Да не сознавалась я в этом! — закричала замученная, доведенная до отчаяния женщина.

— Вы сказали, что не хотите выдавать Трудель, — бесстрастно произнес комиссар. — И я не оставлю вас в покое, пока не узнаю, что вы не хотите выдавать.

— Я ничего не скажу, ничего!

— Ах, так! Вы просто глупы, фрау Квангель. Поймите сами — все, что я хочу знать, я завтра же в два счета выужу из Трудель Бауман. Куда беременной выдержать такой допрос! Стоит дать ей разок, другой...

— Не смейте бить Трудель. Не смейте! Господи, зачем я назвала ее имя!

— Раз назвали — теперь уж ничего не поделаешь, вашей же Трудель будет лучше, если вы во всем сознаетесь. Ну, так как же, фрау Квангель? Что сказала Трудель про открытки?

И дальше: — Конечно, я все могу узнать от Трудель, а вот хочется мне, чтобы именно вы во всем сознались сейчас, не сходя с места. И уж я вас доконаю. Я вам покажу, что вы такое для меня: дермо и ничего больше. Я вам покажу, как отмалчиваться. Этакая мразь и туда же: верность долгу, хранение тайны. А я вот, фрау Квангель, пари держу, что ровно через час вы мне все выложите про отношение Трудель к открыткам! Что ж, идет?

— Нет, нет, никогда!

Но, конечно, комиссар Лауб узнал все, что желал, и даже часа на это не потребовалось.

ГЛАВА 52

Опечаленные Хергезели

Хергезели впервые вышли погулять после выкидыша Трудель. Они прошли по шоссе к Грюнгейде, затем свернули влево на Франкенскую дорогу и направились вдоль берега Флакензее к Вольтерсдорфскому шлюзу.

Они шли очень медленно, Карл то и дело украдкой поглядывал на Трудель, а она брела рядом с ним, опустив глаза в землю.

— Как хорошо в лесу, — сказал он.

— Да, очень хорошо! — отвечала она.

— Смотри, на озере лебеди! — заметил он, немного погодя.

— Да, — отвечала она, — лебеди!.. И больше ничего.

— Трудель, — озабоченно спросил он, — почему ты все молчишь, почему тебя ничто не радует?

— Я все думаю о нашем мертвом ребеночке, — прошептала она.

— Ну, Трудель, — сказал он, — у нас будет еще много детей!

Она покачала головой. — У меня больше никогда не будет ребенка.

— Тебе это доктор сказал? — испуганно спросил он.

— Нет, доктор ничего не говорил. Я сама чувствую.

— Ну что ты, — пожурил он ее. — Зачем так думать, Трудель. Мы еще молоды, у нас может быть много детей.

Она снова покачала головой. — Я иногда думаю, это мне наказание.

— Наказание? За что, Трудель? В чем наше преступление, что мы так наказаны? Нет, это был случай, просто слепой случай!

— Не случай, а наказание, — ответила она упрямо. — У нас не должно быть детей. Я все думаю, кем бы вырос Клаус — членом гитлеровской молодежи, штурмовиком, эсэсовцем...

— Ну, Трудель! — вскричал он, пораженный мрачными мыслями, которыми терзалась жена. — К тому времени, как Клаус вырос бы, всей этой гитлеровщины давно не было бы и в помине. Будь уверена, ей скоро конец.

— Да, — сказала она, — а что сделали мы, чтобы будущее стало лучше?! Ничего! Хуже чем ничего, мы отступились от правого дела. Я теперь без конца думаю о Григолейте и о Енше. За это мы и наказаны!

— Ну его, этого Григолейта! — сказал с раздражением Карл. Он был очень зол на Григолейта, который до сих пор не забрал своего чемодана. Хергезелю пришлось уже несколько раз возобновлять квитанцию на хранение багажа. — Я думаю, Григолейт давно уже сидит, — сказал он, — иначе он подал бы о себе весть.

— Если он сидит, — настаивала она, — в этом тоже мы виноваты. Мы бросили его, мы спрятались в кусты.

— Трудель! — воскликнул он. — Не смей даже думать такую ерунду! Мы не годимся в заговорщики. Нам лучше было отойти от этого дела.

— Да, — с горечью сказала она, — нам больше годится быть шкурниками и трусами. Ты говоришь, Клаусу не пришлось бы вступать в гитлеровскую молодежь? Ну, допустим, не пришлось бы, допустим, он имел бы право любить и уважать своих родителей, что же мы для этого сделали? Что сделали мы для лучшего будущего? Ничего!

— Не все могут играть в заговорщиков, Трудель!

— Верно. Но можно было делать что-то другое. Если уж такой человек, как мой бывший свекор Отто Квангель!.. — Она вдруг остановилась.

— А что Квангель? Что ты о нем знаешь?

— Нет, лучше я тебе не скажу. Я ему обещала. Но если такой старик, как Отто Квангель, борется против этого правительства, для нас позор сидеть сложа руки.

— Что мы можем делать, Трудель? Ничего! Подумай, какая власть у Гитлера, и чего мы стоим, что мы значим по сравнению с ним!

— Если бы все так думали, как ты, Гитлер на веки веков остался бы у власти. Надо бороться против, него.

— Но что мы могли бы делать?

— Что? Да все! Писать воззвания и расклеивать их на деревьях! Ты работаешь на химическом заводе и, как монтер, ходишь по всем цехам. Стоит тебе неверно повернуть кран, ослабить гайку у станка — и работа стала на много дней. Если так будешь поступать ты и еще сотни других, Гитлеру туго придется с военным снаряжением.

— А на второй же раз меня схватили бы за шиворот и прямо под топор.

— Недаром я говорю: мы трусы. Мы думаем только о том, что будет с нами, а не о других. Как же так, Карли, вот сейчас ты освобожден от военной службы. Ну, а если бы ты был солдатом, твоей жизни каждый день грозила бы опасность и ты находил бы это вполне естественным.

— Ну, в армии я бы уж как-нибудь окопался!

— А чтобы другие умирали за тебя! Я кругом права — трусы мы, ни на что не годные трусы!

— Проклятая лестница! — вдруг взорвался он, — Если бы не твой выкидыш, жили бы мы себе спокойно и были бы счастливы.

— Нет, Карли, это не было бы счастье, не настоящее счастье! Когда я еще носила Клауса, я всегда думала, что из него выйдет? Не могла бы я терпеть, чтобы он вытягивал руку и кричал «хейль Гитлер», не могла бы: видеть его в коричневой рубашке. А там опять праздновалась бы какая-нибудь победа, и он смотрел бы, как его родители тихо-мирно вывешивают флаги со свастикой, и знал бы, что мы лгуны. Теперь мы хоть от этого избавлены. Нет, Клаусу не следовало родиться!

Некоторое время он молча, нахмурившись, шагал рядом с ней. Они шли уже обратно, но не замечали ни озера, ни леса.

— Значит, по-твоему, надо что-то делать? — спросил он наконец. — Предпринять мне что-нибудь на заводе?

— Конечно, — подтвердила она, — что-то надо делать, иначе нам будет очень стыдно.

После некоторого раздумья он сказал: — Как представлю себе, что вот я тайком шныряю по заводу и порчу станки, так прямо в голове мутится. Нет, это дело не по мне.

— Ну, поищи дело по себе, что-нибудь да надумаешь. Пусть не сразу!

— А ты уж надумала, что тебе делать?

— Да, — отвечала она. — Я знаю одну еврейку, ей приходится прятаться. Иначе ее бы уже выслали. Она живет у ненадежных людей и каждый день боится, что ее выдадут. Я возьму ее к себе.

— Нет, — запротестовал он, — нет, это не годится, Трудель! При такой слежке, как за нами, это сейчас же узнают. А потом у нее, вероятно, нет продовольственной карточки! Не можем же мы на наши две карточки кормить еще человека.

— Не можем? В самом деле, не можем немного поголодать, чтобы спасти человека от смерти? Ну, Карли, если так, то Гитлеру легко живется. Значит, так нам и надо, значит, все мы просто дрянь.

— Но ее увидят у нас! В нашей крохотной квартирке негде даже спрятаться. Нет, этого я не позволю!

— Я не собираюсь просить у тебя позволения. Это моя квартира так же, как твоя.

Между ними вспыхнул ожесточенный спор, первый настоящий спор за время их супружества. Она сказала, что просто приведет еврейку к себе, а он заявил, что немедленно выбросит ее вон.

— Тогда и меня выброси за одно!

Вот до чего они договорились. Они были раздражены, сердиты, злы. Ни один не желал уступить, ни один не шел на примирение. Она обязательно хотела делать что-нибудь против Гитлера, против войны. В принципе он тоже хотел делать что-нибудь, но без всякого риска, не подвергаясь ни малейшей опасности. Помощь еврейке была просто безумием. Никогда он этого не допустит.

Они молча шли домой по улицам Эркнера. Они молчали так упорно, что с каждой минутой казалось все труднее прервать это молчание. Они шли уже не под руку, а рядом, не дотрагиваясь друг до друга. Когда случайно руки их соприкасались, каждый спешил отнять свою руку и отстраниться от другого.

Они не обратили внимания, что у их двери стоит большой закрытый автомобиль. Поднимаясь по лестнице, они не заметили, что из каждой двери на них со страхом и любопытством смотрят соседи. Карл Хергезель отпер дверь квартиры и пропустил Трудель вперед. Даже в передней они не заметили ничего. Только увидев в комнате приземистого, тучного человека в зеленой куртке, они вздрогнули.

— В чем дело? — возмутился Хергезель. — Что вы делаете здесь, в моей квартире?

— Комиссар по уголовным делам Лауб из берлинского управления гестапо, — отрекомендовался человек в зеленой куртке.

Даже в комнате он не снял охотничьей шапочки, украшенной кисточкой для бритвы.

— Господин Хергезель, не так ли? Фрау Гертруда Хергезель, урожденная Бауман, в просторечии Трудель? Прекрасно. Мне хотелось бы переговорить с вашей женой, господин Хергезель. Может быть, вы побудете пока на кухне?

Помертвев от испуга, они смотрели друг другу в лицо. Вдруг Трудель улыбнулась. — Что ж, до свидания, Карли! — сказала она и обняла его. — До радостного свидания! Как глупо было ссориться! Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра!

Комиссар Лауб откашлялся, напоминая о себе. Они поцеловались, и Карл вышел.

— Вы сейчас простились с мужем, фрау Хергезель?

— Я помирилась с ним, мы только что поспорили.

— По какому поводу вы поссорились?

— По поводу приезда моей тетки. Он был против, я за.

— А мое присутствие повлияло на вас примирительно? Странно, повидимому, совесть у вас не совсем чиста. Одну минутку! Оставайтесь здесь!

Она слышала, как он о чем-то говорил на кухне с Карлом. Наверно, Карл иначе объяснит их ссору. И они с самого начала попадут впросак. Она сразу же подумала о Квангеле. Однако Квангель не такой человек, чтобы выдать кого-нибудь.

Комиссар вернулся. Самодовольно потирая руки, он сказал: — Ваш муж говорит, что вы спорили о том, усыновить ли вам какого-нибудь ребенка или нет. Это первая ложь, на которой я вас поймал. Будьте покойны, через полчаса у нас накопится целая куча лжи, только я вам ни одной не спущу! У вас был выкидыш?

— Да.

— Сами немножко помогли, а? Чтобы у фюрера было меньше солдат, да?

— Нет, это уж вы врете. Если бы я сама хотела, вряд ли я ждала бы до пятого месяца!

В комнату вошел человек с запиской в руках. — Господин комиссар, господин Хергезель только что хотел сжечь это на кухне.

— Что это такое? Квитанция на хранение багажа. Фрау Хергезель, что за чемодан ваш муж сдал на хранение на вокзале Александерплац?

— Чемодан? Понятия не имею, муж мне ничего не говорил.

— Приведите Хергезеля! И немедленно отправьте машину на Александерплац за чемоданом!

Третий человек ввел Карла Хергезеля. Значит, вся квартира была полна полицейскими, и они попались как дураки.

— Господин Хергезель, что это за чемодан вы сдали на Александерплац?

— Я сам не знаю, с чем он, я ни разу в него не заглядывал. Это чемодан одного знакомого. Он сказал, что там белье и одежда.

— Весьма правдоподобно. Потому-то вы и хотели сжечь квитанцию, как только увидели, что в квартире полиция.

Хергезель замялся, затем, бросив быстрый взгляд на жену, сказал: — Дело в том, что я не слишком доверяю этому знакомому. В чемодане могло быть что угодно. Уж очень он тяжелый.

— А что, по-вашему, могло быть в чемодане?

— Может быть, брошюры, литература. Я старался не думать об этом.

— Станный у вас знакомый! Почему он сам не мог отдать свой чемодан на хранение? Чего доброго, его зовут Карл Хергезель?

— Нет, его зовут Шмидт. Генрих Шмидт.

— А откуда вы знаете, как его — Генриха Шмидта?

— Ну, я знаю его давно, лет десять, не меньше.

— А почему вам пришлось в голову, что там может быть литература? Кто был этот Эмиль Шульц?

— Генрих Шмидт! Он был социал-демократ или даже коммунист. Потому мне и пришлось в голову, что там может быть литература.

— Откуда вы собственно родом, господин Хергезель?

— Я? Я родился в Берлине. В Моабите.

— И когда?

— 10 апреля 1920 года.

— Так, а с Генрихом Шмидтом и его политическими убеждениями вы знакомы, по меньшей мере, десять лет, значит, с одиннадцатилетнего возраста. Вы меня за идиота считаете, господин Хергезель! Перестаньте морочить мне голову, а то я чего доброго рассержусь, и тогда вам не поздоровится.

— Я не лгу! Все, что я сказал, — сущая правда.

— Первая ложь, что приятеля зовут Генрих Шмидт! Никогда не заглядывал в чемодан — вторая ложь. Причина сдачи на хранение — третья ложь! Так-то, милейший господин Хергезель, каждое ваше слово ложь!

— Нет, все это правда! Генрих Шмидт собирался в Кенигсберг, а так как чемодан очень тяжелый и не мог ему понадобиться, он попросил меня сдать его на хранение. Вот и вся история!

— И он не поленился съездить в Эркнер и отвезти вам квитанцию, вместо того чтобы положить ее к себе в карман! Ну и правдоподобная же история, нечего сказать, господин Хергезель! Впрочем, пока что не будем останавливаться на этом вопросе, мы еще не раз к нему вернемся. Вы будете так любезны и отправитесь со мной в гестапо. Что же касается вашей жены...

— Моя жена ничего не знает про эту историю с чемоданом!

— Она тоже так говорит. Но я уж сам разберусь, что она знает и чего не знает. Да, кстати, — раз вы здесь, у меня вместе, мои нежные голубки, скажите-ка, вы познакомились, когда работали на фабрике военного обмундирования?

— Да... — в один голос ответили они.

— Ну-с, и как же было дело, чем вы там занимались?

— Я работал монтером... — А я кроила мундиры...

— Превосходно, оба вы паиньки, прилежные ребята. Ну, а кроме того, что кромсали материю и тянули проволоку, — что вы еще там делали, милые детки? Может статься, организовали миленькую маленькую подпольную группку, в компании с неким Еншем и еще с Григолейтом?

Оба, побледнев, смотрели на него. Откуда мог он это знать! И они растерянно переглянулись.

— Хе, хе! — насмешливо захохотал Лауб. — Что, поддел я вас? Да ведь за вами все время была слежка, за всеми четырьмя. Счастье ваше, что вы так скоро разошлись, а то мы бы с вами еще раньше познакомились. Да вы и тут на заводе находитесь под надзором, Хергезель.

Они были так ошеломлены, что им и в голову не приходило отпираться.

Комиссар внимательно всматривался в них, и вдруг ему пришла новая мысль. — А кому принадлежит пресловутый чемодан Григолейту или Еншу?

— Это... Ну, да теперь все равно, раз вы все знаете. Это Григолейт навязал мне чемодан. Он обещал забрать его через неделю, но это было уже давно.

— Тю-тю, ваш Григолейт. Ну, я до него еще доберусь. Понятно, если он еще жив.

— Господин комиссар, я хочу заявить, что мы с женой, с тех пор как вышли из подпольной группы, политикой не занимались. А группу мы распустили до того, как начали активно работать. Мы поняли, что это дело не для нас.

— Да, да, я тоже это понял! — насмешливо вставил комиссар.

Но Карл Хергезель решительно продолжал: — С тех пор мы занимались только своей работой и ничего не делали против государства.

— А чемодан-то, про чемодан-то вы забыли, Хергезель! Хранение коммунистической литературы — государственное преступление, за это голову долой, голубчик. Ну, фрау Хергезель! Что вы? Что вы так волнуетесь? Фабиан, оторвите эту дамочку от ее мужа, только, ради бога, понежнее. Фабиан, смотрите, не повредите милой крошке! У нее недавно был выкидыш, не хочет малютка поставлять фюреру солдат!

— Трудель! — умолял Хергезель. — Не слушай его! Наверно, в чемодане нет никакой литературы. Это просто моя выдумка. Может, там действительно белье и одежда.

— Правильно, молодой человек, — похвалил комиссар Лауб, — подбодрите свою женушку! Оправились немного, милочка? Тогда поговорим дальше. Перейдем от государственной измены Карла Хергезеля к государственной измене Трудель Хергезель, урожденной Бауман...

— Моя жена ничего обо всем этом не знала! Моя жена ничего противозаконного не делала.

— Ну как же, оба вы честные национал-социалисты! — Но вдруг комиссар Лауб распалился злобой. — Ах, вы, мерзкие гады! Подлые бунтовщики! Постойте, я выведу вас на чистую воду. Я доведу вас обоих до виселицы! Оба вы будете у меня болтаться! Ты — с твоим чемоданом и ты — с выкидышем! Верно, прыгала с этого стола, пока дело не выгорело. Так, что ли? А? Говори!

Он схватил за плечи и тряс почти потерявшую сознание женщину.

— Оставьте мою жену! Не смейте ее трогать. Хергезель набросился на комиссара. Фабиан кулаком отшвырнул его. Три минута спустя он под охраной Фабиана сидел в наручниках на кухне и с отчаянием в душе сознавал, что Трудель оставлена на произвол мучителя и он бессилен ей помочь.

А Лауб продолжал мучать Трудель. Она не помнила себя от страха за своего Карли, но должна была отвечать на вопросы об открытках Квангеля. Лауб не верил, что они встретились случайно, нет, ни на минуту не порывала она связи с Квангелями, вместе с ними состояла в коммунистическом заговоре, а муж ее, Карл, был в курсе этих дел!

— Сколько открыток вы рассовали? Что там было написано? Как относился к ним ваш муж?

Так час за часом истязал он ее, меж тем как Хергезель в смертельной тоске и отчаянии сидел на кухне.

Наконец прибыл автомобиль, прибыл чемодан, пришло время его открыть.

— Ну-ка, Фабиан, вскройте мне эту штуку, — сказал комиссар Лауб. Карл Хергезель снова был в комнате, но под охраной. Стоя в разных углах, бледные, убитые Хергезели смотрели друг на друга.

— Что-то тяжело для белья и одежды, — насмешливо сказал комиссар, меж тем как Фабиан орудовал проволочным крючком в замке. — Ну вот, сейчас мы увидим, что там за музыка. Боюсь, вам обоим не поздоровится от нее, как вы полагаете, Хергезель?

— Моя жена никогда даже не слышала об этом чемодане, господин комиссар! — настаивал Хергезель.

— Конечно, а вы не знали, что ваша жена по поручению Квангеля подбрасывает на лестницах открытки преступного содержания! Каждый был государственным преступником сам по себе! Премилая чета — нечего сказать!

— Нет, — выкрикнул Хергезель, — нет, это неправда! Трудель! Скажи, что это неправда, Трудель!

— Да она сама созналась!

— Это было один единственный раз, Карли, и то случайно...

— Я вам запрещаю разговаривать между собой. Еще одно слово, и вы опять отправитесь на кухню, Хергезель. Ну что, открыли эту штуку? Что там такое? — Они с Фабианом загоразивали чемодан, и Хергезели не видели его содержимого. Сперва оба агента перешептывались между собой. Затем Фабиан с видимым усилием вытащил содержимое чемодана. На свету блеснул винтами, шпонами, новенькой краской небольшой типографский станок.

— Печатный станок! — сказал комиссар Лауб. — Изящный маленький печатный станок для погромных коммунистических листовок. На этом с вами можно покончить, Хергезель. На сегодня и навсегда.

— Я не знал, что в чемодане, — твердил Карл Хергезель, но он был так испуган, что утверждение его звучало неубедительно.

— Сейчас это уже не имеет значения! Вы обязаны были сообщить о встрече с Григолейтом и сдать чемодан. Ну, давайте кончать, Фабиан. Уложите обратно эту штучку. Я анаю все, что нужно, и даже больше того. На женщину тоже надеть наручники.

— Карли мой, прощай! — громко крикнула Трудель Хергезель. — Прощай, любимый! Я была очень счастлива с тобой.

— А ну-ка, заткните ей глотку! — заорал комиссар, — Это что такое, Хергезель?

Карл Хергезель вырвался от полицейского в тот момент, когда на другом конце комнаты грубая ручища зажала рот Трудель. Хотя он был в наручниках, ему все же удалось свалить мучителя Трудель. Они покатались по полу. Комиссар подал знак Фабиану. Тот приблизился к борющимся, немного постоял и вдруг три-четыре раза ударил Карла Хергезеля по затылку. Хергезель охнул, по телу пробежала судорога, и он затих у ног Трудель. Она, не шевелясь, смотрела на него, изо рта у него текла кровь.

Весь долгий путь в город она тщетно надеялась, что он очнется и ей удастся еще раз заглянуть в его глаза. Но нет, он не пришел в себя.

Ничего они не сделали. И все же они были обреченные люди.

За те девятнадцать дней, которые Отто Квангель провел в застенке гестапо, прежде чем его передали в руки судебного следователя, тяжелее всего для него были не допросы комиссара Лауба, хотя этот мерзавец пускал в ход все свои недюжинные таланты, чтобы, как он выражался, сломить упорство Квангеля. Это означало, что он старался, не стесняясь средствами, превратить арестанта в обезумевший воющий комок мяса.

И не мучительная, все возрастающая тревога за жену тяжелее всего терзала Отто Квангеля. Он не видел жены, он ничего непосредственно не слышал о ней. Но когда Лауб во время какого-то допроса назвал имя Трудель Бауман, нет, вернее, Трудель Хергезель, он понял, что Анну запугали, обошли, и у нее нечаянно вырвалось имя, которое ей никак не следовало называть.

Позднее, когда стало ясно, что Трудель Бауман и ее муж тоже арестованы и сознались, что и они втянуты в этот водоворот, он мысленно не раз досадовал на жену. Всю свою прошедшую жизнь он гордился тем, что он человек независимый, не нуждается в других людях и никогда не будет им в тягость. А вот теперь, по его вине (ибо он считал себя полностью ответственным за Анну) два молодых существа запутаны с ним вместе.

Но досада длилась недолго, печаль и тревога о спутнице жизни взяли верх. Наедине с самим собой он часто впивался ногтями в ладони, закрывал глаза, собирал всю свою волю и тогда начинал думать об Анне, мысленно переносился к ней в камеру и внушал ей мужество, чтобы она была сильна, чтобы не поступалась своим достоинством, не унижалась перед этой презренной тварью.

Тревогу за Анну было тяжело переносить, но отнюдь не она была тяжелей всего.

Не были тяжелей всего и почти ежедневные глумления пьяных эсэсовцев и их начальников, которые срывали свою животную ярость на беззащитных. Почти ежедневно вламывались они в камеру, одичавшие от алкоголя, одержимые жаждой крови, жаждой видеть, как люди корчатся, как исходят мукой, наслаждаться слабостью человеческой плоти. И это было очень тяжело сносить, но и не это было тяжелей всего.

Тяжелей всего было сидеть в камере не одному, иметь сожителя, вызывавшего в Квангеле ужас. Это было дикое грязное животное, злое, и трусливое, грубое и пресмыкающееся. Квангель не мог без глубокого отвращения смотреть на него, но принужден был ладить с ним, потому что тот обладал значительно большей физической силой, нежели старик-мастер.

Карл Цимке, которого часовые звали Карльхен, был человек лет тридцати, атлетического телосложения, с круглой головой, бульдожьей физиономией, глубоко запавшими маленькими глазками, с длинными волосатыми руками. На низкий выпуклый лоб, прорезанный множеством продольных морщин, постоянно свисали космы всклокоченных волос. Говорил он, правда, мало, а если уж раскрывал рот, то из него вылетала одна отборная брань. Из разговоров часовых Квангель узнал, что Карл Цимке сам был раньше видным эсэсовцем, ему поручались особо кровавые дела, и сколько людей замучено этими волосатыми лапами никто не мог бы считать, потому что и сам Карльхен не помнит этого.

Однако убийца-профессионал Карльхен Цимке даже в эти кроважадные времена бывал не вполне загружен, и вот в такие периоды вынужденного простоя он занимался убийствами по собственному почину. Правда, он не гнушался деньгами и ценностями своей жертвы, но импульсом для злодеяния был отнюдь не грабеж, а единственно кроважадность. А так как по неосторожности он убивал не только евреев, политических противников режима и прочих париев, но и чистокровных арийцев, а среди последних прихлопнул даже одного члена нацистской партии, то в результате сам очутился в застенке гестапо, и участь его была неясна.

Карльхен Цимке, без малейшего содрогания отправивший на тот свет множество людей, теперь дрожал за собственную драгоценную жизнь, и вот в его убогой голове родилась догадка, что можно увильнуть от расплаты за свои деяния, прикинувшись помешанным. Он надумал разыгрывать роль собаки. А может быть, и даже вернее всего, ему это присоветовал какой-нибудь приятель, но проводил он свою роль с такой последовательностью, что ясно было — она ему вполне пристала.

Обычно он бегал на четвереньках вокруг всей камеры, лаял, лакал из своей миски, как собака, и постоянно норовил укунить Квангеля за ногу. А то он требовал, чтобы старый мастер часами бросал ему щетку, которую Карльхен приносил обратно в зубах, за что его надо было погладить и похвалить. А то еще Квангель должен был крутить штаны Карльхена как веревку, и Карльхен непрерывно прыгал через них.

Когда же Квангелю изменяло терпение, «пес» набрасывался на него, валил на пол, хватал зубами за горло, и никогда не было уверенности, что игра не примет серьезный оборот. Часовым забавы Карльхена доставляли несказанную радость. Они подолгу простаивали у дверей камеры, дразнили «пса», науськивали его на Квангеля. Когда же гестаповцы являлись сорвать свою пьяную ярость на арестантах, тогда они швыряли Карльхена на пол, а он раскидывал руки и скулил, чтобы они выдавили ему из брюха кишки.

И с таким-то существом Квангель был обречен проводить день за днем, час за часом, минуту за минутой, он, человек, привыкший жить одиночкой, не мог побыть один ни четверти часа. Даже по ночам, когда он призывал утешительный сон, ему не было спасения от этого мучителя.

Да, это было невыносимо, и часто Отто Квангель задавал себе вопрос, зачем, в сущности, он это терпит, когда конец его предreshен, близкий конец. Но что-то восставало в нем против мысли самому покончить с собой и оставить Анну, хоть он не видел ее. Что-то не позволяло ему облегчить «им» задачу, предвосхитить приговор. Нет, пусть они сами присудят его к смерти, пусть отнимут у него жизнь, все равно — на виселице или топором; пусть не думают, что он считает себя виновным. Нет, он не хотел ни от чего их избавить и потому не мог избавить себя от Карльхена Цимке.

Нередко Квангель задавал себе вопрос, не стал ли Карльхен действительно безумным, разыгрывая безумие. А если так, значит его приятели «на воле», шагавшие по коридорам тюрьмы, тоже безумны. Но это означало только, что всю их породу, с безумным фюрером и вечно по-идиотски хихикающим

Гиммлером во главе, тем более нужно смести с лица земли, чтобы разумные люди могли жить на ней.

ГЛАВА 54

Анна Квангель И Трудель Хергезель

Может быть, Трудель Хергезель поместили в камеру к Анне Квангель после смерти ее сожительницы Берты просто по недосмотру. А может быть, обе они потеряли всякий интерес для господина комиссара Лауба. Из них выжали все, что они знали, что узнавали от своих мужей, и больше с них нечего было взять. Настоящими преступниками всегда были мужья, жен прихватывали заодно с мужьями, что, впрочем, не мешало казнить их заодно с мужьями.

Да, Берта умерла, та самая Берта, которая простодушно рассказала Анне о присутствии в тюрьме ее невестки и тем навлекла на себя гнев комиссара Лауба. Она угасла, как свеча. Постепенно слабея и слабея, она скончалась на руках Анны Квангель и перед смертью тихим, едва слышным шопотом умоляла свою соседку никого не звать. Берта внезапно затихла. Сперва в горле у нее что-то заклокотало; раскрыв рот, она судорожно ловила воздух, а затем изо рта хлынула кровь, целые потоки крови, и руки, обхватившие шею Анны, разжались.

Так лежала она, белая, притихшая, и Анна в тоске терзала себя вопросом, не она ли повинна в этой смерти. Зачем она заговорила с комиссаром Лаубом о своей невестке! А потом она вспомнила о Трудель Бауман, Трудель Хергезель, и вся содрогнулась — ее-то она действительно выдала!

Да, конечно! Оправданий найдется сколько угодно. Как можно было предположить, что одно упоминание о невесте сына причинит столько бед! А потом клубок все запутывался, пока не стало очевидно, что она предала, загубила человека, близкого ее сердцу, а может быть, и не одного человека!

Дрожь пробирала Анну Квангель, когда она думала, что ей придется встретиться лицом к лицу с Трудель Хергезель и, глядя бедной женщине в глаза, повторить свои предательские показания. Когда же она думала о муже, то приходила в отчаяние. Она была убеждена, что этот совестливый, справедливый человек никогда не простит ей предательства и что перед близким концом ей суждено еще потерять единственного своего друга.

Как я могла допустить себя до такой слабости, казнила себя Анна Квангель, и, когда ее вели на допрос к Лаубу, она молилась не о том, чтобы он не мучил ее, она молилась о том, чтобы у нее хватило сил, не взирая на любые муки, ничего не выдать, никому не повредить. И эта слабая женщина во что бы то ни стало хотела нести свою долю вины и больше чем свою долю: она, она одна — кроме двух-трех случаев — разносила открытки, она одна сочиняла и диктовала их мужу! Она одна надумала писать открытки; оттого, что сын ее был убит, у нее явилась эта мысль!

Комиссар Лауб, конечно, понимал, что ее показания чистейший вымысел, что эта женщина не способна на дела, которые она на себя взваливала, но сколько бы комиссар Лауб не кричал, не грозил, не мучил ее, она не подписывала никакого другого протокола, она не брала назад ни слова из своих показаний, хотя бы он сто раз доказывал ей, что они явно неправдоподобны. Лауб перегнул палку и теперь был бессилен. А когда после такого допроса Анну приводили обратно в подвал, ей было немного легче на душе, словно она искупила какую-то долю своей вины и хоть чуточку обелила себя перед Отто. И в ней постепенно крепла мысль, что ей, может быть, удастся спасти жизнь Отто, взяв всю вину на себя...

По обычаям гестаповской тюрьмы, никто не спешил вынести умершую Берту из камеры Анны. Возможно, что это опять-таки была простая небрежность, а возможно, что и умышленное издевательство, — во всяком случае, покойница лежала уже третий день, наполняя камеру отвратительно-сладковатым запахом, как вдруг дверь распахнулась и в камеру втолкнули именно ту, с кем так боялась встретиться Анна.

Трудель Хергезель шагнула в камеру, и сперва ничего не успела разглядеть; она была досмерти измучена и не помнила себя от страха за Карла, который так и не пришел в сознание и от которого ее только что грубо оторвали. Но сразу же затем она тихонько вскрикнула, почувствовав отвратительный трупный запах и увидев покойницу, лежащую тут же на деревянных нарах, всю распухшую и в темных пятнах.

— Мне плохо, — простонала она, и Анна Квангель едва успела подхватить жертву своего невольного предательства.

— Трудель! — зашептала она на ухо обессиленной женщине. — Трудель, прости меня! Ты же была невестой моего сына, я и назвала твое имя. А потом он так надо мной измывался, что все из меня вытянул. Сама не понимаю, как это вышло. Трудель, ради бога, не смотри так на меня. Трудель, ты ведь ждала ребенка? Неужели я и его загубила?

Услышав эти слова, Трудель высвободилась из объятий фрау Квангель и попятилась к порогу камеры. Она прислонилась к обитой железом двери и, побледнев еще больше, смотрела на Анну, а та с другого конца камеры смотрела на нее.

— Так это ты сделала, мама?! — произнесла она и в приливе отчаяния выкрикнула: — Разве я о себе! Ой Карли моего избили, он все время без сознания. Может быть, уже умер.

Из глаз ее хлынули слезы. — Меня не пустят к нему! — рыдала она. — Я ничего не знаю, я целые дни буду сидеть здесь и ничего не узнаю. Может, он умрет, его зароят в землю, а для меня он все будет живой. И ребенка у меня от него нет! Как же я осиротела! У меня нет ничего! Ничего! Ах, мама!..

— Но в выкидыше ты не виновата. Это случилось раньше, — торопливо добавила она.

И вдруг Трудель Хергезель, пошатываясь, пробежала через камеру и в слезах прильнула головой к груди Анны. — Мама, мама, какая я несчастная! — шептала она. — Ну скажи мне, что Карли перенесет это, что он будет жить!

Анна Квангель, целуя ее, прошептала в ответ: — Он будет жить, Трудель, и ты будешь жить! Вы же ничего плохого не сделали!

Некоторое время они сидели обнявшись. Каждая отогревалась в любви другой, и луч надежды затеплился снова.

Но Трудель скоро очнулась и сказала, покачивая головой: — Нет, мы тоже не уцелеем. Слишком много они вывели. Ты права: в сущности мы ничего плохого не сделали. Карл сберег чужой чемодан, даже не зная, что там внутри, а я по просьбе отца подбросила одну открытку. Но они говорят, что это государственная измена и что за это платятся головой.

— Это, наверно, Лауб говорит, так он не человек, а зверь.

— Я не знаю, как его зовут, да не все ли равно. Все они такие! И те, что здесь, — все друг друга стоят. А может, так даже лучше. Чем без конца сидеть в тюрьме...

— Нет, Трудель, не могут они бесчинствовать без конца!

— Как знать! Подумать только, что они творят с евреями и другими народами — и все безнаказанно! И ты, мама веришь, что есть бог?

— Да, Трудель, верю. Отто всегда был против, — и это моя единственная от мужа тайна! Я все еще верю в бога.

— Нет, я никогда не верила по-настоящему. А хорошо бы, чтобы был бог! Тогда бы я хоть знала, что после смерти мы встретимся с Карли!

— И встретитесь Отто тоже не верит в бога. Он говорит, что с здешней жизнью все кончается. А я знаю, что после смерти мы с ним соединимся навек. Знаю наверно, Трудель!

Трудель взглянула на нары, где лежало неподвижное тело. Ей стало страшно.

— Какой у нее ужасный вид, — прошептала она. — Вся раздутая, в темных пятнах — смотреть страшно! Не хотела бы я так лежать, мама!

— Она лежит уже третий день, Трудель, они все не уносят ее. А как она была хороша сразу после смерти, такая строгая, ясная. Теперь душа отлетела от нее — и осталась только грудка гнилого мяса.

— Пусть ее уберут! Я не могу смотреть на нее! Я не могу дышать этим воздухом.

И не успела Анна Квангель удержать ее, как Трудель подбежала к двери, забарабанила по железу и закричала: — Откройте! Сейчас же откройте! Слышите!

Это было запрещено, запрещен был всякий шум, собственно говоря, запрещены были даже всякие разговоры.

Анна Квангель бросилась к Трудель, крепко схватила ее за руки, оттащила от двери и зашептала в испуге: — Что ты, что ты, Трудель, это запрещено! Они войдут и убьют тебя!

Но было уже поздно. Щелкнул замок, и в дверь вломился громадный часовой, размахивая резиновой дубинкой. — Чего орете, шлюхи? — завопил он. — Командовать вздумали, суки?

Обе женщины, забившись в угол, в страхе глядели на него.

Но он не набросился на них и не стал их бить. Он опустил дубинку и пробормотал: — Что это за вонь — прямо как в покойницкой. Сколько времени она тут лежит?

Он явно побледнел — это был еще совсем молодой парень.

— Третий день, — сказала фрау Анна. — Будьте так добры, распорядитесь, чтобы покойницу вынесли из камеры. Здесь дышать нечем.

Часовой что-то пробормотал и вышел. Но дверь не запер, а только притворил ее.

Обе женщины потихоньку подкрались к двери, чуточку, совсем чуточку приоткрыли ее и с упоением принялись дышать запахом дезинфекции и уборной, проникавшим через щель из коридора.

Услышав шаги часового, они отошли от двери.

— Вот! — сказал он, в руке у него была записка. — Теперь пошевеливайтесь, живее! Ты, старуха, берись за ноги, а ты, молодая, за голову. Ну, пошли — авось, дотащите такие мощи.

Его тон, при всей грубости, был почти добродушен, он и сам помогал нести.

Они прошли длинный коридор, остановились перед дверью, забранной железной решеткой; их провожатый показал караульному записку, дверь отперли, и они стали спускаться по бесконечной каменной лестнице. Чувствовалась сырость, тускло горели электрические лампы.

— Сюда! — сказал часовой и открыл дверь. — Это покойницкая. Положите ее тут на нары. Да разденьте ее. С одеждой у нас туго. Все пригодится!

Он засмеялся, но смех его звучал принужденно.

Женщины вскрикнули от ужаса. Это был настоящий склеп, но все покойники — мужчины и женщины — лежали голые, какими на свет народились. Они лежали все в кровоподтеках, у многих были разбиты лица, вывернуты суставы, кровь и грязь покрывала их корой. Никто не потрудился закрыть им глаза, они смотрели мертвым взглядом, и, казалось, некоторые из них косятся с любопытством, лукаво подмигивают и радуются, что их полку прибыло.

Анна и Трудель силились дрожащими руками как можно скорей раздеть мертвую Бертю, но обе то и дело невольно оборачивались и смотрели на это скопище мертвецов: вот лежит мать, обвисшая грудь которой иссякла навеки, а вот старик, который, верно, надеялся после долгой трудовой жизни мирно умереть на своей постели, а вон там юная девушка с бескровными губами, она была создана, чтобы любить и быть любимой, дальше молодой парень с раздробленным носом, его прекрасное, статное тело пожелтело, как слоновая кость.

Здесь стояла тишина, только слышно было, как шуршала под руками Анны и Трудель одежда покойной Бертю. Прожужжала муха, и снова все стихло.

Заложив руки в карманы, часовой наблюдал за работой женщин. Он зевнул, зажег папироску и сказал: — Н-да, во? она жизнь! — И снова все стихло.

Когда Анна Квангель связала всю одежду в узелок, он скомандовал: — Теперь идем!

Но Трудель Хергезель положила руку на его рукав и умоляюще сказала: — Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне посмотреть! У меня муж, может, он тоже лежит здесь...

Несколько мгновений он смотрел на нее — Эх ты, девчушка! И как ты сюда попала, — неожиданно сказал он и покачал головой. — У меня в деревне есть сестренка, верно, твоих лет. — И еще раз взглянув на нее: — Ну ладно, походи посмотри! Только поживее!

Она медленно ходила среди мертвецов. Она заглядывала в их застывшие лица. Некоторые были так

изуродованы, что распознать их было невозможно. Но по родимому пятну, по цвету волос она видела, что это не Карл Хергезель.

Вернулась она бледнее прежнего.

— Нет, его здесь нет. Пока нет.

Часовой избегал ее взгляда. — Ну, пошли! — сказал он и пропустил женщин вперед.

Но все время в этот день, стоя на карауле, он то и дело приоткрывал дверь, чтобы проветрить у них в камере. Он принес им чистое белье на постель покойницы — посреди таких немилосердных мук и это была великая милость.

Комиссар Лауб в этот день без всякого успеха допрашивал обеих женщин. Они поддерживали друг друга, к ним проявил крупицу участия какой-то часовой, и это придало им силы.

Дни проходили за днями, а сердобольный часовой больше ни разу не дежурил в их коридоре. Верно, его перевели отсюда за непригодностью. Слишком много осталось в нем человеческого, чтобы нести здесь службу.

ГЛАВА 55

Бальдур Перзике Навещает Больного

Бальдур Перзике, блистательный питомец «Напола», удачнейший отпрыск рода Перзике, закончил свои дела в Берлине. Наконец-то он может ехать обратно и продолжать готовиться в повелители мира. Он взял мать из ее пристанища у родных и строго-настрого приказал ей стеречь и не бросать квартиру, а не то пусть пеняет на себя. Навестил он и сестру в концлагере Равенсбрюк. Он не поскупился на похвалы ее умению муштроваться старух, и вечером брат с сестрой, пригласив еще несколько ра-венсбрюкских надзирательниц и приятелей из Фюрстен-берга, устроили настоящую развеселую оргию, с изобилием спиртного, курева и «любви».

Но главные усилия Бальдура Перзике все же были направлены на разрешение серьезных деловых вопросов. Папаша Перзике, как выяснилось, немало набедокурил спяна, и в кассе будто бы оказался недочет, и даже к нацистскому суду его притянули. Бальдур пустил в ход все свои связи; он орудовал врачевными свидетельствами, где папаша Перзике изображался слабоумным стариком; он грозил и кланчил, брал наглостью и раболепством, широко использовал историю с грабежом — когда вор обокрал вора, — и в конце концов примернейшему отпрыску славного рода удалось замять все это грязное дельце. Ему даже не пришлось продать ни одной вещи — недостающие деньги были списаны, как похищенные. Только не стариком Перзике — упаси боже! Деньги были похищены Боркхаузенем с братией, на них все и свалили, а честь дома Перзике осталась незапятнанной.

И в то время, как Хергезелей избивали, как им грозили смертью за несовершенно преступление, члена нацистской партии Перзике признали невиновным в преступлении, которое он совершил.

Итак, все это Бальдур Перзике обстригал в лучшем виде, как и следовало ожидать от такого молодца. Он мог бы теперь с чистой совестью возвратиться в свою «Напола», но ему сперва надо было исполнить сыновний долг — навестить отца в лечебнице для алкоголиков. Кроме того, он непременно был предотвратить повторение такого рода происшествий и обезопасить в квартире запуганную мать.

Не зря он Бальдур Перзике — ему сейчас же выдают пропуск и даже разрешают повидаться с отцом наедине, без врачей и санитаров.

Бальдур находит, что старик здорово сдал, он весь сморщился, как резиновый мячик, который проткнули булавкой.

Да, счастливые дни прогоревшего трактирщика миновали, теперь он только тень самого себя, но тень не без страстишек. Он кланчит у сына чего-нибудь покурить, тот сперва отказывает («не за что тебя баловать — старого плута!»), однако потом все-таки дарит старику папироску. Но когда старик начинает канючить, чтобы сынок один-единственный раз тайком пронес отцу бутылку водки, Бальдур только смеется в ответ. Он хлопает старика по костлявым, дрожащим коленям и говорит: — Это ты брось, папаша! Водки тебе не лаять во веки веков. Надо было не выкидывать таких фортелей!

И сын хвастливо повествует, каких трудов стоило ему заглянуть эти фортели.

Старик Перзике никогда не был тонким дипломатом, он всегда напрямик брякал, что думал, не заботясь о мнении других. Так и теперь он заявляет: — Ты с детства был хвастунишка! Что я, не понимал, что у нацистского начальства мне все с рук сойдет. Недаром я пятнадцать лет состою в гитлеровской лавочке! А распинаясь ты по собственной дурости. Я сам все улажу в два счета, дай только выйти отсюда.

Отец явно глуп. Что ему стоило немножко польстить сыну, поблагодарить, похвалить его, и Бальдур сразу же сменил бы гнев на милость. Теперь же он, глубоко уязвленный в своем тщеславии, говорит резко: — Как бы не так, — выйдешь ты отсюда! Нет, ты до конца дней просидишь в этой мышеловке, папаша!

Сперва отец до того пугается этих жестоких слов, что начинает дрожать всем телом. Но потом успокаивается и заявляет: — Хотел бы я знать, кто меня здесь удержит! Пока что я еще свободный человек, а главный врач Мартенс сам сказал, что полечит меня полтора месяца и отпустит здоровым.

— Знаем мы, как ты будешь здоровым, — издевается Бальдур, — только дай тебе волю, сразу же налижешься. Вот я сейчас поговорю с главным врачом и вообще похлопочу, чтобы тебя взяли под опеку!

— Доктор Мартенс тебя не послушается! Он во мне души не чает — говорит, таких соленых анекдотцев он ни от кого больше не слышал! И потом он дал слово отпустить меня через полтора месяца.

— А вот как я расскажу ему, что ты только что уговаривал меня принести тебе тайком бутылочку, он иначе посмотрит на твоё выздоровление.

— Не говори ему, Бальдур! Ведь ты мне сын, а я тебе отец...

— И что из этого? Чьим-нибудь сыном надо же быть. А мне как раз на папашу не очень повезло.

Он презрительно оглядывает отца и добавляет: — Так-то, папаша, ты это оставь. И знай одно — отсюда тебе не выйти. А то там на воле ты всю корпорацию осрамишь.

Старик в отчаянии. Он пробует возражать: — Мать не потерпит этой самой опеки и чтобы я весь век сидел здесь!

— Ну, как на тебя посмотреть, так век выйдет не долгий! — Бальдур смеется, скрещивает ноги в щегольски оттопыренных бриджах и любуется глянцем начищенных матерью сапог. — А мать-то до того напугана, что даже навестить тебя боится. Думаешь, она забыла, как ты вцепился ей в горло и душил ее? Этого она тебе ввек не за-будет!

— Тогда я напишу фюреру! — в отчаянии вопит старик Перзике. — Уж фюрер-то выручит старого бойца!

— А какого чорта ты нужен фюреру? Плевать он хотел на тебя и на твою писанину! Да ты и пера в руке не удержишь — вон как они у тебя трясутся с перепоем! А потом никто твоего письма отсюда не пропустит — это уж моя забота. Только бумагу зря переведешь!

— Ну, пожалей ты меня, Бальдур! Вспомни, как ты был маленьким, как я тебя по воскресеньям гулять водил. Помнишь, мы с тобой ходили на Крейцберг, еще вода там в фонтанах была голубенькая и розовенькая. Всегда я покупал тебе сосиски и конфетки. А когда ты одиннадцатилетним мальцом натворил бед с девчонкой — кто похлопотал, чтобы тебя не вышвырнули из школы и не сунули в исправительное заведение? Все я! Пропал бы ты без своего старенького папы, Бальдур! И чтобы ты не вызволил меня из этой окаянной мышеловки!

Бальдур и бровью не повел, слушая эту длинную тираду. В ответ он насмешливо заметил: — Так-с! Теперь ты напирал на чувства? Хитрец ты, папаша. Только меня этим не проймешь. Пора бы тебе знать, что мне начхать на чувства. Любые чувства отдам за бутерброд с ветчиной. Но я не зверь какой-нибудь. Так и быть, угощу тебя папироской. На, лови!

Но старику было теперь не до папирос, он был слишком взволнован. И папироса незамеченной упала на пол, а Бальдур разозлился еще больше.

— Бальдур! — снова заскулил старик. — Ты бы знал, каково жить в этом заведении. Тут людей голодом морят и бьют смертным боем. И санитары бьют и другие *больные* тоже. У меня руки дрожат, я не могу дать сдачи, а они и последний кусок у меня отнимают...

Не слушая заклинаний старика, Бальдур собрался уходить, но отец вцепился в него и, удерживая сына, спешил выговориться: — Тут и похуже дела бывают. Если больной уж очень расшумится, случается, что старший санитар впрыскивает ему какую-то зеленую штуковину. Шут ее знает, как она называется. Только от нее людей рвет и рвет, пока душа с телом не расстанется. Неужто ты допустишь, Бальдур, чтобы отец твой, родной твой отец, доблевался до смерти! Бальдур, голубчик, спаси меня! Возьми меня отсюда, я боюсь, Бальдур!

Но Бальдуру Перзике окончательно надоело это нытье. Он высвободился силой, пихнул отца в кресло и заявил: — Ну, будь здоров, папа! Я от тебя поклонюсь маме. Да не забудь, что под столом лежит папироса. Жаль — пропадет!

И с тем достойный сын своего отца удалился.

Но он не ушел из лечебницы, нет, он отправился к главному врачу Мартенсу. По счастью, главный врач был на месте и сразу же принял его. Вежливо поздоровавшись, они некоторое время подозрительно оглядывали друг друга.

— Если не ошибаюсь, вы питомец «Напола», господин Перзике? — спросил, наконец, главный врач.

— Да, господин доктор, я учусь в «Напола», — горделиво отвечивал Бальдур.

— Как у нас заботятся о молодежи, — одобрительно покачивая головой, заметил главный врач. — Были бы у меня в молодости такие благоприятные условия! Вы еще не вступили на военную службу, господин Перзике?

— От армейской лямки меня, вероятно, избавят, — с пренебрежительным высокомерием ответил Бальдур Перзике. — Должно быть, мне отдадут в управление большую область где-нибудь на Украине или в Крыму; Несколько десятков квадратных километров.

— Так, так, понимаю, — кивнул врач.

— Вы — член национал-социалистской партии, господин Мартенс?

— К сожалению, нет. Говоря начистоту, какой-то из моих дедов оплошал, ну, вы понимаете, сделал неудачный выбор. Но дело давно рассмотрено и улажено, — торопливо добавил он. — Мое начальство ходатайствовало за меня. Я считаюсь и сам чувствую себя чистым арийцем. Надеюсь, в скором времени мне будет разрешено носить свастику.

Бальдур сидел, гордо выпрямившись. Как чистый ариец, он чувствовал себя неизмеримо выше своего собеседника, которому надо было прибегать к таким уловкам. — Мне хотелось поговорить с вами о моем отце, господин главный врач, — чуть не начальственным тоном заявил он.

— Ну, с вашим отцом дело идет на лад, господин Перзике! Надеюсь, что через полтора-два месяца мы совсем вылечим его...

— Мой отец неизлечим! — оборвал его Бальдур Перзике. — С тех пор как я себя помню, он пил запоем. И если вы утром выпустите его якобы излеченным, он к вечеру явится к нам вдрызг пьяным. Знаем мы эти излечения. И мать и вся наша семья желает одного — чтобы отец пробыл здесь до конца жизни. Я лично всецело присоединяюсь к этому желанию, господин главный врач!

— Хорошо, хорошо! — поспешно согласился главный врач. — Я потолкую с профессором...

— Не к чему. Мы с вами можем сейчас же договориться окончательно. Если отца попробуют вернуть нам, так и знайте, он в тот же день снова поступит сюда и притом в совершенно пьяном виде. Результаты вашего «окончательного излечения» будут налицо, и смею вас уверить, господин главный врач, вам они дорого обойдутся.

Каждый сквозь очки смотрел на другого. Но, на беду свою, главный врач был трус: он опустил глаза под наглым взглядом Бальдура.

— Разумеется, опасность рецидива у алкоголиков, у запойных всегда велика. А раз ваш батюшка, как вы сообщили мне, пьет с давних пор...

— Пропил свою торговлю. Пропивал все, что зарабатывала мать. И по сию пору пропивал бы все, что

зарабатываем мы, четверо детей, если бы дать ему волю. Нет уж, мой отец останется здесь!

— Да, да, ваш отец пока что останется здесь. Если вы в дальнейшем, скажем, по окончании войны, навестите его и вам покажется, что батюшке вашему стало значительно лучше...

Но Бальдур Перзике снова прервал врача. — Ни я, ни мать, никто из нашей семьи больше не будет навещать отца. Он здесь в *хороших* руках — с нас этого достаточно. — Бальдур пристально смотрел на врача, буравил его взглядом. Раньше он говорил громко, почти повелительно, теперь же значительно понизил голос: — Господин доктор, отец рассказывал мне о впрыскивании какой-то зеленой жидкости...

Главного врача слегка передернуло. — Чисто воспитательная мера. Применяется в редких случаях к трудно излечимым молодым субъектам. Самый возраст вашего отца исключает...

Опять ему не дали договорить. — Моему отцу уж делали раз такой укол...

— Не может быть! — вскричал врач. — Простите, господин Перзике, но вас ввели в заблуждение!

— Отец сам мне об этом рассказал! — сурово отрезал Бальдур. — Он говорил, что укол очень помог ему. Почему прекратили это лечение?

Врач совсем растерялся. — Какое лечение, господин Перзике? Это чисто воспитательная мера! Пациента рвет потом несколько часов, а иногда и несколько дней подряд.

— Что ж такого! Пусть себе блюет! Может, ему нравится блевать! По крайней мере, меня он уверял, что зеленая жидкость очень помогла ему. Он прямо-таки мечтает, чтобы ему впрыснули ее второй раз. А вы, значит, не желаете применять это средство, хотя оно идет ему на пользу?

— Нет, что вы! — запротестовал врач. И тут же добавил, устыдившись самого себя: — Да не может этого быть! Никогда не слыхал, чтобы больной мечтал о впрыскивании...

— Господин главный врач, спрашивается, кто лучше, чем родной сын, понимает больного? А я еще любимый сын своего отца, да будет вам это известно. И я был бы вам крайне обязан, если бы вы сейчас же, при мне отдали распоряжение старшему санитару или кому там полагается, чтобы моему отцу немедленно впрыснули зеленую жидкость. Я спокойнее уйду домой, когда буду знать, что исполнил отцовское желание!

Врач, побледнев, смотрел в лицо собеседника. — Так вы хотите... чтобы я сейчас же?... — пробормотал он.

— Я, кажется, достаточно ясно выражаюсь, господин главный врач! На мой взгляд, для руководящего врача вы чересчур нерешительны. Вы были правы — вам не мешало поучиться в «Напола» и получше развить в себе командирские навыки! — И Бальдур ехидно добавил: — Правда, при вашем сомнительном происхождении возможны и другие методы воспитания...

Врач долго молчал, потом сказал тихо: — Ну, я пойду сделаю укол вашему отцу...

— Что вы, господин доктор, почему вы сами? Ведь это, кажется, обязанность старшего санитаря?

Снова наступило молчание. В душе врача происходила мучительная борьба.

Затем он медленно поднялся. — Хорошо, пойду дам указание старшему санитару.

— Разрешите сопровождать вас. Меня очень интересует ваша работа. Ну, знаете, изъятие нежизнеспособных, стерилизация и прочее...

Бальдур Перзике сам слышал, как врач давал указание старшему санитару. Больному Перзике надо сделать укол того-то.

— Словом, рвотный укол, голубчик! — поощрительно вставил Бальдур. — Сколько вы вкачиваете обычно? Так, так! Ну, немножко больше тоже не повредит, верно? Пойдите, возьмите папироску! Да не церемоньтесь, берите всю коробку.

Старший санитар поблагодарил и ушел, держа в руке шприц с зеленой жидкостью.

— Н-да, здоровенный детина — ваш старший санитар. Этот как шибанет — только держись. Мускулатура — полдела в жизни, господин Мартенс! Ну-с, очень вам признателен, господин доктор! Будем надеяться, что лечение пойдет успешно! Итак, хейль Гитлер!

— Хейль Гитлер, господин Перзике! Возвратившись к себе в кабинет, главный врач доктор Мартенс тяжело повалился в кресло. Он чувствовал, что дрожит всем телом, а лоб у него влажен от холодного пота. Он и сейчас еще не мог успокоиться, снова вскочил и подошел к шкафу с медикаментами. Достал шприц, медленно ввел себе под кожу какую-то жидкость. Только не зеленую, хотя у него была сильнейшая потребность облевать весь мир, а главное — собственную жизнь. Все же доктор Мартенс предпочел морфий.

Затем он снова уселся в кресло и спокойно вытянулся в ожидании действия наркотика.

Как я труслив! думал он. Труслив до тошноты. Пресмыкался перед ничтожным наглым мальчишкой — а вся-то его сила, должно быть, в умении драть глотку. Я мог бы поставить себя иначе. Всему виной эта проклятая бабка — и моя собственная болтливость! А какая была милая старушка, и как я любил ее...

Мысли его путались, перед ним встал образ старушки с тонкими чертами лица. Вся ее квартира была пропитана запахом сухих розовых лепестков и анисовых пряников. А руки у нее были такие нежные, морщинистые детские ручки...

И из-за нее я унижался перед этим стервецом! Но, пожалуй, я воздержусь вступить в нацистскую партию, господин Перзике! Пожалуй, я опоздал. Что-то уж слишком долго вы засиделись!

Он сощурился, потянулся и блаженно вздохнул. Теперь у него на душе стало веселее.

Пойду потом посмотрю старика Перзике. Больше уколов ему ни за что делать не будут. Лишь бы он этот выдержал. Потом я пойду посмотрю его, только забудусь немного, пока действует благодетельное зелье. А потом пойду — честное слово!

ГЛАВА 56

Новый Сосед Отто Квангеля

Когда надзиратель ввел Отто Квангеля в его новую камеру в следственной тюрьме, из-за стола поднялся высокий мужчина, бросил книгу, которую читал, и согласно уставу встал под окном камеры,

вытянув руки по швам. Но в его манере становиться во фронт чувствовалась явная небрежность.

И надзиратель сразу же отпустил его, сказав: — Ладно уж, господин доктор! Вот вам новый сосед!

— Отлично! — сказал тот. Но для Отто Квангеля этот человек в темном костюме, спортивной рубашке и галстуке был скорее «барин», чем товарищ по камере.

— Отлично! Моя фамилия Рейхардт, я музыкант, обвиняюсь в коммунистических кознях. А вы?

Квангель ощутил в своей руке прохладную крепкую руку. — Квангель, — сказал он робко. — Я столяр. Говорят, я государственный преступник, изменник родине.

— Эй вы! — крикнул доктор Рейхардт вдогонку надзирателю, который собрался уже закрыть за собой дверь. — С сегодняшнего дня опять две порции, идет?

— Идет, идет, господин доктор! — отвечал надзиратель. — Будто я сам не знаю!

И дверь захлопнулась.

Мгновение они испытующе смотрели друг на друга. Квангелю было не по себе. Теперь ему предстоит жить бок о бок с этим барином, ученым человеком, — он чувствовал себя неловко.

«Барин» улыбался глазами.

— Если вам так приятнее, не обращайтесь на меня внимания, — сказал он немного погодя. — Я не буду вам мешать. Я много читаю, сам с собой играю в шахматы. Делаю гимнастику, чтобы сохранить бодрость в теле. Иногда напеваю себе под нос, только потихоньку — это, разумеется, запрещено. Вам это помешает?

— Нет, не помешает, — ответил Квангель. И почти против воли добавил: — Я просидел около трех недель в гестаповском подвале в одной камере с сумасшедшим. Он изображал собаку. Так что меня ничем уже не потревожишь.

— Отлично! — заметил доктор Рейхардт. — Еще лучше было бы, если бы вы хоть капельку чувствовали музыку. Это единственный способ забыться в тюремных стенах.

— Это не моего ума дело, — уклончиво ответил Квангель. — Шикарное помещение, куда лучше гестаповского, верно?

Господин снова сел к столу и взялся за книгу. — Мне тоже пришлось посидеть в подвале, — приветливо отозвался он. — Да, конечно, здесь немножко лучше. Не бьют, по крайней мере. Надзиратели, конечно, грубияны, но еще не одичали окончательно. Однако тюрьма остается тюрьмой — сами знаете. Кое-какие поблажки делают. Мне, например, позволяют читать, курить, питаться лучше, иметь собственную одежду и постельное белье. Правда, я — особый случай. И все-таки, неволя есть неволя, при любых послаблениях. Надо дойти до того, чтобы не ощущать решеток.

— А вы не ощущаете?

— Пожалуй. По большей части. Но не всегда. Далеко не всегда. Например, как подумаю о семье — все пропало.

— У меня только жена, — сказал Квангель. — Есть в этой тюрьме женское отделение?

— Да, есть, но мы никогда никого из женщин не видим.

— Ну понятно. — Отто Квангель тяжело вздохнул. — Жену мою тоже засадили. Надеюсь, и ее перевели сюда сегодня. — И добавил: — Не по силам ей терпеть гестаповские издевательства.

— Будем надеяться, что она тоже здесь, — приветливо сказал барин. — Узнаем у пастора. Он, может быть, придет еще сегодня, под вечер. Имейте в виду, что теперь, когда вас перевели сюда, вы можете взять себе защитника.

Он приветливо кивнул Квангелю, сказал напоследок: — Через час принесут обед, — надел очки и принялся читать.

Квангель с минуту смотрел на него, но он углубился в чтение и не желал больше разговаривать.

Станные люди эти образованные господа, думал Квангель. Мне еще столько надо было спросить. Ну, не хочет, бог с ним. И с чувством некоторой обиды он принялся стелить себе постель. Камера была очень опрятная, светлая. И размером не так уж мала — три с половиной шага туда, три с половиной назад. Окно стояло полуоткрытым, так что воздух был свежий. И пахло здесь приятно; позднее Квангель узнал, что приятный запах идет от мыла и белья господина Рейхардта. После удушливо-вонючей атмосферы гестаповского застенка Квангелю казалось, что он попал в райское место.

Застелив свою койку, он сел на нее и покосился на соседа. Тот читал, довольно часто перевертывая страницы. Квангель не помнил, чтобы со школьных времен ему довелось читать книжку, и с удивлением думал: и что ему за охота читать? Будто не о чем подумать тут, в тюрьме? Я бы не мог так спокойно сидеть и читать. У меня не идет из головы Анна и потом я все перебираю, как это случилось, и что дальше случится, и хватит ли у меня сил не сплеховать до конца. Он говорит, можно взять защитника. Защитник стоит кучу денег. А что мне от него за прок, раз я все равно приговорен к смерти? Я ведь во всем сознался. К такому вот барину отношение совсем другое, я, как вошел, сразу понял, а тут и в самом деле слышу, надзирателя называет его господином и доктором. Хорошо ему читать — ну какое там у него дело? А все-таки, охота читать...

Доктор Рейхардт только дважды прерывал свое предобеденное чтение. Один раз он сказал, не поднимая головы: — Хотите курить? Папиросы и спички в тумбочке.

Не успел Квангель ответить: — Я не курю! Жаль деньги переводить! — как он уже снова уткнулся в книгу.

Предоставленный самому себе, Квангель влез на табуретку и силился выглянуть во двор, откуда раздавалось ритмичное шарканье множества ног.

— Не стоит сейчас, господин Квангель! — остановил его доктор Рейхардт. — Сейчас обеденный перерыв. Многие из персонала запоминают, в какое окно выглядывали. Виновного тут же сажают в карцер на хлеб и воду. Спокойнее смотреть в окно, когда стемнеет.

Вскоре принесли обед. Квангель успел привыкнуть к противной гестаповской похлебке и был изумлен при виде двух больших мисок с супом и двух тарелок с мясом, картошкой и зелеными бобами. Но еще больше удивился он, увидев, как его сожитель налил себе в таз воды, тщательно вымыл и вытер руки. Затем доктор Рейхардт налил в таз чистой воды и очень вежливо сказал: — Пожалуйста, господин

Квангель! — и Квангель тоже послушно вымыл руки, хотя он, собственно, ничего грязного не трогал.

Потом они почти в полном молчании съели непривычно вкусный для Квангеля обед.

Только через три дня старый мастер понял, что заключенных в следственной тюрьме кормили вовсе не такой пищей, а что эти обеды приносили доктору Рейхардту из особой кухни и он без рассуждения делился ими со своими сожителями. Точно так же он, по первой просьбе, готов был поделиться с Квангелем чем угодно — мылом, табаком, книгами.

Прошло еще несколько дней, пока это внимание не подкупило Отто Квангеля настолько, что он поборол возникшее у него с первой минуты недоверие к доктору Рейхардту. Кто пользуется такими невероятными льготами, тот наверняка шпион, подосланный прокурором, — эта мысль твердо засела в голове Отто Квангеля. А кто оказывает такие одолжения, тому что-нибудь да от тебя нужно. Держи ухо остро, Квангель!

Но что ему могло быть нужно? В деле Квангеля все было ясно, он и перед судебным следователем спокойно и немногословно повторил все показания, данные им Эшериху и Лаубу. Он рассказал все начистоту. А дать, делу дальнейший ход для составления обвинительного акта и назначения срока судебного разбирательства нельзя было лишь потому, что фрау Анна с беспримерным упорством настаивала на своем — она зачинщица всего, а муж был только орудием в ее руках. Но из-за этого не имело никакого смысла тратить на Квангеля дорогие папиросы и питательную, вкусную еду. Дело было ясное, и выведывать ничего больше не требовалось.

До конца Квангель поборол свое недоверие к доктору Рейхардту лишь в ту ночь, когда его товарищ по камере, высокомерный, вылощенный господин, шопотом признался ему, что он сам все еще мучительно боится смерти, безразлично — на виселице или под топором. От этой мысли он иногда не может отделаться целыми часами. Признался доктор Рейхардт и в том, что нередко перелистывает страницы своей книги чисто машинально: перед глазами у него вместо черных букв стоит серый асфальтированный тюремный двор, виселица и тихо покачивающаяся на ветру веревка, которая в три минуты превращает здорового, крепкого человека в отвратительную дохлятину, в падаль.

Но еще мучительней чем такой конец, к которому доктор Рейхардт, по твердому его убеждению, стремительно приближался с каждым днем, еще мучительнее была для него мысль о семье. Квангель узнал, что Рейхардт с женой прижили троих детей, двух мальчиков и одну девочку, старшему было одиннадцать лет, младшей — неполных четыре годика. И Рейхардта часто обуревал страх, мучительный панический страх, что его злобным преследователям мало будет убить отца, что они распространят свою месть на невинную женщину и детей, запрут их в концлагерь и уморят медленной смертью.

При виде таких терзаний Квангель забыл о своем недоверии, мало того — он понял, что может почитать себя еще сравнительно счастливым. Он страдал только за одну Анну, и как ни бессмысленны и нелепы были ее показания, он видел по ним, что Анна вновь обрела мужество и силу. Настанет день, когда им обоим придется умереть, но им будет легче оттого, что они умрут вместе, не оставляя на земле никого, о ком бы им надо было болеть душой в свой смертный час. Старый мастер понял, что тревога доктора Рейхардта за жену и троих ребят неизмеримо сильнее и она не отпустит его до последней минуты.

Но в чем собственно так провинился доктор Рейхардт, чтобы считать себя смертником, — этого Квангель толком, не узнал до конца. Не похоже было, чтобы сожитель его восставал активно против гитлеровской диктатуры, участвовал в заговорах, расклеивал воззвания, подготавливал террористические акты. Он просто жил, не кривя душой, не поддавался на приманки национал-социализма, ни разу ни словом, ни делом, ни деньгами не помог им, за то часто поднимал предостерегающий голос. Он открыто говорил, что считает пагубным тот путь, по которому пошел немецкий народ при гитлеровском руководстве, — словом, он направо и налево, на родине и за границей высказывал то, что считанными словами, неумело выражал Квангель в своих открытках. А за границей доктор Рейхардт концертировал совсем недавно, уже в разгар войны.

Прошло немало времени, прежде чем столяр Квангель мало-мальски уяснил себе, в чем состоит то дело, с которым доктор Рейхардт разъезжал по свету, — по-настоящему ясным это для него так и не стало, и настоящим делом он в глубине души так и не признал занятие Рейхардта.

Услышав в первый раз, что Рейхардт занимается музыкой, он вспомнил музыкантов, которые играют танцы в дешевых кафе, и улыбнулся с жалостливым презрением. Что за дело для здорового мужчины с крепкими руками? Такая же прихоть, как чтение книжек, годная для бар, которые не знают настоящей работы.

Рейхардту пришлось пространно и терпеливо втолковывать старику, что такое оркестр и на что нужен дирижер. Квангель расспрашивал без конца.

— Так вот вы и стоите с палочкой перед своими музыкантами, а сами даже ни на чем не играете?

Да, так и стоит.

— И получаете такую кучу денег за то, что только показываете, когда кому заиграть, и громко или тихо?

Да, надо признать, что он получает столько денег именно за это.

— А сами вы хоть умеете играть? Скажем, на скрипке или на пианино?

— Умею. Только никогда не играю, во всяком случае публично. Понимаете, это совсем как у вас — ведь и вы умеете строгать и вколачивать гвозди. Однако же вы этим не занимались, только надзирали за другими.

— Ну да, чтобы они побольше сделали. А разве ваши музыканты играют больше и быстрее оттого, что вы стоите над ними?

— По правде говоря, нет. Молчание.

— И что такое музыка... — не мог успокоиться Квангель. — Я понимаю, делали мы в хорошие времена не гробы, а мебель — буфеты, книжные шкафы, столы, — было на что посмотреть! Чистая работа, все прочно скреплено, склеено — на сто лет хватит. А что музыка?.. Только вы замолчали, и нет вашей работы, ничего не осталось.

— Нет, Квангель, от хорошей музыки у людей остается радость.

Но в этом вопросе они никак не могли столкнуться; легкое презрение к работе дирижера Рейхардта так и не изгладилось у Квангеля.

И все же он видел, что это настоящий человек, прямой, честный человек, не поступившийся своими взглядами посреди всех ужасов и угроз, и при этом приветливый, отзывчивый. С изумлением понял Отто Квангель, что щедрость Рейхардта относилась не к нему лично, такие же одолжения оказывал бы он любому соседу по камере, даже и такому как «пес». На несколько дней к ним в камеру поместили мелкого воришку, испорченное, изолгавшееся существо, и этот негодник бессовестно злоупотреблял добротой Рейхардта — выкуривал все его папиросы, продавал служителю мыло, воровал хлеб. У Квангеля чесались руки вздуть эту тварь. Этаким паршивец — уж он бы отделал его, если бы не господин доктор. Но Рейхардт брал под свою защиту воришку, который осмеивал его доброту, как слабость.

Когда же парня наконец взяли от них и когда обнаружилось, что он по необъяснимой злобе разорвал в клочки единственную фотокарточку жены и детей, какая была у доктора Рейхардта, когда доктор с тоской смотрел на обрывки портрета, которые невозможно было собрать, а Квангель в сердцах сказал ему: — Знаете, господин доктор, вы все-таки тряпка. Позволили бы вы мне проучить как следует этого подлюгу, он не посмел бы так поступить...

Тогда дирижер ответил с печальной улыбкой: — Вы хотите, чтобы мы уподобились им, Квангель? Они думают побоями обратить нас в свою веру. Но мы-то отрицаем насилие. Мы верим в добро, любовь, справедливость.

— Добро и любовь к такой злобной мартышке?

— Откуда вы знаете, что озлобило его? А может быть, он противится добру и любви, потому что боится, что, став другим, должен будет жить по-другому? Побудь он еще с месяц у нас в камере, вы бы сами увидели в нем перемену.

— Но суровым тоже иногда нужно быть, доктор!

— Нет, Квангель, никогда! Ваше утверждение оправдывает любую жестокость!

Квангель недовольно покачал головой, острое птичье лицо сделалось еще строже. Но противоречить больше не стал.

ГЛАВА 57 **Жизнь В Камере**

Они привыкли друг к другу, они подружились, поскольку суровый сухой человек типа Отто Квангеля может дружить с человеком общительным и добродушным. Стараниями Рейхардта день их был строго распределен. Музыкант вставал очень рано, мылся с ног до головы холодной водой, полчаса занимался гимнастикой, сам убирал камеру. После завтрака два часа читал, затем час шагал взад и вперед по камере, причем обязательно снимал башмаки, чтобы не раздражать своим хождением верхних и нижних соседей.

Во время этой утренней прогулки доктор Рейхардт напевал про себя. Не желая неприятностей от надзирателей, он обычно мурлыкал совсем тихо, и Квангель привык вслушиваться в это мурлыканье. Хотя он ни во что не ставил музыку, однако чувствовал, что мурлыканье доктора Рейхардта по-своему действует на него. Иногда оно давало ему мужество и силу претерпеть любую участь, и доктор Рейхардт говорил: Бетховен. А иногда оно непостижимым образом делало его беззаботным и радостным, каким он сроду не бывал, доктор Рейхардт говорил: Моцарт, а Квангель забывал про свои печали. А случалось, густые важные звуки слетали с губ Рейхардта, и Квангелю теснило грудь и казалось, будто он мальчиком сидит с матерью в церкви: вся жизнь еще впереди, большая жизнь. И тут Рейхардт говорил: Иоганн-Себастьян Бах.

Квангель попрежнему ни во что не ставил музыку, и все же невольно он поддавался ее влиянию, как ни примитивны были исполнительские средства Рейхардта. Старый мастер приучился, сидя на табуретке, слушать его, когда он шагал взад и вперед, обычно с закрытыми глазами — ноги сами ступали по привычной узкой и короткой полоске пола. Квангель смотрел в лицо этому человеку, этому барину, с которым там, на воле, он и слова не сумел бы сказать, и порой на него находило сомнение — верно ли он прожил жизнь, в стороне от других, в добровольном уединении?

Случалось, доктор Рейхардт говорил: — Мы живем для других, а не для себя. То, чем мы себя делаем, делаем мы не для себя, а для других.

Да, сомнений не было: на шестом десятке, перед лицом близкой смерти Квангель явно менялся. Ему это не нравилось, он боролся с этим и тем не менее замечал, что меняется все сильнее, не только слушая музыку, но еще больше, глядя на человека, открывшего ему ее мир. Бывало он своей Анне не давал слова сказать, превыше всего ценил тишину, а теперь ловил себя на том, что ждет, когда наконец доктор Рейхардт отложит книгу и заговорит с ним.

Обычно его ожидание длилось недолго. Рейхардт внезапно отрывался от чтения и спрашивал с улыбкой: — Что скажете, Квангель?

— Ничего, господин доктор.

— Вредно все время сидеть сиднем и копаться в себе. Может, попробуете почитать?

— Поздно мне приучаться к чтению.

— Пожалуй, вы правы. А чем вы раньше занимались после работы? Неужто сидели дома без дела? Не подходит это к вам.

— Я писал открытки.

— А еще раньше, до войны?

Квангель долго вспоминал, чем же собственно он занимался раньше.

— Раньше, совсем давно, я любил резать по дереву.

— Н-да, — задумчиво протянул доктор. — Это вряд ли удастся, ножа нам в руки не дадут. Как можно лишить палача его поживы!

— Вот вы играете в шахматы сами с собой, — робко начал Квангель. — А ведь можно играть и не в одиночку?

— Можно вдвоем. Хотите поучиться?

— Боюсь, не хватит у меня на это ума.

— Вздор! Давайте попробуем сейчас. И доктор Рейхардт захлопнул книгу.

Так Квангель напоследок выучился играть в шахматы. Выучился он, к своему удивлению, очень быстро и без всякого труда. И тут ему пришлось отбросить еще одно свое предубеждение. Ему всегда было немножко смешно смотреть, как двое взрослых мужчин сидят в кафе и, точно дети, двигают туда и назад деревянные фигурки. Он называл это пустой тратой времени, детской забавой.

А тут он узнал, что такая игра деревяшками может дать почти что счастье, ясность мысли, искреннюю, бескорыстную радость от удачного хода, а главное, что дело не в проигрыше или выигрыше, что гораздо больше удовольствия доставляет красиво разыграть заведомо проигранную партию, чем воспользоваться промахом партнера и выиграть.

Теперь, когда доктор Рейхардт читал, Квангель сидел против него перед доской с черными и белыми фигурами заглядывал в книжку Дюфрена «Руководство по шахматам» и упражнялся в дебютах и эндшпилях. Теперь он уже разыгрывал целые партии мастеров. При трезвой ясности его ума ему легко было держать в памяти по двадцать — тридцать ходов. Вскоре он стал играть лучше своего учителя.

— Шах и мат, господин доктор!

— Опять вы меня обставили, Квангель, — говорил доктор и в знак приветствия склонял своего короля перед противником. — Из вас может выйти очень сильный игрок.

— Я часто думаю, что из меня многое могло выйти, о чем я даже понятия не имел. И только теперь, когда я познакомился с вами и когда меня засадили в эту бетонную коробку ждать смерти, тут-то мне и открывается, сколько я в жизни прозевал.

— Так, верно, с каждым бывает. Каждый, кто должен умереть, а в особенности, кто должен умереть прежде времени, как мы с вами, оплакивает каждый зря растрченный день своей жизни.

— А со мной совсем неладно получилось! Я-то думал, что нужно одно — добросовестно исполнять работу и смотреть, чтобы не было брака. И вдруг оказывается, сколько еще всего можно было делать: и в шахматы играть, и людей не чуждаться, и музыку слушать, и в театр ходить. Право же, господин доктор, дали бы мне высказать желание перед тем как умереть, я бы одного пожелал: хоть разок увидеть вас с палочкой в этом, — как бишь вы его назвали — симфоническом концерте. Очень мне любопытно, что это за штука и как она на меня подействует.

— Никому не дано жить во всех направлениях. Жизнь слишком богата. Вы только разбросались бы понапрасну. А так, вы делали свое дело и чувствовали себя цельным человеком. Когда вы были на свободе, ваша жизнь была полна. Вы писали открытки...

— А много ли от них вышло толку! Меня как обухом ударило, когда Эшерих мне преподнес, что из двухсот восьмидесяти пяти моих открыток двести шестьдесят семь копали к нему в руки! Подумайте, всего только восемнадцать уцелело! И те ничего не дали!

— Как знать? Зато вы сами воспротивились злу, не стали соучастником зла. И не только вы и я, а многие здесь в тюрьме и еще многие в других тюрьмах и десятки тысяч в концлагерях, все, все сопротивляются и будут сопротивляться сегодня и завтра...

— Ну, а потом нас лишат жизни, что же даст наше сопротивление?

— Нам оно дает сознание, что мы умираем порядочными людьми. А еще больше даст оно народу, ибо он спасется ради единого праведника, как сказано в писании. Видите ли, Квангель, конечно, во сто раз лучше было бы, если бы нашелся человек, который сказал бы нам: действуйте так-то и так, у нас выработан такой-то план, — тогда, пожалуй, мы не докатились бы до 1933 года. А пока что мы действовали порознь, и всех нас выловили порознь, и каждому придется умирать в одиночку. Но из этого не следует, что мы одиноки, Квангель, и что умираем мы понапрасну. В мире ничего не бывает понапрасну. А мы ведь боремся за правое дело против грубой силы и потому в конечном итоге выйдем победителями.

— А что нам с того, когда мы будем гнить в могиле?

— Что вы, Квангель! Неужели лучше жить для неправого дела, чем умереть за правое? А выбора нет, ни для вас, ни для меня. Раз мы такие, как мы есть, — другого пути нам не было.

Оба долго молчали.

— Вот насчет шахмат... — снова заговорил Квангель.

— Что такое, Квангель?

— Мне иногда думается, нехорошо я поступаю. По целым часам у меня одни шахматы в голове, а про жену я и не думаю...

— Достаточно думаете. Вам нужно много силы и мужества, и все, что сохраняет вам силу и мужество, — хорошо, а все, что делает вас слабым и нерешительным, например лишние думы, то плохо. Какая польза жене от ваших дум? Ей гораздо полезнее, когда пастор Лоренц говорит ей, что вы полны силы и мужества.

— Да ведь с тех пор, как у нее новая сожительница, пастор не может открыто говорить с ней. Пастор уверен, что это шпионка.

— Уж как-нибудь он сумеет намекнуть вашей жене, что вы бодры и благополучны. Для этого довольно взгляда или кивка. Пастора Лоренца учить не приходится.

— Мне бы хотелось дать ему письмо для Анны, — задумчиво сказал Квангель.

— Не стоит. Он вам не откажет, но вы можете очень подвести его. Сами знаете, на него давно косятся. Подумайте, какой ужас, если он, наш друг и заступник, попадет в такую вот камеру. Он и без того изо дня в день рискует жизнью.

— Хорошо, не буду писать, — согласился Квангель.

И он не написал письма, хотя на следующий день пастор принес ему печальную, очень печальную весть,

в особенности для Анны Квангель. Старый мастер только попросил пока что не сообщать этой дурной вести его жене.

— Не надо пока что, погодите, господин пастор!

И пастор согласился: — Хорошо, пока что подождем. Вы мне скажете, господин Квангель, когда придет время.

ГЛАВА 58 Добрый Пастор

Пастор Фридрих Лоренц, который неумоимо нес свою службу в тюрьме, был человек в цвете лет, то есть годов около сорока; очень высокий, узкогрудый, явно отмеченный туберкулезом, он постоянно покашливал, но не обращал внимания на свою болезнь, потому что служба не оставляла ему времени для лечения и заботы о себе. Бледное лицо его, с темными глазами за стеклами очков, с узким тонким носом, было окаймлено бакенбардами, но усы и бороду он тщательно выбривал, открывая большой рот с тонкими бескровными губами и крепкий круглый подбородок.

Этого человека каждый день ожидали сотни заключенных, видя в нем единственного друга во всей тюрьме, единственную связь с внешним миром. Ему они поверяли свои горести и нужды, и он помогал им, сколько было в его власти, во всяком случае много больше, чем было дозволено. Неумоимо переходил он из камеры в камеру, всегда был чуток и отзывчив к страданиям других, забывая о своих собственных и не зная страха за себя. Он был поистине духовный пастырь и при этом никогда не спрашивал о вероисповедании тех, кто искал помощи, молился с теми, кто просил о молитве, и всем равно был братом.

Пастор Фридрих Лоренц стоит перед столом начальника тюрьмы, на его лбу проступили капли пота, два красных пятна обозначились на скулах, но он говорит совершенно спокойно: — За последние две недели это седьмой случай смерти по недосмотру.

— В свидетельстве о смерти сказано: воспаление легких, — возражает начальник, но при этом не поднимает головы от бумаг.

— Врач плохо выполняет свои обязанности, — упрямо продолжает пастор и при этом постукивает согнутым пальцем по столу, словно просит внимания начальника. — Как ни грустно, я вынужден заявить, что врач слишком много пьет и совершенно не интересуется своими пациентами.

— Нет, уж доктора вы оставьте, — сухо отвечает начальник и продолжает писать. Он не желает внять пастору. — Сами-то вы хороши, господин пастор. Говорят, вы сунули записку от другого арестанта номеру 397, верно это, а?

Наконец-то их взгляды встречаются, взгляд краснолицего начальника, с дуэльными шрамами на щеках, и взгляд священника, сгорающего в лихорадке.

— Это седьмой смертный случай за две недели, — настойчиво твердит пастор Лоренц. — Тюрьме необходим другой врач.

— Я только что задал вам вопрос. Потрудитесь ответить.

— Верно, я передал номеру 397 письмо, но только с воли, от жены. Она извещает его, что их третий сын не убит, а попал в плен. Они потеряли уже двух сыновей и думали, что погиб и третий.

— У вас всегда найдется повод нарушить тюремные порядки, господин пастор. Но я не намерен долго терпеть эти шутки.

— Я прошу уволить врача, — повторяет пастор и постукивает по столу.

— Да что это, наконец! — рявкает вдруг краснолицый начальник. — Перестаньте вздор молоть и оставьте меня в покое! Доктор вполне хорош, он останется на месте. Лучше следите за собой и подчиняйтесь тюремным порядкам, а не то как бы с вами чего не стряслось!

— Что может со мной стрястись? — спрашивает пастор. — Я могу умереть. И умру. Даже очень скоро. А пока настоятельно прошу вас уволить врача.

— Вы дурак, пастор, — холодно говорит начальник. — Я считаю, что от чахотки вы малость свихнулись. Не будь вы таким безобидным чудачком, попросту дуралеем, вас бы давно вздернули! Но мне жаль вас.

— Лучше обратите свою жалость на заключенных, — так же холодно отвечает пастор. — И подыщите добросовестного врача.

— Потрудитесь закрыть дверь снаружи, господин пастор.

— Вы даете мне слово подыскать другого врача?

— Чорта в ступе я подыщу! Проваливайте сейчас же! Начальник совсем взбеленился, он вскочил из-за стола и шагнул по направлению к пастору. — Хотите, чтобы я вытолкал вас в шею? А?

— Это произведет неприятное впечатление на заключенных, занятых в канцелярии, и окончательно подорвет авторитет, которым хоть немножко пользуется у них государственная власть. Впрочем, как вам будет угодно, господин начальник!

— Дурак! — сказал начальник, однако замечание пастора несколько отрезвило его, и он снова уселся за стол. — Ну, ступайте. У меня срочная работа.

— Самое срочное дело — назначить нового врача.

— Вы думаете, ваше упорство вам поможет? Как раз наоборот! Доктор ни за что не будет уволен.

— Помнится, — сказал пастор, — однажды вы сами остались крайне недовольны им. Это было ночью, в грозу. Вы вызывали врачей по телефону, вы посылали за ними, но никто не явился. У вашего шестилетнего Бертольда было воспаление среднего уха, ребенок кричал от боли. Жизнь его была в опасности. Я привел по вашей просьбе тюремного врача. Он был пьян, а при виде умирающего ребенка совсем потерял самообладание, сослался на то, что у него дрожат руки, отказался прибегнуть к хирургическому вмешательству и расплакался сам.

— Пьяный мерзавец! — пробормотал нахмурившись начальник.

— Вашего Бертольда спас тогда другой врач. Но что раз случилось, может повториться. Не искушайте господя.

Начальник тюрьмы, пересиливая себя и не поднимая головы, произнес: — Ну, ступайте же, господин пастор!

— А врач?

— Посмотрю, подумаю, как быть.

— Благодарю вас, господин начальник, не я один, многие будут вам благодарны.

Священник пошел через всю тюрьму, он шел, тощий, длинный, нескладный, в поношенном черном сюртуке с протертыми добела локтями, в обтрепанных черных брюках, в грубых башмаках на толстой подошве, в съехавшем набок измятом черном галстуке. Некоторые из часовых с ним здоровались, другие демонстративно отворачивались при его приближении, а потом подозрительно поглядывали ему вслед. Зато все заключенные, работающие в коридорах, смотрели на него — кланяться они не смели, — только смотрели взглядом, исполненным благодарности.

Священник проходит через множество железных дверей, по железным лестницам, держась за железные перила. Из одной камеры доносится плач, он на минуту останавливается, но, покачав головой, торопливо идет дальше. Он идет по железному подвальному коридору, справа и слева зияют распахнутые двери темных камер, карцеров, впереди, в одном из помещений, виден свет. Пастор останавливается и заглядывает туда.

В отвратительном, грязном чулане у стола сидит человек с испитым, хмурым лицом и таращит рыбы глаза на семерых мужчин, которые стоят перед ним под охраной двух часовых, совершенно голые, жалкие, дрожащие от холода.

— Ну-с, голубчики! — рычит человек. — Чего это вы так трясетесь? Продрогли малость? Это еще что — вот посидите в карцере, в железобетонной клетке, на хлебе и воде, тогда узнаете холод...

Он прерывает свою речь. Он заметил у дверей безмолвную наблюдающую фигуру.

— Вахмистр, — ворчливо приказывает он, — уведите их. Все здоровы и могут выдержать режим карцера. Вот вам бумажка!

Он подмахнул свое имя под списком и отдает бумагу надзирателю. Проходя мимо пастора, арестанты бросают на него жалобный взгляд, в котором все же мерцает робкая надежда.

Пастор ждет, пока последний из них скроется из виду, тогда только он входит в помещение и тихо говорит: — Итак, 352-й тоже умер. А ведь я вас просил...

— Что я мог поделать, пастор? Я сам сегодня сидел около него битых два часа и прикладывал ему компрессы.

— А мне казалось, что я сидел всю ночь подле 352-го. Значит, мне это померещилось. И с легкими у него ничего не было, господин доктор, воспаление легких было у 357-го. Хергезель за номером 352 умер от повреждения черепа.

— Вам бы быть тут врачом на моем месте, — иронически заметил обрюзгший человек. — А я вместо вас буду целителем душ.

— Боюсь, что целителем душ вам еще меньше пристало быть, чем врачом.

Доктор засмеялся. — Люблю, когда вы начинаете дерзить, милый попик. Хотите, я выслушаю ваши легкие?

— Нет, — решительно ответил пастор, — это мы лучше предоставим другому врачу.

— Как угодно, я и без выслушивания вам скажу, что вы вряд ли протянете три месяца, — злобно выговорил врач. — Я знаю, вы с мая харкаете кровью; теперь уж до первого кровотечения ждать не долго.

Пастор, пожалуй, чуть побледнел от этого жестокого приговора, но голос его не дрожал, когда он спросил: — А сколько времени осталось до первого кровотечения тем, кого вы, господин советник медицины, только что отправили в карцер?

— Врачебный осмотр показал, что все они здоровы и могут выдержать режим карцера.

— Никакого врачебного осмотра, конечно, не было.

— Вы собираетесь контролировать, как я исполняю свои обязанности. Берегитесь! Я знаю о вас больше, чем вы предполагаете!

— В тот первый раз, когда у меня пойдет кровь горлом, ваши сведения потеряют цену. А впрочем, ждать уж нечего...

— Как? Что значит нечего?

— У меня уже шла горлом кровь — дня три-четыре назад.

Доктор с трудом поднялся. — А ну-ка, пойдите со мной, милый попик, я выслушаю вас наверху в моей конуре и добьюсь, чтобы вам немедленно дали отпуск. Мы будем ходатайствовать, чтобы вас пустили в Швейцарию, а пока что я вас отправлю в Тюрингию.

Полупьяный доктор тянул пастора за рукав, но тот не пошевелился. — А что тем временем станет с людьми, которых вы отправили в карцер? Двое из них безусловно не в силах вынести такую сырость, холод и голод, да и всем остальным это навсегда подорвет здоровье.

— Шестьдесят процентов всех сидящих здесь будут казнены, — возразил врач. — Надо полагать, по меньшей мере, тридцать пять процентов остальных убудут присуждены к каторжным работам на долгие сроки. Какая разница, умрут ли они несколькими месяцами раньше или позже?

— Раз вы так думаете, вы не имеете права числиться здесь врачом. Подайте в отставку!

— Всякий, кто заменит меня, будет не лучше. К чему же меня? — Советник медицины засмеялся. — Пойдите, пастор, я вас выслушаю. Вы же знаете, я питаю к вам слабость, хотя знаю, что вы всегда под меня подкапываетесь и наговариваете на меня. Уж очень вы типичный Дон-Кихот!

— Я и сейчас под вас подкапывался и наговаривал на вас. Я просил начальника уволить вас и почти что получил согласие.

Врач расхохотался и похлопал пастора по плечу: Молодец, попик! — воскликнул он. — Я прямо-таки от души благодарен вам. Если меня отсюда уволят, я взлечу выше, прямо в старшие советники медицины, и буду сидеть сложа руки. Примите мою искреннюю благодарность, милый попик.

— Докажите ее, вызволите из карцера Крауза и молодого Бендта. Они живыми оттуда не выйдут. За последние две недели у нас было семь смертных случаев, и только по вашей небрежности.

— Ах вы, льстец. Пользуетесь тем, что я не могу вам отказать. Сегодня же вечером верну обоих. А то сразу же как расписался, пожалуй, неловко. Правда, пастор?

ГЛАВА 59

Трудель Хергезель, Урожденная Бауман

Перевод в следственную тюрьму разлучил Трудель Хергезель и Анну Квангель. Трудель тяжело было лишиться «мамы». Она давно позабыла, что Анна была причиной ее ареста, вернее, не позабыла, но простила. Мало того, она поняла, что, в сущности, и прощать-то было нечего. На допросе редко кто мог быть в себе уверен. Прожженные бестии, гестаповские комиссары, умели самый безобидный намек превратить в капкан, из которого не выберешься никакими силами.

И вот Трудель осталась без матери, теперь ей не с кем было поговорить. Она должна была молчать и об утраченном счастье, и о тревоге за Карли, всецело заполнявшей ее. Новая ее соседка по камере была пожилая, желтая как лимон особа, — обе с первого взгляда возненавидели друг друга; эта тварь вечно о чем-то шушукалась с уборщицами и надзирательницами. Когда пастор бывал в камере, она прислушивалась к каждому его слову.

Через пастора Трудель хоть что-нибудь узнавала о своем Карли. Фрау Хензель, ее сожительница, то и дело шныряла в контору, должно быть, наущничала на кого-нибудь. Пастор успел рассказать Трудель, что ее муж в одной с ней тюрьме, только он болен, часто даже теряет сознание, однако поклоны ей все-таки шлет.

О тех пор Трудель только и жила надеждами на приход пастора. Даже в присутствии фрау Хензель пастор умудрялся передать ей весточку. Обычно они сидели при этом под окном, тесно сдвинув табуретки, и пастор Лоренц читал ей главу из Нового завета, а фрау Хензель стояла у противоположной стены камеры и не сводила с них глаз.

Для Трудель библия была чем-то совершенно новым. Она никогда не испытывала потребности в религии. Понятие «бог» было ей чуждо, «бог» было для нее просто слово, привычное восклицание, например: бог с ним! Так же точно можно было сказать: шут с ним! — разницы она не видела.

И теперь, услышав из Евангелия от Матфея о жизни Христа, она сказала пастору, что не может себе представить, как это он «сын божий».

Пастор Лоренц только кротко улыбнулся в ответ и сказал, что это не важно. Пусть задумается над тем, как Иисус жил на земле. А «чудеса» пусть понимает, как хочет, хотя бы как красивые сказки. Главное ей знать, что жил когда-то на земле такой человек, чьи дела и спустя два тысячелетия сияют непреходящим светом, являя вечное свидетельство того, что любовь сильнее ненависти.

Трудель Хергезель, которая умела так же сильно любить, как и ненавидеть, и, внимая учению, от всей души ненавидела свою соседку фрау Хензель, Трудель Хергезель противилась такому учению. Оно казалось ей уж очень слащавым. И не Иисус Христос завоевал ее сердце, а его служитель, Фридрих Лоренц. Она смотрела на этого человека, чья тяжелая болезнь всякому бросалась в глаза, она видела, что он принимает к сердцу ее горести, как свои собственные, что он никогда не думает о себе, она убеждалась в его мужестве, когда он во время чтения всовывал ей в руку записку с весточкой о Карли, — и вот тогда-то ее осеняло нечто похожее на счастье, глубокий покой, исходивший от этого человека.

Правда, от этого нового чувства Трудель Хергезель не становилась ласковее к Хензельше, а только равнодушнее, — ненависть уже не стояла на первом плане. Иногда, блуждая по камере, Трудель могла вдруг остановиться перед Хензельшей и спросить: — И зачем вы это делаете? Зачем доносите на всех? Разве вам легче от несчастья других? Или думаете этим уменьшить себе наказание?

В такие минуты Хензельша не сводила с нее своих желтых, злых глаз. А сама либо ничего не отвечала, либо говорила:

— Думаете, я не видела, как вы терлись грудью об рукав пастора? Уж чего гаже соблазнять полумертвого человека! Но погоди, я еще вас обоих накрою. Погоди ты мне!

Не ясно было, на чем Хензельша грозила накрыть Трудель Хергезель и пастора. На такие выходки Трудель отвечала отрывистым презрительным смешком и снова принималась безмолвно блуждать по камере, вся во власти своих мыслей о Карли. Нечего обманывать себя, вести о нем становились все безотрадней, как ни бережно старался их преподнести пастор. Если говорилось, что нового кет ничего, что состояние его без перемен, — значит Карли не передавал ей привета, а из этого, в свою очередь, следовало, что он без сознания. Пастор никогда не лгал, в этом Трудель убедилась, — если привета не было, так он и не передавал его. Пастор пренебрегал дешевым утешением, которое рано или поздно обернется ложью.

Из допросов судебного следователя Трудель тоже знала, что мужу ее очень плохо. Ни разу не было ссылок на его показания, обо всем должна была давать сведения она, а она и в самом деле ничего не знала о чемодане Григолейта, погубившем их обоих. Хотя судебный следователь и не прибегал при допросах к таким подлым и зверским методам, как комиссар Лауб, но настойчив был не меньше. После свидания с ним Трудель возвращалась в свою камеру вконец измученная и пришибленная. Ах, Карли, Карли! Только бы увидеть его хоть разок, посидеть у его койки, погладить его руку, тихо, не говоря ни слова!

Когда-то, давно, ей казалось, что она его не любит, никогда не полюбит его. А теперь она была словно вся пропитана им, он был воздух, которым она дышала, хлеб, который она ела, одеяло, которым укрывалась, — все он. И он был так близко, их разделяло несколько коридоров, лестниц, дверь — но ни у кого в целом мире не нашлось настолько сострадания, чтобы хотя бы раз, один-единственный раз свести ее к нему! Не нашлось даже у этого чахоточного пастора!

Все они дрожали за свою драгоценную жизнь; ни один из них не отваживался на решительный шаг,

чтобы по-настоящему помочь беспомощной! Живое сердце замуровано в каменном мешке. И никого вокруг!

Дверь отпирается, медленнее и осторожнее, чем принято у надзирательниц, раздается даже стук: это пастор!

— Можно войти? — спрашивает он.

— Войдите, войдите, пожалуйста, господин пастор! — всхлипывает Трудель Хергезель.

— Что ему опять понадобилось? — ворчит между тем фрау Хензель, окидывая пастора злобным взглядом.

И тут вдруг Трудель кладет голову на впалую, часто дышащую грудь священника, слезы текут у нее из глаз, она прячет лицо на его груди и молит: — Господин пастор, мне так страшно! Сжальтесь надо мной! Помогите мне увидеть Карли, хоть раз! Я знаю, это будет последний раз...

— Об этом я доложу! Сейчас же доложу! — визжит фрау Хензель. А пастор в это время гладит Трудель по голове и успокаивает ее: — Хорошо, дитя мое, вы увидите его, увидите еще раз!

Она вся сотрясается от рыданий, теперь она знает, что Карл умер, не напрасно она разыскивала его в мертвецкой, это было предчувствие, предостережение.

— Он умер, господин пастор! Он умер! — кричит она. И он отвечает, он утешает ее тем, чем только можно утешить этих обреченных смерти, он говорит: — Дитя, твой муж больше не страдает. Тебе тяжелее.

Она слышит его слова. Она хочет продумать их, получше осмыслить, но у нее темнеет в глазах. Свет угасает, голова ее клонится вперед.

— Помогите мне, фрау Хензель! — просит пастор. — У меня нет сил ее удержать.

А потом и за окошком наступает ночь, ночь в ночи, тьма во тьме.

Овдовевшая Трудель Хергезель проснулась, она знает, что она не в своей камере, и еще она знает, что Карли умер. Она видит, как он лежит на узких нарах камеры и лицо у него стало таким маленьким, почти детским, и ей представляется личико ребенка, которого она родила, и оба лица сплываются в одно, и она знает, что потеряла все на свете, ребенка и мужа, что никогда не будет больше любить, не будет рожать детей и все потому, что сделала одолжение старому человеку, сунула на подоконник открытку, и потому разбита вся ее жизнь и не только ее, но и жизнь Карли, и никогда больше не будет для нее солнца, счастья, лета и цветов.

Цветы на моей могиле, цветы на твоей...

От нестерпимой боли, все растущей в ней, пронизывающей ее ледяным холодом, она снова закрыла глаза, чтобы снова уйти в ночь и в забытие. Однако ночь только там, за окошком, она сама по себе, не укрывает ее... И ее вдруг бросает в жар... Она с криком вскакивает и хочет бежать, бежать прочь, куда-нибудь, лишь бы убежать от этой ужасной боли.

Но чья-то рука удерживает ее...

Становится светло, она видит — это опять пастор, он все время сидел подле нее, а теперь он держит ее. Да и камера другая, камера Карли, но его уже унесли, и человека, который был здесь с Карли, тоже нет.

— Куда его унесли? — спрашивает она задыхаясь, словно пробежала большое расстояние.

— Я буду читать над его гробом молитвы.

— На что ему теперь ваши молитвы? Молились бы лучше раньше, чтобы он жил!

— Дитя мое, он обрел покой!

— Пустите меня, я хочу уйти, — лихорадочно шепчет Трудель. — Пустите меня, господин пастор, я хочу в мою камеру! У меня там его карточка, мне нужно на нее посмотреть, сейчас же. Он был совсем не такой.

Так она говорит, а сама знает, что лжет доброму пастору, что хочет его обмануть. Нет у нее никакой карточки Карли, и вовсе она не хочет вернуться в свою камеру, к Хензельше.

В голове ее мелькает мысль: ведь я сошла с ума, но сейчас мне нужно притвориться, чтобы он ничего не заметил... Хоть на пять минут скрыть, что я сумасшедшая.

Пастор бережно ведет ее под руку через длинные коридоры и лестницы назад в женскую тюрьму, из одних камер слышно тяжелое дыхание — эти спят, из других непрерывные шаги — те не знают покоя, еще из других слышится плач — эти горюют, но ни у кого нет такого горя, как у нее.

После того как пастор отпер и снова запер за ней очередную дверь, она больше не берет его под руку, и они молча идут дальше по темному подвальному коридору мимо карцеров, из которых пьяный доктор, несмотря на обещание, так и не вызволил двух больных. Наконец они поднимаются по бесконечным лестницам в женскую тюрьму до секции V, где помещается камера Трудель.

Там, на верхней галлерее, им навстречу шаркает надзирательница и говорит: — Господин пастор, уже без двадцати минут двенадцать, а вы только сейчас ведете назад Хергезель. Где вы были с ней все время?

— Она была несколько часов без сознания, у нее, понимаете, умер муж.

— Так, а вы, значит, утешали молодую дамочку, господин пастор? Похвально! Фрау Хензель рассказывала, что она прямо-таки бесстыдно вешается вам на шею. После этого особенно похвально утешать ее по ночам. Я занесу это в дежурную ведомость!

Но не успел пастор возразить на эту гнусность, как оба они увидели, что Трудель, вдова Хергезель, взобралась на железную решетку галлерей. Мгновение она стоит, спиной к ним, держась одной рукой за перила.

— Стой! Ради бога! Не надо! — кричат они наперебой.

Они бросаются к ней, протягивают руки.

Но, как пловец, ныряющий с вышки, Трудель Хергезель уже ринулась в глубину. Они слышат шелест и свист, потом глухой удар.

И сразу же мертвая тишина. Они просовывают бледные лица сквозь решетку перил, но не видят ничего.

Не успевают они вернуться к лестнице, как разражается содом.

Можно подумать, что все происшедшее было видно сквозь окованные железом двери камер. Началось, должно быть, с одного истерического выкрика, и вот он уже понесся по камерам, по секциям,

переметнулся на другую сторону. Разносясь все дальше, выкрик превратился в рев, вой, вопль, скрежет, неистовство.

— Кровопийцы! Вы убили ее! Всех нас перебейте! Палачи!

Некоторые цеплялись за подоконники и кричали в окна, крики разносились по дворам, вспугивали настороженный сон мужских корпусов, и все бесновалось, кри-, чало, скрежетало, ревели, рычало, причитало.

Все обвиняло, обвиняло тысячу, двумя, тремя тысячами голосов, из тысячи, двух, трех тысяч глоток выкрикивала тюрьма свое обвинение.

Пронзительно звенел тревожный звонок, а они барабанили кулаками в железные двери, ломились в них табуретками. Громко щелкали захлопываясь железные нары, опускались снова и щелкали еще громче. Стучала об пол посуда, громыхали крышки параш, и весь дом, вся гигантская тюрьма завоняла вдруг, как стократный нужник.

А дежурные натягивали на себя одежду и хватались за резиновые дубинки.

И вот защелкали замки в дверях камер, щелк-щелк!

И захлопали дубинки по головам, а рев стал еще яростнее, все свирепел, к нему примешивались звуки борьбы, шарканье ног, и звериный визг эпилептиков, и улюлюканье юродствующих, и резкие свистки...

И вода плескала в лица врывающихся надзирателей.

А в подвале совсем тихо лежал Карли Хергезель, и лицо у него было по-детски маленькое, спокойное.

И вся эта дикая, трагическая, страшная симфония была разыграна в честь Трудель, вдовы Хергезель, урожденной Бауман.

Она же лежала внизу, наполовину на линолеуме, наполовину на грязно-сером цементном полу нижней секции.

Она лежала совсем тихо, ее маленькая бледная рука, рука девочки, была полуоткрыта. На губах запеклось немного крови, а глаза незрячим взглядом смотрели на незнакомые места.

Но слух ее, казалось, напряженно ловил неистовый, то нарастающий, то затухающий адский шум, а лоб был наморщен, как будто она размышляла, тот ли это покой, который обещал ей добрый пастор Лоренц.

Однако в результате расследования этого самоубийства от должности был отстранен не пьянчуга-врач, а тюремный священник Фридрих Лоренц. Против священника было возбуждено дело. Ибо нельзя допустить, чтобы заключенный сам выбрал себе смерть, — это считается Преступлением и пособничеством преступлению. Только государство и его присные имеют на это право.

Когда гестаповский чиновник проламывает прикладом голову человеку, а пьяный врач не делает попытки спасти умирающего, тогда все в порядке. Но когда священник не препятствует самоубийству и допускает свободу выбора у заключенного, которому ее иметь не положено, тогда оказывается, что он совершил преступление и должен за это расплачиваться.

К несчастью, пастор Фридрих Лоренц — по примеру пресловутой Хергезель — уклонился от расплаты за свое преступление. Он умер от легочного кровотечения в ту самую минуту, как его пришли арестовать. Помимо всего, он был заподозрен в безнравственных отношениях со своими подопечными. И вот он обрел покой, о котором говорил, и от многого был избавлен.

Но ввиду всего этого фрау Анна Квангель до самого суда не узнала о смерти Трудель и Карла Хергезель, так как преемник доброго пастора боялся или просто не желал поддерживать связь между заключенными. Он строго ограничил свою деятельность спасением душ, и притом только в тех случаях, когда его об этом просили.

ГЛАВА 60

Суд. Свидание

Даже самая хитроумная, самая изощренная система не спасает от оплошностей. Берлинский «народный» трибунал, тот «народный» трибунал, который не имел ничего общего с народом и не допускал присутствия народа, даже в качестве безмолвного зрителя, ибо в большинстве случаев заседания его происходили втайне — берлинский трибунал мог служить образцом такой хитроумной, изощренной системы: обвиняемый был фактически осужден еще до того, как переступал порог зала заседаний, и трудно было ожидать, чтобы он в этом зале пережил хоть минуту радости.

В то утро на повестке стояло одно мелкое дело: дело по обвинению Отто и Анны Квангелей в государственной измене. Помещение для публики было на три четверти пусто — в зале виднелось несколько нацистов в форме, несколько адвокатов, по непонятным причинам заинтересовавшихся этим процессом, большинство же составляли студенты-юристы, желавшие узнать, как «правосудие» отправляет на тот свет людей, все преступление которых заключалось в одном — они любили свою родину больше, чем судьи, выносившие им приговор. Вся эта публика получила билеты исключительно «по знакомству». Но совершенно непонятно, откуда добыл себе билет невысокий старик с белой бородкой клинышком и умными морщинками вокруг глаз, откуда добыл билет отставной советник апелляционного суда Фром. Так или иначе он незаметно пристроился среди остальной публики, несколько поодаль от других. Он сидел, опустив голову, и часто протирал стекла очков в золотой оправе.

Без пяти десять полицейский ввел в зал суда Отто Квангеля. Ему вернули одежду, в которой он был в момент ареста, на нем был опрятный, но сильно заплатанный рабочий костюм, и темносиние заплатки заметно выделялись на вылинявшем фоне. Взгляд его, не утративший остроты, равнодушно скользнул от незанятых еще мест за судейским барьером к публике, просветлел на миг при виде советника апелляционного суда — и Отто Квангель сел на скамью подсудимых.

Без четверти десять другим полицейским была введена в зал обвиняемая Анна Квангель, и вот тут-то была допущена оплошность: едва увидев мужа, Анна Квангель, не задумываясь, не обращая внимания на публику, пошла к нему и села с ним рядом.

Отто Квангель прикрыл рот рукой и шепнул: — Погоди, не говори пока!

Но по тому, как просияли его глаза, она поняла, что он счастлив их свиданием.

Само собой разумеется, что никогда и никаким уставом этого высокого учреждения не было предусмотрено, чтобы двое обвиняемых, которых долгие месяцы тщательно изолировали друг от друга, за четверть часа до суда оказались рядом и могли без помехи беседовать между собой. Но потому ли, что оба полицейских впервые исполняли такие обязанности и не успели затвердить правила, потому ли, что они не придавали большого значения этому процессу, или же потому, что очень уж ничтожной показалась им эта простая, убого одетая пожилая чета, так или иначе они не стали возражать против выбранного фрау Анной места и на ближайшие четверть часа забыли и думать о подсудимых. Они затеяли между собой разговор на животрепещущие служебные темы — в прибавке за ночные часы отказано, а налоги на жалование несуразные.

И среди зрителей ни один, за исключением советника Фрома, не заметил допущенной ошибки. Все сидели рассеянные, вялые, никто и ухом не повел по поводу оплошности, совершенной в ущерб третьей империи и к выгоде двух государственных преступников.

Какое впечатление мог произвести здесь процесс, в котором было всего двое обвиняемых, и то из рабочей среды? Здесь привыкли к крупным инсценировкам с тридцатью, сорока обвиняемыми, которые, обычно, даже в глаза друг друга не видели, и только по ходу процесса, к изумлению своему, узнавали, что состоят в одном заговоре, а в результате получали соответствующую кару.

Так случилось, что Квангель, внимательно оглядевшись по сторонам, мог шепнуть: — Вот радость-то. Как тебе, Анна?

— Теперь хорошо, Отто.

— Долго нас не оставят вместе. Спасибо хоть за эти минутки. Ты ведь понимаешь, что нас ждет.

— Да, Отто, — чуть слышно ответила она.

— Смертный приговор обоим — неминуемо.

— Но...

— Никаких «но», Анна. Я знаю, ты пыталась взять всю вину на себя...

— Женщину не осудят так строго, а тогда и ты останешься жив.

— Не надо. Ты не умеешь лгать. Только зря затянешь дело. Давай говорить правду, тогда все скоро кончится.

— Но...

— Оставь свои «но», Анна. Подумай хорошенько. Не надо лжи. Лучше чистая правда...

— Но...

— Перестань, Анна!

— Отто, я хочу спасти тебя, хочу знать, что ты жив!

— Перестань, Анна!

— Не мучай меня, Отто!

— Ты хочешь, чтобы мы говорили разное? Ссорились им на потеху? Нет, одну правду, Анна!

Она боролась с собой. Потом уступила, как уступала ему всегда. — Хорошо, Отто, я согласна.

— Спасибо, Анна, спасибо тебе большое.

Они замолчали. Оба смотрели в землю. Оба стыдились показать свои чувства.

За ними слышался голос полицейского: — Вот я и грю лейтенанту. Так и так, лейтенант, грю я. Никакого вы, грю, права не имеете, лейтенант...

Отто Квангель собрался с духом. Так надо. Хуже будет, если Анна узнает по ходу дела — а она обязательно узнает по ходу дела. Страшно подумать, что тогда будет.

— Анна, — прошептал он. — Хватит у тебя силы и мужества?

— Да, Отто, — шепнула она в ответ. — Теперь, когда я с тобой, на все хватит. А что? Еще что-нибудь тяжелое?

— Да, очень тяжелое, Анна...

— Что такое, Отто? Скажи скорее, Отто! Раз тебе страшно сказать, мне тоже страшно, Отто.

— Анна, ты больше ничего не слыхала о Гертруде?

— О какой Гертруде?

— Да о Трудель!

— А, о Трудель? А что с ней, с Трудель? Я ничего о ней не знаю с тех пор, как нас перевели в следственную тюрьму. Я очень по ней скучала, она была такая ласковая. Простила мне, что я выдала ее.

— Да ты вовсе не выдала ее! Сначала я тоже так думал, а потом все понял.

— И она поняла. Этот зверь, Лауб, совсем меня запутал на первых допросах, я сама не знала, что говорю. Но она все поняла. И простила мне.

— Слава богу! Соберись с силами, Анна! Трудель умерла.

— Ох! — простонала Анна и схватилась рукой за грудь. — Ох!

А он, желая покончить разом со всем, торопливо добавил: — И муж ее умер.

На это долго не было ответа. Анна сидела, склонив голову на руки, но Отто чувствовал, что она не плачет, что она словно оглушена страшной вестью. И он невольно повторил слова, которые сказал ему добрый пастор Лоренц, передавая ту же весть: — Они обрели покой, они от многого избавлены.

— Да! — наконец отозвалась Анна. — Да. Она все время боялась за своего Карли, когда ничего о нем не знала. А теперь она обрела покой.

Она долго молчала, и Квангель не трогал ее, хотя по движению в зале видел, что скоро войдет суд.

— Их обоих... казнили? — тихо спросила Анна.

— Нет, — ответил Квангель. — Он умер оттого, что ему при аресте проломили голову.

— А Трудель?

— Она сама лишила себя жизни, — торопился рассказать Квангель. — Прыгнула с пятого этажа. Пастор Лоренц говорил, она умерла сразу и совсем не страдала.

— Это случилось ночью, когда кричала вся тюрьма, — догадалась Анна Квангель. — Теперь я понимаю!

Ох! Какой это был ужас, Отто! — И она закрыла лицо руками.

— Да это был ужас, — повторил Квангель, — Даже у нас было страшно.

Немного погодя она подняла голову и посмотрела на мужа спокойным взглядом. Губы ее еще дрожали, но она сказала твердо: — Так лучше. Какой был бы ужас, если бы они сидели здесь, рядом с нами. Теперь они обрели покой. — И совсем тихо добавила: — И мы могли бы сделать то же, Отто.

Он посмотрел ей прямо в глаза. И она увидела в суровых, зорких глазах мужа такой огонек, какого не видела никогда, насмешливый огонек, как будто все это только забава — и ее слова, и то, что предстоит им сейчас, и неизбежный конец. Как будто все это не стоит принимать всерьез.

Затем он медленно покачал головой. — Нет, Анна, мы этого не сделаем. Мы не улизем потихоньку, как уличенные преступники. Мы не избавим их от приговора. Нам это не подходит! — И совсем другим тоном: — Да и поздно уж. Ведь тебя заковывают?

— Заковывают, — ответила она. — Только когда мы подошли сюда, к двери, полицейский снял с меня наручники.

— Вот видишь! — заметил он. — Все равно, ничего бы не вышло.

Он скрыл от нее, что его, после того как увезли из следственной тюрьмы, заковали в ручные кандалы с цепью и в ножные кандалы с железным брусом. С него, как — и с Анны, полицейский снял это украшение только на пороге зала суда: вдруг бы государство лишилось приготовленной на убой жертвы!

— Так и быть, — покорила ее, — но как ты думаешь, Отто, нас ведь казнят вместе?

— Не знаю, — уклончиво ответил он. Врать ей он не хотел, а знал, что каждому придется умирать в одиночку.

— Но казнить нас будут в одно время?

— Наверно, Анна, конечно даже, в одно. — Но сам он не был в этом уверен. — Пока что не думай об этом, — поспешил он добавить. — Думай об одном — нам сейчас нужно много сил. Если мы признаем свою вину, все кончится очень быстро. Если мы не будем врать и увильвать, нам, может быть, уже через полчаса вынесут приговор.

— Хорошо, так мы и будем себя вести. Только вот что, Отто, если дело пойдет так скоро, нас скоро разлучат и, может быть, мы больше не увидимся.

— Непременно увидимся. Мне так сказали, нам позволят проститься. Помни это, Анна!

— Тогда все хорошо, Отто. Мне будет чему радоваться каждый день. Вот и теперь мы сидим рядом.

Они посидели рядом еще с минуту, а затем промах был обнаружен, и их рассадили. Им приходилось поворачивать голову, чтобы видеть друг друга. Оплешность заметил защитник фрау Квангель, добродушный, озабоченный седой человек, который был назначен защитником от суда, потому что Квангель остался при своем, он не желал тратить деньги на такое бесполезное дело, как их защита.

ГЛАВА 61

Суд. Председатель Фейзлер

Председателем трибунала, верховным судьей немецкой земли был в ту пору Фейзлер, человек, производивший впечатление интеллигента, настоящий барин, выражаясь языком мастера Отто Квангеля. Он с достоинством носил судейскую мантию, и шапочка придавала его чертам величавость, а не торчала без толку, как на других головах. Глаза у него были умные, но холодные, лоб высокий и ясный. Зато рот был гадкий, с жестокими, тонкими и притом чувственными губами; этот рот выдавал в нем сластолюбца, который жадно набрасывался на земные утехы, но расплату неизменно сваливал на других.

Гадкими были и руки, а длинные, узловатые пальцы напоминали когти ястреба — когда он задавал особенно оскорбительный вопрос, пальцы скрючивались, будто впивались в тело жертвы. И манера говорить у него была гадкая. Этот человек не умел говорить спокойно, по существу, он больно клевал свою жертву, поносил ее, язвительно издевался над нею. Гадкий это был человек, злой человек.

С тех пор как Отто Квангелю было предъявлено обвинение, он не раз беседовал со своим другом доктором Рейхардтом о процедуре суда. Умный доктор Рейхардт тоже считал, что конец predetermined, а потому Квангелю следует сразу же во всем сознаться, ничего не утаивать, не лгать ни минуты. Тогда этим молодчикам не о чем будет с ним препираться. Тогда суд скоро кончится, и даже свидетелей не станут допрашивать.

Когда оба подсудимых на вопрос председателя, признают ли они себя виновными, ответили коротко «да» — это произвело своего рода сенсацию. Своим ответом они сами себе произнесли смертный приговор, так что необходимость в дальнейшем судебном разбирательстве собственно отпала.

На мгновение растерялся даже председатель суда Фейзлер, огорошенный таким поистине неслыханным признанием.

Но он тут же опомнился. Ему нужно, чтоб дело разбиралось. Ему нужно смешать с грязью этих людишек, ему нужно видеть, как они извиваются под его каверзными вопросами. В утвердительном ответе на вопрос: виновен ли, сказалась гордость. Председатель Фейзлер видел это по лицам публики, частью удивленным, частью насмешливо. Ему нужно выбить из обвиняемых эту гордость. Его стараниями к концу суда у них не будет ни гордости, ни достоинства.

— Ясно вам, — спросил Фейзлер, — что своим ответом вы сами приговорили себя к смерти, исключили себя из среды честных людей? Ясно вам, что вы подлый преступник, которого надо уничтожить, что вы будете болтаться на виселице? Ясно вам это? Отвечайте — да или нет?

— Я виновен, я делал все, в чем меня обвиняют, — раздельно произнес Квангель.

— Отвечайте — да или нет! — вскинулся председатель. — Вы подлец, изменник — да или нет? Да или нет?

Квангель пристально посмотрел на этого барина, восседавшего над ним. — Да! — ответил он.

— Тьфу, пропасть! — каркнул председатель и сплюнул в сторону. — Тьфу! И это называется немец!

Он с глубочайшим презрением взглянул на Квангеля и перевел взгляд на Анну Квангель. — А вы

что? — спросил он. — Такая же подлая тварь, как ваш муж? Такая же гнусная изменница? Тоже позорите память сына, павшего на поле чести? Да или нет?

Озабоченный седой защитник торопливо поднялся и заявил: — Позволю себе заметить, господин председатель, что моя подзащитная...

— Я наложу на вас взыскание, господин адвокат, — снова вскинулся председатель, — немедленно наложу на вас взыскание, если вы еще раз, без разрешения, возьмете слово! Садитесь!

И председатель снова обратился к Анне Квангель: — Ну, как же вы? Найдется в вас хоть капля порядочности или вы не лучше мужа, который разоблачил себя, как подлый предатель? Вы тоже предали своего фюрера в минуту испытаний? Посрамили память собственного сына? Да или нет?

Тихо, но явственно прозвучало: — Да! Анна Квангель в робкой нерешительности взглянула на мужа.

— Не смейте смотреть на этого преступника. На меня смотрите! Да или нет? Говорите громче! Все мы хотим слышать, как немецкая мать не стыдится надругаться над героической смертью собственного сына.

— Да! — громко произнесла Анна Квангель.

— Невероятно! — выкрикнул Фейзлер. — Много прискорбного и даже страшного слышал я здесь, но такого позора я и вообразить себе не мог! Не повесить вас надо, четвертовать надо таких озверелых извергов!

Он обращался больше к публике, чем к самим Квангелям, он брал на себя роль прокурора. Но вдруг он опаматовался — ведь ему нужно, чтобы дело разбиралось: — Однако долг мой, как верховного судьи, повелевает мне не довольствоваться вашим признанием. Как ни тяжело мне, и как это ни безнадежно, мой долг — выяснить, не найдется ли смягчающих вину обстоятельств.

Так это началось и так оно длилось семь часов подряд.

Да, умный доктор Рейхардт ошибался, сидя в своей камере, а вместе с ним ошибался и Отто Квангель. Они не учитывали того, что верховный судья немецкого народа способен вести дело с такой гнусной, с такой подлой злонамеренностью. Казалось, будто Квангели нанесли личную обиду высокой особе его, господина Фейзлера, будто мелкий, мстительный человечико оскорблен в собственном достоинстве и всеми силами старается смертельно уязвить своих врагов. Казалось, будто Квангель соблазнил дочку председателя, до того пристрастно, до того необозримо далеко от всякой объективности было все происходившее. Да, оба они ошиблись, — у третьей империи даже для людей, глубоко презирающих ее, всегда находились сюрпризы, она была подлее всякой подлости.

— Свидетели, ваши честные сослуживцы, обвиняемый, показали, что вы были одержимы мерзкой скаредностью. Сколько вы зарабатывали в неделю? — спрашивал, например, председатель.

— Последнее время я приносил домой сорок марок, — отвечал Квангель.

— Так, сорок марок, не считая налогов, отчислений на зимнюю помощь, в больничную кассу и на рабочий фронт?

— Да, не считая.

— По-моему, не дурной заработок на двух пожилых людей, а?

— Мы обходились.

— Не только обходились. Опять вы врете. Вы еще и копили! Верно это, отвечайте?

— Верно. Обычно мы что-нибудь откладывали.

— Сколько в среднем вы откладывали каждую неделю?

— Не могу сказать точно. По-разному. Председатель взбеленился. — Я сказал — в среднем!

Не понимаете вы, что значит — в среднем! Смеее именовать себя старшим мастером, а сами считать не умеете? Великолепно!

Но, повидимому, господин Фейзлер отнюдь не считал это великолепным, он с возмущением смотрел на обвиняемого.

— Мне пошел шестой десяток, я работал двадцать пять лет. Год на год не приходился. Случалось бывать и безработным. Случалось, хворал мальчик. Не могу я ничего определить в среднем.

— Ах, не можете! Так я вам скажу, почему вы не можете, вернее, не хотите! Все дело в вашей мерзкой скаредности, которая отталкивала от вас ваших честных сослуживцев. Вы боитесь, чтобы мы не узнали, сколько вам удалось прикопить! Ну, так сколько же? И этого вы тоже не скажете?

В Квангеле происходила борьба. Председатель, действительно, нащупал его слабое место. Даже Анна не знала, сколько у них было отложено. Но Квангель сразу же собрался с духом, отбросил и это. За последние недели ему столько пришлось отбросить, к чему цепляться за это? Он порвал последние нити, привязывавшие его к прежней жизни, и сказал: — 4763 марки!

— Верно, — подтвердил председатель и откинулся на высокую спинку своего судейского кресла. — 4763 марки и 67 пфеннигов! — Он прочел цифру в деле. — И вам не совестно бунтовать против государства, которое давало вам такой заработок? Вы бунтовали против общества, которое так опекало вас! — Он взввинчивал себя. — Вы неблагодарная, бесчестная тварь! Вы — позорное пятно, которое надо выправить!

И ястребиные когти сжались, разжались и снова сжались, как будто разрывая падаль.

— Почти половину денег я скопил еще при старой власти, — сказал Квангель.

Кто-то из публики засмеялся, но сейчас же в испуге умолк, встретив свирепый взгляд председателя, и смущенно закашлялся.

— Прошу соблюдать тишину! Полнейшую тишину! А вы, обвиняемый, если осмелитесь дерзить, будете наказаны! Не думайте, что вы избавлены от всяких других наказаний! Вам еще пропишут! — Он устремил на Квангеля пронизывающий взгляд. — А ну-ка, скажите, обвиняемый, для чего вы собственно копили деньги?

— Да нам на старость.

— Ах, боже мой! На старость! Как трогательно! Только это опять вранье. Уж с тех-то пор как вы занялись писанием открыток, вы наверняка знали, что не доживете до старости! Вы сами здесь сознались, что всегда ясно представляли себе последствия своих преступлений. И все-таки вы продолжали копить и вносить деньги на книжку. Так для чего же?

— Я всегда рассчитывал уцелеть.
— Что значит — уцелеть? Вы рассчитывали, что вас оправдают?
— Нет, на это я никогда не надеялся. Я рассчитывал, что меня не поймают.
— Сами теперь видите, что просчитались. Только не верится, чтобы вы на это рассчитывали. Не так вы глупы, как прикидываетесь! Не могли вы думать, что вам удастся безнаказанно продолжать свои преступные дела еще долгие годы.
— Я и не рассчитывал на долгие годы.
— Это что значит?
— Я не верю, что она долго продержится, ваша тысячелетняя империя, — сказал Квангель, поворачивая острое птичье лицо к председателю.
Защитник весь задрожал от испуга. В публике снова кто-то засмеялся, но сразу же оттуда послышался угрожающий ропот.
— Вот скотина! — крикнул какой-то голос. Полицейский за спиной Квангеля надвинул свой шлем, а другой рукой схватился за кобуру.
Прокурор вскочил, размахивая какой-то бумажкой.
Фрау Квангель с улыбкой взглянула на мужа и закивала одобрительно.
Полицейский у нее за спиной больно стиснул ей плечо.
Она сдержалась и не вскрикнула.
Один из заседателей, раскрыв рот, смотрел на Квангеля.
Председатель подскочил и заорал: — Негодяй, болван! Вы смеете, негодяй этакий!..
Он оборвал на полуслове, вспомнив о своем достоинстве.
— Вывести обвиняемого из зала суда. Вахмистр, уведите этого мерзавца! Суд определит соответствующее наказание..
Через четверть часа судебное разбирательство возобновилось.
Все обратили внимание, что обвиняемый ходит теперь с трудом. Каждый подумал: здорово они успели его обработать. То же со страхом думала и Анна Квангель.
Председатель суда Фейзлер объявил: — Обвиняемый Отто Квангель приговаривается к месяцу заключения в карцере на хлебе и воде и полному лишению пищи через два дня на третий. Помимо этого, — добавил в пояснение председатель, — у обвиняемого отняты подтяжки, так как мне доложили, что он сейчас, во время перерыва, подозрительно возился с ними. Он заподозрен в покушении на самоубийство.
— Мне только надо было выйти.
— Молчать! Обвиняемый заподозрен в покушении на самоубийство. Ему придется обходиться без подтяжек. Пусть пеняет на себя.
Среди зрителей опять раздался смех, но теперь председатель даже благожелательно посмотрел в ту сторону, он сам был доволен своей остроумной выдумкой. Обвиняемый стоял в несколько напряженной позе, ему то и дело приходилось подтягивать сползающие брюки.
Председатель улыбнулся: — Разбор дела продолжается.

ГЛАВА 62

Суд. Прокурор Пинчер

В то время как председатель трибунала Фейзлер всякому беспристрастному наблюдателю напоминал злобного волкодава, прокурор довольствовался ролью маленького твякующего пинчера и норовил укусить за икру затравленную волкодавом жертву, которую старший собрат держал за горло. Раз два в течение процесса Квангелей прокурор пытался затыкать, но его сразу же перекрывал басистый лай волкодава. Да и какая надобность была в его твяканьи? Сам председатель с первой минуты взял на себя обязанности прокурора, с первой минуты Фейзлер нарушил основной долг всякого судьи — вместо того чтобы добиваться истины, он проявил крайнее пристрастие.

Однако во время обеденного перерыва председателю была подана, без всяких карточек, обильнейшая трапеза с винами и водкой, и после этого господин Фейзлер порядком разомлел. К чему особенно усердствовать? С этой парочкой все равно уже покончено! И вдобавок теперь на очереди была баба, женщина из простонародья, а к бабам председатель был довольно равнодушен — с судейской точки зрения. Все бабы дуры и годны только для одной цели. В остальном они всегда подголоски своих мужей.

Посему Фейзлер милостиво разрешил Пинчеру выскочить на передний план и затыкать по-своему. Полузакрыв глаза, он удобно расположился в своем судейском кресле, подперев голову рукой, якобы внимательно слушая, на деле же всецело предавшись пищеварению.

— Обвиняемая, вы были не первой молодости, когда вышли за своего теперешнего мужа?
— Мне было около тридцати лет.
— А до него?
— Я вас не понимаю.
— Не корчите из себя невинность. Я хочу знать, со сколькими мужчинами вы жили до замужества. Ну, поскорее!

От гнусности и цинизма этого вопроса Анна Квангель сперва вспыхнула, потом побледнела. Она бросила беспомощный взгляд на своего почтенного защитника, тот поднялся с места и заявил: — Прошу отклонить этот вопрос, как не имеющий касательства к делу.

— Мой вопрос имеет прямое касательство к делу. Здесь высказывалось предположение, что обвиняемая была только пособницей своего мужа. Я могу доказать, что она сама стоит на очень низком нравственном уровне, вышла из подонков и способна на любое преступление.

— Вопрос вполне правомерный и к делу имеет касательство, — скучающим тоном заметил председатель.
— Итак, сколько у вас было мужчин до замужества? — снова твякнул Пинчер.

Все глаза устремились на Анну Квангель. Некоторые студенты облизывают губы, кто-то сладострастно крикает.

Квангель с тревогой смотрит на Анну, он знает, как чувствительна она в этом вопросе.

Но Анна Квангель решилась. Как ее Отто только что переломил себя и назвал цифру своих сбережений, так и она намерена не стесняться с этими бесстыдниками.

Прокурор спрашивает: — Сколько у вас было мужчин до замужества?

И Анна Квангель отвечает: — Восемьдесят семь!

В публике кто-то прыскает.

Председатель стряхивает с себя дремоту и чуть не с любопытством смотрит на эту женщину из простонародья, плотную, крепко сбитую, раскрасневшуюся от волнения.

Темные глаза Квангеля вспыхнули, но он тут же опустил веки и сидит, не глядя ни на кого.

— Восемьдесят семь? — в полной растерянности бормочет прокурор. — Почему именно восемьдесят семь?

— Откуда я знаю, — невозмутимо отвечает Анна. — Больше не нашлось.

— Ах так? — рычит прокурор. — Так?

Он очень раздражен, по его милости обвиняемая вдруг стала интересной фигурой, что не входило в его намерения. Кроме того, он, как и большинство присутствующих, твердо убежден, что она врет, что у нее было самое большее два-три дружка, а то и ни одного. Можно бы привлечь ее к ответственности за насмешку над судом. Но как уличить ее в таком намерении?

Наконец он надумал: — Я твердо убежден, что вы непомерно преувеличиваете, обвиняемая, — рычит он — Женщина, у которой было восемьдесят семь любовников, вряд ли запомнит точную цифру. Она просто скажет — много. Ваш ответ доказывает полное нравственное падение. Вы похваляетесь своим распутством. Вы гордитесь тем, что были шлюхой. А из шлюхи вы стали тем, чем становятся все шлюхи — старой сводней! Сводничали для обственного сына!

Наконец-то Пинчеру удалось больно куснуть Анну Квангель.

— Нет! — вскрикивает Анна и умоляюще протягивает руки. — Только не это — не смейте так говорить!

— Ах, нет? — оскаливается Пинчер. — Спрашивается, для чего же вы тогда оставляли у себя на ночь так называемую невесту сына? Или скажете, что выставляли сына из дому? Да? А то где же у вас спала эта самая Трудель? Знаете, она умерла, знаете вы это? А то бы эта тварь, эта соучастница в преступлениях вашего мужа сидела бы здесь же, на скамье подсудимых.

Но имя Трудель влило новые силы в Анну Квангель. Обращаясь не к прокурору, а ко всему суду, она говорит: — Да, слава богу, Трудель умерла, хоть она-то избавлена от этого срама...

— Умерьте свои выражения! Я предупреждаю вас, обвиняемая!

— Она была славная, порядочная девушка...

— И сделала на пятом месяце выкидыш, чтобы не производить на свет будущих солдат!

— Не делала она выкидыша, она так жалела о ребеночке!

— Она сама созналась!

— Не верю.

— Какое нам дело, верите вы или не верите! — залился прокурор. — Только мой вам совет — измените тон, иначе я вам не завижусь, обвиняемая! Показания Хергезель запротоколированы комиссаром по уголовным делам Лаубом. А комиссар не может лгать!

Пинчер окинул грозным взглядом весь зал, но никто не смел даже пошевелиться.

— А теперь извольте отвечать мне, обвиняемая: был ваш сын в близких отношениях с этой девушкой или не был?

— Матери не годится входить в такие дела. Я сроду не шпионил!

— Ваш долг был надзирать за сыном! Раз вы допустили незаконную связь у вас на дому, значит вы повинны в злостном сводничестве, так сказано в уголовном кодексе.

— Про это я ничего не знаю. Я знаю одно: время было военное, и мальчику моему, может, суждено было умереть. У нас так водится — раз люди помолвлены или все равно что помолвлены, да к тому же еще время военное — мы на это закрываем глаза.

— Ага, наконец-то вы сознались! Вы были осведомлены об их незаконной связи и ничего не имели против. Вы называете это — закрывать глаза. А в уголовном кодексе это называется злостным сводничеством, и если мать поощряет нечто подобное — это такой позор, такой разврат, которому имени не подберешь!

— Вот как? Хотела бы я тогда знать, — твердым голосом бесстрашно говорит Анна Квангель, — хотела бы я знать, как у вас там в кодексе называют то, чем занимается «Союз гулящих девиц»^[31]

Взрыв смеха.

— И что разделявают штурмовики со своими дамами...

Смех обрывается.

— А эсэсовцы-то... насилуют еврейских девушек, а потом расстреливают их...

На миг все замирает.

Затем разражается буря. Все орут. Некоторые из зрителей лезут через барьер и хотят наброситься на подсудимую.

Отто Квангель вскочил, чтобы, в случае надобности, защитить жену...

Но полицейский и отсутствие подтяжек мешают ему.

Председатель стоит и грозно, но тщетно требует тишины.

Заседатели громко переговариваются между собой.

Прокурор Пинчер тявкает и тявкает, но никто не понимает ни слова...

В результате Анну Квангель выволакивают из зала, шум затихает, суд удаляется на совещание...

Через пять минут он возвращается:

— Обвиняемая Анна Квангель лишена права присутствовать при разборе ее дела. Предписывается —

содержать обвиняемую в кандалах. Карцер — впредь до особого распоряжения, хлеб и вода только через день.

Разбор дела продолжается

ГЛАВА 63

Суд. Свидетель Ульрих Хефке

Свидетель Ульрих Хефке, горбатый брат Анны Квангель, квалифицированный рабочий, пережил тяжелые месяцы. Ретивый комиссар Лауб сейчас же после ареста Квангелей поспешил забрать и его вместе с женой, без каких-либо веских подозрений, только потому, что они — родня Квангелей.

С тех пор Ульрих Хефке жил в непрерывном страхе. Кроткий человек с простой и чистой душой, всю жизнь избегавший свар, попал в лапы садиста Лауба, претерпел измывательства, ругань, побои. Его морили голодом, унижали — словом, истязали, пуская в ход все дьявольские ухищрения.

От всего этого горбун помутился в уме. Он лихорадочно старался понять, чего от него хотят его мучители, а потом возводил на себя самые бессмысленные обвинения, в абсурдности которых его сейчас же уличали.

И тогда его снова принимались истязать в надежде выведать от бедняжки-горбуна какое-то новое, еще неизвестное преступление. Комиссар Лауб придерживался популярного среди нацистов лозунга: каждый в чем-нибудь да провинился. Стоит только порыться — всегда найдешь!

Лаубу не верилось, чтобы немец, и притом не член национал-социалистской партии, никогда не слушал за границу, не занимался исподтишка пораженческой пропагандой, ни разу не плутовал с продовольственными карточками. Лауб напрямик обвинил Хефке в том, что он по поручению зятя подбрасывал открытки на Ноллендорфплац.

Хефке признал это, а через три дня Лауб доказал ему, что открытки никак не могли быть подброшены им, Хефке.

Далее комиссар Лауб заподозрил Хефке в том, что он разглашал производственные секреты фабрики оптических приборов, где работал. Хефке сознался и тут, а после недели тщательных расследований Лауб установил, что и разглашать-то было нечего, никто на фабрике толком не знал, для какого оружия предназначены изготавливаемые там детали.

За каждое ложное признание Хефке приходилось дорого расплачиваться, но это только запугивало, а не вразумляло его. Он сознавался в чем угодно, лишь бы его оставили в покое, подписывал любой протокол, лишь бы прекратили допрос. Так подписал бы он и свой собственный смертный приговор. Это был уже не человек, а хлипкий комочек страха, начинавший дрожать при первом слове.

Комиссар Лауб не постеснялся одновременно с Квангелями препроводить этого горемыку в следственную тюрьму, хотя ни одним из протоколов соучастие Хефке в «преступлениях» Квангелей доказано не было. Лучше перестраховаться, а там пусть следователь посмотрит, нельзя ли в чем-нибудь уличить Хефке. Ульрих Хефке воспользовался более широкими возможностями следственной тюрьмы прежде всего для того, чтобы, повеситься. Его нашли в самую последнюю минуту, вынули из петли и подарили ему жизнь, которая стала для него совершенно нестерпима.

После этого бедняге-горбуну были созданы еще более тяжелые условия: в его камере всю ночь горел свет, особо потрясенный часовой поминутно заглядывал в дверь, с него не снимали наручников и почти каждый день его таскали на допрос. Хотя следователь не нашел в деле никаких улик против Хефке, однако он был твердо убежден, что горбун виновен в каком-то преступлении, иначе почему бы он пытался покончить с собой? Невинный человек вешаться не станет. Идиотически болезненная готовность Хефке подтверждать любое возводимое на него обвинение вынудила следователя прибегнуть к нескончаемым допросам и дознаниям, в результате которых обнаружилось, что Хефке ничего преступного не совершил.

Так получилось, что Ульрих Хефке только за неделю до суда был освобожден из предварительного заключения. Он возвратился к своей долговязой, унылой жене, которая давно уже была на свободе. Она встретила его полным молчанием; Хефке был слишком потрясен, чтобы ходить на работу, он по целым часам простаивал на коленях в углу комнаты и мягким приятным фальцетом пел церковные гимны. Разговаривать он почти перестал и все ночи напролет плакал. У них были кое-какие сбережения, и жена не торопила его идти на работу.

Спустя три дня после освобождения Ульрих Хефке опять получил повестку явиться свидетелем в суд. Больная его голова не могла как следует осмыслить, что он вызван только свидетелем. Волнение его росло с часу на час, он почти перестал есть и только целыми днями пел. Его терзал нестерпимый страх, что опять начнутся только что перенесенные мучительства.

В ночь перед судом он вторично пытался повеситься, на этот раз жизнь ему спасла его унылая жена. Когда он отдышался, она основательно пробрала его. Она явно не одобряла его поведения. Наутро она крепко подхватила его под руку и на пороге свидетельской комнаты сдала судебному приставу с наставлением: — Следите за ним хорошенько! У него не все дома!

Свидетельская комната была уже полна — вызваны были главным образом сослуживцы Квангеля, заводское начальство, обе женщины и почтовый чиновник, видевшие, как он подбрасывал открытки, словом, свидетелей набралось уже порядочно; они услышали наставление Анны Хефке, и не только судебный пристав, но и все присутствующие стали усердно следить за горбуном. Кое-кто попробовал подразнить его, чтобы скоротать время ожидания, но скоро эту затею оставили — слишком уж бросалось в глаза, как он запуган, и у людей хватило жалости не приставать к нему.

Допрос председателя суда Фейзлера горбун, несмотря на весь свой страх, выдержал вполне сносно, должно быть потому, что говорил он так тихо и до того дрожал, что верховному судье вскоре прискучило заниматься этим трусом. И горбун спрятался за других свидетелей в надежде, что для него все миновало.

Но затем ему пришлось слушать, как прокурор Пинчер допрашивал его сестру, как мучил ее, как донимал бесстыдными вопросами. Все возмутилось в нем. Ему хотелось поднять голос, заступиться за

любимую сестру, засвидетельствовать, что она всегда вела честную жизнь, а страх тянул его назад, пригибал к земле, затыкал ему рот.

Так, разрываясь между малодушным страхом и приливами мужества, почти не владея рассудком, присутствовал он при разборе дела до той минуты, когда Анна Квангель непочтительно отозвалась о Союзе германских девушек, о штурмовиках и эсэсовцах. Он был свидетелем происшедшей суматохи и сам, своей комической фигуркой, участвовал в ней — он взобрался на скамью, чтобы лучше видеть, — и действительно увидел, как два полицейских волокли Анну из зала.

Он все еще стоял на скамье, когда председатель уже начал водворять в зале порядок. Соседи позабыли о нем, они продолжали шушукаться.

И тут-то на Ульриха Хефке упал взгляд прокурора Пинчера, он с удивлением оглядел фигуру уродца и крикнул: — Эй вы! как вас там? Вы ведь брат обвиняемой?

— Хефке, Ульрих Хефке, — подсказал прокурору его помощник.

— Свидетель Ульрих Хефке, Анна Квангель — ваша сестра! Предлагаю вам высказаться о ее прошлом! Что вам известно о ее прошлом?

И Ульрих Хефке раскрыл рот, он все еще стоял на скамье, а глаза его впервые глядели без страха. Он раскрыл рот и приятным фальцетом запел:

Прости, скажу тебе, жестокий грубый мир!
Противен мне твой грешный, злой кумир!
О господи, возьми меня к себе.
Воздай тому, кто здесь служил тебе!

Все были до такой степени огорошены, что дали ему спокойно допеть. Некоторым даже приятно было слушать эту несложную мелодию, и они тупо покачивали в такт головами. Один из заседателей опять сидел, разинув рот. Студенты держались руками за барьер, лица их выражали напряженное внимание. Озабоченный седой защитник склонил голову набок и задумчиво ковырял в носу. Отто Квангель повернул свое острое лицо к шурину, и в первый раз его холодное сердце забилося сочувствием к бедному уродцу. Что с ним сделают?

Ты видишь, как скорбит душа, о боже вездесущий!
Укрой ее от горя, всемогущий.
Кто много пострадал, тот у господня трона
Найдет покой, его в свое ты примешь лоно.

Еще до конца второй строфы в зале снова началось движение. Председатель что-то кому-то шепнул, прокурор послал записку дежурному полицейскому офицеру.

Но горбун ничего этого не замечал. Его глаза были устремлены в потолок. Под конец он выкрикнул громко, восторженно-вдохновенным голосом: — Иду к тебе!

Он поднял руки, оттолкнулся ногами от скамьи, собрался взлететь...

И тут же беспомощно упал на стоявших впереди свидетелей, те испуганно шарахнулись, и он покатился под скамью.

— Убрать его прочь! — повелительно крикнул председатель, перекрывая разбушевавшийся зал. — Подвергнуть врачебному осмотру!

Ульриха Хефке вывели из зала.

— Доказательство налицо: семья преступников и умалишенных, — подчеркнул председатель. — Ничего, мы постараемся изъять ее.

И он бросил грозный взгляд на Отто Квангеля, который стоял, поддерживая сползавшие брюки, и все еще смотрел на дверь, куда исчез горбун.

Об изъятии калеки Ульриха Хефке постарались на совесть. Он был признан физическими духовно неполноценным, и после краткого пребывания в больнице благотельный укол помог ему сказать последнее прости жестокому и злому миру!

ГЛАВА 64

Суд. Защитник

Защитник Анны Квангель, озабоченный седой человечек, который в минуты задумчивости любил ковырять в носу и разительно напоминал еврея — однако «уличить» его было невозможно, по бумагам он был «чистый ариец», — так вот этот человечек, ex officio исполнявший обязанности адвоката подсудимой, поднялся, чтобы произнести защитительную речь.

Для начала он выразил сожаление, что вынужден говорить в отсутствие своей подзащитной. Разумеется, ее выпады против столь почтенных организаций нацистской партии, как штурмовые отряды и эсэсовские части, весьма прискорбны...

Реплика прокурора: — Преступны!..

Да, конечно, он вполне солидарен с прокурором, такие выпады преступны. Однако же случай с братом его подзащитной свидетельствует о том, что ее вряд ли можно считать вполне вменяемой. Случай с Ульрихом Хефке, несомненно запечатлевшийся в памяти господ судей, доказал, что в семье Хефке имеет место религиозное помешательство. Отнюдь не желая предвосхищать заключения врачебной экспертизы, он считает себя в праве предположить, что здесь налицо шизофрения, а так как шизофрения передается по наследству...

Здесь прокурор вторично прервал защитника, попросив суд указать адвокату, чтобы он говорил по существу.

Председатель суда Фейзлер предложил защитнику говорить по существу.

Защитник возразил, что он говорит по существу.

Нет, он говорит не по существу. Здесь речь идет о преступлении против государства, а вовсе не о шизофрении и психозе.

Защитник снова выставил возражение: если господин прокурор имеет право доказывать нравственную неполноценность его подзащитной, то и он в праве говорить о шизофрении. Он просит о судебном определении.

Суд удалился, чтобы вынести определение по ходатайству защитника.

Затем председатель суда Фейзлер объявил: — Ни на предварительном следствии, ни по ходу сегодняшнего судебного разбирательства у Анны Квангель не обнаружено каких-либо признаков психического расстройства. Случай с ее братом Ульрихом Хефке не имеет доказательной силы, так как свидетель Хефке еще не подвергнут судебно-медицинской экспертизе. Не исключена возможность, что упомянутый Ульрих Хефке является злым симулянт, преследовавшим цель облегчить положение сестры. Защите предлагается придерживаться фактов государственной измены, поскольку они выяснились из сегодняшнего судебного разбирательства...

Торжествующий взгляд прокурора Пинчера в сторону озабоченного защитника.

И ответный унылый взгляд защитника.

— Ввиду того что господа судьи запретили мне ссылаться на психическое состояние моей подзащитной, — снова заговорил адвокат Анны Квангель, — я вынужден опустить все моменты, свидетельствующие о пониженной вменяемости: обвинение мужа в смерти сына, странное, временами совершенно неуравновешенное поведение...

Пронзительное твяканье прокурора Пинчера: — Я категорически возражаю против того, как защитник подсудимой обходит запрет суда! Он якобы опускает соответствующие моменты, но тем настойчивее подчеркивает их. Я требую судебного определения!

Суд снова удаляется, а по его возвращении председатель Фейзлер злобно заявляет, что защитник присуждается к денежному штрафу в размере пятисот марок. В случае вторичного ослушания он будет лишен слова.

Седой защитник кланяется. Он явно озабочен, должно быть, его мучает вопрос, как наскрести пятьсот марок. В третий раз он начинает свою речь. Он старается обрисовать молодость Анны Квангель, жизнь в прислугах, затем замужество, жизнь с этим суровым фанатиком, словом всю ее женскую долю: — Один только труд, заботы, лишения, покорность деспоту-мужу. И вдруг этот муж начинает писать открытки преступного содержания. По ходу дела выяснилось, что не жене, а именно мужу пришла такая мысль. На предварительном следствии моя подзащитная утверждала обратное. Но это надо рассматривать, как нелепое самопожертвование...

— Как могла Анна Квангель противостоять преступной воле мужа?! — восклицает защитник. — Что ей было делать? За долгую подневольную жизнь она научилась только покоряться и не противоречить. Она была креатурой своего мужа, его рабой...

Прокурор сидит, насторожив уши.

— Господа судьи! Чего стоит преступление, вернее, кет, соучастие в преступлении женщины такого типа! Как нельзя наказывать собаку, которая по приказу хозяина травит зайцев на чужом владении, так и на эту женщину нельзя возлагать полную ответственность за соучастие. В ее пользу — также и на этом основании — говорит параграф 51, пункт 2...

Прокурор прерывает снова. Он твякает, что защитник упорно нарушает запрет суда. Защитник возражает.

Прокурор читает в блокноте: — Согласно стенограмме защита высказалась следующим образом: «В ее пользу — также и на этом основании — говорит параграф 51, пункт 2...» Слова «также и на этом основании» совершенно определенно намекают на выдвинутое защитой утверждение о наследственной душевной болезни в семье Хефке. Я ходатайствую о судебном определении.

Председатель суда Фейзлер спрашивает защитника, к чему относились его слова «также и на этом основании»? Защитник заявляет, что слова его относились к тем мотивам, которые будут вытекать из дальнейшего развития его защитительной речи.

Прокурор вопит, что никто не ссылается на мотивы, которые еще не высказаны. Можно ссылаться только на то, что уже известно. — Господин защитник прибегает к нелепым отговоркам.

Защитник заявил протест против того, что его обвиняют в нелепых отговорках. В речах очень часто ссылаются на то, что будет сказано дальше. Популярные ораторы охотно пользовались таким приемом, чтобы вызвать напряженный интерес к дальнейшему. Так, например, Марк Туллий Цицерон в знаменитой своей Третьей филиппике сказал...

Анна Квангель была забыта; Отто Квангель, раскрыв от удивления рот, переводил взгляд с одного на другого.

Разгорелся жаркий диспут. Латинские и древнегреческие цитаты сыпались градом.

В результате суд еще раз удалился на совещание, а, появившись снова, председатель Фейзлер объявил ко всеобщему изумлению (из-за ученого спора большинство забыло его повод), что защитник обвиняемой повторно нарушил судебный запрет и посему лишается слова. Защитником Анны Квангель назначается случайно присутствующий на суде ассессор Людеке.

Седой защитник поклонился и покинул зал, на вид еще озабоченней прежнего.

«Случайно присутствующий» ассессор Людеке встал и заговорил. У него было мало опыта, и слушал он невнимательно, и судей боялся как огня, и вдобавок был в ту пору сильно влюблен и неспособен разумно мыслить. Он проговорил три минуты, попросил учесть смягчающие вину обстоятельства (если только господа судьи признают таковые, в противном случае он снимает свою просьбу), после чего сел на свое место, весь красный от смущения.

Слово было предоставлено защитнику Отто Квангеля.

Поднялся очень светлый и очень надменный блондин. За все время судебного разбирательства он не вмешался ни разу, не сделал ни одной пометки, стол перед ним был пуст. В течение всей долгой судебной процедуры он занимался тем, что полировал друг о дружку свои холеные розовые ногти, а потом пристально разглядывал их.

Но теперь он заговорил. Слегка откинув полы судейской мантии, он засунул одну руку в карман брюк, а Другой делал скупые жесты. Этот адвокат терпеть не мог своего подзащитного, находил его противным, уродливым, прямо-таки отталкивающим тупицей. И Квангель, на беду, только усугубил неприязнь своего защитника — как ни порицал его доктор Рейхардт, он отказался дать адвокату какие-либо сведения, — он не нуждался в защите.

Итак, теперь говорил адвокат доктор Штарк. Он слегка гнусавил и растягивал слова, что совершенно не вязалось с употребляемыми им крепкими выражениями.

— Редко случалось всем нам собравшимся в этом зале, — говорил он, — видеть такой законченный образец человеческой подлости, какой предстал перед нами сегодня. Преступление против родины и государства, распутство, сводничество, скаредность — найдутся ли пороки и преступления, в которых не был бы виновен или не участвовал мой подзащитный? Господа судьи, милостивые государи, я не в состоянии защищать такого преступника. В подобном случае я могу лишь скинуть мантию защитника, вместо адвоката стать прокурором и настойчиво потребовать одного: пусть правосудие не знает пощады. Цитируя известное изречение, я могу лишь сказать. Fiat justitia, pereat mundus!^[4] Я не вижу смягчающих вину обстоятельств для этого преступника, недостойного называться человеком!

На этом защитник раскланялся, вызвав всеобщее недоумение, и уселся, тщательно поддернув брюки. Затем он пристально оглядел свои ногти и принялся полировать их друг о дружку.

После минутной растерянности председатель спросил обвиняемого, не хочет ли он что-либо добавить в свою защиту? Только, чтоб покороче.

Отто Квангель встал, поддерживая брюки: — Мне нечего сказать в свою защиту. Я хочу только поблагодарить моего адвоката за его речь. Мне довелось-таки узнать, что такое не правозаступник, а кривозаступник.

И Квангель сел под бурное возмущение всех, кроме адвоката. Сам адвокат только перестал полировать ногти, приподнялся и небрежно заявил, что не считает нужным подавать жалобу на своего подзащитного. Этот субъект лишний раз доказал, какой он закоренелый преступник.

И тут-то Квангель рассмеялся, впервые с момента ареста, да что там, впервые с незапамятных времен рассмеялся, весело и беспечно. Ему вдруг представился весь комизм положения — эта преступная свора всерьез клеймит его преступником.

Председатель резко осадил обвиняемого за его неуместную веселость и собрался было наложить на Квангеля взыскание построже, но потом припомнил, что на него обрушены уже все возможные кары, и теперь остается только удалить обвиняемого из зала заседания. Однако от этого господин Фейзлер воздержался, сообразив, что приговор не произведет должного впечатления, если будет произнесен в отсутствие обоих обвиняемых. И посему сменил гнев на милость.

Суд удалился для вынесения приговора.

Длительный перерыв.

Большинство публики отправилось выкурить папироску, как в театре.

ГЛАВА 65

Суд. Приговор

По правилам полагалось, чтобы полицейские, вдвоем сторожившие теперь Отто Квангеля, отвели подсудимого в специально предназначенную для таких перерывов камеру-ожидающую. Но зал почти совсем опустел, а водить арестанта по бесконечным лестницам и коридорам, когда у него еще все время сползают штаны, — дело канительное. Поэтому стража сочла за благо пренебречь предписанием и расположилась поболтать в нескольких шагах от Квангеля.

Старый мастер опустил голову на руки и ненадолго забылся в полудреме. Он был измучен семичасовым судом, во время которого ни на минуту не позволил себе ослабить внимание. Перед ним мелькали образы впечатлений: вот сжимаются и разжимаются когти председателя, защитник Анны ковыряет в носу, вот горбун Хефке, когда он пытался взлететь, а вот и Анна, когда она сказала «восемьдесят семь» и вся вспыхнула, а глаза загорелись таким гордым задором, какого никогда он у нее не видал, и много, много других картин... других... картин.

Голова совсем отяжелела, он так устал, поспать бы хоть пять минуток...

Он положил локоть на стол, уткнулся в него лицом и блаженно вздохнул. Хоть пять минуток крепкого сна, полного забвения.

Но тут же встрепенулся вновь. Что-то в этом зале мешало ему найти блаженный покой. Широко раскрыв глаза, он озирался по сторонам, и взгляд его упал на отставного советника апелляционного суда Фрома, который стоял у балюстрады вокруг мест для публики и как будто делал ему знаки. Квангель и раньше уже видел старика, как схватывал все своим зорким, и бдительным взглядом, но при множестве волнующих впечатлений этого дня он не обратил особого внимания на бывшего своего соседа по дому на Яблонскиштрассе.

А теперь советник стоял у балюстрады и делал ему знаки.

Квангель оглянулся на полицейских. Они стояли шагах в трех от него, повернувшись спиной, и вели между со бой оживленный разговор. До Квангеля как раз долетели слова: «И как сцапаю я его, голубчика, за шиворот...»

Старый мастер встал, подхватил брюки обеими руками, медленно шагая, пошел через весь зал к советнику. Тот стоял у перил и смотрел теперь в землю, как будто не хотел видеть идущего к нему арестанта.

И вдруг, когда Квангель был уже в нескольких шагах, советник быстро повернулся и пошел между рядами стульев по направлению к двери. Но на перилах остался положенный им белый сверточек, поменьше катушки.

Квангель прошел последние шаги, схватил сверточек и сперва зажал его в ладони, а потом опустил в карман брюк. На ощупь он был твердый. Квангель обернулся и увидел, что стража до сих пор не заметила его отсутствия. Затем хлопнула дальняя дверь, и советник апелляционного суда исчез.

Квангель отправился в обратный путь. Он был порядком взволнован, сердце сильно колотилось, ему не верилось, чтобы такое приключение могло сойти благополучно. Должно быть старику-советнику очень уж важно было ткнуть ему этот сверток, раз он пошел на такой риск.

Квангелю оставалось до места всего несколько шагов, когда один из караульных заметил его. Он весь затрясся, растерянно взглянул на пустую скамью, как бы желая убедиться, что подсудимого и в самом деле там нет, и потом с перепугу рывкнул во весь голос: — Где вы были?

Второй полицейский тоже обернулся и уставился на Квангеля. В первую минуту оба от растерянности словно приросли к земле и даже не догадались водворить арестанта на место.

— Мне нужно выйти, господин вахмистр! — сказал Квангель.

Полицейский, сразу успокоившись, проворчал: — Нечего одному шляться. Извольте спрашиваться! — Пока полицейский выговаривал ему, Квангель вдруг надумал последовать примеру Анны. Пускай себе объявляют приговор без обоих подсудимых, у них половина удовольствия пропадет. А ему, Квангелю, неинтересно слушать, он и так все наперед знает. Кроме того, ему не терпелось узнать, что за важную штуку подсунул ему старик-советник.

Оба полицейских добрались уже до Квангеля и ухватили его за руки.

Квангель равнодушно взглянул на полицейских и сказал: — Смерть Гитлеру!

— Что-о?

Они были так огорашены, что не поверили своим ушам.

— Смерть Гитлеру! Смерть Герингу! Смерть Геббельсу, сукину сыну! Смерть Штрейхеру! — торопливо и громко выкрикивал Квангель.

Удар кулаком в подбородок пресек эту поминальную молитву. Оба полицейских выволокли потерявшего сознание Квангеля из зала.

Так получилось, что председателю суда Фейзлеру все-таки пришлось объявить приговор без обоих подсудимых. Напрасно верховный судья проявил снисходительность к оскорблению защитника. Квангель оказался прав: председателю не доставило ни малейшего удовольствия объявлять приговор, не видя обвиняемых. А он-то изощрялся, придумывая формулировки похлеще и пооскорбительней.

Фейзлер еще не кончил говорить, когда Квангель очнулся в камере-ожидальне. Подбородок у него болел, болела вся голова, с трудом припомнил он происшедшее. Осторожно ощупал рукой карман: слава богу, сверточек цел.

До него доносился мерный топот часового по коридору, вдруг топот прекратился и послышался тихий шорох у двери: отодвигали щиток от глазка. Квангель опустил веки и лежал, не шевелясь, как будто все еще был без сознания. Казалось, прошло бесконечно много времени, пока у двери вторично раздался шорох и опять затопал по коридору часовой...

Глазок закрыли, ближайшие две-три минуты часовой, наверно, заглядывать не будет.

Квангель быстро сунул руку в карман и достал сверточек. Снял нитку, которой он был обвязан, расправил бумажку, обернутую вокруг стеклянной капсюльки, и прочел печатную надпись: «Цианистый калий, убивает безболезненно в несколько секунд. Спрятать во рту. Жена получит то же самое. Записку уничтожить».

Квангель улыбнулся. Славный старик! Замечательный старик!

Он изжевал записку, пока она не размякла, а затем проглотил ее.

С любопытством смотрел он на ампулу, на прозрачную бесцветную жидкость.

Скорая безболезненная смерть! Эх, знали б вы про это! Об Анне он позаботится тоже — славный старик!

Он засунул ампулу в рот. Попробовал на разные лады. Убедился, что удобнее всего спрятать ее между щекой и коренными зубами, как жевательный табак, который употребляли многие рабочие в столярной мастерской.

Он ощупал щеку снаружи. Нет, ничего не выдается. А если они что-нибудь заметят, он успеет раскусить капсюльку, прежде чем ее отнимут.

Квангель улыбнулся снова. Теперь они потеряли власть над ним!

ГЛАВА 66

Жилище Смертников

Тюрьма для смертников приютила Отто Квангеля. Одинокaя камера в тюрьме для смертников стала последним его земным убежищем.

Да, теперь он заключен в одиночке: для приговоренных к смерти нет товарищей, нет доктора Рейхардта, нет даже «пса». У приговоренных к смерти одна товарка — смерть, так велит закон.

Они занимают целый дом, камеру за камерой, их десятки, этих смертников, а может быть и сотни. Не умолкая, звучит топот часовых по коридору, не умолкая раздается лязг железа, и целую ночь лают во дворах собаки.

Но тени в камерах безмолвны, в камерах тихо, не слышно ни звука. Они безмолвны, эти пленники смерти! Они собраны со всех концов Европы — мужчины, юноши, почти мальчишки, немцы, французы, голландцы, бельгийцы, норвежцы, люди хорошие, слабые, вспыльчивые, люди всех темпераментов, от сангвиников до холериков и меланхоликов. Но тут, в этом доме, все различия стираются, тут все безмолвны, все только тени самих себя. Изредка по ночам слышится Квангелю плач, а потом снова все тихо... Тихо... Тихо...

Он всегда любил тишину. В последние месяцы ему пришлось вести жизнь, противную всему его душевному складу, — он не знал ни минуты одиночества, его принуждали говорить, когда ему так ненавистны всякие разговоры. И вот еще раз, последний раз живет он по-своему, он может молчать и ждать спокойно... Хороший человек был доктор Рейхардт, многому научил его, но сейчас, так близко от смерти, не нужно и доктора Рейхардта.

По примеру доктора Рейхардта он завел определенный порядок у себя в камере. На все было своз время: на тщательное умывание, на гимнастику, на часовую прогулку, до и после обеда, на аккуратную уборку камеры, на еду и сон.

Но у доктора Рейхардта он научился еще другому. Во время прогулок он напевает про себя. Он напоминает детские и народные песни школьных времен. Из глубин прошлого всплывают они, стих ложится к стиху — и надо же было держать все это в памяти сорок с лишним лет!

Затем идут стихотворения: «Поликратов перстень», «Клятва», «Радость, первенец творенья», «Лесной царь». А вот «Песня о колоколе» никак не складывается подряд. Должно быть, он и не знал ее целиком...

Тихая жизнь, но основу дня все-таки составляет работа. Да, здесь его заставляют работать, перебирать в день определенную порцию гороха, — червивый, половинки, сорные семена и бурые горошинки вики выбрасывать. Эта работа ему по душе, пальцы его прилежно час за часом перебирают горох.

Хорошо, что ему досталась такая работа, она кормит его. Давно прошли те времена, когда он пользовался обедами доктора Рейхардта. Теперь ему приносят в камеру непроваренную водянистую бурду, а сырой клейкий хлеб с примесью картофеля камнем ложится у него в желудке.

Только горох спасает его. Много он не может урвать, ему отвешивают определенную порцию, но все-таки ему удается хоть мало-мальски подкормиться. Он размачивает горошины в воде, пока они не разбухнут, а потом бросает в свою похлебку, чтобы они прогрелись, и медленно разжевывает их. Ему безразлично, какого они вкуса, лишь бы набраться силы, набраться силы для близкой смерти. Так подправляет он себе еду, о которой можно сказать: прожить — не проживешь, умереть — не умереть.

Он готов заподозрить, что надзиратель и тюремный инспектор знают, что он ворует горох, и молчат. Они молчат не потому, что жалеют обреченного смерти, а потому, что стали равнодушны, отупели в этом доме, где изо дня в день привыкли видеть столько горя. Они не поднимают разговоров, чтобы не заговорил арестант. Помочь они все равно не могут, здесь все идет своим неизменным путем. Они только колесики большого механизма, железные, стальные колесики. Если бы железо размякло, колесики пришлось бы заменить, а они не хотят, чтобы их заменили, они хотят и дальше быть колесиками.

Потому-то они и не хотят, да и не могут сказать слово утешения, они хотят быть такими, как они есть: равнодушными, холодными, безучастными.

Сначала, когда Отто Квангеля привели в эту камеру из карцера, куда его отправил председатель суда Фейзлер, он подумал, что это вопрос одного-двух дней, он думал, им не терпится поскорее привести в исполнение приговор, и радовался этому.

Но постепенно он убедился, что иной раз проходят недели, месяцы, целый год, прежде чем приводится в исполнение смертный приговор. Да, есть такие смертники, которые целый год ждут смерти; каждый вечер, ложась спать, не знают, не разбудят ли их среди ночи помощники палача; каждую ночь, каждый час, пережевывая корку хлеба, перебирая горох, сидя на параше, ждут, что сейчас откроется дверь, кто-то сделает им знак, кто-то скажет: — Идем! Твой черед!

Какая невообразимая жестокость — растягивать минуты предсмертного страха на целые дни, недели, месяцы, и причина этого промедления отнюдь не только в юридических формальностях и не в просьбах о помиловании, на которые будто бы надо ждать ответа. Говорят еще — палач перегружен, не может со всем управиться. Палач работает только по понедельникам и четвергам. Палачи постоянно в разъездах, по всей Германии казнят, а палачи обслуживают и оккупированные страны. Но как же получается, что из двух осужденных по тому же делу одного казнят на семь месяцев раньше другого? Нет, здесь действует та же жестокость, тот же садизм; в этой тюрьме не принято избивать, истязать физически, здесь яд неприметно просачивается в камеры, здесь смертный страх ни на минуту не выпускает из когтей души человеческие.

Каждый понедельник и четверг тюрьма смертников волнуется. С ночи уже приходят в движение тени, они трепещут, они жмутся у дверей, прислушиваются к малейшему шуму в коридорах. *Еще* слышен топот часовых — значит, всего лишь два часа утра. Но скоро... Может сегодня уже. И они просят, молят: еще хоть эти три дня, эти четыре дня до следующей казни. Только бы не сегодня! И они молят, умоляют, молятся!

Где-то бьет четыре часа. Шаги, звяканье ключей, шопот. Шаги приближаются. Сердце колотится, по всему телу проступает пот. Вдруг щелкает ключ в замке. Тише же, тише, это отпирают камеру рядом, нет, еще дальше! Это не за мной! Вопль, сразу же заглушённый: — Нет! Нет! Спасите! — Шарканье ног. Тишина. Равномерный топот часового. Тишина. Ожидание. Мучительное ожидание. Я больше не могу...

И после бездонной тишины, после вечности, наполненной страхом, после нестерпимого ожидания, которое надо вытерпеть, опять приближается шопот, шарканье многих ног, звяканье ключей... Все ближе, ближе, ближе. Господи, только не сегодня, только бы еще три дня! Вот поворачивается ключ — у меня? Ох, у меня! Нет, в соседней камере. Несколько приглушенных слов, берут соседа. Забрали, шаги удаляются...

Время дробится медленно, кусочек времени медленно крошится на мельчайшие частицы. Ожидание. Только ожидание. И топот часовых в коридоре. Господи боже, сегодня они берут подряд камеру за камерой, теперь очередь за мной. Теперь — за — мной. Через три часа я буду трупом, вот это мое тело умрет, ноги, которые пока еще носят меня, станут сухими палками, рука, которая работала, ласкала, гладила, грешила, станет просто куском гнилого мяса! Это не может быть, и все-таки это будет!

Ждать — ждать — ждать! И вдруг ожидающий видит, что в окне брезжит рассвет, слышит звонок к вставанью. Настал день, новый трудовой день — на этот раз уцелел. Ему дано еще три дня передышки, или четыре, если сегодня — четверг. Счастье ему улыбнулось! Легче стало дышать. Вдруг будет амнистия,

и его помилюют, заменят смерть пожизненной каторгой!

Один час дышится легче!

И вот уже снова подступает страх, отравляет эти три, четыре дня — тот раз они остановились на соседней камере, в четверг начнут с меня. Ох, как же мне быть? Я же не могу еще...

И все снова, все снова, дважды в неделю, каждый день недели — страх.

Из месяца в месяц — смертный страх!

Временами Отто Квангель задавал себе вопрос, откуда он все это знает. Ведь он ни с кем ни разу не говорил, — и с ним никто ни разу не говорил. Отрывистые крики надзирателя: — Встать! Живее за работу! — Иногда при раздаче пищи скорее понятые по движению губ, чем услышанные слова: — Сегодня семь казней, — вот и все.

Но чувства его бесконечно обострились. Они угадывали то, чего он не видел. Слух улавливал малейший шум в коридоре, обрывки разговора сменяющихся часовых, проклятья, вопль — все доходило до него, ничто не ускользало. И еще ночью, долгой ночью, которая по тюремному распорядку длилась тринадцать часов, но не была по-настоящему ночью, потому что в камере постоянно горел свет, тут он иногда рисковал, дотягиваясь до окна и просунув голову за темную штору, вглядывался во мрак. Он знал, что часовым, которые всю ночь ходят с собаками, дан приказ стрелять в любое окошко, где покажется лицо, и нередко действительно раздавался выстрел — и все-таки он рисковал.

Он стоял на табуретке, вдыхал чистый ночной воздух — ради одного этого воздуха стоило пренебречь любой опасностью — и слушал перешептывание из окна в окно, непонятное для непривычного уха: «Карл опять взялся за свое» или же: «Жена 347-го сегодня весь день стояла внизу», но со временем он во всем стал разбираться. Со временем он узнал, что в камере рядом сидит агент контрразведки, который будто бы продался врагу, а здесь уже два раза пытался покончить с собой. А в камере за ним рабочий вывел из строя динамомашину на электростанции. А надзиратель Бреннеке доставляет бумагу и огрызки карандашей и выносит письма из тюрьмы, если его подмажут с воли большими деньгами или, еще лучше, продуктами. И так далее и так далее... Сведения за сведениями. Жилище смертников тоже говорит, дышит, живет, даже в жилище смертников не угасает неукротимая потребность людей во взаимном общении.

Но хотя — случалось — Отто Квангель рисковал жизнью, чтобы посмотреть и послушать, хотя он чутко и неутомимо ловил каждую новую весть, все же Квангель был далек от других. Иногда те угадывали, что и он стоит ночью у окна, и кто-нибудь шептал: — Ну, как у тебя, Отто? Прощение о помиловании вернули? — (Они все знали о нем.) Он же никогда не отвечал ни слова, никогда и вида не подавал, что слушает. Он был далек от других, хотя тот же приговор тяготел и над ним, — он был сам по себе.

И причиной его обособленности был не замкнутый его характер, как раньше, не потребность в покое, из-за которой он всегда чуждался людей, не отвращение к разговорам — причиной была стеклянная капсюлька, которую он получил от советника апелляционного суда Фрома!

Эта капсюлька с прозрачным раствором цианистого калия внутренне освободила его. Все остальные товарищи его по несчастью должны были до конца пройти последний тяжкий путь; у него же был выбор. Он мог умереть в любую минуту, стоило ему лишь захотеть. Он был свободен. Он сидел в тюрьме для смертников, за железными решетками и каменными стенами, он был скован цепями и кандалами, и все же он, Отто Квангель, бывший краснодеревец, бывший мастер цеха, бывший супруг, бывший отец, бывший бунтовщик — он был теперь свободен от страха. Ему, Отто Квангелю, незачем было просыпаться до срока по понедельникам и четвергам и в страхе слушать под дверь. Он был не такой, как другие, не совсем такой. Он мог не мучиться, потому что в его власти был конец всех мучений.

Он вовсе не был уверен, что воспользуется стеклянной ампулой. Пожалуй, лучше ждать до последней минуты. Пожалуй, удастся хоть раз еще повидаться с Анной. И пожалуй, неправильно снимать с них хоть частицу позора...

Пусть казнят его, так лучше, куда лучше! Стоит испытать, как это происходит, — ему казалось даже, что его обязанность, его долг узнать, как они это делают. Ой считал, что ему надо все испытать вплоть до веревки на шее или топора над головой. А в последнюю минуту он может провести их.

Надо думать, и Анне неплохо. Старик Фром из тех, кто держит слово. Значит, и Анна недоступна страху, значит, и она свободна, свободна — в неволе.

ГЛАВА 67

Прощения О Помиловании

Отто Квангель только начал отбывать свой срок в карцере — куда его засадили по постановлению трибунала — и отчаянно мерз в тесной клетке из железных прутьев, разительно похожей на обезьянью клетку в зоологическом саду, когда дверь растворилась, в карцер проник свет, на пороге помещения, где находилась железная клетка, показался его адвокат доктор Штарк и отыскал взглядом своего подзащитного.

Квангель медленно поднялся и, в свою очередь, взглянул на адвоката.

Зачем явился к нему опять этот вылощенный и выютуженный господин с розовыми ногтями и фатоватым гнусавым говором? Должно быть полюбоваться на мучения преступника.

Но у Квангеля уже тогда была во рту ампула с цианистым калием, талисман, при котором не страшны ни голод, ни холод, и потому он, оборванный, окоченевший, изголодавшийся, спокойно, с каким-то гордым вызовом взглянул на «барина».

— Ну? — после некоторого молчания спросил Квангель.

— Я принес вам приговор, — ответил адвокат и достал из кармана бумагу.

Но Квангель не взял бумаги. — Меня это не интересует, — сказал он. — Я же знаю, что там стоит смертная казнь. А жене моей?

— Тоже. И обжалованию приговор не подлежит.

— Так, — сказал Квангель.

— Но вы можете подать прошение о помиловании, — предложил адвокат.

— Кому — фюреру?

— Да, фюреру.

— Покорно благодарю.

— Значит, вы хотите умереть? Квангель усмехнулся.

— И вам не страшно? Квангель усмехнулся.

Адвокат в первый раз с некоторым любопытством взглянул в лицо своему подзащитному. — Так я подам за вас прошение о помиловании, — сказал он.

— После того, как требовали для меня смертной казни?

— Так полагается. Раз вынесен смертный приговор, значит, надо подать прошение о помиловании. Это моя обязанность.

— Ваша обязанность. Понимаю. Такая же, как ваша защита. Но я ведь заранее знаю, от вашего прошения мало будет проку. Бросьте вы это.

— Нет, я все-таки подам, даже против вашей воли.

— Помешать вам я не могу.

Квангель снова сел на койку. Он ждал, чтобы «барин» бросил свою дурацкую болтовню, чтобы он ушел.

Но адвокат не уходил, он спросил после долгого молчания: — Скажите, зачем вы, собственно, это делали?

— Что делал? — равнодушно спросил Квангель, не глядя на разутюженного хлыща.

— Зачем вы писали открытки? Ничего вы ими не достигли, а жизнь свою загубили.

— Потому что я был дурак: не придумал ничего умнее, Рассчитывал на другое действие. Затем и писал.

— И вы не раскаиваетесь? Вам не жалко погибнуть из-за такой глупости?

Острый взгляд пронзил адвоката, прежний, гордый, строгий птичий взгляд.

— Зато я остался порядочным человеком, — произнес он. — Не был с ними заодно.

Адвокат долго смотрел на человека, молча сидевшего перед ним.

— Пожалуй, теперь я согласен с моим коллегой, защитником вашей жены, — оба вы сумасшедшие.

— Вы считаете, только сумасшедшие готовы любой ценой заплатить за то, чтобы остаться порядочными людьми?

— Для этого не обязательно писать открытки.

— Молчать — значит соглашаться. Какой ценой стали вы таким вот щеголем в отутюженных брюках, с блестящими ноготками и подлыми защитительными речами? Дорогой ценой, да?

Адвокат молчал.

— Вот видите! — продолжал Квангель — И будете платить все дороже, а может случиться, что заплатите и головой, в точности, как я, только вы-то заплатите за свою непорядочность!

Адвокат молчал попрежнему.

Квангель встал. — Ну вот! — засмеялся он. — Вы сами понимаете, что я, хоть и за решеткой, а порядочный человек, а вы — подлец, хоть и на свободе. Подлец ходит на свободе, а порядочный человек приговорен к смерти. Какой вы правозащитник! Не зря я назвал вас кривозащитником. И вы еще хотите подать за меня прошение о помиловании! Да проваливайте вы!

— И все-таки я подам за вас прошение о помиловании, — повторил адвокат.

Квангель не ответил.

— Итак, до свидания, — сказал адвокат.

— Вряд ли мы свидимся — разве что придете посмотреть на мою казнь. Милости просим!

Адвокат ушел.

Он был зачерствелый карьерист, дурной человек, и все-таки у него сохранилось настолько разума, чтобы признаться себе, что тот — лучше его.

Прощение о помиловании было составлено, в качестве довода, который должен был разжалобить фюрера, было выставлено помешательство, но сам-то адвокат твердо знал, что его подзащитный отнюдь не помешан.

И о помиловании Анны Квангель тоже было подано прошение на имя фюрера, только послано оно было не из города Берлина, а из бедной бранденбургской деревушки, и подписано оно было фамилией Хефке.

Родители Анны Квангель получили письмо от невестки — жены их сына Ульриха. В письме стояли только плохие вести и сообщались они в сухих и жестких выражениях. Сын Ульрих сошел с ума и помещен в Виттенау, и виноваты в этом Отто и Анна Квангель. А их, Отто и Анну, приговорили к смертной казни за то, что они предали свою родину и фюрера. Вот каковы у вас дети, они осрамили имя Хефке.

Молча, боясь взглянуть друг на друга, сидели старики в своей убогой каморке. Письмо со злыми вестями лежало между ними. Но и на письмо боялись они взглянуть.

Весь век они, бедные батраки в богатом имении, гнули шею перед прижимистыми управляющими, и в скудной своей жизни мало видели радости, много тягот. Радость они имели от детей, из детей вышел прок. Ни Ульриху, старшему рабочему на фабрике оптических приборов, ни Анне, жене краснодеревщика, не надо было маяться, как родителям. Правда, писали они редко и повидаться не приезжали совсем, но старики не обижались — все птенцы улетают, когда у них вырастут крылья. Лишь бы знать, что детям хорошо живется.

И вдруг такой удар, такой страшный удар! После долгого молчания через стол тянется заскорузлая от работы, крестьянская рука: — Мать!

Из глаз старухи градом катятся слезы: — Ох, отец! Анна-то наша! И Ульрих! Чтобы наши дети изменили фюреру! Нипочем не поверю, нипочем!

Три дня они не могли опомниться, не знали, на что. решиться. Они боялись выйти из дому, не смели никому в глаза взглянуть из страха, что люди знают про их срам!

Но вот, на четвертый день они попросили соседку присмотреть за домашней скотинкой и отправились в город Берлин. Они шли под ветром вдоль шоссе, по деревенскому обычаю муж на шаг впереди жены, и

казалось, это дети, заблудившиеся в огромном мире, где все пугает их: порыв ветра, оторвавшийся от дерева сухой сук, проносющаяся мимо машина, грубый окрик. Ведь они были совсем беззащитны.

Два дня спустя они брели назад по тому же шоссе и казались еще меньше, еще сгорбленней, еще безутешней.

Они ничего не добились в Берлине. Невестка без устали срамила их. Сына Ульриха им не удалось повидать, в эти дни не было «приема посетителей». А где, в какой тюрьме Анна и ее муж, никто не мог им сказать. Детей своих они не нашли. Канцелярию фюрера они, правда, нашли, но самого фюрера, от которого они ждали помощи и утешения, не оказалось в Берлине. Он находился в главной ставке и был занят тем, что гнал на смерть немецкую молодежь, ему некогда было помогать родителям, которым грозило потерять детей.

Им сказали, что надо подать прошение.

Они никому не решились довериться. Они боялись срама. Их дочь предала фюрера. Если бы об этом узнали, им здесь не было бы житья. А жить им надо, надо спасти Анну! Нет, ни с кем не могли они посоветоваться насчет этого прошения, ни с учителем, ни с бургомистром, ни даже с пастором.

И с великим трудом, после бесконечных толков и обсуждений, осилили они свое прошение о помиловании. Его писали, переписывали дрожащей рукой, наконец, написали набело. Начиналось оно так:

«Возлюбленный мой фюрер!

Горемычная мать молит тебя на коленях сохранить жизнь ее дочери. Она тяжко провинилась перед тобой.

но ты велик и милосерден, ты помилуешь ее, ты простишь ей...»

Гитлер в роли господина бога, — владыка вселенной, всемогущий, всеблагий, всемилостивый! Кругом свирепствует война и косит миллионы людей, а двое стариков верят в него, он отдает их дочь в руки палача, а они все-таки верят в него, ни крупницы сомнения не закрадывается им в душу, скорее они осудят дочь, чем бога своего, фюрера.

Они боятся отправить письмо из деревни; вместе плетутся они в ближайший город и там сдают его на почту. На конверте адрес: «Нашему возлюбленному фюреру, в собственные руки...»

Потом возвращаются к себе в каморку и ждут, уповая на милость своего бога...

Он смилуется!

Почта одинаково принимает лицемерное прошение адвоката и беспомощную мольбу скорбящих родителей и отправляет оба, только ни того, ни другого не доставляет фюреру: фюреру не угодно просматривать такие прошения, они его не интересуют. Его интересует война, разрушение, убийство, а не предотвращение убийства. Прощения попадают в канцелярию фюрера, их нумеруют и регистрируют, а потом на них ставят штамп: «Направить на рассмотрение господину министру юстиции. Возврат обязателен в случае, если осужденный состоит членом национал-социалистской партии, что не явствует из поданного прошения».

Двойное милосердие: одно — для нацистов, другое — для народа!

В министерстве юстиции прошения снова регистрируются и нумеруются, на них ставят новый штамп: «В управление тюрьмы. На заключение».

Почта переправляет прошения в третий раз, и в третий раз их под номерами заносят в книгу. Рукой письмоводителя на прошениях о помиловании как Анны Квангель, так и Отто Квангеля пишется краткая резолюция: «Нарушений тюремного распорядка в поведении не замечено. Оснований для помилования не имеется. Возвратить в министерство юстиции».

Опять-таки двойное милосердие: для тех, кто грешил против тюремного распорядка или просто подчинялся ему — оснований для помилований не находится. Те же, кто усердствовал, донося на своих товарищей по несчастью, предавая, избивая их, те заслуживают... снисхождения!

В министерстве юстиции отмечают вторичное поступление обеих бумаг и ставят на них штамп: «Отклонить». А резвая девица с утра до вечера стучит на машинке: «Ваше прошение о помиловании отклонено... отклонено... отклонено...», и так целый день, целые дни.

И в один из этих дней какой-то чиновник сообщает Отто Квангелю: — Ваше прошение о помиловании отклонено.

Квангель не подавал никакого прошения о помиловании, а потому не считает нужным отвечать ни слова.

Но старикам почта доставляет отказ на дом, и по деревне разносится слух: «Хефке получили письмо от министра юстиции».

И как ни упорно в страхе я трепете молчат старики, бургомистру нетрудно разведать правду, и скоро, кроме скорби, на двух стариков обрушивается «позор»...

Таковы пути милосердия!

ГЛАВА 63

Решение Анны Квангель

Анне Квангель приходилось тяжелее, чем мужу: она была женщина. Ей хотелось излить душу, ей хотелось участия, хоть немножко нежности, — а она теперь всегда была одна и с утра до вечера распутывала и наматывала веревки, которые тюками приносили ей в камеру. Как ни скуп был ее муж на слова и ласку в семейной их жизни — эта малость казалась ей теперь раем, одно молчаливое присутствие Отто было бы для нее благодатью.

Она помногу плакала. Долгое пребывание в суровом режиме карцера отняло у нее последнюю крупницу силы, ту крупницу вновь вспыхнувшей от свидания с Отто силы, которая сделала ее такой стойкой и смелой на суде. Слишком жестоко она наголодалась и намерзлась и теперь продолжала голодать и мерзнуть в своей голой одиночной камере. Она не могла, как муж ее, пополнять сырым горохом скудный пищевой

рацион, она не обучилась, как он, осмысленно распределять день, менять ритм занятий, чтобы предвкушать приятное ощущение: после работы — часовую прогулку, после умывания — свежесть чисто вымытого тела.

Зато Анна Квангель тоже обучилась слушать по ночам у окна камеры. И уж она слушала без пропусков, из ночи в ночь. И говорила сама, шептала в окно, рассказывала свою историю и все спрашивала об Отто, об Отто Квангеле... Господи, да неужто никто здесь не знает, где Отто, как ему живется, ну да, мастер Отто Квангель, пожилой такой, ему пятьдесят три года, только он еще крепкий, видный из себя — должен же кто-нибудь о нем знать!

Когда же Анна поздней ночью, наконец, забиралась под одеяло, она еще долго не спала и утром не могла встать во-время. Надзирательница ругала ее и грозила снова посадить в карцер. Она поздно, слишком поздно садилась за работу. Ей приходилось спешить, но она сама же сводила на-нет всю спешку, потому что ей чудился в коридоре шум, она бросалась к двери и слушала полчаса, час. Одинокое заключение так изменило ее, что она, спокойная, по-матерински ласковая женщина, теперь раздражала всех. Надзирательницам она причиняла много хлопот, и они грубо обращались с ней, а она вступала с ними в пререкания, уверяла, что ее кормят хуже и меньше других, а работать заставляют больше. Несколько раз она доходила в этих спорах до крика, до бессмысленного крика.

И вдруг сама испуганно умолкала. Перед ней вставал путь, который она прошла вплоть до этой голой камеры смертника, вставала уютная квартирка на Яблонскиштрассе, которую ей не суждено больше увидеть, она вспоминала сына Отто, его детский лепет, а потом, когда он подрос, первые школьные горести и радости, вспоминала, как грязная ручонка с неловкой нежностью мазала ее по лицу — ах, эта детская ручонка, ставшая плотью в ее чреве, из ее крови, она давно рассыпалась в прах, давно погибла для нее. Она вспоминала те ночи, когда Трудель, молодая, цветущая, лежала у нее в постели и они по целым часам шептались о строгом отце, который спал на соседней кровати, об Оттохен и планах на будущее. Теперь погибла и Трудель.

А потом она думала об их совместной работе с Отто, о борьбе, которую они втайне вели больше двух лет. Припоминались ей воскресные дни, когда они вместе сидели у обеденного стола, она в углу дивана за штопкой чулок, а он на стуле, разложив перед собой письменные принадлежности, и вместе составляли фразы, вместе мечтали о большом успехе. Погибло, ушло; все погибло, все ушло! Одной суждено ей сидеть в камере, когда впереди только близкая неизбежная смерть, ни слова не слышать об Отто, ни разу, наверно, не увидеть его лица — одной умирать, одной лежать в могиле...

Часами мечется она по камере взад-вперед, она не в силах больше терпеть! Она забросила работу, мотки веревок валяются на полу, нераспутанные, неразвязанные, она только нетерпеливо отшвыривает их ногой, и когда надзирательница вечером отпирает камеру — оказывается ничего не сделано. Надзирательница бранится, но Анну Квангель это теперь не трогает. Она не слушает ругани, пусть делают с ней, что хотят, пусть скорее казнят ее — чем скорее, тем лучше!

— Верьте моему слову, — говорит надзирательница своим товаркам. — Эта скоро свихнется. Держите наготове смирительную рубашку. Да почаще заглядывайте к ней, она, чего доброго, повесится среди бела дня. Оглянуться не успеешь, как повесится, а потом отдувайся за нее!

Но в этом надзирательница неправа: Анна Квангель и не думает вешаться. Мысль об Отто заставляет ее цепляться за жизнь, дорожить даже таким жалким прозябанием. Не может она так уйти из жизни, она должна ждать, — а вдруг получится весточка от него, а вдруг ей позволят повидать его в последний раз перед смертью.

И вот в один из этих мрачных дней счастье как будто улыбнулось ей. Дверь камеры внезапно открылась, и надзирательница крикнула с порога: — Квангель, за мной! Свидание!

Свидание? С кем? Кому я здесь нужна! Разве что Отто? Да, конечно, Отто! Я чувствую, что Отто!

Ей хочется спросить надзирательницу, кто к ней пришел, но именно с этой надзирательницей она постоянно вступала в перебранку, и она боится спрашивать. Дрожа всем телом, идет она вслед за этой женщиной, она ничего не видит перед собой, не понимает, куда они идут, не помнит, что скоро должна умереть, — она знает одно — она идет к Отто, к единственному человеку в целом мире...

Надзирательница передает арестантку номер семьдесят шесть полицейскому вахмистру, тот вводит ее в комнату, разгороженную железной решеткой, по другую сторону решетки стоит какой-то мужчина.

Радость мигом покидает Анну Квангель, едва она видит его. Это не Отто, это всего лишь старый советник Фром. Старичок стоит по ту сторону решетки, голубые глаза его, окруженные венчиком морщинок, смотрят ей навстречу. — Я пришел навестить вас, фрау Квангель, — говорит он.

Дежурный надзиратель стал у решетки и задумчиво смотрит на них. Потом ему становится скучно, он отворачивается и подходит к окну.

— Скорее! — шепчет советник и что-то протягивает ей сквозь решетку.

Она машинально берет.

— Спрячьте! — шепчет он.

И она прячет белый сверточек. Письмо от него, думает она, и сердце бьется вольнее. Разочарование прошло.

Дежурный снова повернулся и, стоя у окна, смотрит на них.

Наконец, к Анне возвращается дар речи. Она не здоровается с советником, не благодарит его, она задает единственный интересующий ее в мире вопрос: — Вы видели Отто, господин советник?

Старик отрицательно качает своей умной головой. — В последнее время не видел, — говорит он. — Но слышал от друзей, что живется ему хорошо, очень хорошо. Он замечательно держится.

Он смотрит на нее и после мгновенного колебания добавляет: — Впрочем, я могу передать вам от него привет.

— Спасибо, — шепчет она. — Большое спасибо. Множество различных ощущений промелькнуло в ней, пока он говорил. Если он не видел Отто, значит, и письма не мог от него получить. Ах нет, он что-то сказал о друзьях, может, друзья передали ему письмо? А слова «он замечательно держится» наполнили

ее радостью и гордостью... А привет от него, этот привет посреди каменных и железных клеток, это весна посреди угрюмы стен! Ах, как чудесна, как чудесна жизнь! Сколько в ней еще счастья!

— Вот у вас неважный вид, фрау Квангель, — заметил старик-советник.

— Правда? — спросила она удивленно и рассеянно. — Нет, мне хорошо живется. Даже очень хорошо. Так и скажите Отто. Пожалуйста, скажите! И не забудьте поклониться ему от меня. Вы ведь его увидите?

— Думаю, что да, — с легкой заминкой отвечает он. Он до крайности щепетилен, этот педантичный старичок. Малейшая неправда перед лицом этой обреченной претит ему. Она и понятия не имеет, к каким хитростям, каким интригам пришлось ему прибегнуть, чтобы добиться этого свидания! Ему пришлось пустить в ход все свои связи! Для мира Анна Квангель умерла — кто же навещает мертвых?

И все же он не смеет сказать ей, что никогда больше в этой жизни не увидит Отто Квангеля, что ничего слышал о нем и покривил душой, передавая от него привет, чтобы вдохнуть немного мужества в ее сокрушенную душу. Бывают случаи, когда приходится лгать даже умирающим.

— Ах да! — вся вострепнувшись, сказала она вдруг и бледные впалые щеки ее зарделись — Непременна скажите Отто, когда увидите его, что я всегда, каждую минуту думаю о нем, и я знаю, я уверена, что увижу его прежде, чем умереть...

Надзиратель с минуту растерянно смотрит на эту пожилую женщину, которая говорит тоном юной влюбленной девушки. Старая солома жарче горит! — думает он и отворачивается к окну.

Она не заметила его взгляда, она лихорадочно говорит дальше: — И еще скажите Отто, что у меня прекрасная, совсем отдельная камера. Мне живется хорошо! Я постоянно думаю о нем и счастлива этим. Я знаю твердо, нас ничто не может разлучить, ни стены, ни решетки. Я всегда, каждую минуту с ним, ночью и днем Скажите ему непременно!

Она лжет, ах, как она лжет, лишь бы утешить своего Отто! Она хочет дать ему покой, тот покой, которого ни часу не имела сама с тех пор, как находится здесь.

Советник суда косится на дежурного, который устался в окно, и шепчет: — Смотрите, не потеряйте то, что я вам дал! — потому что фрау Квангель, повидимому, забыла все на свете.

— Нет, нет, не потеряю, господин советник. А что там такое? — тихо спрашивает она.

— Яд, ваш муж получил то же, — еще тише отвечает он.

Она кивает.

Дежурный поворачивается к ним и говорит угрожающе: — Шептаться не разрешено, иначе свидание прекращается. Кстати, — он смотрит на часы, — время все равно истекает через полторы минуты.

— Да, — задумчиво тянет она. — Да. — И вдруг понимает, что именно ей надо сказать. Она спрашивает: — Как вы думаете, Отто скоро уедет? Не дожидаясь того, большого путешествия? Да? Как вы думаете?

Лицо ее выражает такую мучительную тревогу, что даже тупоголовый чиновник понимает — здесь подразумевается совсем не то, что говорится. Он уже готов вмешаться, но потом смотрит на эту пожилую женщину, на господину с седой бородкой, который в пропуске значится советником суда, и, исполнившись снисхождения, опять отворачивается к окну.

— Трудно сказать, — осторожно говорит советник. — Путешествовать сейчас тоже нелегко. — И торопливым шопотом добавляет: — Ждите до самой последней минуты, может быть, вам удастся еще раз повидать его. Хорошо?

Она кивает, кивает снова.

— Да, — отвечает она громко. — Так будет лучше всего.

Некоторое время они молча стоят друг против друга и вдруг чувствуют, что им больше не о чем говорить. Кончено. Точка.

— Кажется, мне пора идти, — говорит советник.

— Да, — шепчет она в ответ, — кажется, пора.

И вдруг — дежурный уже повернулся к ним и нетерпеливо смотрит на часы — вдруг Анна Квангель не выдерживает. Она прижимается всем телом к решетке и шепчет, протискивая голову между железными прутьями: — Господин советник, пожалуйста, прошу вас! Должно быть, вы последний порядочный человек, которого я вижу на земле. Пожалуйста, поцелуйте меня! Я закрою глаза и подумаю, что меня целует Отто...

Бросается на мужчин! думает дежурный. Приговорена к смерти, а все не унимается! На старикашку польстилась!

А старый советник говорит ласковым, нежным голосом: — Не бойтесь, дитя мое, не бойтесь...

И тонкие старческие губы нежно касаются ее потрескавшихся сухих губ.

— Не бойтесь, дитя мое. Теперь вам будет спокойнее...

— Я знаю, — шепчет она. — Большое вам спасибо, господин советник.

И вот она снова у себя в камере, веревки в беспорядке разбросаны по полу, а она шагает взад и вперед, нетерпеливо отшвыривает их ногами, как в самые свои трудные дни. Она прочла записку, она поняла ее смысл. Она знает, — теперь и у нее, и у Отто есть оружие, она в любую минуту могут покончить с этой жалкой жизнью, если станет уж совсем невыносимо. Ей незачем терпеть мучения, она может сейчас же, сию секунду, пока цела еще капелька радости от сегодняшнего свидания, положить всему конец.

Она ходит, разговаривает сама с собой, смеется, плачет.

У двери подслушивают. Говорят: — Ну, вот и свихнулась. Смирительную рубашку приготовили?

А женщина в камере ничего не замечает, она ведет жестокую борьбу сама с собой. Перед ней встает лицо старика Фрома, такое серьезное, когда он говорил ей, чтобы она ждала до последней минуты, может быть, ей удастся еще раз повидать мужа.

Тогда она согласилась с ним. Конечно, это правильно, она должна набраться терпения и ждать, может быть, целые месяцы. Но хотя бы это были не месяцы, а недели, ей теперь невыносимо ждать. Она себя знает, она еще будет и отчаиваться, и плакать без конца, и впадать в уныние, все так жестоко с ней, ни от кого ни доброго слова, ни улыбки. Как же это терпеть столько времени? А стоит ей чуть шевельнуть языком, нажать зубами, не всерьез, а только для пробы, и все готово. Это так легко, чересчур легко!

Вот то-то и есть! Как-нибудь, в минуту слабости, она сделает это, и сейчас же, в короткий миг на пороге смерти, раскается так, как никогда не каялась в жизни: добровольно, по собственной трусости и слабости лишить себя надежды еще раз увидеть его!

Ему сообщат о ее смерти, и он узнает, что она покинула, предала его, что она была малодушна. И он не будет уважать ее, а ей важнее всего на свете его уважение.

Да, надо сейчас же уничтожить эту окаянную капсюльку. Вдруг завтра утром будет уже поздно, кто знает, в каком настроении она проснется завтра утром.

Но на пути к параше она останавливается... И снова принимается шагать.

Она вспомнила, что должна умереть, и какой смертью! Она узнала здесь, в тюрьме, из ночных разговоров, что ее ждет не виселица, а гильотина. Ей подробно расписали, как ее привяжут ремнями к столу, как лежа на животе, она будет смотреть в корзинку с опилками, куда через несколько секунд упадет ее голова. Ей обнажат шею, и она почувствует холод от ножа еще раньше, чем он ринется вниз. Потом он загудит, все громче, загремит в ее ушах, как труба страшного суда, а потом вместо ее тела останется какой-то дергающийся обрубок, и голова в корзинке, возможно, будет глазеть на окровавленную шею, будет еще видеть, чувствовать, страдать...

Так ей рассказали, и так она представляла себе это сотни раз и несколько раз даже видела во сне, и от всех этих ужасов она может быть избавлена, стоит ей раскусить стеклянную капсюльку.

И что же — неужели выбросить ее, неужели отказаться от избавления? Ей дан выбор между легкой и тяжелой смертью, и она должна избрать тяжелую смерть только потому, что боится собственной слабости, боится умереть раньше Отто?

Она качает головой, Нет, ей нечего бояться. У нее хватит сил ждать до последней минуты. Она хочет увидеть Отто. Переносила же она страх, который всегда охватывал ее, когда Отто шел подбрасывать открытки, перенесла ужас ареста, вытерпела мучительства комиссара Лауба, пережила смерть Трудель — значит у нее хватит сил ждать несколько недель, несколько месяцев. Она все выдержала, выдержит и это! А яд, конечно, надо хранить до последней минуты.

Она мечется взад-вперед, взад-вперед.

Но решение, только что принятое ею, не успокаивает ее. Снова возникает сомнение, и снова она борется с ним и опять решает сейчас же, тут же, сию же минуту уничтожить яд, и опять не исполняет решения.

Тем временем наступает вечер, ночь. Из камеры вынесли несделанную работу, а ей объявили, что за леньность ее на неделю оставляют без матраца и сажают на хлеб и воду.

Она даже не дослушала. Какая важность, что они там говорят?

Похлебка, принесенная на ужин, стоит нетронутой на столе, а она все мечется взад-вперед, смертельно усталая, неспособная связно мыслить, вся во власти мучительного сомнения: бросить — не бросить?

Вот она осторожно перекачивает капсюльку языком, легко, совсем легко, почти бессознательно сжимает ее зубами, осторожно прикусывает...

И сейчас же выхватывает ампулу изо рта. Она мечется, она сама не понимает, что делает — а там уже приготовлена смирительная рубашка...

И вдруг, поздней ночью, она приходит в себя, она лежит на своей койке, на голых досках, укрытая тоненьким одеялом и дрожит всем телом от холода. Значит, она уснула? А куда она дела капсюльку? Неужто проглотила? Во рту ее нет!

Она вскакивает в безумном ужасе, садится — и улыбается. Капсюлька тут — у нее в руке. Она зажала ее в кулаке во время сна. Она улыбается — она спасена еще раз. Ей не придется умирать той страшной смертью...

И тут, сидя на койке и дрожа от холода, она вдруг понимает, что отныне ей каждый новый день придется наново вести жестокую борьбу между силой и слабостью, малодушием и мужеством. А исход борьбы всегда будет неясен.

И сквозь сумятицу надежды и безнадёжности слышится ей ласковый, участливый голос: не бойтесь, дитя мое, только не бойтесь...

Ласковый, участливый голос доброго старика.

И сразу же все ясно Анне Квангель. Теперь я знаю, что делать! Теперь я найду в себе силы!

Она крадется к двери, прислушивается. Топот надзирательницы приближается по коридору. Она становится у противоположной стены, но увидев, что за ней следят в глазок, принимается медленно шагать взад и вперед. Не надо бояться, дитя...

Лишь убедившись, что надзирательница прошла дальше, она взбирается на окно.

— Это ты, семьдесят шестая? У тебя сегодня было свидание? — спрашивает какой-то голос.

Она не отвечает. Она никогда больше не будет отвечать. Одной рукой она держится за железную штору, а другую, в которой зажата капсюлька, просовывает наружу. Она прижимает ее к каменной стене и чувствует, как переламинается тонкое горлышко. Она ждет, чтобы яд стек вниз, во двор.

Очувшись снова в камере, она нюхает свои пальцы: от них сильно пахнет горьким миндалем. Она моет руки и ложится на койку. Она совершенно разбита, будто только что спаслась, освободилась от страшной опасности.

Она сразу же засыпает и спит глубоким сном, без сновидений. Просыпается она бодрой, освеженной.

С этой ночи семьдесят шестая не давала больше поводов для нареканий. Она была спокойна, бодр, прилежна, приветлива.

Она почти не думала о близкой тяжелой смерти, она думала только о том, что должна быть достойна Отто. А порой, в минуты уныния, ей снова слышался голос старого советника Фрома: «Не бойтесь, дитя мое, только не бойтесь».

Она больше не боялась. Никогда.

Она осилила страх.

Задолго до рассвета надзиратель отпирает дверь в камеру Отто Квангеля.

Квангель крепко спал, он просыпается, и, щурясь, смотрит на высокую черную фигуру, переступившую порог его камеры. Спустя мгновение он окончательно стряхивает с себя сон, и сердце у него колотится сильнее обычного, ему ясно, что означает эта высокая, молча стоящая на пороге фигура.

— Мой черед, господин пастор? — спрашивает он и хватается за одежду.

— Ваш черед, Квангель! — отвечает священник. И спрашивает: — Вы готовы?

— Я готов в любую минуту, — отвечает Квангель и касается языком капсюльки во рту.

Он начинит одеваться. Все его движения спокойны и неторопливы.

Мгновение оба молча смотрят друг на друга. Пастор — довольно молодой, ширококостый человек с простым, несколько туповатым лицом.

Недалек, должно быть, решает Квангель, не то, что наш добрый пастор.

А пастор со своей стороны видит длинного, тощего, измотанного человека. Ему не нравится острый птичий профиль, не нравится пристальный взгляд темных, совершенно круглых глаз, не нравится и узкий бескровный рот с плотно сжатыми губами. Но священник пересиливает себя и говорит как можно приветливее: — Надеюсь, вы расстаетесь в мире с нашей землей, Квангель?

— А разве на нашей земле есть мир, господин пастор? — в свою очередь спрашивает Квангель.

— К несчастью, еще нет, Квангель, к несчастью, нет, — отвечает священник и пытается изобразить на лице несуществующую скорбь. Он обходит этот вопрос и продолжает: — Но с господом богом-то своим вы примирились?

— Я не верю в господа бога, — отрезает Квангель.

— Что?

Пастор даже испуган таким прямолинейным заявлением. — Ну, допустим, вы не верите в единого бога, значит, вы пантеист, да, Квангель?

— Это что такое?

— Да это же так ясно... — Пастор пытается разъяснить то, что не вполне ясно ему самому. — Это, понимаете, мировая душа. Все есть бог, понимаете? Ваша душа, ваша бессмертная душа вновь сольется со вселенской душой, Квангель!

— Все есть бог? — спрашивает Квангель. Он успел одеться и теперь стоит у койки. — И Гитлер? И мировая бойня? Вы — бог? Я — бог?

— Вы неверно поняли меня, умышленно неверно поняли, — с досадой говорит священник. — Но я не за тем пришел сюда, Квангель, чтобы вести с вами религиозный спор. Я пришел приготовить вас к смерти. Вы должны умереть через несколько часов. Вы готовы к этому?

— Знали вы пастора Лоренца из следственной тюрьмы при трибунале? — вместо ответа спрашивает Квангель.

Пастор снова сбит с толку. Он раздраженно отвечает: — Нет, я только слышал о нем. И смею сказать, господь во время призвал его к себе. Он позорил наше сословие.

Квангель пристально посмотрел на священника и сказал: — Он был очень добрый человек. Многие заключенные помянут его благодарным словом.

— Ну, понятно, — выкрикнул пастор с неприкрытым раздражением. — Он потакал вашим прихотям! Он был очень слабый человек, Квангель. В годину войны слуга господень должен быть воителем, а не дряблым трусом! — Он снова спохватился, торопливо взглянул на часы и сказал: — У меня осталось для вас всего восемь минут. Моего пастырского утешения ждут еще несколько ваших товарищей по несчастью, которым тоже предстоит сегодня свершить последний путь. Давайте помолимся...

Священник, этот ширококостый, неотесанный крестьянин, достал из кармана белый платок и бережно развернул его.

— А женщин, идущих на казнь, вы тоже напутствуете пастырским утешением? — спросил Квангель.

Насмешка в его словах была так неуловима, что пастор не заметил ее. Он расстелил белоснежный платок на полу камеры и ответил рассеянно: — Сегодня не казнят никого из женщин.

— Вы не помните случайно, — упорно продолжал спрашивать Квангель. — Вам не приходилось последнее время бывать у некоей Анны Квангель?

— У Анны Квангель? Это ваша жена? Нет, не бывал. Иначе бы я запомнил. У меня необыкновенная память на имена.

— У меня к вам просьба, господин пастор...

— Ладно, говорите скорее, Квангель! Вы же знаете, я опаздываю.

— Прошу вас, не говорите моей жене, когда черед дойдет до нее, что меня казнили раньше. Скажите ей, пожалуйста, что я умру в один час с ней.

— Это будет ложью, Квангель, а я, как слуга господень, не могу погрешить против его восьмой заповеди.

— А вы никогда не лжете, господин пастор? Не покривили душой ни разу в жизни?

— Надо полагать, — запротестовал пастор, смутившись от насмешливого испытующего взгляда арестанта. — Надо полагать; я из всех своих слабых сил старался блюсти заповеди божьи.

— А заповеди божьи требуют от вас, чтобы вы отняли у моей жены последнее утешение, что ей дано умереть в один со мной час?

— Я не смею обманывать ближнего своего, Квангель.

— Жаль, очень жаль! Поистине, вы недобрый пастор, — произнес Квангель.

— Что? — выкрикнул пастор, и в голосе его слышалось смущение и угроза.

— Пастора Лоренца все звали в тюрьме добрый пастор, — пояснил Квангель.

— Ну нет, — злобно закричал пастор, — я-то уж никак не гонюсь за таким почетным званием, для меня

оно будет позорным званием! — Он опять спохватился, бухнулся на колени, прямо на разостланный белый платок, и указал на темный цементный пол рядом с собой (белого платка хватало только для него). — Преклоните и вы колени, Квангель, помолимся вместе!

— Перед кем мне преклонять колени? — сурово спросил Квангель. — Кому мне молиться?

— Вот наказание! Опять вы за свое! — разразился пастор. — Сколько я на вас лишнего времени потратил! — Он с колен посмотрел вверх на человека со строгим, сердитым лицом. — Все равно, я свой долг исполню. Помолюсь за вас!

Он опустил голову, сложил руки и закрыл глаза. Потом вскинул голову, вытаращил глаза и возопил вдруг так громко, что Квангель даже вздрогнул: — Господи, боже мой! Всемогущий, всеведущий, всеблагий, всеправедный боже, судья над добром и злом! Воззри в милосердии своем на грешника, простертого перед тобой во прахе. Молю тебя, господи, очисти душу и тело его, помилуй его злодеяние, отпусти ему прегрешения...

Стоя на коленях, пастор вопил все громче: — Прими, жертву безвинной смерти возлюбленного сына твоего Иисуса Христа во искупление его злодеяний! Ибо он крещен во имя его, омыт и очищен кровию его! Избави, его от телесной муки и скорби и терзаний совести! Облегчи его страдания! Даруй ему жизнь вечную!

Священник понизил голос до таинственного шопота: — Ниспошли святых ангелов твоих, да вознесут его в сонм избранных твоих во имя господа нашего Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Аминь! — снова во весь голос выкрикнул пастор.

Затем он поднялся, бережно свернул белый платок и спросил, не глядя на Квангеля: — Пожалуй, бесполезно спрашивать вас, готовы ли вы принять святое причастие?

— Совершенно бесполезно, господин пастор. Пастор нерешительно протянул Квангелю руку.

Квангель отрицательно покачал головой и заложил руки за спину.

— Это тоже бесполезно, господин пастор! — сказал он.

Не глядя на него, пастор направился к двери. На пороге он обернулся еще раз, бросил беглый взгляд на Квангеля и сказал: — Пусть сопутствуют вам к месту последнего судилища слова из Послания к филиппинянам: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение», глава I, стих 21.

Дверь хлопнула, он ушел.

Квангель вздохнул с облегчением.

ГЛАВА 70 Последний Путь

Не успел удалиться пастор, как в камеру вошел низенький, приземистый человек в светлосером костюме. Он посмотрел в лицо Квангелю быстрым пристальным, пронизательным взглядом, подошел к нему ближе и отрекомендовался: — Доктор Брандт, тюремный врач.

При этом он пожал руку Квангеля и задержал ее в своей руке со словами: — Можно пощупать ваш пульс?

— Сделайте одолжение!

Врач долго считал. Потом отпустил руку Квангеля и сказал одобрительно: — Очень хорошо. Превосходно. Вы настоящий мужчина.

Он покосился на дверь, которая осталась полуоткрытой, и спросил шопотом: — Чем вам помочь? Дать успокоительного?

Квангель отрицательно повел головой: — Благодарю, вас, господин доктор, сойдет и так.

Языком он коснулся ампулы. Секунду колебался, не дать ли врачу поручение для Анны? Нет, не стоит, пастор, все равно, расскажет ей.

— Еще что-нибудь? — топотом спросил врач. Он сразу же заметил колебание Квангеля. — Может быть, передать письмо?

— У меня здесь не на чем писать — да и не стоит! Во всяком случае, спасибо вам, господин доктор. Отраднo напоследок увидеть человека. Слава богу, даже и здесь не все одни звери.

Врач печально кивнул, еще раз пожал Квангелю руку, торопливо прошептал: — Одно скажу вам. Сохраните свое мужество до конца.

И поспешно вышел из камеры.

Вслед за тем появился надзиратель в сопровождении арестанта, который нес миску и тарелку. В миске дымился горячий кофе, на тарелке лежали ломтики хлеба с маслом, рядом две папиросы, две спички и зажигательная бумажка.

— Вот вам, — сказал надзиратель. — Видите, мы не скупимся. И все без карточек!

Он засмеялся, засмеялся и слугитель — в угоду начальству. Видно было, что эта «острота» повторялась уже не раз.

— Уберите все это прочь! Не нужно мне ваших предсмертных угощений, — в приливе внезапной ярости крикнул Квангель.

— Уговаривать не стану, — с готовностью согласился надзиратель. — Кстати, и кофе-то суррогатный, и масло — не масло, а маргарин.

И снова Квангель остался один. Он прибрал постель, снял с нее белье, сложил его у двери, поднял койку к стене. Затем принялся умываться.

Не успел он кончить, как в камеру вошел какой-то мужчина в сопровождении двух парнишек.

— Размываться особенно нечего, — загудел мужчина. — Сейчас мы вас побреем и причешем на славу! Ну-ка, ребята поживее! Времени в обрез! — И в виде извинения пояснил Квангелю: — Тут до вас один тип здорово задержал нас. Есть же такие люди — никаких резонов не понимают. Никак им не втолкуешь, что я-то ни при чем. Позвольте познакомиться — палач города Берлина...

Он протянул Квангелю руку.

— Будьте покойны. Я копать и вольтить не стану. Не чините мне препятствий, и я вас не задержу. Я всегда говорю моим ребятам: «Ребятки, — говорю я, — если кто ведет себя неразумно, вырывается, мечется из стороны

— в сторону, вое, орет, тогда и вы бросьте церемонии — хватайте, за что попало, хоть изувечьте его». Но с разумными людьми, вроде тебя, надо поделикатнее!

Пока он разглагольствовал, помощник его водил по голове Квангеля машинкой для стрижки волос, и вскоре вся его шевелюра очутилась на полу. Второй помощник тем временем взбил мыльную пену и обрил Квангеля бороду.

— Так, — похвалил палач. — Всего семь минут! Наверстали время. Еще двое таких разумных клиентов, и мы поспеем минута в минуту. — И, обращаясь к Квангелю, добавил просительно: — Будь любезен, подмети сам за собой! Конечно, ты не обязан это делать, но, понимаешь, у нас времени в обрез. Каждую минуту могут нагрянуть начальник и прокурор. Только не выкидывай волосы в парашу, вот тебе газета, заверни в нее волосы и положи у двери. Это мой приработок, понимаешь?

— Куда же ты денешь мои волосы? — с любопытством спросил Квангель.

— Продам парикмахеру. Парики всегда требуются. И не только актерам. Ну, большое тебе спасибо. Хейль Гитлер!

Но вот ушли и эти, brave ребята, ничего не скажешь, мастера своего дела, другие на их месте с такой безмятежностью и свиньи бы не закололи. И все-таки Квангелю легче было терпеть этих безжалостных, грубых молодцов, чем пастора.

Квангель как раз успел, по просьбе палача, подмести камеру, когда дверь растворилась опять. В камеру, в сопровождении нескольких полицейских чинов в форме, вошел тучный господин с рыжими усами и бледным одутловатым лицом — начальник тюрьмы, как выяснилось тут же, а с ним старый знакомец Квангеля — прокурор, выступавший при разборе дела и таявший, точно пинчер.

Двое из чинов в форме схватили Квангеля, грубо отшвырнули к стене и заставили встать навтыжку. А сами встали по бокам.

— Отто Квангель! — рявкнул один из них.

— Ах так! — затыкал пинчер. — Помню, помню в лицо! — Он повернулся к начальнику. — Этому я сам исхлопотал смертный приговор! — с гордостью заявил он. — Отпетый мерзавец! Думал, что может безнаказанно дерзить суду и мне. Но мы тебе показали, негодяй! — таякнул он в лицо Квангелю. — Показали, верно? Что скажешь? Пропала у тебя охота дерзить?

Один из чинов, стоявших рядом с Квангелем, пихнул его в бок и повелительно шепнул: — Отвечать!

— На... ть мне на вас! — равнодушно сказал Квангель.

— Что? Как? — Прокурор от возмущения перепрыгивал с ноги на ногу. — Господин начальник, я требую...

— Бросьте! — прервал его начальник. — Не трогайте его зря! Вы же видите, человек ведет себя спокойно. Ведь вы человек спокойный, верно?

— Конечно! — ответил Квангель. — Пусть только не трогает меня. А я-то уж оставлю его в покое, — Я протестую! Я требую!.. — визжал пинчер.

— Чего? — осадил его начальник. — Чего вы еще можете требовать? Больше казни мы для него ничего не придумаем, и он это отлично понимает. Бросьте вольтку, читайте скорее приговор!

Пинчер поджал хвост; он развернул какую-то бумагу, и начал читать вслух. Он читал быстро и невнятно, глотал целые фразы, сбивался и неожиданно заключил: — Словом, вы теперь осведомлены!

Квангель ничего не ответил.

— Ведите его вниз! — приказал начальник тюрьмы, и двое полицейских схватили Квангеля под руки.

Он с раздражением высвободился. Они ухватили его еще крепче.

— Пусть идет один! — распорядился начальник. — Этот не будет упираться!

Все вышли в коридор, там стояло множество людей в форме и в штатском. Сразу же образовалась процессия, центром которой был Отто Квангель. Впереди шли полицейские, за ними шествовал пастор, он был теперь в рясе с белым воротником и нечленораздельно бормотал себе под нос молитвы. За ним шел Квангель, облепленный целой гроздью надзирателей, — тем не менее низенький доктор в светлом костюме не отходил от него ни на шаг. Далее следовали начальник тюрьмы и прокурор, и за ними толпой люди в форме и в штатском, причем штатские были по большей части вооружены фотоаппаратами.

Шествие двигалось по скудно освещенным коридорам, по железным лестницам, усталым скользким линолеумом, по всему дому смертников. И где бы ни проходило шествие, навстречу ему из камер неслись стоны, подавленные вопли. Вдруг из какой-то камеры громкий голос крикнул: — Прощай, товарищ!

И Квангель громко ответил: — Прощай, товарищ!

Перед ними отперли наружную дверь, и они вышли во двор. В каменном колодце еще не рассеялся ночной мрак. Квангель быстро поглядел вправо и влево, ничто не ускользнуло от его напряженного внимания. Он увидел в окнах одиночных камер бледные пятна, лица товарищей, как и он приговоренных к смерти, но еще живых. Навстречу шествию с лаем бросилась овчарка, часовой свистнул ей, и она, ворча, поплелась назад. Гравий хрустел под ногами, вероятно днем он был желтоватый, теперь же при электрическом свете он казался иссера-белым. Из-за стены выглядывал призрачный остов голого дерева. Воздух был сырой и холодный. Квангель подумал: через четверть часа я больше не буду зябнуть — как странно!

Он ощупал языком стеклянную ампулу. Еще не время...

Но удивительно, как ни отчетливо слышал и видел он все вокруг, до мельчайших подробностей, тем не менее все происходящее казалось ему нереальным. Будто ему когда-то рассказывали об этом. Будто он лежал у себя в камере и видел все это во сне. Да нет же, не мог он, живой человек, итти здесь, когда все они, шедшие вокруг него с равнодушными, или жестокими, или алчными, или скорбными лицами — все они были призраками. И гравий был призрачный, и шарканье ног, и хруст камешков под башмаками — все это были призрачные шумы...

Они вошли в какую-то дверь и очутились в комнате, залитой таким ярким светом, что Квангель сперва ничего не увидел. Но тут провожатые рванули его куда-то вперед, мимо священника, опустившегося на колени.

Навстречу вышел палач с обоими своими помощниками.

— Ну, не обижайся на меня, — сказал он.

— Нет, за что же? — ответил Квангель.

Пока палач снимал с него куртку и отрезал ворот его рубахи, Квангель смотрел на тех, кто сопровождал его сюда. Но в ослепительном свете ему видна была только гирлянда мертвенно белых лиц, обращенных к нему.

Это снится мне, подумал он, и сердце у него забилося сильнее.

Из толпы зрителей выступила фигура, и, когда она приблизилась, Квангель узнал низенького, доброжелательного доктора в светлосером костюме.

— Ну как? — спросил врач с бледной улыбкой. — Как мы себя чувствуем?

— Попрежнему! — ответил Квангель в то время, как ему связывали руки за спиной. — Сейчас у меня порядком стучит сердце, но, я думаю, через пять минут это пройдет.

И он улыбнулся.

— Подождите, я дам вам лекарство! — и врач сунул руку в карман.

— Не беспокойтесь, господин доктор, — остановил его Квангель. — У меня есть, что нужно...

И на секунду между тонкими губами блеснула стеклянная ампула...

— Ах, так! — растерянно вымолвил врач. Квангеля повернули в другую сторону. Он увидел длинный стол, покрытый гладким черным матовым чехлом, вроде клеенки. Увидел ремни, пряжки, но прежде всего увидел нож, широкий нож. Он висел очень высоко над столом, Квангелю показалось — угрожающе высоко. Он мерцал тусклым серебром и как будто злорадно подмигивал ему.

Квангель перевел дух.

Внезапно около него очутился начальник тюрьмы и заговорил с палачом. Квангель не отрывал взгляда от ножа и слушал невнимательно.

— Я передаю вам, как палачу города Берлина, осужденного Отто Квангеля, дабы вы лишили его жизни при посредстве топора, согласно имеющему законную силу приговору трибунала...

Голос был нестерпимо громкий. Свет был слишком яркий...

Пора, — думал Квангель. Пора...

Но он все медлил. Страшное томительное любопытство разбирало его...

Еще минутку, думал он. Только узнаю, каково лежать на этом столе...

— Давай, давай, старина! — поторопил его палач. — Нечего волынить. Через две минуты все будет позади. А волосы прибрал?

— Положил у двери, — ответил Квангель.

Через секунду Квангель лежал уже на столе и чувствовал, что ему привязывают ремнями ноги. На спину ему опустили стальную скобу и плотно прижали его плечи к столу...

В нос ему бил запах извести, сырых опилок, дезинфекции... Но все перешибал противный приторный запах чего-то... Чего же?

Крови!.. — сообразил Квангель. Здесь воняет кровью.

Он слышал, как палач шепнул: — Пора.

Как ни тихо шептал он — тише уже нельзя, — все-таки Квангель услышал это «пора!»

И сразу же услышал, как что-то зажужжало.

Пора! — шепнул ему тоже внутренний голос, и зубы нащупали ампулу с цианистым калием...

Но тут у него поднялся спазм, его вырвало и вместе с рвотой унесло стеклянную ампулу...

О господи, подумал он, зачем я столько ждал...

Жужжание перешло в гудение, а гудение в пронзительный визг, такой визг, который слышно до небес, до самого престола божия...

Топор с грохотом врезался ему в затылок.

Голова Квангеля упала в корзинку...

Через три минуты после того, как рухнул топор, врач, весь бледный, дрожащим голосом констатировал смерть казненного.

Труп убрали.

Отто Квангеля не стало на свете.

ГЛАВА 71

Свидание Анны Квангель

Месяцы приходили, месяцы уходили, сменялись времена года, а фрау Анна Квангель все еще сидела в своей камере и ждала свидания с Отто Квангелем.

Время от времени надзирательница, которая теперь души не чаяла в Анне, говорила: — По-моему, про вас совсем позабыли, фрау Квангель.

— Да, — отвечала арестантка номер семьдесят шесть. — Пожалуй что забыли. И меня и мужа. А как поживает Отто?

— Хорошо! — спешила ответить надзирательница, — Он шлет вам привет.

Все дружно сговорились скрыть смерть мужа от этой тихой трудолюбивой женщины. И все аккуратно передавали ей приветы.

На этот раз небо было милостиво к Анне Квангель. Ничто — ни праздная болтовня, ни усердие рачительного пастора — не разрушило ее уверенности, что Отто жив.

Почти весь день сидела она за ручной вязальной машиной и вязала чулки для солдат на фронте, вязала изо дня в день.

Иногда она при этом тихонько напевала. Теперь она была твердо уверена, что они не только свидятся с Отто, а что они еще долго будут жить вместе. Может быть, их в самом деле позабыли, Немножко еще потерпеть, и они будут на свободе.

Как надзирательницы ни замалчивали это, Анна Квангель все-таки почуяла, что с войной дело обстоит плохо и вести с фронта день ото дня становятся хуже. Она замечала это по тому, как резко ухудшилось питание, как часто недоставало сырья для работы, как по целым неделям не могли заменить сломанную часть ее вязальной машины, по тому, как все скудело. Но чем хуже с войной, тем лучше им, Квангелям. Скоро они будут на свободе.

Так сидит она и вяжет. Она вяжет чулки и вплетает в них мечты и надежды, которым не суждено сбыться, желания, которых у нее не бывало прежде. Она рисует себе совсем другого Отто, непохожего на того, с кем прожила свой век, веселого, довольного, ласкового Отто. Она будто вновь стала молоденькой девушкой и будто жизнь еще манит ее весенней улыбкой. А порой, да, порой ей даже грезится, что у нее могут быть дети! Ах, дети...

С того дня, как Анна Квангель выбросила цианистый калий, как она, после тяжелой борьбы, решила терпеть до нового свидания с Отто, что бы ее не ожидало, — с того самого дня она вновь почувствовала себя свободной и юной и счастливой. Она переломила себя.

И теперь она свободна. Бесстрашна и свободна.

Она не знает страха и в те ночи, когда война все тяжелее сказывается на Берлине, когда режут сирены, когда все гуще становятся стаи самолетов над столицей, когда пронзительно воют фугаски, сыпятся зажигалки и всюду вспыхивают очаги пожаров.

Даже в такие ночи арестантов оставляют в камерах. Из боязни бунта их не решаются водить в убежища. Они кричат у себя в камерах, они рвутся, просят и молят, они безумеют от страха, но коридоры пусты, ни одного часового нет на месте, ни одна милосердная рука не отомкнет двери камер, весь тюремный персонал отсиживается в газоубежищах.

Но Анна Квангель не знает страха. Ее чулочная машинка тукает и тукает, навивает ряд на ряд. Она не теряет времени и в эти ночные часы, когда все равно спать нельзя, она вяжет и грезит. Она грезит о свидании с Отто, и в эту грезу с оглушительным воем врывается фугасная бомба, обращает в прах и пепел крыло тюрьмы...

Анна Квангель не успела очнуться от грезы о свидании с Отто. Она уже с ним. Вернее, она там же, где он. Где бы это ни было.

ГЛАВА 72

Мальчик

Но мы не хотим смертью заключить эту книгу, она посвящена жизни, все вновь и вновь торжествующей над позором и слезами, над скорбью и смертью, непобедимой жизни.

Стоит лето, раннее лето 1946 года. По двору крестьянской усадьбы в бранденбургском поселке идет мальчик, почти что юноша.

Навстречу ему выходит пожилая женщина.

— Ну как, Куно, — спрашивает она. — Что новенького?

— Я собираюсь в город, — отвечает мальчик. — За новым плугом.

— Поезжай, — говорит фрау Киншепер, по первому браку Клуге. — Я запишу, что тебе покупать. Конечно, если достанешь, — добавляет она.

— Лишь бы оно было, а уж я-то достану, мама! — заявляет он смеясь. — Ты меня знаешь.

Они смеясь смотрят друг на друга. Потом она уходит в дом, к мужу, старому учителю, который по возрасту давно мог бы выйти на пенсию, но все еще продолжает учить ребят не хуже молодого.

Мальчик выводит из сарая семейную гордость — лошадку Тони.

Через полчаса Куно-Дитер Боркхаузен находится на пути в город. Но он уже не носит фамилии Боркхаузен, он по всем правилам закона был усыновлен супругами Киншепер, когда стало ясно, что ни Карлеман, ни Макс Клуге не возвратятся с войны. Кстати, имя Дитер при этом тоже было упразднено — Куно Киншепер звучит превосходно без всяких дополнений.

Куно весело насвистывает про себя, меж тем как гнедой Тони не спеша трусит под солнышком по выбитой дороге. Как ни прохладается Тони, все равно к обеду они поспеют домой.

Куно смотрит вправо и влево на поля, внимательным взглядом знатока оценивает состояние посевов. Он много узнал здесь в деревне и — слава богу — столько же позабыл. О жизни на заднем дворе с фрау Отти он почти не вспоминает, не вспоминает и о тринадцатилетнем Куно-Дитере, озорном мальчишке, нет, этого всего словно и не было. Но и мечты о работе автомобильным механиком отодвинуты на будущее, пока что мальчик довольствуется тем, что ему, несмотря на юный возраст, доверяют водить сельский трактор на пахоте.

Да, они неплохо поработали, отец, мать и он. В прошлом году они получили надел земли и зажили самостоятельным хозяйством с Тони, коровой, свиньей, двумя баранами и семью курами. Куно умеет косить и пахать. Отец научил его сеять. Хорошая жизнь — ничего не скажешь! А уж хозяйство он наладит как следует — будьте покойны!

Он насвистывает.

С земли поднимается жалкая долговязая фигура, одежда в лохмотьях, лицо испитое. Не похоже, чтобы это был какой-нибудь незадачливый беженец, нет, это просто босняк, проходимец, бродяга. Надтреснутый голос сипит: — Эй, малый, подвези до города!

При звуке этого голоса Куно Киншепер весь вздрогнул. Он рад бы пустить невозмутимого Тони галопом, но теперь уже поздно, и он говорит, потупив голову: — Ладно, садись — только не тут, не рядом со мной. Полежай назад!

— А почему не рядом? — вызывающе сипит проходимец. Я для тебя неподходящая компания, что ли?

— Болван! — с нарочитой грубостью кричит Куно. — Да там на соломе тебе же мягче будет.

Бродяга, ворча, повинуется, взбирается сзади на тележку, и Тони, по собственному почину, припускает рысцой.

Куно справился с первым потрясением от того, что ему пришлось подобрать в тележку из придорожной канавы своего отца, нет, не отца, а именно Боркхаузена. А может это вовсе и не случайно, может Боркхаузен подкарауливал Куно и теперь знает, кто его везет?

Куно через плечо косится на бродягу.

Тот растянулся на соломе и, словно почуяв взгляд мальчика, говорит: — Не скажешь ты, где здесь в округе проживает парнишка из Берлина, лет этак шестнадцати? Я знаю, он живет где-то здесь...

— Мало ли здесь в округе живет берлинцев! — отвечает Куно.

— Знаю! Но с тем парнишкой — дело особое, он не был эвакуирован в войну, он удрал от родителей! Не слыхал ты о таком парнишке?

— Нет, не слыхал! — врет Куно. А немного погодя спрашивает: — А как звать-то парнишку — вы знаете?

— Еще бы не знать! Боркхаузен — его фамилия.

— Нет, тут в округе Боркхаузен не водится, иначе я бы о нем слыхал.

— Потеха, право! — говорит бродяга, деланно смеясь, и больно толкает мальчика кулаком в спину. — А я бы присягнул, что тут на тележке как раз Боркхаузен-то и сидит!

— Зря бы присягали! — возражает Куно и теперь, когда все ясно, сердце у него бьется ровно и спокойно. — Меня звать Киншепер, Куно Киншепер.

Бродяга изображает удивление: — Вот странность-то! И того парнишку как раз звать Куно, только его звать Куно-Дитер...

— А меня просто Куно Киншепер, — говорит мальчик. — А знай я, что у меня на тележке сидит кто-нибудь из Боркхаузен, плохо бы ему пришлось! Я бы взял кнут да так бы взгрел его, что он бы живо с тележки скатился!

— Ну, что вы скажете? Где это слыхано? — ужасается босняк. — Родного отца кнутом сгонять с тележки!

— Сгнал бы я этого Боркхаузена с тележки, — неумолимо продолжает Куно Киншепер, — а потом прямо бы махнул в город в полицию и заявил бы там: смотрите, не зевайте! Здесь в округе завелся один тип — лодырь, вор, пакостник. Он уже сидел за свои художества! Смотрите, не упустите его!

— Что ты, Куно-Дитер! Побойся бога, — вопит Боркхаузен, перетрусив не на шутку. — Я же только что вышел из кутузки и совсем исправился. У меня от пастора свидетельство есть, что я исправился. Я к чужому больше в жизни не притронусь, верь ты мне! Только я думал — живешь ты теперь помещиком, как сыр в масле катаешься — почему бы старику-отцу не погостить у тебя! Мое дело — дрянь, грудь совсем заложило, дай мне передохнуть!..

— Знаю я твое — передохнуть!.. — гневно вырывается у мальчика. — Стоит тебя хоть на день пустить к нам, ты сразу расположишься, как дома, а потом тебя не выкурить. Присосеешься, как паразит, заведешь ссоры, неприятности. Нет, нет, убирайся с моей тележки. А не то я, правда, угощу тебя кнутом!

Мальчик остановил лошадь и соскочил с тележки. Он стоял, зажав кнут в руке, готовый любой ценой защищать покой вновь обретенного домашнего очага.

Вечный неудачник Боркхаузен жалобно заскулил: — Бог с тобой, Куно-Дитер! Неужто у тебя рука поднимется на родного отца!

— Ты мне вовсе не отец! Мало ты мне долбил про это?

— Я шутил, Куно-Дитер, пойми же ты — шутил.

— Нет у меня отца! — вне себя от ярости выкрикнул мальчик. — У меня есть мать! У меня все наново! А кто сунется ко мне напомнить про прежнее, я на нем живого места не оставлю, пока не отвяжется. Не дам я тебе портить мою жизнь!

Он стоял с занесенным кнутом, в такой грозной позе, что старик испугался всерьез. Он сполз с тележки и остановился посреди дороги — лицо его выражало подленький страх.

— Я могу много навредить тебе... — трусливо пригрозил он.

— Так я и знал! — воскликнул Куно Киншепер. — У тебя всегда то же самое — сначала клянчишь, потом грозишь! Но теперь я говорю тебе, даю тебе клятву: прямо отсюда я еду в полицию и заявляю, что ты грозился поджечь наш дом...

Не говорил я этого, Куно-Дитер!

— Зато думал! Я по глазам твоим вижу, что думал! Ступай своей дорогой! И помни — через час полиция пустится по твоим следам! Так что проваливай поживее!

Куно Киншепер стоял на дороге до тех пор, пока обшарпанная фигура не скрылась среди пашен. Тогда он похлопал гнедого Тони по шее и сказал: — Ну как, Тони? Позволим мы всяким проходимцам портить нам жизнь? Когда все у нас пошло по-новому! В ту минуту, как мама сунула меня в воду и собственными руками отмыла от грязи, я дал себе слово: больше я в грязь не полезу! И слово свое я сдержу.

В последующие дни фрау Киншепер не раз удивлялась, почему мальчика никак не выманишь со двора. Обычно он был первым на полевых работах, а теперь не хотел даже пасти корову на лугу. Однако она не говорила ни слова, и мальчик не говорил ни слова. Но дни шли, наступил разгар лета, пришло время жатвы, и тут мальчик все-таки вышел в поле со своей косой...

Ибо, что посеешь, то и пожнешь, а мальчик посеял доброе семя.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)
[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)

Примечания

- 1 И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Госполитиздат, М., 1947, стр. 52–53.
- 2 «Напола» (условное сокращение) — национал-политический лагерь — своего рода питомник для привилегированной касты «молодых фюреров». *(Прим. ред.)*
- 3 BDM (нем.) — гитлеровская организация: Союз германских девушек. *(Прим. перев.)*
- 4 Да свершится правосудие, хотя бы погиб мир! *(лат.)*.